КОНСТ.

ФЕДИН

Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

КОНСТ. ФЕДИН

ГОРОДА И ГОДЫ

РОМАН

●

БРАТЬЯ

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1974

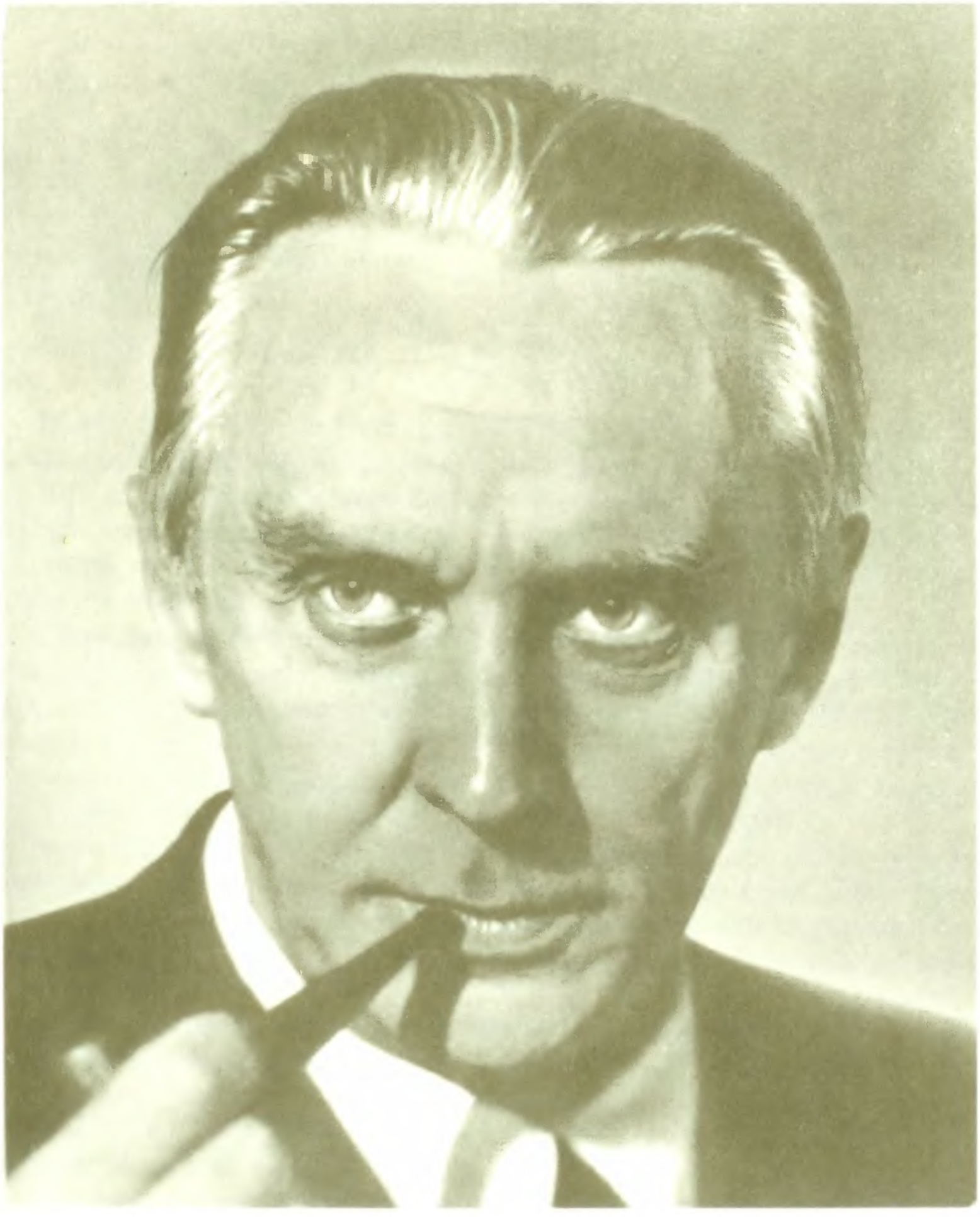
Вступительная статья
М. Кузнецова

Р 2
Ф 32

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

Иллюстрации
Гр. Филипповского

© Издательство «Художественная литература»,1974 г. Ф $\frac{0732\text{-}310}{028(01)\text{-}74}$ Подп. изд.



РЕВОЛЮЦИЯ И СУДЬБЫ ГУМАНИЗМА

Перед нами два первых романа Константина Федина — подлинного художника, чье имя не нуждается в пространных рекомендациях.

Эти книги Федина увидели свет в 20-е годы, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.

При всем различии жизненного материала, героев, самой манеры повествования — есть в этих произведениях некое внутреннее единство. Революция и гуманизм, революция и искусство, место интеллигента в великом всенародном движении — вот что жгуче волнует автора, что «переходит» из романа в роман. В этом смысле можно говорить о некоей перекличке двух формально между собой не связанных произведений.

Федин вспоминает: «С 1922 до 1924 года я писал роман «Города и годы». Всем своим строем он как бы выразил пройденный мною путь: по существу, это было образным осмысливанием переживаний первой мировой войны, вынесенных из германского плена, и жизненного опыта, которым щедро наделяла революция».

Первая мировая война застала Федина в Германии, куда его по окончании Коммерческого института направили «для практики в языке». Он не успел уехать и был интернирован немецкими властями. На положении гражданского пленного жил четыре с лишним года. В уже цитировавшемся послесловии к роману «Города и годы» Федин писал, что его наблюдения той поры, на основе которых частью построен роман, «разумеется, не во всем совпадают с тем, что пережито Андреем Старцовым».

«Несовпадение» естественно. Хотя, как пишет Федин, «редкий роман не автобиографичен» и, конечно же, много «личного» было вложено автором в своего героя, но ведь реальные биографии Федина и Андрея Старцова подчас диаметрально противоположны.

Вернувшись в 1918 году из немецкого плена, Федин с головой окунулся в революционную деятельность. Вспоминая то необыкновенное время, в частности 1919 год, он писал:

«Я редактировал газету, был лектором, учителем, метранпажем, секретарем городского исполкома, агитатором. Собирал добровольцев в красную конницу, сам пошел в кавалеристы...

Этот год — лучший мой год. Этот год — мой пафос».

Его пафосом стала Революция, и верность ей он проносит сквозь свою долгую литературную жизнь. Революция остается его главным героем.

После гражданской войны произошел крутой перелом в жизни Федина — он навсегда связал себя с литературой. В Петрограде он встретился с Горьким, вошел в кружок молодых начинающих писателей, которым суждено было сыграть столь большую роль в становлении новой литературы. Это были —Вс. Иванов, Н. Тихонов, М. Зощенко, В. Каверин, Н. Никитин и другие. О том, что значили эти годы в творческом развитии писателя и его молодых друзей, Федин рассказал в прекрасной книге «Горький среди нас».

Горький укрепил в молодом авторе его самозабвенную, жаркую влюбленность в литературу, в писательство. Особенно заботливо, чутко, тактично поддерживал Горький попытки молодых литераторов отобразить новую, величественную революционную эпоху. Среди очерков и рассказов, которые Федин принес ему, Горький особо выделил рассказ «Дядя Кисель» — одно из тех «зернышек», из которых впоследствии вырастет роман «Города и годы».

Новая литература, рассказавшая миру об огненных годах революции, только-только начиналась. «Города и годы» — один из самых первых романов, по праву стоящий в ряду таких произведений, как «Чапаев», «Железный поток», «Разгром», «Барсуки», «Бронепоезд 14-69»... Эпос революции только создается. Путей еще никто не знает — новое талантливое произведение нередко открывает свою дорогу в искусстве. Все дышит безудержным новаторством.

В этой атмосфере и создавались «Города и годы» — роман, в котором играет, пенится, не чувствует никаких препон сила молодого таланта. Роман, обращенный к душе читателя, который сам должен был творчески восполнить недосказанное. Роман эпический и в то же время резко субъективно окрашенный,— некий своеобразный лирический эпос.

Русская революция тут представала как явление мирового порядка, как выстраданные искания всего человечества, прошедшего сквозь кошмары и ужас мировой войны... «Склеить людей в человечество» — вот чем озабочены герои романа, вот проблема проблем... В сущности, одна из центральных проблем современности — революционная человечность, революционный гуманизм.

От вступления, являющегося эпилогом, до последней главы романа проходит противостояние двух фигур: Андрея Старцова и Курта Вана.

«— Значит, самое большое в твоей жизни за эти годы — любовь?

Андрей сказал:

— Да.

И, погодя опять несколько минут, в застывшей ночи, в темноте произнес Курт:

— А в моей — ненависть».

Вот так — без компромиссов. Или — или! Кто не с нами, тот против нас. Курт резко осуждает своего друга:

«Кровь, кровь — вот что тебя пугает. И эта вечная опаска, что зло рождает зло. А что ты можешь мне предложить взамен зла? Из меня тянут жилы по ниточке, без остановки всю жизнь. И мне же предлагают строить эту мою жизнь на добре, потому что зло рождает зло. Откуда мне взять добро, если кругом зло? Докажи мне, что злом нельзя добиться добра». А что ответить на это Андрею? Чем в жизни победить зло? И ведь пример собственной, Андрея, жизни подводит всему спору трагический итог: сделанное им «добро» оборачивается предательством, торжеством все того же зла.

«Стекло не сваривается с железом» — в этом авторском афоризме приговор Андрею. Стекло — Андрей, железо — революция.

Андрей «не раздавил ни одного цветка», на нем «ни одного пятна крови»... Но в этом-то и трагедия, ибо «до последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь». Автор беспощаден к нему — прекраснодушие Андрея бесцельно, оно приносит вред революции, наконец, он предал и свою большую любовь к Мари... Добрый и дряблый, хорошо видящий мир и возмутительно бездейственный, вялый, временами просто безвольный, Андрей в конце концов найдет бесславный конец от пули Курта Вана...

В начале романа есть образ собачки, которая безуспешно в зимнюю ночь на крыльце царапает лапами закрытую хозяином дверь. На притоптанном снегу — красные следы, собачка раскровенила себе лапы... «Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете,— пишет Старцов.— Я это понимаю. То есть про себя».

Но пусть справедлив приговор, права эпоха и прав автор, пусть верен и горький вывод самого Андрея и гибель его «мучительная и ничтожная»... При всем этом — сегодня читатель не может избавиться от смутной симпатии к этому запутавшемуся герою. Ведь и собачку, раскровенившую лапы о запертую дверь, и ту жалко, а здесь — трагедия заблудившегося в революции доброго человека!..

Андрея Старцова в свое время сравнивали с героем «Севастополя» А. Малышкина мичманом Шелеховым, с героями романа В. Вересаева «В тупике». Но можно вспомнить и еще одно известнейшее произведение и его героя — Григория Мелехова... Конечно, «Тихий Дон» — книга совсем

иного плана, народная эпопея, редкий во всей мировой литературе разрез жизни народных масс. Но ведь и «Города и годы» — не только история двух интеллигентов, а широкий социальный, национальный (Германия — Россия) разрез пластов народной жизни. У Федина, как и у Шолохова,— при всей разнице индивидуальных типов, самой изображаемой среды,— трагедия, трагический герой, разошедшийся с народом во время революции, и от этого — страдающий и гибнущий...

Вина Григория Мелехова, так же как Андрея Старцова, вина *трагического* героя, то есть вызывающего сочувствие, хотя никто не собирается ни того, ни другого оправдывать. Историческая справедливость возмездия за содеянное, конечно, не оспаривается. Но Время, сегодняшнее время, вовсе не амнистируя Старцова, судит его объективно, и та искра правды, что мелькнула в его метаниях, не забудется и сегодня воспринимается особенно остро.

Курт Ван — антипод Старцова. Увы, он не вызывает симпатии, ибо начисто лишен обаяния человечности. «И это главный герой эпохи?» — патетически гневно восклицала критика. Ну, а если Федин и не писал об этом *главном* герое, столь счастливо воплощенном в образах Чапаева, Кожуха, Левинсона, если писатель изобразил иной тип революционера? В таком огромном по масштабам массовом движении, как коммунистическое, были очень разные люди. Попадались в нем и люди «левой» мелкобуржуазной фразы, были и фанатики сектантского толка. Есть известные основания считать, что Курт Ван скорее принадлежал именно к этой категории.

Вспомним Курта в канун мировой войны. Мечтательный, восторженный (многословно восторженный!) юный художник. Обнявшись со своим русским другом Андреем, стоит он в виду Нюрнберга и предлагает Старцову произнести клятву в вечной дружбе... И в тот же вечер — слаб человек! — уступает за двести марок фон Шенау свою картину, которую так мечтал видеть в магистрате родного города... Правда, когда Шенау ушел, Курт выбежал на лестницу и закричал: «Ненавижу!» О чем же все это говорит? О некоем комплексе неполноценности, об истерических метаниях, об отсутствии нравственного стержня характера...

И это проявится очень скоро: едва объявлена война, как Курт мгновенно захвачен волной оголтелого шовинизма. И вот он уже бросает в лицо Андрею, в дружбе с которым «на века» недавно клялся: «Я ненавижу тебя, Андрей... Я должен ненавидеть!» С упоением он погружается в националистическую нетерпимость, ибо нетерпимость теперь его прибежище,— впрочем, как и для многих внутренне слабых душ. Революция подняла и облагородила Курта. Но ведь многое осталось из старого. Осталась примитивная прямолинейность, мелкобуржуазная нетерпеливость, фанатичная одержимость, сухотка честолюбивого сердца — они не ушли из его характера. Как не ушла и старая мелодраматичность,— он предлагает Андрею ударить себя за сказанное в 1914 году и требует новой клятвы — опять в вечной дружбе... А ведь он не способен ни к любви, ни к дружбе, ибо душа его —

мертвая пустыня. И потому-то он так рассудочно и бессердечно жесток по отношению к Андрею. Он сам вызвался и стал палачом... Нет, сердце к нему не лежит.

Взгляните на Курта с точки зрения сегодняшнего исторического опыта. Право же, этот человек скорее был попутчиком революции, чем ее главной движущей силой. Попутчик, сектант, которому в будущем предстояло либо в корне сломать свой характер, либо стать преградой на пути революции. История знает немало драм и трагедий, которые произошли с людьми подобного склада.

В романе Старцову противостоял один лишь Курт. Он единолично был призван олицетворять всю действенную, активную силу революции. Писатель взвалил на Курта явно непосильную ношу...

«Если бы я писал роман не тридцать лет назад, а сейчас, я многое увидел бы иначе... Но как и тридцать лет назад, так и сейчас я сохранил бы зерно своего замысла»,— писал автор в 1951 году.

«Города и годы» — роман не только о столкновении двух гуманизмов — Старцова и Вана. Это повествование об эпохе, о судьбах людских масс, в нем есть великолепный образ Времени. И народ здесь — не фон, а воплощение поступательного хода истории, высший нравственный критерий.

Какова роль Федора Лепендина в системе образов романа? Ведь Лепендин — это те «нижайшие низы», о которых писал Ленин. В войну, в немецкий плен Лепендина ввергает ход большой истории, который до дна взбаламутил человечество и вызвал «нижайшие низы» к самосознанию, к отважной решимости взять судьбу в свои руки. Никаких розовых красок, никакой народнической и т. п. умиленности,— Федин даже иной раз гротесково подчеркнет примитивность чувств своего героя.

Этот семидольский мужик тоже движется сквозь города и годы, движется, разительно меняясь со Временем. И это его движение не раз пересечется с жизнью Андрея Старцова — на важных исторических перекрестках. Первый раз — по возвращении из плена на границе революционной России, на границе нового мира.

Тут, ожидая отправки на родину, Лепендин встречается с дядей Киселем. Этот крестьянин — живое олицетворение жалкой и трагичной мужичьей жадности, он «за свое хозяйство душу черту продаст». Ему не дает ни минуты покоя мысль, что немец, у которого он работал в плену, не отдал заработанных денег. А так как, по рассказам, на родине «спокойной жизни нету», то дядя Кисель принимает чудовищное решение: навьючившись, как вол, он идет пешком... обратно в плен. Солдат-большевик бросает ему вслед: «Я говорю, кто хочет в одиночку быть, сам по себе,— такой человек в наше время не жилец. Народ теперь зажил миром...»

И тут наш Лепендин, до этого лишь балагур-калека, внезапно поддакивает: «Я ему так и объявил: не надо, мол, нам таких, ступай с богом!»

Не бог весть что произошло с Лепендиным, но сдвиг в его дремучем сознании пусть маленький, а есть. Столкнувшись ~~на~~ пороге нового мира с новыми нравственными понятиями, он уже начинает впитывать в себя революционную мораль. А Старцов? Он по-прежнему только любознательный наблюдатель на берегу... Так по-разному они входят в новую жизнь — Лепендин и Андрей.

Вновь мы встретимся с Лепендиным во время трагических событий в Семидоле. Он не то чтоб в полном смысле вожак мужиков, но один из главных, ибо к нему не раз обращаются — «Федор, объясни», «пусть скажет Федор»... Он уже начал мыслить, сознавать себя частицей человечества. Темный, неграмотный мужик из глубинки Средней России, калека, которому раньше одна дорога — в нищие, сейчас ощутил себя на стрежне потока истории, нужным людям, чует в себе просыпающуюся силу... Человек массы, разбуженный революцией, сейчас на подъеме — гражданском, нравственном... Вот тут-то, на этом взлете, в самом начале своего нового бытия он погибнет от руки фон Шенау, того самого, которого отпустит на свободу мягкосердечный Старцов... В этом смертном узле последний раз переплелись линии Старцов — Лепендин, линии отвлеченного гуманизма и новой народной судьбы... Нет, Старцов виновен не вообще, не перед каким-то отвлеченным идеалом, а перед этим калекой Лепендиным, собратом по страданиям в плену.

В свете дальнейших поисков Федина в его последующих произведениях видишь, как закономерен в первом романе этот образ человека из «нижайших низов». Писатель впредь почти всегда будет проверять своих героев, как эталоном, их соотношением с народом.

«Города и годы» — самая «не строгая» по стилю из книг Федина. В письме Горькому он самокритично признавался: «Я чувствую, что еще не исцелился от манерности в языке, еще барахтаюсь в этих литературных пеленках». И все же, при всей справедливости этого строгого суда над самим собой, нельзя не почувствовать и сегодня безмерного обаяния дерзкой вольности стиля в романе. Очень уж как-то непринужденно и страстно льется порой авторская речь, и в этой ее раскованности, «непричесанности» есть особая прелесть.

А сам роман в целом Горький высоко оценил, писал, что прочел его «в один присест», а затем «с удовольствием» еще раз, назвал книгу «интересной», написанной «чутким художником», особо похвалил автора за образ Лепендина.

Роман выдержал длительное испытание временем. Важно и то, что в нем были заложены, говоря словами самого же Федина, «зерна» замыслов его последующих книг.

Федин рассказывает, что получил новый перевод романа на испанский с выразительной обложкой: «Там изображен человек, лежащий ниц, повергнутый наземь, и его придавливают огромного масштаба песочные

часы. Вот и все. И я подумал, что это очень верно выражена основная тема — это жертва эпохи, жертва времени» [1].

Но все ли было сказано автором в этом романе, что хотелось ему сказать? А если главный герой — не жертва, а сильная, творческая личность? А если сталкивается он не с узколобо-прямолинейным Куртом Ваном, а с людьми яркого, многогранного характера?..

Письма Федина тех лет полны размышлений о путях революции, замыслов нового романа, поисков нового героя. «Я сейчас ищу образ, на который мог бы опереться в моем будущем романе»,— пишет Федин Горькому в начале 1926 года.

Формально первый роман от второго (по датам выхода) отделяют четыре года, но на самом деле — промежуток был вдвое меньше. Едва минуло два года после выхода первого романа, как Федин уже вовсю начинает работать над вторым. Этот период обозначен им самим: октябрь 1926 — март 1928. И как раз тогда Федин выпустил сборник рассказов о современной деревне «Трансвааль». В это двухлетие Федин много живет в деревне, наблюдает советскую новь, его переписка с Горьким полна размышлений о путях, которыми пойдет развитие мужика в новом обществе. Писатель словно бы задался целью проследить, что стало с друзьями Федора Лепендина в современной ему действительности. И в то же время — неустанно думал о будущем романе. «Увязнув с потрохами в деревне, я не перестаю мечтать о новом романе»,— пишет он Горькому.

И деревенский цикл рассказов по-своему отразился в новом произведении, прежде всего, так сказать, в национальном колорите его. Когда уже замысел книги в основном сложился, Федин напишет Горькому: «В романе будут у меня такие люди: «иногородние» уральцы, т. е. купцы Нижне-Уральска, казаки с фарфосов (форпостов), немного волжан, много столичной интеллигенции — питерцев, иностранных людей немного; зверств тоже немного, смертей среднее количество, ужасов в меру...»

Тогда на бумагу ложились лишь первые строки романа, и кое-что в этих наметках изменится. Но основная тенденция определена правильно — действие «Братьев» по большей части идет во глубине России, характеры истинно русские, выхваченные из глуби народной. Отличий от первого романа будет немало, и все же внутренняя перекличка обоих произведений весьма явственна.

Она чувствуется уже в композиции: первая часть, «Одна ночь»,— это почти эпилог, развязка, предшествующая основному действию, тот «сдвиг времени», который мы встречали в «Городах и годах».

В «Городах и годах» и «Братьях» нет общих героев, формально оба произведения никак не связаны, но довольно явственно ощущаешь, что обе книги — как бы два варианта художественного решения одной проблемы. Ибо оба романа — об интеллигенции и революции. Не о месте интеллигенции в новом обществе, нет, именно конкретно — в революции, в то

[1] А. Старков. Герои и годы. М., «Советский писатель», 1972, с. 42.

неистовое время, когда большинство вопросов надо было «решать войной». Снова годы гражданской войны (но с большим заходом в предшествующий период), снова Запад, та же Германия, где учится главный герой — композитор Никита Карев... Снова буйство стиля, снова порывисто-страстная, несдержанная манера повествования, которой не встретишь у позднего Федина, как не встретишь ее в предшествовавшем сборнике рассказов. Снова порой слышится экспрессивный сказ: «...Варя, Варенька, Варварушка, с засученными по локотки рукавчиками, у корыта с капустой,— на плечах душегрейка, за спиной коса, в руке тяпка! И рука белая, как очищенный вилок, и, кажется, возьми ее — как вилок, крепко хрустнет на ладони гладкая, ровная кожа. Платье на Вареньке осеннее — желтое, точно кленовый лист, и душегрейка-безрукавочка тоже как осень — красной кожи на золоте лисьего меха...»

Но сразу же начинаются многие существенные различия. В «Братьях» тоже немало внешних событий, но «годы» уже потеряли свое самодовлеющее значение — действие по большей части переносится в смятенный духовный мир героев (главным образом во внутренний мир Никиты Карева).

Резко отличны и главные герои. Ведь Старцов — пустоцвет. То ли он художник, как Курт, то ли студент, приехавший на практику в Германию,— но «дела», творчества у него нет. Никита Карев не мыслит себя без музыки. У него все подчинено творчеству. Автор даже пошел на такой неожиданный шаг — попросил известного композитора Юрия Шапорина написать профессиональную статью с разбором музыки своего литературного героя. Более того, Федин рассказывает, что давал предварительно прочитать Ю. Шапорину все главы, в которых речь шла о психологии музыкального творчества.

В романе речь идет уже не об отвлеченном «добре», а о конкретных судьбах искусства в революции.

Главный конфликт внешне похож на предшествующий. Спор идет почти в тех же выражениях.

«— Что ты делал в войну?» — спрашивает большевик Ростислав Карев своего брата Никиту.

— Писал симфонию...

— Писал симфонию? — простодушно воскликнул Ростислав.— Всю войну, четыре года? И больше ничего?»

Андрей тогда ничего не мог возразить Курту. А Никите есть что сказать: «Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца, потому что, пока я шел по степи, на моем пути каждый день попадались трупы. Этого, вероятно, требует прекрасное дело, твое или твоих противников, все равно. Решайте сами судьбу дела. Я служу ему постоянно. Потому что служить ему можно только делом, только тем, что умеешь делать... Я ему служу тем, что смотрю и слушаю. Ты не знаешь, что такая служба возможна...»

Тут есть позиция. Отнюдь не бесспорная, конечно же — уязвимая, но это позиция художника, то есть творчески активного человека. С ней, с этой

позицией, надо спорить. Тем более что Никита дальше так развивает свои мысли о позиции «над схваткой»:

«— Ты ничего, кроме войны, не знаешь и хочешь решать все войной.

— Да! Хочу решать войной. Уверен, что ты тоже будешь решать войной».

Старый конфликт? Да, но развивающийся уже совсем по другим путям. Конечно, в Никите и эгоцентризм, и индивидуализм, утопические иллюзии, некое средостение между ним и народом, отвлеченная жалость к «сусликам» (Евграф: «Я тебя хорошо помню, Никита Васильевич. Ты все, бывало, сусликов жалел. Как стукну я по башке суслика, ты кричишь: «ай!»). Во всем этом немало общего со Старцовым, и точно так же волны революционного времени швыряют Никиту, как щепку...

И автор беспощадно судит своего героя, показав жалкие блуждания Никиты меж двумя лагерями борющихся в революции, его бессмысленно позорное бегство с белыми, обернувшееся столькими несчастьями для его близких (смерть Ростислава у ворот родного дома, когда он приехал повидать Никиту, смерть матери Варвары). Нет, позиция Никиты не только спорна, она просто ошибочна, нелепа, даже позорна... И это сказано в романе со всей бескомпромиссностью.

Но ведь речь идет не только о судьбе личной, но и о судьбе искусства, о творчестве, о той самой симфонии, которая вынашивалась Никитой в то время, как эти самые волны революции швыряли его из стороны в сторону... Так как же быть с искусством, с талантом?..

Есть ответственность самого таланта перед людьми, народом, человечеством. Но есть и ответственность нового строя за талант, за его судьбы, за возможность его максимальной самоотдачи. Рождение нового искусства в мире, только что возникшем после революции,— процесс сложный и отнюдь не бесконфликтный. Ведь на одном полюсе — изощренность интеллекта, достигшего крайних вершин в своем развитии, но часто обреченного на одиночество, ибо слишком велик разрыв с остальной частью народа. А на другом полюсе — чудеснейшая революционная активность масс, соединяющаяся в то же время с темнотой, невежеством, «глухотой» ко всему утонченному, клубком всяческих пережитков, доставшихся в наследие от буржуазного прошлого... Как перекинуть мост от одного к другому? Может, пожертвовать всей сложностью, всеми завоеваниями искусства ради доступности, «опроститься» до плаката и примитива? В таких рецептах не было недостатка в те годы...

Ленин учил, что сближение народа и искусства есть процесс обоюдный — и для масс и для художников. Благодаря ленинскому руководству развитие советской литературы и искусства пошло по верному пути, был своевременно дан решительный отпор всякого рода упростителям и упразднителям искусства. Но этот общий победный итог отнюдь не исключает борьбы, драм, трагедий. Напрасно иной раз становление нового искусства и литературы рисуется в идиллических разводах — в жизни все неизмеримо

жестче. Федин в романе «Братья» пишет о трагедийности искусства, и не следует бояться этого понятия. Трагедия всегда сопутствует великим эпохам ломки и созидания. Ведь даже Горькому очень нелегко давалось понимание новой действительности. Рождение нового искусства было трудным. Конечно, дело не в том, как то силятся представить наши враги, что социалистическая действительность якобы враждебна искусству. Неистовое цветение талантов, которое сразу же после революции отмечалось и в литературе, и в театре, и в кино, и в музыке, опровергает эти вздорные измышления. Однако нельзя не видеть и того, что новая героическая действительность предъявляла и предъявляет художнику высочайшие требования, что поиски нового идут и через победы, и через, как писал Сергей Эйзенштейн, «тупики» и «волчьи ямы»...

В «Братьях» показана трагедийность индивидуальной судьбы художника. «Цель творчества — самоотдача, // А не шумиха, не успех. // Позорно, ничего не знача, // Быть притчей на устах у всех» — эти известные стихи мог бы повторить как символ веры и Никита Карев. Споря с братом Ростиславом, он подчеркивает, говоря о себе «служу»: «Ты не знаешь, что такая служба возможна». Часть, посвященная медленному и мучительному пути Никиты в музыку, названа Inferno, что означает ад. Адом была действительность царской России с ее погромами, унижением человека, неравенством и бесправием. Но адом был и мучительный путь восхождения Никиты — адом неимоверного труда, отказа от всего в мире, адом разочарований и поражений. И ведь отчаяние его товарища по искусству, скрипача Верта, который ночью кончает самоубийством,— это тоже ад, через который надо пройти, это ведь та «служба», о которой живой, смелый, обаятельный Ростислав все же действительно не имеет представления... И ведь именно после смерти Верта, ужаса и кошмаров, испытанных Никитой, после блаженства встреч с Анной,— только после всего этого родилась впервые его собственная музыка. Услышав ее, он ощутит упоительный холод и скажет: «Так, так — это совершенно так, как я себе представлял...» И вновь — испытав величайшие потрясения в родных степях, пережив смерть Ростислава, предательство отца, свой позор, перешагнув за грань своей изоляции и увидев воочию яростный и прекрасный мир революции — Никита создаст свою симфонию...

Федин ни в чем не облегчит путь своему герою,— скорее, наоборот, заставит испытать всю горечь страданий и утрат. Особенно — в любви.

Уже в первом романе одни из самых поэтичных, самых лиричных страниц были отданы любви Андрея и Мари. Очаровательная, чуть взбалмошная, всегда поэтично-неожиданная Мари не могла не потянуться к чистому и благородному Андрею, так разительно непохожему на обывателей Бишофсберга. Но любовь эта трагична с самой своей пленительной зари — на нее сразу же падает кровавый отблеск войны. Уже первое свидание сорвано колонной слепых пленных, которая разделяет влюбленных...

Как поразительно звучит описание встречи Мари и Андрея — здесь и поэзия, и легкая ирония, и далекий, но все тот же зловещий гул предостережения: «Андрей и Мари говорили о войне. Они говорили о войне, и руки их сцеплялись в пожатьях, ощупывали и ласкали пальцы, ладони, запястья. Они говорили о том, что жизнь сминает и топчет людей, что люди сами виноваты в этом, и лица их вспыхивали от перемежающегося неровного дыхания. Они говорили, что мир залит кровью, что кровь течет по земле нескончаемой рекой, что по коленные чашечки в крови шествует среди людей смерть,— и губы их встречались сами собой, влажные, соленые от выступавшей крови. Они говорили о конце, который разрушит и уничтожит все,— и закладывали начало, из которого все произрастает. Они были молоды, они были сильны, и из всего, о чем они говорили, им запомнилось только то, что они любят друг друга».

Это была любовь на действующем вулкане — обреченная и несчастная,— мы пережили и ее грустный конец...

В «Братьях» на пути Никиты Карева стоят три женщины — Анна, Ирина, Варвара. Настоящая героиня — Варвара. Одна из частей романа, «На взвозах», завершается знаменательной фразой: «В конце концов каждый поднимается по своему взвозу, и взвозом Варвары Михайловны была любовь».

Явно родство с бессмертной Настасьей Филипповной из «Идиота» Достоевского, но еще более явственно то, что это живой, яркий, поразительно сочно написанный Фединым женский характер. Вареньку прямо видишь, когда, встретив застенчивого рыболова Никиту, она насмешливо приседает и, показывая на себя, говорит: «А рыба-то вот она!»

Главное ее «дело», ее призвание, ее «музыка» — это любовь, и как воплощение страсти она пройдет по всему роману. Пройдет и, в последней главе, как будто бы всего добьется: завоюет, возьмет чуть ли не силой своего Никиту...

Но и эта любовь несчастна. В самом конце романа Варвара с отчаянием крикнет Никите: «...ты сам не отрицаешь, что всегда жил одной музыкой... Это у тебя стало манией, и все чувства до последней крошки ушли на нее... а на жизнь, ну, хотя бы на жизнь со мною, у тебя ничего не осталось».

И Никите нечего сказать ей... Для него служение музыке — путь непрерывных утрат человеческого, душевного. Такова его личная, индивидуальная судьба. Вряд ли было бы верным распространять этот частный случай на художников вообще.

Конечно же, социальный опыт, революция, встречи с Ростиславом, с другими строителями нового мира, с народом — все это входит властно и сильно в его творчество. «Видеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить» — вот что хочет Никита вложить в свою симфонию. Да, он готов — и доказывает это на деле — на любые жертвы ради своего призвания, ради музыки. Это первый итог его судьбы. Но время —

оно требует сегодня большего от художника! Стань в строй, будь вместе со сражающимся человечеством, войди в борьбу не зрителем, а участником. Быть только «слушающим» — нельзя, это в конечном счете приведет к бесплодию. «Музыку понимают все»,— простая, казалось бы, истина становится для Никиты Карева поворотным пунктом в творческой эволюции или даже — творческой революции. Ведь скажет он это, когда увидит двух матросов, вдруг почувствовавших красоту увертюры «Риенци»... Между «железом» и «стеклом» вдруг возник хрупкий мостик понимания.

Пусть это немного. Пусть еще эгоцентризма, межеумочности, сумбура немало в характере Никиты, и они дают о себе знать до самой последней страницы романа. Его путь в искусстве трагедиен еще и в силу его личных, индивидуальных особенностей. Отнюдь не прямолинейной представляется читателю дальнейшая судьба Карева,— все, как в жизни, полно противоречий, неясностей, новых препятствий, о которых пока еще неведомо... Но писатель запечатлел процесс движения художника к народу, процесс становления творчества в обстоятельствах уже иных — когда народился революционный мир.

И тема эта решается не только образом Никиты Карева. В романе важную роль играет Родион Чорбов, революционный матрос, представитель масс, некий антипод Никиты, подобно Курту Вану. Но это уже совсем иного склада натура. Прежде всего — глубоко русский характер. Есть в нем что-то от волжской вольницы, он целен, монолитен, а в то же время ему свойственны простые человеческие чувства, он отнюдь не «железный», каким представал Курт Ван.

Родион сталкивается и с Никитой, и с ученым-биологом Арсением Бахом. И вот тут-то автор не пощадил своего героя — мы сразу же ощущаем в его монолитности не только силу, но и примитив. И это столкновение силы, но бескультурности, с разумом, интеллектом, красотой знания очень существенно для всей концепции романа. Чорбов внимательно прислушивается к словам Баха: «пробудить в человеке любознание, заставить людей искать, толкнуть их спящий ум на поиски истины». Что ж Чорбов? В нем бездна революционной энергии, но он косноязычен, мысли как жернова, чувства скованы. На призыв пробудить беспокойство любознания он только с чугунной упрямостью предлагает: «Веру в себя должны мы... как его... внедрять, уверенность, а не сомнения». Вера в силы человека, в революционную переделку мира — все это отлично. Но не слепой веры, а уверенности, основанной на бесстрашном знании,— вот чего требует от него Бах. Малограмотный Чорбов недоверчив к интеллигентам — хранителям знания и к тому, что они хранят. Но есть сила строителя в его ответе Баху на вопрос, как же коммунисты перестроят жизнь: «Ну уж, как умеем. Не прогневайтесь». Сила практика истории! Но это еще не вся сила. И Чорбов смутно ощущает нечто, ему недостающее, в Бахе. Точно так же — Бах. «Где же понять меня такому человеку?» — тревожился Бах. «Почему такой человек не хочет понять меня?» — доискивался Родион. В спорах рас-

тет взаимная привязанность. Это противостояние и взаимопритягивание «Чорбов — Бах» очень существенно. Тут и столкновение систем взглядов, тут и молнии страстей. Бах в воодушевлении говорит: «Мы носим в себе такие чувства, против которых вы ополчились не потому, что они вредны, а потому, что вы не обладаете ими, не хотите видеть их значения». И в увлечении приводит пример: «Слышали ли вы симфонию Никиты Карева?» Внезапно все кончается страшным ударом Родиона стулом об пол: «Проклятый концерт!» Проклятый, ибо там-то ушла Варвара от Чорбова. Проклятый, ибо там он, сильный, могучий матрос, ощутил свою эстетическую, эмоциональную немоту и глухоту, недоступность того мира, в котором творит Карев...

Еще один трагический аспект искусства...

Фадеев в письме к Федину говорил о «глубоко национальных истоках» «Братьев», и это очень тонкое замечание. Хотя в романе есть и западная тема, а в центре — «всечеловеческие» метания композитора, «Братья» — по самой своей сути глубоко русский роман. Притом вне всякой национальной ограниченности и национального себялюбия. Стоит только вспомнить, с какой откровенной ненавистью пишет автор о мерзкой толпе русских погромщиков: «Многолапые, опьянелые, изрыгавшие волчьи стоны, перекошенные коряками, смурские, смуругие человекоподобные анафемы и потники неслись в кладовушку под лестницу, чтобы урвать свою долю на скрипаче, на музыканте, на учителе Гольдмане». И эту звериную орду усмиряют русские же люди — рабочие, дружинники, маленькая группа железно отважных людей, вышедшая навстречу ораве...

В этой объективности письма — тоже одна из коренных традиций великой русской литературы. В «Братьях», что называется, Русью пахнет почти каждый характер — неистовая, обжигающая Варвара, лукавый мудрец Евграф и даже Арсений Бах — типично русский интеллигент. Кажется, что все накопленное в «Пустыре», в деревенских главах «Городов...», в сборнике «Трансвааль» теперь откристаллизовалось в какой-то предельно национальной атмосфере романа. И язык, при всей своей экспрессивности, отмечен в «Братьях» стремлением к локальной точности, к поискам местных речений. То услышишь, как мать Варвары в сердцах кричит дочери: «Да постой-ка ты тяпкать-то, несговорчивая». То старик Карев даст определение Евграфу: «суеславный мужичишка». То Евграф скажет о юной Ирине: «Она под крылом»... Не злоупотребляя диалектизмами (а сколько литераторов в те годы отдали пышную дань этой моде!), Федин вложил в уста своих героев сочный, колоритный, меткий и яркий русский язык.

Возвращаясь же к общей оценке романа, следует сказать, что «Братья» вовсе не роман итогов, а скорее роман колючих, нерешенных сложнейших проблем времени.

Пусть эпиграф из Байрона гласил: «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». Но если кому и сказано было «прощай», то это Андрею Старцову. Быть может, еще и тому Никите Кареву, который хотел

жить в «пылинке», замкнувшись в ней от бурь века. Но этот Никита навсегда ушел в прошлое. А новому Никите, равно как и острым и порой колючим проблемам, «прощай» никак нельзя было сказать.

Два романа двадцатых годов, самого начала советской литературы... Отсветы огня Великой революции еще и сейчас дрожат на их страницах. Дух Времени, образ Времени, волнующая, неповторимая атмосфера тех давних лет горят в этих книгах. Документ эпохи? Конечно! Но — не только.

Перечитывая эти романы, мы испытываем глубокое эстетическое наслаждение, ибо встречаемся с чистым, вдохновенным искусством.

Метания, борьба, беззаветные поиски истины, надежды, потери, победы героев этих книг нам дороги еще и потому, что это наши предшественники в строительстве Нового мира. Искусство восстанавливает связь времен, словно бы прокладывая линию, по которой ток минувшего течет в сегодня, в наши сердца.

М. КУЗНЕЦОВ

ГОРОДА И ГОДЫ

У нас было все впереди, у нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс

Что касается вина, то он пил воду.

Виктор Гюго

ГЛАВА О ГОДЕ, КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕН РОМАН

РЕЧЬ

— Дорогие соседи, добрейшие обыватели, почтенные граждане! Я высунулся из окна с заранее обдуманным намерением: мне скучно, дорогие соседи, меня грызет тоска, почтенные граждане, сердце мое ссохлось и свернулось штопором, как лимонная корка на раскаленной солнцем мостовой.

Почтенные обыватели! Это верно, что на дворе тысяча девятьсот двадцать второй год.

Передо мной восемьдесят пять окон, не считая двух чердачных, одного подвального, одного искусно нарисованного на стене маляром довоенного времени и того, в котором все вы можете различить верхнюю часть моей фигуры.

Я мог бы рассказать вам о каждом из этих окон, но я знаю — вы не будете меня слушать. Поэтому прошу вас обратить свои взоры только на окно вон там, внизу, где развалилась полосатая перина, которую поутру отчаянно колотила ружейным шомполом краснорукая хозяйка. И еще на окно вон там, правее, откуда с утра до ночи сыплется бренчанье домры; и еще на то, в самом верху, под чердаком, где непрестанно отхаркивает романсы граммофон; и еще на одно, последнее, что прямо против меня и так свеже прошпаклевано: завтра его будут красить.

Почтенные граждане! Республика в конце концов не плохая штука. В республике можно выбивать перины и проветривать их на солнышке, без опасения, что к вечеру придется постлать семейное ложе одним перинным чехлом. В республике можно иметь

музыкальный слух и обучаться игре на домре. Совершенно очевидно, что образ правления государства никак не отражается на добротности граммофонных пластинок. И наконец, республика сравнительно легко усвоила, что крашеные оконные рамы отменно противостоят ветрам и непогоде.

Дорогие соседи! Стоит ли говорить, что из восьмидесяти пяти окон нашего колодца только одно мое не украшено сверточками с сыром и колбасой, горшочками со сметаной и простоквашей, кастрюльками, молочниками, масленками, густо-зеленым луком и ядрено-малиновой редиской. Даже крайнее чердачное окно, величиной всего с какую-нибудь фортку, перещеголяло мой запаутиненный, пустой подоконник, неприкосновенно сохранив малоделикатный след кота Матроса моей почтенной хозяйки.

Теперь белые ночи, и в нашем колодце отдыхает пропотевшее за день лето. Восемьдесят пять окон открыты настежь. Я воспользовался этим, чтобы произнести вам свою речь,— вам, гражданин граммофонщик, и вам, соседка, показавшая свою перину, и вам, владельцы кастрюлек, масленок, горшков и редиски,— всем, кто высунул наружу головы и слушает мой упругий голос.

О, не пугайтесь: речь моя не затянется. Мне хотелось предложить вам один вопрос, всего один,— и я кончу.

Добрейшие обыватели, почтенные граждане! Это верно, что на дворе двадцать второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как ни мало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам...

На этом месте речи в гул голоса, качавшийся в каменной коробке смежных домов, врезался окрик:

— Андрей!

Человек в расстегнутой на груди рубахе перестал говорить и посмотрел туда, откуда раздался окрик. Потом вдруг отшатнулся в глубину комнаты, вновь подбежал к окну, высунулся до пояса, притупившимся голосом спросил:

— Какой номер квартиры?

— Встретимся на улице! — упало в колодец.

Андрей, как был — незастегнутый, трепаный,— выбежал из комнаты.

Хозяйка заперла за ним дверь, выглянула в колодец и, окинув одним взглядом восемьдесят пять окон, пролепетала запрыгавшими губами:

— Я давно думала, что он помешался! О, это ужасно!

ПИСЬМО

Дорогая моя.

Вот я опять пишу тебе и опять не знаю, что нужно сказать.

Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк.

Или нет. Я боюсь больше всего, что пишу мертвой. Что ты — мертвая. Я не так выражаюсь: что ты умерла уже, а я пишу тебе.

Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне многое представлялось ясным. Сейчас одно: мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку. Я как-то не могу припомнить все по порядку. Ясно одно, что если ты меня выслушаешь, то я все пойму, и ты не будешь больше кричать, как тогда, два года назад. Как ты кричала тогда, Мари...

Я что-то путаю.

Погоди, я похожу по комнате и подумаю, как проще сказать самое нужное, Мари...

Да. Мне кажется, ты поймешь меня, если я расскажу... или нет, сначала вот о чем.

Весь сумбур (я думаю, нашел бы силы написать как следует письмо, если бы не это), весь сумбур оттого, что я решил... Мари, я не знаю, что со мной! Я еду к тебе. Я решил. Я не могу больше. Все равно. Я заткну уши и убегу. Пусть вопят, умирают, пусть! Я должен к тебе.

Курт — настоящий человек. Я встретил его сегодня здесь, в Петербурге, совсем неожиданно. Он берется довезти меня, то есть помочь мне. Он узнал меня по голосу, хотя это было при странной обстановке. Вообще со мной неладно. Курт сразу сказал, что мне надо переменить климат. Я, конечно, ни слова о том, что хочу увидеть тебя. Согласился насчет климата. Мне, Мари, немножко смешно, когда говорят о климате, о нервах. Хотя я очень устал. А Курт не устает.

Дело в том, что...

Я перечитал начало. Вот мой рассказ. Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собачонку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собачонки спал, что ли, а может, не хотел отворять двери: была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете.

Я это понимаю. То есть про себя...

13 июня, утро.

Сегодня у меня был Курт. Мы условились окончательно. Я еду к тебе, Мари!

После его ухода мне стало спокойно. У него хорошие руки, плечи, рот. Комната в его присутствии приобретает смысл. Мне сразу стали приятны и нужны стол, кровать, окна. Курт — хорошо организованный человек. Я перечитал написанное вчера. Посылаю тебе: смотри, какой я теперь. Там — верно насчет собачонки.

Я, конечно, виноват перед тобой. Но я не виню себя в том, что тебе кажется, наверно, самым тяжелым проступком против тебя, против нас.

Мне действительно нужно установить какой-то порядок. Во мне все спуталось. Я не знаю, где же именно и когда я непоправимо сбился, или налгал, или ошибся. В последних событиях (то есть до того, как ты приехала сюда и потом исчезла,— дальше ведь не было никаких событий) я не нахожу связи. Может быть, она и есть. Это какой-то клубок, все эти годы.

Насчет собачонки.

Я всю свою жизнь старался стать в круг. Понимаешь, чтобы все в мире происходило вокруг меня. Но меня всегда отмывало, относило в сторону.

Попусту раскровенился.

Я это понял вот на чем.

Сначала, однако, еще два слова. Недавно я хлопотал о каких-то бумагах. Мне задали вопрос: «Ваша профессия?» Я не мог ответить. Мне вдруг пришло в голову: к какой профессии готовился я прежде? Я сбился, вышло глупо.

Ты понимаешь, я все время боюсь забыть свою мысль, боюсь сбиться.

Я проходил торговыми рядами. Заглянул в какие-то ворота. Толстые крепостные стены ушли в землю. На дверях складов — ржавые замки. И по всему двору лебеда, крапива, лопухи, железные обручи, щебень. Как на пустыре.

Меня сжала тоска. Против воли. Это так безотрадно и нудно. Я думал о каком-то всеобщем конце. У меня похолодели руки.

Но я все еще... словом, я не переставал царапать...

И вот всего на этих днях, под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. Башню выстроили во время революции. Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

— Знаешь,— сказал мне мой приятель,— мы теперь выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной шар. Москва подает — Москва принимает. Вокруг света.

Я тогда подумал, что это глупо. Но тут же посмотрел ему в лицо...

Словом, я бросил царапать...

Это бесплодно, бесплодно, черт побери! Добрая воля, любовь, желание — всего этого слишком мало. А потом — этого вовсе и не нужно. Чтобы есть и пить, не нужно ни доброй воли, ни любви. Эти люди, в сущности, делают не больше того, что они должны делать по природе. Они ничего не замечают под ногами, они вечно — вперед и вверх. И с таким напряжением, точно они не люди, а какие-то катушки, румкорфовы катушки. Если им сказать про ржавые замки, лебеду и щебень, они ничего не поймут. Они в круге; наверно, в центре круга.

Меня пронизывает мысль, что я пишу мертвой. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал.

Моя вина в том, что я не проволочный.

Ты должна понять меня, Мари.

Андрей.

ФОРМУЛА ПЕРЕХОДА

Комитет состоял из семерых. Все пристально следили за Куртом, который говорил; даже секретарь каждую минуту отрывался от стенограммы и собирал на лбу треугольник мелких морщин, точно прислушиваясь к тому, что должно было происходить где-то за пределами комнаты. На председательском месте сидел человек в толстых очках, фокус которых ни разу не переместился, пока Курт говорил.

Курт стоял прямо против председателя, уткнув кулаки в стол и коротко потряхивая головой в конце каждой фразы. Говорил он без запинки, будто читал по книге; и речь его была книжной. Крупинки пота обметали его верхнюю губу.

— Я резюмирую,— сказал он.— Этот человек находился в состоянии нравственного упадка в тот момент, когда признался мне в своем преступлении. Насколько я мог наблюсти, его умственные силы были также расшатаны. Я знал, что все это было результатом тяжелого потрясения в его личной жизни. Поэтому я отнесся к его признанию с большой осторожностью. Но я приучил себя мыслить объективно и действовать сообразно выводам разума. Моя память последовательно восстановила все мои встречи с этим человеком в Семидоле, факты его личной жизни, связанные с маркграфом, наконец обстоятельства исчезновения маркграфа из Германского совета солдатских депутатов в Москве. Фактический ход событий совпал до мельчайших подробностей с тем, что я услышал от этого человека во время его последней прогулки. Он

признался мне, между прочим, что собирается разыскать маркграфа, потому что это единственный человек, который может что-нибудь знать о его возлюбленной. Сомнений не оставалось: по личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек он мне стал ненавистен, как друг — я был его другом — отвратителен. Я убил его. На другой день я справился о маркграфе. Он действительно пребывает благополучно в своем замке под Бишофсбергом и, как подобает неудавшемуся авантюристу, служит посильно родному искусству, спекулируя на картинах немецких мастеров. Ошибки не произошло. Полиция считает, что убийство совершено с уголовной целью. До сообщения этого дела комитету я не нашел нужным опровергать такой версии. Я подчинюсь вашему решению.

Курт кончил, точно захлопнул прочитанную книгу.

Председатель обернулся поочередно ко всем заседавшим.

— Вопросов нет?.. Товарищ Ван, потрудитесь удалиться.

Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма, увязая друг в друге, закачались посреди комнаты. В них раскрылся чей-то рот, скрюченная пятерня медленно обернулась пальцами снизу в бок, к ней приросла рука, согнутая в локте, потянулась к Курту.

— Глупости! — проворчал он и с силой подул на дым. Синие полосы нанизались воронками на струю воздуха и пропали.

— Товарищ Ван!

Семь человек в прежнем порядке сидели за столом. Председатель навел очки на секретаря. Тот приподнял бумаги и огласил:

— «...заслушав сообщение товарища Курта Вана, единогласно постановил: считать образ действий названного товарища правильным, де́ла в протокол не заносить, стенограмму уничтожить и перейти к очередным делам».

Секретарь согнул бумагу надвое и разорвал ее.

— Садитесь, товарищ,— сказал председатель.

Курт придвинул стул. Он был спокоен и прост, как будто не сомневался, что услышит такое приглашение.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОМ

ПЕТЕРБУРГ

Человеку надо прожить долгую жизнь без неба, без прямых, широкогрудых ветров, вырасти в сомкнутом строю железных столбов, провести детство на чугуне лестниц и асфальте мостовых, чтобы стать в городе как лесовик в лесу.

Нога знает, когда под ней железный рельс, когда гнилые торцы, когда скользкий и звонкий цемент. И ухо узнаёт, куда падает с крыш дождевая вода и на что наскочил, разорвавшись, внезапный порыв ветра.

Человеку, которому город — как лесовику лес, не надо света. Он помнит каждый угол, знает всякую улицу и все дома, старые и новые, разобранные на топку, забитые, заброшенные и недостроенные.

Особенно — недостроенные. Заборы у таких домов давно исчезли. Но кое-где внутри застывшего кирпичного остова торчат остатки свай, валяется наполовину засыпанное щебнем бревно или не сорван шест с набитым на него деревянным крестом.

Об этих сваях, бревнах и крестах не мешает запомнить на третий год нового летосчисления.

На третий год нового летосчисления, в конце октября, над Петербургом висела тьма. С северо-запада гнал тьму со свистом и гулом мокрый, косоплечий ветер.

Петербург шелушился железной шелухой, и шелуха со звоном билась по крышам и падала, скрежеща, на каменные днища улиц.

Внизу было темно, как в туннелях.

Дома вымерли, дома провалились, домов не было. Пересекались, тянулись во тьме безглазые, мокрые бока туннелей.

И по мокрым, безглазым бокам туннелей и по каменным днищам их с визгом и звоном неслась железная шелуха. Косыми плечами мял ветер каменный город, сдирал ошметками сношенную кожу, швырял ею в промозглую тьму.

Белые обезьяньи лапы автомобиля цапали омертвевшие, сочившиеся холодом бока туннелей, пропадали так же стремительно, как появлялись. И только околевающим шакалом выла автомобильная сирена.

Человек, едва отличный от камня, из которого были выложены туннели, нащупывая углы и выступы, подгоняемый ветром, легко и быстро скользил по лужам. Вот он слился с черной стеной, точно войдя в ворота. Вот ощупью взобрался на склизкий холмик. Спустился в яму. Пролез в коридор, узкий, как могила. Над головой его мерно бился о камень треснутый лист кровельного железа.

Человек вынул из кармана газету, прикрыл ею плечо и грудь, нащупал в углу коридора ношу, взвалил на себя, осторожно пополз назад.

Коридором, ямой, холмиком, сквозь черную стену — в промозглую тьму туннелей, и дальше — промозглой тьмою, подгоняемый ветром, скользя по лужам.

Человеку, которому город — как лесовику лес, не надо света.

Человек нашел ворота, дверь, лестницу, еще дверь. Там скинул ношу с плеча, достал один ключ, другой — французский, третий — очень длинный, с шарниром посредине, патент инженера Тубкиса,— по очереди открыл замки.

В кухне зажег лампочку «экономия» (четверть фунта керосина в неделю), разделся. Примерил пальцами: бревно можно распилить на четыре части по восемь вершков, каждый кусок расколоть на раз, два, три...— восемь полен. Два восьмивершковых полена — кипяток для кофея. Шестнадцать раз. Это хорошо.

— Черт его знает сколько еще протянется эта канитель. Шестнадцать раз...

Когда повернул бревно — записка. Наклеена гладко рыжим тестом. Писана чернильным карандашом. Карандаш расплылся, потек:

Готовлю по-французски и немец.
во все классы трудовой школы. Цены умеренн.
Петрозаводская, 17, кв. 3.
Там же штопка и надвязка чулок.
А также имеются кролики.

Покачал головой, сказал громко:

— До чего довели интеллигенцию, а?

Отнес и поставил бревно в чуланчик.

Открыл шкаф, вделанный в стену. Из банки с пшеном вынул тряпочку. Из бумажного картуза пересыпал в банку пшено, прикрыл тряпочкой. На банку положил булыжник, круглый, как колобок.

— Мыши. Сволочи.

Растопил железную печку. Вскипятил воду, поставил на сковороде пшеницу — жарить. Кипятком мыл кастрюлю из-под супа и тарелку. Потом мыл раковину водопровода мочалкой и тертым кирпичом. Френч снял. Рукава рубахи засучил по локоть. Когда завоняло гарью, бросил мыть раковину, схватился за нож, отскабливая от сковородки пригорелые зерна, раз пять сказал:

— Кофей. Сволочи.

Потом смотрел в шкаф. В банках была пшеница, рожь, крупа ячневая, пшенная и гречневая, селедки. В бутылках — масло льняное и подсолнечное. В мешке холщовом — вобла. В мешках бумажных — соль, лавровый лист, желатин. Желатину было фунта три. Сказал:

— Желатин, а?

Взял книжку Мопассана — «Избранник госпожи Гюссон», пододвинул лампочку. Надел френч, вычистил ногти перочинным ножом, сел в широкое кресло читать, насадив на круглый нос пенсне.

Дошел до строк:

— *Надеюсь, ты еще не позавтракал?*

— *Нет.*

— *Вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель.*

Уронил пенсне на книжку, произнес:

— Желатин, по фунту на купон, три недели подряд, а?

Вдруг насторожился.

Стучат, но негромко, неуверенно. Лучше подождать. Подождал. Стук громче. Вскочил, затворил шкаф, запер его, посмотрел на стол. Хлеб — под салфетку, коробочку с сахарином — в карман.

— Кто там?

— Сергей Львович Щепов здесь живет?

— А кто спрашивает?

— Старцов.

— Что вам угодно?

— Старцов, из Семидола, Андрей Старцов.

— Из Семидола?

— У меня для вас письмо от сына, от Алексея Сергеевича.

— А-а-а! Как же, как же! Сейчас.

Засуетился. Задвижка вверху двери, задвижка внизу, крюк, замок инженера Тубкиса, замок простой, замок французский, цепочка.

— Теперь, знаете, ни на кого положиться нельзя, на сына родного — нельзя. Воры кругом, одни воры, мошенники, бандиты. Очень рад познакомиться. Да. Вот видите, так и живу. Горшки мою, дрова пилю, варю сам, стираю сам, шью, лампы заправляю, сапоги чиню, сортиры, pardon, чищу. Милости прошу. Вот видите — мозоли на руках, мозолистые руки. Воняют гарью — это от кофею, керосином — это от лампы, касторкой — это от котлет. Картофельные котлеты на касторке готовлю. Вот так-то. Садитесь, пожалуйста. Есть кофей. Я только подмету, забыл подмести. Надолго? По делу?

Старцев снял мешок со спины. Стоял большой, мутно-серый, в промокшей солдатской шинели, с рукавами, прятавшими пальцы, с покатыми плечами и куцым воротником.

— Не знаю,— сказал он,— сегодня ничего не узнал. Завтра поутру будет известно.

— Действительный статский советник! Вот этими руками, все сам. С восьми утра до двенадцати ночи. А что мне за это? Вон вчера опять выдали полфунта воблы да фунт желатина. Зачем мне желатин? Пришлось по плану. Хорошо. А если по плану удочки придутся? Скажем, каждому гражданину по две удочки. Что прикажете делать? Чепуха... Письмо от Алексея, говорите? Ну, как он?.. Вот кофей. Хлеба у меня...

— Хлеб у меня есть,— сказал Старцов,— белый хлеб, семидольский.

— Почем там мука?

— Вот письмо,— сказал Старцов.

Читая, Сергей Львович подергивал носом, и пенсне медленно наклонялось верхней своей частью к бумаге. Сергей Львович все выше и выше задирал голову, и лицо его становилось у́же и надменней.

— Женился! — воскликнул он, ударив пальцами по письму.— Женился, на актрисе женился! Воображаю!

Он поправил пенсне и разыскал глазами строчку, на которой остановился. Потом вложил письмо в книгу, облокотился на стол и заглянул в глаза гостя.

— Ну конечно. Вот как теперь, детки-то. Прежде так купцы писали: честь имеем сообщить, что в наш торговый дом на равных правах вошел Иван Иваныч Сидоров. Просим заметить себе его подпись. А тут и того нет: сообщаю, что вашу фамилию будет

носить певичка. Даже имени нет — Дарья, Марья, Аграфена? Черт ее знает!

— Ее зовут Клавдией... по отчеству... забыл,— сказал Старцов.

— А по фамилии? Какая-нибудь Культяпкина, по сцене — Раздор-Запольская, энженю-драматик на ролях без слов и движений... Впрочем, не все ли равно? Не все ли равно, спрашиваю я, а?

— Почему же?

— А потому, что теперь все полетело к черту в пузо. Все! Мы теперь с вами — кашица в утробе какого-то дьявола. Обрабатывает нас желудочный сок, потом поползем мы по кишкам, по двенадцатиперстной, по тонким, толстым, по прямой. Вот что мы такое.

Сергей Львович вынул из кармана коробочку с сахарином, подцепил на ложку беленькую таблетку, бросил ее в свой стакан. На мгновенье остался неподвижным. Потом протянул коробочку Старцову.

— Благодарю вас, привык без сладкого.

Сергей Львович аккуратно закрыл коробочку и неожиданно, по-детски скоро, прослезился:

— Вы говорите, почему все равно? Ну что Алексею до меня за дело? Хорошо еще, что уведомил. А то прислал бы в одно прекрасное утро четверых сопляков с записочкой: посылаю вам, дорогой папочка, ваших внучат на попечение, сам еду в путешествие. Вы думаете, в летчики он пошел по-другому? Явился как-то, говорит: «Прощайте, еду на фронт, может, голову сверну, не увидимся».— «Как голову свернешь, когда ты мичман российской службы?» — «Эк, отвечает, спохватились! Я уж полгода как на гидроплане летаю, а теперь на фронт инструктором назначен». Что остается отцу делать? Благословил. А как прикажете сейчас поступить? Благословить его с Культяпкиной, Раздор-Запольской! Все равно наплюет — что благословляй, что нет. Это еще счастье, поверьте мне, счастье. Другой у меня сын есть, младший...

Сергей Львович вдруг встал, поднял руку и прокричал куда-то в угол:

— Отрекаюсь! Перед богом и перед людьми отрекаюсь! Нет второго сына! Был, но умер, превратился в тлен, в прах, исчез, погиб, погиб...

Он рухнул в кресло, ударился головой о край стола, всхлипнул, опять ударился головой, задергался:

— Погиб Левочка, погиб!.. Подлец несчастный, подлец!.. Пропал совсем!..

Старцов привстал, шевельнул губами, сел, снова поднялся. Но Сергей Львович встряхнул головой и вдруг спокойно:

— Недостоин, негодяй, упоминания, не то что слез. Вот почему говорю я, что все теперь полетело к черту. Дети стали предателями, и отцы почерствели. Без сожаления, без слез, без сердца, черствы и холодны, вот как эта плита. Да, вам, постороннему человеку, я со спокойной душой, как рапорт пишут по начальству, как доктор больную руку отнимает, говорю: мой сын Лев — вор! Не как-нибудь иносказательно, а просто по-настоящему — вор. Отца обворовал, тетку обворовал, знакомых обворовал. Вчера из уголовного розыска приходили искать бывшего дворянского сына Льва Щепова, попавшегося в краже. Часы украл, три костюма, белье, шубу енотовую, ложки серебряные. Я три замка к двери приделал: каждый день покража. Засаду устроил, в шкафу у меня сыщик сидел, когда я на службу уходил. Три дня сидел. А потом мне ухмыляется: товарищ Щепов, простите, говорит, но тут — свой. Я тогда Льву пощечину дал и выгнал. Он пошел к тетке ночевать и обокрал ее. Это я вам говорю, постороннему человеку. У меня сына Льва нет. Отболел, как парш. Вместе с людьми отболел, люди для меня теперь — воры, предатели, сволочь!

За черным окном глухо лязгало разорванное железо водосточной трубы. Тоненькая вьюшка железной печки звякала озабоченно где-то под потолком — ветер то всасывал ее, то толкал. Сергей Львович размешивал в стакане чайной ложечкой сахарин.

— Он, что же, по-советски женился?

— Не знаю. Думаю — да,— ответил Старцов.

— Тогда бог с ним.

Старцов засмеялся. Сергей Львович взглянул на него быстрыми глазами, сузившимися и скользкими, словно только теперь вспомнил, что надо разглядеть гостя.

— Андрей... Как вас по батюшке?

— Геннадьевич.

— Вы по делам сюда, Андрей Геннадьевич?

— Я мобилизован. Прибыл в здешнюю армию.

Сергей Львович перепрыгнул взглядом на прикрытый шкафик с продуктами.

— Я бы пригласил вас остаться переночевать... вот и Алексей просит в письме... Только в комнате градуса два... Топлю я в одной конурке...

— Ничего, укроюсь...

— Ну, если не боитесь...

Старцов лег на кожаную кушетку, как был, как ложился все эти ночи — в теплушках, на вокзалах, в московской казарме,— в шинели, сапогах, с мешком под головой.

Сергей Львович осмотрел шкафик с продуктами, запер его на ключ, навесил никелированный замочек, взял под мышку «Избранника госпожи Гюссон», в руку — лампочку «экономия» и пошел в спальню. Там, в изголовье, на столике,— часы, вделанная в перламутр зажигалка, чехол для пенсне, «Избранник госпожи Гюссон», серебряная папиросница в монограммах и маленький кусочек — всего один квадратик — старого, довоенного шоколада. Сделав из одеяла конверт и забравшись в него, Сергей Львович вздохнул, вытянул руки и на минуту закрыл глаза. Потом, перерожденный, медленно вложил в рот квадратик шоколада. Опять закрыл глаза. Потом закурил, затянулся глубоко дымом и, повернувшись на бок, взял со столика книгу.

Размеренный лязг железной ошметки за окном был здесь чуть слышен.

ОКОПНЫЙ ПРОФЕССОР

— Послушайте, послушайте, стучат!

Старцов попробовал поднять веки. Они были тяжелы, как крышка оцинкованного сундука.

— Андрей Геннадьевич, стучат!

Не шевелясь, Старцов сказал:

— Ну что же.

— Я думаю, если обыск...

И опять так же произнес Старцов:

— Пускайте, пусть...

Он слышал, как торопливо зашмыгали по полу туфли. Дальше, дальше. Остановились. Вновь зашмыгали. Ближе, ближе.

— Андрей Геннадьевич, ведь вы не прописаны!

— У меня бумаги. Объясню...

По стенам покатился гулкий стон. Туфли заторопились. Но тотчас, словно отшмыгнув небольшой круг, шлепнулись опять под самым ухом.

— А если налет... налетчики... знаете...

— У меня маузер,— сказал Старцов и открыл глаза.

Сергей Львович стоял перед ним, накинув на плечи шубу, в длинной, до колен, ночной рубахе и трикотажных полинялых кальсонах, обтягивавших худосочные икры. В руке у него дрожала лампочка, обдавая тепленькими всплесками света то подбородок, то нос, и лицо Сергея Львовича казалось то жирным, то странно худым.

— А разрешение есть? — тихо спросил он.

Стены застонали гулче. Сергей Львович кинулся отпирать. Неясные звуки коротко переплелись и затарахтели по комнатам. Потом вдруг зажалобился тонкий голос:

— Я шестнадцать часов в сутки работаю! Шесть на службе, шесть дома, четыре в очередях стою, да дежурства, да трудовая повинность! Мне пятьдесят два...

Кто-то издалека и глухо, как топором по пустой бочке:

— Не задерживайте, гражданин!..

У Сергея Львовича скатилась с плеч шуба, и он старался поймать ее одной рукой, крутясь, точно молодой неуклюжий дог, ловящий свой хвост.

— Среди ночи гонят к чертовой матери рыть окопы! С ножом к горлу! Мало, что мы выгребные ямы чистим, дрова рубим, черт-е-знает, в очередях стоим... За желатин землю копать? Да на кой мне...

— Сколько сейчас времени? — спросил Старцов.

— Три часа. Три часа ночи. Разве...

— Знаете что? Я пойду вместо вас. Я выспался.

Сергей Львович поднес лампочку к лицу Старцова.

— Ступайте скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе и...

— Посильней, конечно, посильней! Вон у вас плечи-то,— перехватил Сергей Львович.

Он выпалил эти слова на ходу, запахивая шубу и устремившись к двери.

Провожая гостя, благодарно и умильно напутствовал:

— Желаю вам, желаю... Заходите. Если задержитесь —переночевать, пожить даже: я ведь совсем один. Очень рад...

У самой двери он придержал Старцова за рукав, встал на цыпочки и шепнул:

— Видно, там плохо!

— Где?

— А там...

— Вот посмотрю,— ответил Андрей и сбежал по лестнице в темноту.

На дворе, под мутным пятном закопченного фонаря, шла перекличка.

— Квартира двадцать седьмая?

— Есть! — крикнул Андрей.

И глухо, как топором по пустой бочке, ударил голос:

— Откупился!

Потом темная глыба заслонила от Андрея фонарь, и тот же голос ухнул над головой:

— Документ!..

В мокрый, глухой туннель, в черную прорву холода ввалились немым скученным табуном. По шелухе железа, где-то над головами татакали, как цепы по току, быстрые шаги. Подняв воротники, руки — в рукава, спины — горбами, лицами в землю, под ноги — вперед, неизменно вперед, только вперед, в черную прорву холода.

И вдруг — в спины, в затылки, в шеи, под ноги — носами, животами, коленями, друг в друга — все до одного, до последнего. И спереди:

— Стой, сто-ой, сто-о-о-ооо!

Потихоньку, на ощупь, щурясь, пяля вперед, в бока, назад локти, руки, пальцы — толпа начала растекаться вправо и влево. А спереди:

— Че-ррр-т! Напоролись!

— Куда ты перла-то, прости господи?

— Да ведь товарищ ведет; я думала, он знает дорогу...

— Думают петухи... Вон у меня полы-то как не было!

— Вы бы сами...

— Ха-ха!

— С левой руки, граждане, вот на спичку, отсюда!

— Не воевали, а ранились!

Обходили, как слепцы — не табуном — человеческой толпой, с человеческим смехом,— невидный деревянный козел, запутанный проволокой. Чиркали спичками, выбивали беленькие искорки из зажигалок на потеху ветру.

За поворотом, в пространстве, нежданно высветился восходящей луною часовой циферблат. Был он гладок, чист, четок, окружен беспредельной чернотой ночи, светился, не давая свету, и показывал три четверти восьмого.

От этого циферблата люди пошли бойко и гомонили не унимаясь.

— Престранные бывают ассоциации,— услышал Старцов негромкий голосок. Он вгляделся в темень. Рядом с ним поспешал силуэтик ростом ему по плечо.

— Престранные. У меня знакомый один, хранитель музея. Владелец единственной коллекции миниатюр восемнадцатого века и библиотеки по истории миниатюры. Теперь впал, конечно, в нужду, распродал мебель, утварь, пустяки всякие. Дошел до последнего: с чего начать — с миниатюр или с библиотеки? Помучился, помучился — начал с библиотеки. И знаете, с этого дня все позабыл, все, что в книгах было, и вообще хронологию, эпохи, стили — всё. Только смотрит на свои медальоны, фарфор да эмаль,

улыбается, светится — и все. А о чем ни начнет вспоминать — путает.

— О какой ассоциации вы? — спросил Андрей.

Тихонький голосок из непроглядной тьмы, из-за гомона людей, из-за свиста железной шелухи, точно извиняясь, посмеялся над самим собой.

— Это я про электрические часы. Вот светятся еще, и всё еще будто часы, а стрелки уже остановились, стоят, не шелохнутся. Светятся, а потухнут, непременно потухнут...

— Ерунда! — вдруг вырвалось у Андрея, и он тут же вспомнил, что это слово — не его и что Голосов произносил его по-другому.

— Они на прямом кабелю, оттого горят! — донеслось сзади.

Остановились все в той же холодной прорве, казалось без причины; казалось, можно было остановиться много раньше, а можно было идти еще. Красненькая воронка света из пригоршни ткнулась в широкое лицо, исполосованное морщинами, рябое. Потом на месте лица заалел огонек папиросы. К огоньку подобрался рукав, огонек раздулся, осветил ремешок часов.

— Без десяти,— ухнула глыба.

Где-то заклохтала темнота, дорога вздрогнула, заколебалась; шагах в двухстах из земли выросла белая колокольня, рядом с ней — развалины, мертвенно-холодные в дрожи прожектора; потом клохтанье перешло в гул, в гвалт, в гром, в грохот, и, метнув саваном по домам — от церкви, через развалины, с дома на дом, чем дальше, тем скорее,— прямой разящий рупор света ударил в лица и ослепил.

С громыхающего гороподобного грузовика, преодолевая треск и трепыханье, пронзительно проорали:

— Сколь-ко лю-де-ей?

— Тридцать.

С визгом и звоном посыпались лопаты, подскакивая, привставая на мостовой.

— Четыр-надца-ать! Валяй еще-о-о!

— Хватит!

И опять заходила земля под ногами, опять зацапал мертвенно-холодный прожектор дома, руины, заборы; потом сразу опрокинулась и наглухо прихлопнула людей черная прорва, и все ослепли.

— Разбейсь напополам.

Ходили на развалины кучками, взявшись за руки. Там изводили спички, искали балок. Невидимо откуда наволокли со всех сторон щеп, досок, дранок, рам, фанеры, подкатили мокрое бревно. У концов его, упрятанных в щепы, распалили костры.

Гулкая глотка ухнула нетерпеливо:

— Ну что же, граждане, встали?

Тогда чья-то большая рука, дрогнув в робком свете костров, тяжело поднялась ко лбу, опустилась на живот, махнула от плеча к плечу, и спокойный голос позвал:

— С богом, товарищи!

И тогда десяток-другой спин медленно пригнулись к земле.

У забора, сколоченного из вывесок, куда отошла смена, разворотив мостовую, гукало и шуршало железо. Андрей распахнулся, вытер рукой потную шею, присел на асфальт. Женщина, перетянутая ремешком, неловкая, тучная, отдуваясь, счищая обрывком ржавой жести липкую грязь с ладоней, спросила:

— Ну как, профессор, камни-то ворочать?

Человек ростом Старцову по плечо потянулся, точно просыпаясь, и рассмеялся:

— А знаете — хорошо! Я не могу вам точно передать, что я чувствую. Иногда идешь по улице, поднимешь невзначай голову, вдруг — небо! Так станет на душе удивительно. Годами не видишь, не замечаешь, как будто нет ничего. И вдруг прикоснешься. Оказывается — небо!.. Вот что-то такое...

— Оказывается — назём.

— Совершенно верно — назём, грязь. А прикоснуться — радость.

— Я понял бы, если бы — пафос,— раздалось прерывисто, с одышкой.

Тучная, неловкая спохватилась:

— Вот именно! В феврале баррикады строились сами. А сейчас — казарма.

Одышка добавила:

— Главное, защищаем что? Право на разрушение.

— Разрушение,— отдалось сзади.

— Разрушение,— колыхнулось спереди.

— Пафос,— сказал профессор, вглядываясь в Андрея,— пафос — это час, день, неделя. Пафос — это припадок. Нельзя, чтобы народ бился в припадке целые годы.

— А зачем нужно, чтобы бился?

— Профессор, ведь культура...

— Культура,— отдалось сзади.

— Культура,— колыхнулось спереди.

И опять, точно посмеиваясь над самим собой, извинился профессор:

— Я, знаете ли, изучая историю, не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии,

города или государства. Не мог. И я совершенно спокоен: биологии, истории, искусству, физике, вообще знанию, накопленному человечеством, сейчас ничто не угрожает.

— Идеи можно мыслить только в человечестве. А человечество обречено на взаимное истребление.

— Истребление,— отдалось сзади.

— Истребление,— колыхнулось спереди.

— Я не вижу этого,— возразил профессор.

— А как же,— спросил Старцов,— насчет часов?

— Каких часов?

— Там, на перекрестке. Горят — но потухнут, непременно потухнут...

— Про хранителя музея? Но ведь это — чувство, человеческое чувство! Господа! (Профессор воскликнул: «Господа!» — но обратился к одному Андрею и говорил с дружеской укоризной.) Кто же будет отрицать, что нам больно смотреть на собственную смерть?

— Смерть,— подхватила одышка.

Забор из вывесок загромыхал и взвыл, заглушив негромкую речь. Костры притухли, потом на мгновенье залили людей красным пламенем и ровно приземлили огонь.

Насыпь подымалась в длину всего окопа, от тротуара к тротуару, поперечной прямой линией. Когда в окоп входила смена, лопаты двигались вяло, земля скатывалась по насыпи назад в яму. Потом крутые комья торопливым градом катились через гребень насыпи к кострам, засыпая развороченный булыжник. Обшарканное железо лопат дзинькало по грунту, как косы по росному лугу, люди распалялись и работали зло.

В шесть утра человек, голос которого ухал точно топором по пустой бочке, спрыгнул в окоп, примерился глазом на насыпь, прошел из конца в конец, вылез на мостовую, ухнул:

— Ладно, граждане! Спасибо!

— Республика, стало, благодарит? — произнесла одышка.

Кто-то верещаво вздохнул:

— Вску́ю, господи!

Отряхивались, отчищались, отскабливались, делили остатки щеп, тушили дымившие головни в лужицах, посмеивались, в последний час ночной тьмы вступили шумной ватагой.

Старцов ушел далеко вперед. Голоса позади него растаяли, город суровым безмолвием отзывался на его шаги.

Вдруг он расслышал впереди себя обрывочки бравурного напева. Он насторожился, пошел быстрее, ступая одними подошвами.

Силуэтик ростом ему по плечо, засунув руки в глубокие карманы, весь сжавшись и уйдя в пальто, ввинчивал в каменные плиты скорые, короткие шажки и решительно мурлыкал:

Aux armes, citoyens! [1]

Старцов подхватил:

Formez vos bataillons! [2]

Профессор живо повернулся на каблуках, как-то по-птичьи вперил глаза-угольки в Старцова, коротко воскликнул: «А, это вы?» — и, стремительно схватив его под руку, дергая за рукав в такт песне, точно понукая подтягивать, точно стараясь растеребить, раскачать Старцова, почти громко продолжал:

Marchons, marchons... [3]

И ввинчивал чеканно, маршево, восторженно короткие звонкие шажки в мокрые плиты.

Так в вымершем, промозглом, шелушившемся железной шелухой городе, в последний час ночной тьмы, шли двое, взявшись под руку, с песней, которой нет равной. И когда кончилась песня, один сказал:

— Еще один раз родиться, еще один раз, боже мой! Через сто лет. Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии! Ведь вот — смотрите! смотрите! — ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора, обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа человечество в антиминс зашьет, как мощи, как святая святых!.. Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды, сырой, холодной ночью, в Петербурге, в Петрограде, в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот,— смотрите! — вот этой рукой держал вот так красноармейца! Ведь вы красноармеец?

— Я еду... То есть... я должен сегодня получить назначение...

— Вы, может быть, увидите еще... Я, конечно, не выживу, не гожусь. Животу, мамону, зверю сейчас тяжко. Если бы вы могли себе представить, как иной раз досадно,— до слез, знаете ли! Может — старческое. Да, старческое. Вот и... Позвольте с вами...

---

[1] К оружию, сограждане! *(франц.)*
[2] Стройтесь в ряды! *(франц.)*
[3] Вперед, вперед... *(франц.)*

Внезапно профессор очутился перед Старцовым, обхватил одной рукой его затылок и трижды прижался к щеке дрожащими губами.

— Мне налево. Не обижайтесь. Счастливо!

И юркнул за угол.

Андрей остановился.

Лицо его опалил горячий воздух — так ясно, отчетливо, ощутимо, что он вздрогнул. Воспоминанье было неожиданное и ошеломило его. Из всего, что произошло на вокзале в Семидоле, что случилось в этот последний прощальный день, только одна черта, одно неуловимо короткое чувство отложилось в памяти. Остальное скаталось в сплошной клубок:

Сумерки, нестройные голоса, свернутые — для удобства — плакаты и знамена, толчея на узкой платформе вокзала. Под ногами качающийся от выкриков скрипучий ящик, потом деловые, торопливые поцелуи с товарищами, их лица — как будто застенчивые, виноватые; потом беготня по черным запутанным путям и дорога в город — дорога одинокая и длинная. Все это — сплошным клубком, заслоненным ясной, неотступной волей,— да, волей, желаньем, хотеньем пережить еще раз чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином,— чувство бесплотности.

Но вот что разорвало непрерывность воли, что литым мячом откинуло в сторону весь этот день, последний в Семидоле день,— и вот что сделало этот день прощальным:

Ночь была холодная. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура вспрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.

— Рита! — вскрикнул Андрей.

— Я хотела, чтобы никто не видал,— задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук и нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:

— Прощай!

Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и

убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда,— должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:

— Гони!

И вновь заслонилось все ясной волей — еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.

— Гони, гони, гони!

И теперь, в холоде ночи, от холодного прикосновения чужих губ, отчетливо, ощутимо опалил лицо горячий вздох, и воспоминанье последнего дня, ставшего прощальным, было горько. Но так же скоро горечь смылась неотступной волей — испытать! И Андрей ринулся в темноту, крикнув самому тебе:

— Гони!

О, если бы сейчас он был на месте шофера, который выгнал из-за угла громыхающую машину, промчал ее на два пальца от чугунного столба, окунул в лужу, подбросил в воздух, выпрямил, выправил, вбил в бесконечную прямизну проспекта и погнал в вихре брызг, в свисте колес, в треске мотора, в шуме, грохоте, громе! Каждая секунда — смерть, на каждой выбоине — смерть, в каждой яме — смерть, у каждого столба — смерть, на повороте — смерть, на прямой — смерть! И прекрасно, прекрасно, потому что ничего, кроме — так нужно; ничего, кроме — необходимо! Прекрасно, легко, бесконечно легко! О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Саньшином!

— Гони, гони, гони!

КОНРАД ШТЕЙН

В тот день, в Москве, к дому, где помещался Германский совет солдатских депутатов, подошел человек в пушистой заячьей шапке, в порванной грязной шинели германского образца и голубых австрийских обмотках на ногах. Он потолкался в вестибюле, перечитал объявления и записочки, наколотые по стенам, и пошел на второй этаж.

В комнате, где толпились оборванные люди, он стал в очередь. С полчаса он продвигался вперед с видом человека, привыкшего ждать, усталого и безразличного. Подойдя к столу, он снял шапку. Волосы его были очень коротко обстрижены, и по голове, от правого уха к затылку, протянулся широкий шрам, усеянный смор-

щенными розовыми рубцами. Он держался прямо, как хороший солдат, и звонко стукнул каблуками, когда человек, сидевший за столом, поднял на него глаза.

— Я отстал от эшелона, возвращающегося на родину. Вот мои документы. Прошу присоединить меня к ближайшей партии. Я должен был...

— Откуда шел эшелон?

— Из Семидола.

— Как же вы отстали?

— Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов восемь. Я ходил в деревушку в двух-трех километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. За всей этой русской суматохой, пока я узнавал...

— Где это было?

— В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком, до Москвы.

— Вас зовут?..

— Конрад Штейн.

Поводив пальцем по спискам, человек, сидевший за столом, закурил папироску и сказал:

— Да, есть. Это было в конце октября?

— Эшелон погрузился в Семидоле двадцать четвертого октября и отправился двадцать пятого.

— Одна минутка,— произнес проверявший списки, поднялся и вышел в соседнюю комнату.

Пожилой бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково вгляделся в Конрада Штейна и, показав глазами на его шрам, сказал:

— Хорошо сделано. Осколок?

— Французская работа,— отозвался Штейн,— в Шампани, в пятнадцатом году.

— Хорошо сделано,— повторил солдат.— Вы саксонец?

— Да.

Дверь соседней комнаты открылась, и человек со списками в руках выкрикнул:

— Конрад Штейн, зайдите сюда.

Когда Штейн поравнялся с ним, он добавил:

— Доложите секретарю, что вы мне говорили.

И стал в дверях.

Секретарь мельком взглянул на него и сказал:

— Вы можете идти, товарищ.

Потом сухо обратился к Штейну:

— В каком лагере вы содержались?

— В Томском.

— До какого времени?

— Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь...

— Прошу вас отвечать на вопросы. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами, и наш долг помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь.

— Но ведь я уже был включен в эшелон!

— Я знаю. Когда вы были взяты в плен?

— Я тяжело болен, вы видите.— Штейн показал на свой шрам.

— Когда вы были взяты в плен?

— В феврале семнадцатого года.

— Где?

— Под Ригой.

— До какого времени вы содержались в Томске?

— Точно не припомню. Весной этого года. У меня, видите? — Штейн снова показал на голову.

— Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола.

— Это записано в документах.

— Каким образом вы очутились в Семидоле?

— Шесть человек бежали из Томска, в числе их — я.

— Как вы проникли через фронт?

— Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до Семидола.

— А белые?

— Белых мы обошли.

— В гражданской войне вы не участвовали?

— Нет.

— Вы рядовой?

— Я ефрейтор.

Секретарь встал и направился к дальней двери. Дойдя до нее, он быстро обернулся и спросил:

— А вы не знавали некоего цур Мюлен-Шенау?

Ефрейтор сморщил брови, поднял глаза к потолку, помычал.

— Нет, не припомню,— спокойно ответил он.

— Как вас зовут?

— Конрад Штейн,— сказал ефрейтор.

Секретарь вышел.

Тогда Конрад Штейн бросился к двери, через которую перед тем вошел, остановился на одно мгновенье, затаил дыханье, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку.

В комнате, где толпились оборванные люди, у стола никого не было. Из телефонной будки доносился чей-то раздраженный тонкий крик.

Конрад Штейн положил на дно шапки свои документы, нахлобучил заячий мех на глаза и стал пробираться к выходу. Бородатому солдату в башлыке вокруг шеи, ласково взглянувшему на него, он скучно сказал:

— Пойду покурю, пока там возятся с бумагами.

И тихо спустился по лестнице. На улице он скользнул за угол, бросился к трамвайной остановке и затерялся в невзрачной толпе.

А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек с большой белой головой и, пропустив мимо себя звякавший сцепами, поскрипывающий состав, прилип к затылку последнего вагона у буфера, под слепым глазком красного фонаря.

ВРАГ У ВОРОТ!

Штаб был освещен, и по замызганным, обшарканным лестницам бродили, бегали, метались люди. Через распахнутую дверь рвались телефонные звонки и охриплый, замученный голос клекотал поминутно:

— Слушаю... для поручений...

— Говорит для поручений... у телефона для по-ру-че-ний!

В круглой высокой комнате плавал в табачном дыму и в бумажных ворохах сонный человек. Мусоля пальцы, он перебирал и перекладывал картонные карточки, бумажки, бумаги, подносил к губам эмалированный чайник, сосал оббитый носик, потом долго таращил глаза — с растолстевшими веками и обескрашенными зрачками — и опять перекладывал бумажки.

— Вам когда сказано явиться? — спросил он Старцова, не отрываясь от бумажек.

— В девять.

— А сейчас сколько?

Он весь обвис — усы полезли в рот, щеки сползли на нижнюю челюсть, длинные волосы занавесили лоб, глаза, уши,— но неустанны были руки, перебиравшие карточки, бумажки, бумаги.

— Постойте,— крикнул он уходившему Старцову,— есть! Это на Французской набережной.

Старцов взял бумагу, сунул ее за обшлаг и — мимо бродивших, бегавших, метавшихся людей, сквозь разнотонный треск звонков и клекотавший хрип: «для по-ру-че-ний!» — вышел на площадь.

Над дворцом струилась неровная белизна рассвета, но сам он, Александровский сад, разогнутая подкова штаба, все еще стояли

сплошной серой стеной, обрубая скрещенные лапы автомобильных прожекторов.

Андрей окунулся в туман. Он шагал широко и уверенно, подбодряемый холодным ветром, заползавшим под воротник и в рукава.

Он торопился навстречу делу и верил, что все в мире станет простым и ясным, если он прикоснется к нему. Ему казалось, что чувство, поднявшее его над землей, как ветер клок бумаги, хоронится где-то совсем близко и вот-вот ворвется в него, чтобы опять закружить в своей воронке. Откуда мог он знать, что его попутный ветер дует с берега, к которому он старался причалить? Откуда мог знать, что с того часа, как он переступит порог ослепшего от дождей дома, каждый его день ляжет горою между ним и его простой, ощутимой целью?

Он открыл отсыревшую дверь и поднялся по лестнице с пропитанной грязью ковровой дорожкой.

В большом зале горела бессильная электрическая лампочка. Рыжий свет ее падал на длинный ряд ломберных столиков, выстроившихся вдоль окон.

— Са-ла-ват! — донеслось до Андрея жесткое гортанное слово.

Он обернулся. В углу, на крышке концертного рояля, лежал человек лицом вверх, с телефонной трубкой у рта.

— Салават! Салават! — кричал он так, что у него вздрагивал живот и дергались ноги.

Андрей посмотрел в дальний угол зала. Ему показалось, что там никого не было. Но в бледном, пробивавшемся через окно свете он вдруг различил силуэт солдата. Штык торчал над его головой прямой, четкой линейкой. Солдат стоял подле бесформенной черной кучи, выраставшей из пола. Андрей подошел ближе. На высоком приступке с ниспадавшими складками материй, обложенный венками, стоял гроб. Солдат, державший караул, крепко спал.

— Выпускающий «Салавата»? — вскричал человек на рояле и тут же жарко заторкал в трубку жесткими, невнятными словами. Потом соскочил с рояля и произнес, уже обращаясь к Андрею:

— Вот сволочи, до сих пор не спустили в машину!

— Что?

— Да «Салават»! Газету, черти! А вам что надо?

— Не знаю, туда ли я попал. Мне нужен начальник...

— Начальник? Вон туда.

И короткий палец показал Андрею в дальний угол, на гроб.

— Он умер? — спросил Андрей.

— Да нет же, это совсем другой! Там вон, дверь.

Красный, бегавший по стенам свет прыгнул Андрею на грудь,

колыхнулся по лицу и соскользнул на пол. У камина, на просторном ковре, поджав под себя ноги, сидели трое. Скуластый черный человек с маслеными прямыми прилизанными волосами круто дернулся головой к Андрею и спросил с качким восточным акцентом:

— Что надо, товарищ?

Андрей подошел ближе и протянул свои бумаги.

— Хорошо, нам надо такой работник,— сказал черный и кольнул Андрея меткими глазами.

Двое других мельком покосились на Андрея и замурлыкали монотонную песенку, громко вздохнув.

— Хочешь подождать — можешь подождать в другой комнате.

— Вы назначите меня в часть? — спросил Андрей.

— Зачем в часть, почему в часть, если я говорю, что нам надо такой работник?

— Но я выражаю желание идти на фронт, а не оставаться здесь.

— Товарищ дорогой, я тоже выражаю желание, чтобы ты остался здесь. Здесь тоже фронт, а не что другое.

— Я хочу в передовые части, товарищ, меня за этим и послали.

— Какой разговорчивый, какой разговорчивый, дорогой! — воскликнул черный и показал Андрею довольный, блестящий оскал.— Так вот я сообщаю, что здесь передовая часть, сейчас может стать передовая часть в самом Петрограде. Оружие есть?

— Маузер.

— Поди чисти свой маузер.

— Он смазан, чистить его нечего.

— Какой разговорчивый!

Черный вскочил на ноги, хлопнул себя по ляжкам и подошел к Андрею. Был он строен, гибок и узкогруд, и в том, что он сказал, неожиданно зазвенела серьезность, углубленная не вязавшимся со словами акцентом. Он сказал:

— Молодой товарищ, революция знает, что надо делать с тобой, со мной, вон с тем, с другим. Я тоже не хочу сидеть в этой комнате, холодной, высокой, тут от пола до потолка пять верст! Революция знает, что я, начальник, здесь должен, у паршивого камина. Подожди в другой комнате. Ты будешь помогать хоронить убитого командира.

Он хлопнул Андрея по плечу.

— Надо хорошие похороны,— это хороший красный командир!

Вошел и остановился в дверях вестовой. Начальник шагнул ему навстречу, и вдруг каскад неудержимых гортанных вскриков обвалился на вестового и, казалось, сшиб его с ног; он попятился и сел в кресло. Тогда черный кинулся к нему, затормошил его за

плечи, захлопал по груди, принялся дергать пояс. Вестовой протянул начальнику короткопалую руку ладонью вверх, начальник хлопнул по ней и устремился к камину. Там все еще раскачивались и мурлыкали песню его двое товарищей. Он уркнул что-то им, они обернулись на вестового и крикнули короткое слово. Вестовой поднялся, произнес то же слово и вышел. Тогда начальник подошел к Андрею.

— Я говорю ему: почему даешь моей кабыле белую попону? Я не белый армеец, я красный армеец,— давай красную попону, красную звезду, красное седло! Зачем белое?

Он радостно захохотал и протянул Андрею руку.

Андрей схватил эту руку — цепкую, сильную и сухую,— пожал ее и повернулся к двери. Когда он, сделав несколько шагов, остановился посреди комнаты, на лице его тенью отразилась призрачная, радостная, лукавая улыбка черного человека.

Он начал работать.

Телефоны, пакеты, бумаги, телеграфные сводки, какие-то книги и ведомости, какие-то актеры и каптенармусы, что-то вдруг холодное, как студь, ползущая из двери по паркету, или маркое, как шелковый колпак на лампе, чьи-то горести, чье-то счастье, конюхи, лекторы по истории первобытной культуры и дивизионные врачи, барышни в заячьих шубейках и художники в валяных сапогах, что-то необъятное и вдруг что-то мизерное — все это закружило и укачало его, как баркас, и он плыл, утопал и выкарабкивался, чтобы опять плыть и утопать.

Он опомнился в сумерки, в толпе обступивших красный гроб скуластых людей, у самого гроба, подле черного, как траур, начальника. Освещенный угольными лампочками зал — в панно, гобеленах и тяжелых картинах — гудел привычным напевом. Но песня пелась на короткозвучном, хоркающем, как вальдшнеп, языке, и напев получался тоскливый, как степь. Андрею показалось, что на скуластых, недвижных, кованных из меди лицах чересчур часто закрывались и мигали раскосые сухие глаза.

Он вышел на набережную, когда клейкая темень прилипла к мрачным слепым домам. Он постоял на дороге в нерешительности, поворачивая голову по сторонам, потом нахлобучил папку и зашагал к Литейному мосту.

Ночью новый штабарм приступил к работе.

По стенам, заборам и столбам бились подвешенные на тесемках и шпагате телефонные провода. На них позвякивали деревянные ярлыки Зимнего, Смольного, дивизионных штабов, Петропавловской крепости.

Черновик донесения был написан без помарок, чернильным карандашом, на двух листах. Когда первый покрылся крутым

строем букв, в дверь ударил голос, который был сразу словлен и придушен телефонным звонком:

— Переписать!

Второй листок кончался абзацем:

При настоящей обстановке, когда части 2-й и 6-й дивизий совершенно почти не оказывают сопротивления противнику, оставляют позиции, что разлагающе действует на выдвигаемые на поддержку им подкрепления, возможно ожидать в самом ближайшем времени перерыва противником Николаевской ж. д. Средства Петроградского укрепленного района мало боеспособны, и оборона его не налажена. Ввиду создавшейся крайне серьезной угрозы Петрограду, прошу о направлении в район Тосно боеспособных подкреплений, в количестве не менее двух бригад, дабы парализовать возможность продвижения противника со стороны Гатчины на Тосно и воспрепятствовать намерению его овладеть Петроградом. Штаб армии переходит сего числа в Петроград.

— Переписать!

Это было первое донесение нового штаба армии штабу Северо-Западного фронта.

Оперативная сводка фронта в этот день гласила,— предпоследний абзац:

В Ямбургском направлении наши войска после упорных боев оставили Гатчину.

Последний абзац:

В Лужском районе под давлением противника наши части отходят на линию Виндавской жел. дороги.

В домах есть лестницы, перепутанные и безлюдные; чуланы, куда, кроме кухарок, заходят одни мыши; сараи, каретники и чердаки с дверями, закрытыми даже для псов; сени, кладовые, тупики коридоров.

Вот по этим лестницам, в этих сараях, на этих чердаках губы шепчут отчетливей и кулаки чуть-чуть показываются из-за пазух. Заброшенность каретника, безмолвие сарая, пустота коридора, где самый опасный свидетель — паук, окруженный пыльными пустобрюхими трупами мух,— преисполняют отвагой души, удел которых — трепет.

Губы шептали отчетливо:

— Из каждого окна — флаги! Национальные флаги!

— С каждого чердака — фейерверк! Торжественный, помпезный фейерверк!

— Из каждого подвала клики освобожденных! Радостные, исступленные клики!

— Из-за каждого угла — цветы! Ароматные, пышные цветы!

— Отовсюду! Отовсюду!

О флагах и фейерверках, кликах и цветах шептали губы по чердакам, чуланам, словно в ответ на приказ, который поднял на дыбы окаменелую столицу. В каретниках, сараях показывались втихомолку кулаки — наперекор призыву, расклеенному по улицам и убеждавшему граждан, что у гигантского города хватит пулеметов, гранат, винтовок, наганов, и для разгрома белогвардейцев нужно только, чтобы несколько тысяч человек решили не сдавать Петрограда.

Несколько тысяч человек решили.

Но Литейный, каким застал его Андрей, словно не знал этого.

В вязкой темноте проспекта приплюснутые туманом люди волочили за собой мешки, узлы, корзины.

Бросались в стороны, прилипали к помятым, продырявленным трамваям, вырывавшим своими отвислыми буферами торцы и камни из мостовой.

Обезумевшими глазами хватали с обрывков нового приказа на стенах бесстрашные слова:

ЗА ДЕЛО!
ВСЕ В РЯДЫ!
БЕЙТЕ ТРЕВОГУ, ВРАГ У ВОРОТ!

Перехватывали половчей мешки, подбирали хлопавшие по грязи полы, рассыпались цепью вдоль трамвайного полотна.

Спасались.

И вдруг среди этих бредивших погибелью беглецов Андрей увидел женщину, переходившую дорогу с размеренностью заведенной куклы. Женщина шла под зонтом. Она была повязана косынкой, и платье ее было опрятно. Свернув неторопливо зонтик, она наклонила голову и зашла в подъезд. Андрей двинулся за ней.

Над дверью под хмурой лампочкой он прочел:

ЗАЙДИ И ПОСЛУШАЙ
СЛОВО ЕВАНГЕЛЬСКОЕ,
ЗОВЕМ ТЕБЯ.
ВХОД ДЛЯ ВСЕХ СВОБОДНЫЙ.

За скамьями, расставленными, как в театре, в полутьме сумрака кучились коленопреклоненные женщины. Со школьной кафедры говорил широкогрудый человек. Слова его были раздельны, но не вязались ничем, кроме голоса — приглаженного и крадущегося, подобно тихим движениям проповедника.

...Деятельность совести нужна нам, чтобы человек не успокаивался на ложных перинах нашей жизни. А я знаю, искупитель мой жив, как сказано у пророка Иова. Братия и сестры,

вечность гарантирована нам, станем за Христа. Потому что сказано в Послании к коринфянам: пасха наша — Христос заклан за нас. Помолимся же, братия и сестры, совместно о наших скорбях и текущих потребностях...

Оратор скрестил руки на кафедре и положил на них голову. Черные кучки за скамьями колыхнулись и притихли. Чей-то придушенный голос забормотал невнятное. Потом из бормотания выкарабкались и заплескались по комнате прерывистые слова:

— Дорогой господи, я женщина бедная...

— Господи, дочь у меня слабая...

Вдруг в плеске выкриков и всхлипываний Андрей расслышал странно знакомый голос. Он вслушался в него, шагнул вперед, отыскивая говорившего. У самой кафедры он различил высоко закинутую голову. Пенсне на носу дрожало и ползло вниз, вспыхивая радужными искорками, а голова поднималась с каждым словом выше и выше:

— Господи! Прости моего сына Льва и наставь его на путь правый... Сына Льва... Моего сына Льва, обокравшего отца и родственников, господи... И моего другого сына, Алексея... господи...

Кто-то захлебнулся в приступе рыданий, и сразу визгливые вопли завертелись над дергавшимися наклоненными головами в черных косынках.

И только одна голова была неподвижна, как камень: голова проповедника, лежавшая высоко на кафедре, широким затылком к братьям и сестрам.

Как попал сюда Андрей? Что толкнуло его следом за женщиной, похожей на заводную куклу? Где она теперь? Неужели — безликая, неслышная — она появилась, чтобы столкнуть Андрея с дороги, по которой так легко и бодро ступать?

Он бросился к выходу. Упрямые буквы плаката ткнулись ему в глаза:

ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ.

Вон отсюда, вон! На проспект! На проспект! В котловину серых шинелей, в поход, в вечный поход,— да будет этот поход вечным!

Какое-то лицо с растянутыми в проволоку губами, точно ножом, полоснуло Андрея отточенным взглядом и обернулось к красноармейцу, бежавшему вслед за ним.

— Мы еще посмотрим! — расслышал Андрей.

— Еще посмотрим! — крикнул красноармеец и обрадованно захохотал, рысцой догоняя своего товарища.

— Еще посмотрим,— пригрозил кому-то Андрей, и вдруг на него подуло кисловатым запахом хлеба. Запах был едва уловим, но от него забилось сердце, как от наркоза.

Андрей осмотрелся, чтобы решить, куда идти. Люди двигались поредевшими встречными вереницами. Лица были землисты и плоски. Андрей перехватил взор чьих-то бесцветных глаз. За отупелым, недвижным блеском их он увидал звериную боль голода. И тотчас что-то грузное потянуло его за плечи к земле, и он качнулся.

Голод, голод двигал всем проспектом! — показалось Андрею. Все это смятение, весь этот бег человеческих тел, весь этот нескончаемый поход народа в серых шинелях — бег на месте, поход вокруг черного остова голодной смерти!

Скорее в тайный угол конуры, домой, домой! Туда, где краюха хлеба.

В сумке, которую привез Андрей из Семидола, было еще много хлеба. Так много, что хватило бы на целый вечер и на целую ночь. Но сумка осталась у Щепова на кожаной кушетке. Андрей вспомнил об этом за весь день всего два раза и знал, что пойдет к Щепову, что больше некуда идти. Но было страшно думать, что уже настало время просить о ночлеге.

Он сорвался с места, и проспект привычно понес его по своим промозглым торцам.

В доме, который должен был стать его приютом, на лестнице, у двери квартиры Щепова, Андрей дожидался Сергея Львовича.

Но Сергей Львович пришел не скоро.

Из общины евангельских христиан он возвращался медленно, заложив за спину руки и останавливаясь перед разрушенными домами, чтобы покачать головою. В походке его, одернутой и сломанной временем, еще таилась черта пенсионера: он не спешил, он нес несуетливо свою заслуженную особу четвертого класса.

Прежде чем войти в квартиру, Сергей Львович зашел к председателю домового комитета.

— Здравствуйте,— сказал он, снимая фуражку и присаживаясь.— За копанье окопов полагается фунт хлеба. Я пришел спросить, выписан ли мне хлеб или еще нет?

— Так ведь вы не копали,— ответил председатель.

— Копала моя квартира, согласно списку. В чьем лице квартира копала — это безразлично. Квартиронанимателем являюсь я, стало быть, юридически мне причитается фунт хлеба. Кроме того, теперь не такое время...

И Сергей Львович постучал папироской по ногтю большого пальца.

Петербург готовился к встрече высокого гостя.

Высокий гость, собираясь вступить в столицу, задержался в летних императорских резиденциях. Но гонцы и скороходы уже подходили к столичным заставам, чтобы проверить, готова ли столица принять и чествовать гостя. Гонцы и скороходы редко возвращались от застав в летние резиденции, потому что Петербург — город императорских традиций — нельзя застать врасплох и потому что столица всегда знала толк в обращении с послами высоких гостей.

Петербург готовился к встрече высокого гостя.

Благородные институты — Смольный и Ксеньинский,— искушенные в приемах высоких и высочайших особ, некогда гордые своим прошлым, а теперь уверенные в будущем, с честью возглавляли трепетные заботы и неусыпные труды столицы. Надо было расцветить весь город. Надо было украсить въезд. Соорудить триумфальные арки. Возвести помосты, расставить почетные караулы, выкинуть штандарты и заслуженные знамена.

Чтобы из каждого окна — флаги! С каждой крыши — фейерверк! Из-за каждого угла — цветы!

Ах, из колючей проволоки режется прекрасный серпантин! А из его упругих лент вывязываются легчайшие банты в петличках режиссеров. И разве точеные снаряды, заряженные картечью, не разлетятся пестрым и веселым конфетти? А толстые, набитые морским песком мешки ужели неудобны для сооружения киосков? Когда-то хлопали в таких киосках пробки выдержанного сек'а, но чем же хуже пробок воющий треск хорошо смазанного пулемета?

Благородный Смольный плел и резал колючий серпантин, и благородный Ксеньинский выводил причудливые киоски из мешков, набитых песком.

И вот все было готово, и конфетти, завязанное в стальные сумочки, покойно ожидало своего часа, и из киосков выглядывали головы в красных платочках, и оставалось только дернуть шнур восьмидюймового орудия на Лиговке, чтобы салютовать вступлению высокого гостя в Петербург.

Но высокий гость не вошел в столицу. Он уклонился от чести. Он был неверно понят. Он не искал такой пышной встречи. Он никогда не думал, что его появление вызовет такой подъем. Он ожидал, что все будет проще. Он увидел, что ошибся, и повернул спиной к столице, чтобы уйти навсегда,— бедный, непонятый высокий гость.

А как досадно! Какую жаркую встречу приготовил ему Петербург!

Вот что сказал Андрею человек с качким восточным акцентом, когда нашлось время, чтобы произнести что-нибудь, кроме команды:

— Революции нужен писарь. Ты умеешь писать,— пиши.

Тогда Андрей закричал не своим голосом:

— Я не хочу писать! Мне отвратительно возиться с бумажонками, когда кругом бьются насмерть!

И человек с акцентом ответил покойным голосом, с призрачной улыбкой на скуластом лице:

— Товарищ дорогой, почему ты думаешь, что каждый человек в революции должен стрелять из ружья? Может, вся твоя революция бумажная?

И потом, отходя в сторону, обернулся и добавил почти нежно:

— Революция не любит, чтобы ей возражали. Надо быть всегда веселый...

Правда, и в это время находились люди, не терявшие радостного духа веселости.

Комиссар дивизии, в которой служил Андрей, собрался жениться на беленькой женщине в заячьей шубке. Комиссар был гостеприимен, любил людей, товарищей и братьев по войне. И он захотел справить свадьбу на славу, как справляют этот праздник в степи, на просторе, под небом. У него не хватило лошадей, и он попросил дивизионного врача одолжить ему круглую кобылку, на которой врач разъезжал по городу. Врач одолжил: в городе стало спокойней, войска оправлялись, можно было день-другой походить пешком.

Но день-другой прошли, а кобылку врачу не возвращали. Он все не мог повстречать комиссара и наконец догадался спросить о своей лошади его жену — беленькую женщину в заячьей шубке.

— Кобылку? — удивилась женщина в шубке.— Милый доктор, но мы ее тогда же, на свадьбе, освежевали и роздали гостям! Если бы вы знали, какие у нас были гости!

И она залилась смехом...

Вот если бы Андрей умел смеяться. Может быть, глаза его не ввалились бы тогда так глубоко и походка его была бы тверже и прочней? Но каждый день подбивал его, как ветер — птицу, и все кругом него становилось странным и едва уловимым.

И однажды, в снежный вечер, возвращаясь домой, он остановился на углу и взглянул вокруг себя удивленно, точно его перенесло на эти улицы из другого мира. Мокрый снег бил по бурым облупленным стенам с остервененьем. Люди бежали, казалось, без всякой цели, и во всем, что обступало Андрея, нельзя было поймать смысла, обычного и простого в живом городе.

Какая-то девочка, в отрепьях на голове, в коротком платье, сжав что-то за пазухой, переминалась на длинных, очень тонких ногах подле заколоченной двери. Лица ее не было видно.

— Что вы сказали, гражданин?

Высокий, костлявый человек уставился пустыми глазами на Андрея. Рот его был приоткрыт, и с отвислых полей шляпы на промокшие плечи капала вода.

— Вы, кажется, что-то сказали сейчас? — повторил он.

— Я сказал? — спросил Андрей.

— Вы ничего не сказали?

Высокий человек приблизился вплотную к лицу Андрея и осмотрел его внимательно.

— Гражданин, подайте на кусок хлеба,— вдруг пробрюзжал он, и рот его открылся еще больше.

— Хлеба? — спросил Андрей.

Человек постоял некоторое время молча, с застывшим лицом, с вытаращенными глазами, потом повернулся и быстро побежал за угол.

Прошел старик, с туловищем, наклоненным вперед, и ногами, отставшими от туловища на полшага. Ступни его были обернуты промокшим, тяжелым тряпьем, и на тротуаре позади него оставались следы, как от швабры. Он остановился против девочки и о чем-то спросил. Потом нагнулся к ней и опять что-то сказал. Тогда она пронзительно вскрикнула и бросилась в сторону через дорогу. Тонкие, длинные ноги ее замелькали перед Андреем голыми, блестевшими от воды коленками. Андрей сделал несколько шагов следом за девочкой. Она куда-то пропала.

Хриплый, сначала придушенный, потом резкий, все учащавшийся звон заливал улицу. Не понять было, откуда он шел. Потом внезапно грузный шум накатился на Андрея сверху, с боков, из-под земли и сразу стих, слизнув собою заливший улицу звон.

В тот же момент кто-то подбежал к Андрею и взял его за руку. Он обернулся. Желтый, бессильный, мутный фонарь слепой мишенью смотрел ему в спину. Гвалт охрипших глоток прорезала горластая бабья брань:

— Ч-черт! Я ему звоню, а он — ч-черт, право!..

— Что же это вы? — произнес чей-то тихий голос.

Рука, за которую Андрея, как слепца, отвели на тротуар, осталась протянутой... Потом Андрей что-то понял и захотел кого-то поблагодарить и, как слепец, стал искать протянутой рукой опоры.

И его рука натолкнулась на чьи-то тонкие холодные пальцы. Он схватил их и притянул к себе.

— Благодарю вас,— сказал он.

Испуганный, дрожащий крик хлестнул его по лицу:

— Андрей!

Он сожмурился, как от удара, вглядываясь в черные круглые глаза, стоявшие перед ним.

— Андрей, это ты, Андрей?

Он бросился к женщине, охватил ее голову — холодную, залепленную мокрыми волосами, отыскал губы, прижал их к своим, затих.

— Рита,— проговорил он невнятно,— как ты очутилась здесь?

— Приехала, ищу тебя...

— Пойдем, тут народ,— сказал он, уводя ее в боковую улицу.

И сразу улицы стали отчетливы и все приобрело жесткую ясность.

— Какая бессмыслица,— сказал Андрей.

Рита перебила его торопливо:

— Что с тобой, ты как безумный стоял на дороге, я насилу узнала тебя. Ты нездоров, Андрей?

— Погоди, ты говоришь, что приехала ко мне?

— Да, Андрей. Я не могла больше.

— Ну конечно, не могла, истосковалась!

— Андрей!

— Что Андрей? Какая чушь, какая бессмыслица! А если я сегодня уеду на фронт? И потом, ты ведь знала, что я уехал на фронт? Что я на фронте? Как ты могла... Нет, это черт...

— Андрей...

— Ах, брось! На что ты рассчитывала? Откуда ты взяла, что я живу здесь? Что ты будешь делать?

— Я знала, что ты служишь здесь. Ведь прошло два месяца. Я думала...

— А ты думала, что я получаю семьдесят два золотника хлеба в сутки? Думала, что свалишься где-нибудь под забором? Наконец — может быть, я убит? То есть ты думала, что я мог быть убит? Ну, не убит, так мог сто раз умереть с голоду?

— Послушай...

— Ну куда ты сейчас пойдешь?

— К тебе.

Он остановился, взмахнул руками и хотел крикнуть, но Рита опередила его крик тихим, каким-то падающим стоном:

— Мне больше некуда, Андрей!..

Он выдохнул из себя набранный для крика воздух и посмотрел на нее. Глаза ее были влажны, и веки охватывали их омертвелыми синими кольцами. Обветренные губы подергивались, как будто силясь выговорить какое-то слово.

— Конечно, некуда больше,— пробормотал Андрей, отворачиваясь от Риты и продолжая стоять.

— Я хотела тебе сказать...— услышал он тот же стонущий, куда-то падающий голос.

Он вздрогнул, тут же поежился, запрятал пальцы в рукава шинели и произнес слово, которое всегда приободряло:

— Ерунда!

— Я хотела сказать, почему я приехала.

Он не шелохнулся.

Тогда Рита прислонилась к его руке и шепотом, быстро проговорила:

— Я должна была приехать. Я беременна.

Андрей отскочил в сторону, прижался к мокрой стене. Ладонями он поглаживал скользкий камень, ноги его согнулись в коленях, и полы сырой, тяжелой шинели дрожали. Он долго молчал, уставившись ввалившимися глазами в какую-то точку над головой Риты. Потом чуть слышно прошептал:

— Как же ты...

— Я не виновата, Андрей...

— Нет, нет! — воскликнул он, отрываясь от стены.— Как глупо! И вообще...

— Андрей!

— Нет, нет! Я говорю, почему же ты ничего не сказала? То есть почему ты не сказала сразу, как только я спросил?

— Ведь ты не спрашивал,— проговорила она дрогнувшим голосом.

Он засмеялся обрывисто, необычно, подхватил ее за руку и повел быстро, почти бегом.

— Что же мы стоим? Что же мы стояли? Какая ты чудачка! Надо было...

— Ну, Андрей, откуда я могла знать, что ты...

— Что я — что? Что я?

Она заглянула ему в глаза снизу вверх, выгнув голову как-то по-птичьи, и молча улыбнулась.

Они шли безлюдными улицами, крепко прижавшись друг к другу, и он пристально рассматривал дорогу, обходя вывороченные камни и поблескивающие меркло лужи.

Потом он тихо спросил:

— Тебе не холодно, Рита?

КЛУБОК

На лестнице ранним утром Андрей столкнулся с профессором. Он узнал его по росту и по движеньям головы — коротким, вздрагивающим и частым. И лицо его — это можно было разглядеть на площадке, где утренний свет успел уплотниться,— лицо его тоже

подергивалось, изрезанное на кубики перекрестными глубокими чертами. Он потряс Андрею руку и изумился:

— Какие чудеса! Знаете, прямо не верится. Будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге. День за днем, страница за страницей — от чуда к чуду.

Андрей слушал, глядя в окно. Обернуться и смотреть в моргающие, блесткие, как фольга, глаза этого маленького человека, который непрерывно сжимался и разжимался, точно пружинка,— не хватало силы.

— Исключительное время! — воскликнул профессор и пододвинулся к Андрею.— Скажите,— заговорил он вкрадчиво,— вы, вот вы, молодой человек, уверены? А, уверены? Так, про себя, когда разговариваете сами с собой, наедине, уверены?

Он не дождался ответа и опять горячо и торопливо воскликнул:

— Никакого сомненья, у меня — никакого сомненья! Я ничего подобного не переживал до сих пор. Что-то чудесное! И не знаю почему. Меня прямо что-то носит по земле.

— Я знаю это чувство,— глухо сказал Андрей.

— Вы непременно должны знать! Еще лучше меня! Если бы я был на вашем месте! Понимаете, я целую неделю ходил вокруг Смольного. Ходил и смотрел, только смотрел, больше ничего...

Профессор помолчал, потом засмеялся:

— Как гимназист на свиданье — каждый день в определенный час. И — поверите ли? — хожу, смотрю на дом и чуть не задыхаюсь.

— А на вас не нападает усталость? — вяло спросил Андрей.

Профессор притих.

— Как вам сказать... конечно. Я не очень здоровый человек. Хотя теперь и здоровому человеку...

Он украдкой, точно виновато, покосился на Андрея.

— Я слышал, что к вам приехала...

И вдруг он весь зашевелился — от маленьких коротких ног до мельчайших желвачков и кубиков лица.

— Я давно хотел повидать вас, чтобы... Видите ли, мне привезли из деревни муки... знакомые, я там раньше...

— Нет, зачем же,— проговорил Андрей, насупившись.

— Я предполагал, что вам теперь очень тяжело, с приездом жены...

— Жены? — переспросил Андрей и потом ответил сам себе: — Ну да, Риты... Нет, зачем же, вам самому...

Профессор прикоснулся к его руке шероховатыми кончиками пальцев.

— Даю вам слово, что вы не обидите меня. У меня много. Я занесу вам. Занесу, хорошо?

Он бросился по лестнице наверх и, перегибаясь через перила, выкрикивал беспокойно:

— Занесу, занесу!.. Нечего деликатничать... Занесу!

Рита куталась в платок, забравшись с ногами на кушетку и напролет просиживая хмурые вечера. Надо было беречь тепло, скопленное под платком, и она не двигалась часами.

Ее не было слышно, но лицо ее — белое, с потрескавшимися, сухими губами, с тлеющим неподвижным взглядом — виднелось отовсюду, из каждого угла, как будто комнату заставили мутными зеркалами, не отражающими ничего, кроме этого лица.

Она не поворачивалась, но видела Андрея так подробно, точно держала в руках его голову. И Андрей, сидя к ней спиной, видел тончайшие черточки ее лица, и складки платка, и колени, упиравшиеся в подбородок, и рассыпанные по платку волосы.

Они ждали ребенка.

Он должен появиться не скоро, в каком-то неясном далеком будущем. Должен был появиться, всосав в себя последнюю кровинку матери и поглотив последнюю капельку ее жира.

Жир когда-то развозили в бочках, затянутых толстыми обручами; жир когда-то валялся невзвешенными, немереными комьями на прилавках, покоробленных его тяжестью; жиром когда-то были завалены, забиты, закупорены погреба и подвалы; жир когда-то не жрали базарные псы, потерявшие на него чутье,— да, да, этот самый жир.

Чтобы получить невесомый кусочек его, надо было ждать семь бесконечных дней. Чтобы скопить одну каплю его, надо было беречь тепло, беречь ничтожные силы одряблевших мышц, запрятавшись в платок, как в гаюшку. Одну каплю, нужную для ребенка, который неотвратимо должен был появиться в неясном будущем,— появиться уродом, с мягкими, гнущимися костями, без ногтей на руках и ногах.

Ради этого урода, ради неощутимой, невидимой ткани, выраставшей в урода, Рита сидела неподвижно, сжавшись в комочек, и Андрей боялся нарушить тишину, чтобы не рассеять скопленного Ритой тепла.

Но тишину нарушил Сергей Львович.

Он влетел в комнату, скрестил руки и угрожающе процедил:

— Тэ-эк-с, тэ-эк-с!

Пенсне его задрожало и поползло книзу. Он запрокинул голову.

— Тэ-экс! — повторил он, пристукивая подошвой по полу.— Вот как вы, Андрей Геннадьевич, отблагодарили меня за гостеприимство? Недурно. В порядке современных вещей. Вы думаете, по всему вероятию, что имеете дело с дураком? Ошибаетесь, ошшибае-тесь!

— Что такое? — проговорил Андрей.

— Ах, вы не по-ни-ма-е-те? Вам невдомек? Скажите, какая невинность!

— Да говорите же, в чем дело! — крикнул Андрей, отпихивая от себя стул и выпрямляясь.

Тогда Сергей Львович шагнул к Андрею, решительно сунул руки в карманы и посыпал давно отмеренными словами:

— Вы очень хитры, молодой человек. Вы пользуетесь каждой минуткой, чтобы пополнять свой бюджет за мой счет. Стоит мне отвернуться, как у меня что-нибудь пропало. Вы не изволите гнушаться ничем, как старая кухарка. Вы...

— Что же ты молчишь? — вскрикнула Рита.

— А что же ему говорить? Что ему говорить, когда вот только что, вот четверть часа назад, пока я сбегал в лавку, у меня восьми золотников масла как не бывало! Я не успел запереть, торопился в лавку, оставил на столе, в полоскательнице, в соленой воде, так — кусок с полфунта. Сверху я его крестиками пометил, это я всегда. Пришел, смотрю — крестики целы, а масла как будто убыло. Я на весы. Восьми золотников не хватает. Хитро-с, хитро, молодой человек! Да только я хитрей вас. Вы изволили ножичком снизу срезать этакий ломтик. Плавает, мол, кусок и плавает, кто разберет, что у него внизу, если наверху все в порядке.

— Андрей! — простонала Рита.

— Это в благодарность за то, что я вас, можно сказать, на улице подобрал? Это в благодарность за то, что, так сказать, ваша супруга...

Андрей качнулся, точно его столкнули с места, подошел к Сергею Львовичу, взял его плечи, повернул и вывел из комнаты. Сергей Львович не только не оказал сопротивления, но даже как-то очень поторопился, забыв закрыть рот, и в дверях повернулся бочком, чтобы легче пройти. Но за дверьми вдруг затопал и завизжал пронзительно:

— Во-он из моего дома, во-он!

Андрей закрыл дверь и посмотрел на Риту. И тут же снова рванул дверь и сквозь визг, носившийся по коридору, сжав ладонями голову, побежал вон.

На лестнице ему в лицо плеснуло холодным сквозняком. Он остановился. Вернуться в комнату за шинелью и шапкой он не мог. Он поднялся этажом выше и постучал в квартиру профессора.

Никто не отозвался. Он стал стучать сильнее, прислушиваясь, как стуки глохли в квартире и пропадали в тишине. Потом он начал неистово бить в дверь сапогами, и по пролету лестницы от чердака к подвалу зарокотал тяжелый гул.

Чей-то голос раздался позади него.

— Вы к профессору? — расслышал он и обернулся.

— Да, к нему.

— Не отвечает?

— Нет.

— Он в это время всегда дома.

— Да, я знаю.

— Ну-ка, постучите еще.

Андрей постучал. Прислушался. Было тихо.

Позади Андрея звякнула цепь, и в темноте появился высокий, слегка сгорбленный человек.

— Странно, что-то давно не встречал его,— проговорил он и потрогал дверь.

— Может быть...— начал Андрей.

— Может быть, конечно, все может быть,— перебил высокий.— Пойдемте в комитет.

— Неужели вы думаете...— опять начал Андрей; и опять его перебил высокий:

— Думаю? Конечно, думаю... почему же не думать?

По темным лестницам, по узкому, отдававшему голоса двору, по подъездам, в которых свистел ветер, ходили двое, потом — трое, четверо, пятеро, медля и задерживаясь повсюду, словно боясь приступить к делу.

Потом долго стучали в квартиру профессора, прислушивались, снова стучали. Потом переспрашивали друг друга, когда видали профессора в последний раз, не мог ли он куда-нибудь уйти, или уехать, или где-нибудь заночевать.

Наконец туповатый, с обитым лезвием топор въелся между створок двери, и она сухо, точно подпаленная, затрещала. И тогда все, как по сигналу, начали советовать вперебивку, как ловчее взломать дверь. Но как только замок подался и стало видно, что со следующим усилием дверь распахнется, опять все притихли.

Андрей вошел в квартиру вторым, следом за председателем комитета. Из комнаты в комнату переходили боязливо и молча. Чиркали спичками, отыскивали за косяками включатели, пробовали, есть ли свет. Снова зажигали спички, обходили пустые углы и шли дальше.

Из дальней в коридоре комнаты, когда приоткрыли дверь, выполз мягкий розовый свет.

— Так и есть,— сказал председатель и обернулся к Андрею,— мы не догадались посмотреть со двора на окна.

— Да они занавешены,— отозвался кто-то.

— Ну, скорей!

Председатель открыл дверь вытянутой рукой. Все осторожно скучились у входа.

Матовый свет настольной лампы ложился ровным кругом на книги, на пол, на кровать.

Профессор лежал на постели, закинув голову, острым, крутым подбородком вверх. Весь он вытянулся в струнку, стал длинным, точно вырос с тех пор, как в последний раз был на людях. Морщины на лице его изгладились, желвачки и кубики, такие подвижные и очерченные при жизни, пропали: он помолодел. На ровном лбу его лежало спокойное пятно света.

Все тихо подошли к нему, внимательно осмотрели, потом разбрелись по комнате, не глядя друг на друга. И так как никто не говорил и нечего было сказать, Андрей произнес чуть слышно:

— Мыши-то что наделали...

Тогда все повернули головы и стали живо рассматривать мучной мешок, прислоненный к книжному шкафу. Он был прогрызен со всех сторон, раздерганные лоскуты холста свисали на пол, и по паркету к плинтусам тянулись узенькие белые следы.

— Это надо прибрать,— сказал председатель, и сразу трое бросились к мешку и потащили его вон.

В течение года, может быть двух, происходили столкновения, ссоры, драки, случилось даже убийство, хотя никто из виновников не хотел принять греха на себя. Наконец до сознания этих людей дошло, что они живут в новую эпоху и мир с сего числа отвергает все прошлое и пережитое. Решено было учредить артель на началах профессиональной солидарности. Правда, эта артель была обречена на негласное существование: о ее истинных целях нельзя было обмолвиться даже при кладбищенском настоятеле. Но тем прочнее и строже оказался ее неписаный устав.

Кладбище было разбито на семь участков, и каждый участок отдан в ведение двум могильщикам. Тут нужно сказать несколько слов о самом кладбище, как ни мало благодарно его описание. Кладбище простиралось по широкой равнине, за разбросанным унылым пригородом и в старой своей части заросло тополями. Церковь чуть проглядывала сквозь густую наветь деревьев. Новые участки были пустынны, если можно назвать пустынной необозримую слободу могильных холмов. Вокруг церкви кучились старинные мавзолеи, часовни, тяжелые надгробные плиты.

Но дело не в мавзолеях и не в пышных памятниках. Этот участок, когда-то самый доходный, в последнее время захирел, как деревенский погост, и за два года принял всего одно свежее тело, да и то бездоходное,— тело кладбищенского отца дьякона, умершего от тоски.

Памятников давно уже не ставили и склепов с часовнями не сооружали. Но кресты еще не вывелись из обихода, и кресты, именно кресты, помогли могильщикам осознать свою природу и учредить артель для планомерной охраны своих интересов в переходную эпоху.

Кресты, что, впрочем, общеизвестно, бывают чугунные, железные и большей частью деревянные. Чугунные непригодны для чего-нибудь практического. Это, в сущности, хлам, вроде каменных надгробий, памятников и часовен. К счастью, чугун отошел в предание вместе с классными, или классовыми, похоронами, и резервы крестов пополнялись в эти годы только железом и деревом. Кованые железные кресты из крутых завитушек, вроде церковных решеток, ничем не практичнее чугунных. Зато полые кресты из листового железа, раскрашенные обычно под березу, легко применимы в хозяйстве. Из них, без особой подготовки, каждый может сделать дымоходное коленце для железной печки, или самоварную трубу, или удобный водосток. Таких крестов было довольно много на просторе отдаленных от тополей участков, и при разумной эксплуатации запаса их могло бы хватить на долгое время.

Трудность распределения участков между членами артели состояла в том, что не во всякой части кладбища находилось одинаковое число деревянных крестов. Артели пришлось поэтому проделать большую предварительную работу по инвентаризации имущества, оставшегося после старого режима. Но в процессе этой работы обнаружились новые трудности, потому что, в отличие от прочих областей общественности, в области кладбищенского дела старый режим прогнил, так сказать, не насквозь, а только частью, хотя гнилых крестов и обнаружилось при подсчете больше, чем сохранившихся. Однако раз пробудившаяся сознательность помогла артельщикам прийти к мудрому решению: два гнилых креста были приравнены одному негнилому твердой породы — из расчета, что одно крепкое полено дает столько тепла, сколько два трухлявых.

Когда таким образом основы объединения были найдены, могильщики предложили кладбищенскому ктитору возложить на них охрану стихийно расхищаемых крестов.

Ктитор согласился. После того опустошение кладбища совершалось уже планомерно, и среди могильщиков воцарилась фило-

софическая созерцательность, издавна подмеченная в этой профессии и вполне свойственная ей одной.

Два дня спустя после того, как была обнаружена смерть профессора, на кладбище пришел молодой обтрепанный студент и справился в конторе, как ускорить погребение давно умершего человека. В конторе стали говорить о порядке получения ордеров на гробы, на могилы, о регистрациях, записях, очередях. Кончилось тем, что студента послали на кладбище искать могильщиков. Он встретил одного из них и рассказал ему о своем деле. Могильщик назначил цену, которая привела студента в ужас.

— А кто покойник? — спросил могильщик.

— Ученый,— ответил студент.

— Стало быть, с голоду?

— Нет, не с голоду.

— Если не с голоду, тогда должно быть, чем заплатить.

— В том-то и дело, что нечем. Было бы — я бы не торговался.

— Дешевле нельзя. Не можете — тогда в очередь, через недельку-полторы...

— Таких денег нет,— сказал студент.

— Мы не добровольцы, у нас по таксе... Воля ваша.

— Нет, таких денег мы заплатить не можем,— решительно повторил студент.

Могильщик подумал и спросил:

— А хоронить будете по-православному иль по-гражданскому?

— По-граждански.

— Тогда дороже.

— Это почему же?

— Как сказать... От православного какой-никакой доход: глядишь, за крестиком накажут посмотреть, чтобы не слямзили... Да разве усмотришь? В дровишках-то нужда... А по-гражданскому — что от него проку? Закопают, да и ладно. Намедни схоронили летчика, на могилу дубовый винт поставили, от машины. Что с него возьмешь, с винта? Его не уколупнешь, он как железный. За такие деньги, что вы даете, по-гражданскому нет расчета.

— Как же нам быть?

— За такие деньги могилу вырыть — еще куда ни шло. А хоронить — как вам угодно.

На том и было решено: яму выроют могильщики, а опустят и закопают покойника провожатые.

Отдать последний долг профессору явилось четверо студентов, худощавый рыжебородый человек, похожий на учителя, и университетский швейцар.

Мороз в этот день надломился, и серый мелкий дождик порошил, как сквозь сито. Кучка людей, жавшихся от холода, с мокрым, обвисшим красным знаменем, дожидалась гроба под воротами. Гроб вынесли жильцы дома, поставили на телегу и, перекрестившись, велели трогать. За телегой пошли студенты со знаменем, худощавый человек, похожий на учителя, швейцар, Андрей и председатель домового комитета. И так как было тяжело нести мокрое знамя, его положили на гроб, и от тряски оно плотно облегло крышку, прилипнув, как обивка.

Когда засыпáли могилу, Андрей стоял в стороне, глядя поверх бесчисленных насыпей с редкими крестами. Он слушал, как падали в яму размытые дождем комья грязи, как звуки падения становились короче и резче, приближаясь к поверхности земли. И ему казалось, что профессор, так нечаянно появившийся в его жизни, унес из нее какую-то последнюю возможность сказать о самом важном. Что это было — самое важное, Андрей едва ли знал. Но у него было такое чувство, будто чья-то жестокая рука держала его за горло, и он понимал, что она не отпустит его, пока он не выскажет самого важного.

Он покинул кладбище после всех, сутулый, тупой, пронизанный сумеречным туманом. Он не шел, а тащился, почти полз по безлюдным, нескончаемым улицам пригородов. Он был похож на больного, которого выкинули из лазарета, едва он успел переломить болезнь.

Дома ему отворила дверь Рита.

— Тебя ждет какой-то солдат.

— Солдат?

— Да. Он не назвал себя, говорит, что ты знаешь его...

— Странно,— безразлично протянул Андрей и пошел в комнату, все так же, как на улице, изнуренно и тупо волоча повисшее свое тело.

У железной печки, лицом к огню, грелся солдат. Шинель его висела на стуле около печки. Он сидел на корточках и потирал руки. Когда скрипнула дверь, он поднял голову, огонь перебежал с его лба на полуоткрытый рот, обведенный тонким кругом чуть заметных морщин, и губы его покривились в какое-то подобие улыбки.

— Вот и вы,— сказал он и поднялся с полу.

Андрей разглядел гостя только тогда, когда огонь заиграл на его губах. Он ухватился за косяк. В нем почти мгновенно исчезла вся мягкость. Из расслабленного и сгорбленного человека он превратился в одеревенелого, прямого, как столб, истукана. Рита, входя следом за ним и закрывая дверь, отстранила его, он сделал всего один шаг и опять застыл.

«Города и годы»

— Здравствуйте,— проговорил солдат, подходя к Андрею.

Руки Андрея дернулись назад, как будто он хотел заложить их за спину, потом он бросил взгляд на Риту и быстро пожал гостю протянутую спокойную руку. Солдат тоже взглянул на Риту и поклонился в ее сторону:

— Не имею чести знать имени... вашей... а-а... Она была любезна. Вот видите, я сушусь... Я думаю, не лучше ли нам...

И он ровно произнес по-немецки:

— Нам будет удобнее не говорить по-русски.

Точно от этих непривычных, нарубленных слов чужого языка Андрей всколыхнулся и быстро спросил:

— Как вы нашли меня?

— Увидел на улице. Я отличу вас среди батальона солдат. Потом проследил.

— Почему вы не уехали до сих пор?

— Это длинная история.

— Что вам нужно от меня? Зачем вы пришли?

Андрей выталкивал из себя вопросы с таким напряжением, как будто силился придушить ими отчаянный крик.

— Я мог рассчитывать на более радушный прием,— ответил гость и скользнул сощуренными глазами по лицу Андрея.— Разденьтесь, вы мокрый,— прибавил он снисходительно и пожал плечами.— Как вы взволнованы! Я смотрю на вещи спокойней. Раз навсегда я сказал себе, что каждую минуту я могу умереть. Я готов к самому страшному — к смерти. Поэтому я всегда спокоен. Что может быть опаснее смерти?

— Вероятно — так, если ничего не любишь в жизни,— пробормотал Андрей, стягивая шинель.

Он повесил ее на спинку стула, пододвинул к печке, неторопливо, медлительно, следя за каждым своим движением, и сел.

— Как случилось, что вы не уехали?

Гость опустился рядом с ним.

— Я с большим трудом попал в Москву. На это ушло около месяца. Я пробирался одиночкой. В Москве я в первый раз решил воспользоваться своим новым именем. Оно оказалось не совсем удобным. Я не хочу сказать ничего дурного о его прежнем владельце, но имя кто-то скомпрометировал раньше меня. Признаться,— ухмыльнулся гость, поглаживая Андрея смеющимся взглядом,— признаться, я подумал одно время о вас...

— Узнали? — шепотом спросил Андрей.

— Узнали,— сказал гость.

Андрей вскочил, кинулся к Рите и в страшном испуге забормотал:

— Узнали, боже мой! Рита, узнали! Рита, пойми, узнали...

Рита сидела на кровати, как всегда — в платке, уткнувшись подбородком в колени.

— Андрей,— проговорила она, дернувшись к нему и высвобождая руки из-под платка,— я не понимаю, о чем вы? Прошу тебя...

— Ах, ты не должна понимать,— простонал он, снова бросаясь к своему стулу,— ничего не должна понимать! Неужели узнали?

Гость помолчал немного, потом, как будто нарочно медля, с расстановкой и паузами произнес:

— Однако ненадолго хватило вашей выдержки. Вы на моем месте давно попались бы. Я, как видите, уцелел.

Андрей схватил его за рукав:

— Да говорите же, черт вас возьми, говорите! Узнали?

— Вот так-то лучше,— сказал гость, и его рот опять передернуло подобие улыбки.— Узнали,— сказал он брезгливо.— Но я не могу с уверенностью сказать, что именно они узнали. Наверное, им стало известно, что я выдаю себя за другого. Но кто я в действительности — они могут только предполагать. Относительно вас...

— Боже мой! — опять простонал Андрей.

— Относительно вас я ничего не могу сказать. Одно время я думал, что именно вы скомпрометировали мое новое имя. Но потом решил, что это было бы рискованно для вас.

— Рискованно?

Гость пристально посмотрел на Андрея.

— Да. Даже если бы вы пожелали выдать меня, чтобы тем самым несколько упростить свое положение. Потом я вспомнил, что вы русский. Выдавать и предавать — не в духе русских, насколько я изучил их.

— У меня нет охоты философствовать на национальные темы. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете... как по-вашему... что известно.

— Ха-ха! Как хорошо вы начали и как путано кончаете! Вы хотите знать, стала ли известна роль, которую вы сыграли...

— Ну да, да! Роль, которую я... не все ли равно? — перебил Андрей.— Говорите!

— Судя по тому, что вы спокойно гуляете в таком большом городе, вас ни в чем не подозревают. Вообще мне кажется, что дело обошлось благополучно. Я почти уверен в этом. Во всяком случае, здесь меня беспрепятственно включили в эшелон.

— Что? Вы были... Вы назвали себя? — вскрикнул Андрей и схватил за плечи своего собеседника.

— То есть не себя...

— Конрада Штейна?

— Успокойтесь, милый мой друг. С этой стороны не грозит никакая опасность. Конрада Штейна больше нет.

— Нет? — отшатнулся Андрей.

— Конрад Штейн умер.

— Я ничего не понимаю!

— Ну слушайте. В Москве могло все обнаружиться. Я вовремя убежал. Я попал в Клин, оттуда — в Тверь. Там я работал поденно. У меня был товарищ — славный парень, берлинец. Мы кочевали то тут, то там, у нас не было постоянного угла. Где получали работу, там и жили. Нас нигде не знали как следует. Так что, когда умер этот берлинец, все вышло само собой. Я взял его бумаги, а ему сунул свои.

Андрей сидел молча, как будто не слушая.

Гость заглянул ему в глаза и, точно спохватившись, проговорил:

— Нет, вовсе не то! За кого вы меня считаете? Я забыл сказать, что этот берлинец заболел тифом. Я ухаживал за ним недели полторы. Славный парень.

Андрей поднялся.

— Значит, дело о Конраде Штейне прекращено за его смертью?

— Вероятно.

— Значит, мы квиты?

Гость быстро вскочил, сжался, медленно расставил отточенные холодные слова:

— Нет, мы еще не квиты, товарищ Старцов.

— Что вам надо от меня? — опять вскрикнул Андрей.

Гость покачал головой, расправил лицо ласково-насмешливой улыбкой и, подойдя к Андрею, взял его за локоть.

— Милый мой друг, я говорю так, потому что чувствую себя обязанным. Вы сделали все, что может сделать доброе сердце. Но мы еще не квиты. Я обещал доставить от вас письмо вашей невесте. Я считаю это своим долгом. Я даже запомнил ее имя: фрейлейн Мари Урбах, из Бишофсберга, не правда ли? Что же вы молчите? Кажется, я не ошибся? Фрейлейн Мари Урбах, не правда ли?

Андрей закрыл лицо руками.

— Но, видите ли, я затерял ваше письмо. То есть не затерял, а сунул его этому покойному берлинцу вместе с бумагами Конрада Штейна...

— Вы с ума сошли! — почти задыхаясь, прохрипел Андрей.— Ведь если с бумагами Конрада Штейна найдут мое письмо...

— Ну что вы, кому придет в голову связать ваше имя с Конрадом Штейном?

— Не издевайтесь! Вы не смеете издеваться надо мной!

— Я говорю, что думаю.

— Бумаги непременно направят в Семидол, Курту! Ведь Курт поймет все сразу!

— Об этом я не подумал, признаться...

— Послушайте, вы... черт... Послушайте! Найдите себе кого-нибудь еще для шуток! Не забывайте, что вы в моих руках...

Гость повел оттопыренным пальцем перед глазами Андрея.

— Но и вам я не советую забывать, что вы в моих руках. Да... Однако что за раздор,— снова расплылся он,— разве вы не чувствуете, что я благодарен вам безмерно и готов чем угодно отплатить?

— Как вы могли не подумать, что...

— Я пошутил, милый мой друг; поверьте, пошутил. Я сунул покойнику только бумаги Штейна. Больше ничего.

— Письмо осталось у вас? Давайте его, давайте!

— Нет. Письмо я разорвал, чтобы случайно как-нибудь не повредить вам.

— Ах, я не верю, не верю ни одному слову!

Андрей забегал из угла в угол, охватив руками голову и раскачивая ею, как от боли. Гость следил за ним прищуренными глазами и говорил медленно, точно насаживал слова, как наживку на крючки.

— Что вы волнуетесь, милый мой друг? Неужели трудно написать еще одно письмо? Это вам лишний раз доставит удовольствие побеседовать с любимой женщиной. Даю вам слово, что, как только вернусь на родину, я разыщу фрейлейн... Мари Урбах,— так, кажется? — вручу ей письмо и расскажу все, что знаю о вас.

— Вы знаете Мари? — спросил Андрей, вдруг перестав бегать.

Гость замолчал и посмотрел на Андрея в упор.

— Нет.

— Не говорите ей ничего обо мне,— сказал Андрей, становясь лицом к лицу с гостем.

— Вы же сами просили меня.

— А теперь я прошу, чтобы вы не делали этого. Не разыскивайте Мари. Не надо.

Гость опять помолчал, потом хлопнул Андрея по плечу, кивнул на Риту и засмеялся.

— Мы совсем забыли даму. Я понимаю вас отлично. Но вы напрасно беспокоитесь: фрейлейн Урбах ничего не узнает об этом.

И он еще раз кивнул на Риту.

— Будем говорить о деле,— сказал Андрей, заслоняя собой Риту.— Зачем вы пришли ко мне?

— Будем говорить о деле,— в тон Андрею отозвался гость.— Я пришел к вам переночевать. Завтра меня отправляют с эшелоном. Я избегаю бывать там, где много людей.

— Хорошо. Дайте мне слово, что вы оставите меня навсегда в покое.

— Даю.

Андрей широкими шагами вышел из комнаты.

— Сергей Львович,— сказал он, войдя к хозяину,— у меня должен переночевать один товарищ. Это необходимо. Я положу его в соседней комнате, на диване.

Сергей Львович всплеснул руками.

— Постойте,— настойчиво продолжал Андрей,— никаких возражений. Он должен остаться. Иначе будет плохо. Слышите? И — молчок. Никому ни звука. Благодарю вас.

Он повернулся и ушел, не заметив, как Сергей Львович осыпал себя частыми, испуганными крестиками.

Андрей отвел гостя в соседнюю комнату, показал ему диван, прикрыл дверь и вернулся к себе.

Там он постоял несколько секунд неподвижно, провел рукою по голове, потер лоб, щеки, шею. Потом сжал кулаки и проговорил самому себе:

— Он знает ее, знает, знает!

Качнулся, подошел к кровати, положил голову на колени к Рите. Потом закрыл глаза.

Рита обняла его голову, наклонилась над ним. На его губы упала горячая капля. Он тихо спросил, не двинув веками:

— Ты о чем? — и облизал соленые губы.— Если бы можно было начать жить с начала... Раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому...

Рита всхлипнула громко и прикоснулась щекой к его лбу.

— Милый, милый...

— О чем ты? — опять спросил он.

— Кто этот человек, скажи? О чем вы говорили?

Он долго не отвечал.

Было тихо, какие-то далекие гулы слышались за окном. Медленно, неохотно угасал электрический свет.

Андрей повернул голову, уткнулся лицом в колени Риты и — в колени, в платье, в душную теплоту ног — проговорил:

— Этого я никому не могу сказать. Никому.

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТОМ

ЦЕНТРИФУГА АМУРА

— Belegte Brötchen!
— Warme Würstchen!
— Bier, Bier, Bier, gefälligst!
— S-s-simplicissimus, Berliner 'ageblatt, Lustige Blätter!
— Woche, Woche, Woche!
— Bier, Bier, Bier!
— Belegte Brötchen, warme Würstchen!
— Zigarren, Zigarren, Zigaretten!
— Kladderadatsch, Kladderadatsch!
— Einsteigen! [1]

Сигарный дым голубыми простынями колышется под потолком и мягко пеленает жужжащие голоса. Объемистые животы, потные лысины, белые юбки, крепкие оголенные локти, большие круглые груди под кружевцами и прошивками плавно качаются на сиденьях.

За окнами медленно проплывает дородное, умытое, благословенное солнцем отечество.

В Эрлангене пышный, жужжащий, разряженный поезд вылился на вокзал и потек вниз по узкой улице в конец города.

Андрей с Куртом отделились от толпы, вошли в университетский сад.

---

[1] Выкрики продавцов на вокзальном перроне: — Бутерброды! — Горячие сосиски! — Пиво, сигары, папиросы!.. Названия журналов, газет и т. д. Последний выкрик — приглашение кондуктора: — Войти в вагоны!

Здесь было тихо, теплые тени лежали на дорожках, ясени и дубы заслоняли небо. На стволах желтели полированные дощечки с латинскими надписями, такие же дощечки торчали на жердочках, воткнутых в клумбы. Пахло упитанной, сытой землей и — откуда-то — свежей масляной краской.

— Есть ли у вас это чувство,— спросил Курт,— покойное, миротворящее — чувство родного? Мы довольствуемся пустяками, потому что это наши пустяки. Уверяю тебя, я счастлив, что приехал сюда. Глупый, милый праздник, глупая, милая привычка. Еще раз смотрю вот на этот ясень — какой он старый, рыхлый, ноздреватый. Грибы на нем в прошлом году были мне по пояс. Теперь, видишь, они поползли выше... А вот ворота анатомического театра. Пойдем, я покажу тебе музей.

Из двери, выходившей в сад, по земле стлался холодноватый, сладкий запах йодоформа. В комнате, куда они вошли, вдвинутый в нишу сырой стены, стоял оцинкованный большой сундук. Крышка его была чуть приподнята.

Курт открыл ее. В сундуке валялись человеческие ноги и руки с содранной кожей, куски посиневших мышц, белые кости с раздерганными, как мочало, сухожилиями, багровые, черные, сизые внутренности — кишки, печень, легкие. В уголке сундука, освещенные дневным светом, проникшим через дверь из сада, прижались друг к другу две головы. Затылок одной был оскальпирован, и мелкой кровавой пилкой бежали по голове черепные швы. Шея другой головы — безволосой и хорошо сложенной — была обнята, точно галстуком, пухлой, синей детской ручонкой. Тут и там желтели горки какого-то порошка.

— Пойдем,— сказал Андрей.

Курт молча смотрел в сундук.

— Пойдем, здесь задохнешься.

Курт опустил крышку и, улыбнувшись, тихо взял Андрея под руку.

Они прошли просторной, светлой комнатой, уставленной высокими узкими столами, крытыми стеклом. Столы были чисто вымыты, пол блестел, от двери к двери гулял холодноватый, попахивавший камфарой сквознячок. Полумрак сводчатого коридора вел к широкой лестнице. На площадке, подле столика, сидел сторож. Он снял фуражку, спросил:

— Господа желают осмотреть музей?

Потом двинулся вперед.

Один за другим тянулись стеклянные шкафы. В шкафах на стеклянных полках строились по высоте и диаметру стеклянные банки с заспиртованными препаратами человеческих органов. Стекло, спирт и синие, сизые, красные куски, нити, волокна, ком-

ки человеческого тела — все, что наполняло просторные, высокие залы.

Солнце безудержно лилось в чистые окна, и по стенам, потолку, полу, на платьях, руках и лицах людей дрожали горячие многоцветные спектры, преломленные шкафами, полками, банками и спиртом.

Вдруг сторож остановился, отставил одну ногу, заткнул большой палец правой руки за борт мундира и открыл неторопливо рот:

— Отделение эмбриологическое. Первое во всем мире по числу препаратов.

Здесь, в баночках, едва отличимых друг от друга по величине, плавали желтоватые комочки зародышей — целый сонм нерожденных душ. Потом тянулись сомкнутые ряды головастых человечков с прижатыми к животам тонкими ножонками и перепончатыми пальцами рук. В конце — в банках вместимостью в ведро — глядели себе на коленки дети, похожие на тех, каких видят у своих постелей очнувшиеся после родов матери. Дальше, в другом зале, мутнели на солнце куски мозга, и за ними, под особым стеклянным футляром, осела на дно широкой банки человеческая голова.

Она была низколоба, и через весь лоб ее шли стежки небрежного шва. Карие глаза были открыты, зрачки расширены и устремлены в какую-то цель, стоявшую, наверно, прямо перед ними. Над верхней губой и на щеках торчали в разные стороны короткие, толстые темные волосы,— они были бриты не раньше, как за неделю до смерти. И все лицо, обрубленный кусок шеи и уши были густо-сини. Под футляром стояла дощечка:

ГОЛОВА ЗНАМЕНИТОГО УБИЙЦЫ
КАРЛА ЭБЕРСОКСА
(ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ
В НЮРНБЕРГЕ)

— Мой отец присутствовал при этой казни,— начал сторож, отставив одну ногу,— и если господа желают...

— Послушай,— вдруг проговорил Андрей,— на кой черт, собственно, мы все это смотрим?

Курт вскинул голову.

— Это знаменитый музей.

— Я приехал сюда на карусели, а не к покойникам.

— Мы успеем и на карусели. Но этот музей...

— К черту музей, к черту Карла Эберсокса, я хочу на воздух, на солнце!

В Эрлангене много воздуху.

Вдыхать его, сидя на балконе с трубкой в зубах и за чашкой кофе,— наслажденье, каким может похвастаться только маленький городок.

За полдень, когда ясно обозначится покойная теневая сторона главной улицы и когда в каждом окне повиснут коврики, подушки и перины, на эрлангенских балконах в покатых креслах полулежат студенты.

Из университетского сада плывут легкие ароматы цветущих деревьев, снизу, от шумливой, верткой речонки тянет холодком и влагой. Небо поднялось бесконечно высоко, и городку легко, приятно и удобно. Дороги и тротуары безлюдны.

— Ге-ге! — несется с балкона звонкий голос.— Ге-ге! Эрих! Как поживаешь после вчерашнего казино?

— Не смейся, малыш: за ночь моя талия увеличилась на пять сантиметров...

— Ха-ха!

И вот с балкона на балкон из одного конца улицы в другой:

— Ге-ге, коллега! Что вы там ржете?

— С Эрихом хирургический случай: у него растяжение талии!

— Ха-ха!

— Корпорация Альфа против радикального вмешательства. Попробуйте бужирование.

— А что вы пропишете против легкой хрипоты?

В узких переулках от дома к дому:

— На главной улице ищут подержанные брюки: пояс — полтораста сантиметров.

— Ха-ха!

За балконами, в невысоких комнатах с занавесочками и ковриками, старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. В университетских лабораториях и кабинетах сторожа неторопливо полощут пробирки, реторты и колбы. В просторном зале прибирают и устанавливают в штативах рапиры, сабли, шпаги и эспадроны.

— Ге-ге, Отто! Что ты скажешь о нашем Эрихе?..

К речонке, вниз по главной улице, все еще шествовали разряженные, кружевные, декольтированные гости. Но шума не было, и струйки табачного дыма на балконах тихо взбирались по гладким стенам.

— Как мирно, как бесконечно мирно,— проговорил Курт.

Он шел с непокрытой головой, медленно, любовно оглядывая каждый уголок, точно отыскивал что-то давно утраченное и родное. Андрей молчал.

Ни одна прогулка из тех, что совершили наши друзья за годы, которые предстояли им, не была столь добровольна и бесцельна, как путешествие в Эрланген. Вот почему мы не торопимся забегать вперед и радостно идем шаг за шагом по улице, в конец города, через мост, и дальше — в гору, покрытую частой рощею. Кто знает, может быть, эта прогулка — последний отдых, полней которого — одна смерть?

Гора, увязанная — как голова платком — липовой, березовой, кленовой чащей, кружилась в живой воронке звуков. Звуки толклись на месте, метались из стороны в сторону, извивались змеями вокруг деревьев, стлались под ногами. Здесь были все инструменты, придуманные Востоком и Западом, сделанные кустарем и фабрикой, автоматические, духовые, струнные и ударные. И они свистели, бубнили, гудели, трещали, пели, вопили все сразу и ни на минуту не переставая. Все оперетки и оперы, мазурки и вальсы, марши и галопы, сочиненные когда-нибудь на свете, не считая торжественных ораторий, печальных кантат, рапсодий, менуэтов, полонезов и песен,— все эти классы, виды и роды музыкальных сочинений, во всех тонах и всех темпах, известных животному миру и органным фабрикам,— все они с величайшим старанием и неправдоподобным фортиссимо пыжились заявить о себе здесь, на этой горе, покрытой, как платком, липовой, кленовой чащей.

И гора кружилась, кружилась.

На вершине ее, в длину аллей, кучились балаганы, будки, лавчонки, карусели, паноптикумы, панорамы, кино, гипнотические кабинеты, перекидные качели, тиры со стрельбою в цель, силомерные и спортивные залы, киоски с предсказателями судьбы и гроты с гадальщицами. Каждый человек на этом гулянье был вбит в толпу, как пыж в патрон, и непрекословно довольствовался тем, что мог вертеть головой во все стороны.

— Прекраснейшие дамы, почтеннейшие господа! Я призываю вас к нечеловеческому усилию: остановиться передо мною всего на две минуты. Усилие должно быть сделано, чтобы задержать натиск тех баранов, которые стремятся занять ваши места. Вы не захотите уступить своего места баранам, почтенные господа! Одна минута внимания. Перед вами — подтяжки, скромный вид которых приводит в уныние простаков и деревенщину. Но мы знаем, что истинная добродетель всегда скромна. Смотрите, я тяну изо всех сил эти подтяжки, я рву их, я раздираю их зубами, как лев из гамбургского зоо, я вяжу из них узлы, я рублю их топором, вот — ак, аак, гак! — я подымаю на них гирю в двадцать

пять кило! Смотрите — они становятся только эластичней, мягче и приятней, ничуть не изменяя своего цвета, своей прочности и привлекательности. Подождите, подождите! Я кладу их в воду, я намыливаю их, я тру их щеткой...

— Сюда, сюда, сударыня! Вот зонт, который призван защитить вашу бесподобную кожу от солнечного зноя. Попробуем полить его водой, попробуем вывернуть его наизнанку, попробуем сломать его ручку или проткнуть его пальцем — безуспешно! Из такого шелка Наполеон великий сшил платье своей второй жене — своей любимой жене, как это установила историческая наука. Если свернуть этот зонт умелой рукой, то он станет тонок, как швейная иголка, сквозь ушко которой верблюд вошел в царство небесное. Если бы его увидела ваша бабушка, не верблюдица, конечно...

— О-ля, о-ля! Вот люди, которые рады развесить уши перед всяким болтуном! Слава богу, вы защищены от солнца деревьями. Зачем вам расходоваться на зонты? Зато эрлангенский магистрат свалил в ваш разинутый рот всю пыль со своих улиц, и вам не мешает пополоскаться настоящим лимонадом со льдом и чистым сахаром...

— Дорогие мои, во имя цивилизации и добрых отношений союзных немецких монархий — только полминуты внимания! Цепочка из золота, изобретенная профессором...

— Давно ли дамы стали носить панталоны на подтяжках? Довольно слушать этого подтяжечника, черт побери мой послеобеденный отдых...

— Начинается, начинается!

— Вы увидите человека, всю жизнь питавшегося старыми кожаными подметками. Вам продемонстрируют...

— Пятьсот марок тому, кто докажет, что он щупал своими руками лилипута меньше Понди-Ронди-Какса, ростом в девятнадцать сантиметров и весом...

Багроволицые, текущие потом и слюнями зазывалы пьют рюмку ликеру и опять вопят хрипучими глотками, накачивая жилы на лбах и шеях синей тяжелой кровью:

— На-чи-нается!

— На-чи-на-а-ается!

Крики попугаев, рев ученых ослов, граммофоны, органы, шарманки, оркестры, оркестрионы, рояли и одинокие пронзающие скрипки. А над всем этим — вой человечьих голосов, вой беспримерный, бесподобный, вой титанический. Потому что человеку нужно покрыть все звуки, весь гам, весь гром машин, инструментов, зверей и птиц. Потому что необходимо в этот прекрасный, единственный в году праздник — праздник престольный,

летний, любовный — необходимо не только продать, не только показать товар лицом, но и посмеяться, и поострить, и объясниться в любви.

О да, объясниться в любви.

Для этого нужно орать над самым ухом возлюбленной, как на колокольне в трезвон.

Но разве подлинная страсть умещалась когда-нибудь в элегическом пиано?

Ах, страсть! Ах, юная, жестокая, стремительная страсть!

Сидеть в коляске, залитой позументами карусели, сидеть, прижавшись, впившись всем телом в кружевную, жаркую, пышногрудую, подкрашенную, чуть-чуть вспотевшую девушку, с которой встретился, столкнулся, сблизился минуту назад в толпе, где каждый человек как пыж в патроне, сидеть,— ах, ах, нет! — лететь, нестись, кружиться, точно в облаках. Вот темный полукруг — туннель, ни зги не видно — никто не видит,— секунда, еще, еще; вот день, слепящий, яркий; под ногами — люди глядят, показывают пальцами, смеются; вот снова тьма — нет никого, только она,— какая? — неизведанная, закруженная каруселью,— секунда, еще, еще — свет, день, люди; и опять в туннель!

Придумало ли человечество другую машину, которая перерабатывала бы сердца, души, взгляды, объятия, поцелуи — все это любовное сырье в такой кристальный и конденсированный фабрикат счастья, какой выделывает карусель, эта волшебная центрифуга амура?

Все эти перекидные качели, все эти прыгающие лестницы, и бесконечно бегущие дорожки, и американские горы — все они не вырабатывают и малодобротного суррогата счастья, производство которого составляет непохитимый патент карусели. Подлинное счастье, единственная на земле блаженная нирвана, настоящая вихревая страсть (остерегайтесь подделок!) — монополия карусели.

Радуйся, позументная, многоцветная, мишурная, разноогненная, сочетавшая конный бег с плавным качанием лодок, навсегда покоренная голосами шарманки, в вечном кружении — радуйся!

КОГДА, СОБСТВЕННО, НАЧАЛАСЬ МИРОВАЯ ВОЙНА

Колыхаясь, покачиваясь, носимые от балагана к качелям, от качелей к будкам, Курт и Андрей отдались толпе, ее беспечности, ее капризам. Как прирожденные ротозеи, они не сказали бы, сколько часов отняли у них зазывалы, торговцы, шуты и господа

в помятых фраках, величавшие себя профессорами неврологии и психиатрии и собственноручно вытаскивавшие на подмостки балаганов раскрашенных спящих сомнамбулов.

Когда течение вынесло друзей на пространство, где можно было произвольно двигаться и дышать, они осмотрели друг друга и рассмеялись. Вспотевшие и измятые, они были похожи на людей, попавших под проливной дождь. Курт восхищенно вскричал:

— Смотри, Андрей! Эти усатые, а то и седые люди, эти отцы, матери, может быть, деды и бабки — все это дети, которым игрушка дороже всего. Такой праздник... такая наивная веселость...

— Подожди,— остановил его Андрей,— что это? Что это, Курт?

— Тир.

Андрей метнулся вперед, потом схватил Курта за руку, прижался всем телом к нему, словно ища прикрытия и защиты.

— Что с тобой, что ты?

Перед невысоким балаганом стоял густой мерный гогот. Плотная кучка мужчин то отступала от барьера палатки, то наваливалась на него. На расстоянии восьми-девяти шагов от барьера, насаженные на железные прутья, торчали всклокоченные, избитые человеческие головы. Над каждой из них были нацеплены дощечки с именами преступников, головы которых покарало когда-то правосудие, а теперь превратила в чучела гневная рука балаганщика.

Игра была очень несложной. Надо было попасть в голову большим тряпичным мячом. Мяч запрокидывал голову назад. Она падала и скрывалась за полотняной стойкой. Худенький, бледнолицый мальчуган, бегавший позади стойки, тотчас устанавливал мишень и кидал мяч к ногам своего хозяина, собиравшего у барьера штрафную лепту за каждый промах.

Работа шла без перерывов: мячи летали от барьера за линию мишеней и обратно; хозяин менял марки, подавал мячи участникам состязаний, покрикивал на мальчугана и посасывал из кружки пиво; публика погогатывала, поощряла и насмехалась, отступала, когда спортсмен замахивался, и наваливалась, когда он бросал мяч в цель.

Голова, торчавшая в центре мишеней,— со стежками небрежного шва на низком лбу, с выпяченными карими глазами на густосинем лице, покрытом короткими бритыми ростками волос,— эта голова привлекала особую симпатию публики, и в нее летели мяч за мячом. А она, запрокинувшись, скрывшись, снова и снова подымалась на упругом железном пруту и тупо вперяла свой карий безумный взор в гогочущую потную толпу.

К голове обращались ласково, фамильярно, панибратски:
— Карлочка, Карлуша, Карлик.
И над ней висела доска:

ЗВЕРСКИЙ УБИЙЦА
СТРАШНЫЙ БАНДИТ
ДНЕВНОЙ ГРАБИТЕЛЬ И
ЗНАМЕНИТЫЙ ИСТЯЗАТЕЛЬ ЖЕНЩИН
КАРЛ ЭБЕРСОКС
НЕГОДЯЮ ОТТЯПАЛИ БАШКУ
В НЮРНБЕРГЕ

— Что это? — опять вскрикнул Андрей.
— А это спорт,— спокойно раздалось над его ухом.
Он не сразу понял, кто произнес эти слова, и не сразу догадался, что они были сказаны по-русски. Значит, у него вырвались тоже русские слова?
— Познакомимся. Я здешний студент, моя фамилия... впрочем, это не важно. Вы и ваш приятель приглянулись мне: я давно наблюдаю, как вы зеваете на это столпотворение.
Прищуренные, немного усталые глаза смотрят насмешливо и покойно, рот подергивается как будто неуверенной улыбкой.
Студент пожимает руку Андрею и Курту.
— Вы немец? — живо обращается он к Курту.— Прекрасно, будем болтать по-немецки. Вашего друга настолько ошарашило развлечение у этого балагана, что он даже побледнел.
Андрей старается заглянуть в глаза Курту и говорит:
— Во всяком случае, дети так не развлекаются.
Курт пожимает Андрея за локоть, точно успокаивая его, и приглядывается к новому спутнику.
Тот говорит, мало заботясь о том, слышен ли его голос:
— Спорт, как известно,— физическое воспитание. Но сколько мудрости проявил балаганщик, соединив полезное с возвышенным! Восхитительно! Таким способом вы не только разминаете мускулатуру застоявшемуся ландштурму, но и оттачиваете его моральное чувство, укрепляете правосознание и прочее. А чтобы все это не было до смерти скучно, пилюлю золотят пикантнейшим намеком: истязатель женщин, да еще не просто, а — знаменитый! Вот она — змеиная мудрость! Какой простор воображению приказчика от Тица! Ни одна японская картинка не раззадорит так его фантазии, как эта коротенькая строчка: знаменитый истязатель женщин! Главное — вся эта история проникнута патриотической идеей, идеей воспитания граждан в духе государственности.
— В самом деле, отвратительно! — поежился Андрей.

— Ха-ха, если бы я не был в хорошем расположении духа,— засмеялся Курт,— я отдул бы вас, коллега.

— За что?

— За обобщения. Шарлатан устроил приманку для дурковатых людей, а вы несете что-то о государственности.

Студент прищурился, пожал плечами. По его лицу все время блуждала улыбка, но выражение ее оставалось неуловимым. Он точно посмеивался над своей речью и решал про себя — верят ему или нет.

— У вас славный вид. Вы, наверно, студент, может быть, художник? Словом, с вас нечего спрашивать. Я хочу сказать, что вы — мечтательные люди. А я человек трезвый, хотя не прочь выпить. Пойдемте туда, в гору, в ресторан. Да отрешитесь наконец от привычки ходить по дорожкам. Рощей и ближе и свободней... Я был, друзья мои, в пяти университетах, причем из четырех меня выгнали. Дело, впрочем, не в университетах, а в том, что я в короткое время пожил в четырех странах и приучился плевать на все. Так что меня трудно поймать на пристрастии. Я скотина международная. И если у вас чешутся руки, я готов продолжать свои обобщения, чтобы быть битым по совокупности. Согласны?

На траве привалились усталые люди, без пиджаков, без шляп, под прикрытием брошенных на землю растопыренных зонтов. Друзья миновали рощу и снова очутились в праздничной толпе гуляк.

Здесь, на широкой площадке, раскинулся ресторан. Ряды длинных столов и скамей тянулись во всю длину площадки и ровными ступенями восходили к шатру, атакованному накрахмаленной кавалькадой кельнерш. Скамьи были залеплены гостями, как сучья одинокого дерева налетевшей стаей грачей. Столы сплошь уставлены глиняными пивными кружками. Дебелые кельнерши, подняв над головами нанизанные на пальцы кружки, протискивались к шатру, укрывавшему бочки с пенистой влагой. Продавщицы цветов и серпантина перегибались через спины гостей и заглядывали в их лица с такой улыбкой, точно все эти люди были их любовниками. Над головами, зацепившись за ветви деревьев, спутавшись, завившись, висели разноцветные ленты серпантина, колеблемые, разрываемые ударами новых и новых бумажных змеек. Здесь царил смех.

Друзья уселись за стол на верху площадки. Их спутник оказался между ними и оборачивался поочередно то к одному, то к другому, стараясь, чтобы его слышали:

— Вот вам азбука биологии: если какой-нибудь орган продолжительное время не упражнять, то он утрачивает способность

отправлять свои функции. По-моему, напрасно ругают органическую теорию. Законы биологии охватывают, в сущности, всю психическую жизнь народов. Кровную месть европейцы подменили дуэлью, а дуэль вылилась в мензуру: поцарапал щеку противника рапирой и доволен. А то еще лучше: вам дали пощечину, судья оштрафовал обидчика — и оскорбление смыто, вы спокойны. Это оттого, что мы из поколения в поколение не упражняли чувства мести. Постепенно оно атрофировалось.

— В чем вы хотите убедить нас? — спросил Андрей.

Студент отпил из кружки пива, и вдруг лицо его осунулось, потемнело, состарилось, улыбка скрылась, и он устало произнес:

— Ни в чем. Меня развеселила наивность, с какой вы зевали на балаганы. И потом — ваш испуг около тира. Мне захотелось поболтать. Больше ничего.

Он пристально всмотрелся в Андрея.

— Особенно с вами, с русским. Я ставлю вопросы — только. Вам не приходил на ум Рим, когда вы впервые увидели Германию? Вы понимаете? Такой расцвет, такая пышность, такой достаток, такое довольство. Нестерпимо. Я чувствую, что под почвой всей страны, под сознанием всего народа лежат целые пласты напряженного нетерпения. Все кругом так насыщено, налито, наполнено, что нужна, необходима, неизбежна разрядка. Во всем кругом себя я слышу дыхание какой-то страшной потенции. И я вижу, как эта потенция растет, как она непрестанно питается извне, словно аккумулятор, заряжаемый электричеством. Вы запомнили лица спортсменов? Вам стало страшно? А вы подумали, какая сила стоит за этим развлечением? Ее упражняют таким невинным способом, чтобы потом направить, куда надо. Вы понимаете, куда она будет направлена? Понимаете? Вы ощущаете, как эта сила колеблет под вами землю? Вы чувствуете, какое это будет изверженье?

— О чем вы? — внезапно вскрикнул Андрей.

Студент схватил его руку.

— Изверженье,— глухо повторил он,— чувствуете? — И он качнул головой вниз, на столы, облепленные гуляками, как сучья грачами.— Посмотрите!

Одним рядом ниже стола, за которым они сидели, на скамью взгромоздился студент. Расцвеченная корпорантская фуражечка бекренилась на его гладком розоватом затылке. Он был без пиджака, с засученными рукавами рубахи. Позади него стояла девица с корзинкой серпантина. Он брал из корзинки кружочек серпантина, наматывал на палец конец ленты, долго примеривался и целился, потом пускал кружочек по направлению к нижнему столу. По

пути лента запутывалась в узлах свисавшего с деревьев серпантина, или налетала на встречную ленту и переплеталась с ней, или застревала тут же, в ветвях липы, не успев развернуться. Студент, не глядя, опускал руку в подставленную корзинку, брал новый кружочек и ловчился миновать сложную сеть препятствий новым броском. Он входил во вкус и распалялся с каждой неудачей. Ему удалось наконец зацепить своей лентой пышный навес серпантина, отделявший его от цели. Он стянул его вниз на головы гостей под общий хохот. Поле битвы оставалось за ним. Он расставил пошире ноги, взял целую связку серпантина и открыл оживленный огонь.

Его мишенью была девушка. Она сидела с дамой, пожилой и почтенной, державшей себя, как мать или тетка. Первая лента, достигшая цели, упала девушке на плечо. Она неторопливо скинула серпантин на землю. Мало ли здесь было серпантина. Он сыпался сверху дождем и шуршал под ногами, как стружки в мастерской столяра. Вторая лента ударила ее своим клубочком по руке. Она отшвырнула клубочек с нетерпением. Третья опустилась плавно на стол, перед лицом дамы. Девушка предупредительно убрала ленту в сторону и, болтая о чем-то, непроизвольно намотала ее на палец.

Тогда студент натянул ленту и подергал ее с большой осторожностью. Девушка подняла голову, взгляд ее пробежал вверх по воздушному проводу и натолкнулся на расплывшееся в улыбке, блестевшее потом лицо студента. Она усмехнулась и коротким движением руки разорвала провод.

Курт и Андрей смеялись. Лицо их спутника опять помолодело и заиграло неуверенной улыбкой.

— Вы знаете,— сказал он,— что этот праздник студенты зовут гинекологическим сезоном? Нет? Это поучительная история. Один здешний профессор, приступая к своему курсу, заявил: «Очень жаль, что мы начинаем работу в зимнем семестре и на первых порах будем лишены тех благодетельных материалов, благодаря которым эмбриологическое отделение нашего музея приобрело всемирную репутацию; через два-три месяца после Эрлангенской ярмарки таких материалов более чем достаточно». Вы удивлены? Вам это непонятно? Профессор знал, что говорил. Раз в год в этот вечно голодный городишко наезжают фаланги женщин. Их ждут здесь студенты и солдаты. Вы думаете, они ждут женщин напрасно? Через два месяца какой-то процент всех этих голубоглазых невест, жен, кузин и сестер вновь прибудет в гостеприимный Эрланген, чтобы возлечь на постелях университетских клиник.

— Вы преувеличиваете, и вы мрачны, коллега,— сказал Курт.

— Преувеличиваю? Мрачен? О вы, романтики! Хотите держать пари, что вот этот бурш добьется своего не позже сегодняшнего вечера? Смотрите, смотрите!

Около студента, стоявшего на скамье, толпились продавщицы цветов. Между ним и девушкой за нижним столом была протянута новая лента серпантина. Студент прикладывался губами к концу ленты, зажатому в кулак, и всем своим грузным телом выражал неудержимый порыв к девушке. Он выбирал цветок из подсунутого ему лукошка, запечатлевал на нем поцелуй и отправлял с цветочницей своей даме. Потом подымал над головой пивную кружку и опоражнивал ее в несколько глотков. Девушка принимала цветы, подносила их к лицу и неприметно бросала лукавые взгляды на студента. Тот мгновенно перехватывал их и выражал свой восторг мимикой и жестами, которые смешили ее.

— Весело, честное слово, весело! — засмеялся Курт.

— Посмотрите на его фигуру! — закричал студент,— ведь он страшен! Попробуйте помешать ему, отвлеките его на одну минуту, ведь он обрушится на вас с остервенением скотобойца, он изомнет вас! И испытает при этом величайшее наслаждение, потому что через край переполнен величайшим нетерпеньем.

— Вы говорите об этом бурше?

— Я говорю обо всех.

— Вы с ума сошли!

— Ха-ха! Вы художники? Я так и знал! Вы присаживаетесь тут и там на своих холщовых стульчиках, и вам ни разу не пришло в голову, что вы сидите на вулкане. Ха-ха! В одно прелестное однажды вас разорвет вместе с этюдниками, зонтами и стульчиками, как бутылку содовой на солнышке. Орава вот таких буршей растопчет ваше благодушие своими каблуками.

— Маньяк,— произнес Курт, отодвигаясь от студента.

— Погодите,— сказал тот, перекидывая ноги через скамейку,— мне надо повидать одного идиота. Я сейчас вернусь и доскажу вам свою мысль.

— Не трудитесь,— ответил Курт.

— Мне хочется вдолбить вам — не вам, не вам, коллега, а вот своему прекраснодушному земляку, что... я скажу потом — что...

Он закружился и исчез в полупьяной, шумной людской толчее.

— Уйдем,— сказал Андрей, и в его взгляде, остановившемся на лице друга, скользнула забота.

Когда они спустились к балаганам и все кругом них понеслось в органном торканье, Курт проговорил:

— Он, конечно, болен, этот парень.
И, немного погодя, с неживой улыбкой:
— Повеселимся без него, а?..

Ночью, на вокзале, в давке и спорах лезших в вагоны людей, истомленных солнцем, каруселями, спиритуозами и толпой, Курт снова впал в любовное созерцание, возбужденный взглядами, смехом, песнями и ночью.

— Мы все равно не попадем в поезд, Андрей. Давай закончим этот праздник по старому обычаю: отыщем гостиницу, переночуем, а завтра на рассвете — домой пешком, в наш удивительный, наш прекрасный...

Курт не договорил. Взор его упал на пирамидальное деревцо, торчавшее у стола в конце зала.

— А тот парень,— пробурчал он,— тот, что пристал к нам сегодня, кое в чем прав, черт возьми!

За пирамидальным деревцом на столе стоял ярко-желтый ручной чемодан. Позади чемодана, на кожаном диване, развалился студент, обняв и привалив к себе молодую девушку. Несколько часов назад там, на горе, в балаганном ресторане, их соединяла только лента серпантина. Теперь в глазах у них блуждали ленивые огни. Студент помахивал в воздухе рукой, даже не рукой, даже не кистью руки, а одними пальцами, сложенными туго и прямо. Жест этот — снисходительно-ласковый и небрежный — относился к пожилой и почтенной даме — матери или тетке девушки. Дама стояла поодаль, собираясь уйти, и трясла головой,— не понять было: с укором, сожалением или поощряя. Шляпка ее сползла набок, и пряди волос, выпавшие из-под шляпки, были мокры. Студент бормотал миротворно:

— Adieu, Frau Mama, adieu! [1]

Андрей и Курт выбрались на улицу.

По площади шествовала гурьба горланов, человек в семь, взявшись за руки, образовав крепкую цепь, колыхавшуюся вправо и влево. Высокими голосами, в унисон, они пели:

Die Männer sind alle Verbrecher,
Ihr Herz ist ein finsteres Loch;
Die Frauen sind auch nicht viel besser,
Aber lieb,
aber lieb
sind sie doch! [2]

---

[1] Прощайте, мамаша, прощайте! *(нем.)*

[2] Мужчины все злодеи, сердца их — темная бездна; женщины тоже не многим лучше, но они нам милы, нам милы! *(нем.)*

DICHTUNG UND WAHRHEIT[1]

— Без малейшего усилия ты переносишься на сотни лет назад. Ты уж не живешь в цивилизации. Воображение с легкостью восстанавливает мельчайшие черты прошлого. Ты только не противишься ему, не ставишь препон, не тащишь его насильно вниз, в сегодняшний вечер... И, смотри, ты уже какой-то подмастерье, ты спешишь до темноты достичь города, ты знаешь, видишь, чувствуешь его. О нем ходит молва по постоялым дворам и гостиницам, о нем рассказывают что-то шепотом, о нем поют песни. Это — прекрасный старый город, с добрыми мастерами всех благородных цехов, с удивительной киркой святого Лаврентия, которая под стать самому Страсбургскому собору, с чудесными фонтанами, превосходным базаром и отменными жареными сосисками. Ты с каждым шагом ближе к цели, и с каждым шагом уменьшается твоя усталость. Ты взбираешься на холм — и перед тобой, в кольце высокой стены, в башнях, деревьях, цветах, раскинулся город. Ты видишь ворота, ты непременно хочешь вступить в них, прежде чем солнце упадет за горизонт. Ты бежишь. Но в вечерней тишине вдруг повисает волнующий унылый свист. Навстречу тебе идет высокий, худой человек. Его волосы растрепались, глаза полуоткрыты. Он насвистывает на пастушьей дудке однотонную мелодийку и ступает легко, почти скользит по дороге, как лунатик. Что это, что это, Андрей? За ним изгибается пласт дороги, подобно гребню волны, которая не может достичь берега. Он сер, этот пласт, он кишит какими-то существами. Андрей, это крысы, крысы! Они стелются по дороге сплошной лавиной, взбираются одна на другую, с остановившимися черными бусинками глаз, с оскаленными мордами. Стой, стой, не двигайся! Они обойдут тебя, они ничего не замечают, ничего не видят, они хотят только одного: слышать унылый свист человека, который вызвал их из нор и амбарных подпольев на улицу и увел за собой в поле. Торопись: за крысиным полчищем затворяют городские ворота. Солнце село. Тебе прохладно, усталость спала. Ты входишь в город...

— Ты входишь в город,— подхватывает Андрей,— и тебя сразу окружают взволнованные лица мастеровых, служанок, детворы — те самые горожане, что так зычно хохочут на состязании певцов и так горько рыдают при виде страстей господа нашего Иисуса в мистерии на базарной площади. Они перепуганы, они пожирают тебя глазами, они непременно хотят знать, не слышал ли ты о том странном юноше, который появился у них в городе сего-

---

[1] «Поэзия и правда» — название автобиографической эпопеи Гете.

дня на рассвете. Ведь ты нездешний? И ты, наверно, идешь издалека, много видел и много знаешь. Так вот, сегодня утром на улицах появился никому не известный мальчик. Он бледен, как бумага, кожа его прозрачна, он худ и настолько слаб, что не может сделать и пяти шагов. У него прекрасные синие глаза, очень длинные волосы, вероятно никогда не стриженные и мягкие, как пух. Судя по росту, ему может быть лет пятнадцать, но он беспомощен, как младенец. От его взгляда становится страшно — такой это чистый, невинный взгляд. Наверно, так смотрят великомученики и ангелы. Но что самое страшное, так это то, что он не знает ни одного слова, будто только что родился. Ну, вот ты пришел из другого города, из Галле, из Франкфурта, а то, может быть, с самого Рейна. Не слышал ли ты где-нибудь об этом юноше? Правда ли, что какой-то злодей держал его в темной каморке и со дня рождения он не видал ни одного человеческого лица и не слышал человеческого голоса?

— И ты уже тоже перепугался,— говорит Курт, обнимая Андрея за плечи,— ты сам встревожен, как эти добряки; удары твоего сердца совпали с ударами сердца города, ты вовлечен в его жизнь и живешь ею так, точно родился и вырос здесь...

Друзья идут быстро, нога в ногу, прямой, плотно уложенной камнями дорогой. По сторонам тянутся ряды короткостволых яблонь с пышными кронами, в желтеющих шарах полузрелых плодов. Ноги покрыты седоватой мелкой пылью, но поступь все еще легка и бодра. Впереди, за отлогим холмом, где-то в небе висит дымчатый нетяжелый покров. Там — город. Друзья смотрят туда, вперед, в небо, приподняв непокрытые, встрепанные головы.

— Ты дышишь грудью этого города. Он окутывает тебя своим существом, как сон. Все, что совершается здесь, совершается в тебе. Ты живешь от чуда к чуду... Мальчуган, играя возле кирки святого Лаврентия, сказал: «Черт меня побери!» Черт тут как тут: мгновение — и мальчуган барахтается у него под мышкой, и мальчуган под землей, и в земле только одна дырка. Разве тебе безразлично, какие рога были у черта, и какой у него хвост, и как он пахнет? А разве ты не побежишь в бург, чтобы своими глазами увидеть на стене следы копыт того коня, который унес на себе разбойника, перескочив крепостной ров?..

Друзья остановились. Прямо под их ногами ровно уплывала дорога к пятнам ярких квадратов полей. Новый город мутным кругом опоясывал старый. Пять башен, широких и грузных, озирали окрестность. На скученных темных домах, сросшихся в нерушимую каменную грудь, короной веков лежал розовый бург.

— Нюрнберг! — вырвалось у Курта.

— Нюрнберг! — повторил Андрей.

Они стояли неподвижно, устремившись всем телом вперед, как путники пустыни перед нечаянным колодцем. Потом Курт схватил Андрея за руки, притянул его к себе порывистым, торопливым движением, заглянул ему в глаза — точно хотел перелить в Андрея весь восторг, и они поцеловались.

— Навсегда! — проговорил Андрей.

— Навсегда!

Взявшись за руки, они вдруг разразились долгим бессловесным криком и побежали вниз, в город.

Был вечер.

Спускаясь по лестнице со своих мансард, Курт встретил офицера. Офицер был молод, подвижен, и в выправке его сквозила непринужденность. Он взял под козырек:

— Не можете ли сказать, где живет господин художник Ван?

— Чем могу служить?

Офицер поднялся ступенькой выше, стал лицом к лицу с Куртом, улыбнулся, почти воскликнул:

— Ах, так это вы сами! Я узнал вас по автопортрету — помните, такой маленький карандашный рисунок?

— Вы... вы...— пробормотал Курт и вдруг повернулся, чтобы идти вниз по лестнице. Но тут же раздумал и перескочил через две ступени наверх. Потом снова метнулся вниз, глянул на офицера, пожал его протянутую руку и четко, по-солдатски, ответил:

— Очень рад, господин лейтенант.

— Вы, по-видимому, торопитесь? Прошу вас звать меня просто фон Шенау. Может быть, всего несколько минут... Я не задержу вас. И пожалуйста — просто фон Шенау.

— Очень рад,— повторил Курт и повел рукой вверх.

— Я разыскал вас без особого труда,— говорил офицер, подымаясь по лестнице,— хотя мой агент, с которым вы до сих пор имели дело, уверял, что вашу мастерскую найти вообще невозможно. Ха-ха! Я боюсь, что этот добряк непременно хочет сохранить перегородку между мной и вами. Кстати, скажите, какую сумму вы получили от него последний раз в виде аванса?

— Пятьсот марок.

— Скажите! Это делает ему честь, ха-ха!

Курт открыл дверь и пропустил офицера вперед.

— Это и есть ваша мастерская? Скажите! Вот как скромны истинно великие люди.

— Я очень благодарен, господин фон Шенау, но...

— Право, я шучу. Мне хотелось бы с вами сойтись. Добряк, с которым вы имели дело, рассказал вам, вероятно, как я ценю ваш талант. Мне хотелось бы попроще, без церемоний. Я страш-

но рад, что застал вас. Я ведь вообще люблю художников. По контрасту: у нас все так сложно — представительство, этикет, а вы — просто. Скажите, это ваше новое полотно? Поверните, поверните, вот... вот так. Это в счет аванса, что? Ха-ха!

— Простите, господин фон Шенау, но я уже обещал эту картину другому лицу... собственно, магистрату Нюрнберга...

Офицер сел в кресло и наклонился вперед, опершись локтем на коленку. Лицо его сузилось, широкий лоб с красной полоской от фуражки вырос, рот ясно и резко очертился. Он смотрел на картину.

— Что вы там сказали? — промычал он.

Потом оторвался от полотна:

— Мне послышалось, что вы сказали какой-то вздор, господин Ван?

Курт шагнул к гостю, и голос его стал грузным:

— Я собирался отблагодарить вас, господин фон Шенау... Я хотел также возвратить аванс...

Офицер быстро встал, выбросил вперед руку, коротко, как гимнаст:

— Давайте!

— К сожалению, в данный момент... я...

— Вы несете чепуху, дорогой Ван. Я даю вам возможность работать. Я не тороплю вас. Можете писать по одной картине в три года. Пожалуйста. Я обеспечиваю вас. Я не ставлю вам никаких условий, кроме одного: из этой мастерской картины знают только одну дорогу — в мое собрание.

— Позор!

У офицера ясно и резко очерчен рот, и слова его, как рот, ясны и резки:

— Господин художник понимает, что с ним говорит офицер. Офицер предлагает, художник соглашается или отказывается. Вы отказываетесь?

— Боже мой! Ведь вы лишаете меня главного, вы берете у меня...

— Я делаю вам честь. Вы знакомы с каталогом моего собрания? Ван Дейк и Рубенс, французы, кончая Сезанном, немцы до Клингера. Я отвел вам целую стену.

— Меня никто не знает. Я работаю... я работаю...

Курт хватается за спинку дивана, толкает ногами подрамники, произносит надорванно, точно умирая от жажды:

— Работаю на вас!

— Скажите! Ван, Ван, вы безумны, как гений. Вы хотите пробивать свою дорогу шаг за шагом, а я обещаю вам развернуть

ваше будущее одним движеньем. Вас никто не знает? А я сделаю так, что вас узнает весь мир. Я сделаю это.

Курт падает на диван.

— Но это полотно... именно это. Прошу вас. Я хотел видеть его в магистрате. Дворик Немецкого музея — это наше, нюрнбергское, близкое нам...

— Ван, бросьте говорить вздор! Мне было бы неприятно оставлять вас в дурном расположении духа. К тому же...

Лоб офицера опять растет, красная полоса от фуражки бледнеет, исчезает. Офицер смотрит на картину.

— Хорошо. Очень. Какое счастье наблюдать за вашим ростом. Знаете...

Офицер встает, подходит к Курту, берет его за плечи, всматривается в его лицо — как в лицо солдата — поощряюще.

— Знаете, вы лучший из художников вашего поколения. Ведь вы ненамного старше меня, да?

Потом он снова оглядывает комнату, вынимает из кармана визитную карточку, пишет на ней несколько слов, по-прежнему молодо говорит:

— Я здесь проездом. Страшно рад, что застал вас. Вот, возьмите, может пригодиться. И до свидания. Я непременно приглашу вас к себе, в Шенау. Вы увидите, какую я отвел вам стену. Непременно. До свидания.

Офицер пожимает руку, бодро и радостно шуршит униформой, шумно затворяет за собой тонкую стеклянную дверь.

Курт сидит неподвижно.

Снизу, с улицы, подымается вечерний говорок возвращающихся с фабрики рабочих. Слышно, как шуршат по мостовой велосипедные шины. В углы комнаты забиваются сумерки. Полотно на мольберте отсвечивает красным.

Курт ощущает в своей руке карточку. Подносит ее к глазам. Карандашом:

Выдайте 200 в счет платы
за «Дворик Немецкого музея»

Печатной краской:

ЛЕЙТЕНАНТ ФОН ЦУР МЮЛЕН-ШЕНАУ
(маркграф)

Тогда Курт вскакивает с дивана, рвет визитную карточку, подбегает к окну и грозит кулаком вниз на улицу.

С тяжелым дыханьем выползает и пенится шипучее слово:

— Не-нави-иж-жу!

Розенау лежит в низине, и в Розенау есть пруд. От его сырости, от сочной травы газонов и густых крон ветел в Розенау прохладно.

И когда наступали сумерки и город закупоривала духота, люди стекались к Розенау.

Потому что этим летом над Баварией ходили грозы.

Они собирались к ночи и рушились исступленно на города, дороги и поля. С рассветом небо очищалось; дни стояли знойные, тугие; по вечерам приплывали тучи и ночью, разодранные грозой, валились на землю...

Человек внес свои поправки в безумства природы. Поставил громоотвод, провел канализацию, придумал зонтик.

О, этот гордый человек!

Когда первая капля дождя холодным предвестником падет на землю, он пощупает лысину ладонью, раскроет зонтик, и по его лицу не скользнет и отблеска смятенья: под зонтиком ступает все тот же царь природы.

Никакого смятенья вообще. Ни озабоченности, ни поспешности, ни суеты. Жизнь — это гармония. И родина гармонии — родина Баха, Мендельсона, Листа, Гайдна.

На каждом шагу встречаешь человека, неспособного отличить c-dur от a-moll. Но всякий знает, что Гайдна и Мендельсона дала Германия. И каждый, точно правоверный эллин, верит, что семь тонов музыкальной гаммы ответствуют семи спектральным краскам.

Жизнь — это гармония, в которой каждая сигара — известная тональность.

Оранжевая черепица крыш, кнопка воздушного звонка, кожаная манжета колбасницы, головной гребень кельнерши — известный, только им присущий, только им преподанный, приятный тембр.

Стукните ножом по кофейной чашке берлинского локаля. Чашка издаст тот самый тон, в каком звучит кофейная чашка любого локаля Ганновера — или Дрездена, Штеттина, Любека. Подмените чернильницу штадтрата Герлица чернильницей штадтрата Баутцена. Почтенным бюргерам и в голову не придет, что они обмакивают свои перья в чужие чернильницы.

Как Баутцен, как Герлиц? А сорок километров, разделяющих эти соседние города?

О, хотя б четыреста, пятьсот и даже тысяча!

Ведь это же чернильницы штадтратов. А не профессоров, не патеров, не офицеров.

Жизнь — это гармония.

И жить — значит не нарушать гармонии. В каждом возра-

сте и в каждый час, во всяком звании и чине, в любой общественной среде — звучать присущим и преподанным, приятным тоном...

Так, этим летом, когда над Баварией ходили грозы и в сумерки закупоривала город духота, по вечерам отправлялись в Розенау, в прохладу пруда.

Мужчины снимали с себя пиджаки, привешивали на жилетную пуговицу панамы и шляпы (за особый держатель — бесплатная премия Тица), брали зонтики и шли.

И с первым шагом их, как только заносили ноги, сняв пиджаки, привесив к пуговицам шляпы, все совершалось в ритме и размере, положенном гармонией.

Вот так: мужчины.

За ними — дружно: жены, дочки, тещи. Все в белых блузках, с ридикюлями, с зонтами.

А спереди — сынки: без шляп, в рубашках «робеспьер», заправленных в короткие штанишки. Ну, эти без зонтов. При первом же раскате грома — бегом, марш-марш домой. А «робеспьеры» высохнут и выгладятся завтра...

За столиком сидели прочно, долго. Неколебимо слушали оркестр. Подтягивали Штраусу, умилялись:

— Хороший композитор, prosit!

Фельдфебель-дирижер руководил отчетливо, как на параде. Обертывался на аплодисменты — раз, два, три. И кланялся, насколько позволяли воинский устав и воротник.

Флейтист вставал, менял дощечку-номер — «4».

Тут каждая семья — в последовательности патриархальной — смотрела на программу:

— Четыре? Шуман, попурри из песен.

— Ах, Шуман!

— Да, из песен...

— Прекрасный музыкант, хотя — австриец? Prosit!

Все в этом ритме и размере.

Но ночью, перед тем как нависнуть над городом и пролиться грозовой туче, привычный и удобный ритм был сломан.

В тембры присущие, преподанные и неизменно приятные, после прохлады Розенау, после Штрауса и Шумана, врезались слова, разорвавшие гармонию, как гроза — духоту.

Люди кучились по перекресткам, захлестнутые ливнем, точно птицы, подбитые ветром, точно овцы, оглушенные громом.

Открывали и закрывали зонты. Расстегивали и застегивали воротники. Снимали и надевали шляпы.

Но не двигались: ждали молнии.

И когда она шмыгала воровато над крышами, люди впивались глазами в лоскутки телеграмм, расклеенные на стенах, чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова:

Эрцгерцог!

Потом срывались с места, захлестнутые, подбитые, оглушенные грозой и ливнем, и опять примыкали к жавшейся на перекрестке толпе, и опять ослеплялись словом:

Эрцгерцог!

И опять не двигались: ждали молнии.

Так каждый: в каждом возрасте, во всяком звании, из всякой общественной среды.

Потому что с этой ночи, ослепившей словом:

Эрцгерцог!

старой гармонии не стало, и — смятенные — люди кинулись искать новую.

Мокрый до последней нитки, Андрей пробирался знакомыми окраинами к дому, где жил Курт. Под взрывами ветра умирали и воскресали газовые фонари. Андрей зажег спичку, отыскал кнопку звонка. Минуты через три сверху соскользнул на улицу слабый голос:

— Это вы, герр Ван?

Андрей отбежал от двери на середину мостовой.

— Простите за беспокойство, фрау Майер. Разве Курта нет дома?

— Ах, герр Старцов! Добрый вечер. Мы думали, что герр Ван с вами. Он ушел уже давно. У него был какой-то офицер.

— Офицер?

— Молодой офицер.

— И Курт ушел с ним?

— Нет. Офицер ушел раньше.

— А где же Курт?

— Право, вы меня пугаете, герр Старцов. Откуда мне знать, где он пропадает? Он так стукнул дверью, когда уходил, что у меня на кухне запрыгала посуда.

— Простите за беспокойство, фрау Майер. Покойной ночи!

— Доброй ночи, герр Старцов!

Белое пятно на мансарде исчезло, окно закрылось. Андрей постоял несколько мгновений неподвижно. Потом произнес негромко:

— Офицер.

Потом медленно пошел назад, по окраинам, которые привели его к жилищу Курта.

Дома он разделся, растер себе грудь, спину, живот, ноги сухим полотенцем, переменил белье, открыл окна, закутался и уснул сразу, точно сорвался в какой-то провал.

В этом провале он отчетливо увидел:

В беспредельном, может быть снежном, просторе висит человеческая голова. Кругом все тихо и недвижно. Вдруг из пустоты возникает студент в корпорантской фуражечке на гладком розоватом затылке. Карие глаза головы открыты, зрачки устремлены на студента.

— Adieu, Frau Mama! — говорит голова и подмигивает студенту. Тогда студент отбегает назад, расставляет пошире ноги и заносит руку. Откуда у него тряпичные мячи? Первый удар мимо. Второй тоже. Мячи несутся на полсантиметра справа и слева от головы. Голова переводит взор на Андрея и открывает синие губы, чтобы что-то сказать. Но на мгновение ее заслоняет собою мяч, и она покачивается и трясется, точно в раздумье, потом вдруг опрокидывается на затылок и летит куда-то вниз. И в тот же миг исчезает снежная беспредельность, и перед Андреем вырастает грандиозная каменная лестница, и голова скатывается по ней с хронометрической размеренностью, гулко ударяясь о каждую ступень поочередно, то лицом, то затылком:

бумм — бомм...
бумм — бомм...

Но взгляд ее неотрывно упирается в глаза Андрея, хотя должны же, должны быть моменты, когда Андрей не может видеть этого взгляда, не может!

бумм — бомм...
бумм — бомм...

Андрей вскочил с постели. Весь он покрылся потом, и рот его был связан какой-то соленой сухостью. Он сжал голову руками. Прислушался. Звонкие удары гулко раздавались на улице. Андрей бросился к окну, приподнял занавеску.

В свежем послегрозовом рассвете по мостовой цокали бесчисленные подковы. В воздухе, на остриях кавалерийских пик, развевались двухцветные флажки. Вылощенные темно-зеленые униформы, набитые хорошими широкогрудыми телами, чопорились и

подпрыгивали в седлах. По чернолаковым квадратам, завершавшим каски, бегали неуверенные тени утреннего неба.

Впереди кавалерии, на вороных конях, продвигался, зажженный горячей медью труб, полковой оркестр. Большой барабан сотрясал покой спавших улиц:

бумм — бомм...
бумм — бомм...

Андрей опустился на подоконник и закрыл ладонями лицо.

Люди вспомнили, что на свете существуют короли.

Их совершенно реальное бытие вдруг стало очевидно после того, как ослепительное слово

Эрцгерцог!

ворвалось в гармонию, сломало ритмы, исказило размеры, обезобразило тембры.

Оказалось, что короли живут не только на страницах журналов, обозрений и по витринам фотографов. Оказалось, что короли не только путешествуют, переезжают из зимних резиденций в летние, улыбаются на портретах и ежегодно празднуют тезоименитства. Оказалось, что короли не только в истории и географии, то есть — в сущности — на школьных скамейках. Нет!

Короли жили в действительности, по-настоящему. У королей в самом деле были черепа, относившиеся к пулям точно так же, как черепа их подданных. И короли настолько хорошо кричали, что голоса их были слышны в очень отдаленных от резиденций местностях.

И, боже, какое множество обнаружилось вдруг королей! С каждым днем и с каждым часом они выползали из своих резиденций, как тараканы из щелей. В конце концов они запорошили собою все уголки газет, и пришло время положить предел этому царственному беспорядку.

Довольно слушать разноголосицу, довольно вдумываться в неразбериху, довольно портить глаза на всех этих нотах, меморандумах, волеизъявлениях и манифестах, довольно!

Разве еще не ясно, куда зовет вас чувство долга?

Слушайтесь этого чувства — чувства долга! Только его, ничего больше!

Оно приведет вас на улицу, в толпу, и толпа вскинет вас на свои плечи, как волна вскидывает щепку на свой гребень. И вы устремитесь к дому сербского торгового консула, и чувство долга выдавит из ваших внутренностей вопль негодования. И потом вы будете бить палкой по запертой парадной консульства, пока к вам

не подойдет шуцман и не объяснит, что вы ошибочно думаете, будто бы порядок дозволяет портить двери. И тогда чувство долга повлечет вас по улицам к дому итальянского торгового консула, и вы будете петь национальный гимн и кричать «Vivat Italia!», пока к вам снова не подойдет шуцман и не посоветует пойти домой, потому что наступает полицейский час и шум нужно прекратить. И хотя чувство долга и охрипшее горло умерят ваш пыл, вы все-таки будете кричать, и негодовать, и гневаться, потому что — ужели жизнь зазвучит прежней гармонией после освежающей грозы? ужель не суждено испытать прекрасной долгожданной перемены? ужель — опять благословенный, тяжкий, гармоничный мир? О, никогда! Ни за что! Перемены, перемены, перемены!

Мы требуем, мы хотим, мы жаждем перемены!

Тогда слушайтесь чувства долга.

Толпа ярилась у парадной сербского торгового консула, и в толпе были Андрей и Курт. Но они не видали друг друга. Потому что, если принять толпу, заключенную между сторон улицы, за прямоугольник, то Андрей находился в одном конце диагонали, а Курт — в другом. И этот другой конец диагонали приходился как раз у парадной консульства, а первый — там, где стояли люди, не проникшиеся чувством долга или — от природы — лишенные его.

Механика народных толп на городских улицах имеет свои законы, и эти законы, конечно, не могут быть нарушены столь внешними явлениями, как человеческая дружба.

И когда толпа повернулась и пошла назад, к дому итальянского торгового консула, Андрей очутился впереди шествия и возглавлял его до первого проулка.

Там он юркнул за угол и — по окраинам — бросился к Курту.

Узнав от фрау Майер, что ее жилец не был дома с утра, он прошел к нему в комнату, разыскал на столе клочок бумаги и попавшимся под руку коричневым пастельным карандашом жирно написал:

Что с тобой, Курт? Я заходил дважды. Приду завтра утром. Я измучен.

Андрей.

Назавтра солнце взошло двумя с половиной минутами позже, чем в предыдущий день. В остальном рассвет не был сколько-нибудь замечателен.

Как всегда, около семи часов утра на улицах появились велосипедисты с мешками и корзинами на горбах. Шурша шинами, велосипеды катились под окнами Курта вправо и влево.

Те, что катились вправо, несли на своих седлах рабочих Иоганна Фабера.

Как всегда, рабочие составили велосипеды в обширном гараже, в стойках, и поднялись в гардеробную. Там каждый открыл свой шкафик — с отдельным замочком под номером и фамилией рабочего,— снял с себя пиджак, отстегнул манжеты, целлулоидный воротник с манишкой и, повесив все это в шкаф, облачился в холщовую блузу.

В семь часов все стояли на своих местах.

В семь часов мастер Майер вступил во вторую смену огнепостоянной печи.

Измерительные аппараты, радиационные пирометры находились в соседнем здании, где за шкалами, таблицами и метрами сидели неподвижные люди, которые на социальном силомере выжимали одним делением больше обыкновенного мастера. Воздушные провода, звонки и телефоны соединяли этих людей с Майером, и он осуществлял их повеления, как моряк — сигналы лоцманской башни.

Он смутно представлял себе отсчеты неподвижных людей, сидевших за пирометрами в соседнем здании. Он знал только сигналы, рождавшиеся по их воле, и по сигналам мог уверенно сказать, какой номер штифта обжигается в печи.

Он верил в лоцманскую башню — и еще в то, что там — за люками, винтами, за бетонированной, ожелезненной стеной — пространство, которому имя печь, может быть нагрето до 1300 градусов.

До 1300 по Цельсию.

Он верил в это, мастер Майер.

Ежедневно в полдень рабочие подходили к рукомойникам, отдавали должное фабричному мылу и фабричным полотенцам, облачались в целлулоидные воротники и манжеты и шли в гараж за велосипедами.

В этот день они подошли к рукомойнику в десять часов утра и велосипедов не брали.

В десять часов утра в помещение огнепостоянной печи зашли двое.

— Вот что, Майер,— сказали они,— мы сегодня идем на улицу. Мы против войны. Идем с нами.

— Против войны? — переспросил Майер.— Это хорошо. Но у меня — печь.

— Это верно, Майер, у тебя печь. Но мы думали, что у тебя, кроме того, и голова...

Майер вскинул брови и пожевал так, будто держал во рту чубук.

— Но ведь я говорю вам, что я против.

— Ну, так идем.

— А печь?

— Тогда отпусти рабочих.

Майер отошел в угол, вынул из кармана табак и низким баском пробурчал:

— Я ничего не знаю...

А через четверть часа взлохмаченный человек в коленкоровом халате ворвался в дверь и крикнул Майеру в упор:

— Майер, вы здесь?

Растерянно улыбнулся и тотчас вылетел наружу.

Тогда Майер подошел к телефонной трубке и сказал спокойно:

— Пришлите-ка мне двоих на подачу. Мои куда-то провалились, черт их побери...

А еще через четверть часа к человеку, вынесшему из фабричных ворот плакат:

МЫ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ,
ПРОТИВ ВОЙНЫ!

подошел полицейский инспектор, вынул из его рук древко и, передавая плакат шуцману, сказал:

— Отнесите эту дрянь в участок.

Позади человека, у которого отняли плакат, колебалась неплотная, бесформенная толпа. Позади инспектора, вычерченная по мостовой, протянулась ровная линия шуцманских мундиров. В течение минуты толпа смотрела на мундиры. Потом она начала редеть, потом растаяла, и последний из толпы — тот, кто вынес на улицу плакат,— тихо вернулся на фабричный двор и закрыл за собой чугунные ворота.

Это было без четверти одиннадцать.

И в этот час Андрей третий раз подошел к дому, где жил Курт.

Он остановился у дверей, чтобы перевести дыхание. Взгляд его упал на скомканный клочок бумаги, валявшийся на тротуаре, под окном Курта. Его что-то толкнуло вперед. Он нагнулся, поднял бумажку и развернул ее.

Надорванная, смятая, замазанная коричневой пастелью записка кончалась словом: *Андрей.*

«Города и годы»

ЦВЕТЫ

На Майере была вязаная куртка с кармашками на груди. Из одного кармашка в другой бежала цепочка. Изо рта — беззубого, приятного, окруженного седоватой щетинкой бороды и усов,— спускался длинный чубук. Трубка лежала на животе. Живот был толст, но не оттого, что Майеру хорошо жилось и он ел много ветчины, а просто Майеру стукнуло шестьдесят, и живот, довольно потрудившись над картофелем, салатом и ливерной колбасой, живот Майера просто немножко отвис.

Восемнадцать лет, как Майер — мастер, но все еще не может позволить себе роскоши отоплять все комнаты своей мансарды и самую большую (на юго-восток) отдает внаймы.

И теперь, после обеда, раскурив трубку, Майер зашел к своему жильцу — фантазеру, чудаку, а в общем, славному парню — художнику Курту Вану.

Славный парень стоял у раскрытого окна и смотрел вниз, на улицу.

— Что только творится на божьем свете!..— сказал Майер, подбирая губами чубук.

Славный парень не отозвался.

— Дело будет, пожалуй, покруче, чем в семьдесят первом...

Славный парень застукал башмаком об пол.

— Как только подумаешь... — начал снова Майер и пощелкал языком: — Тц-тц-тц-тц-тц...

Славный парень, не поворачиваясь, спросил:

— Что нового, герр Майер?

Хозяин пососал чубук и присел на диван, отодвинув от него пыльные подрамники.

— В каждом мастерстве есть свой порядок, который можно понять, если присмотришься. Я смотрю на ваше мастерство и не понимаю ничего. Когда вы скажете, герр Ван, чтобы моя жена вытерла у вас пыль?.. Нового? Все то же: одна глупость.

— Долг, по-вашему, тоже глупость? Негодование, гнев — тоже?

Курт повернулся, ударил себя кулаком в грудь, вскрикнул:

— Когда вот здесь — как кипяток, как огонь! — и опять стал лицом в окно.

Майер пыхнул дымком.

— Я прошлую ночь не спал, герр Ван. Я думал, герр Ван. Так что моя жена хотела положить мне на подошвы горчичники. Мне пришли такие мысли в голову, герр Ван. Я стою столько лет у своей печи, вы знаете. Мой приятель — художник Ван, который не дает вытереть пыль у себя в комнате,— ходит за город рисо-

вать с натуры, а потом пишет картины. Меня и моего приятеля никто не обижал, и нам не на что оскорбляться. И вдруг...

— Нация, герр Майер, нация, народ! — крикнул в окно Курт.

— Я понимаю, герр Ван. Но я думал, герр Ван... Может быть, мне надо было послушаться насчет горчичников: это оттянуло бы кровь от головы. Я думал, почему так устроено? Почему я должен оскорбиться на...

Курт перебил:

— Бывают случаи, в которых думать нельзя. Вы меня простите, герр Майер, но вам дали пощечину, а вы философствуете.

— Я узнал об этом вместе с вами, из газет, на вторые сутки, по телеграфу. А когда она раздалась, эта пощечина, я мирно спал с женой.

Курт оторвался от окна, подбежал к хозяину, подергивая головой, сдавленно прогудел:

— Я просил вас, герр Майер, не говорить со мною на эту тему.

— Я не думал, что вы такая горячая голова,— ответил Майер и подобрал губами чубук.— Я и не хотел подымать эту тему. Вы сами спросили меня, что нового. Я хотел рассказать, что случилось со мной сегодня перед обедом...

Майер открыл крышечку трубки, умял пальцем табак и пососал чубук.

— Утром меня зовут к телефону. Говорят: в обед заехать в контору. Заехал. Второй директор, герр Либер, идет мне навстречу, протягивает руку и говорит: правление поручило мне выразить вам, герр Майер, от его имени благодарность за то, что вы проявили чувство долга и не оставили своего поста во время имевшего место непорядка. Я говорю ему: герр директор, но ведь печь, она ведь... Тут подносят ему бумагу, и он спрашивает, что это. Ему говорят — лист, штрафной лист. Тогда он вынимает из кармана карандаш — в серенькой оправе, наш патент, самое последнее слово, знаете, герр Ван, штифт подается механически, ни давить не надо, ни вывинчивать, механически,— перелистывает бумагу, и я вижу — лист за листом, лист за листом, но не считаю, а смотрю на пальцы директора. Такие длинные и такие белые пальцы. Поверьте, герр Ван, я только и думал, что вот никогда у меня не было таких пальцев, даже в молодости, и что вовсе не от работы не было, просто — совсем у меня другие пальцы, от рождения. Герр директор перелистал бумагу и легко так карандашом скользнул, где надо было, и опять подает мне руку и говорит от имени правления. Я ему пожал руку — рука совсем без костей,— говорю, что печь, она ведь... и все такое, а сам ни о чем не могу думать, кроме пальцев. Так и вышел. Прошел двором, взял велосипед, по-

вернул ногой педали и тут вдруг говорю себе: стой, старый Майер, стой! Ведь ты нагадил, наверно нагадил, если получил благодарность, когда вся фабрика, все рабочие...

Глаза художника медленно прищурились, он покачал головой и спросил:

— Признайтесь, герр Майер, вы социалист?

Майер выпустил чубук, замигал на светлое окно, стараясь вглядеться в лицо жильца, почмокал мягким ртом, потом нерешительно улыбнулся, потом встал.

— Прежде вам удавались шутки лучше, герр Ван.

И вышел.

Курт смотрел в окно.

По улизанной белой дороге вправо и влево, шурша шинами, катились велосипеды. На горбах седоков торчали мешки и корзины. Над рулями маятниками раскачивались трубки, нет-нет выкидывая за спины курильщиков клубочки синего дыма. Клубочки бросались за мешками и корзинами, висли на них, вытягивались в белую полоску и пропадали. Велосипеды обгоняли друг друга, скучивались в табунки, расползались цепью, торопливо выныривая из-за домов и сбиваясь в густой черный поток на концах улицы.

Вот выплыл на дорогу, завилял, покатился направо желтый велосипед с высоким рулем и седоком, который сидел, как в кресле, прямо и покойно: герр Майер поехал к Фаберу.

И так четверть часа: обгоняя друг друга, скучиваясь в табунки, расползаясь цепью, исчезая в густом черном потоке на концах улицы — велосипеды, велосипеды, велосипеды. И когда прошло четверть часа и никто не опоздал, потому что ничего не случилось, дорога опустела. Женщина, вытирая пот с лица, подгоняла пару мускулистых псов, заложенную в тележку. Псы разинули пасти, и на мансарде, высоко над дорогой, слышно было их усердное дыханье. Монах в коричневой рясе с капюшоном, подпоясанный тугим крученым поясом в кистях, с четками в руке, опустив голову, мчался через дорогу.

Курт смотрел в окно.

— Война.

Кто произнес это слово?

— Война.

Чей это голос?

— Война.

Зачем здесь, на дорогах, обсаженных яблонями, в тени кедровых деревьев, взращенных, взлелеянных, взлюбленных, зачем здесь?

— Война.

В гулкой воркотне турбин, потонувших в зелени ветел, в свистах и шорохах шлюзов, пропускающих караваны,— зачем здесь?

— Война.

Наши дома обсажены цветами, наши поля взрыхлены под новый урожай, наши фабрики, наши фабрики, наши фабрики — храмы, где мы с детства служим мессу днем и ночью! Зачем, зачем?

— Война.

Яблони и кедры, цветы и турбины, поля и шлюзы, и наша вечная месса фабрике — это на наших костях, на наших мышцах, на наших душах,— и мы не хотим, не хотим, не хотим!

— Война.

Курт бежит по лестнице вниз, перебегает дорогу, вскакивает в трамвай. Трамвай мчится в центр, в старый город. Центр, старый город, с автобусами, барами, площадями и улицами, костелами, автоматами и средневековым бургом мчится в никуда.

Он был слишком тих, этот город, он почти дремал, он щадил покой своего средневекового каменного костяка. Бары и автоматы не очень громко стучали ножами и стаканами, а автобусы почтительно глушили свои моторы, чтобы не потревожить, не нарушить приятную дрему семнадцатого века.

И теперь, разбуженный, вспугнутый, очнувшийся, город должен в несколько дней, в несколько часов догнать двадцатый век. Он должен догнать его, чтобы сохранить в целости свой средневековый костяк. Об этом вопят газеты — утренние и вечерние, консервативные и социал-демократические, либерально-народные и церковно-католические, богатые, бедные, большие, маленькие, с читателями и без читателей, иллюстрированные, экстренные, традиционные, для христиан, для хозяек, для прислуги и для господ офицеров.

Уже посланы корреспонденты на границы, уже объявлено о печатании четырех новых, военных романов, уже появилось первое военное сообщение — жирным шрифтом на передних полосах всех газет, христианских, социал-демократических и прочих,— жирным шрифтом, первое военное сообщение:

Вчера, в четыре часа пополудни, близ хутора Фануар, к юго-западу от Меца, наш пограничный патруль столкнулся с французским разведочным отрядом и атаковал его. Французы, безуспешно отстреливаясь, обратились в бегство.

О, о! Они уже обратились в бегство!
О, они не умеют как следует стрелять!
— Вы читали?
— А вы читали?
— Вы слышали, как французский шпион, нарядившись патером...
— Вы знаете, что русские уже давным-давно...
— О, мы были чересчур благодушны, и наше терпенье...
— Его схватили, и — что же вы думаете? — у него во рту оказались пироксилиновые...
— Черт возьми, однако он писал нашему кайзеру письма, а тем временем...
— У нее был паспорт простой учительницы, а когда ее обыскали...
— Подлые трусы, они утекают при одном виде наших касок!
— Уверяю вас, самый добродушный вид: голубые глаза...
— Я бы сразу догадался!
— Держите, держите, дер-жи-те!
— Экстренные те-ле-грам-мы!..
— Экстрен...
— ...гра-ам-м!..
— Прочтите, прочтите!
— Ага-а!..
— Я говорил, я говорил!..
— Вы читали?
— А вы?
— А вы?
О, о! Они уже обратились в бегство!
О, они не умеют как следует стрелять!

Сегодня в пять часов утра в окрестностях Рота был задержан молодой человек, назвавшийся...

Извозчик, заломив на затылок цилиндр, маяча на высоких козлах, размахивает в воздухе телеграммой. Шофер, держа в одной руке руль, другой засовывает за обшлаг телеграмму. Шуцман, отойдя на десять шагов от перекрестка, одним глазом косит на окно, заклеенное телеграммой. Велосипедист, не слезая с велосипеда, покупает у запыхавшегося мальчугана телеграмму. В ресторанах, пивных, автоматах, трамваях, над головами, в руках, карманах, на полу — телеграммы. В окнах, на стенах, витринах, в воздухе — гонимые ветром — телеграммы, телеграммы, телеграммы.
— Экстренные те-ле-грам-м!

— Экстрен...

— ...гра-ам-м!

Словно розлили по городу крепкое вино, и люди захлебываются им и плавают, тонут, пропадают в вине.

Курт мнет в комок белый, усеянный рублеными буквами лоскуток бумаги. Потом разглаживает его, скользит острыми глазами по отчетливым строкам, опять сминает бумагу в тугой комок, кричит:

— Обер!

Расплачивается, выбегает на площадь. Там — в шуме и дрожи города, захлебывающегося, тонущего,— он вдруг останавливается посреди тротуара. Его обходят, толкают, на него озираются. Он ничего не замечает. Он смотрит через головы, плечи, шляпы и зонтики прямо перед собой, в ту сторону, куда только что шел. Так же внезапно, как остановился, поворачивается, пересекает площадь, садится в трамвай. К вагону, оторвавшись от людской толчеи на тротуаре, через площадь бежит какой-то человек. Вагон двинулся. Человек ускоряет бег, вскакивает на подножку, входит в вагон, разыскивает кого-то глазами.

— Курт!

Курт смотрит на улицу, мнет в руках белый лоскуток бумаги.

— Курт, Курт!.. Ты видел меня?

Курт повернулся, засунул руки в карманы. Его рот сжат, верхние тонкие веки придавлены бровями.

— Нам не о чем говорить.

— Курт!..

— Послушайте,— начинает Курт.

Но тот, кто назвал его по имени, хватается за голову и шепчет:

— Так ты убежал от меня?

Курт опускается на скамью. Губы его вздрагивают, глаза краснеют. Может быть, он сейчас улыбнется, может быть, зарыдает, может быть, вскрикнет.

Он говорит тоже шепотом:

— Я ненавижу тебя, Андрей... Я должен ненавидеть! Уходи. Прощай... Уходи же!

— Ты говоришь наперекор рассудку, наперекор сердцу!

— Сердцу? Сердцу? — кричит Курт и поднимается с сиденья.— Уходи, оставь меня. Нам не о чем говорить. Уходи же!.. Иначе я закричу на весь вагон — кто ты, и тебе...

— Кричи, кричи! Я не сделаю ни шага!

Они стоят лицом к лицу, не сводя друг с друга упрямых глаз, и лица их бледны, перекошены напряженьем, покрыты потом.

— Я жду.

Курт молчит.

— До свиданья, Курт. Ты опомнишься, я знаю.

— Я не лицемер. Прощай,— говорит Курт, отвертываясь от Андрея.

Старцов соскакивает с вагона.

По улице, навстречу ему, летит на велосипеде газетчик и рвет тишину охриплым воплем:

— Экстренные теле-грам-м!

— Экстрен...

— ...гра-ам-м!..

Дома кругом тихи и безлюдны, в открытых окнах желтеют и курчавятся цветы, нависшие над этажами мансарды хоронят покой улиц. Люди ушли отсюда в центр — к барам, автоматам, редакциям и киркам, ушли, убежали, умчались, чтобы видеть своими глазами, как город, который дремал долгие века, пробуждается к войне и славе.

Андрей идет тихо — окраинами, притаившимися переулками, в неровном, кривом строе старых каменных жилищ. Спешить не надо. Спешить некуда. Позади — годы, которых не вернешь и которые не нужны; люди, которые никогда не станут прежними, никогда. Не все ли равно, куда идти? Не все ли равно, куда придешь? И дойдешь ли куда-нибудь?

Переезд через дорогу на Фюрт — первую, старейшую дорогу Германии,— переезд, которым так часто проходил Андрей, охраняется солдатским патрулем.

Заметил ли Андрей, что на солдатах зеленовато-серые мундиры в матовых пуговицах, ранцы из телячьей шкуры, каски в холщовых чехлах и патронташи по обе стороны живота? Заметил ли, что солдаты в походной форме? И что на форму смотрят из окон, дверей, с дороги, с тротуаров? Видел ли, как в окнах поезда, проползшего в Фюрт, заметались, запрыгали платки, зонтики, шляпы, руки и как на землю, к ногам солдат в походной форме, из окон посыпались, полетели цветы, сигары, папиросы — и опять цветы, цветы, цветы? Видел ли, как величественно запрокинули головы солдаты в походной форме и какая улыбка снизошла с их губ на платки, зонтики, шляпы, цветы? Солдаты в походной форме не подобрали всех цветов, брошенных им под ноги, а только воткнули по одной розе в дула винтовок и за пояса, к патронташам. Разве соберешь цветы, постланные отечеством на пути армии в походной форме? Видел ли все это Андрей?

Не все ли равно?

Андрей шел, опустив голову.

На светлой, вымытой лестнице, у двери квартиры, где он жил,

неподвижно стояли люди в длинных черных пальто и низких котелках. Их было пятеро. Они были бесшумны. Андрей заметил людей, когда очутился в их кольце.

Бледнолицый, гладко выбритый, с добрым взглядом светлых глаз, приподнял котелок и спросил:

— Герр Старцов?

— Да.

— Будьте любезны.— И он приоткрыл перед Андреем отпертую дверь.

— Может быть, герр Старцов покажет нам свои вещи?

Четверо сняли котелки, пальто, пиджаки, отстегнули манжеты и засучили по локоть рукава полосатых рубах. На тонких ременных поясках раздевшихся людей, прилипнув к бедрам, в бледно-желтых кобурах висели маленькие кольты.

ГЛАВА ОТСТУПЛЕНИЙ

ЛЕГЕНДЫ — СПЛЕТНИ — БЫЛЬ

Вилла Урбах лежит в горах, недалеко от границы Богемии. Кругом сосны — лиловые по вечерам, рыжие в полдень. Камни на вершинах гор лысые, остробокие. Если смотреть издалека, то кажется, что по горам нагромождена старая ломаная мебель. Впрочем, на одной вершине кланяются востоку Три Монахини в клобучках и откинутых на спину капюшонах. У одной в руках четки: это ползет из расщелины курчавый розовый вереск. В долине, вьющейся к вилле Урбах, бежит белое шоссе, рядом с ним — узкая колея железной дороги. Там, где долина упирается в покатое подножье Лауше,— красноватая, закопченная крыша станции. Сверху, с круглой, похожей на грудь вершины Лауше, долина, шоссе, полотно дороги, станция — уместятся в горсти. Отсюда слушать пересвисты паровозов — как воробьиное чирикание. Здесь спит эхо, закопавшись в глубокую мякоть молодых сосновых игл. Зато каждый звук долины семь раз взбирается к стопам Трех Монахинь. Под вечер, когда по шоссе торопятся к ночлегу крестьянские повозки, у ног Трех Монахинь не усидит и отчаянный смельчак.

О вилле Урбах нет никаких легенд. Известно, что она называлась прежде фон Фрейлебен, пока последняя носительница этого имени не вышла замуж за человека без всяких занятий и вовсе не дворянина — Урбаха.

Если бы была нужда, на худой конец можно было бы придумать легенду и о вилле фон Фрейлебен. Но нужды нет.

На север от Трех Монахинь стоят руины капуцинского монастыря. Его сожгла молния в тот момент, когда монахи заманили в монастырский погребок двух красоток из соседней дерев-

ни. Все капуцины сгорели дотла. Остались в живых — чудом спасенные — обе деревенские красотки: провидение сохранило невинность в назидание христианам. Это подтвердили сельчане, которым достались красотки. Тут следует рассказ о том, какая драка завязалась между женихами всей округи из-за этих девушек: каждому хотелось прикоснуться через них к провидению. Но сейчас не время останавливаться на этом рассказе.

Речь идет о том, что у крестьян не было нужды в легендах. До того, как прийти сюда капуцинскому ордену, замок, христолюбиво послуживший смиренной братии, долгие годы был резиденцией владетелей небольшого маркграфства цур Мюлен-Шенау. Предки этого рыцарского рода были когда-то близки Ватикану и дважды снаряжали отряды ко гробу господню. В Тридцатилетнюю войну маркграфы отсиживались в замковых бойницах, как летучие мыши. Потом разбойничали в протестантской Саксонии. Потом тихо чахли. Кардинал Севастьян просил у маркграфов приюта для обнищавшей братии капуцинского ордена. Маркграфы отдали свою резиденцию под монастырь, оповестив об этом акте всех католических государей. К этому времени в замке оставались только мокрицы и пауки.

На запад от Лауше, почти у самого склона ее, угнездился новый замок — меньше, добродушней и моложе руин. Сюда были перенесены предки рыцарей, уступивших капуцинам мокриц и пауков. Здесь хранились реликвии владетельного рода. Здесь рос его последний отпрыск — молчаливый, гладенький, белокурый мальчик Максимилиан Иоганн фон цур Мюлен-Шенау. Он рос под надзором опекуна и на глазах у крестьян — потомков тех, что дважды пытались помочь господу богу, отняв его гроб у неверных.

Вот почему в этих местах нет нужды в легендах. Вот почему, когда смотришь вслед крестьянину, по-лошадиному расставляющему свои ноги, кажется, что на его спине покоится тяжелый груз веков с их рыцарями, государями, кардиналами и монахами. Если бы не эта спина — как знать, лежал ли бы в библиотеке замка — на запад от Лауше — прекрасный позеленевший фолиант: «Геральдика и древо рода владетельных маркграфов фон цур Мюлен-Шенау»?

— Что скажешь после этого о вилле Урбах?

Посплетничать, посплетничать — о да!

Непонятный человек этот герр Урбах! Может быть, в какой-нибудь другой стране он и не остановил бы на себе внимания. Но в Германии, в Германии...

Прежде всего: чем он занимается? Помещик. Хорошо. Но почему он ни разу не заглянул в сыроварню, не осмотрел хлевов, не

справился о сенокосе? У него есть управляющий? Хорошо. Неблагоразумно, конечно, доверять большое хозяйство простому служащему, но богатый человек может себе позволить многое. Только почему герр Урбах не принял ни разу отчета от доверенного лица и всякий раз отсылает его к своей жене — фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен? Может быть, герр Урбах государственный чиновник? Член ландтага? Ничего подобного. Может быть, ученый? Но тогда его звали бы профессором. Может быть, писатель? В таком случае это было бы известно каждому жандарму. Просто рантье? Но разве рантье ведет подобный образ жизни? День в вилле, день в городе, день на курорте. По ночам — в горах, в обед спит, а то подряд трое суток не выходит из кабинета. Образ жизни настоящего рантье устанавливается целым консилиумом профессоров. Рантье не живет, а неустанно здравствует. Говорят, что герр Урбах чертит какие-то проекты. Но что это за проекты, никто не знает. Так, одни разговоры.

Нет, герр Урбах непонятный человек. Фрау Урбах никогда не вышла бы за него замуж, если бы... Словом, она была еще фрейлейн фон Фрейлебен, когда у нее родился сын. К тому же она прихрамывает на одну ногу: это у нее с детства. Но она солидная, строгая, добродетельная дама, и не поклониться ей, когда она проезжает по шоссе, как-то неловко.

У них дети. Тот мальчик, появлением на свет которого был неожиданно осчастливлен герр Урбах, и девочка по имени Мари. Странно, как справедлива и сурова судьба. Старший ребенок пошел в мать. Генрих Адольф — конечно, не Урбах,— Генрих Адольф фон Фрейлебен наследник и потомок рода. Мари... Ну что можно сказать об этой девчонке!

Посплетничать, посплетничать — о да!

Спросите любого крестьянина — ее знают во всей округе. Она появляется везде и всюду, и всегда неожиданно, как привидение. Право, плохой знак, если Мари забежит на чужой двор. Непременно после ее появления в хозяйстве случится какая-нибудь беда: захворает лошадь, или сломается жнейка, или — по меньшей мере — прокиснет молоко. Раз как-то Мари остановилась подле кирки. В это время оттуда выходил органист.

— Здравствуй, девочка,— сказал он.

И тут Мари посмотрела на него такими глазами, что у того сразу засвербило в носу. И что же вы думаете — ведь захворал органист насморком и так расчихался на троичной службе, что только и слышно было с хоров чхи да пчхи!

А один раз заглянула Мари в окошко к форштанду. Тот сидел, разбирал свои бумаги и писал всякую всячину.

— Ух,— говорит Мари,— сколько у тебя бумажек. Неужели ты в них не запутаешься?

— Нет,— отвечает тот,— на то я и форштанд, чтобы не запутаться. А ты пошла отсюда, не мешай.

— Ну,— говорит Мари,— вот и запутаешься!

И убежала.

А форштанд с этого дня такое натворил, что приехал из города чиновник и велел поскорее его убрать.

Не иначе как сидел в девчонке какой-то бес, и родилась она не в добрый час.

Но как нет в этих местах нужды в легендах, потому что легендами оброс здесь каждый камень, так нет нужды и в сплетнях о Мари, потому что рассказ о детстве ее исполнен случайностей и тайн, разгадка которых, быть может, неожиданнее и страшнее всех сплетен.

Мари было три месяца, когда за ней впервые пришла смерть. Герр Урбах привез из города двух докторов, и доктора не покидали виллу Урбах девятнадцать дней. Девятнадцать дней умирал ребенок. Был он тих, почти беззвучен, и только однажды в сутки — по вечерам — вспыхивал жаром, как угли, и медленно остывал, за ночь покрываясь сероватой бледностью, подобной пеплу. Глаза его, по временам ясные, как осенний ручей, вдруг останавливались на отце, и тогда герр Урбах бросался вон из дому и бродил по горам. Доктора совещались, писали рецепты и подолгу что-то объясняли отцу ребенка, потом подымались наверх, в отведенные для них комнаты, и садились за шахматную доску. Нарочные носились с рецептами в аптеки, привозили компрессы, термометры, ванны, потом сидели на кухне и не торопясь подсчитывали, в какую сумму обойдутся хозяину похороны ребенка.

Мари умирала. Это было очевидно не только сторонним людям — врачам и прислуге, но и отцу. Он чаще и чаще исчезал в горах и возвращался крадучись, прислушиваясь к тишине детской. Фрау Урбах ждала конца дочери, не выходя из своей комнаты.

На восемнадцатый день одному врачу прискучило проигрывать в шахматы, и он уехал, обещав прислать из города своего коллегу. На девятнадцатый — другой врач заявил, что ничем не может быть полезен.

И в этот день, вечером, когда помертвевшее тельце ребенка заалело горячей краской жара, в детской раздался плач. Был он короток, беспомощен и с живостью напомнил всем тот жалкий писк, с которым три месяца назад Мари появилась на свет.

— Хорошая примета,— сказала сиделка,— ребенок родился второй раз.

Герр Урбах зарыдал.

— Мне кажется,— сказал доктор, прощаясь,— что, несмотря на затруднительность диагноза, лечение, которое мы применяли, было совершенно правильно.

Час этот навсегда определил собою место, какое заняла Мари в семье: она стала баловнем отца, и ее невзлюбила мать. Конечно, так должно было случиться рано или поздно, потому что в семье рос сын — Генрих Адольф — с фамилией Урбах и с кровью фон Фрейлебен. Но так случилось именно с того часа, когда Мари родилась второй раз.

Ей пошло на пользу козье молоко, которым стали прикармливать ее после болезни. Когда она выучилась хватать и отец надарил ей игрушек, Мари на людях не проявила к подаркам никакого любопытства, и только оставшись наедине в своей коляске, принялась рассматривать игрушки.

Девяти месяцев Мари научилась ходить. Отец случайно видел, как это произошло. Ребенок, окруженный игрушками, сидел на полу. Няня вышла. Посмотрев ей вслед и точно убедившись, что в комнате никого нет, Мари потянулась ручонками к стулу. Кряхтя и тужась, она привстала и начала переставлять непослушные, цеплявшиеся друг за друга ножки. Обойдя вокруг стула, Мари решилась сделать несколько шагов без опоры и двинулась к кровати. Но тотчас упала и стукнулась затылком об пол. Герр Урбах невольно шагнул вперед. Мари с трудом приподнялась, попыталась дотянуться ручонкой до ушибленного затылка и потереть его, не дотянулась, пролепетала что-то себе под нос и осмотрелась. Стул стоял позади нее, кровать — перед нею. Для того чтобы ухватиться за стул, нужно было сделать два-три шажка. До кровати было дальше. Мари решила достичь кровати. Сначала она встала на коленки. Потом, с большим усилием, подставила коленки под живот и немного отдохнула, стоя на четвереньках. Поднять голову и в то же время оторвать от пола руки было труднее. Мари могла бы с легкостью доползти до кровати на четвереньках, но она решила встать на ноги, и она должна была добиться своего. Одна ручонка оторвалась наконец от пола и заболталась в воздухе. Зато вся тяжесть маленького тела навалилась на другую. Встать было невозможно. Тогда Мари присела, передохнула и начала всю работу с начала. Опять коленки были подведены под живот, опять была сделана передышка, опять одна рука заболталась в воздухе. Но тут неожиданно ножки подогнулись в коленках сами собой, и Мари очутилась на корточках. Тогда она оперлась ручками о колени, натужилась, выпрямилась и, не отнимая рук от коленок, переставила сначала одну, потом другую ногу. Уверившись, что она может передвигаться, Мари выпятила одну ручонку вперед, еще больше выпрямилась и заковыляла вперевалочку вперед, вперед,

почти до самой кровати. Здесь она оторвала и другую ручку от коленки, всплеснула радостно в ладоши, крякнула по-утиному и упала на постель, вцепившись пальцами в одеяло.

Тогда герр Урбах бросился к ней, поднял ее высоко над головой и что-то прокричал несвязное.

Но Мари, обычно тихая, вдруг расплакалась неудержимо, будто в горькой обиде, что кто-то подсматривал за ней в ее одиночестве.

После этого, как ни приучали Мари ходить, как ни заставляли становиться на ноги, она всякий раз садилась и оставалась неподвижной, как камень,— пока не исполнился ей год и она пошла уверенно без всякой помощи.

КАМЕННАЯ МАРКГРАФИНЯ

Мягкая, прелая хвоя под ногами, ровный строй мачтового леса, обвитые вереском скалы, нагроможденные повсюду горы, развалины замка, долина, подпоясанная полотном дороги, и отлогое, ровное подножие Лауше — детская комната Мари.

Она тяготилась домом, мебелью и самым большим несчастьем в жизни считала зиму. Но и зимой Мари жила на морозе, на ветру, жила лыжами, катаньем с гор, беготнею и лазаньем по обмерзшим, скользким камням. Бегала и лазила она, как коза, карабкаясь по отвесным скалам, цепляясь за невидимые выступы, быстро и бесшумно. Правду говорили, что она пошла в свою кормилицу — надоевшую всей округе бодатую забияку и скакунью.

Как-то осенью Мари исчезла. Целый день нельзя было ее сыскать, и вечером вилла Урбах забила тревогу. Люди были посланы во все концы. В селе допросили детей, водивших с Мари дружбу. Никто не видал ее.

Темнота бесследно скрыла лес, дороги уходили в ночь, мелкий дождь повис холодными заслонами между гор.

Все село было поднято на ноги. Крестьяне, захватив фонари, разбились на партии и только что двинулись в разные стороны, как с большой дороги примчался вскачь молодой батрак. Лошадь его взмылилась, сено в телеге растрепалось, сам он обливался потом, дрожал и долго не мог рассказать толком, что с ним произошло.

Оказалось, что, когда он, проезжая по шоссе, миновал Трех Монахинь, на него внезапно обрушился страшный шум. Парню почудилось, что горы сошли с места и нечистая сила захохотала и залаяла ему вслед. Лошадь понесла, и он насилу удержался в телеге, поминая господа Иисуса и все молитвы, каким его научил

патер. А позади него — свист, скрежет, гогот, лай. Видно, сам Вельзевул справляет нынче день своего рожденья.

Не так-то просто было доискаться людей, которые согласились пойти ночью к Трем Монахиням. Герр Урбах сам возглавлял отважных крестьян. Хорошо же знал он свою дочку, если сразу решил, что ей негде быть, кроме как в гостях у дьявола!

Надо было послушать, какой концерт задал он в этот проклятый вечер! Кругом по лесам катился треск и грохот, точно гроза палила и бросала наземь сосны. Горы гудели и стенали, чудовища разворачивали их грудь когтями. И ко всему этому — ночь: глаз выколи, ничего не видно, и фонари, того и гляди, затухнут от дождя. Кому наплевать на спасение души своей, тот полезет, пожалуй, к Трем Монахиням и в такую ночь.

Молодцам хватило отваги ровно до полотна дороги. Перевалить его и выйти на шоссе наотрез отказались. Герр Урбах выбрал получше фонарь и пошел к скале в обход. Не успел он перейти шоссе и обогнуть Трех Монахинь, как шум внезапно стих. С вершины изредка скатывались ломкие звоны мерно потряхиваемого железного листа. Эхо не откликалось здесь и одного раза.

Герр Урбах крикнул:

— Мари!

— А-а! — донеслось в ответ.

— Я жду тебя внизу!

— И-ду-у!

Слышно было, как звякнуло о камни и загудело железо. И постепенно, миг за мигом, покойное и ровное, улеглось в горах безмолвие.

Мари, быстро скользя по мокрым камням, помятая, обсыпанная блестками дождевых капель, появилась в желтом кругу фонарного света. Она приложила ко рту палец и, как заговорщица, покачала головой:

— Только ты, папочка, никому не говори, что это — я. Жесть осталась там, наверху. Завтра я приду сюда опять и принесу с собой еще лист.

— Завтра ты будешь весь день в комнате.

— Нет, папочка, мы придем сюда вместе. Ты непременно должен посидеть наверху, у самых ног Монахинь.

— А ты посидишь на запоре, сказал я.

— Ах, какой ты! Я же говорю тебе: там так страшно, что нет сил удержаться. Ты непременно свалишься от страха вниз!

Она рассмеялась, схватила отца за руку и побежала впереди него вприпрыжку, будто не он вел ее домой, а она его.

Это была последняя проказа, которая не оставила на Мари никакого следа.

Весной она начала приглядываться к своим деревенским друзьям. Надо было испытать их верность, выбрать самых надежных, решительных, молчаливых и стойких. Только на троих можно было положиться с легким сердцем. Это были тринадцати- четырнадцатилетние мальчуганы, широкоплечие, крепкие и, как на подбор, с такими круглыми, большими глазами, что, когда Мари рассказывала страшные истории, ей казалось — глаза эти вот-вот выскочат наружу и укатятся. Конечно, у таких ребят хорошо работала голова, и они умели держать язык за зубами. К тому же они слышали кое-что о каменной маркграфине, похороненной много сот лет назад в замке. Их нетрудно было уговорить предпринять таинственные раскопки в монастырских руинах: они сами тормошили Мари и давным-давно придумали, кто куда убежит, когда разыщутся в замковом подземелье сокровища маркграфини.

Не всякий ухитрился бы обставить как следует такое тонкое дело, как розыски клада.

Мари знала, что нужно делать.

Однажды она привела своих друзей в кабинет отца. Из шкафов и с полок на ребят посыпались книги, карты и планы.

— Вот! Смотрите! Здесь написано по-английски: четыреста лет назад маркграфы открыли в своем фамильном склепе окаменевшую маркграфиню. Когда попытались снять с нее драгоценности, крышка гроба сама захлопнулась наглухо, и открыть ее оказалось невозможно... Вот вам документ. Здесь по-немецки. Вы сами умеете читать по-немецки: «В тысяча пятьсот шестидесятом году маркграфы передали свой замок капуцинскому ордену». Видите? Читайте: капуцинскому ордену.

Нечего было возразить — черным по белому значилось: капуцинскому ордену. И год. С необыкновенной точностью: 1560 год.

— Дело верное,— сказал один сообщник.

— Ага! — проговорила Мари, и все испугались.

— Дальше, вот в этой книге. Видите, здесь и картинка: старый замок цур Мюлен-Шенау. И написано, что гроб с графиней стоит под развалинами до наших дней. Понимаете?

Все, конечно, отлично понимали. Да и нельзя было не понять, когда Мари обнаружила перед сообщниками необычайную ученость, читала не только по-английски, но и по-голландски и даже по-американски, разворачивала какие-то рыжие листы, громадные папки и расцвеченные карты. Вот когда было отчего выскочить глазам!

— Теперь за дело! — прошептал один сообщник.

— Ну, нет,— заявила Мари,— я теперь займусь изучением.

Слово это прозвучало торжественно, и все согласились, что без изучения приступить к делу нельзя.

— Кто это рылся сегодня в моих папках? — спросил герр Урбах вечером.

— Что ты, что ты! — испугалась Мари и пригнула голову отца к своим губам.— Это все манускрипты, раскрывающие тайну...

— Тебе надо бы заняться не тайнами, а арифметикой.

Но тайна была раскрыта.

Тайна была раскрыта в лесу, неподалеку от руин, и заключалась в плане, на котором рукою Мари были помечены все подземные ходы старого замка, место, где нужно было произвести раскопки, и усыпальница каменной маркграфини. В этот день вера в подземные сокровища обернулась в уверенность.

— Клянитесь, повторяйте за мною каждое слово,— подняв руку, шепнула Мари.

И заговорщики произнесли:

— Клянемся, что никому на свете не откроем своей тайны. Клянемся, что будем работать, пока не найдем каменную маркграфиню. Будем работать, как звери. Будем работать, как быки. Пусть нас жгут огнем и пытают железом. Клянемся, что ни одним звуком не выдадим друг друга. Клянемся, что, как братья, без ссоры, разделим клад. Клянемся, что достанем лопаты, фонарь и веревку. И будем слушаться во всем Мари. Аминь.

— Подождите,-- сказала Мари, когда клятва была произнесена,—конец мне не нравится, и надо повторить.

Все еще раз подняли руки и проговорили:

— И будем слушаться во всем и всю жизнь Мари. Клянемся, клянемся, клянемся. Аминь.

— Вот теперь хорошо. Можно приступить к делу.

И к делу приступили.

Первое восхождение на руины ограничилось обследованием местности. Был найден уступ, засыпанный землей, покрытый мхом, крутой и высокий. Решено было, что это — вход в подземелье.

Со следующего дня приступили к раскопкам. Работа длилась три дня. По утрам, когда еще горели на кустах стеклянные росинки, трое заговорщиков, выкрав в отцовских сараях заступы, крались к развалинам, каждый своим путем. Там, встретившись и обменявшись угрюмыми взглядами, избирали одного для караульной службы. Двое принимались копать. Земля была рыхлой, корни и пни, попадавшиеся на лопату, рассыпались в труху от легкого удара, каменьев не было, и работа шла споро. Когда солнце подымалось высоко над Лауше, до караульного долетал условный свисток. Мари несла приятелям завтрак. Это было лучшее мгновение из пережитых искателями клада. Ах, какие вкусные вещи водились

в буфетной комнате виллы Урбах! И какой аппетит разыгрывался у землекопов часам к десяти утра! Из-за одного эдамского сыра стоило поворочать лопатой!

Мари спрашивала своих друзей, как офицер — солдат, со всех сторон обходила разрытый уступ, стучала лопатой об землю и прикрикивала:

— Слышите, как гудит?

— Гудит, у-у-у! — отзывались заговорщики.

— Скоро докопаемся.

— Докопаемся!

Странно, что действительно докопались.

На третье утро, когда после завтрака взялись за лопаты, ров вдруг осыпался под ногами в яму. Отпрянули в страхе назад. Переглянулись. Попробовали осторожно копнуть землю около провала. И радостный, испуганный, какой-то птичий испустили вопль: земляные комья, посыпавшись в яму, глухо ударились о твердое невидимое дно подземелья.

— Веревку! — скомандовала Мари, выбирая в куче разрытой земли остробокий камень.

Все, что совершилось затем, произошло, как на корабельной палубе,— коротко, отчетливо и гладко.

Из камня и веревки был сделан отвес. Отвесом измерена глубина ямы. К яме подкачено сухое дерево и перекинуто через провал. На одном конце веревки завязана петля, другой прикреплен к перекладине.

Мари залезает в петлю, берет в руки фонарь и кидает торжествующий взгляд на друзей. Личико ее пышет решимостью, рот приоткрыт, и хищно, неровно подергиваются губы. Она садится на перекладину, она свешивает ноги в яму, она отдает команду:

— Спускайте!

Ребята упираются ногами в землю, натягивают веревку. Мари спрыгивает с дерева, и голова ее — вычеканенная на черном разрезе рва — исчезает под землею. Веревка вздрагивающей струной уползает в яму, молодцы впиваются глазами в зияющую тьмою дыру и перехватывают дыхание с такой же боязливой осторожностью, с какой дрожащие руки перебирают веревку. Но вот она ослабевает, болтается в воздухе, падает, и из-под земли придушенно, чуть слышно долетает:

— Подите сюда!

И когда заговорщики свешивают головы над провалом и глаза их различают в глубине мерклое пятно фонаря и расплывшееся в страшной бледности лицо Мари, они опять слышат придушенный чужой голос:

— Подземелье! Спускайтесь вниз, захватите лопаты. Я пойду вперед.

Они видят, как бледное лицо исчезает под землею и мерклый свет разжижается, тухнет, пропадает во тьме. Тогда они вытягивают из ямы веревку, отходят в сторону и начинают решать, кому спускаться в подземелье.

И в этот миг земля содрогается под ними, и по горам, от вершины к вершине, перекатывается грузный стон; подрытый уступ уполз в землю, и на месте ямы, поглотившей Мари, распахнута глубокая пасть обвала.

Еще один миг — и заговорщики бросаются врассыпную. Слышно, как за руинами, в разных сторонах, похрустывают сучья и осыпаются мелкие камни. Дальше и дальше.

Тихо.

Так во второй раз пришла за Мари смерть...

Клятва, принесенная искателями клада, не была нарушена. Правда, их не пытали железом и не жгли огнем, потому что забытые у раскопок лопаты без запирательств предали всех сообщников, но на долю их выпали горькие часы. И как знать, что было горше: отцовские ли кулаки, испробованные с давних пор, или утрата сокровищ, мечта о которых рассеялась с первой вечерней зарей?

Потому что, когда вечером — через десять часов после обвала — крестьяне докопались до катакомб и Мари расплакалась на руках отца, первыми ее словами были:

— Маркграфини там нет...

Беспомощным угольком тлел фонарь, с которым Мари опустилась в подземелье. Она впилась в него обеими руками. Лицо ее было землисто и строго. Слезы катились по нему медленными струйками.

— Глупая, глупая,— проговорил герр Урбах,— надо было сначала спросить меня: маркграфиня лежит в новом замке.

Так в третий раз родилась Мари.

Это совпало с ее тринадцатым днем рожденья, и этому совпаденью крестьяне приписали перемену, происшедшую с Мари.

Она стала молчаливой, медлительной, в движеньях ее исчезла резкость, она все еще оставалась ребенком, но черты взрослого готовы были поглотить в ней все детское. Она отталкивала от себя всех, кто с ней встречался. Особенно в глазах ее пугало какое-то недоброе упрямство, и одна мысль — жесткая и неспокойная — постоянно холодила ее взор.

С тех пор и пошла про Мари молва, что от нее недалеко до самого дьявола и что лучше не попадаться ей на дороге. Тогда,

именно тогда, приключился у форштанда необъяснимый случай с бумагами, а почтенный органист прочихал по милости девчонки всю троичную мессу.

Старый кучер, перерезавший на своем веку множество кур, гусей и уток, вдруг отказался исполнять обязанности бойца. Стоило хорошенько потеребить его на кухне, как он рассказал, что случилось с ним в сарае, когда он в последний раз собрался заколоть гуся. Только что он приладился у стула и, зажав гуся между колен, замахнулся тесаком над гусиной шеей, как к нему подбежала фрейлейн Мари и объявила ему о своем желании зарезать гусака собственноручно. Да, да, собственноручно! Каково было ему это слышать? Конечно, он отговаривал ее, упрашивал, пригрозил даже нажаловаться. Не тут-то было! Мари схватила гуся за шею и заладила свое: дай да дай. В конце концов она чуть не вырвала у него тесак и ударила им по гусиной шее. Отрубить гусаку голову ей не удалось, но кровь хлынула рукавом, и гусь вырвался у кучера из рук. Птица была крупная, сильная. Два-три взмаха крыльев — она взвилась под крышу и заметалась вдоль и поперек сарая, натыкаясь на стропила, косяки, изрыгая стонущий хрип. Вся она окровенилась, и кровь тяжелыми черными каплями скатывалась с нее на земляной пол.

А Мари неподвижно стояла у притолоки и каким-то мертвым, остылым взглядом следила за издыхавшей птицей. И когда кучер приметил этот взгляд, он опрометью бросился из сарая. Вспомнить о глазах Мари или пойти в сарай, где он увидел их, ему было жутко. А заколоть птицу теперь он просто не мог.

Вскоре после истории с гусем Мари похитила любимую кошку Адольфа.

Ах да, Генрих Адольф. Но говорить о Мари — значит ничего не сказать о ее старшем брате. Они жили розно, враждебно, в разных комнатах, на противоположных половинах. У них были разные учителя, разные радости и разная нелюбовь. Мари — дочь Урбаха, Генрих Адольф — сын фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен. Их соединяли только имя и столовая. Столовая больше, чем имя. Они были чужими.

Адольф, постоянно нянчившийся с животными, сразу заметил исчезновение своей любимицы — выхоленной, жирной ангорской кошки.

Во всем доме захлопали двери, голоса раздавались по переходам и коридорам, сама фрау Урбах, приподымая своей палочкой с резиновым наконечником чехлы и покрывала, заглядывала под мебель и кровати. Адольф с визгом и хныканьем, топая ногами, носился из одной комнаты в другую и наконец отважился

на вылазку в отцовскую половину виллы. Там, крадучись и затаив дыханье, он подобрался к комнате Мари и, поколебавшись у входа, изо всей силы распахнул дверь, влетел в комнату и остолбенел.

На кронштейне стенной лампы, у изголовья кровати, повешенная за горло, поджав хвост и распушив на спине длинную мягкую шерсть, покачивалась кошка. Лапки ее дергались, над ощеренными зубами вздрагивали, точно от щекотки, блестящие жесткие усики, и живот судорожно запал до позвоночника.

Адольф не видел Мари. Он кинулся к кошке, приподнял ее и принялся теребить врезавшийся в шею, запутанный шерстью шнурок. Он задыхался — красный, мокрый от слез,— шипел какие-то проклятия, от нетерпения топал ногами и расплескал стоявшее на полу блюдце с молоком. Потом он пронзительно закричал: кошка, отдышавшись, впилась в него когтями. Сбежалась прислуга.

Мари нигде не было...

Вечером она стояла в кабинете отца и исподлобья следила за ним влажными острыми глазами, словно ожидая нападения, готовая к нему, вся съежившаяся, маленькая, похожая на зверька.

Герр Урбах шагал из угла в угол, теребил коротенькую свою прическу, похлопывал себя руками, будто отыскивая что-то по карманам, и стонал, выдавливая через силу:

— А-а-а!

Он в третий раз остановился перед Мари, всплеснул руками, спросил:

— Что с тобой, что с тобой, Мари?

Она высоко вздернула остренькие плечи и, не опуская их, в страшном изумлении воскликнула:

— Ведь я говорю тебе, что отпоила бы ее молоком, эту отвратительную кошчонку!

— Но зачем ты сделала такую гадость?

— Хотела посмотреть, как она будет умирать...

— Боже мой!

Герр Урбах упал в кресло. Руки его повисли как плети, он уставился невидящими глазами на абажур, сидел долго, беззвучно, не шевельнув ни одним пальцем, не двинув бровью,— думал.

Фрау Урбах рассказала ему не только о кошке Адольфа. Ей было известно также происшествие в сарае. Она знала о проделках Мари в саду, кровожадных, отвратительных. Она настаивала, требовала, приказывала, чтобы Мари была отправлена куда-нибудь в интернат, в приют наконец,— есть же такие заведения для

малолетних преступников! Невозможно же воспитывать Генриха Адольфа в обществе дегенератки!

— Молчать!—крикнул тогда герр Урбах.

Закрытые, занавешенные двери, окна, стук резинового наконечника по полу, вопли, упреки, угрозы, унизительная, бессмысленная, вызывающая тошноту истерика. Да, да, истерика с добродетельной, солидной и строгой фрау Урбах.

Мари, забившись в уголок, молча наблюдала за отцом.

Он встряхнулся, отыскал ее взором и переменившимся — почерствелым, сдавленным — голосом произнес:

— Что делать, что делать, Мари. Я всегда желал тебе добра, был твоим другом. Что делать.

Он встал, постукал кулаком по столу.

— Осенью ты поедешь в пансион.

Он обернулся к дочери лицом.

— Я ведь никогда не стеснял тебя. Теперь... так будет лучше... Ступай к себе.

Мари вышла из засады, неуверенно двинулась к выходу. Уже открыв дверь, она остановилась, взглянула на отца. Он опять стоял к ней спиной. Легко и порывисто бросилась она к нему, замерла подле кресла, осторожно дотронулась до пиджака, прошептала:

— Покойной ночи.

Он, не шелохнувшись, повторил:

— Ступай к себе.

Тогда она круто, почти подпрыгнув, повернулась, с разбега хлопнула за собой дверью и умчалась по коридорам.

До поздней ночи она пролежала в постели, не раздеваясь, упершись локтями в подушку, глядя под стол, где в куче на спинах, животах, вниз головами торчали и валялись давно заброшенные негры, ослы, беби, медведи и павианы. Мари все ждала, что бибабо-мартышка повернет к ней свою морду и пожалеет:

— Бедная Мари!

Но бибабо молчала.

Фрау Урбах сидела за рукодельем, когда к ней вошел муж. Он протянул руку и тихо сказал:

— Простите, что я был резок и груб. Я решил поступить с Мари, как вы советуете...

— Это вполне благоразумно,— ответила фрау Урбах и вложила кончики своих пальцев в руку мужа.

Герр Урбах, поцеловав жене пальцы, опустился рядом с ней на диван. Дом погружался в безмолвие. Больная нога фрау Урбах покоилась на расшитой бисером скамеечке. Костяные крючки

мягко шевелились, сдерживаемые пушистой шерстью вязанья. Герр Урбах пристально вглядывался в твердый, облитый бледным светом профиль жены.

— Как вы жестоки,— сказал он,— как жестоки!

— Уйдите отсюда,— отозвалась она, помолчав.

Он встал и хрустнул пальцами.

— Я сделал бы это без вашего приглашения...

Бибабо молчала. Нижняя челюсть мартышки бесчувственно задрала вверх реденькую седую бороденку, и желто-красный янтарный глаз жарко таращился на луну, глядевшую под стол, в игрушки. Ни одного движения, ни одного звука из всей кучи живых — конечно, живых — душ и сокровищ.

Бедная Мари!

Она вскочила, выхватила из-под стола бибабо и, стукнув ее головой о подоконник, швырнула в сад.

— Глазей там на свою дуру луну!

Потом опустила шторы, и темнота видела, как на постели дергалось что-то закутанное в одеяло.

Утром Мари разбудил отец:

— Вставай. Хочешь поехать на море?

Она подпрыгнула на кровати, одеяло скатилось с нее; жаркая от сна, порозовелая, всклокоченная, она сжала отца со всей силой цепких рук и пахнула ему в лицо:

— Я на тебя не сержусь. Я знаю, что пансион выдумал не ты. Ведь правда — не ты?..

ШАГИ СТАНОВЯТСЯ ТВЕРЖЕ

Простор, простор и свет.

Ветер несет жгущий, колючий песок с юга на запад, с гладкой желтой доски берега в море. Медлительные гребешки низеньких волн приглаживают покойную воду, забегают на песок, взбивают его буклями, расчесывают, красят чем-то красным и прозрачной слюдяной пеленою катятся назад в море. Красная полоса на песке розовеет, наливается желтком, исчезает.

Облака переворачиваются с боку на бок, потягиваются и застывают: смотрятся в море. С неба падает густая синева, все быстрей и быстрей мчится, рябит неисчислимой синей дробью, и рябизна дроби, беззвучно отскочив от воды, несется вверх, к облакам, выше их, в бездонь синевы, в небо.

Гладкая желтая доска пляжа упирается далеко в горизонт, и туда бежать, бежать, бежать — нет сил и нет конца. Из-за сияющей черты, странно далекой — как хватает человеческого гла-

за? — черты, может быть, моря, может быть, неба, против ветра, в промежутки между порывами его, веют запахи какой-то смолистой и соленой коры, а вот — рыбы, вот — свежего, парного молока.

Зажмуриться и закружиться на одном месте, а потом погадать, какой цвет увидишь, если лицом к морю откроешь глаза,— не угадать ни за что. Сизый, голубой, стальной, синий, а где-то пятно серого, вон бирюзовый, вон зеленый.

Мчаться по пляжу, запрокинув голову, взметнув вверх руки или распахнув их, как для объятья, едва касаясь голыми ногами накаленного песка, подставляя все тело колючим его иглам, брошенным ветром, который жжет, прожигает до самых костей. В ушах — медные вздохи воды, где-то за глазами, в голове, в глубине ее — возмущенной, горячей — немеркнущие искры, пламенеющие полосы и нити света.

В полдень Мари шла берегом, по самой кайме набегавших на пляж тихих волн. Под ногами мягко подавался напоенный теплой водою песок, и ступни выдавливали вокруг себя неглубокие впадины, которые мгновенно белели и затем тотчас наполнялись густой темной влагой. Расчищенный, убранный цветными кабинками пляж давно остался позади. Все ближе к воде забирались кудрявые темно-зеленые кусты. Подле трех ракит лежал прелый полуразбитый остов парусника. Там, где ребра его упирались в песок, ползла жирная, приземистая трава, и на ней ярко краснело широкое пятно.

Мари подобралась к нему, неслышно ступая по песку.

Под ракитой, в красном купальном костюме, сидел белокурый мальчик, согнутой спиной — к морю. На песчаной плешинке, между протянутых ног, он мастерил что-то из ракушек, наклонив голову, почти не шевелясь и ничего не замечая вокруг.

Мари подошла к нему настолько близко, что ей видно было, как его руки — худые и белые, точно песок,— перебирали раковины и перед ним, причудливые, вырастали гроты, крепости, бастионы. Она долго стояла за спиной мальчика и потом крадучись ушла, не выдав себя ни одним неосторожным звуком или движением.

У моря Мари набрала раковин: они лежали волнообразной полосой вдоль берега, в немногих шагах от воды, высушенные солнцем, выветренные, сухие. Но соорудить из них что-нибудь, хотя бы самое простое, Мари не удавалось. Ракушки рассыпались у нее в руках, сползали друг с друга, скатывались, и никакими уловками нельзя было сцепить их в целое и заставить держаться. Мари затоптала раковины в песок.

Потом она вернулась к ракитам и подобралась к мальчугану. Крепости обнесены были скалами, от бастиона к бастиону тянулись дорожки красного гравия, гроты тонули в траве. Это был целый мир!

И вот — раз-два! — скачок в самую середину этого мира, быстрыми ногами — в гроты, в крепости, бастионы, потом, в стороны — песок, траву, ракушки — с хрустом, шумом — и отчаянный крик.

Мальчик отбежал, обернулся. Вскрикнул он от испуга — не оттого, что жалко было мастерское сооружение из раковин; и теперь, стоя в отдаленье, удивлялся своему испугу. Мари, разглядев его, заложила за спину руки и ждала. Она ждала сопротивления, слез, защиты мальчугана, занимавшегося, будто девчонка, такими ничтожными пустяками, как игра в ракушки. Но — странно — перед ней стоял юноша,— она только теперь разглядела, как он был велик, силен и спокоен,— не помышлявший ни о слезах, ни о защите. Он смотрел на Мари остановившимся взглядом широких светлых глаз, чуть-чуть открыв рот, и молчал.

На секунду Мари показалось, что когда-то она видела его лицо. Она пристальней всмотрелась в него и вдруг вспомнила, что она голая, что она убежала в море, не надев костюма, что он — этот юноша — первый человек, которого она встретила, выбежав из кабинки, и что ее отделяет от него только свет и воздух. Она выдавила сквозь зубы приготовленные раньше слова:

— Попробуй тронь!

Но юноша не двигался — все так же смотрел на нее остановившимся взглядом, и взгляд этот охватывал ее всю с ног до головы.

Тогда Мари бросилась к морю...

Светлые широкие глаза она увидела потом в вокзальном тунеле шумного города — когда с отцом возвращалась домой,— и ей стало непонятно весело и страшно. Глаза не столкнулись с нею — встреча была мимолетной,— но она успела рассмотреть, что над ними нависал глубокий козырек военной фуражки. Всю дорогу неотвязно хотелось вспомнить, где впервые попалось лицо с чуть-чуть открытым ртом и этим остановившимся светлым взглядом. И вот, когда уже промелькнули знакомые сосны, когда поезд осмотрели свысока нахмуренные Три Монахини и маленький локомотив рассерженным воробьем чирикнул у почерневшей станции,— вот тогда лицо с чуть-чуть открытым ртом вдруг очутилось перед нею.

Гладенький белокурый юнкер подошел к Мари, щелкнул каблуками и сказал, бледнея и торопясь:

— Мы, кажется, знакомы... на пляже...

Мари вспыхнула, схватилась за руку отца.

— Я здешний, Шенау... мы соседи...

Мари взглянула на отца, быстро отдернула от него руку и спросила:

— Из замка... там, за Лауше?

— Да, на запад...

Мари решительно шагнула вперед.

— Скажите, маркграфиня, каменная маркграфиня...— У ней захватило дыханье, она не могла докончить.

— Да, в новом замке. Хотите посмотреть? Приходите.

Герр Урбах подошел к круглому пожилому человеку, стоявшему поодаль от юнкера, и приподнял шляпу...

Как прошли два дня, протянувшиеся вечностью между закопченной станцией в горах и лесными просеками на запад от Лауше? Как сдвинулись и полетели часы, стоявшие неподвижно днем и ночью? Как настал конец медленной муке, когда каждый миг должно что-то случиться, каждое мгновенье может раздаться чей-то оклик и в каждой секунде кроется какой-то вопрос?

Но конец настал, и тогда мгновения, минуты, часы понеслись наперегонки с ногами по просекам, мимо рыжих сосен, в запахе смолы и хрусте мягкой хвои.

— Пришли? — спросил светлоглазый юнкер, и Мари показалось, что он поперхнулся от испуга.

— Не бойтесь,— подбодрила она,— прямо туда, к ней...

Замок был тих, в парке, где поджидал Мари юнкер, вдоль старых стен лежали горки осыпавшейся извести, проросшей травой, двери и проходы были низки, звуки шагов разбегались по сторонам и вырастали в гул где-то глубоко в стенах.

— О, вот это настоящий замок! — проговорила Мари.

Но жилые комнаты были почти такими же, как в вилле Урбах,— только повсюду висели картины в тяжелых темных рамах да узкие окна крали и глушили свет. И Мари заторопилась.

— Ну, скорей, скорей!

И вот наконец Мари идет сводчатым коридором, с лампой в руках, по твердым крутым ступеням, между каменных сырых, холодных стен.

— Направо,— слышит она голос своего спутника, и ей кажется, что он страшно далеко от нее, хотя дыхание его здесь — за спиной, совсем близко.

— Нагнитесь пониже, сейчас...

Железная, полукруглая наверху дверь, ржавый засов — без

замка, без секрета,— ноющие петли, тяжелые, непослушные створы и глубокий спуск без ступеней.

— Прыгайте. Видите пол? Теперь налево, вон третья...

— Что третья?

— Третья гробница отсюда. Эти две, каменные,— так, пустые. Под ними гробы, в земле. А это — гроб.

— Настоящий?

— Да. Сейчас сдвину крышку.

— И тут — она?

— Вот увидите...

Крышка приподымается легко, скользит, обнажает изголовье, ложится с звонким стуком поперек гроба.

— Ну, смотрите.

Мари делает шаг, другой, протягивает перед собой как можно дальше лампу, тянется через громоздкую крышку.

В гробу, окруженная мелкой трухой,— в трухе, как в подушке,— лежит безволосая голова. Лицо бледно-желто в свете немощной лампы, веки глубоко ввалились, нос почти прозрачный, прямой, с легкими округлыми крылами ноздрей, рот полуоткрыт, и зубы — ровные, молодые — не блестят, а матово желтеют, как лоб, как подбородок, как хорошо изогнутая, чуть прикрытая трухой шея.

— Ей было всего восемнадцать лет,— говорит юнкер,— как мне...

Мари оглядывается на него — он стоит за ее плечами — его лицо бледно, даже бледно-желто, как у маркграфини, и рот — рот его полуоткрыт, а зубы точно так же...

Мари опять глядит на стынущее в желтизне огня окаменелое лицо.

— Красивая,— шепчет она.

— Ее давно показывают, если кто хочет. Вот смотрите.

Юнкер сует руку в гроб, вынимает из трухи молоток на длинной обточенной ручке, постукивает им по голове маркграфини. Голова отзывается на удары кратко и глухо, и молоток мягко падает и тонет в трухе.

— Совсем как камень.

В темноту уползает ряд низких каменных надгробий, черный свод яйцом навис над усыпальницей; рыцари, дворяне, маркграфы безмолвствуют в вековой сырости камня и земли.

— А сокровища... вы их сняли с нее? — шепчет Мари.

— Никаких сокровищ не было... давно не было...

Что это? Он, кажется, улыбнулся? Нет, это испуг скривил его лицо. Чего он испугался? Как он бледен! Он бледнее, конечно, бледнее маркграфини. У него остановились глаза, он почти не

дышит. Что с ним, что? Он протягивает руки к Мари, он обнимает ее, полуоткрытый рот его совсем близко к ее губам, он...

— А-а-а!

Мари бьет его изо всех сил в грудь, лампа дрожит и мигает у ней в руке, она поворачивается, отбегает к выходу, к железным створам высокой двери, выбирается в коридор, бежит, бежит. У поворота, который разветвляется в обе стороны, Мари останавливается: ведь он остался в темноте; там черно, как... тогда, под землей,— он не найдет выхода... смешной! И она хохочет и кричит:

— Ау-ау, гоп-гоп!

Потом он молча ступает впереди нее, покорно неся лампу, подолгу освещая всякий уступ, поворот и порожек. У выхода в парк Мари говорит:

— Я пойду одна. Прощайте.

А из парка, когда уже скрылись обсыпавшиеся, оплаканные известкой стены, кричит:

— Ау-ау, гоп-гоп! Ау!..

И хохочет, хохочет, как будто предчувствуя, что этот смех — надолго, что вечером, дома, отец ей скажет:

— Мари, послезавтра — в Веймар, к мисс Рони.

— Так, значит, правда? — воскликнет Мари.

— Что делать, что делать, Мари,— скажет герр Урбах и закроется в своей комнате.

ПАНСИОН МИСС РОНИ

Пансион занимал просторный дом, обнесенный высокой чугунной оградой в золоченых остриях и с каменными шарами на воротах. От входа через сад к дверям вели дорожки из бетонных плиточек, прочно уложенных, блестящих от горячей воды и щеток. Аллеи сада ровно усыпались гравием; утыканные вперемежку желтые и синие железные дужки кружевными поясками обнимали клумбы и газоны; на выструганных палках, воткнутых в клумбы, разноцветными солнцами сияли глазированные шары; гном с тачкою в руках лукаво смеялся, задрав голову и прочно врывшись глиняными башмаками в подстриженный дерн.

Дом стоял статно, разглаженно и застегнуто, блестя на солнце, как шуцман — пуговицами, медью и никелем оконных ручек, замков, начищенной чашкой звонка и массивной доскою на двери:

ПАНСИОН МИСС РОНИ
ДЛЯ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

На раме ближнего к входной двери окна, в железном зигзаговидном держателе, горело зеркальце, направленное на подъезд. За окном с зеркальцем, мрачно задрапированный и всегда молчаливый, таился кабинет мисс Рони. Рядом с ним простирались другие комнаты ее квартиры, в дальнем углу — учительская, через коридор — помещения для прислуги, кухня, кладовые и карцер. Верхний этаж был занят классами, гимнастическим залом и просторным дортуаром.

Распорядок жизни пансиона был установлен мисс Рони раз навсегда, и был он так же прямолинеен, тверд и точен, как чугунная решетка, как замки на окнах, как дорожки и глазированные шары в саду. Каждый человек, вступавший в пределы владений мисс Рони, ходил только по начерченной директрисой ясной и ровной линии, садился на отведенных ему стульях, вздыхал в указанных заранее местах и улыбался в предусмотренные минуты. Здесь не было послаблений ни для кого. Учитель английского языка и кухарка, классная дама и садовник, сама директриса и преподавательница танцев несли разный труд, но подчинялись одному непреклонному режиму. Перед уставом пансиона благородные девицы не были равны горничным, которые убирали за ними спальню, но нарушение устава каралось с одинаковой строгостью и для пансионерок и для горничных.

— Фрейлейн,— говорила мисс Рони провинившейся воспитаннице,— вы ошибаетесь, если думаете, что, выведенная из терпения, я отошлю вас к родителям. Подите к классной даме и скажите, чтобы она заперла вас в карцер на три часа.

Мисс Рони находила, что пансион благополучен только тогда, когда весь его строй отражает до полного сходства ее образ жизни.

Мисс Рони, встав, принимала прохладную ванну, делала гимнастику, растиралась полотенцами, надевала рабочее платье, читала молитвы и приступала к занятиям. И она требовала, чтобы все, кто жил с нею под одной крышей, встав, делали — за недостатком ванн — обливания, гимнастику, растирались полотенцами и читали молитвы. Даже садовник — старик лет шестидесяти — уверял мисс Рони, что по утрам занимается по системе Мюллера и меняет белье точно, как ему предписано,— по средам и субботам. Женскую прислугу мисс Рони могла проверить лично, и обмана здесь быть не могло. Мужчин же, кроме садовника и учителей, приходивших в пансион на уроки, то есть после гимнастики и обтираний, в доме не было.

Двадцать воспитанниц — всегда двадцать, не больше и не меньше — находились под неустанным наблюдением директрисы;

и ничто не могло быть утаено от нее, как ничто происходившее у подъезда не могло не отразиться в зеркальце, прикрепленном к окну кабинета мисс Рони.

По обеду, танцам и молитве учителя проверяли часы, и казалось, само солнце присматривалось к загородным экскурсиям и прогулкам пансиона мисс Рони.

Дважды в зиму пансионерки ходили в дом Гете, и перед тем мисс Рони читала в классе отрывки из его биографии, соглашаясь, что имя этого человека можно произносить рядом с именем Шекспира.

Осенью и весною ездили за город, и тогда мисс Рони подозрительно прислушивалась к тому, что говорил учитель естествознания об опылении растений.

Раз в месяц совершалось гулянье по городу. И каждую неделю посещали кирку, где слушали проповедь и подтягивали органу.

Ежедневная прогулка делалась в саду, по аллеям и дорожкам, вдалеке от решетки, вокруг улыбавшегося гнома и сиявших шаров на клумбах, и длилась три четверти часа. Шли парами, неторопливо, без оглядок, кружась и проходя десятки раз одну и ту же точку, и спереди выступала классная дама, вытянув шею и сложив на животе руки, а позади припечатывала к гравию негнувшиеся подошвы мисс Рони.

— Фрейлейн,— говорила она, называя воспитанницу по имени,— остановитесь. Я заметила, как вы оторвали от тополя ветку и бросили ее на газон. Вы совершили, таким образом, два дурных поступка. Назовите их. Во-первых...

— Во-первых, я оторвала от тополя ветку...

— И во-вторых...

— И во-вторых, я бросила ветку на газон...

— Больше вы ничего не должны сказать?

— Простите, мисс Рони.

— Поднимите ветку с газона и отнесите ее в мусорную корзину.

О, воспитательная система, применявшаяся мисс Рони, признавалась не одними педагогическими авторитетами, но обществом и даже высшим светом. Она была безукоризненна, эта система, и это отлично понимали пансионерки.

Это отлично поняла Мари, когда, одевшись в пелеринку, нарукавники и передник, вдруг потеряла свое лицо, свой голос, даже свой взгляд, и в ее памяти внезапно скользнули туманные, заслоненные болью, будто никогда не бывшие монастырские руины, вершина Лауше, на которую карабкается солнце, остробокие ска-

лы, наваленные по гребням гор, как ломаная мебель, мрачная усыпальница маркграфов — и в ней бледное, испуганное, просящее лицо с чуть-чуть открытым ртом.

С этой минуты Мари ощутила до физического неудобства железный корсет, в который была вправлена жизнь пансиона и в который вправляли теперь ее. И она почувствовала, что ее детство прошло. Она всмотрелась пристальнее в формы, составлявшие обиход пансиона, попробовала шевельнуться влево и вправо, двинуться вперед или попятиться — всякий раз она причиняла себе боль и вызывала восстание неизмеримо более стойких сил, нежели ее. Она пригляделась к корсету, затянувшему людей, на волю которых она была отдана, к его шнуровке, костям и крючкам, и она нашла, что разорвать его, сломать, уничтожить или даже только распустить, ослабить — нельзя. И тогда она смирилась с ним и без малейшей трудности, как будто родилась для того, своими руками, привыкшими к сопротивлению, произволу, капризам и свободе, надела его на себя и тотчас убедила всех, что чувствует себя превосходно.

— Фрейлейн Мари,— сказала однажды мисс Рони,— я замечаю, что вы слишком задумчивы и мало общительны. Вам следует быть немного оживленнее.

Когда же Мари сделалась немного оживленней, мисс Рони уже не могла найти в ней ничего, что подлежало бы исправлению, и к рождеству записала ей в матрикулы:

отличного поведения, прекрасных успехов, прилежания и внимания.

А к летним каникулам:

образцового в пансионе поведения и прекрасных успехов.

Исключительное место среди воспитанниц Мари далось без всякого напряжения, во всяком случае, несравненно легче, чем ее отцу — вера в то, что это она, его дочь Мари, заняла такое место. Он был подозрителен и насторожен,— а может быть, обижен,— потому что считал, что не заслужил всегда столь обходительно-сухого обращения Мари. Не чудилось ли ему во всем том возмездие за суровость, с какою он обошелся с Мари? Как знать? Зато фрау Урбах стала явно благосклонна к дочери и на ее почтительные книксены отвечала милостиво.

Так прошло два года.

А на третий в Веймаре, во время прогулки пансионата по тихим улицам, мимо особняков, похожих на пансион, с садами за

чугунными решетками и гномами, улыбавшимися в клумбах,— к чинно выступавшим парам пансионерок, к первой паре, шедшей за классной дамой, к воспитаннице Мари Урбах, быстро перейдя дорогу, подошел молодой офицер.

— Мари! — почти вскрикнул он.

— Макс! — ответила она, и ее спутницы видели, как вздернулись у ней брови и кровь разлилась по щекам.

— Господин лейтенант! — поперхнулась классная дама.

— Одна минута,— проговорил офицер и направился к мисс Рони.

— Уважаемая мисс, разрешите переговорить с моей кузиной, фрейлейн Урбах?

— Но, господин лейтенант, в пансионе установлены часы...

— Так точно, уважаемая мисс. Но я здесь проездом, всего на один час, и мне необходимо...

Он вдруг взял под козырек, сказал «благодарю вас», точно получил согласие, и поспешил к Мари.

Была всего одна минута замешательства, когда ряды пансионерок сломались, спутались, когда кто-то поднял руку, кто-то засмеялся, кто-то всхлипнул, когда с классной дамой случился приступ небывалого кашля, когда все шествие нарушилось и сама мисс Рони сделала ненужных два шага вперед и ненужный шаг назад, потому что в это мгновение в ней произошла стремительная схватка между почтением к мундиру саксонской армии и необходимостью соблюсти установленный в пансионе порядок.

Но уже в следующую минуту офицер обменялся короткими словами с Мари, подал ей руку, и они пошли через дорогу, рассмеявшись и прибавляя шагу. И тогда все видели, как Мари прижалась к локтю и плечу офицера, и все слыхали, как она, обернувшись, громко и весело произнесла:

— Боже мой, мисс Рони, как вы похожи на дятла!

И потом еще громче:

— Adieu, adieu, девчурки!

И после слова «девчурки» подругам Мари показалось, что под руку с офицером удалялась не девочка в нарукавниках, пелеринке и переднике, а молодая женщина — гибкая, упругая и прекрасная...

Лейтенант едва ли солгал мисс Рони, сказав, что в Веймаре он проездом, и всего на один час: он точно канул в воду, повернув за угол, и с ним Мари.

Где пропадала она три дня и две ночи, осталось известно только ей.

«Города и годы»

На третий день герр Урбах сидел в своем кабинете, в старом бишофсбергском доме, когда ему вручили визитную карточку:

ЛЕЙТЕНАНТ ФОН ЦУР МЮЛЕН-ШЕНАУ
(маркграф)

Это словечко в скобочках, напечатанное помельче в углу большой квадратной карточки, было давно придумано фон цур Мюлен-Шенау и вовсе не означало, что в Германии восстановлен пышный титул времен Карла, а только то, что нельзя смешивать потомка и наследника маркграфского рода с какими-то остзейскими баронами, случайно носившими точно такую фамилию.

Лейтенант приехал с Мари, одетой в новый костюм, сделавший ее стройнее и ярче, с новой прической и с каким-то новым взглядом потемневших, возбужденных глаз. Она села в гостиной, будто прибыла с визитом в малознакомый дом,— не снимая шляпы, наполовину стянув с правой руки перчатку. Зеркало, стоявшее позади ее кресла, не давало ей покоя, и она скоро повернулась к нему лицом.

Лейтенант оставался в кабинете ее отца минут пять, потом они прошли через гостиную, и герр Урбах, покосившись на дочь, буркнул на ходу:

— С приездом!

Потом лейтенант вернулся в гостиную один, поцеловал Мари руку и сказал:

— Все улажено. Вы останетесь здесь, я возвращаюсь в Шенау. Завтра буду в полдень...

Предложение фон Шенау, внезапное и категорическое, побег Мари из пансиона, где она была —

«образцового поведения и отличных успехов»,—

но главное, конечно, предложение — маркграфа, а не какого-нибудь барона,— и главное, конечно...— словом, фрау Урбах была безмерно обескуражена и польщена. Все это настолько перетряхнуло представления о допустимом и приличном, настолько затупило всегдашнюю способность наблюдать, что мать не остановила внимания на странном костюме и странных манерах Мари, а отец был подавлен и закрылся в своей комнате.

В этот вечер фрау Урбах вспомнила, что Мари, приезжая на каникулы домой, нередко уходила в Шенау и много говорила о картинах, собранных в замке опекуном маркграфа. Как видно, дело было не в одних картинах. Фрау Урбах была довольна.

Герр Урбах, прохаживаясь по кабинету, вспоминал только одно: то новое — чужое — платье, в каком он увидел Мари, когда сказал ей «с приездом». Он позвонил, велел принести брикету и растопить камин, хотя за окнами томилось молодое лето.

Назавтра, в полдень, лейтенант фон цур Мюлен-Шенау приехал в сопровождении своего опекуна — расчесанного, круглого, туго сгибавшегося полковника в отставке,— и опекун подтвердил предложение, сделанное лейтенантом. Обручение было назначено через два года, когда Мари должно было исполниться восемнадцать лет.

Это приходилось на весну девятьсот шестнадцатого года.

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТНАДЦАТОМ

ЛАНДШТУРМ

Если отколоть от бутылки горлышко, то по форме она будет напоминать артиллерийский снаряд небольшого калибра с разорванным конусом. Бутылку можно покрасить серебряной краской и наклеить на нее портрет какого-нибудь генерала. Такую вещь хорошо поставить на пианино или буфет — это украшает комнату, создает уют. Домашние хозяйки скоро разгадали секрет производства стеклянных снарядов, стали бить бутылки, покупать серебряную краску, открытки с изображениями генералов и приготовлять украшения экономическим способом. Вследствие этого спрос на снаряды значительно упал, и фабриканты были вынуждены переменить станки: одни занялись изготовлением серебряной краски, другие начали печатать открытки с генералами. Что касается бутылок, то здесь ощущалось довоенное перепроизводство. Зато другие области промышленности, защищенные от конкуренции домашних хозяек техническими условиями производства, широко развернулись и преуспевали долгое время. Так, например, изготовление брошек и булавок в виде 42-сантиметрового снаряда, обернутого черно-бело-красным бордюром, достигло исключительных размеров. Фарфоровые заводы получили толчок к развитию благодаря выпуску посуды с изображением членов благополучно царствовавшей императорской фамилии. Картонажное производство переживало эпоху «бури и натиска»: коробки и картонки обклеивались, обертывались, обшивались в национальные цвета. Ко второму году войны вся продукция подавалась потребителю

в совершенно патриотическом виде, от слабительного в аптеке до хомута в шорной лавке.

Это был неслыханный порыв фантазии, это было аскетическое служение, это была вершина единодушия!

К этому году Андрей переселился в Бишофсберг.

Он жил обессиленный, притупившийся, усталый. Мир, который окружал его, был непоколебимой толщей. Она омывала Андрея, как вода. Он мог передвигаться в толще, но плотность ее была повсюду одинаковой. Ему разрешено было дышать. Но он не мог двинуть плечами, чтобы расправить их и вздохнуть глубже. Он дышал через тростниковую трубочку, выведенную сквозь толщу на воздух, как дышит спрятавшийся в озере дикарь-охотник.

С того дня, как он расстался с Куртом в нюрнбергском трамвае, им управляла неизбежность. Он вдруг увидел себя соринкой среди громадных масс двигавшихся машиноподобно неизбежностей. В сущности, это было сознание, обратное тому, с каким он жил прежде. Разве ему не казалось тогда, что солнце греет оттого, что его воля свободна? Теперь он довольствовался теплом и светом, как нищий...

Бишофсберг — не самое плохое место на земле. Как всякий город, он состоял из портных, полицейских, книготорговцев, пастеров, булочников, зубных врачей, профессоров и вагоновожатых. Бишофсберг — старый город, а в старом городе должны быть люди разных профессий, преимущественно честных. Во всяком случае, так думали власти Бишофсберга, простирая свою благосклонность даже на социал-демократов.

— Позвольте,— говорил, например, секретарь полиции,— если бы человек был только социал-демократом! А то он, кроме того, пивовар, или стекольщик, или посыльный. Все это вполне благонадежные профессии, составляющие известную часть общества. Поэтому я совершенно не согласен с точкой зрения штутгартской полиции.

Тут секретарь развертывал «Известия полиции города Штутгарта» и читал:

> В понедельник в семь с половиной часов вечера сторонники радикальной социал-демократической партии обоего пола пытались устроить политическую демонстрацию. С Карлсплаца шествие направилось по Доротеенштрассе на Шарлоттенплац, где ему и был положен быстрый конец. Руководители и руководительницы арестованы. Население Штутгарта в шествии участия не принимало...

— Из кого же, спрашивается, состояло шествие, если население не принимало в нем участия? — восклицал секретарь.

Такой либерализм секретаря полиции был — по малости и добронравию города Бишофсберга — известен не только чиновни-

кам, но даже и самой социал-демократии, и — видит бог! — она становилась с каждым днем наглее и наглее. Дошло до того, что парикмахер Пауль Генниг, старый член партии и казначей Общества друзей хорового пения, сидя как-то в социал-демократической лавочке, во всеуслышание расхваливал своего жильца — русского студента, сосланного в Бишофсберг в начале войны.

— Уверяю вас,— рычал этот бессовестный человек,— что мой русак — смирнейшее животное, и если бы все они были не хуже его, мы давным-давно поколотили бы их, и они помогли бы еще нам вздуть французов...

Вместо того чтобы позорче глядеть за своим жильцом и стараться вникнуть в его истинные намерения (должны же быть у него какие-нибудь намерения!), Пауль Генниг, пользуясь снисходительностью властей, сеял, как мы видели, в народе смуту и сомнения. Нет, положительно надо быть настороже не только с иностранцами, но и с некоторой частью соотечественников. Может быть, штутгартская полиция не без основания вынесла за скобки всю социал-демократическую партию? Вот хоть бы этот парикмахер, Пауль Генниг...

Но не пора ли лишить слова бишофсбергских бюргеров и рассказать обо всем с присущим нам бесстрастием?

Ежедневно в девять утра Андрей выходит из высокой старой двери с потрескавшейся резьбой и облетевшими завитушками орнамента на косяках.

В трех шагах, заложив руки за спину, в белом халате, стоит Пауль Генниг. Налитое утренними соками лицо его горит, как свеженачищенный медный тазик, висящий над входом в цирюльню. Генниг расплывается в ободрительной улыбке и произносит на всю улицу:

— У каждого человека есть свой долг, не правда ли, герр Старцов?

— Да, да,— отвечает Андрей,— с добрым утром, герр Генниг.

На углу, за поворотом театрального проулка, подле своей лавки переминается с ноги на ногу облаченный в солдатскую форму табачник. Дальше, у следующей двери, сидит горбатая дочка портного. Из соседнего окошка выглядывает розовая булочница. Потом идут узкие, затянутые тюлевыми гардинами окна кафе. Потом ювелирная лавка, фруктовый магазин, библиотека.

Площадь малолюдна, и ратуша на ней мрачна и холодна. Под горку осторожно катится трамвай. Вагоновожатый глядит на Андрея: он знает его, наверно, так же, как Андрей — вагоновожатого, постового шуцмана, табачника, дочку портного, старика посыль-

ного, раскуривающего на ходу трубку, или тряпичника, подбирающего по улицам бумажки длинными железными щипцами. Каждый камень на этом пути, всякая живая тварь, всякий взгляд и каждый окрик давно известны, давно исчерпаны, давно изучены, как ногти на руке, как обносившийся сапог, как разводы и пятна потолка над изголовьем постели. Вот здесь, перед входом в полицию, у приоткрытой двери общественной уборной, тетка Майер, с неизменным чулком в руках, вскинет на Андрея каменный взор, баском проворчит какое-то слово и опять упрется в свои спицы.

Седенький чиновник с заплатанными локтями и булавочкой в галстуке исподлобья уколет Андрея прижмуренным глазком, спросит:

— Ну?

— Пятьдесят два.

— Хорошо.

И спрячется за секретером.

Тогда можно идти домой.

На полпути Андрею встречается маленький торопливый человек со сморщенным сухим лицом. Он быстро вытаскивает руку из кармана, чуть-чуть приподымает над лысиной низкий котелок и улыбается бесчисленными морщинками вокруг белых тонких губ:

— Bonjour, bonjour, bonjour!

Он произносит свое приветствие скороговоркой, непременно подряд три раза, и улыбка сбегает с его лица так же скоро, как смыкаются тонкие губы. Руки его перевязаны в кистях шерстяными тряпками: упражнениями на гармонике он растянул себе сухожилия, но ему нельзя бросить своей работы, потому что ему нечего делать и потому что он больше ничего не умеет делать.

Это — monsieur Перси, бельгийский гражданин и музыкальный клоун.

Monsieur Перси проживал в одном коридоре с Андреем, и — вот уже полтора года — с утра до ночи из его комнаты рушились и галопировали по лестницам хроматические гаммы. Если не считать этих гамм, то monsieur Перси не был шумным человеком, даже наоборот — был бессловесен, тих и не бросался в глаза. По утрам Андрей встречал его на улице или в коридоре, и monsieur Перси скороговоркой приветствовал его, приподымая котелок:

— Bonjour, bonjour, bonjour!

Только однажды monsieur Перси подал и пожал Андрею руку — однажды, в сырой и ветреный вечер, в коридоре, освещенном старым, дырявым газовым рожком.

— Тоска, monsieur Перси,— сказал Андрей.

— Русские любят тоску,— ответил он.— Я был в России, знаю. Лодзь, Рига, Либава, Дерпт — хорошая страна. И все пьют...

Monsieur Перси засмеялся.

— Сегодня день моего рождения, поэтому я тоже выпил. Мерзкий коньяк. Вообще я не пью. Не позволяет профессия. По той же причине не тоскую.

— Вы шутите?

Monsieur Перси нагнулся к Андрею и, шевеля одними губами, с лицом, затверделым, как маска, проговорил без расстановки:

— Шут шутит только на манеже; это отлично понимают русские. Я был в Марокко, в Алжире, в Англии, у австрийцев, у шведов, русских, немцев; я видел свет. Теперь по ночам я думаю, как несчастен свет, как несчастны люди, если они смеются шуткам monsieur Перси. По ночам я закрываю глаза и смотрю на людей,— они ничего не понимают; monsieur Перси видит их в Алжире, в Стокгольме, в Вене, в Бишофсберге, сразу всех,— они не видят monsieur Перси, они думают, что они — весь свет и весь свет больше вот этого, вот этого...

Он потрогал благоговейно свой котелок указательным пальцем.

— Это — больше света, здесь весь свет, поверьте, monsieur, весь свет.

— Зайдемте ко мне в комнату.

— О нет! Русские любят тосковать и говорить об этом. Я бельгиец. Днем я работаю, ночью закрываю глаза — о-о, старые глаза monsieur Перси! — и смотрю на людей. Я вижу также вас, вы мне приятны, очень приятны.

Он вдруг отшатнулся, приоткрыл свою лысину и побежал по лестнице, крикнув всего один раз:

— Bonjour!

Это был его первый и последний разговор с Андреем.

Последний, потому что в эту ночь бельгийский гражданин и музыкальный клоун monsieur Перси был взят и препровожден неизвестно куда.

Штадтрату города Бишофсберга в числе документов, отобранных при обыске в комнате бельгийского гражданина Перси, была представлена тетрадь в голубом бумажном переплете с изображением национального бельгийского флага на левом углу переплета, у корешка. Тетрадь была украшена надписью:

На память об ангажементе без контракта.
Отзывы критики о гала-представлении
без моего участия.

Текст состоял из газетных и журнальных вырезок, аккуратно наклеенных и снабженных тщательными указаниями на источник. Никаких комментариев нигде не было. Отдельные заметки были

обведены чернилами. Вероятно, они казались monsieur Перси наиболее замечательными. По крайней мере, некоторые из них остановили внимание штадтрата, и он отметил их красным карандашом. Вот они:

Если бы Иисус из Назарета, проповедовавший любовь к врагам, снова пожелал сойти на землю, он, конечно, вочеловечился бы в немецком отечестве. И — как вы полагаете? — где его можно было бы встретить? Неужели вы думаете, что он возглашал бы с церковной кафедры: многогрешные немцы, любите врагов ваших? Я уверен — нет! Нет, он был бы в самых первых рядах бойцов, сражающихся с непоколебимой ненавистью. Он был бы там, он благословил бы кровавые руки и смертоносное оружие, он, может быть, сам взялся бы за карающий меч, изгоняя врагов Германии далеко за пределы обетованной земли, как он когда-то изгнал торгашей и барышников из Иудейского храма.

(«Volkserzieher»)

Лицевая сторона расчетного листа ткацко-прядильной фабрики «Конкордия» в Бунцлау:

Берегите хлеб!

Каждым сбереженным кусочком хлеба вы помогаете в тяжкой войне вашим мужьям, отцам и сыновьям.

Каждый сбереженный ломоть хлеба —

выстрел в Англию,

в нашего исконного врага!

Каждая сбереженная крошка хлеба сокращает войну!

Обратная сторона того же листа:

Ткацко-прядильная фабрика
«Конкордия» в Бунцлау
№ ... Заработная плата за 57½ часов... М. 9. 91
Вычеты:

Больничная касса	28	
Страховая касса	12	—40
Netto . . .	M.9.51	

Отныне никто не в состоянии уклониться от логического вывода, что *примирение* было бы *катастрофой*, что единственной возможностью стала война. До сих пор — ответ на вызов, дело чести, средство к цели, отныне война становится самоцелью! Вся нация, как один человек, будет требовать *вечной войны!*

(«Münchener Medizinische Wochenschrift»)

Воспитание ненависти! Воспитание уважения к ненависти! Воспитание любви к ненависти! Организация ненависти! Долой детскую боязнь, ложный стыд перед зверством и фанатизмом! Да будет и в политике по слову Маринетти: побольше оплеух, поменьше поцелуев! Мы не смеем колебаться объявить богохульно: наше достояние — вера, надежда и ненависть! Величайшее среди них — ненависть!

*(Советник медицины доктор В. Фукс,
старший врач Государственной Баденской
психиатрической лечебницы в Эмендингене)*

Штадтрат просидел над голубой тетрадью до глубокой ночи, прочитывая одну вырезку за другой. Их было много, они были наклеены без порядка, и люди, образы, идеи, анекдоты сыпались на штадтрата, точно погремушки из кузова елочного деда,— уродливые, расцвеченные, искаженные, цирковые. Штадтрат отточил ножичком красный карандаш и острыми буквами напечатал на голубой обложке:

Собранные в этой тетради заметки не представляют собою военной или государственной тайны, как опубликованные в печати. Однако тенденциозный подбор газетных сообщений указывает на враждебные чувства собирателя к Германии и мог бы, при удобных обстоятельствах, оказаться на руку противнику. Поэтому считаю нужным передать бельгийского гражданина Перси военным властям.

В Обществе друзей хорового пения парикмахер Пауль Генниг пел басом. Басы в Европе редки, и Пауль Генниг имел основание считать себя человеком незаурядным. Сознание это сделало его беспокойным, а беспокойство привело в социал-демократическую партию. Тут он окончательно уверовал в свою звезду и сделался самым шумным человеком в Бишофсберге. Когда по вечерам, закрыв цирюльню, Генниг заходил к Андрею, чтобы поговорить о политике, в комнате, похожей на манеж, каждый предмет убогой обстановки мгновенно воплощался в механический станок. Кругом гудело, потрескивало, звенькало, дребезжало, отзываясь на рокот, рыканье, раскаты парикмахерского баса. Генниг заполнял собою весь манеж.

— Ерунда, все этто еррунда! Господа юнкеры не понимают, что мы идем навстречу социализму! Не по-ни-ма-ют!

— Каким образом? — спрашивал Андрей.

— О-го! Вы тоже не понимаете, дорогой Андреас?

— Я вижу, что мы живем за счет накопленного раньше.

— Андреас, Андреас! Война! Понимаете? Война!

— При чем же здесь...

— Стойте, стойте! Генниг разовьет вам свою мысль. У вас нет дисциплины ума — у вас, у русских. Славные ребята. Я говорю — славные р-рребята, вы, русские! Бисмарк был прав, старик, прав. Он говорил: не ссорьтесь с русаками, русаки — натуральные,— понимаете? — натуральные союзники немцев. Генниг развивает мысль старика и говорит: славные ребята! Но у вас нет дисциплины ума. В Обществе друзей хорового пения, где я — казначей, я прямо сказал: мы идем к социализму!

— Через войну?

— О-о! Через войну! Андреас, вы начинаете мыслить дисциплинированно, это — моя заслуга! Ха-ха-ха, не сердитесь, Андреас!

Именно — через войну. Каким образом? Война научает нас распределять — о! — рраспрределять продукт помимо — о! — помимо каниталистического аппарата!

— Хлебные карточки?

— О-о!

— А другие страны?

— Другие страны?

Пауль Генниг сорвался со стула и поднял голос на два тона. Станки по углам манежа ринулись дребезжать и звенеть что было мочи.

— Дрругие стрраны мы научим рраспрределять продукт помимо капиталистов. А для этого сначала рразобьем, рразобьем их — мы, немцы!

— Ну, а если...

— Что-о?

Генниг поднял голос еще на два тона.

Но в это время раскрылась дверь, и длинный крашеный шест въехал в комнату. Сначала он заколебался, повернуть ли ему вправо или влево, попробовал пригнуться к полу, потом поднялся к потолку и, описывая параболу, стал мерно въезжать в комнату.

— А «если», вы говорите? — добродушно прогудел Генниг, сразу понизив голос на четыре тона.

К этому моменту следом за шестом, зажав его крепко под мышкой, ввалился в комнату парикмахерский подмастерье, рыжевато-розовый, шершавый и отдувавшийся, как локомобиль. Сзади него павлиньим хвостом волочилось наполовину раскатавшееся полотнище флага.

— Ну, Эрих, кого вздули?

— Русских, мастер.

— Ах, бедняги,— сказал Генниг, взяв древко и заводя его конец к окну.— До чего им не везет!.. Вот, Андреас, другие страны! Дело, конечно, не в России, наше социалистическое дело. Но я и не говорю о России...

Подмастерье открыл раму, раскатал и выкинул за окно флаг, потом стал выпячивать наружу древко. Оно было длинно и тяжело, и вставить его в железную манжету под окном было трудно. Подмастерье медленно опускал древко на веревке, а Пауль Генниг, покрасневший, напыжившийся, ловчился вправить толстый конец шеста в манжету и нет-нет извергал из себя отрывистые, мощные аргументы:

— Кажется, мы, социалисты, помогаем империализму,— а на деле он помогает нам... Это хорроший кусок социализма — р-распределение... Эрих, правее, правее... опусти немного... У нас самая

многочисленная партия... после войны у нас будет социалистический... Эрих, пускай, готово!.. социалистический опыт...

Из окна надуло холоду, и, может быть, поэтому Андрею стало зябко. Он забился в дальний угол.

— Я понимаю. Но ведь ваше распределение не остановит войны?

— Нам надо рразбить противника, тогда война остановится.

— Ну, а если...

— Никакого «если», Андрреас! Должны рразбить. Остальное — еррунда!

Генниг похлопал Андрея по плечу, пахнул ему в рот плохим брантвейном и сказал:

— Вы знаете, что такое дисциплина? Андрреас, вы — русаки — не знаете, что это такое...

Пожал Андрею руку и вышел вслед за подмастерьем.

Когда тысячи, сотни тысяч, миллионы благородных бюргеров, сидя по своим гостиным, воспевали дисциплину, они не знали, что это такое. С тех пор как юношами они с радостью прикоснулись к ней, прошло пятнадцать — двадцать лет. За это время они успели пролежать двуспальные перины, вырастить полумертвые кактусы, конфирмовать своих дочек и приобрести сочинения Гете с золотыми корешками.

Тысячи, сотни тысяч, миллионы благородных бюргеров составили в этом году ландштурм. Ранцы телячьей кожи, которые ландштурм носил за спиною, показались ему чересчур тяжелыми, а ремни, утонувшие в мясистых плечах,— чересчур острыми. Ландштурм волочил за собой двуспальные постели, кактусы, подарки дочкам к конфирмации и позолоченные сочинения Гете. Это было слишком грузно для войны.

— Войне нужны кости и мышцы,— сказал какой-то военачальник.

Фельдфебель, обучавший бишофсбергский ландштурм, хорошо понял это изречение. Он обучал ландштурм строю. Маршировать, маршировать, маршировать! Бегать, падать, ползать, и еще раз — бегать, падать, ползать! Потом можно переменить: маршировать, маршировать, маршировать!

С ландштурма надо сбить жир — зады, животы, спины. Это непригодно для войны.

Истекающие потом, мешковатые толстяки, переряженные солдатами, после учения далеко за городом возвращаются под вечер в казармы.

Фельдфебель помнит, что у благородных бюргеров большая склонность к удобствам. Он слышит, как в их ранцах погромыхивают привычки. Он видит каждого из них на мягком диване с подушечкой, на которой вышито гладью:

Nur ein Viertelstündchen! [1]

По стенам развешаны открытки, залитые гипсом, дверь на балкон приотворена, и в нее заглядывают подрезанные ветки груш. Табачный дымок тянется струйкой к веткам.

— Отде-ле-ние! — командует фельдфебель.

О, все эти картинки надо выпотрошить из памяти благородных бюргеров, вместе с жиром задов, животов и спин!

— За-пе-вай!

Молчание.

— Отде-ление, стой!

Ландштурм остановился.

— Почему не поете?

Молчание.

— Отде-ле-ние, смирно! Оборот направо, кр-ру-го-ом марш!

И опять за город, в поле. Опять бегать, приседать на носках, падать, ползать. Потом — маршировать, маршировать, маршировать. Потом домой.

Ландштурм беспрекословен.

В городе, на старом месте, именно на том месте, где была произнесена команда впервые:

— За-пе-вай!

Молчание.

— Отде-ле-ние, стой! Оборот направо, кругом марш!

И опять поле.

Ландштурм падает в изнеможении, но ландштурм беспрекословен.

И в городе, уже в ночной тьме, на том же месте:

— За-пе-вай!

И тогда хриплый голос, надсекаясь и лопаясь, затягивает, и его подпирают такие же лопающиеся голоса:

I-ich hatte ein'Kama-ra-aden...[2]

— Никакого «если», Андреас! Вы, русаки, не знаете, что такое дисциплина!

---

[1] Только четверть часика (вздремнуть) *(нем.)*.

[2] У меня был товарищ... *(нем.)*

ПАРК СЕМИ ПРУДОВ

Проходила вторая зима с тех пор, как Мари узнала, что такое война. Война — это беспрерывная деятельность, наполняющая кровь горячечной силой, шествие по канату над пропастью, заполненной колыханием знамен, мятущимися огнями факелов, медными голосами труб и кликами победы. Война — это победа. В этом ее смысл. Впрочем, о смысле войны написаны целые книги, разложенные веером на круглых столах в гостиной фрау Урбах. В этих книгах каждый мог бы найти совершенно точное объяснение, почему существенно необходимо от времени до времени устраивать войну — с точки зрения позитивной философии, или христианского вероучения, или теории Дарвина. (Mesdames, вы читали «Происхождение видов»? Ах, борьба за существование, закон природы — очень просто!)

Мари ни разу не заглянула в книги, разложенные на столах в гостиной ее матери. Но если бы случайно она обнаружила, что большинство этих книг не разрезано, она нисколько не удивилась бы, потому что война прежде всего — непрерывная деятельность, которая все объясняет и оправдывает сама собой, без книг и толкований. Так актер, который исполняет семь ролей в трех актах, не думает о том, что такое театр, а только переодевается.

Война — это деятельность. Когда на протяжении десяти суток в Польше было взято двенадцать крепостей и занято двадцать восемь городов, над Бишофсбергом плавало облако копоти от факелов и лампионов. Комиссия, составленная из гимназистов, под руководством учительского союза, подсчитывала флаги, украшавшие в эти дни общественные здания и частные дома. Город был разбит на участки. Когда комиссия закончила работу и выяснила, что в среднем на каждое жилое строение Бишофсберга приходилось по $9^{1}/_{37}$ флага, прибежал запыхавшийся пожилой человек и завопил: «Обсчитались, обсчитались!» Оказалось, что этот человек, в целях проверки комиссии, единолично сосчитал все флаги, украшавшие город, и получил цифру: $9^{1}/_{29}$! Бишофсбергская социал-демократическая газета не преминула, конечно, съязвить по этому поводу, заявив, что комиссия уронила патриотическое достоинство Бишофсберга на $^{8}/_{1073}$.

Если не считать работы, которая совершается во время войны на заводах, полях и в шахтах людьми, поглощенными этой работой и в мирное время, то какую изумительную энергию пробуждает война в людях, принимающих обычно небольшое участие в производственном труде! Нечего говорить об армиях, занятых ежесекундным истреблением наиболее сильных человеческих особей индивидуально и группами. Этот вид деятельности всегда при-

влекал к себе внимание. Гораздо поучительнее обратить взоры, например, на берлинский союз содержателей гостиниц, посвятивший несколько деловых собраний обсуждению вопроса о том, следует ли переименовать «отели» в «подворья». В пламенных дебатах переименование было отвергнуто, потому что, воспользовавшись отсутствием непреклонных лингвистов, содержатели гостиниц признали, что «отель» — слово немецкого происхождения.

В лечебнице Эмендингена сведущим лицам показывали человека, разработавшего проект статистического бюро для учета заседаний, вызванных военной деятельностью. Среди материалов, собранных этим человеком, находился протокол собрания союза немецких кондитеров, на котором дебатировался вопрос: патриотично ли есть пирожные? Это было решено положительно, так как булочники установили, что кондитерские изделия приготовляются преимущественно из сахара, яиц, изюма и миндаля, без затраты пшеничной муки, реквизированной властями. Известно, что, когда решение стало достоянием гласности, шесть тысяч немецких кондитерских наполнились радостными патриотами...

В гостиной фрау Урбах над входной дверью висела дубовая доска с вырезанным двустишием:

WIR STEHEN IN OST UND WEST
WIE FELS UND EICHE FEST [1]

Двустишие соответствовало действительности. Сила его заключалась, однако, не в этом. Оно было указующей программой действий, простым, понятным «должно». Власть его над людьми была сокрыта в незримом повелении, сквозившем через дубовую доску. Доска диктовала деятельность. Это чувствовал и понимал каждый. Это почувствовала и поняла Мари с первого часа войны. И она повиновалась приказу, который не оскорблял самолюбия, а льстил ему. Она растворилась в деятельности.

Она выписала из Берлина одиннадцать особых флагштоков, укреплявшихся на подоконниках, и флаги к ним длиною в три метра. Постепенно обнаружилось, что Германия дорожила даже захудалыми союзниками в войне больше, чем этого хотели бы мечтательные штандарт-юнкеры. Коллекцию имперских полотен пришлось пополнять союзными национальными цветами. Это отнимало время, не говоря о том, что почти всякий день надо было выбрать комбинацию одиннадцати флагов из семнадцати, чтобы расцветить ими фасад дома.

---

[1] На востоке и на западе мы стоим прочно, как скала и дуб *(нем.)*.

Фрау Урбах состояла патронессой питательного пункта на бишофсбергском вокзале. Эшелоны солдат следовали через Бишофсберг каждые два-три дня. Раздать солдатам цветы и патриотические памятки, отпечатанные на бристоли, напоить сотню, иной раз две-три сотни маловоспитанных людей кофе, наделить их сигарами и при этом улыбнуться и сказать что-нибудь приятное об отечестве — такую работу может исполнить только истинно преданный идее человек.

Мари помогала фрау Урбах. Здесь, на вокзале, в толчее безусых, широкоротых ребят, в гвалте и гуле медных голосов, в мелькании крепких лбов и затылков, Мари испытывала такое чувство, точно ее носило в рукопашной схватке славного боя. Касание локтей, почти ощутимые клейкие взгляды, текучая, неуловимая лента улыбок и этот вечный припев:

— Эх, хороши девочки в Саксонии!

Кто устоит в таком потоке безучастным и холодным? Кто не хлебнет его бьющей, клокочущей пены?

И вдруг Мари заскучала. Это случилось ранней весною, едва потеплел ветер и отогрелись деревья. Впервые за полтора года Мари не пришла на вокзал. Кучка подруг, разливавших на вокзале солдатский кофе, сбежалась к ней со всех концов города,— встревоженные, большеглазые, трескучие, как сороки. Мари была здорова, в ее жизни ничто не переменилось, она была прежней Мари. Но ей стало скучно. Она не знала — почему. Сороки трещали, расправляли свои юбочки, обхаживали и увещевали, наконец пристыдили и высмеяли Мари. Она стояла на своем:

— Скучно!

Странно, она сама не догадывалась о причине этой скуки. Сидя у себя в комнате и буравя в памяти события последних дней, она решила, что никаких событий, в сущности, не было и что в этом все дело. Ей припомнилось, что эшелоны, которым раздавали на вокзале памятки и кофе, обесцветились и притихли. В серой очереди, тянувшейся мимо раздатчиц, не слышалось смеха. Недавно низенький ландштурмист обратился к Мари со словами:

— Налей-ка, дочка, погорячей!

У нее дрогнула рука, она взглянула на него пристальней. Солдат был одутловат, короткие усы его блестели сединой. Мари окинула взглядом очередь серых шинелей. Угрюмые, взрытые морщинами лица безучастно колыхались в газовом свете. Ей подумалось тогда, что эти люди остались там, откуда пришли: здесь, на вокзале, колыхались только их оболочки.

Этот случай был настолько ничтожен, что удивительно, как он возник в памяти теперь, когда Мари доискивалась, почему ей стало скучно.

Так же неожиданно вспомнились желтые лица женщин, набившихся в училищном коридоре, где выдаются хлебные карточки. Мари дважды в месяц занималась раздачей карточек, и ей ни разу не пришло на ум присмотреться к людям, толпившимся по коридорам. И опять недавно, когда она кому-то заметила:

— Нельзя ли быть полюбезнее? — из дальнего угла провизжали:

— Вы любезны только потому, что сыты!

Тогда Мари подняла голову и натолкнулась на десяток загнанных, перекошенных глаз. Женщины, обступившие стол, были странно желты, как будто кожа их окрашивалась не кровью, а желчью. Среди них были молодые девушки, но молодость их можно было узнать только по глазам.

— Эх, хороши девочки в Саксонии!

Это было так же ничтожно, как случай на вокзале, и так же ничего не объясняло. Вереница исхудалых женщин и одутловатых угрюмых солдат то обрывалась, то снова возникала в памяти,— но было ясно, что все это вспомнилось только теперь, когда Мари стала думать о своей скуке.

Другое воспоминание уже давно не отступало от нее ни на шаг, но разве мыслимо, чтобы оно навеяло скуку?

Однако не припомнит ли Мари все подробно?

В предвесенний месяц выпал день снежный, подобранный морозом — последний зимний день в красноватом свете низкого солнца. По улицам плавал какой-то сладкий запах, точно от свежей корзины, и люди звонко перекликались, рысцой пробегая по тротуарам:

— Эге, как кусает!

— Ого-го!

По площади мелькнули сани, встреченные бурными криками. Мальчишки пронеслись за ними ватагой. Громадный градусник на ратуше чопорился больше, чем всегда: поутру его вычистили бензином. На таком солнце, разрывая быстрыми ногами пахучий невесомый снег, хочется думать, что мир покоен и незлобив, что люди собрались в веселые города и деревни, чтобы заглядывать друг другу в глаза, пожимать руки, ободрять веселым окликом из-за угла:

— Фрейлейн Мари! У вас нос краснее помидора!

— Фрейлейн Мари, не упадите на Weberstrasse, там прямо каток!

О нет, Мари не упадет на Weberstrasse! Мари не страшен холод! Она неслась с такой силой, что, казалось, преодолела бы не-

приступный ледник. Навстречу колкому морозу, рассекая его разгоряченным лицом, засунув руки глубоко в рукава, она добежала до станции. По узенькой, запорошенной снегом платформе попрыгивали два-три пассажира. Игрушечный обледенелый паровозик, растерянно отдуваясь, выскочил из-за поворота.

— На Лауше!

День был рабочий, вагоны пустовали. Окрестность казалась неизвестной,— и, может быть, оттого так быстро надвинулась издали заснеженная Лауше. Капюшоны Трех Монахинь срослись в громадную шапку, повисшую над скалами слепящим шаром.

На крутой тропе, убегавшей к вершине Лауше, был втиснут одинокий след мужских ног. Мари взбежала по первой отлогости горы и передохнула. Мужские следы поворачивали в сторону, а тропа вилась вверх под нетронутым снежным покровом, и распылять его было так же радостно, как прокладывать новый путь. В крепком высоком строе сосен, отягощенных снежной нависью, раскачивался подмороженный аромат смолы, и покойная тишина, сковавшая Лауше, наполнила Мари веселой, легкой силой.

С ловкостью, причинившей когда-то столько неприятностей фрау Урбах, Мари брала уступ за уступом. Вдруг у нее подвернулась нога, скользнула по камню, и она скатилась вниз на добрую дюжину шагов. Падая, она загребала спиною снег в пухлый сугроб, и, мгновенно выросши, он перевалил через нее и засыпал ее лицо, грудь, руки. Она вскрикнула обрадованно-громко, как на купанье от ласкающего холода брызг. В тот же момент, точно удар по замерзшей сосне, над нею прозвенел крепкий голос:

— Осторожно!

Она вскочила, отряхнулась от снега. Из-за дерева на нее глядели молодые глаза. Ей показалось, что в них было больше веселости, чем беспокойства.

— Это ваши следы идут там, по тропинке? — спросила она.

— Да. Я хотел найти путь покороче и свернул в сторону.

— Вы на вершину?

— Да.

— Это самый короткий путь.

— Но и самый опасный. Вы не ушиблись?

— Пустяки.

Больше не о чем было говорить. Надо было расходиться. Впрочем, можно было идти рядом.

— Сегодня хороший день,— сказал он.

— Да.

— Вы тоже наверх?

— Тоже.

Так было выяснено, что им по пути и что они идут самой короткой дорогой.

— С горы вы поедете на санях? — спросила Мари.

— Не знаю.

— Боязно?

— Я никогда не ездил.

Мари обернулась к нему. Ноги его были обтянуты толстыми чулками и переступали мерно и сильно, вровень со спокойным громким дыханием. Голову он держал высоко, не глядя в землю под ноги. Он посмотрел на Мари открыто.

— У меня сегодня хорошее чувство. Я редко бываю за городом,— сказал он.

— Вы нездешний?

Он засмеялся.

— Вы чех? — спросила Мари с тем оттенком, который делает это слово обидным.

— Хуже!

— Я так и знала. Такие, как вы, нужны на войне. А вы разгуливаете как ни в чем не бывало. Вы русский?

Он опять засмеялся:

— Да.

Мари прибавила шагу. Несколько минут они молчали. Потом он сказал:

— Положение становится неловким. Разрешить его мог бы только полицейский чиновник, не правда ли?

— Это — грубость.

— Я не хотел вас обидеть.

— В нас гораздо больше рыцарского, чем думают иностранцы.

Мари вдруг остановилась.

— Что вам дало право считать нас всех доносчиками? Вам плохо у нас, вам, нашему врагу?

Она опять двинулась вперед. Тогда ее спутник проговорил:

— Грустно, что мы разучились жить просто. Может быть, мы этого никогда и не умели? За переборками и пристройками ничего не видно. Зачем вам понадобилось расспрашивать меня, кто я? Разве без этого нельзя идти рядом, как мы идем сейчас? Кругом снег, сосны, тишина. Мы ничем иным не связаны, как только этим снегом, этой тишиною да куском дороги, который нам надо пройти вместе. Пройдем и забудем. Случайность. Зачем отыскивать в ней то, чего в ней нет? Если бы я оказался австрийцем или вашим соотечественником, вы взглянули бы на меня по-другому. А разве что-нибудь изменилось бы вокруг нас? Все было бы так же просто.

Они остановились на последнем уступе горы. Отсюда уже было невысоко до вершины. На запад, как по нитке, скатывалась широ-

кая просека. Сквозь нее было видно, как сторонами треугольника к основанью уходила смена сосновых участков, затянутые снеговою синью долины, цепь кособоких гор. Небо прикрывало все пространство мирной синевой.

— Я здесь выросла,— сказала Мари.— Вон на том холме нависла сосна, точно гриб. Это первое дерево, на которое я вскарабкалась. За этим грибом — замок Шенау. Видите черные крыши? Направо шоссе, там граница.

— Граница? — переспросил он.— Так близко?

Мари прищурилась на него:

— Почувствовали что-то родное?

— Там чехи.

— О да, сплошные чехи!

— Без этого нельзя?

Она двинулась было к нему, но тотчас остановилась, точно принудила себя не расслышать его слов. Потом внезапно звонко вскрикнула:

— Ну, наверх, скорей! — и, придерживаясь за встречные стволы, легко и цепко, как козуля, взяла подъем.

На прибранной площадке вершины стояли чинным рядом приземистые длинные санки. Суровый, громоздкий, как каменная глыба, сторож медленно выкатился из тесовой будки и осмотрел гостей. Час был неурочный, никого, кроме сторожа, на горе не было. Укатанная, расчищенная дорога уносилась к повороту крутой скобкой. По сторонам она была защищена снеговыми барьерами.

И опять звонко, раскалывая застылый воздух, Мари крикнула:

— Довольно раздумывать! Едем!

Она выбрала сани, ногой подкатила их к спуску, села верхом и ухватилась за кольца загнутых на передок полозьев.

Ее обступал воздух, которым она дышала в детстве. Накрошенные и наваленные в беспорядке скалы, как ломаная мебель; кряжистые сухокорые деревья, каждый сучок которых казался старым приятелем; внизу исковерканная шашечница дорог и просек. Всякий камень на этих горах корчил Мари рожи, и она помнила его прозвища, знала его секреты. Как жалко, что подле не было сообщников ее проделок — широкогрудых, большеглазых деревенских ребят! Как хорошо было бы покомандовать ими, прикрикнуть и распорядиться! Где они теперь, милые увальни?..

Мари быстро оглядела своего спутника.

— Рассчитывайтесь со сторожем и садитесь. Скорей... Садитесь ближе ко мне. Вытяните ноги вперед. Вот так. Охватите меня руками. Как следует. Туже, еще туже, а не то вывалитесь. Править буду я. Поехали!

И вот толчок, еще толчок, вот ускоряющееся плавное скольжение, вот быстрый бег — и вот перед самым лицом, над головою, оледенелый снежный барьер поворота, который мгновенье назад казался страшно далеким. Барьер валится на голову, колючая белая пыль залепляет глаза, бьет откуда-то из-под земли неудержимым фонтаном и вдруг обрывается; и ровный, как отточенная сталь, ветер звенит по лицу, устремляясь вверх, в гору, которая взвивается к небу. Поворот уже давно пройден, сани уже давно оторвались от земли, прямой спуск — секунду назад бесконечный — уже налетел на новый поворот, и снежные барьеры навалились на голову.

— Держитесь! — кричит Мари и слышит, как в ее спину врослo отвердевшее широкое тело и в грудь — ледяное кольцо скрещенных рук. И еще — точно с далекой вершины, сквозь холод и свист снежной пыли, наперекор и навстречу режущей стали ветра — в самое ухо ее чуть теплый вливается шепот:

— Дер-жи-тесь са-ми!

И тогда она видит, как сбоку, от сильной мужской ноги, бороздящей дорогу, клубится белый вихрь — выше и буйнее каскада, который поднимает ее нога... Ах, все равно — пусть думает, что он правит! Вниз, вниз, под гору, в пропасть!..

Потом у отлогого подножья Лауше они отряхиваются, очищают волосы, воротники, уши от тающей, слипшейся пыли, смеются.

Вероятно, и здесь они о чем-то говорили, как говорили в крошечной комнате какой-то гостиницы, где их угощали пахучим грогом и веселым очажным огнем. Но Мари не запомнила ни слова из этих разговоров. Впрочем, одно слово — смешное, непривычное — осталось в памяти. Расставаясь со своим компаньоном, вдалеке от станции, она спросила:

— Как вас зовут?

— Андрей Старцов.

— Стар-цов? Как это пишется?..

Потеплел ветер, и отогрелись деревья. В такую пору приоткрытое окно не облегчит дыханья. И если не двигаться, не лететь постоянно с силой камня, сорвавшегося с горы,— густые мартовские дни сдавят горло, задушат.

Скука пришла вместе с теплым ветром, неожиданно, в разгар деятельности, и с каждым часом становилась нестерпимей. И потому что Мари не догадывалась о причине скуки,— может быть, просто со скуки она написала Андрею, что хочет увидеть его.

Он ждал ее в парке Семи Прудов.

В оттепель парк загрязнялся, трамвайные вагоны подходили к нему пустыми, обезлюденные аллеи однообразно чернели. Но от таянья снега и невнятного, боязливого шороха каких-то существ над землею бродили запахи оживления, и вдыхать их было так же томительно, как глядеть с высоты в обрыв.

Андрей стоял на прямоугольном стыке двух аллей. По одной из них должна была прийти Мари. Это была Бисмаркова аллея — из четырех рядов лип, подстриженных перевернутыми кофейными чашками. Ровной, точно кегельбан, дорогой она смыкала город с парком. Другая аллея опоясывала парк кривой, и поворот ее виднелся шагах в полусотне оттуда, где стоял Андрей.

Он увидел Мари в условленный час. Она шла быстро, держась прямой линейки стволов так близко, как будто искала за ними прикрытия. Когда ее лицо стало различимо, Андрею показалось, что она улыбается. Он отошел к внутренней стороне аллеи, опоясывавшей парк. Едва уловимые до сих пор шорохи внезапно сплотились в широкий раскатистый гул. Он рос и ширился где-то в глубине земли, как будто оттаявшие корни буйно распирали почву. Андрей видел, как учащались шаги Мари. Она почти бежала к парку. Неужели до нее докатился трепет и гул земли, наполнивший Андрея непонятной тревогой? Он все ширился, этот подземный гул, он перешел в ясный, отчетливо слышимый шум, он охватил и заколебал не только почву, но и воздух, он перекатывался невидимой лавиной, он должен был с минуты на минуту раздавить Андрея.

Необъяснимо, почему Андрей не двинулся с места. Он ждал Мари неподвижно, следя за ее приближеньем в каком-то окоченении.

И вот, когда Мари была уже недалеко от него, он увидел лавину. Она выползала из-за поворота аллеи, в полусотне шагов от того места, где он стоял. Гул, волновавший землю, был поднят сотнями тяжелых ног.

Мари оставалось только перейти дорогу, чтобы протянуть Андрею руку. В этот момент лавина докатилась до стыка аллей. Андрей успел заметить, как глаза Мари остановились на приблизившемся шествии. Потом оно разделило их.

Его возглавляли вооруженные ландштурмисты, выступавшие понуро и медленно, насупленные, суровые. За ними двигались тесные ряды солдат. Четверо из первого ряда держались за шинельные хлястики ландштурмистов. Шедшие сзади положили свои руки на плечи передних.

Голубовато-серые помятые шинели были шиты одним портным и суконные фуражки растягивались на одном болване. Но шаги колыхавшейся голубовато-серой солдатской массы не были шагами

солдат. Ноги волочили оборванные тяжелые опорки и шаркали по земле, почти не поднимаясь над ней. Люди раскачивались из стороны в сторону, кучились, натыкались друг на друга. Руки их непрестанно вытягивались, ощупывая пространство и упираясь в спины и локти ступавших впереди.

Андрею бросился в глаза один солдат. Его голова была повернута вбок и подергивалась на длинной шее, как на нитке. Он точно вслушивался в то, что приближалось к нему с каждым шагом. Лицо его было сведено в гримасу, и рот стиснут так крепко, что челюстные мышцы выпячивались, как скулы. В черном круге ресниц стекленели остановившиеся глаза. В них проплывали спокойные тени нависших над аллеей веток.

Солдат был слеп.

Тогда Андрей неизмеримо коротким взглядом охватил проползавшую мимо толпу.

Лица десятков и сотен людей показались ему одним лицом. И когда он всмотрелся в него, он закричал.

Это было лицо Карла Эберсокса, каким он узнал его в Эрлангенском музее и потом во сне, когда багровая голова раздумывала — упасть ей или остаться на лестнице. Но — ужас, ужас! — по лицу убийцы, который с открытыми глазами взошел на эшафот, чтобы после смерти бесстыдно смотреть на людей из спиртовой музейной банки, по этому лицу текли слезы!

Андрей уже не видел толпы. Перед ним, где-то совсем вблизи, в расстоянии, на которое хватает человеческое дыханье, маячило лицо Эберсокса. Синие губы казненного вздрогнули, раскрылись, и, как во сне, Эберсокс произнес:

— Итальянцы. Взяты под Триестом.

Потом он подмигнул сквозь слезы и добавил:

— Газ называется «Желтым Крестом». Прекрасная марка.

Голос показался Андрею печальным. Не потому ли, что говорил щупленький конвоир слепцов?

Он остановился рядом с Андреем, чтобы раскурить трубку, и сказал несколько слов из сочувствия и общительности. Потом побежал на свое место, прижимая к спине длинную — русского образца — винтовку.

А молчаливое шествие непрерывно протекало по аллее, и бесчисленные руки ощупывали пространство. Понурые ландштурмисты, замыкавшие толпу, слегка подталкивали отстававших, и тогда они давили пятки шедшим впереди и запрокидывали свои головы, точно прислушиваясь к тому, что приближалось к ним с каждым шагом. Вероятно, они уже различали удары топора, достраивавшего лагерные бараки.

Омытое слезами лицо Эберсокса расплылось в мартовском су-

меречном воздухе. Шум от шаркающих опорок стих, перешел в подпочвенный гул, рассосался до шорохов весеннего оживания. Парк Семи Прудов ждал вечера.

Тогда Андрей огляделся.

По другую сторону аллеи, прислонившись к дереву, закрыв глаза, стояла Мари, она была как будто привязана к стволу, и руки ее висели беспомощно. Андрей бросился к ней, с силой оторвавшись от куска земли, который держал его в окоченье. Мари открыла глаза, Андрей взял ее руки. Они были холодны и вздрагивали, как от озноба.

— Наша встреча...— начал Андрей.

Мари хотела улыбнуться.

— Я не могу,— ответила она,— сегодня...

Потом оттолкнулась от дерева, расправила плечи.

— Я не хочу говорить сегодня... не могу.

Она пожала ему руку.

— Я, может быть, напишу вам опять.

Она отвернулась и пошла туда, где останавливались пустые в эту пору трамвайные вагоны.

Он проводил ее взглядом.

ВСЕ ЕЩЕ ЦВЕТЫ

Этим летом две морские державы встретились впервые в открытом море. Корабли, созданные для того, чтобы истреблять и гибнуть, изнывавшие от бездействия и перевооруженности, в один день и в один час, как разноименные магнитные стрелки, покинули свои норы. Местом встречи был выход пролива Скагеррак в Северное море. Часом встречи был час судьбы, когда перестают дуть ветры и останавливаются планеты, когда люди надевают чистые рубашки. Победа была обеспечена за обеими эскадрами, потому что обе эскадры считались самыми сильными в мире и потому что державы, чьи эскадры встретились под Скагерраком, считали себя самыми сильными державами.

Все державы всегда считают себя самыми сильными; это им необходимо, чтобы каждая ротная кляча, погромыхивая заржавленной кухней, чувствовала себя Тамерланом.

Под Скагерраком морская Англия победила морскую Германию и морская Германия победила морскую Англию. Побежденной в этой борьбе оказалась логика — держава наименее могущественная. Победу над ней справляли обе победившие стороны — Англия и Германия, за исключением тех английских и германских моряков, которых вода унесла из Скагеррака в Норвежское море.

Германскому населению было разъяснено диаграммами, что морское могущество Великобритании непоправимо подорвано и что случилось это необыкновенно счастливо, ибо германские потери ничтожны. Английские газеты, со своей стороны, доказали картограммами, что германский флот можно считать несуществующим и что достигнуто это ценою ничтожных, в сущности, потерь со стороны Великобритании.

Таким образом, в дни Скагеррака Бишофсберг имел все основания устроить празднество. Он имел эти основания тем более, что ожидал приезда его величества короля Саксонского. Это случалось не часто и было исторично для Бишофсберга. Надо было обставить высокое посещение с достоинством и пышностью. И так как всякое высокое посещение приурочивается к какому-нибудь событию, а его величество король Саксонский прибыл в Бишофсберг просто ради того, чтобы пострелять в горах козуль, то, естественно, его приезд был связан с победой над морской Великобританией. И его чествовали и величали как подлинного гения Ютландского боя...

Но это — целая глава в истории города Бишофсберга; глава же, которую мы пишем, посвящена цветам. Их мало в нашем романе, их любят девушки, негодующие на писателей, которые рассказывают о ландштурме и войне, забастовках и королях, вместо того чтобы говорить об изменах и объятиях, о любви и цветах. Грустно думать, что до этих сочувственных слов не дочитает романа ни одна девушка. Но если нежная душа, вконец измученная солдатскими эшелонами, революционерами, социал-демократами и королями, случайно раскроет книгу на этой странице, она найдет здесь наше клятвенное обещание говорить на протяжении главы только о цветах, об одних цветах, душистых, окропленных чистою росою, целомудренных, живых цветах!..

На вокзале король был встречен военными властями. Оттуда он должен был проследовать в ратушу и принять там гражданских чинов. Через два часа его величеству должны были представиться благотворительные общества.

Признаться, бишофсбержцы пережили в этот исторический день некоторое разочарование. Было изведено непомерно много крахмала на приведение в церемониальный вид нижних юбок, манишек, манжет и воротничков. Ожидали увидеть его величество в орденах, лентах и звездах, окруженного свитой и дворцовой стражей. Но король приехал в пиджаке и в тирольской фетровой шляпке с тетеревиным пером. Ему подали к вокзалу вместительный старомодный фаэтон, запряженный парой бестолковых лошадей. Он сел рядом с обер-бюргермейстером, и железные обода вымытых керосином колес загрохотали по главной улице. Накрахмаленные подданные, занявшие тротуары, при виде такого въезда забыли

снять шляпы. Школьники, окружив фаэтон, неслись по дороге с криками и возгласами. Его величество добродушно стряхивал сигарный пепел на носы мальчишек, поощряя их забираться на подножки и виснуть на рессорах.

— Смотри,— сказал один бюргер жене при виде своего повелителя,— на нем пиджак, как у нашего зятя Ганса...

Так помрачился герой в сознании глубоко преданного ему гражданина.

В этот день победы над морской Великобританией и приезда короля в Бишофсберг, в тот момент, когда доглаживались последние воротнички и начищались ботинки, фрау Урбах, пробегая через гостиную, восклицала:

— Мари! Мари! Мари!

Она была настолько взволнована, что позабыла захватить свою палочку с резиновым наконечником и очень заметно ковыляла. Она почти захлебывалась, крича:

— Мари! Мари!

И когда влетела в комнату дочери, выпалила без передышки:

— Где наши флаги, Мари? Что это значит? Где флаги?

Мари застегивала платье, заломив руки за спину, ей было неудобно, и она не сразу переспросила:

— Что случилось?

— Флаги, флаги! У нас не вывешены флаги!

— Почему вы обращаетесь с этим ко мне?

Фрау Урбах ухватилась за спинку стула.

— Я ослышалась, Мари? — пробормотала она.

— Я говорю, что не знаю, почему у нас не вывешены флаги.

— Может быть, вы не знаете, почему они должны быть вывешены?

Мари подняла на мать безучастный взгляд:

— Откровенно говоря, нет.

Тогда фрау Урбах опустилась на стул. Невероятно! Каких-нибудь полчаса назад этот нелепый человек говорил с ней совершенно здраво!

— Мы только что условились, Мари...— начала фрау Урбах, набрав побольше воздуху и усевшись поудобнее: надо было восстановить нарушенное равновесие.

Но Мари перебила:

— Уверяю вас, что ничего не случилось. Я собираюсь на вокзал, потом приду в ратушу. Ваше поручение будет с точностью исполнено. Вам нужно одеваться, иначе вы опоздаете.

— Но флаги, флаги! — воскликнула фрау Урбах.

— Что касается флагов, то прошу вас поручить это дело кому-нибудь еще.— Мари неожиданно расхохоталась: — Ну, поручите,

например, папе! Право! Папа будет с удовольствием развешивать флаги хоть каждое утро! Это будет вели-ко-лепно!

Фрау Урбах медленно встала. Голова ее откинулась назад, глаза окаменели. Фигура ее была монументальна — в широко расходившемся книзу тяжелом платье, с приподнятой и застывшей правой рукой. Отчетливый шепот излился из ее побелевших, стянутых напряженьем губ:

— Запомните раз навсегда: я не позволю насмехаться над собой не только вашему отцу, но и вам.

Она повернулась и вышла из двери, как оскорбленная героиня на экране кинематографа,— величественно и почти так же бесшумно.

У себя в комнате фрау Урбах посидела некоторое время в кресле, обмахиваясь платком. Потом позвонила горничной и приказала ей вывесить флаги. Потом начала одеваться...

То, что происходило часа три спустя в большом зале ратуши, где благотворительные и другие общества представлялись королю, заслуживает самого пространного описания. Такое описание было сделано «Утренней газетой Бишофсберга», где любопытный читатель найдет весь церемониал и, между прочим, прекрасную речь, оглашенную от имени цехов членом союза парикмахеров и казначеем Общества друзей хорового пения — Паулем Геннигом. Здесь будет рассказана только незначительная деталь, о которой дипломатично умолчал редактор «Утренней газеты», оказавшийся поистине на высоте своего ответственного положения.

Незадолго до того времени, как его величество, в сопровождении обер-бюргермейстера, штадтратов и адъютанта, переходя от одной депутации к другой, приблизился к фрау Урбах, она оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что Мари позади нее. За несколько минут перед тем фрау Урбах видела, как ее дочь пробиралась к ней толпою разодетых фрейлейн и фрау.

И вот его величество король стоит лицом к лицу с фрау Урбах.

Обер-бюргермейстер с особым удовольствием произносит:

— Фрау Урбах, урожденная фон Фрейлебен, патронесса питательного пункта, председательница...

Фрау Урбах замирает в глубоком реверансе.

Его величество протягивает ей руку и перебивает обер-бюргермейстера:

— О вас, сударыня, мне уже докладывали в резиденции. Медаль Фридриха-Августа ожидает вас в Дрездене.

— Majestät,— произносит фрау Урбах и опять замирает в реверансе. Приподнявшись и видя, что его величество продолжает милостиво улыбаться, фрау Урбах тихо говорит:

— Majestät, разрешите представить мою дочь, фрейлейн Мари Урбах...

Она повертывает голову вправо и натыкается на чей-то изумленный и растерянный взор. Она поворачивает голову влево и встречает чужое испуганное лицо. И вдруг ее декольте обжигают сзади какие-то бредовые слова:

— Фрейлейн Мари здесь нет!

— Вы не можете отыскать свою дочь? — слышит она. «Боже, неужели это говорит король?!»

— Majestät,— шепчет фрау Урбах.

— Пустяки,— смеется его величество,— со мной сегодня случилась штука похуже: меня окрестили здесь морским волком, а меня тошнит, когда я проезжаю мостом через Эльбу...

Фрау Урбах еще находит в себе силы улыбнуться на королевскую шутку, находит силы подать его величеству руку. Потом она оборачивается к разодетым фрейлейн и фрау, окидывает их непродолжительным взглядом, и ее почти выносят из зала.

Если бы взгляд фрау Урбах упал на цветы, о которых должна идти речь в этой главе, они увяли бы из состраданья.

Час, в который началась война, родился под знаком вокзалов. Городоподобные, изрытые подземными ходами, перетянутые мостами и переходами, оплетенные железными клубками рельсов, в вечном содрогании и воплях — вокзалы делали войну. Как исполинские пылесосы, они втягивали в свои прокопченные жерла неисчислимые пылинки, собирали их в генераторах, протаскивали трубами и выплевывали вон, в войну. Раз призванные к жизни, они не переставали ни на секунду дышать стонущей своей стальной грудью, и каждый вздох их всасывал и выдувал человеческую пыль.

В час, рожденный под знаком вокзалов, люди стекались на дороги, покрытые каменноугольною пылью, залитые маслом и нефтью, на дороги, которые вели к войне. И люди устлали эти дороги цветами и лепестками красных роз засыпали железные клубки рельсов, так что не видно стало каменноугольной пыли, ни масла, ни нефти. Солдаты в походной форме воткнули розы в дула винтовок, и за патронташи, и за крышки ранцев, и тяжелыми толстокожими сапогами попирали розы на перронах и рельсах. Разве соберешь все цветы, постланные отечеством на пути армии в походной форме?

Армия в походной форме вливалась в генераторы и неслась по трубам, чтобы, подобно газу, смешавшись с воздухом, сгореть в

войне. И солдаты — распаленные железным стоном вокзалов, вздыбленные беснованьем толпы, ликующие, молодые — брали приступом вагоны, украшая их стены смешною росписью:

— Вот вам француз, завоеватель вселенной!

— Вот сербский Петр после похода в Вену!

И жирной четкой надписью белели осанистые буквы на каждом вагоне:

В ПАРИЖ!
В ПАРИЖ!
В ПАРИЖ!

Это был час, в который аромат роз заглушил собою нефтяную горклость и каменноугольную вонь...

Когда Мари с порученьем фрау Урбах пришла на вокзал, он только что встретил короля и собирался начать жить обычною своей жизнью: жить для войны. Маршевая рота ландштурма отправлялась на фронт, да кучка новобранцев, в ожидании путевки, расползлась по переходам, туннелям и рельсам. Как всегда, шли маневры, и вокзал сотрясался в стальной дрожи.

Ландштурм, расстававшийся с женами и детьми, убрал свои винтовки цветами. Это были чахленькие гвоздички и потерявший душистость горошек,— потому что роз, устилавших когда-то путь армии в походной форме, уже не стало и потому что розы были слишком дороги для жен, которых покидал ландштурм.

Скучавший, усталый от ожиданья новобранец, безусый плосколицый малый, слонялся по запасным путям. Здесь было безлюдно, вокзал втянул в себя все живое, вокзал только что встретил короля. По запасным путям шаркали дозоры непокойных локомотивов. Новобранец со скуки остановился у товарного вагона, со скуки поднял валявшийся на полотне кусок мела, со скуки начал выводить мелом на стене вагона:

В ПАРИ..,

Пронзительный, как свисток, голос хлестнул его по руке:

— Что ты там мажешь? Кто за тобой будет убирать?

Малый обернулся. По рельсам шла уборщица вагонов. Лицо ее лоснилось от масла, руки были черны. Он хотел что-то ответить. В конце концов он — солдат, его угонят скоро на фронт, он будет воевать, а чумазая баба по-прежнему будет пачкаться на станции, и ее недурно выругать каким-нибудь фельдфебельским словцом. Но новобранцу скучно, он устал от ожиданья, и воздух вокруг него изнывает от железных стонов, и само солнце томится, как новобранец. От сильного удара мел прилипает к вагону белой кляксой, и новобранец бороздит каблуками песок полотна, волочась к вокзалу.

Уборщица вытирает вагон масленой тряпкой, и губы ее что-то шепчут, но слов не разобрать за шарканьем локомотивов. Может быть, она пожалела новобранца? Может быть, ее муж уехал в вагоне с осанистой надписью:

В ПАРИЖ!

и не вернулся домой? Может быть, она даже возненавидела Париж?

Вокзал не знает этого, вокзал делает войну.

Человеческие пылинки плавают в туннелях на переходах и по залам. Среди них Мари. Она исполнила поручение фрау Урбах и собиралась вернуться в город, чтобы попасть в ратушу. Но на перроне, еще дышавшем торжественностью королевской встречи, ее задержали ландштурмисты, уходившие на фронт. Это случилось так.

Дали команду к посадке.

Шум из благословений и плача, лязга штыков и скрипа амуниции поднялся к стеклянному перекрытию вокзала и упал вниз, точно сбитый сверху порывом ветра. Серые люди откатились к вагонам и безмолвно стали вдоль их линий, не отрывая своих глаз от глаз людей, оставшихся у станционных окон. Через платформу, от вагонов к вокзалу протянулись взоры сотен остановившихся глаз. Это было прощанье. И если бы не врожденное свойство человека видеть малейшее нарушение однородности массы, это прощанье запечатлелось бы как всякое другое массовое действие:

«Идет толпа».

«Публика рукоплещет».

«Народ молится».

«Мобилизованные прощаются с женами».

Но однородность массы была нарушена, и люди внезапно увидели свершавшееся в свете, которого прежде не знали.

Черномазый неуклюжий ландштурмист не исполнил команды и остался в толпе провожавших, у станционного фасада.

Он стоял, положив длинные руки на плечи бледнолицей женщины, буравя сухими глазами ее усталый взгляд. Он был в явном преимуществе перед своими товарищами, потому что глаза его жены мигали прямо против него и потому что последний поцелуй еще предстоял ему, тогда как у всех его товарищей он был уже позади. Может быть, из зависти кто-то крикнул:

— Ну, целуйся, что ль, сорокадвухсантиметровый!

И он поцеловался.

Он согнул в локтях свои длинные руки, и бледное лицо жены приблизилось бесстрастно и мягко к его груди. Он наклонил голову, ворот шинели оттопырился над его горбом, ранец тяжело

пополз к пояснице, он прикоснулся черными усами к потному лбу женщины.

И она спросила:

— Что передать нашей маленькой?

— Передай нашей маленькой...— начал он, выпрямившись.

Руки его соскользнули с ее плеч, повисли и заболтались в воздухе, потом с трудом стали подниматься к голове.

— Передай нашей маленькой...— громче повторил он. И начал тихо приседать.

— Передай нашей маленькой...

Руки его вдруг обхватили голову, каска подскочила над ней, упала на горб, на ранец, скатилась на пол. Он сел на корточки, опершись руками на колени, и провопил:

— Нашей ма-лень-кой!..

И опять еще сильней и протяжней:

— Нашей ма-лень-ко-ой!..

Унтер-офицер торопливо подбежал к нему и крикнул:

— На место!

Ландштурмист быстро встал и, не взглянув на жену, не подняв каски, с голой головой пошел к вагону.

— Покрой голову! — крикнул унтер.

Но было поздно.

Сотни рук протянулись от толпы, стоявшей у станционного фасада, через платформу, к линии серых людей у вагонов, и сотни воплей вскинули кверху мужские имена:

— Пауль! Карл!

— Роберт! Пауль!

И им ответили грубые, хриплые, надорванные голоса мужчин:

— Мария! Анна!

— Лизбет!

И руки, простертые из толпы, стоявшей по линии зданья, встретились с руками, протянувшимися от вагонов.

Тогда командиры сделали вид, что еще не давали команды к посадке.

В комнате, которую прежде занимал monsieur Перси, жил унтер из вольноопределяющихся. Он был общительнее и шумнее monsieur Перси, носил необычайно высокие воротники и на поясе, вместо штыка, маленький финский ножик. Финский ножик был в моде, а унтер следил за модой, был обходителен, в меру патриотичен, читал в переводе Уайльда и называл его, как все: Вильде. Его самого звали Дитрих.

В этот день он пригласил к себе своего фельдфебеля на чашку чаю. Чашка чаю — обычай иностранного происхождения, в нем

что-то английское, что-то русское; и в самом слове «чай» Дитриху слышалось нечто либеральное, особенно в этот день, день разгрома английского флота. Чашка чаю по случаю победы над Англией — такой жест мог понравиться и на Фридрихштрассе в Берлине.

Гостями Дитриха, кроме фельдфебеля, были Пауль Геннит, его жилец Андрей Старцов и фрейлейн Лиси.

Дитрих перегибался, обращаясь по порядку к гостям и предлагая кексы. Фельдфебель пощипывал коротенькими пальцами струны цитры, инструмент хныкал и жалобился, лицо музыканта — корявенькое, в крапинках, как пряник,— печально улыбалось. Фрейлейн Лиси — кругленькая пухлая чернявочка — строила глазки, стараясь угодить всем сразу.

Пауль Геннит был, видимо, потрясен и, как человек, только что переживший необычное, казался непохожим на самого себя: притих, снизил голос, сузился. Но по лицу его, слегка вспотевшему и лоснившемуся, как медный тазик, бродили отблески гордыни.

— Само понятие интернационала,— произнес он после долгой паузы,— предполагает существование различных наций, о!

— Очень верно, очень верно. Возьмите кекса,— сказал Дитрих.

— Я знаю, что говорю. Это есть у Бебеля.

— Неужели он так долго с вами разговаривал, герр Геннит? — чуть слышно спросила фрейлейн Лиси, и ее пухлые локотки и плечики подернулись рябью ямочек.

— Он спросил: от парикмахерского цеха? — и подал руку. Я ответил: так точно, ваше величество, от цеха парикмахеров, и пожал ему руку. У вас сильный голос, вы хорошо прочли адрес, сказал он. Я ответил, что состою в Обществе друзей хорового пения и пел сегодня в ратуше «Wacht am Rhein» [1]. Тогда он спросил: может быть, вы состоите еще в каком-нибудь обществе? Я прямо заявил: ваше величество, я социал-демократ.

— И он ничего? — воскликнула фрейлейн Лиси.

— Он без всяких предрассудков, наш король,— снисходительно заметил герр Геннит.— Он поклонился и отошел. Я ему тоже поклонился. Потом я отправился выпить с нашими ребятами, и они одобрили, что я так прямо заявил королю, кто я.

— Очень хорошо! — сказал Дитрих.— Герр фельдфебель, сыграйте что-нибудь еще. Фрейлейн Лиси...

— Ах, сыграйте, сыграйте,— попросила чернявочка.

— Конечно, хорошо,— произнес герр Геннит, отваливаясь на спинку кресла.— Я говорю, что наша национальная черта — честность. Я заявил честно: я социал-демократ.

---

[1] «Стража на Рейне» *(нем.)*.

— Насколько я понял,— печально сказал фельдфебель, оторвав глаза от цитры и взглянув на Андрея,— герр Старцов говорил о том, что социалистам вовсе не следует представляться королю. Не правда ли?

Голос Геннига немного окреп:

— Андреас славный парень, но он не понимает, что честность — наша национальная черта. Андреас нигилист — о! нигилист! — он не признает тактики, так-ти-ки, о!

— Кексы, пожалуйста,— сказал Дитрих, обеспокоенный бурной волной парикмахерского баса.

Но герр Генниг внезапно перешел на сочувственный тон:

— В русских много любви. Это я давно хотел сказать. Какой толк из такой любви? Тактика, Андреас, тактика! Почему мы любим отечество? Потому что ненавидим его врагов. Любовь появляется после ненависти! Ненависть цемен-ти-рует любовь, о! Когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь. Андреас хочет любить — и не умеет, не умеет, черт возьми! Это я давно заметил. Почему? Потому, что ему нечего любить, потому, что он любит все одинаково. Нигилист! Он не понимает, что людские дела надо ненавидеть вместе с людьми, которые их творят...

Герр Генниг вздохнул и потянулся, как после хорошей свиной котлеты. Он был доволен стилем речи и прищурился на прозрачную ясность своей философии.

Андрей набрал в грудь воздуху и обвел всех глазами. Лицо Дитриха перекосилось в умоляющую улыбку: он страдал от предчувствия, что чашка чаю омрачится неприятностью. Фельдфебель уныло поник над цитрой. Чернявочка истомленно поводила веками, и взгляд ее говорил о вещах более простых и прекрасных, чем споры.

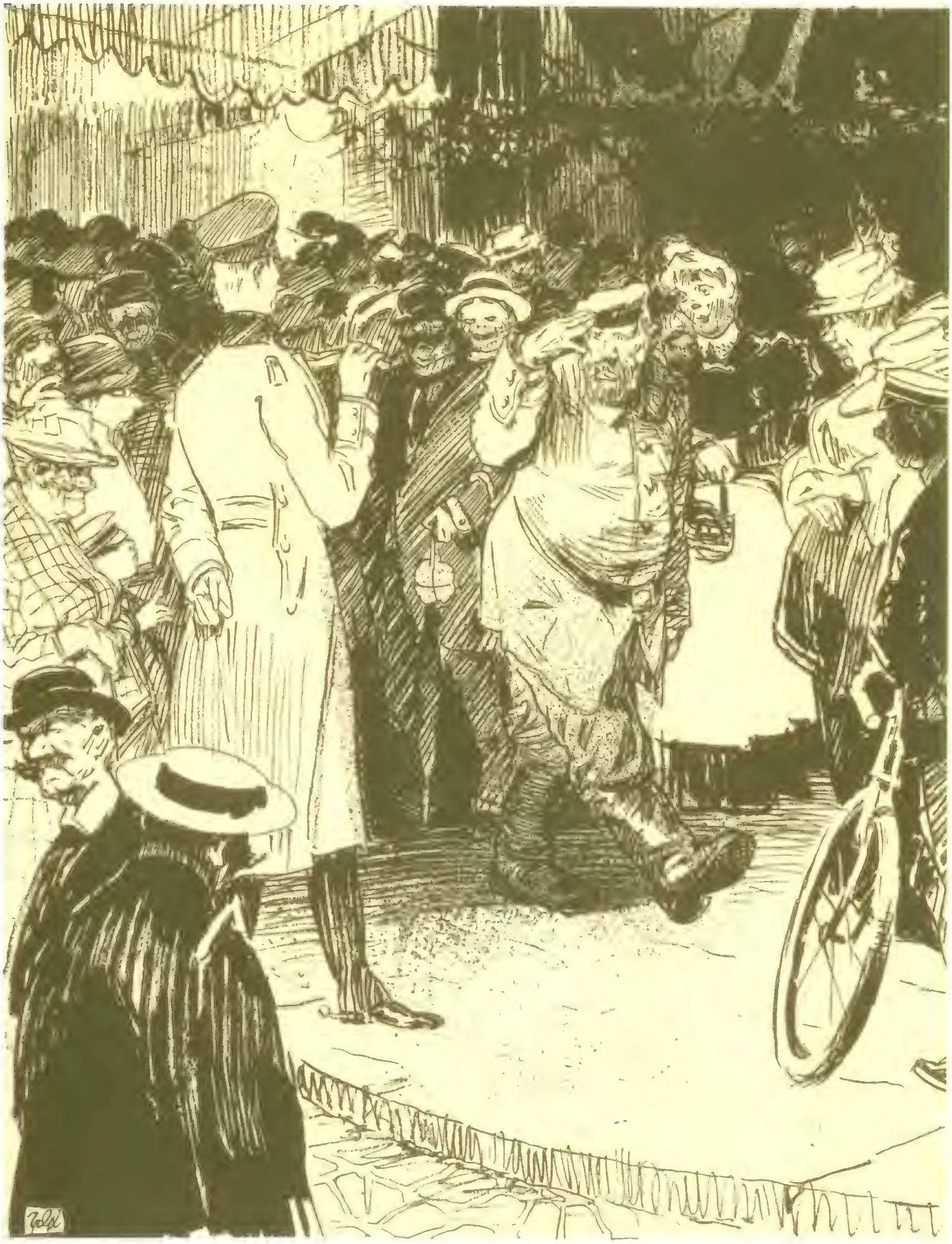
Ах, это были хорошие люди — унтер Дитрих, его фельдфебель и фрейлейн Лиси! Что можно было им сказать, когда каждым своим движением они молили о молчании? Разве не понимали они Андрея? Хорошие люди, хорошие люди...

Андрей выдохнул из груди тяжелый воздух, набранный для вопля, и поднялся.

— Простите,— сказал он тихо,— я сейчас вернусь.

Темным коридором он шел, сгорбившись и нагнув голову. Если бы кто-нибудь встретил его здесь, он показался бы стариком, волочащим за собою груз многолетних мучений.

Он не задумался над тем, что дверь его комнаты стояла настежь. Он прикрыл ее и направился к постели, когда из полутьмы угла, с дивана, его настигли чуть внятные слова:



«Города и годы»

— Что с вами?

Он обернулся и долго стоял, вглядываясь в угол, в смутное пятно, похожее на чье-то лицо.

— Вы больны? — расслышал он снова.

— Нет, ничего,— ответил он.

— Почему вы держитесь за голову?

— Разве я держусь? — спросил он, опуская руки. И вдруг вскрикнул:

— Это вы?

Тишина, обрезавшая этот крик, придавила Андрея непомерной тяжестью. Он еще больше сгорбился, и против воли у него вырвался короткий, жалкий стон. Но в тот же момент тишину разорвал звенящий, почти исступленный голос:

— Да, да, да!

И Андрей рванулся к дивану, навстречу белому платью, навстречу тонким протянутым рукам, навстречу внезапно прояснившемуся, отчетливому лицу.

— Мари!

Он схватил и сжал ее руки так сильно, что от боли она зажмурилась и, чтобы не вскрикнуть, закусила губу.

— Да, да, это я,— бормотала она, силясь усадить его рядом с собою, а он мял ее руки неловко и жестко, и сквозь шум его дыханья не разобрать было, что он хотел сказать. Потом они опустились на диван.

— Я должна была прийти.

— Должны, конечно, должны,— вторил Андрей, и слова его были, как летящие чурки, перепутаны, рассыпаны.

— Я знал, я ждал... должны, конечно, ждал...

— Я давно хотела. Я не могла не прийти...

— Не могли, я ждал вас... Хорошо, хорошо...

— Вы знаете почему?

— Конечно, конечно!

— Но почему?

— Я ждал каждый день.

— Месяцами я думала о том, что приду. Вы несчастливы, вы принесли мне несчастье.

— Я?

— С тех пор как мы встретились, меня преследует несчастье. По пятам. Стоит мне выйти из дому, как я что-нибудь вижу, от чего потом нет покою. Как тогда, в парке. Эти слепые не давали мне спать. Они все тянулись мимо меня, как только я закрывала глаза. Помните, как они держались друг за друга? Как вытягивали вперед руки? И головы вверх, помните?

— Они всё прислушивались к чему-то.

— Да, да! И я прислушиваюсь с тех пор, точно ослепла, точно мне подменили глаза и я не умею смотреть ими, чужими глазами. Знаете, что я думаю?

Мари остановилась.

— Чужие глаза? — переспросил Андрей.

— Ваши глаза,— сказала она, пристально вглядываясь в него, как будто проверяя свою мысль.

— Мои? Может быть.

— Я уверена. Это наверно так. Я что-то потеряла. Раньше все было просто... и нужно... После встречи в горах... одиночество... И ни минуты покоя. На каждом шагу! Сейчас я металась по городу, по улицам, не знаю где. На вокзале я увидела, как уезжают на фронт. Сто раз я провожала солдат и ни разу не догадалась, что это — проводы приговоренных! Когда солдаты заносили ноги на подножки вагонов, мне казалось, что они всходят на эшафот.

Андрей сказал тихо:

— Вот уже третий год, как я смотрю на казни. Каждую секунду умирают люди. Мы все стоим в очереди к эшафоту. И я думаю все чаще о палаче.

— Судьба?

— Люди, а не судьба.

— Какие люди?

— Мы с вами. Все.

Он подвинулся ближе к Мари, взял ее руку, провел по ней ладонью, ощутил теплоту и ровность кожи и еще тише сказал:

— Мы обрекли сами себя.

— Мы?

— Надо было задуматься над тем, как мы устроили мир.

Мари качнулась к нему и по-ребячьи просто, доверчиво и порывисто спросила:

— Как мы устроили мир?..

Здесь наступило время торжественно сдержать клятвенное обещание говорить в этой главе о цветах. Это нужно сделать, это необходимо сделать, не теряя понапрасну ни одного слова, ни одной строки. Потому, что в этот час Мари вступила на путь женщины, которая любит. И потому, что на много страниц мы отделены от описания молодых, всегда внезапных и волнующих чувств, или нежной грусти, или прелести слов, смысл которых так же далек от их значенья, как война далека от любви.

Андрей и Мари говорили о войне. Они говорили о войне, и руки их сцеплялись в пожатьях, ощупывали и ласкали пальцы, ладони, запястья. Они говорили о том, что жизнь сминает и топчет людей, что люди сами виновны в этом, и лица их вспыхивали от перемежающегося неровного дыханья. Они говорили, что мир

залит кровью, что кровь течет по земле нескончаемой рекой, что по коленные чашечки в крови шествует среди людей смерть,— и губы их встречались сами собой, влажные, соленые от выступавшей крови. Они говорили о конце, который рушит и уничтожит все,— и закладывали начало, из которого все произрастает. Они были молоды, они были сильны, и из всего, о чем они говорили, им запомнилось только то, что они любят друг друга.

Андрей поднялся — быстрый, выпрямившийся, вздрагивающий, как после ночи на голой весенней земле,— и повернул в двери ключ.

Может быть, Пауль Геннинг был прав, говоря, что когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь?

Его королевское величество милостиво разрешил обер-лейтенанту фон цур Мюлен-Шенау носить во всякое время — даже на смотрах и парадах — мягкую фуражку. Обер-лейтенанту трепанировали череп и вынули часть раздробленной височной косточки. Операция была проделана трижды, обер-лейтенант переносил страдания, как солдат; почти полгода рассудок его скользил по кромке между светом и тьмою, но врачи были искусны, молодость сильна, и обер-лейтенант поправился. От затылка к правому уху бежал глянцевито-розовый шрам, но лицо обер-лейтенанта играло цветами восхода, точно отражая краски ленточек, украшавших мундир. Он был самым замечательным человеком в Бишофсберге, самым замечательным после обер-лейтенанта Адольфа Урбаха, получившего орден pour le mérite. Но тому везло: Адольф Урбах прошел всю Бельгию, вступил одним из первых в Мобеж, был в Седане, дрался под Верденом — и хоть бы одна царапина! Фон Шенау дошел благополучно до Северной Шампани, выбил французов из укрепленного участка и тут же, в первом деле, в первой мало-мальски геройской схватке, ничтожный осколок вывел его из строя, и сразу лазареты, лечебницы, курорты, консилиумы — мягкая, ползучая, нудная муть. Офицеру оскорбительны перевязки, постельное белье, компрессы и клистиры. Офицер командует, рубит, входит в крепость, взрывает арсеналы, устраивает смотры и получает ордена. Обер-лейтенант Урбах — самый замечательный человек в Бишофсберге, потому что у него орден pour le mérite. У обер-лейтенанта фон цур Мюлен-Шенау только два Железных креста — первой и второй степени. Но Урбах не приезжал ни разу в отпуск, а фон Шенау гуляет по вечерним улицам Бишофсберга, и его все видят, его — раненого кавалера Железного креста первой и второй степени и других орденов, ленточки которых расцвечивают мундир красками восхода.

— Девочки, девочки! Он повернул за угол!
— Он зашел в кафе!
— Я предлагаю идти покупать кухены!
— А если он будет пить кофе?
— Сесть за соседний столик!
— У него такие глаза!
— А рот?
— Ах, рот!..
— Какая счастливая!
— Кто?
— Мари.
— На ее месте, я...
— Он смотрит! Он улыбается! Пойдемте!

Вечером город кажется неизведанным, таинственным, людным. Огни магазинов переряжают человека на каждом шагу. Вот он мрачен и загадочен, вот ласков и простодушен, вот печален, вот радостен. Если хочешь перелить свое счастье в мускулы и кости, испробовать его на ощупь, ладонью — выйди на улицу в час, когда только что засветились фонари и лавки, пробеги сквозь снующие по тротуарам девичьи выводки, разминись с ловеласом, бездельником и жуиром, посторонись занятого, озабоченного человека,— и тебе покажется, что вся жизнь зажата у тебя в пригоршне и ты волен выпить ее залпом или выплеснуть на дорогу...

Когда Мари, крадучись по променадам, вернулась от Андрея домой, обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау прохаживался на площади ратуши. Было привычно хорошо слышать вокруг себя шепот, чувствовать на своей груди взгляды прохожих, отвечать на стремительные поклоны гимназистов и козырянье солдат, знать, что встречные оборачиваются и смотрят вслед. Мундир помогал нести легко и прямо разгоряченное тело, сабля нет-нет отскакивала от упругой ляжки, и придержать ее слегка двумя пальцами было приятно. Каждый десятый — двенадцатый взгляд встречных глаз чудился ему зовущим и нежным, и где-то в висках, точно от вина, плавали круги, то черные, как накрашенные ресницы, то алые, как губы.

Он зашел в магазин, в окне которого были выставлены картины, походил по рядам полотен и рам, весело щурясь на огни рефлекторов и работы доморощенных художников, полистал и велел отложить гравюры.

Из магазина он не вышел, а вылетел — разрумяненный, стремительный, овеянный запахом свеженадушенной униформы. Сабля шаркнула по двери, задела за штору, ноги запружинили по асфальту — и вот он опять в мягком дурмане вечернего часа, среди улыбок, шепота и взглядов.

Бородатый сутулый ландштурмист, оторопев перед офицерским мундиром, внезапно блеснувшим в толпе, неуклюже взмахнул рукою.

— Вы чуть-чуть не отбили мне нос, старикан,— с улыбочкой сказал фон Шенау, остановив солдата.— Вас следовало бы подержать в казарме. Отдайте честь по правилу.

Ландштурмист повернулся, отошел на несколько шагов. Прохожие остановились. Бородач, припечатывая подметки к асфальту, двинулся к офицеру, вскинул локоть. Кто-то громко засмеялся.

— Назад! — крикнул фон Шенау.

Публика быстро скучилась по сторонам, образовав коридор, по которому свободно маршировал солдат. Он был явно плохой, может быть худший, строевик, и движенья его были жалки, он шел, как птица, тычась вперед носом на каждом шагу. Это было точно в оперетке.

— Назад! — скомандовал фон Шенау, вдруг осипнув.

Гимназисты хихикали, подобострастно заглядывая в лицо офицеру. Какая-то барышня всплеснула в восторге руками. Ландштурмист в третий раз прогромыхал сапогами и взмахнул еще безобразней рукою.

Фон Шенау давило какое-то слово, над воротником его взбухли жилы, он весь отвердел от напряженья.

В этот миг кто-то гулко крикнул сзади:

— Позор!

Фон Шенау вздрогнул и вдруг увидел себя — героя Шампани, кавалера Железного креста, офицера саксонской армии — перед толпой, ждавшей развязки, достойной мундира, титула, ордена. Через минуту весь город будет знать, как поступит офицер, когда над затихшей толпою повисло, как пощечина, слово *позор!* — весь город! Через час — все газеты, через день — вся страна! Теперь, не теряя ни секунды, в тишине, на виду у всех, для сотни глаз и ушей, надо решить, что делать, надо найти выход!

Фон Шенау шагнул к ландштурмисту, стоявшему с прижатой к голове рукою, и раздельно проговорил:

— Вы слышали, как народ заклеймил ваше отношение к службе? Хороший урок. Ступайте!

Потом повернулся и, рассекая толпу, врезываясь в одобрительный ее гул, быстро, пружинно заскользил по тротуару.

Он шел к Мари.

Казалось, что вечерние огни померкли, выдохлись, остыли, что люди смотрели на него — героя Шампани — недовольно, и солдаты козыряли сдержанно, без охоты.

Он жалел, что затеял нелепую сцену, и его раздражало чувство какой-то обиды. Он не мог отвязаться от застрявшего в ушах

гулкого крика: «Позор!» — и не мог забыть той секунды, когда он принял этот крик на свой счет. Конечно, этого не было, этого не могло быть! Тот человек, что крикнул,— взглянуть бы на его лицо! какой он? — пережил, в сущности, то же чувство, что и он, оберлейтенант: такой солдат, как этот ландштурмист, позорит армию. Позор, позор! Но, боже мой, какая тоска на улицах этого городишка! И какие нудные, серые, неприятные бюргеры! Если бы не Мари, он не остался бы здесь и одного часа. А с ней — с ней хорошо.

Он входит в ее комнату, тихо прикрывая за собою дверь, и, вглядываясь в сумрак, говорит:

— Вы не заняты?

Мари вскакивает с дивана, оправляет торопливо платье, молчит. Смутные слова подкатываются к ее горлу, но произнести их нет сил.

— Какая глупая история! — восклицает фон Шенау и, осторожно прощупывая темноту, присаживается на краешек дивана. Он рассказывает о нелепом ландштурмисте, похожем на птицу, и о том, что армия опускается, дисциплина падает, что косорукие и косолапые бородачи не годны даже в кашевары.

— Но ведь это и есть Германия! — перебивает Мари, и ей кажется, что вся мебель вдруг насторожилась, привстала на цыпочки, заострила уши.

— Н-да... гм-м... весьма вероятно. Н-но я говорю об армии... Это не совсем одно и то же. Когда этот увалень продемонстрировал свою выправку, кто-то из толпы крикнул: «Позор!»

— Это относилось к солдату?

Маркграф привскочил, бросил взгляд на дверь: она была плотно закрыта. Тогда он сложил руки на груди и начал ходить по комнате.

— Я, кажется, понял тебя, как ты хотела. Но неужели ты думаешь, что я не зарубил бы на месте негодяя, который посмел бы оскорбить в моем лице...

— О-о, конечно! Я не сомневаюсь ни минуты! Ведь для офицера нет другого выхода.

— Нет выхода?.. Впрочем, оставим. Ты сегодня в дурном расположении духа?

— Да.

— Жаль...

Он подошел к дивану, потянулся к Мари обеими руками. Она забилась в угол.

— Жаль. Я хотел тебе напомнить, что нам надо поторопиться...

— Почему «надо»?

— Мари!

— Прости.

— Комиссия признала меня здоровым. Я получил назначение на Восточный фронт.

— В таком случае зачем спешить?

— Два года назад...

— Ах, два года! Еще два часа назад я могла думать, что это необходимо!

Он вдруг зажал ее голову в своих ладонях.

— Что случилось, Мари, два часа назад?

Можно ли было в темноте, улегшейся по углам ночи, разглядеть, как в глазах Мари переместились отблески двух решений? Сумрак стал тьмою, зрение привыкло к ней, но преодолеть ее не могло, и взор тянуло к окну, белевшему слитными огнями глубоких улиц.

Мари поддалась движению зажавших ее голову рук, засмеялась тихо и голосом, который укрощает мужчину, сказала:

— Глупый. Я сама не знаю, почему я такая взбалмошная.

— Значит, когда?

— Нет, нет. Я только ответила на последний вопрос.

— Но меня могут услать каждый день!

— Не все ли равно, отправишься ты с кольцом или без кольца?

— Для меня, понимаешь, Мари, для меня не все равно... Ну?

Мари встала. Фон Шенау подался вперед, устремившись за ней, и вдруг, потеряв всю прямизну и отчетливость, обер-лейтенант повис на краю дивана каким-то комком.

— Ну?

— Я не хочу.

— Мари!

— Вас смущает неопределенность? Вам неловко перед посторонними?

— Я люблю тебя.

— Я знаю.

Он поднялся, новая, упругая униформа выпрямила его, он наклонил голову.

— Я вижу, сегодня с вами нельзя говорить. До свиданья.— В дверях он обернулся.— Может быть, вы приедете в Шенау?

— Может быть.

И вот Мари снова одна. Руки ее быстро взлетают в воздух, вытягиваются над головой: она подымается на носки — тонкая, легкая, неслышная, и дыханье ее стелется покойным, согласным с ночью шорохом. Она ложится, ее обступает неразличимая в темноте беззвучная мебель, и комната кажется ей странно похожей на жилище Андрея...

Обер-лейтенант идет к вокзалу. По сторонам перемежаются взгляды, улыбки и шепоты, грудь его по-прежнему несет Железные кресты первой и второй степени, но ему холодно, сабля мешается под ногами, огни кругом мерклы и убоги. Он берет билет до Лауше и отыскивает пустое купе.

ПОБЕГ

Цитадель стояла безмолвной и неприступной. Старые камни ее были багрово-сини; между плит, опоясавших основанье узкой дорожкой, пробивалась зелень плесени и грибов: по плитам не ступала человеческая нога.

Старомодные домики испуганно таращили свои оконца на цитадель и пятились от ее подавляющей мрачности, образуя просторную кольцевидную площадь. Но люди привыкли к цитадели. В детстве они играли подле нее в орла и решку, залезали с приступа фундамента друг другу на спины, пачкали древние камни стен мелом и красками. В цитадели помещались тогда городские весы и сеновалы, и багрово-синяя крепость была похожа на старого беззубого медведя, свернувшегося погреться на солнышке.

В войну из цитадели убрали весы и вывезли сено, в окна под крышей вставили решетки, у входа водрузили полосатую будку и — на десять шагов от узкой дорожки — вокруг крепости протянули веревку. Первое время бишофсбержцы косились на своего ручного медведя, превратившегося в неприступного, хмурого зверя. Потом привыкли к тому, что у цитадели нельзя мешкать, что каждые шесть часов в будке меняется караульный и что за решетками под крышей сидят преступники. Крепость перестали замечать.

И вот в истомленный солнцем день, когда жизнь плелась, как дроги по песчаному грунту, над площадью повис протяжный вой:

— А-а-а-ааy!..

Прохожие остановились, повернули головы, приподняли брови, обращаясь к самим себе:

— Нна-ну! Что это может быть?

Вой упал на площадь снова, прокатился пугающим ветром:

— А-а-а-ау!

Стало ясно, что голос исходил из цитадели. Какой-то бюргер, сорвавшись с тротуара, поднял руку и крикнул:

— Вон, в окне!

Все головы обернулись к цитадели.

— Где, где?

— Под крышей!

Люди собрались неожиданно быстро. Выбегали из домов, бросались к веревке, загораживавшей крепость, кучились в толпу и расползались поодиночке, запрокинув головы, прикрываясь от солнца руками, не отрывали глаз от окна под крышей цитадели.

— А-а-а-ааy! А-а-а-ау!

Сквозь разбитое стекло, через звено решетки высунулась наружу рука. Пальцы ее то разжимались, то скрючивались в кулак, и на солнце было видно, как из ссадин катились по белому телу черные струйки крови: кулак был исцарапан, и синего солдатского сукна рукав бахромой болтался у локтя.

Из-за решетки вырывался неутихавший вой:

— А-а-а-ау!

Кто-то из толпы распознал бахрому униформы и закричал:

— Немецкий солдат!

И сразу над головами порхнуло и забилось крыльями тревожное слово:

— Солдат! Солдат! Немецкий солдат!

Чей-то пронзительный голос, почти визг, взлетел под крышу цитадели:

— Что там случилось, товарищ?

Но в ответ по площади стлался все тот же отчаянный вой:

— А-а-а-ау!

Андрей стоял поодаль от толпы, сжав зубы и устремившись всем телом вверх, к цитадели. Ему казалось, что вопившего человека какая-то страшная сила оттаскивает все время от окна, рука цепляется за воздух, за свет, то прячась за решеткой, то опять высовываясь наружу. Он разглядел пальцы, зажавшие крепко решетку, звеном ниже того, в которое просунулась рука. Он отчетливо, точно перед ним раздвинулась стена, видел, как заключенный солдат, подтянувшись на правой руке, висел на решетке и левой — свободной ловил свет и воздух за стеною, на воле. Вдруг ему почудилось, что какие-то люди виснут на ногах солдата и бьют его в спину, силясь оторвать от решетки. Он едва не завопил вместе с заключенным на всю площадь.

В это время над самым ухом Андрея раздались короткие звенькающие звуки:

— Bonjour, bonjour, bonjour!

Андрей обернулся. Низенький котелок чуть приподнялся над морщинистым, неподвижным, как маска, лицом.

— Monsieur Перси!

— Да, monsieur, это я. Меня решили спрятать в этот мешок.

Monsieur Перси повел пальцем на цитадель.

— Там весело, как видно,— добавил он и прищурился на руку, крючившуюся под крышей крепости.

Андрей огляделся. По бокам monsieur Перси остолбенели двое молодых солдат под винтовками. Разинув рты, они глядели на цитадель. Смятение толпы охватило их, и, пораженные, сбитые с толку, они забыли о своем долге. Рядом с monsieur Перси, заложив руки за спину, покачивался человек в вязаной куртке. Седоватая щетина усов и бороды, давно не бритая, блестевшая от жира, делала его улыбку мягкой и нежной. Улыбка ширилась, расцвечивала светлые глаза, обнажала желтые сточенные зубы, и вдруг тихий голос обдал лицо Андрея ласковым теплом:

— Не припоминаете?

— Мастер Майер? Вы?

Мастер Майер взял Андрея за руку и слегка потряс ее — благожелательно, как ребенку.

— Не мастер Майер,— произнес он по-прежнему тихо,— а враг отечества. Что делать? Я всегда говорил, что происходит свинство. Меня обвиняют в политике. Может быть, это и есть политика, что я против войны? Что вы скажете?

— Как все это случилось, мастер? Как вы очутились здесь?

— Очень просто. Все дело в том, что кругом одно свинство. Как живется вам, милый герр Старцов?

— Скажите лучше, что с Куртом?

Беспокойство на площади улеглось, но толпа не расходилась. Рука заключенного исчезла, разбитое окно за решеткой зияло черной пустотой, воплей не было слышно. Конвоиры спохватились, и один из них — помоложе и поживей — прикрикнул на Андрея:

— Не разговаривать!

— Что стали? — сказал другой, подталкивая в локоть monsieur Перси.

— Adieu,— сказал тот, приподнял котелок и двинулся к цитадели.

Мастер Майер успел кивнуть Андрею головой и сказать:

— Герр Ван уже добрый год в плену, в России.

Потом он по-солдатски поправил ногу и пошел плечом к плечу с monsieur Перси. Конвоиры взяли удобней винтовки.

Андрей видел, как они подошли к воротам цитадели, как остановились перед караульным. Вырезанная в воротах низкая, медленно раскрывавшаяся калитка поглотила monsieur Перси, мастера Майера, солдат. Калитка долго не закрывалась. Из нее вышел офицер, отчетливо промаршировал по плитам дорожки, опоясавшей цитадель, остановился против толпы и медным окриком ударил по ней, приподняв руку, чтобы дать знак, что хочет говорить:

— Прошу разойтись! Ничего особенного не случилось. Арестованный душевно заболел и отправлен в больницу.

Головы Мари и Андрея наклонены низко над круглым столом. На столе развернут план виллы Урбах и соседних владений. Мари водит по плану карандашом. Ее волосы запутанными космами спускаются на план, и желтый свет лампы, висящей над головой, пробивается сквозь них мерклой сетью пятен. Пятна колеблются на руках и на раскрашенном рисунке плана, карандаш то замирает на какой-нибудь точке, то ползет по ломаным линиям.

— Отсюда минут двадцать,— говорит Мари,— и ты выйдешь к Лесному посту семь. От него надо взять влево, на запад, по дороге.

— Погоди, я помечу.

На лоскуте бумаги Андрей вычерчивает кривую, перерубает ее жирной чертой.

— На запад. Дальше?

— Минут через десять с правой стороны ты увидишь ров. Это и есть граница. Но переходить ее здесь нельзя: тут всегда люди. Ты идешь прямо до перекрестка дорог, вот видишь? Это пограничный пост. Здесь наши солдаты. И дальше — прямо, прямо. Граница уклоняется здесь от дороги к северу. Я думаю, через три четверти часа ты можешь свернуть в лес и пересечь границу вот здесь. Я знаю, тут переходят всегда крестьяне. Это глухое место, и нужно только поосторожней идти.

Андрей встает и начинает ходить по комнате. Когда он приближается к лампе, видно, что лицо его смято заботой.

— Скажи, Мари, я прав?

— Да, ты прав.

— Ты понимаешь, что здесь ничего нельзя сделать?

— Понимаю.

— Здесь опутан каждый мой шаг. Я просто не в состоянии что-нибудь начать. Я чужой. А я не могу больше бездействовать. Я должен бежать, должен!

— Но ведь это уже решено, Андрей!

Он бросается к Мари, прижимает ее к себе, смотрит ей в глаза, и взгляд его тяжел от недоверия и какого-то тоскливого испуга.

— Мне трудно расстаться. Впервые на этой земле — родной человек. Мари, слышишь,— родной, любимый! Я боюсь, что, если я оставлю тебя, ты будешь думать...

— Молчи!

— Но я не могу больше в этой цитадели! Меня давят люди, голоса людей, даже *добро* людей...

— Решено, Андрей. Решено! Мы ведь встретимся потом.

— Да, да.

Они опять наклоняются над столом, обнявшись, и водят пальцами по плану. Потом Андрей говорит:

— Каков теперь Курт? Наверно, он много испытал. Мне кажется, он должен перемениться.

— Наверно,— отвечает Мари,— судя по твоим рассказам, он славный парень.

— Итак, решено? — снова спрашивает Андрей.

— Решено...

Так хорошо воскрешать в памяти каждый поворот изученных тропинок и дорог, рассказывать о лесных сторожках, скалах и соснах, которые должен встретить Андрей.

Холодноватая жуть охватывает Мари, когда она называет полустанки, растянувшиеся по Богемии от границы до Рейхенберга. Как будто задумана новая проказа с веселыми приятелями детства. Как будто предприняты розыски заговоренного клада. Как будто выкрадываются из кабинета отца планы виллы Урбах и соседних владений. Чем в жизни заменить сладость волнения, которую приносит тайна?..

Но на тусклой лестнице, перед тем как покинуть нелепый старый дом, с комнатой, похожей на манеж, Мари прислоняется к сыроватой, прохладной стене. Надо дать остынуть губам, на которых еще держится вкус поцелуев. Надо дать успокоиться, улечься сердцу. Надо решить про себя навсегда: почему же, почему теперь, когда только что пришла любовь, когда не притупилась еще первая ее нестерпимая боль, почему Андрей бежит?

Вокруг Лесного поста 7 переваливаются толстозобые утки. Их булькающее кряканье Андрей расслышал задолго перед тем, как в конце узкой просеки показалась коричневая сторожка поста. Чем дальше он забирался в горы, тем острее становился его слух. Он знал раньше лесной шум, непрестанно катящийся и слитный. Теперь этот шум расщеплялся на бесконечное число звуков. Потрескивание коры, падение ветки от тяжести опустившейся птицы, щелканье созревших сосновых шишек, скрипы и стоны высохших старых стволов, какие-то тончайшие шорохи стали отчетливы и звонки, как будто каждый из них звучал в глубокой тишине. Слух раздвигал заслоны из деревьев, камней и кустов, и Андрей видел то, что было закрыто для его глаз. Лицо его было спокойно. Он ступал размеренно ровно, тяжеловато, как крестьянин, возвра-

щающийся из города домой. Нес он только холщовую сумку за спиной и палку в руке.

Девочка, нянчившая ребенка, стояла у входа в сторожку. Она прищурилась на прохожего, обмерила его с ног до головы тем взглядом, каким глядят на человека в безлюдных, глухих местах, и поправила на руках ребенка, как женщина.

— Добрый день,— сказала она.

— Добрый день,— ответил Андрей и повернул влево, на укатанную прямую дорогу.

Через четверть часа до него донесся кашляющий стон шарманки. Андрей заставил себя переставлять ноги по-прежнему размеренно и тяжело. Он не знал, что его ждет на перекрестке, к которому приближался, но уже несколько ночей он засыпал с мыслью, что в побеге нужно одинаково спокойно встречать всякую неожиданность.

— Быть готовым, быть готовым,— твердил он про себя, упрямо вминая в землю толстые негнущиеся подметки.

За деревьями мелькнула серая спина ландштурмиста. Потом выплыл и вычертился статно на красноватом фоне стволов массивный страж с винтовкой у ноги. Другой солдат сидел на ровно подпиленном пне, прислонив оружие к соседнему дереву.

На дороге, пересекавшей путь Андрея, под черной когтистой, жесткоперой птицей, набитой на столб, крутил ручку шарманки слепой старик. Шарманка была обращена к Германии, но деревянная ножка ее опиралась на государственную землю Австрии. Это был трогательный обход закона, запрещавшего собирать милостыню в Саксонии, апелляция нищеты к неумолимому порядку. Какой честный и благородный патриот не улыбнется песенке, легкомысленно пропетой признательной Веной? И чего можно ждать от этой беспечной Вены, кроме легкомыслия. Поскольку Вена не преступает чужих обычаев и законов, она приятна и мила.

Андрей остановился перед шарманщиком. Он смотрел на его притупленное безразличием лицо, на лысый череп, горевший круглым солнцем, на туго закрытые вздрагивавшие веки. Но пограничный солдат, стоявший вне фокуса зрения, запомнился ему крепче и подробней шарманщика, которого он пристально разглядывал. Он не сказал бы, какое лицо было у этого солдата и какие руки. Это был пограничный солдат, высившийся в двух шагах от беглеца. Андрей не видел ни его взгляда, ни его движений, но он узнал бы его среди тысячи других никогда не виданных солдат. Разве можно забыть человека, в руках которого побывала судьба?

Андрей вынул из кармана портмоне, достал железную монетку, медленно подошел к столбу, положил монетку в фуражку, лежавшую перевернутой на шарманке, и повернулся назад. Мельком он взглянул на другого солдата, сидевшего на пне. Он не смотрел на него раньше, но знал, что солдат не шелохнулся, пока он рассматривал шарманщика. У него было такое чувство, будто он видит спиной.

Он произнес, ни к кому не обращаясь:

— Добрый день.

И пошел дальше.

Его догнал тяжелый голос:

— Добрый день.

Он понял, что это ответил солдат, сидевший на пне.

И вдруг радостный, бесшабашный и смешной марш заплескался позади него, натыкаясь на деревья и отскакивая от камней.

Он переменил шаг и, в такт музыке, быстро и свободно двинулся вперед.

Неглубокий ров, тянувшийся вдоль дороги, заросший мхом и черникой, постепенно уклонялся вправо, все чаще и чаще исчезая в лесу. Путь шел под гору, легкий и прямой. Было тихо и прозрачно. Спустя три четверти часа Андрей, не озираясь, свернул направо, и его скрыли частые сосны.

Он знал, что с австрийской стороны пограничная охрана снята. Хозяин всегда бережется прислуги, но зачем прислуге беречься хозяина? Ее интересы нарушены самой природой вещей, создавшей господ и слуг.

От границы, оставшейся позади Андрея, до ближайшей станции железной дороги было не больше шести километров. План Андрея был прост. Он собирался проехать в Прагу, оттуда в Зальцбург и Инсбрук, потом — пешком к швейцарской границе. Для такого путешествия нужно было только одно: решимость. Она накопилась у Андрея за два года, и он почувствовал себя уже свободным, подходя к станционной постройке.

Он взял билет до Рейхенберга. В вагоне было просторно, поезд тащился нехотя, как все пригородные поезда, одряхлевшие от бесконечного мотанья на коротком, надоевшем участке. В окна дул бодрый предвечерний ветер, долетавшие до Андрея слова звучали по-новому, странно переплетаясь с чем-то родным, почти совсем понятным.

И люди казались неуловимо близкими, доступными и простыми настолько, что их мысли просвечивали сквозь решетки мохнатых бровей. И даже малейшие движения их были странно значительны грубоватой, какой-то неуклюжей простотой.

Вот старомодно подстриженный крестьянин подсел к окну и вытер платком пот на крутом белом лбу. Вот простодушно зевнул неприметный больной старичок. Вот распахнул дверь купе и вошел кряжистый, сухой мужчина с прямым и режущим взглядом глубоких глаз. В нем что-то открытое и достойное. Он подошел к Андрею. Он хочет, наверно, опуститься рядом с ним на скамью, он не сводит глаз с его лица,— они действительно режут, эти глаза, они, пожалуй, страшны, они отталкивают от себя! Какой надменный и зловещий взгляд! Этот человек другой породы, других костей, он недоступен и жесток. Опасность, Андрей, опасность! Андрей готов ко всякой неожиданности каждую секунду, он знает заранее, как встретит неожиданность, когда она станет перед ним лицом к лицу. Однако неужели так скоро, так беспощадно скоро и просто?

— Ваши документы?

— Документы? Я возвращаюсь домой, в Рейхенберг. Я ездил до станции...

— У вас нет с собой никаких документов?

— С собой нет, я позабыл. В Рейхенберге вам нетрудно будет установить...

— Мне вообще ничего не может быть трудно. Я исполняю долг.

В дверях появляются двое высоких солдат. Они поджары, тонконоги, затянуты узенькими ремнями. Губы их сжаты, как ремни. Кряжистый человек перекидывает глаза с Андрея на солдат и идет дальше по вагону...

Конец.

Неужели так скоро, так беспощадно скоро и просто?

О нет! Андрей не перебегал границы! Кругом него те же люди, чьих голосов и смеха он бежал: плотная, омывающая каждую частичку тела толща. Он может вытянуть руки, повернуть голову или привалиться к стене. Но расправить плечи, чтобы вздохнуть всей грудью, ему нельзя. Трубочка, сквозь которую ему разрешено дышать, стала еще длиннее, воздух тянется по ней еще медленнее, и грудь работает из последних сил. Нет, это все те же люди, все та же страна, где все неизменно и прочно, как вкопанная в землю и залитая цементом железная штанга,— Германия!

Впрочем, нужно точнее думать и не поддаваться соблазну обобщений там, где обобщения напрашиваются сами. Мыслимо ли, чтобы в Германии случались происшествия, подобные тому, какое ожидало Андрея на вокзале Рейхенберга?

Андрея сняли с поезда и доставили на станцию. В сутолоке и шуме долго отыскивали военного коменданта. Нашли только его

помощника, собравшегося в город. Было решено, за поздним часом, отложить допрос задержанного в поезде до утра. Вокзальная арестантская оказалась занятой пленными, и добрый час ушел на отыскание помещения для вновь арестованного. Помещение нашлось в таможенном пакгаузе, неподалеку от вокзала.

Это была небольшая комната приземистого дома, с окном, выходившим в реденький, худосочный сад.

Арестованный был заперт навесным замком, и караульный получил приказ охранять окно со стороны сада.

Ночь была темна и мягка, какими бывают ночи только в августе, когда созреют хлеба и яблони расколются от тяжести налившихся плодов. В широком окне обозначался неподвижный горб караульного, но за ним багровели верхушки деревьев, освещенных огнем семафора, над деревьями, в черной пропасти, вздрагивали мутные звезды: их блеск был стерт гущей дыма и пыли, еще не улегшейся на землю.

Караульный долго стоял неподвижно. Потом он начал прохаживаться мимо окна взад и вперед. Гомон вокзала утих, и шаги солдата слышны были ясно. Постепенно они сделались размеренны, затихая и прекращаясь, когда солдат доходил до концов маршрута, к которому примерился, и становясь гулкими, когда он проходил мимо окна.

Андрей притронулся к раме. Она поддалась бесшумно. Вероятно, окно давно стояло отпертым. Он высунул голову и присмотрелся к солдату. Тот отходил к углу дома, шагах в пятнадцати от окна, и, посмотрев за угол, откуда приползали станционные шумы, поворачивался назад. Андрей прикрыл окно, дал миновать его караульному и снова выглянул наружу. Вправо, до конца дома, было не больше десяти шагов, и в сторону сада тянулась грядка кустарника.

Андрей еще раз вслушался в шаги солдата. Главное было в том, чтобы не нарушать методичности его движений. Потом надо было воспользоваться тем коротким временем, когда караульный смотрел на вокзал. Больше было нечего предусмотреть. Случайность могла одинаково спасти и погубить.

Она спасла.

Андрей открыл окно, когда солдат отошел на пять шагов к дальнему концу маршрута. Андрей сел на подоконник, тихо сполз на животе и повис на руках. Оставалось рассчитать момент прыжка, который должен был совпасть с одним из последних шагов караульного. Прыжок был бы нетруден, до земли оставалось не больше полуметра. И вдруг пронзительный свисток паровоза, где-то совсем близко от окна, взвился и понесся в ночь.

Андрей отпустил руки, припал к земле и кинулся в темную гущу кустов. Ожоги их были остры, боль от ударов и царапаний — жестка,— но разве только железо могло бы остановить этот бег.

Свисток все еще оглушал округу — разящий и подавляющий, как ураган. И когда отголоски его разместились по невидимым тайничкам ночи, Андрей был посреди огромного пустыря, упиравшегося в железнодорожную насыпь. Он перебежал ее и быстро пошел вдоль полотна...

Конечно, это была другая страна, куда попал Андрей,— страна простодушного люда, неуклюжего, близкого, почти родного...

Но бежать по этой стране было не проще и не безопасней, чем по всякой иной. Да и полно, просто ли вообще, безопасно и легко ли бежать? Побеги совершают герои, а героев так мало на этом свете. Бежать хорошо по знакомым путям. Неизвестные — тяжелы и суровы.

Андрей знал только одну дорогу в этой стране — дорогу, которая его привела сюда. И он побежал по ней, назад к границе.

В школе обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау был приучен вести дневник. И он привык заносить каждый день по нескольку слов в свои тетрадки, которые складывал столбиком в шкафу, где береглись грамоты, дарственные записи и позеленевший фолиант — «Геральдика и древо рода владетельных маркграфов фон цур Мюлен-Шенау».

Новую тетрадку обер-лейтенант открыл такой записью:

«Я опять прощаюсь с пенатами. В прошлом сохранилась непреодолимая сила. Я прислушиваюсь к молчанию вещей. Оно для меня понятней приказа командира. Я уверен, что умру не скоро. Мне суждено завершить собою род. Он должен истлеть. Я его последняя ткань, обреченная на разрушение. Меня будут катать в кресле, кормить, умывать, пока я не развалюсь. Судьба нарочно помогла моему деду разбогатеть. Род, который был тогда еще многочислен, приговорен к постепенному вымиранию. Богатство деда даст мне возможность сгнить заживо. Я богат ровно настолько, чтобы одиночеству моей смерти ничто не помешало, чтобы я умер среди руин, в молчании прошлого, как символ. Это предуготовано роду. Смертельная рана, которую я получил в Шампани, смертельная для всякого человека,— для меня оказалась только тяжелой. Но этой раны достаточно, чтобы к концу жизни я стал идиотом. Я буду идиотом, безногим и отвратительным, меня будут возить в кресле. Вещи хотят этого. Вековые вещи, которые выпестовали мой род, будут смотреть на его конец.

На этих днях я снова ухожу на фронт. Сознание, что на мою смерть будут глядеть родные стены, наполняет меня бесстрашием. Я уверен, что война не угрожает моей жизни. Но уверенность эта мучительно скучна.

Сегодня, поздно вечером, гуляя в парке, я натолкнулся на какого-то человека, искавшего дорогу. Когда он заметил меня, он попытался спрятаться за деревьями, но я догнал его. Вид у него измученный, он, вероятно, несколько дней в бегах. Я потребовал, чтобы он назвал себя. Он заявил, что он пленный и больше ничего не скажет. Я запер его в усыпальницу. Пусть придет в себя. Утром допрошу. Наверно, крупная дичь».

. .

Андрей очнулся от холода, точно внезапно его окунули в прорубь. Он насилу вытащил руки из-под головы. Он был весь сведен, как содранная с дерева кора. С того момента, как его опустили в подвал на ровные каменные плиты, он заснул, точно в беспамятстве. Проснувшись, он ощупал плиты. Они уходили гладкой поверхностью в темноту. Он пополз в стороны, то вытягивая руки вперед, то приподнимая их над головой. Потом поднялся. Руки его наткнулись на камень. Прямоугольные плиты, какими был выложен пол, нависли сверху отлогим сводом.

Андрей сделал несколько резких движений руками, чтобы разогреться.

Позади него раздался непонятный гул. Он перестал двигаться и прислушался. Гул приближался мерно, точно вдалеке перекатывались какие-то глыбы. Вдруг он прекратился, замирая глухими отголосками в темноте. Грузные отрывистые шаги, сменившие гул, стихли где-то поблизости от Андрея. Потом громыхнуло ржавое железо, зазвенел, как старые часы, замок, и молниеподобный свет резнул Андрея по глазам. Сквозь новую волну гула, поднятую низким голосом, Андрей различил слова:

— Пожалуйте, сударь.

Он вылез на высокий приступок, с трудом сгибая окоченевшие ноги. Молодой солдат, с виду денщик, с засученными по локоть рукавами и в мягких туфлях, провел Андрея длинной чередою коридоров и лесенок в тихие сумрачные залы, завешанные оружием, картинами и рыцарским снаряженьем. Потом постучал в низкую дверь и спросил громко:

— Прикажете ввести?

Андрей остановился в просторной комнате, перед письменным столом, заставленным рамками и грудой стеклянных безделушек. Кругом висели картины, как в музеях, в три-четыре ряда, на железных палках, протянутых вдоль белых стен.

Обер-лейтенант сидел за столом, вправленный в упругую униформу, лицом к двери.

— Ты можешь идти,— сказал он денщику.

Затем раскрытыми светлыми глазами осмотрел Андрея.

— Теперь вы отдохнули,— произнес он, улыбнувшись,— и, может быть, расскажете о себе подробней?

Андрей пожал плечами.

— Я думаю,— продолжал обер-лейтенант,— что гостеприимство, оказанное вам этим домом, обязывает вас к некоторой любезности.

— Гостеприимство дома? — воскликнул Андрей.— Вы, вероятно, хотели сказать — гостеприимство подвала?

— Вы должны простить мне эту маленькую хитрость. Она была вызвана желанием продлить и, так сказать, упрочить ваше пребывание здесь.

— Я не хотел бы стеснить вас своим присутствием,— проговорил Андрей и пристально всмотрелся в обер-лейтенанта. Надо было заставить его переменить тон. Иначе нельзя было понять его намерений.

— Впрочем, мне нечего беспокоиться,— сказал Андрей, повернув голову к стене,— гостеприимство свойственно только дикарям. Я не мог бы отнять у вас времени даже при желании.

Обер-лейтенант повел бровями и сжал всегда немного приоткрытые губы. Но тотчас прежняя улыбка расправила его лицо. Он почувствовал себя свежим и здоровым. День был безоблачен. Солнце уже поднялось над деревьями и мягко грело сквозь открытое окно. Спиртовой кофейник пофыркивал поодаль обер-лейтенанта на круглом столе.

— Ха, я еще с вечера заметил, что вы пропитаны полемическим ядом. Вероятно, из-за неудачи предприятия? Но вам следует сообщить о себе поподробнее, в ваших же интересах.

— Вы расспрашиваете из любопытства,— сказал Андрей,— все равно ничего не изменится: решать мою участь будет кто-то другой.

— Вот в этом все дело,— воскликнул обер-лейтенант, точно обрадовавшись, что разговор перешел к самому главному.— Кто будет решать вашу участь, в этом все дело. Значит, я спрашиваю вас по существу, а не из любопытства... Что вы там рассматриваете?

— Картину,— сказал Андрей.

— От меня зависит, как сложится ваша участь,— холодно произнес обер-лейтенант.

— Каким образом?

— Каким образом? — угрожающе переспросил обер-лейтенант и начал внушительно растягивать слова: — Я могу вас передать властям как бежавшего военнопленного или как шпиона. Вы мне кажетесь человеком не наивным. Беглец и шпион — несходные оттенки, не правда ли? Это — во-первых. Во-вторых, я могу вас передать военным или гражданским властям. Вы чувствуете разницу? Что вы там все разглядываете?

— Я знаю эту картину.

— Вы не можете знать этой картины! — крикнул обер-лейтенант.— Прошу смотреть на меня, когда я с вами говорю!

Андрей вскинул на него глаза.

— Я знаю этого художника.

— Вы не можете знать ни этой картины, ни художника! — закричал обер-лейтенант и ударил ладонью по столу.— Я вижу вас насквозь! Вы не увернетесь от меня! Вы неудачно выбрали: этого художника знаю один я!

— Его имя Курт Ван,— тихо сказал Андрей.

Обер-лейтенант привскочил и перегнулся через стол к Андрею.

— Курт работал над этой картиной перед войной. Я думаю, что он не окончил ее.

— Вы знакомы с Куртом Ваном? — спросил обер-лейтенант, и губы его раскрылись, как у ребенка.

— Я пропадал неделями у него на мансарде. Мы были друзьями.

Обер-лейтенант оправился от удивления.

— Присядьте, пожалуйста,— сказал он, показывая на высокий кожаный стул и опускаясь на свое место.

— Курт собирался подарить эту картину магистрату Нюрнберга. Как она попала к вам?

Обер-лейтенант промолчал и посмотрел на картину.

— Странно,— сказал Андрей,— второй случай напоминает мне о Курте после того, как два года я ничего не слыхал о нем.

— Вы знаете, что с ним сталось?

— Он попал в плен, в Россию.

Обер-лейтенант встал и сделал два широких шага к окну. Потом, не повернувшись, тихо спросил:

— А вы русский?

— Да.

— Вы были друзьями,— сказал обер-лейтенант, над чем-то думая,— и вас разделила судьба. Это грустно. Мы уважаем дружбу. В нас развито это чувство. И чувство грусти.

Он обернулся, посмотрел на Андрея, на картину Курта, подошел к столу и неожиданно ласково предложил:

— Хотите чашку кофе? Я был очень нелюбезен, позабыв спросить вас, сыты ли вы. У вас очень изнуренный вид. Вы, наверно... давно в бегах?

— Я сыт,— сказал Старцов, опускаясь на стул,— но я давно не пил, и кофе разогреет меня. Я до сих пор не могу согреться.

Обер-лейтенант налил чашку кофе, к которому еще не прикасался, и предложил:

— Возьмите сыру.

«Кексы, пожалуйста, кексы»,— вспомнил Андрей перегибающегося, улыбчивого Дитриха. Он отхлебнул большой глоток кофе и затаил дыхание, ощущая, как горячая влага полилась по телу, выжигая свой путь до боли.

Обер-лейтенант прогуливался от окна к стене и говорил:

— Я считаю Вана большим талантом. Он настойчив, упрям и беспощаден к себе. Каждая новая картина его — шаг вперед. Я решил собрать их и потом сразу показать Германии нового немецкого художника. Правда, на него чересчур повлияли французы.

— Хорошее влияние,— вставил Андрей.

— Немцев оно разлагает,— сказал обер-лейтенант.— Нам свойственна только тема. Это видно по нашей литературе, как и по нашей индустрии. Мы разрабатываем только мысль. Французы увлекаются приемами. Это природа галлов. Они умеют маневрировать, но не умеют организовать наступленья и даже не умеют отступать. Их революции стали классическими. А чем сделалась Франция в результате классических революций? Бесправной олигархией. Революция французов — маневр, прием. У французов может быть Сезанн, но никогда не будет Беклина.

— Беклин? — воскликнул Андрей, схватившись за голову.— Беклин? Но ведь это безобразие!

— Я согласен, что он плохой художник. Я говорю о нем как о лучшем выразителе темы. Он, как никто, ставит перед зрителем мысль.

— Это делает еще лучше Клингер,— сказал Андрей,— но ведь это не мешает ему быть еще бездарнее Беклина?

— Зато та же способность делает гения из Ленбаха,— вскричал обер-лейтенант.

Он говорил с обрывистым жестом одной руки, расстегнув высокий воротник униформы, чтобы удобней поворачивать голову от картины к Андрею.

— Я глубоко убежден в этом основном различии национальных характеров. Поэтому я говорю, что французы могут повредить

Курту Вану, а не помочь ему. Для своей темы он должен найти свои приемы, а не занимать их у французов. У него своя дорога. Посмотрите, вот эта стена — его работы.

Обер-лейтенант кинулся к картинам, схватив полированную указку, и, как в школе, начал объяснять манеру письма Курта Вана, переходя от одного полотна к другому. Он заставил Андрея подойти к картинам и водил его за рукав по комнате, чтобы подтвердить какую-нибудь свою мысль наглядно на живописном образце.

Потом он сидел, немного усталый и задумчивый, вытянув руки на столе и рассматривая их медлящим взглядом.

— Курт Ван не понимал меня,— сказал он грустно.— Ему казалось, что я мешаю его славе. Он был уверен, что его картины пропадают напрасно в какой-то деревушке. Я писал ему, что публику нельзя раздражать частым появлением. Каждое выступление художника должно быть неожиданностью. Он не верил моему чистосердечию. Это фатально.

Обер-лейтенант онять задумался.

— Фатально,— произнес он тише,— потому что недоверие его ко мне было инстинктивным. Мы разной крови.

Он взглянул на Андрея испытующе.

— Вы его друг. Стало быть, вы тоже не доверяете мне.

Андрей хотел что-то сказать, но обер-лейтенант повел головой и закрыл глаза.

— Это не в нашей власти. Я иногда завидую таким людям, как Ван или, может быть, как вы. Они не знают никого дальше своего отца. Одиночки. Им должно быть очень легко. Они решают всегда за себя, за одних себя. А за таких, как я, уже давно все решено дедами, пращурами, историей.

Обер-лейтенант потер руки, точно умывая их.

— Надо кончать,— сказал он.— Я могу облегчить вашу участь. Нет ли у вас с собой документов?

Андрей достал из бокового кармана сложенный в четвертку желтый лист. Это была единственная бумага, которую он взял с собою. Обер-лейтенант развернул ее.

Штадтрат
г. Бишофсберга

СВИДЕТЕЛЬСТВО

23 августа 1916 г. российскому подданному, г-ну Андрею Старцову, род. 17/XI 1890 г., разрешено совершить прогулку на Лауше.

Штадтрат
Полицай-президиум.

— Вы не можете пожаловаться на бесчеловечное обращение с вами,— сказал с улыбкой обер-лейтенант.— Почему же ваша

прогулка так затянулась? Где вы были целых три дня? Пытались бежать?

Обер-лейтенант рассмеялся.

— На родину, через Австрию? Ха-ха! Я попаду в Россию раньше вас: скоро меня отправят на фронт.

Он опять замолк, откинувшись на спинку кресла и разглядывая Андрея.

— Хотите, я вас выручу? — спросил он, прищуриваясь.

Андрей вдруг вспомнил последний час с Мари, в комнате, притаившейся в мягкой, беззвучной темноте. Такого часа, когда ничего нет, кроме осязаний, и весь мир в человеческом тепле,— такого часа он ждал всю жизнь. И теперь, снова очутившись где-то рядом с Мари,— не видеть ее, не прикоснуться к ее лицу?

— Помогите мне,— сказал он дрогнувшим голосом,— если возможно. Мне стыдно за эту мальчишескую историю.

— Ну, почему же,— засмеялся обер-лейтенант,— такой порыв героичен!

Он взял перо и острыми буквами начертал на бумаге решетку слов:

Удостоверяю, что российский подданный, г-н Андрей Старцов, был найден в бессознательном состоянии поблизости замка цур Мюлен-Шенау и, по слабости здоровья, содержался у меня в течение трех дней, чем и вызвана его неявка перед надлежащими властями.

Обер-лейтенант
фон цур Мюлен-Шенау.

Он вручил Андрею бумагу и, прощаясь, придержал его за руку.

— В сущности, мой долг состоял в том, чтобы передать вас властям. Я нарушил его. Вы знаете, что это значит, когда немец нарушает долг? До свиданья.

Он позвонил и приказал денщику:

— Проводи господина Старцова до дороги на станцию.

В день отъезда обер-лейтенант записал:

«Вчера неожиданно приехала Мари. Я был поражен ее жизнерадостностью и высказал это. Она не переставала за что-то благодарить меня, даже после того, как я сообщил ей, что уезжаю. Я так и не понял, в чем дело. Мы гуляли по парку, и она опять, как когда-то, много говорила о нашем будущем. Мне жалко было отпускать ее. Но она торопилась и уехала с обратным поездом. Сегодня я прощался с картинами и помогал надевать на них чехлы».

Бедный обер-лейтенант! Он занавешивал свои картины и не знал, долго ли они провисят под чехлами. Он смотрел в переливавшие радостью глаза Мари и не понимал, за что она благодарит его.

Что, если бы ему сказать, как отозвалась Мари на рассказ Андрея об офицере, который так ускорил их свиданье?

— Цур Мюлен-Шенау? — переспросила Мари Андрея.— Да, слышала. Это наш сосед. Но я незнакома с ним...

Что, если б передать ему эти слова?

Неужели тогда нашему роману пришлось бы преодолевать бездонные рвы отступлений и мрачные пустыни длиннот о войне?

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ СЕМНАДЦАТОМ

О КОМ ДУМАЛ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ ФОН ГИНДЕНБУРГ?

Этот дом был благополучен.

Он не мог не быть благополучным. Его окна горели на солнце таким огнем, точно в них были вставлены не стекла, а хрустальные многогранники. Он был умеренно сер, потому что был облит цементом, умеренно розов, потому что к цементу был примешан сурик, умеренно бел, потому что выступы и лепка фасада были чистенько оштукатурены.

Этот дом — с сотнями горящих окон, тяжелой, как храмовые врата, дверью, прикрытый гладкой чешуей кирпично-красной черепицы,— этот дом был умеренно приятен.

Всякий умеренно приятный дом, конечно, благополучен. Как человек, который стоит на своем месте, в галстуке, в манжетах, проглаженных брюках, с упорядоченными волосами на голове, в крепких башмаках и с своевременной улыбкой на лице. Такой человек приятен, такой человек благополучен.

Так этот дом.

Он стоял на том месте, где начиналась аллея Бисмарка, как раз на том месте, где поставил его штадтрат и где его фасад пожелал увидеть единственный во всей Германии городской гласный еврей, герр Отто Мозес Мильх. На том месте, мимо которого каждое воскресенье в половине пятого пополудни проходили самые почтенные бюргеры города Бишофсберга, направляясь в прекрасный парк Семи Прудов отслушать вечерний концерт военной капеллы.

Самые почтенные бюргеры проходили мимо умеренно приятного дома и каждое воскресенье, в половине пятого пополудни, вскидывали глаза под кирпично-красную чешую черепицы, откуда умеренно крупно смотрели буквы:

ГОРОДСКАЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ
ГОРОДСКОГО ГЛАСНОГО
ОТТО МОЗЕСА МИЛЬХА

И тогда бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, в котелках и светлых жилетках, начинали говорить о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы, как справедливо сказал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург.

— Но позвольте, герр ассистент, мы заговорились и идем по дороге, где можно ездить только на велосипедах!

— Ах да, герр гофрат, вы совершенно правы.

И они возвращались назад и сворачивали на дорогу для пешеходов. Бисмаркова аллея делилась на три рукава, и в начале каждого рукава на прочных столбах стояли вывески:

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Это приходилось как раз в начале аллеи, против дорожки, уложенной мелкими камушками и устремленной стрелой к подъезду хирургической больницы. И общество трех прочных столбов разделяли не менее прочные железные штанги с четко урисованными табличками:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОРИТЬ БУМАГОЙ
И КОЖУРОЙ ФРУКТОВ

СОБАК ВОДИТЬ ТОЛЬКО НА
ПРИВЯЗИ

ВОСПРЕЩАЕТСЯ НЯНЬКАМ
С ДЕТЬМИ СИДЕТЬ
НА ЛАВКАХ

НЕ ЛОМАТЬ ВЕТОК.
НЕ ОБИВАТЬ ЛИСТЬЕВ

НЕ РАСКОВЫРИВАТЬ ДОРОЖЕК
ЗОНТАМИ И ПАЛКАМИ

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!
СКОРОСТЬ НЕ БОЛЬШЕ
12 КИЛОМЕТРОВ

ВЕРХОВЫЕ!
ЕЗДА ТОЛЬКО ШАГОМ И РЫСЬЮ

И потом еще несколько очень мелко написанных объявлений с параграфами, пунктами, жирным шрифтом и курсивом. Под ними подписи штадтратов, полицай-президиума, союза защиты растений.

Бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, шли по рукаву для пешеходов и говорили о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы.

Липы, ровные и круглые, как перевернутые кофейные чашки, образуя четыре одинаковых ряда, вливались в синеватый парк Семи Прудов. По сторонам аллеи, в почтительном отдалении, крепко врылись в землю кубики каменных жилых построек. Умеренно приятный, сиял многогранным хрусталем своих окон облитый цементом дом. Бюргеры шли по рукаву для пешеходов, полковой адъютант рысью протрусил по рыхлой дорожке для верховых, по шоссированному полотну для велосипедистов проехал со скоростью двенадцать километров в час старший ординатор городской хирургической больницы имени Отто Мозеса Мильха.

Впереди бюргеров, идущих слушать вечерний концерт военной капеллы, ступают их жены с пакетиками и сумочками в руках. В пакетиках и сумочках — кухены и печенья, которые будут съедены за кофе, под музыку Шумана и Моцарта.

Так было год назад, так было три года назад, так было десять лет назад и, наверно, так — сорок лет назад, когда в честь князя Бисмарка посадили в четыре ряда липы.

Мир прочен, мир крепок, а старик Архимед был большой шутник, со своим рычагом, которым можно перевернуть всю землю.

О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал о нервах?

Бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, выступая по Бисмарковой аллее, помнят сразу десять правил, которыми они добровольно и сознательно обусловили свое пребывание на этой аллее. И если один забывает какое-нибудь правило:

НЕ РАСКОВЫРИВАТЬ ДОРОЖЕК ЗОНТАМИ И ПАЛКАМИ

другой напоминает ему об этом.

— Я понимаю, герр почт-секретарь, что в России революция, но как можно допустить, чтобы министров посадили в тюрьму?

О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург?

Мир прочен, мир крепок, мир благополучен.

Но впереди бюргеров ступают их жены. В пакетиках и сумочках еще три года назад они носили бутерброды с вестфальской ветчиной, миндальные пирожные со сбитыми сливками и тончайшую салями, которую какой-то чудак назвал итальянской. Еще два года назад можно было слушать Моцарта, запивая музыку сладким кофе и покусывая рассыпчатый штрейзелькухен. И всего год, всего один год назад свой добрый рацион хлеба можно было как следует помазать настоящим фруктовым мармеладом!

Но об этом можно говорить только со старыми друзьями. И говорить тихо, очень тихо, чтобы не слышали даже мужья, чтобы никто-никто! Вот так, шепотом:

— Фрау Эйзенбок, вы слышали?

— Что, фрау Буш?

— Она зацвела...

— Зацвела?

— Да.

— Когда?

— Я узнала вчера.

— Это — наверно?

— Да, фрау Буш.

— Говорят, она не цвела сорок пять лет.

— Об этом говорит весь город. Вы знаете ее историю? Ей больше четырехсот лет. Тогда жил в Аннаберге старик с сыном. Сын был распутник. Он дошел до того, что сказал, что нет бога. Отец решил ему доказать, что бог есть. Они спорили целых два года. Наконец отец сказал: я возьму молодую липу и посажу ее корнями вверх; если она примется — бог есть. Он так и сделал. И липа принялась и росла корнями вверх и все выше и выше и стала такой, что накрыла собой все старое кладбище Аннаберга. Последний раз она цвела в семьдесят первом.

— Значит, скоро?

— Т-ш-ш...

— Фрау Эйзенбок, какую вы носите прическу?

— Конечно, совсем гладкую.

— Значит, это тоже верно?

— Т-ш-ш. Недавно я была в театре и посмотрела вниз: почти все женщины были причесаны так.

— Я видела то же в церкви.

— Но когда все, когда все до одной, во всей Германии!

— Только тогда, фрау Эйзенбок?

— Только тогда, фрау Буш. И не забудьте — совсем гладко, и посредине пробор.

— Да, да, посредине пробор.

Так впереди бюргеров ступают их жены, по воскресеньям, в половине пятого пополудни, направляясь по Бисмарковой аллее в парк Семи Прудов.

Может быть, бюргеры не знают всего, что знают их жены? Но нет, мир крепок, мир прочен, и старый Архимед — шутник.

Посмотрите, посмотрите, бюргеры в визитках и с туго скрученными зонтами, посмотрите, как умеренно приятен облитый цементом дом!

Этот дом благополучен, он не может не быть благополучным, не может, не имеет права, не смеет нарушать правил, которые раз навсегда установлены для него министром народного здравия, штадтратом, старшим врачом и другими законными надлежащими властями.

Не смеет.

Впрочем, спокойствие. О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал, что победителем из мировой войны выйдет тот, у кого крепче нервы?

Впереди бюргеров ступают их жены. О чем они?

— Т-ш-ш!

Письмо писала молодая сиделка. Руки ее дрожали, она не отдавала себе отчета в том, что делает, не видела, что пишет, только содрогалась от крика, который висел в палате, и левой рукой, не переставая, коротко, боязливо, похлопывала по раскаленной щеке раненого, боясь поднять на него глаза.

И она написала, чтобы жена раненого приехала к нему повидаться, и еще — город, в котором раненый лежал, и название больницы, и номер палаты. Все это сделала сиделка, чтобы не слышать крика, обезумев от крика, позабыв параграфы, пункты, жирный шрифт и курсив инструкций, правил, разъяснений и приказов.

И жена приехала.

Приехала вечером, прошла через дверь, где, четко урисованная, была набита дощечка:

ДЛЯ ПОСТОРОННИХ
ВХОД ЗАКРЫТ

прошла какие-то лестницы — темные, светлые и полутемные — и очутилась в комнате дежурной сестры. И потому, что сестра выполняла параграф, требовавший ее отсутствия в дежурной комнате, женщина вышла в коридор.

Здесь ослепил ее свет от начищенных бетонных полов, выбеленных стен и бесчисленных стекол, горевших подобно многогранному хрусталю. Ей было легче смотреть через весь коридор, за окно, открывавшее небо и округлые верхушки лип. И она смотрела туда и не видела, кто указал ей путь в палату, где лежал ее муж. Ей только послышалось, что рука человека, поднявшись, чтобы указать дорогу, звякнула и заторкала, как автомат, в который опущена монетка. И она бросилась по коридору в ту сторону, куда направила ее рука.

Ей встретились санитары с носилками. Позади них быстро шли люди, все в белом, растворяясь в свете бетона, стен и потолка.

Женщине послышалось, что сначала громко проговорили, потом крикнули:

— Куда вы?

— Куда вы?

И потом, кажется, еще:

— Назад, вы, там!

Но она уже исчезла за дверью, которую искала, а люди в белом, растворенные в свете бетона, стен и потолка, неслись дальше, следом за носилками.

Это была первая жена, за время войны получившая свидание со своим мужем в умеренно приятном доме, который не мог не быть благополучным.

Она остановилась у входа.

Палата была невелика. Две кровати стояли по стенам, справа и слева. Окно между ними сияло чопорно и ново, и за ним, далеко впереди, катилось небо — мутнее и печальнее окна, с облаками — темнее выбеленных стен.

Из-под одеяла левой кровати выглядывало безбородое веснушчатое, зеленовато-желтое, похожее на дыню, лицо. Глаза на нем были закрыты, и тонкий бесцветный уголок брови ерзал вверх и вниз по лбу.

На подушке правой кровати чернел широкий круглый затылок. Он был неподвижен.

Женщина вскрикнула:

— Альберт!

Тогда лицо, похожее на дыню, передернулось, открыло глаза, задвигало бровями быстро и натужно, точно отбиваясь от назойливой мухи. Потом шевельнуло шершавыми, как гусеницы, губами:

— Не слышит он. Глухой.

И, помедлив, с досадливым вздохом:

— Как это, по-вашему-то?.. в рот тебе...

Но женщина, не отводя глаз от круглого затылка, вскрикнула опять:

— Альберт!

Тело ее качнулось вперед, а ноги, точно привинченные к бетону, остались на месте, и одно мгновенье она продержалась наклоненной, как натуго связанный человек, которого толкнули. Но тотчас оторвались и скользнули по бетону ноги — вперед, следом за телом, рванувшимся к койке.

— Альберт!

Круглый широкий черный затылок медленно ускользнул в подушку, и на его место, как во вращающейся панораме, стало лицо.

— Альберт, Альберт, Альберт! Аль-бе-е-ерт!

Перед женщиной блуждали глаза — без зрачков, черно-синие, в тонких багровых жилках, как эмалированные блюдца, потрескавшиеся от времени. Распахнутые, круглые, они вращались, как у ребенка, который еще не научился смотреть, готовые вот-вот поймать нужную точку и остановиться, чтобы видеть.

Женщина охватила руками голову мужа и взвизгнула:

— Аль-бе-ерт! Ты видишь, ты видишь меня?

Тогда раненый открыл рот, стукнул зубами, точно откусив воздуху, и распаленным хриплым голосом провопил:

— Напишите жене, напишите же-не! Марте Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузице, жене! Чтобы приехала жена. Марта, Марта!

— Альберт! Альберт! Я здесь, здесь, Альбе-ерт!

— Жене, Марте Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузице!

— Альб-е-ерт! Ты слишишь, ты видишь меня? Альбе-е-ерт!

— Жене напишите, слышите? Марте Бирман, в Тейфельсмюле...

Она кинулась перед ним на колени, теребя его голову, глотая слезы, лившиеся в рот, задыхаясь, кашляя, икая, визжала:

— Альберт! Я здесь, здесь, я твоя Марта! Мерхен, твоя, твоя, здесь, здесь!..

Он вопил разодранным криками голосом, кружа распахнутыми черно-синими, как старая эмаль, глазами без зрачков:

— Жене, напишите жене!

Тогда она припала к его лицу мокрыми губами и стихла.

И он, обессиленный, шептал ей:

— Темно, совсем темно. Не вижу. Напишите жене, прошу вас, жене, Марте Бирман, я скажу вам адрес. Напишите, чтобы приехала. Перед смертью. Если согласны, ущипните меня два раза, чтобы я знал, два раза. У меня нет ног, нет рук. Перед смертью, прошу вас, жене... Ущипните два раза...

Женщина вскинулась на ноги. быстро сдернула с мужа одеяло. Он лежал плотно увитый бинтами, короткий, круглый, как бочонок.

Она метнулась в сторону, к другой постели, закрыв свое лицо тугими кулаками.

Зеленовато-желтый человек, с лицом, похожим на дыню, сказал:

— Жалость какая, а?.. Как это, по-вашему...

И тут одна за другой стремительно влетели в палату белые, как потолки, фигуры.

— Здесь!

И когда взяли под руку женщину, она пронзительно прокричала какое-то слово.

И уже не слышала вопля:

— Жене, Марте Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузице...

И никто не слышал, как шершавыми, точно гусеницы, губами человек, лицом похожий на дыню, прошептал:

— Это правильно.

В этот вечер старший ординатор городской хирургической больницы имени городского гласного Отто Мозеса Мильха, как всегда, зашел в табачный магазин и купил две сигары. Потом, как всегда, посидел на Бисмарковой аллее и одну сигару выкурил. Потом, придя домой, как всегда, снял пиджак, воротничок, надел розовый шлафрок, набил фарфоровую трубку, сел за стол. Открыл толстую переплетенную тетрадь и мелко написал:

Опыт изыскания системы сообщения с инвалидами войны, совершенно утратившими:

1) все конечности,
2) зрение,
3) слух.

Откинулся на подушку, подвешенную к спинке кресла, пыхнул дымом, закрыл глаза.

«Города и годы»

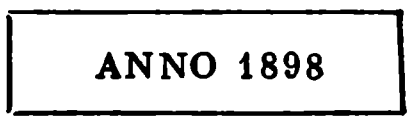
ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЭТИ БЕДНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Мостовые моют так.

Коротконогие люди в брезентовых штанах и брезентовых куртках широкой струей воды, искристым веером бьющей с рассеивателя брандспойта, обильно поливают гладкие кубики-камни. Потом щетками из стальной проволоки долго и крепко протирают каждый кубик. Стертую щетками грязь смывают новым вееровидным веселым дождем. Железными крюками, насаженными на палки, выковыривают навоз из щелей между камней. Сильной и тонкой струей воды — без рассеивателя — промывают щели. Потом возят по мостовой частый и бойкий душ, от тротуара к тротуару, как в бороньбе — по одной полосе против другой,— дальше, дальше, по пятам за людьми в брезентовых штанах и куртках, волочащими толстую, набухшую, как сытый удав, кишку. И потом, когда матовая, чуть влажная в скважинках и щелях, вымытой протянется мостовая на два-три квартала,— на толстозадых, мохнатокопытых лошадях везут по ней тяжелый щетинистый вал, и он прилизывает и сандалит кубики-камни, как круглая щетка парикмахера — коротко подстриженный затылок.

О, так моют дороги и в маленьком, небогатом Бишофсберге! И у маленького, небогатого Бишофсберга есть препрочная цистерна с частым душем, прежесткая щетка-вал, и палки с железными крюками, и толстая кишка, вся в деревянных кольцах, предохраняющих ее от повреждений.

Бетонные дорожки, ведущие по дворам от ворот к дому с выложенными в них изразцовыми датами:



моют женщины в подоткнутых юбках, с толстыми икрами, в деревянных ботах без задников и каблуков. Моют мыльной водой и мочалкой и насухо вытирают холщовыми швабрами.

Женщины в подоткнутых юбках, с толстыми икрами, окатывают горячей водой стены домов от основания до высоты в рост человека. И эти же женщины чистят патентованной мазью дверные ручки и петли, дощечки с именами жильцов на воротах и медные шишечки на прутьях оград и решеток.

О, так моют и чистят дорожки, дома и шишечки решеток и в маленьком, небогатом Бишофсберге!

И вот поутру, когда из-за туманной вершины Лауше поднимается старое доброе солнце, Бишофсберг розовеет, как девушка, после сна окунувшаяся в холодную речку. Быть может, всего один

час в сутки, один утренний, розовый час нежится и потягивается Бишофсберг — ленивый, медлительный, но уже пробужденный,— потягивается, жмурясь на Лауше. В этот час розовеют намытые мостовые, розовеют изразцы дорожек, дверные ручки, шишечки на решетках и оградах, стены домов, скользкая черепица крыш. В этот час, вся розовая, колышется в небе кирка евангелиста Иоганна, и вдруг проясняется зубчатая башня мрачной ратуши. По черному бархату циферблата старых ее часов взбирается загоревшаяся золотом стрелка, все выше, выше, все ближе к верхней золотой точке блестким своим острием. Вот почти взобралась, вот выпрямилась, встала. И в розовое искупавшееся тело городка, точно с неба, окунаются сонно-неторопливые звоны:

З-зон-нэ,
З-зон-нэ,
З-зон-нэ,
З-зон-нэ!

Солнце.

И вот, если в этот час, единственный в сутки час, когда Бишофсберг нежится и потягивается, жмурясь на Лауше, если в этот час запоет большой колокол на кирке евангелиста Иоганна,— кто не воскликнет, что Германия жива, кто не прошепчет, что она прекрасна, и кто не подумает, что

Германия не может стать иной!

И вдруг...

— Послушайте, послушайте, дорогой герр редактор! Что же будет, что будет с нами, что будет с Германией, если так пойдет дальше?

— Успокойтесь, уважаемый герр доктор. Успокойтесь. Мы делаем все, что в наших силах. Мы должны продержаться, и мы продержимся, мы, немцы.

— Но, герр редактор...

— Герр доктор, уже без четверти двенадцать. Пойдемте к ратуше.

На площадь надет мерклый пояс газовых рожков. Они расстилают по земле белые скатерки света. Вон там, из-за угла, выплыла серая шинель ландштурмиста и растворилась в темноте. Из погребка с расцвеченным разноцветными стеклышками окном выплеснулись обрывки опереточной мелодийки. Хлопнула где-то дверь. Тихо.

И вот знакомые старинные сиповатые арпеджио на спрятавшейся в ночи башне ратуши. Четвертка, другая, третья, четвертая. Вот пауза, мертвая, как площадь. Вот хрип пружины.

И вот сонно-неторопливые звоны:

З-зон-нэ,
З-зон-нэ!

Полночь.

И вдруг опять: четвертка, другая, третья, четвертая.

Пауза. Хрип пружины.

И неторопливо, томительно, одиноко:

Зз-зон-нэ!

Доктор сказал:

— Темно.

И немного погодя:

— Никого нет.

— Второй час,— ответил редактор,— поздно. Перевод стрелки уже не собирает публики.

— Мы... мы как будто торопимся, как будто спешим... Отнимаем у войны время...

— То есть как?

— За этот час не был никто убит. На этот час ближе... к миру.

— Я высчитывал, герр доктор, я высчитывал, что на мероприятии с часовой стрелкой государство сберегает от шести до шести с половиной процентов топлива в год. Вы знаете, сколько это в абсолютном числе?

— Не кажется ли вам, что мы... взволнованы, мы, немцы?

— Уже поздно, герр доктор. До свиданья.

Тихо. Фонарщик ходит с длинным шестом в руках, подбирая с земли круглые скатерки света через один фонарь. Две черных сжавшихся фигуры тают в противоположных концах площади. Башни ратуши не видно. Но она здесь. Она здесь...

— Перевод стрелки уже не собирает публики,— сказал редактор ночью, перед ратушей. Но он не сказал, что было в воскресенье, после мессы, на площади у кирки евангелиста Иоганна. Он написал об этом статейку и поместил ее в начале хроники; и ее прочли все, кто не был у кирки и кто там был. Но лучше, всегда лучше видеть, чем читать.

Со стороны колокольни кирка огорожена смолистой светлой тесовой заградой. Шуцманы в коротких плащах, отступя десять шагов от заграды, безмолвными вехами отмечают запретное поле. За их немыми покатыми спинами колышутся котелки, дамские шляпы в черном крепе, порыжевшие бескозырки солдат, защитные чехлы офицерских касок. Больше всего дамских шляп. Больше всего черного крепа. Черный креп развевается на ветру, ниспа-

дает завесами к земле, взлетает мрачными крылами над котелком, бескозыркой и каской, облекает плечи, головы и спины, завешивает лица, цепким наручником охватывает рукава; колеблется, качается, плавает в воздухе — черный креп. Вот он полился широким потоком из дверей кирки, вот скатывается тихой лавиной с портала, разливается по площади, заливает ее, ровный, мрачный, холодный, как склеп. Лица с открытыми губами, лица в морщинах, пергаментные и землистые, со складками, желваками и шрамами; лица, оплетенные седыми прядями волос; лица железные, гладкие, четырехугольные, в красных жилах; лица мягкие, круглые, как подсолнухи,— целая пажить лиц на тучном поле черного крепа взметнулась к колокольне евангелиста Иоганна.

Там, на коротких стропилах, выпятившихся из окна, лежит зеленовато-серое тело большого колокола, обмотанное канатами, за которые цепляются маленькие медлительные человечки.

С портала скатилась лавина черного крепа, в дверях появился пастор, и рядом с ним штадтрат и другие чины города, комендант города и комендант лагеря военнопленных, офицеры, президенты союзов — особы, которых всегда уважал Бишофсберг и которых не уважать нельзя.

И тогда на колокольне кирки евангелиста Иоганна, где-то в глубине, невидно заметался тонкий, беспокойный зов малого колокола, в который никогда не звонили по воскресеньям, а зеленовато-серое тело большого безмолвно лежало на стропилах, разинув широкую свою пасть встречу пустому небу.

Потом эта пасть подвинулась к краю стропил, маленькие человечки спрятались в глубине колокольни, особы, которых всегда уважал Бишофсберг, сошли с портала и стали за безмолвными спинами шуцманов. Штадтрат медленно развернул носовой платок и махнул им над своей головой. Широкая пасть большого колокола подвинулась к самому краю стропил и на мгновенье повисла над пропастью.

А малый колокол метал по ветру беспокойный пронзительный зов, захлебываясь, путая, разрывая свои удары, точно в предсмертном ужасе моля о пощаде. И тогда черная тень пронеслась сверху вниз по колокольне и низринулась в заграду.

И было так, точно раскрылась земля и рухнул мир.

И стало тихо, так что слышно было, как свистели стрижи над киркой евангелиста Иоганна, потому что прервался зов малого колокола, и все молчали...

В этот день в Бишофсберге мужчины отвинчивали дверные ручки и затворы, снимали медные шишечки с решеток и оград и громоотводы с коньков черепичных крыш, а женщины, на кухнях

и в чуланах, отставляли в уголок латунные кружки и кастрюли, медные тазы и кофейники.

День прошел. И прошла ночь. И из-за туманной вершины Лауше поднялось старое доброе солнце, и Бишофсберг порозовел, как девушка, после сна окунувшаяся в холодную речку.

Но кто видел, кто видел, как в этот час, единственный в сутки час, когда Бишофсберг нежится и потягивается, жмурясь на Лауше,— как в этот час на колокольне кирки евангелиста Иоганна подергивалось и дрожало сморщенное бритое лицо старика, стоявшего под сваями, которые еще вчера держали большой колокол?

— Не кажется ли вам, что мы... взволнованы, мы, немцы?

После концерта будут продемонстрированы новейшие усовершенствования протезов по следующей программе:

1) Езда на велосипеде, вхождение и нисхождение по лестнице (протезы патент «Феникс» для ног, ампутированных выше колен). Исп. ефрейтор Макс Фишер.

2) Работа на пишущей машинке (патент «Форвертс» для рук с ампутированными кистями). Исп. унтер-офицер Франц Д.

3) Работа лопатой, топором, граблями, молотком, рубанком и пилой (патент «Deutsche Würde» для рук, ампутированных выше локтя). Исп. рядовые Ганс Лебен, Ганс Форст, Эрих Ечке.

4) Кручение сигар (патент «Deutsche Würde» для одной руки, ампутированной до плеча). Исп. рядовой Отто Бах.

В заключение команда выздоравливающих исполнит патриотические песни и представит живую картину «Благословение Германии».

БОЖЕ,
ПОКАРАЙ
АНГЛИЮ

Самый кончик программы, с прямоугольником, обтянутым черно-бело-красным бордюром, отогнулся и топырился на столе, между рябых столбцов газет. Прямоугольник был точен, как в учебниках геометрии, и краски бордюра были точными красками, как на табличке глазной лечебницы,— совершенно черная, совершенно белая, совершенно красная. И ровно строились в прямоугольнике точные, как в математике, слова:

БОЖЕ,
ПОКАРАЙ
АНГЛИЮ

В столовую через тюлевые занавески неслось солнце, путалось в развернутых и раскиданных на столе газетных листах, рябило в плетенке стульев, играло на посуде и ножах, и черно-бело-красный бордюр горел в его блеске, как шелковая ленточка ордена.

Фрау Урбах намазывала на тонкий кружочек пумперникеля присланный из Швейцарии камамбер, разливала кофе и прищуренными глазами скользила по газетам. Она уже рассказала о том, как в лазарете, на концерте, устроенном для общественных благотворителей, безногие и безрукие с помощью отечественных техников и ортопедов блестяще опровергли распространенное заблуждение, будто бы человек, потерявший конечности,— калека, непригодный для работы. И о том, что выздоравливающие с воодушевлением пропели неувядаемой прелести прусский гимн — «Стража на Рейне», что, несомненно, доказывает как патриотичные чувства простого народа, так и его музыкальные способности.

— Кто-то очень верно сказал, что народ, умеющий так петь, не может быть народом варваров. Они спели прекрасно!

Герр Урбах пофыркал и заметил:

— Я читал про каторжников. Их песни нельзя слушать без слез.

— Это написал какой-нибудь русский?

— Не помню,— ответил герр Урбах и посмотрел на дочь.

На этом прекратился разговор, и фрау Урбах занялась пумперникелем, камамбером и газетами.

Вдруг она пристально всмотрелась в маленькое объявление. Потом взяла газету и протянула ее через стол.

— Фрейлейн Мари, отчеркните, пожалуйста, карандашом вот это.

Мари прочла:

ГЕРИНГСДОРФ

Морские и солнечные купанья. Богатый прекрасным
старым лесом курорт Немецкого моря
открыт, как в мирное время.
Свободен от лазаретов.
Проспекты высылает бесплатно управление курорта.
Сезон с 1 июня до 30 сентября.

Герр Урбах кинул Мари карандаш. Она улыбнулась, отметила объявление крестиком, поднялась.

— Если вы собираете курьезы, мама, я могу вам помочь.

— Курьезы? Я не совсем понимаю, Мари.

Герр Урбах оторвал голову от газет.

— Что-нибудь любопытное?

— Ничего особенного. Мама хочет немного отдохнуть от героев.

— А,— произнес герр Урбах,— так, так.

— Я нахожу, фрейлейн Мари, что за последнее время вам плохо удается подыскивать нужные слова.

— Я этого не чувствую, мама. Благодарю вас.

И опять книксен, после которого хочется хлопнуть дверью, броситься в постель и грызть подушку, как когда-то в пансионе мисс Рони.

В передней мягкий звонок. Скоро два года, как Мари прислушивается к звонкам. Она изучила их и знает особенно хорошо звонки по утрам, в обед и вечерами. Не мешает раньше других просмотреть почту. Ведь не всегда получаешь письма, которые можно не торопиться распечатать. Не всегда такие, над которыми долго думаешь. Или как вот это — широкое, без марок, сплошь замазанное штемпелями, печатями, надписями поверх отточенных иголок букв:

Ее высокородию
фрейлейн...

Отчего замерла улица и часы на стене перестали выбивать свои секунды? Проклятый книксен! От этого обезьяньего приседания кровь бросается в виски и жжет их, точно каленой сталью! И почему только перед матерью? Ни перед кем другим, никогда, только перед ней! Гадко, глупо, отвратительно! Надо запереть дверь, шире отворить окно, выкурить папироску спокойно и тихо. Как глупо! И в конце концов, не все ли равно? Ну, жив, ну и что же?

При чем здесь мисс Рони, при чем мать! Глупо!

«27 апреля 1917 г. Россия.

Глубокоуважаемая фрейлейн Мари, вы понимаете, что я не в состоянии сообщить вам всего об обстоятельствах, которые привели меня сюда, откуда я наконец пишу вам, и о всех чувствах, переполняющих меня с тех пор, как я очутился здесь. Я стараюсь и в настоящем положении найти достойное занятие, хотя это не всегда удается. Желание работать над собой и постоянное воспоминание о вас, фрейлейн Мари, не покидают меня, а это, вы знаете, всегда было для меня источником бодрости. Я приступил к изучению русского языка и думаю, что это мне поможет несколько ближе увидеть народ, который окружает меня и наблюдение над которым, я уверен, может оказаться очень ценным для цивилизованного человека. До сих пор мое внимание остановила на себе одна черта русских, характеризуемая ими самими нашим понятием «доброта» или очень близким к нему. К сожалению, я стеснен местом, чтобы говорить с вами подробнее. Я изучаю также небольшую народность по имени мордва, финского происхождения. Лагерь, адрес которого вы найдете на конверте, распо-

ложен в глухой местности и окружен деревнями, населенными мордвой. Я не помню, чтобы наши ученые останавливались подробно на изучении этого полуязыческого племени.

Местами здесь еще не стаял снег. Одному моему другу я помогаю собирать гербарий, к чему он приступил с появлением подснежников. По праздникам занимаюсь рисованием и мог бы показать вам целую коллекцию рисунков, похожих на те, что делал вместе с вами в Шенау. Очень скучаю по своим картинам. Не пожелаете ли вы съездить в Шенау и написать мне о своих впечатлениях? Особенно о картинах. Прошу вас очень, фрейлейн Мари! Передайте сердечный привет вашим родителям. Позвольте поцеловать вашу руку.

Глубоко преданный вам, ваш *Макс фон Шенау»*.

И росчерк крутой и жирный, прочно подпирающий остроконечную решетку букв.

Иногда приходят иные письма, совсем иные...

— Мари, почему вы заперлись? Откройте!

— У меня болит голова, мама.

— Да? Я получила справку из Красного Креста. Маркграф находится в офицерском лагере... Посмотрите, я не могу разобрать этого нелепого слова!.. Вероятно, где-нибудь в Сибири. Однако... вы так жестоки?..

— У меня очень сильная головная боль.

— В самом деле, я вижу на этой полке целую кипу новых книг. Мне приходится повторять вам одно и то же несколько раз... может быть, вы все-таки напишете маркграфу? Вот вам справка.

Неслышно, как на экране кино, шелохнулось платье фрау Урбах, и, как на экране, она прикрыла за собою дверь.

Да, целая кипа новых книг. Это они — неизменные, таинственные — обкрадывают жизнь, а все говорят про них, что они обогащают ее. Но какое счастье чувствовать себя опустошенной их незрячим и недвижным взором! Как радостно отдавать им час за часом, день за днем, потому что — зачем человеку эти бедные дни и часы?

Ведь час, ради которого живет Мари, так редко приходит, и дни после него бессветлы, плоски и полы. Этот час наступает до газовых рожков, когда в каменных лазейках Бишофсберга с трудом отличишь мужчину от женщины.

Тогда Мари скользит по мутно-серым фасадам старых домов, слепыми улицами, бегущими от ратуши черной пятерней к беззвучным променадам. Перебегая дороги, обходит оранжевые и молочно-голубые окна лавок и ресторанов, останавливается, смотрит в темноту, вдруг возвращается, прячется за дерево. Потом идет тихо, потом почти бежит, опять скользит по гладкой стене.

На площади Геркулеса, против фонтана, тяжелая дверь, изрытая барокканским ножом и годами.

В нее. Потом по лестнице — шестьдесят семь ступенек, если через одну — тридцать четыре шага. Если придешь точно — в восемь вечера по часам ратуши,— приоткрытый вход на четвертой площадке. В него. Через переднюю, прямо. Там.

Только точно в восемь вечера по часам ратуши, Мари!

Только точно, Мари!

ФЕДОР ЛЕПЕНДИН

Когда взяли под руки женщину, она пронзительно прокричала какое-то слово.

Из тех, кто мог понять это слово, никто не разобрал его.

И только человек, лицом похожий на дыню, шершавыми, точно гусеница, губами прошептал:

— Это правильно...

Он повернул голову набок и долго смотрел в круглый затылок соседа.

Глаза его начали мигать, бесцветные брови заерзали, морща лоб и шевеля кончик уха. Он вздохнул. Потом вытянул из-под одеяла руки, подложил их под голову, стал перекатывать осоловелый взор по карнизам высокого потолка. Потом задремал.

Было ли это? И если было, то когда?

Сидел он на лежанке, подобрав босые ноги под себя — калачом.

Изба была жарко натоплена — пекли хлебы из первого помола; на беленой заслонке и на шестке грелись обалделые осенние мухи; через холщовые серые полотенца, укрывавшие на лавке хлебы, переползали тараканы. В жестяной лампе, поставленной в жаровню, потрескивал фатанафтель.

Отец отвез в город четыре пятерика нового умолота, приехал поздно, сидел долго за столом, хлебал щи с бараниной, обсасывая кости, резал хлеб. Когда наелся, пересел с лавки на постель, под полог, и мать помогала ему стаскивать сапоги. Потом отец широко развалился на кровати, почесывался и кряхтел. Позвал мать:

— Айда, што ль...

Повел носом:

— Лафа!..

Мать стояла спиной к постели, облокотившись на стол, перелистывала песенник, мусоля пальцы. Пропела:

— Погодь, сичас...

От сосновой кровати, от люльки, свисавшей с потолка, и от стен пахло пряно, словно от малинных кустов. Потолок был низкий, черный, и сидеть под ним было надежно — крепко прихлопнул избяные запахи, никуда не уйти им, некуда шелохнуться, стоят густо, плотно, умято — клоповые, хлебные, тараканьи, печные, фатанафтельные.

Отец сказал баском:

— Слышь, што ль: полтину-то я спустил, в красном ряду...

— Слава те восподи,— отозвалась мать, потушила лампёнку, принялась раздеваться.

Было ли это? И если было, то когда?

Федор Лепендин расправил отекшие руки.

Его соседа — с круглой черной головой — положили на носилки, накрыли простыней и — покойного — унесли из палаты вместе с постельным бельем.

Лепендин перекрестился.

И тут вдруг руки его взметнулись кверху. Он полежал недолго, словно не веря себе. Потом ухватил пальцами железный прут кровати над головою и подтянулся. Руки хрустнули в локтях, рубаха на плечах врезалась складками в тело. Лепендин крякнул...

Случилось так.

Когда отбили вялую атаку и стало светать, прапорщик приказал отделенному Федору Лепендину поправить перископ. Надо было поднять прибор, подпереть его струганными планками, навести на немца.

И вот когда Лепендин, головой вровень с землею, уминал лопаткой окопную насыпь, шагах в ста перед собой увидел он торчавшие на кочке ноги. Были они, как ножницы, концами к небу, и тела, которому принадлежали они, не видно было за кочкой.

В окопе было тихо, солдаты сероватыми липкими кучками жались на соломенных подстилках, спали.

Лепендин приставил к перископу винтовку, подпрыгнул, перемахнул через насыпь, пополз.

На поляне перед окопом тут и там курились весенние дымки, как от потухших костров. Лепендин скоро добрался до кочки. Прямо над ним торчали ноги. Сапоги на них были солдатские, короткие, желтоватой кожи, с подковками на каблуках и в ржавых гвоздях на подошве толщиною в палец.

Не подымаясь с земли, под прикрытием кочки, Лепендин зацепил обеими руками одну ногу, повис на ней. Нога стала туго подаваться, точно журавль заброшенного колодца. Ступня солдата была загнута вверх, и сапог не слезал. Лепендин подставил под каблук коленку, надавил на носок. В сапоге что-то хрястнуло.

— Может, не конченый?

Лепендин ополз кочку, заглянул за нее. Ему улыбнулось белое безусое лицо с выкаченными голубыми глазами. У виска, врывшись острием своим в землю, перевернутой лежала каска.

Лепендин уполз за кочку, плюнул в ладони, принялся снимать сапоги. Возился долго, вспотел, окровенил о подковку каблука палец.

Засовывая добычу за пазуху, усмотрел на ногах, повисших через кочку, носки. Стянул их, запихал в карман. Английские булавки, которые мешали снимать носки, когда заметил их, расстегнул. Одну обронил, другую наколол на шинель, под «Георгия».

Пополз назад.

Но тут же остановился, вытащил сапоги, достал из кармана гимнастерки карандаш, отвернул голенище, послюнявил его густо и, поудобней улегшись, написал:

Отделенного 2-го взв., 4-й р. 137-го пех.
Бранзукильского полка Федора Лепендина.

Заторопился.

И вдруг внезапно, когда почти дополз до окопа, с визгом рванулась к нему воронка земляных комьев, зацепив его ступни.

Колени Лепендина выпрямились, он запрокинул голову на спину, часто задвигал локтями. Но, точно привязанные, не двигались ноги, и он кружил на месте, как колесо на вбитой в землю оси.

По небу быстро ускользала нестройная кучка воронья.

И последнее, о чем Лепендин догадался, было: что работала только одна рука, один локоть.

Пришел в себя Лепендин от равномерных толчков. Перед ним покачивалась круглая спина. Хлястик светлой шинели был двойной, с темной пуговицей посередине. Околыш бескозырки на голове возницы узенький, тулья куцая.

Лепендин закричал.

Возница обернулся, сказал очень длинное слово. Лепендин не понял его, понял другое, застонал.

Очнулся потом в госпитале. По телу плавала усталость, но было хорошо, хотелось есть.

Выбрал лицо, которое понравилось, спросил:

— Дозвольте узнать, ваше благородие. Одежа у меня была, сапоги тоже, совсем новые, на гвоздях. Так это в сохранности или как?

Толстогубый — доктор, фельдшер ли, в замазанном кровяными разводами халате — сощурился и, словно задевая за что-то языком, ответил:

— Почему Ифан надо шапка, если Ифан не имеет голофа? И это все.

Совсем на памяти было, как в полевом госпитале отрезали ступни. Рука зажила скоро,— задето было плечо, в мякоть, перевязку сняли на шестой день. Когда начали составлять эшелон для отправки в лагерь, Лепендина забила лихорадка. С эшелоном в товарных вагонах ушли однополчане, среди них — прапорщик, который велел Лепендину поправить перископ. Тут ясно стало Федору, что прапорщик этот виноват был кругом — и в том, что ему — отделенному прапорщиковой роты — отрезали ступни, и в том, что немцы украли у него — отделенного Лепендина — кожаные сапоги на гвоздях и с подковками.

В лагерь отправили Лепендина в санитарном вагоне, днем позже после ухода эшелона. В вагоне лежали земляки, все тяжело раненные, и Лепендин, не ощущая боли, принялся стонать, вдруг испугавшись, что немцы спохватятся и скинут его с санитарного вагона. Нехорошо показалось Лепендину, что рядом находились офицеры,— правда, без сознания, щуплые и в таком же больничном белье, какое было на нем. Они стонали не по-настоящему — с перерывами и беззвучным придыханием, и Лепендину было приятно, что он стонал лучше их.

По утрам приходили доктора, позади них сестры записывали в книжечки, что они говорили. Раз-два в день брали из вагона раненых, потом приносили их обратно, на старое место, а иногда место оставалось пустым. Поезд шел куда-то далеко, короткими быстрыми пробегами, подолгу стоя на станциях.

Как-то на рассвете Лепендин перестал стонать. После утреннего обхода его вынесли в соседний вагон, через час принесли назад, и в сумерки он очнулся.

Лихорадка перестала бить, и стонать становилось скучно. Скоро Лепендин узнал, что ему отрезали ноги по колени.

В этот день — пасмурный и долгий — поезд стоял у серой каменной стены, упершись в нее всеми окнами. После обеда в вагоне появилась сестра в гофрированной наколочке. Следом за нею шел санитар с подносом, на котором дымились чашки горячего кофе. Сестра расставила чашки по столикам возле коек. Лепендин тоже получил кофе и первым — едва закрылась дверь за санитаром — принялся пить. Он сделал всего два глотка — горячих, густых и

сладких, когда за стеной раздались тревожные голоса и в вагон влетели сестра и санитар. Пуча мутные глаза, сестра выхватила у Лепендина кофе, поставила его на поднос санитара и побежала по вагону, собирая со столиков чашки. Наколочка ее тряслась, как гребень курицы, которая пытается лететь. Санитар не успевал уставлять чашки на подносе, спотыкался, задевал коленками койки, расплескивал кофе. Потом хлопнула дверь, как никогда на протяжении всего пути,— и стихло.

К вечеру Лепендина перенесли в санитарную повозку, и той же ночью он лежал в госпитале лагеря для военнопленных города Бишофсберга.

Он поправлялся и уже сидел в постели, разглядывая свои культи, как впервые посаженный младенец разглядывает собственные ноги, когда в хронике «Утренней газеты Бишофсберга» за подписью «R» (а так подписывался только сам герр редактор), под рубрикой «Суд» появилась такая заметка:

> Фрау доктор Небель отдала все свои силы заботам о военных эшелонах. Деятельность ее протекала на вокзале под наблюдением старшей сестры Нейман. Эта сестра слышала от санитаров, будто бы фрау доктор Небель при следовании через Бишофсберг поезда, в котором находились пленные русские офицеры, намеревалась проникнуть к ним и предложить им освежиться кофе. Передавали, что в ответ на предупреждение она заявила: «Боже мой, они ведь тоже люди!» Последствием сказанного явилось предписание патронессы питательного пункта фрау Урбах старшей сестре Нейман — *сообщить фрау доктор Небель, что от ее дальнейшей благотворительности питательный пункт вокзала отказывается.* Старшая сестра Нейман не ограничилась, однако, простой передачей этого предписания и, выражая свое негодование, присовокупила оскорбительные замечания о «недостатке патриотизма» и пр. В результате этого она очутилась перед судом. По делу были вызваны свидетели, в допросе которых не оказалось, однако, надобности, так как судье удалось закончить дело мировой. После заявления жалобщицы, что ее заботы были направлены *совсем не на русских,* а на их конвой и санитарный персонал, обвиняемая заявила, что перед лицом такого заверения она выражает раскаяние по поводу сказанных ею слов и берет их назад. Дело прекращено, а судебные издержки возложены на обвиняемую.

Конечно, об этой заметке военнопленные лагерного госпиталя ничего не подозревали, и вся она — целиком — очевидное отступление от повести о Федоре Лепендине. Но ведь и Федор Лепендин — только отступление от другой повести,— более страшной и жестокой, нежели его.

Он смастерил себе два коротких костыля и подушки для культышек, похожие на молочные бадейки с пузатыми боками, и стал ждать, когда ему разрешат сойти с постели.

Но ходил он недолго. Через неделю по ночам у него начался озноб и стать на культи было нельзя, хоть он и насовал в свои бадейки кучу войлока.

И как раз в это время старший ординатор городской больницы имени городского гласного Отто Мозеса Мильха проделывал опыты с новым способом местной анестезии при ампутации конечностей.

Из лагеря военнопленных были отправлены четверо солдат, нуждавшихся в ампутации.

Лепендину отрезали остатки ног.

Старший ординатор был вполне доволен новым способом местной анестезии и выкурил в день операции не две, как всегда, а три сигары.

Если бы отделенный Федор Лепендин болел дольше, то, может быть, он и сослужил бы еще какую-нибудь службу науке. Но он поправился, и он был больше ненужен.

Если бы Лепендин был отделенным саксонской, баварской или прусской службы, его, наверное, упрочили бы на металлических протезах патент «Феникс», и отечественные ортопеды и техники научили бы его ездить на велосипеде и взбираться по лестнице. Но он был отделенным русской службы, и ему предложили обойтись как-нибудь своими средствами.

И он обошелся.

Он сплел себе лукошко, вроде того, какое кладут под наседку, устлал дно тряпочками и сел на них, привязав лукошко ремешками за пояс. Потом вырезал из березы уключины, похожие на киргизские стремена, с округленными донцами. Вдел руки в дужки уключин, оперся ими о землю, приподнял на руках туловище и, раскачав его, пересел на добрый шаг вперед. Умаявшись, он отер лоб и сказал солдату, наблюдавшему, как он тужился:

— Во, паря, хоть в Киев валяй!..

Засмеялся и начал жить лагерной жизнью.

1

Г-ну коменданту лагеря военнопленных
в г. Бишофсберге.

До сведения медицинского факультета дошло, что во вверенном вам лагере интернирован русский дивизионный врач Сидоркин, собравший за время своего пленения особо замечательную коллекцию распространителей разного рода инфекций (pediculus et pulex irritans). Настоящим письмом просим вас, господин

комендант, разрешить названному русскому пленному войти в письменные сношения с медицинским факультетом о приобретении последним упомянутой коллекции.

Декан медицинского факультета —
Правитель дел университета —

2

Его высокоблагородию,
господину коменданту лагеря
майору Бидау.

Русского толмача, отделенного военнопленного унтер-офицера Сергея Горки

ДОКЛАД

Считаю долгом доложить вашему высокоблагородию, что возбуждение военнопленных 7-го и 8-го бараков, равно как и прачечной, о котором мне передавали, поднимается. Особенное внимание осмелюсь обратить на доктора Сидоркина, который пользуется благосклонным разрешением обходить бараки и прачечную и под предлогом собирания тельных насекомых для научной надобности, между тем как употребляет время на агитацию, говоря, что Россия должна воевать до победы над Германией и потому русский народ произвел свержение царя, который был за мир. И хотя агитация не имеет успеха, потому что русские солдаты хотят мира с Германией и ее верными союзниками, но слышны другие, бессмысленные голоса, которые хотят, чтобы в Германии случилась революция, и будто бы тогда будет мир со всеми нациями. Однако доктор Сидоркин имеет последователей. Об упомянутых голосах сделаю доклад, если последует распоряжение вашего высокоблагородия.

Готовый к услугам *Сергей Горка.*

3

Его превосходительству
господину декану медицинского факультета.

По интересующему медицинский факультет вопросу о коллекции пленного русского врача Сидоркина комендатура лагеря военнопленных гор. Бишофсберга не в состоянии ничего сообщить, так

как названный военнопленный переведен в крепость Вальдгейм (Саксония). За разрешением о сношении с военнопленными надлежит обращаться к командующему войсками соответствующего округа.

Комендант лагеря —
Адъютант —

4

Коменданту концентрационного лагеря
в гор. Бишофсберге,
его высокоблагородию майору Бидау.

Предписываю принять все меры к спешному размещению 70% содержащихся в вашем лагере военнопленных по поместьям и крестьянским хозяйствам. При этом рекомендую отдавать предпочтение мелким хозяйствам и избегать концентрации в одном хозяйстве более десяти военнопленных.

Ожидаю ваших донесений.

За командующего войсками —
Адъютант —

И в это время, в эти годы бывали дни, когда по небу неслись пуховые облака, когда ветер путал травы и обивал липовый цвет. Бывали ночи, когда выпадала роса, прозрачная и ледяная, бывали вечера, когда все замирало и только светляки блуждали в темноте.

Колючая проволока, штык и приклад, маузер, наган, смит-и-вессон, мортиры, гранаты, бомбы; отрезанные руки, отпиленные ноги, выжженные глаза, пробитые лбы, продырявленные груди — и опять колючая проволока, опять смит-и-вессоны, опять гранаты, бомбы, фугасы!

Окопы, землянки, блиндажи, бараки, лагеря, казармы; госпитали, лазареты, больницы, сумасшедшие дома, сумасшедшие поселки, сумасшедшие города — и опять окопы, опять лагеря, опять казармы!

Гнойники на шеях, экземные болячки под мышками, струпья на коленях, лишаи, нарывы, склизлая сыпь на животах, безволосые головы в мокрых пузырях, которые текут, точно загнивший сыр,—

ЛЮДИ, ЛЮДИ,—

в это время, в эти годы выпадали дни, когда слышно было, как подымаются яровые, и ведь каждое утро, каждое утро наступал рассвет!..

Лукошко, в котором сидел Лепендин, поскрипывало, ремешки хрустели, пояс трещал от натуги. Но руки и живот стали крепкие,

сбитые, и упираться уключинами в землю, выбрасывать вперед и назад туловище было легко.

Оттого, что земля всегда близка к лицу, оттого, что щупал ее поминутно руками — теплую, как тело,— веселел Лепендин, накалял силой.

Приглянулся Лепендин огороднику — веселостью, увечьем ли,— взял огородник калеку к себе грядочником. Поставил ходить за овощами, перестилать парниковые щиты и оконца.

Полол Лепендин, окапывал, ерзал в своем лукошке меж грядок с утра до ночи — в зелени, в сладком духе перепрелой земли, пел песню:

Наловили немчики егерьков,
Посадили егерьков в лагерьки.
Ай, егерь-мегерь —
Русский снегирь
В лагерьке.
Насадили немчики бурачков,
Накормили бурачками русачков.
Ай, будут пухнуть
С бурачков
Русачки.
Ай, будут дохнуть
Со зеленых
Землячки.

Как-то, после обеда, выполз Лепендин из теплички, протащился огородом, сел у ворот. Перед ним кирпично-красная горела черепица крыши, высокой, крутой и ровной. Он прищурился на ее блеск, поднял голову. Небо было чисто и сине. Он повернулся к крыше спиной.

Перед ним катилось поле, изрезанное разноцветными полосами посевов. Вдалеке торчали две прошлогодние осевшие скирды соломы, растрепанной и бурой. Он долго глядел на скирды.

Где-то заорал петух. Спустя минуту ему ответил другой.

Лепендин зажмурил глаза.

Солнце припекало жарко, с поля плыл шорох хлебов — там торчали скирды, приземистые, раздерганные, почти черные,— в знойном воздухе нет-нет повисали петушиные голоса. За воротами из крана в бочку звонко сыпалась торопливая капель.

Да, если зажмуриться: как в Старых Ручьях — с желобов падает капель; как в Саньшине в полдень — голосят петухи, шумит хлеб, стоят ненужные скирды...

Но если открыть глаза, разве увидишь ныряющую в ухабы

толстобрюхую кобылку в шлее и с дугою над долгой гривой? Или девку, что, шевеля подобранной на бедра юбкой, верткими ступнями сбивает в колеях клубочки пыли?

По дороге, рассекавшей поле, к воротам огорода быстро приближалась какая-то фигурка. Была она неясной, легкой, словно не касалась дороги, и в свете неба, зелени и солнца не разобрать было — девочка, девушка, женщина? Там, где русло дороги развивалось на рукава и один рукав скатывался к воротам, она остановилась. Хрупкая, пронизанная солнцем, стояла на пригорке лицом к Лепендину. Вдруг колыхнулась к нему навстречу, подошла, почти подбежала, вынула из кармана юбки коробку папирос, протянула ее калеке, проговорила трудно:

— Папи'оса.

И улыбнулась так, точно просила прощенья.

Лепендин ощерился, задвигал бровями. Тогда она опять скользнула в карман, в тонких пальцах ее блеснул округлый портсигар, она открыла его —

но —

в тот же миг по дороге бесшумно скатился велосипед, сверкнул спицами взвившегося в воздух переднего колеса, и черный монумент жандарма тучно врылся в землю.

Он поправил за спиною короткоствольную берданку, повел рукою по ровному ряду пуговиц мундира и произнес негромко, как бы ставя точку на первой части завершенного удачей маневра:

— Так.

Потом посмотрел на коробку папирос, торчавшую из-за пазухи Лепендина, на девушку, которая все еще стояла с открытым портсигаром в руке, и спросил сдержанно-грозно:

— Ваше удостоверение личности, фрейлейн?

— У меня нет с собой.

— Как ваше имя?

— Мари Урбах.

У жандарма опустились усы.

— Родственница фрау Урбах?

— Дочь.

Жандарм приподнял фуражку, блеснул лысиной, отер ее ладонью, нахлобучил потуже прямой козырек.

— Все равно. Пойдемте!

Мари двинулась рядом с ним. Вдруг точно вспомнила про портсигар, протянула — открытый, полный папирос — жандарму. У него уже дрогнула рука, приподнялся ус, когда она — не то по-детски, не то с лукавинкой — хвастнула:

— Настоящие русские!

Жандарм чем-то поперхнулся, закашлял, рука его дернулась к завилявшему рулю велосипеда, козырек пополз на нос.

Тогда Мари обернулась.

Лепендин все еще сидел на прежнем месте. Увидя, как она оглянулась, он забеспокоился, качнулся вперед, потом поднял над головою руку и замахал в воздухе своей уключинкой.

Лепендину почудилось, что девочка — девушка ли, женщина ль — улыбнулась ему.

— Ах ты... тохонькая...

НЕДЕЛИКАТНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Мари вошла в кабинет штадтрата.

Разноцвет стеклышек широкого окна веселой грудой обрушился на нее. Сочившийся через стеклышки свет был весел, хмелен и звонок, как пестрядь карнавальных фонарей. Там, в путаной сетке цинковых прокладок, вылеплялись рубиновые, изумрудные, бирюзовые колпаки, береты, шляпы, камзолы, парики, чулки, штаны, пояса, сумки, башмаки и жилеты. В цветистые, пестрые, хмельные наряды вырядились люди. В цветистые, пестрые, хмельные кучи сбились люди по сторонам крепкой, скроенной отменным бондарем, пивной бочки. Тянут — пьяные, горластые, налитые пивом, разодранные смехом, толстопузые, толстощекие,— тянут на стороны пивную бочку. Уперлись пятками в землю, вцепились руками друг в друга — руки провалились в животы, а животы вот-вот лопнут от смеха. Пестрая куча толстых людей справа от бочки, пестрая куча — слева. А ну-ка! Кто кого? Ха-ха! А ну-ка! И по цвету чулок слева, и по покрою штанов справа ясно каждому, что там — нидербахцы, а тут бишофсбержцы. И дело идет не на шутку, дело идет за почетнейшее первенство, за первое место — может быть — во всем отечестве: за честь назваться первым пьяницей прекрасной своей родины! А ну-ка, кто кого перетянет? Нидербах или Бишофсберг? Кто кого? Ха-ха! Тяни, тяни! И не таким городам лестно назваться первым пьяницей отечества! Хмельно, пестро, разноцветно в окне кабинета штадтрата.

Но вдоль окна протянулась густо-красная пустыня рабочего стола. В середине пустыни, в синем стакане, безнадежно оголенные, торчали ручки и карандаши, как умирающие пальмовые стволы высохшего оазиса. Неподалеку врылся в почву глубокий колодец — единственный неисчерпаемый источник безрадостных пространств: чернильница. По краям пустыни происходило движение дел. В синих, белых, зеленых папках, за номерами, литерами

и датами, они передвигались с запада пустыни, куда их клал докладчик, на восток, откуда их снимал секретарь. В глубь пустыни проникали только очень немногие дела, и тогда совершали долгий привал под скупой тенью умирающих пальм: на запад от стакана с карандашами.

Штадтрат сидел в кресле, между веселой толпой спорщиков из-за пива и густо-красной пустыней своего стола. Но бишофсбержцы и нидербахцы гоготали и тужились за его спиной, а перед ним простиралась пустыня, и штадтрат принадлежал ей, а не веселым пьяницам. Был сух, безрадостен, бесцветен.

— Фрейлейн Урбах? — спросил он и обрезал ножичком кончик сигары.— Я не удивляюсь, что вас привел сюда случай, о котором мне доложил секретарь полиции. Присядьте.

Штадтрат раскурил сигару.

— Я знаю ваших уважаемых родителей и знаю вас. Тем не менее я решаюсь сказать: я не удивился бы, если бы мне пришлось беседовать с вами по делу об обвинении вас в государственной измене. Вы понимаете, о чем я говорю?

Штадтрат помолчал.

— Очевидно, вы сознаете всю тяжесть вашего проступка. Я говорю не о том, что произошло сегодня. Это естественное следствие всего вашего предшествующего поведения. Я говорю... Вы понимаете, о чем я говорю, фрейлейн?

Штадтрат шумно выпустил из носу желтый дым и протянул руку к делу, лежавшему в глубине пустыни.

— В распоряжении полиции уже давно имеются сведения о ваших сношениях с русским.

Он вскинул сухие, бесцветные глаза и остановил их на Мари.

— Вы слышите? О ваших сношениях с русским.

Штадтрат крепко затянулся сигарой.

— Ваше молчание, фрейлейн, прежде всего невежливо. В этом я вижу плоды общения с этим, как его...

Штадтрат перелистал дело.

— Его фамилия... Вы намерены отвечать?.. Я говорю так только потому, что уважаю ваших родителей, прежде всего — вашу мать, фрау Урбах. Иначе я нашел бы средства заставить вас вести себя с официальным лицом, как это подобает...

Штадтрат понизил и смягчил голос:

— Неужели вы не понимаете, что ваше поведение невозможно? Подумайте, фрейлейн, в какое положение вы ставите своих родителей! Ваша мать, фрау Урбах,— всеми почитаемая особа, принята при дворе его величества, кавалер орденов, почетный член союзов. Ваш брат... Но о вашем брате пишут в газетах как о национальном герое! Он — единственный офицер во всем Бишоф-

сберге, получивший орден pour le mérite! Единственный в Бишофсберге! Он отличился под Верденом! Он вошел одним из первых в Мобеж! Подумайте! И вдруг... Нет, это недостойно, это отвратительно! По долгу службы я должен... Но позвольте, неужели в вас не говорит совесть? Неужели вы не чувствуете раскаяния?

Штадтрат отодвинулся от стола, воскликнул:

— Но ведь это чудовищно, чу-до-вищно!

Потом встал, прошелся по кабинету, снова сел и заговорил однотонно:

— Я требую, чтобы вы ответили мне: признаете ли вы, что совершили порочащий честь германской женщины и честь вашего дома проступок, и обещаете ли вы мне, как представителю власти, впредь не совершать ничего подобного? Отвечайте... Что значит это молчание? Послушайте, вы!..

Штадтрат стукнул кулаком по столу и прокричал:

— Вы, девчонка! Как вы смеете молчать, когда я требую ответа? Как вы смеете? Я проучу вас, я арестую вас, я опубликую ваше имя, я опозорю вас! Вас выгонят из дому, вас выгонят из города, на вас пальцами,— слышите! — пальцами будут показывать, вы! Пальцами, пальцами!

Штадтрат забегал вдоль расцвеченного окна. По лицу его — сжавшемуся, как кулак, жилистому и гладкому,— заметались пестрые огни стекол. Он вопил:

— Вы думаете, я пощажу вас? Вы думаете, я потерплю, чтобы негодная девчонка, запятнавшая свою семью, безнаказанно позорила честь германской женщины? Я отважу вас таскаться по проклятым русским, черт побери! Ведь вы... знаете, кто вы? Вы проститутка, вы хуже проститутки, которая патриотичнее вас и не позволит себе...

И вдруг точно поток битого, оглушительного звенящего стекла обрушился на штадтрата:

— Молчать! Слышите, молчать!

Он почти упал в кресло и остолбенел.

А Мари, прямая, вытянувшаяся, словно охваченная стальной формой, отчетливыми шагами пошла к двери, открыла ее, прошла коридорами, залом, где у конторок маячил секретарь полиции, приемной комнатой — на улицу. И там, не сгибаясь, все такая же отчетливая, с поднятой головой, мимо людей, как будто над людьми, не таясь —

впервые за эти годы, не таясь,— прямо через площадь к низкой двери с резьбой барокко, и дальше, по лестнице, выше, выше, ни разу —

ни разу не оглянувшись —

в дверь, подле которой так билось сердце.

В кабинете штадтрата, вдунутый незримым деликатным духом, показался секретарь полиции.

— Герр штадтрат?

Штадтрат встрепенулся, схватил лежавшее под рукой дело, положил его на середину стола — на запад от стакана с карандашами,— сказал:

— Я отпустил ее пока, герр секретарь. Сейчас я просмотрю газеты.

И секретарь растаял неслышно, как небольшой клубочек пару на морозе. А штадтрат прочел:

ОПУСТИ 10 ПФЕННИГОВ —
УВИДИШЬ ВОЙНУ!

В Берлине в пассаже театра «Метрополь» есть панорама-автомат. Французики в синих сюртуках и красных штанишках защищают крепость. Против них, по траншеям и окопам, рассыпались серые карапузы. Прелесть, ей-богу! Особенно если подумать, что всякий прохожий может легко убедиться, как, собственно, мила мировая война. Впрочем, что же это был бы за автомат, если бы он не сулил гораздо больших наслаждений? Наверху у него отверстие. О, как оно жаждет никеля! Над отверстием надпись:

ОПУСТИ 10 ПФЕННИГОВ —
УВИДИШЬ ВОЙНУ!

В Берлине позаботятся обо всех! За десять пфеннигов каждый может иметь собственную небольшую войну. Брось в отверстие маленькую никелевую монетку (на худой конец, монетка может быть и железной) — в один миг, как говорят берлинцы, заработает лавочка: пушки захлопают своими пробками, солдаты примутся колоть, рубить, стрелять,— прямо восторг! Не успеешь оглянуться — все французы перебиты, захвачены в плен, а немцы вступают в крепость. А потом — что же это был бы за автомат? — все становится по своим местам. Приятно, что эта история всегда может начаться сызнова. Опусти одну денежку — сразу загремят орудия, солдаты примутся колоть, рубить... а в конце концов — все, как было прежде. И так дальше, пока не выйдет весь никель. Так было, так могло бы быть долго. В Париже, наверно, тоже есть такой автомат, потому что во время войны хороший вкус интернационален. Только там все, конечно, наоборот: там расстреливают и берут в плен немцев, а потом все становится по своим местам.

Недавно один солдат, приехав с фронта, проходил берлинским пассажем. Он осмотрел автомат и, так как привык на фронте к крепкому слову, выругался. Но так как, кроме того, он был журналистом, стало быть, по профессии своей человеком любопытным, да еще вздумал написать что-нибудь по этому поводу для газеты, то он и бросил в автомат никелевую монетку.

И случилось чудо! Сражение... не началось. Пушки безмолвствовали, солдаты не думали ни колоть, ни рубить, ни стрелять. Тряска, пинки. Ничто не шевельнулось. Автомат был сломан.

Какой-то прохожий, радовавшийся бесплатному зрелищу и глубоко обманутый в своих ожиданиях, хотел во что бы то ни стало позвать швейцара. Он настаивал на своей маленькой, оплаченной другим, войне, он хотел непременно видеть кровь! Но опустивший монетку отклонил это.

Ибо хотя он и был журналистом, стало быть, человеком по своей профессии не верящим в чудо, все же от пристального всматривания показалось ему, будто бы французы и немцы посмотрели друг на друга совсем дружелюбно.

— Оставьте,— проговорил он серьезно,— когда-нибудь должно же это случиться?

Сказал «прощайте» и ушел.

Штадтрат свернул газету, позвонил.

Вошел служитель.

— Вот что,— сказал штадтрат,— этой газеты,— видите? — вот этой газеты мне больше не подавайте.

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТОМ

ДОРОГА

Старый взбесившийся пес, глодавший в беспамятстве самого себя, при последнем издыхании повалился на землю. Сухим языком он начал зализывать раны на своих ляжках и окровавленной мордой вправлял в распоротый живот выпавшие внутренности.

И вокруг пса курился ладан, и колокольцы кадильниц переливались над его ушами, и умильные патеры, кардиналы, ксендзы шествовали в чинном согласии, и раввины лопотали свои тысячелетние заклинанья, и ангельские голоса оглашали застывший воздух:

и на земле мир...
в человецех благоволение...

А пес южал от предсмертной боли, и слепые глаза его были застланы мутной слезой.

Так встретили люди мир.

Он пришел неожиданно, хотя его ждали каждую минуту, днем и ночью, в бодрствовании и во сне. Он принес с собою все, что мог принести после Антверпена, Марны, Шампани, после Триеста, Карпат и Мазурских болот. Он был так же мягкосердечен, как Верден, и так же великодушен, как Брест-Литовск.

Но он кончал собою одни сроки и открывал другие. Падали последние листки календаря, сброшюрованного выстрелом в Сараеве, и наступал час прощания и разлук.

Для Андрея он наступил незадолго до мира, когда ему объявили, что можно возвратиться на родину. Он был горек — этот час,— он был весь пронизан тоскою, как степной ветер — полынным духом. Но он таил в себе неуловимую свежесть, как духота степного ветра таит волнующую прохладу моря.

Почему нельзя говорить о чувствах трогательных и наивных, как детский лепет? Кто наложил запрет на нежные вздохи, на незабудки, на чистый, теплый поцелуй? Кто осмелился сказать, что чувствительность пошлее жестокости, в то время как влюбленный шепот мы слышим реже, чем стон убитого?..

Мари прощалась с Андреем..

Они сидели, обнявшись, в комнате, которая стала для них из тюрьмы волей, и покинуть ее навсегда было так же жутко, как думать о разлуке.

Они смотрели остановившимися глазами на изученные вещи, и все расплывалось перед ними в какой-то пустоте, как будущее, которое им предстояло.

И чтобы отпугнуть от себя самое страшное, они повторяли друг другу непонятные, непонятные слова:

— Конечно, мы встретимся.

— Конечно, Мари! Ведь все идет как нельзя лучше.

— Я не сомневаюсь ни на минуту, Андрей.

— Я уверен, Мари, я совершенно уверен!

Потом их лица касались горячими щеками, пальцы перебирали запутанные волосы, и притихшая комната повторяла их сдержанное согласное дыханье.

— Ты напиши с дороги.

— Непременно, непременно.

— Как только приедешь.

— Как только приеду.

Глубоко под открытым окном плескалась одинокая струйка фонтана — старого, позеленевшего, источенного водой и раскрошенного временем. Звон воды отзывался в дальних углах площади и был томительно ровен и тосклив.

— Я приеду тотчас, как ты устроишься.

— Я устроюсь скоро, очень скоро, Мари.

— Ну, как ты думаешь, с полгода или...

— Что ты, Мари! Месяца два, самое большее...

— Значит, через два месяца можно собираться?

— Ты должна быть готова, Мари, каждый день. Ведь это быстро уладится, я сообщу тебе телеграммой.

— Телеграммой?

— Конечно!

— Я буду всегда готова...

И опять они молча смотрели перед собой, и давно знакомые вещи пропадали в пустоте, и руки ощупывали и теребили цветы, брошенные между ног на диване.

И вдруг Мари сорвалась с дивана, повернулась лицом к Андрею, зажала в ладонях его голову и коротко сказала:

— Пора!

Андрей потянулся к ней, обнял ее, хотел подняться, но не удержался и уронил ее на себя. И так они не двигались несколько минут: Мари — зажав в ладонях его лицо, он — схватив ее изогнутое тело застывшими большими руками.

Потом он разжал руки, высвободил голову и заглянул ей в глаза. Она, казалось, не видела его. Он произнес придушенно:

— Мари, может быть... может быть, мне лучше не уезжать... остаться с тобой?

Она оттолкнулась от Андрея с такой силой, точно хотела встряхнуть его, и в ее взгляде мгновенно переметнулись испуг и радость.

— Андрей,— почти вскрикнула она,— ты так долго ждал этого часа!

— О да... Бесконечно долго! Но, Ма-ри! Уйти от тебя...

— Как уйти? — перебила она.— Ведь мы встретимся очень скоро...

— Конечно, я болтаю вздор,— быстро сказал он и задвигался, заторопился, как будто сразу приспело время куда-то спешить.

— Конечно, вздор. Малодушие. Ты понимаешь, в эту минуту мне почудилось, что мы... что я никогда...

Он взглянул на Мари.

Веки ее были туго сжаты, и блесткая ниточка свинцом спаяла ресницы.

Он кинулся к ней.

— Мари-и!

Схватил ее на руки, отнес и положил на диван, лег с ней рядом, хотел поцеловать ее, но голова его упала на ее лицо, и слезы их — быстрые, торопливые — смешались.

Помятые цветы падали с дивана, и медленно летели за ними на пол отдельные оторвавшиеся лепестки.

Пауль Генниг вошел шумнее, чем всегда, и голос его был громче обыкновенного.

— Должен вам сказать, Андреас, меня поражает ваше постоянство. Но ничего не вечно в этом лучшем из миров, будь он сто раз... Andere Städtchen — andere Mädchen [1], как говорится... Найдете другую.

— Бросьте, герр Генниг...

— Расходясь в политическом смысле, мы, натурально, должны расходиться и в женском вопросе, ха-ха!.. Но скажу вам, Андреас, мне немножко грустно, что вы уезжаете. Кого я буду тра-

---

[1] Что ни новый городок, то новые девушки *(нем.)*.

вить? И, кроме того, на свете становится беспокойней и беспокойней.

— Вы считали, что все благополучно развивается.

— Андреас, Андреас! Во-первых, вы уезжаете, и я не имею оснований скрывать от вас... ну да, что я в некотором отношении разделяю ваши взгляды. Во-вторых, я вижу, что...

Генниг крякнул и ударил себя по ляжкам.

— Будем говорить прямо! Наш патриотизм — накладная штука! Черт его побери — это, конечно, импонирует. Но...

— Мне он отвратителен.

— Любовь к народу...

— Не любовью к народу. Я вам говорил об этом сотню раз. Не любовью к своему народу, а ненавистью к чужим.

— Этого я никогда не пойму. Но я уважаю вашу точку зрения. Хотя она непрактична. Вы убедитесь, что ненавидеть кого-нибудь — потребность человеческого бытия. Но я уважаю... Я уважаю вас, Андреас. Вы уже сложили вещи? Все богатство? Ха-ха, церковная мышь, Андреас, что?

— Да, я готов.

Пауль Генниг вздохнул.

— Провожать вообще нехорошо. Встречать лучше.

Он отвернулся и вдруг прорычал с такой силой, что на столе зазвенел графин:

— Когда эта комната останется пустой, куда я, к дьяволу, пойду поговорить о политике? У меня мурашки бегают по спине!

Он умолк на минуту, побарабанил ногами по полу и вынул из кармана газету.

— И как раз теперь, когда становится беспокойно. Раньше этого не было. Раньше было по-другому. Мы должны продержаться — и мы продержимся, мы, немцы! О! Вот что было раньше. Сейчас начали хныкать.

— Я твержу вам это добрых два года.

— Ер-рунда, Андреас! Вы такой же слепец, как я. Вы твердите... Я вам лучше прочту...

Герр Генниг развернул газету и подвинулся к лампе.

— Я прочту объявление, самое простое, по тридцать пфеннигов за строку нонпарели, как пишут газетчики. Слушайте:

> Немецкий солдат из хорошей семьи, потерявший на войне ногу и вследствие этого брошенный своей невестой, ищет в спутницы жизни товарища по несчастью. Настойчиво просят дам с недостающими или поврежденными нижними конечностями, но с добрым сердцем и хорошим характером, проникнуться состраданием к разбитой благородной душе в изувеченном теле и с полным доверием и с указанием семейного положения и состояния здоровья обратиться по шифру Е. 8155 в отдел объявлений «Утренней газеты Бишофсберга».

Герр Генниг выдержал торжественную паузу и поднялся, протягивая руку с газетой и потрясая ею в величественном гневе:

— Грандиозное мировое событие воистину многообразно новыми формами жизни. Изувеченный воин, изменница-невеста, неизвестная хромоножка, которая должна облегчить страдания несчастного и смягчить жестокость вероломства,— какая неисчерпаемая материя для способного драматурга!

Он застыл с развернутой газетой над головой.

— Это пустяк, герр Генниг,— сказал Андрей.

— Это меня тронуло. Я человек с сердцем, Андреас, я понимаю тонкие чувства. Я ни разу не говорил вам, что из моей памяти не выходит monsieur Перси. Он был безвредный человек и играл на гармонике, а его взяли и заперли в цитадель. Это трогательно. Политика — я слишком хорошо понимаю. Но, кроме политики, есть человеческое «можно» и человеческое «нельзя». Мы начали хныкать, значит, мы дошли до человеческого «нельзя»...

Андрей подошел к Геннигу и взял его руку.

— Мне пора идти. До свидания, герр Генниг. Благодарю вас за все, благодарю вас. Мне тоже грустно расставаться с вами.

Он потянул Геннига к окну. Глядя на площадь, они постояли молча.

— Четыре года здесь, два — там, три — еще где-нибудь,— так слагается жизнь. Нам всегда кажется, что вот-вот мы начнем жить по-настоящему, вот только что-то переждать, куда-то дойти. А потом оглянемся — оказывается, мы давно уже под горой, давно все прошли. Оказывается, здесь,— не сердитесь на мои слова, герр Генниг,— здесь, в этой тюрьме, я жил по-настоящему. И теперь я оставляю родного человека.

— Я знаю, Андреас. Желаю вам снова встретиться с ним. До свиданья.

Герр Генниг вдруг поперхнулся, стал лицом к стене и закашлял.

— Пр-рроклятие... этакий кашель и... хрипота... Гха-гха-а!.. Вчера должен был в своей партии взять верхнее Е — сорвался, гха-а!..

Андрей пошел к столу, надел шляпу, сумку — за спину, взял чемодан и огляделся. На полу около дивана валялись завядшие, раздавленные цветы. Он быстро нагнулся, поднял один из них и сунул в карман.

— От нее? — спросил герр Генниг.

— Да,— ответил Андрей,— от нее. Всего хорошего, герр Генниг!

В маленьком польском местечке, на стертой войною русской границе, составлялся эшелон из больных и раненых пленных. Из лагерей и лазаретов вычесывали негодных для работы людей и гнали сюда не спеша, как гонят гурты усталой скотины.

Дни тянулись долгие, хмурые, и люди изнывали от гудков, от ленивого лязга железа на путях, от ожиданья. Что может быть тоскливей товарного вагона, отцепленного от состава и брошенного на запасной ветке в тупике? Прокопченные паровозы допотопной конструкции толкали целыми днями по разъезду вагоны, перекатывали с места на место, соединяли и расцепляли, и сотни глаз безразлично ползли следом за вагонами, как флюгера по ветру.

Тоска взбалтывалась изредка приездом новой партии пленных. Тогда начинались долгие расспросы, потом — издевка:

— Ишь ты, раскатились! Подай им сразу Расею! Нет, ты, братишка, покорми сперва польскую вошку, а потом посмотрим. Может, ты до Расеи окочуришься?

— Это ты сюда попал, как на запоины. Не успел чихнуть — ан у немца на ферме. А назад — шалишь!..

— А ты как попал, на лафете, что ль?

— Вместе нам с тобой, браток, харю били!

— До Расеи далеко, не доскачешь. Кругом теперь немецкие владения, поляк нынче под немцем ходит.

— Паршивая эта места. Сквальмерщица, одно слово. Сидим тут три недели — никакого движенья.

Понемногу примирялись, привыкали друг к другу, ждали новых партий.

Раза два в неделю прогоняли с востока толпы поляков и евреев — оборванных, грязных, забранных штыками конвоя, как решеткой. Сквозь решетку видны были затравленные глаза и челюсти, которые вечно двигались, точно жевали жвачку.

— Почернел совсем народишка, подгнил.

— Этим теперь каюк, братишки. Гонят их в самую Рейну, уголь копать, в шахту. Шахта там глубиной двадцать верст, целый день ехать. Жар там, в Рейне в этой, такой, что яйца печь можно. Очень понятно, потому уголь все время горит.

— Наших, которых угнали туда, чтой-то не видно.

— Каюк! Потому невозможно — огонь.

— Врешь ты, парнишка, я сам в шахте был, ничего такого нету.

— Ты где был? Где? Может, ты у нас на Дону был? А я тебе говорю про Рейну. Француз у немца шахты забрал, а немцу без

угля каюк. Вот он и ушел в землю, в Рейну. На такое дело своего брата он ставить жалеет, а гонит туда всяких пролетариев, нашу публику тоже, если не калечная. Я, братишка, верно говорю!

Те, которых гнали с востока, дрожали, точно от стужи, жалко смотрели, как пленные жуют вареные бураки, и вместе с ними двигали челюстями, облизывали сухие губы. Но их не держали подолгу и угоняли дальше на запад.

В партии, прибывшей в день отъезда эшелона, были Андрей и Федор Лепендин.

Андрея и с ним троих гражданских пленных встретили молчаньем.

Лепендин сразу освоился, засновал между калек, нашел земляка.

— Нас-то? Нас? — говорил он, поскрипывая своим лукошком и стуча уключинками.— Нас сразу двинут, помяни мое слово!

— Разве тебя двинут, голосистого. А мы тут почитай месяц по полу мызгаемся.

— Помяни мое слово! Сразу! Конец, браток, нашей юдоли, кончено! Было, да кобыла раздавила. Теперь приедем мы домой, земли у нас вдосталь, какую хочешь, такую и бери. Кому лугов надо, кому леса, кому под пахоту — сколько надобно, по справедливости. Работай, живи, хозяйствуй, сук тебе в ноздрю!

— Да на кой тебе, безногому, земля-то?

— От дура! Да как же ты сказать так можешь, на что земля? Ты крестьянин иль мастеровой какой?

— Мы пензенски.

— Толстопятый! Сразу видать. Как же теперь без земли крестьянину?

— А как же ты на заднице пахать-то будешь, без ног?

— От дура! Зачем мне пахать!

Лепендин затеребил своего земляка:

— Скажи ему, толстопятому, что́ у нас в Саньшине, в Ручьях, скажи!

— Мы семидольски,— сказал земляк,— у нас больше ягода, сады, огород тоже, ну и пахота мал-мала...

— Эх! — схватился за голову Лепендин.— Эх, брат! Какая у нас сила ягоды! Вишняка у нас — прямо туча! Сливы, там, торона — свиньи не жрут, а на грядках, на грядках, брат, красно все от земляниги, а землянига — во, в кулак! Вихтория там всякая, скороспелка — и-и-и! А яблок этих самых — всю зиму лопаем, и мочим, и сушим — никак не справиться, до чего много! Базар у нас в Семидоле, так смотреть страшно: куда это человек может столько яблок употребить?

— А какой яблок! — заволновался земляк.— Яблок тоже яблоку розь. У нас яблок — ударь его мал-мала, на ём чуть пятнышко; положи на божницу — он с этим пятнышком так и прозимует.

— Не сгниет? — спросил лупоглазый парнишка.

— Ни боже мой, никогда не сгниет! — подхватил Лепендин и понесся: — Яблок прямо железный, нипочем! Ну, да ведь и сорта у нас! Царский там шип или сквозное, боровинка, апорт.

— Баргамот есть? — спросил парнишка.

— Баргамот-дулю у нас не едят. Это вроде бурака, в месиво больше употребляют.

— Нам бы здесь баргамоту подмешали,— засмеялся кто-то.

— Здесь подмешают!

Парнишка грустно вздохнул.

— А наши места степные, жаркие, все палит.

— Жара, если мал-мала, тоже на пользу,— отозвался семидолец.

— Ничего, браток, не тоскуй, валяй к нам, на грядки,— сказал Лепендин.— Земли теперь вволю, сам выбирай, сколько влезет. Не нравится — ушел. Понравилось — употребляй, подо что желаешь. Я, скажем, без ног остался через войну. Зато я к огороду приспособлен. Работа тяжола, баба и та не выносит. А мне что? У меня рука на пол-аршина в землю ушла, а я спины не согнул. Лафа!

— Ишь веселый!

— А что плакать? Эх, милый, домой едем, на волю вольную, крестьянскую!

— Ктой-то с вашей партией, стрюцкие-то?

— Цивильные.

— Господа?

«Как сказать? — подумал Лепендин.— Образованные, это верно. Однако ничего...»

— У нас, говорят, теперь их нету.

— Не то чтобы не было, ну а к крестьянству не касаются.

— Та-ак.

Лепендин привез с собою удачу: к вечеру составили эшелон, приступили к посадке.

Рядом с Андреем устроился громадный бородач в овчинном полушубке и шапке. Он был нескладен в необычном своем одеянье, среди потрепанных гимнастерок и фуражек. Волосы его и мощная русая борода завивались спиральками, как сосновая стружка, лицо было странно маленьким, в этой гуще волос, прозрачные веки наполовину затягивали горящие черные глазки. Мужик был

очень высок, и плечи его катились широкими отлогостями, но он с трудом держался на ногах и сразу, как вошел в вагон, вытянулся на лавке, подложив под голову полушубок и спрятав под него шапку.

— Хворый, что ль? — спросил Лепендин, когда разместились и он закачался по вагону, осматривая соседей и заводя разговор.

Мужик, вздыхая, поднял плоскую грудь, она заскрипела, как изодранные мехи, и он показал на нее пальцем.

— А-а,— сказал Лепендин,— грудью хвораешь, понимаю...

— Кровью харкаю,— проговорил мужик тоненьким голоском, какого нельзя было ждать от его роста, плеч, буйной богатырской бороды.

— Ни-че-го! — беззаботно протянул Лепендин.— Это у тебя от неволи. Как приедешь домой, так живо пройдет. Ты как попал-то?

— На работу взяли, на плоты.

— Откуда взяли?

— С родины, из-под Минска, хозяйство там у меня.

— Изверги, господи, твоя воля! От хозяйства!

Мужик осторожно покашлял, не открывая рта, потом опустил тонкие, как у курицы, веки.

— Ему нужен покой,— сказал Андрей.

— Покой он лю-убит! — раздалось насмешливо.

Мужик беспокойно поправил овчину и опять осторожно покашлял.

За спинами собравшихся вокруг Лепендина солдат Андрей рассмотрел скуластое, точно сбитое из камней лицо. Острая прямая черта рассекала его лоб.

— Он ради покоя к немцу нанялся на работу. А немец ему деньги не заплатил, вот он и мается.

Мужик, не открывая глаз, проговорил:

— Хозяйство разорили, как тут подняться?

— Ты за свое хозяйство черту душу продашь.

Лепендин растолкал солдат.

— Пусти-ка, братцы, я на него посмотрю, кто такой будет, который про хозяйство так говорит... А, вот ты какой. Из мастеровых, видно. Как ты можешь про хозяйство говорить, скажи на милость?

Скуластый прищурился на Лепендина и потер руки.

— А почему мне не говорить?

— Как же за хозяйство не маяться? Мужику без хозяйства разве прожить?

— Ты постой, не ерепенься, послушай, что скажу. По-разному можно на хозяйство смотреть. В России крестьянин свое

«Города и годы»

хозяйство сразу справил: работал весь век на господ, а потом смекнул, что ежели работа его, стало быть, и хозяйство ему принадлежит, никому другому. Взял да и прирезал господские земли к своим наделам, и стало все хозяйство крестьянским. Вот этакое хозяйство стоющее.

— Правильно! — отдалось где-то позади.

Кругом все притихло. Солдаты осматривали скуластого подозрительно,— он был, видно, чужим среди них — крепкий, сбитый из камня, в пиджачке и в куцем картузе на затылке. Никто не приметил, с какой партией он пришел и когда влился в эшелон. А скуластый скользил прищуренным взором по головам солдат, и, как мерка, укорачивалась и удлинялась на его лбу острая поперечная черта.

— Стоющее хозяйство то, от которого всему крестьянству польза. А от которого ему вред — за такое держаться нечего. Вот этого мужика по человечеству жалко — больной он, чахоточный, одним словом. Однако и досада на него берет. По доброй воле нанялся к немцу, чтобы деньжонок подкопить, латы на портки поставить. А у нас в России портки даром раздают — всем хватит! Ему бы податься туда, где люди по-новому жить начали, а он в кабалу ушел, копеечку сколотить. Не верит, что у нас теперь все крестьянское добро задарма раздается.

— Задарма! — усомнился кто-то.— Больно ты прыткий!

— А ты что, не слыхал?

— Слыхать слыхали, да ты там был, что ль? Больно раздаешь-то все!

Скуластый подмигнул и потер руки.

— Был иль не был, кому какое дело, ну а кое-что знаю...

Его зажали в плотную скобку плеч, грудей и рук, и десятки глаз бегали за его вертким взглядом. Он вдруг рассмеялся.

— Зовут этого мужика — Киселем, дядя Кисель. Пощупал я его, а он и правда хлюпкий!

Больной завозился и поправил под головой овчину.

Кое-кто из солдат засмеялся.

— Жалеете вы его, ребятки, напрасно. Жалостью не поможешь, не такое теперь время. Вас тоже пожалеть надо — кто больной, кто безрукий, у кого ног нету. Мы должны сами себя пожалеть.

Семидолец перебил его:

— Ты зубы-то не заговаривай, мил человек, мы сами с усами. Ты, мал-мала, скажи, что тебе про Расею известно?

— Про Россию? Мы... можно.

Скуластый мотнул головой и сказал тихо:

— Пойдем-ка вон туда, там попросторней.

Он вынырнул из скобки теснившихся вокруг него тел и — ловкий, верткий — метнулся в пустой угол вагона. Остроплечие, зыбкие, изуродованные солдаты повалили за ним, натыкаясь на лавки и стены.

Лепендин сидел неподвижно в своем лукошке.

Дядя Кисель приоткрыл веки, горящими глазками блеснул на Андрея, на Лепендина и покашлял.

— Что, правду говорят,— спросил он тихо,— на родине большие деньги все стали иметь?

— Деньги стали дешевые, верно,— сказал Андрей.

Дядя Кисель провел по овчине тонкими пальцами и снова закрыл глаза.

Лепендин вдруг стукнул уключинами по полу, подтянулся на руках и зло сказал:

— Небось тебе за твой полушубок сразу тыщу отвалят!

Раскачал туловище, пересел, опять с силой ударил уключинами по полу и двинулся к солдатам, примолкшим в углу.

Насколько хватало глазу, поле было засыпано людьми и узлами. Грузный гомон тяжело подымался над разъездом. Поезда пробирались ощупью и на стрелках подолгу мешкали, пробуя рельсы, как люди — топкую дорогу. От костров стлался над головами ре-
денький едкий дымок.

В сосновой рощице были разбиты лагеря. За проволокой, сорванной с заграждений и намотанной на стволы, слонялись солдаты в деревянных башмаках, громыхавших по земле, точно бочонки.

В поселке, по еврейским конурам и лавочкам, сновали ртутными шариками кургузые фигурки, то рассыпаясь, то скатываясь голова к голове, плечо к плечу.

— Вы на юг? Никогда не посоветовал бы.

— Но почему, почему? Я говорю вам — золотое дно, золотое дно.

— Что идет?

— Сахарин Фальберга.

— Никогда не поверю! Фальберг идет в Москве.

— Но вот вам человек, вот вам живой человек из Киева...

— Вы можете в Москве в два дня сделать дело, честное слово! Вы верите мне? Вы верите?

— Надо принять в расчет дорогу!

— Дорога, дорога, дорога — заладили про дорогу! Теперь везде одинаково, можете мне поверить. Я сделал сорок тысяч верст.

— Надо иметь риск.

— В Москве имеет риск каждый.

— Вы куда?
— В Варшаву.
— Как там ост-марка?

В старых окопах, заросших травою, ютились люди, похожие на цыган,— с детьми, со старухами, с луженными мисками и битой посудой.

В землянке кричала роженица, под телегой на трех колесах бредил тифозный, над ним — в соломе — играли чумазые двухлетки-девочки.

Полураздетая женщина, с грудями, как пустые мешки, обирала на своем тряпье насекомых. Безногий солдат запекал в золе картошку и суковатой хворостиной оттонял ребятишек.

Люди роились вокруг костров жалкими выводками; и на земле, изрезанной окопами, взрытой разрывами снарядов,— загаженной, осквернённой земле, рождались, умирали, любили, в тоске и злобе взыскали новой, чистой земли.

С востока, из тумана рассветов и сумерек, ощупью приходили поезда, набитые пленными, глаза которых в надежде и тоске устремлялись на запад, домой, на родину. В ловко сшитых русских гимнастерках, круглолицые, как будто все еще пахнущие сибирским кержачьим хлебом, пленные немцы пробирались толпою в карантинные бараки.

С запада, из другого плена, тащились толпы изможденных русских солдат, с глазами на восток, на свою родину, домой. Их тоже отводили в бараки, по другую сторону разъезда, за высокую заграду.

Но, минуя проволоку, заборы и загородки, люди сходились лицом к лицу, и молва о востоке, молва о западе, молва о горе, нужде и надеждах стлалась невесомым костровым дымком.

Когда перед Андреем, в окне вагона, развернулась эта человеческая пажить, его кто-то толкнул. Он обернулся. Позади него стоял скуластый парень в куцем картузе на затылке. Лоб его был гладок, черта исчезла, глаза живо горели, и рот подергивался довольным смешком.

— Это заварили мы! — сказал он, кивнув на муравейник и потирая руки.

От него веяло свежестью крепко поспавшего человека, и он упруго потягивался, хрустя суставами угловатых рук.

— Славная получилась опара. Ишь как пузырится! Я так думаю,— сказал он, сдвинув брови,— побольше бы этаких котлов.

И опять, туго потирая руки, пояснил:

— Братается народишка.

Потом Андрей видел, как на поле он скользнул в кучку людей, посновал там, вынырнул, перебежал к другой кучке, к тре-

тьей. Вслед ему оборачивались то со смехом, то молчаливо. Он засевал в толпе какие-то небывалые мысли и был похож на соринку в бутылке с водой, которую взболтнули: вот быстро шнырнет, вот остановится, вот снова двинется, как от толчка.

Когда переселились в лагерь, дядя Кисель пошел бродить в народ. Здесь обрушилась на него разноречивая молва, точно камни с косогора, и он заметался по полю испуганным зверем.

— Спокойной жизни, дяденька, там нету. Приходит эта самая гвардия — давай лошадь. Крестьянин, сам понимаешь, беззащитный,— дает.

— Мужики у нас нынче вроде разбойников: в каждом дому бомбы держат, в овине — пулеметы, при себе всегда ножик. Без этого не проживешь.

— Брось брехню слушать. У меня скотина пала, вот я и ушел. А жизнь приятная, всего вволю.

— Кабы жизнь была возможная, нешто мы на такие мученья пошли бы? Сил никаких не стало.

— Каждый человек сам себе барин. Что желает, то и возьмет. Говорю тебе, поезжай без сомненья, не раскаешься.

Немцы в русских гимнастерках, загадочно улыбаясь, ломано говорили:

— Россия хорошо, Германия хорошо — все хорошо, когда голова.

Кургузый человечек взвизгивал и негодующе размахивал руками.

— Как вы могли уехать? Вы говорите — тяжело, а я вам говорю — Россия кончилась, вся вышла, больше не имеется! В России скоро одни собаки останутся, кости кушать. Никакого дела там сделать нельзя.

Благообразный солдат из ратников усовещивал:

— Земля — божий дар человеку. Поселил тебя господь на русской земле — она тебе мать. Прими от нее всякую обиду, понеси наказанье. Нет греха больше, как бросить мать свою в юдоли...

В сумерки дядя Кисель вернулся в лагерь, качаясь, точно от ветра. Всю ночь он ерзал на соломе, маялся, как в бреду. Поутру, как только солдаты завозились на нарах, он вышел на середину барака и произнес растяжно:

— Братцы, а братцы! Послушайте меня, братцы. Хворый я человек, а кругом каждый про себя. Совета вашего прошу, куды мне теперь, братцы?

Ему никто не ответил.

Он медленно согнулся, поставил на пол одно колено, за ним другое.

— Христа ради, прошу, братцы, куды мне податься, дайте совет.

Лепендин кашлянул, оглядел нары и сказал:

— Я, братец, смотрел за тобой, пока ехали. Жить тебе осталось недолго, все равно где помирать. А по железке ты место занимаешь, лежишь. В это время которому народу домой надо — может из-за тебя в поезд не попасть...

Не поднимаясь с колен, дядя Кисель спросил:

— Умереть на родной земле, чай, легче, братцы? Умереть-то, а?

Лепендин опять оглядел нары. Никто не отзывался, точно все еще спали.

— Наш тебе совет такой,— сказал Лепендин.— Оставайся тут, потому хорошей смерти человеку нынче нигде нету.

Он поправил под собою лукошко, затянул пояс, отвернулся.

Дядя Кисель постоял еще на коленях, покачиваясь и закрыв глаза. Потом встал, подошел к своим нарам, взял из подголовья полушубок, свернул его и начал старательно увязывать веревкой. Кончив это дело, он задумался.

С нар поглядывали за ним пристально, как за чужим. Он стоял неподвижно, наклонив голову, борода его упиралась в грудь пышным валом, руки растопырились, точно он выронил какую-то работу.

На Лепендина вдруг напал кашель.

Тогда дядя Кисель нахлобучил шапку, взвалил на спину полушубок, взял мешочек и качко, по-мужичьи расставляя ноги, пошел к выходу.

Минуты две после того, как закрылась за ним дверь, было тихо. Потом, один за другим, пленные послезали с нар и гуськом, не глядя друг на друга, покинули барак, миновали лагерные ворота, вышли в поле.

Дядя Кисель колыхался над грудами узлов, скарба, над людьми, затянутыми реденьким костровым дымком. Желтая овчина торчала горбом за его спиной, и он подогнулся под ней, как под непосильной кладью.

Путь он держал назад, в плен.

Скуластый малый шмыгнул откуда-то в кучку солдат, провожавших дядю Киселя глазами, и расколол молчание прочными, как клин, словами:

— Вот какое дело. Я говорю, что кто хочет в одиночку быть, сам по себе,— такой человек в наше время не жилец. Народ теперь зажил миром, по согласию, на равном праве. Этаких людей нам не надо.

И малый махнул рукою туда, где скрылся дядя Кисель.

Лепендин отозвался подголоском:

— Я ему так и объявил: не надо, мол, нам таких, ступай с богом!

Дорога, дорога!

Через трупные ямы, залитые известью, через обрубки тел, ползущие, точно земноводные твари, сквозь вопли, стенанья и стоны; по земле, засеянной смертью,— дорога к жизни.

В вагоне-госпитале, прицепленном к хвосту состава, в худосочные обрезки ног и рук игольно-тонкими шприцами впрыскивали дигален и морфий и в набухшие узлами вены вливали солянные растворы. Пульсы, отбившие положенные удары, наново наполнялись тягучей кровью, губы еще раз начинали шевелиться и опять испускали шепот:

— Сестри-ца, при-еха-ли?..

— Сейчас приедем.

— В ка-кой мы... губер-нии?..

— В Смоленской.

— До Тан-бовской далеча?

— Сейчас, сейчас.

Людям, заполнявшим сверху донизу передние вагоны, не впрыскивали наркоза. Но они качались, как пьяные, словно вдохнув веселящего газу, висли на окнах и навстречу ветру, пахну́вшему житом, гикали несвязные песни. Внезапно проснулось непробудное добро, и друг перед другом люди распахнулись весенними окнами — пособляли увязывать мешки, делились бураками, уступали лавки недужным и хилым,— со смехом и неуклюжей простотой.

Поезд крался переплетом рельсов, по-змеиному выгибая свои зеленые суставы и заползая в щели между разбитых вагонов. Все медленней становился его ход, все больше нагромождалось по сторонам омертвелых поездов, и вот он стал.

Скуластый парень навалился плечом на Андрея и внятно прошептал:

— Смотри-ка.

В пустом вагоне, стоявшем на соседнем пути, германский солдат, оглядевшись по сторонам, быстро вынул из кармана складной нож, отрезал оконный ремень, скатал его роликом, спрятал вместе с ножом в карман и юркнул из вагона.

— Тэ-эк-с,— протянул скуластый,— на-чи-нается!

Он весь задергался от рассыпчатого неслышного смеха, и его глаза оплелись сеткой тонких, как паутина, морщинок. Но вдруг он выпрямился.

Где-то вдалеке треснул разбитым стеклом короткий выстрел.

Скуластый повернулся к солдатам, снял картуз и громко отчеканил:

— Поздравляю, дорогие товарищи, с благополучным приездом на родину.

Точно от этих складных слов рвануло поезд, и все в вагоне весело посыпалось назад.

Андрей ухватился за локоть скуластого и, падая, взглянул в его лицо. Оно светилось ребячьей радостью, и на нем не было ни тени морщин.

— Вставай, вставай, товарищ,— сказал он, подтягивая Андрея за руки.

И тогда полыхнуло на Андрея каким-то зноем, и он втянул его в себя, как утопающий втягивает воздух, и тут же выдохнул с диким воплем.

И весь вагон подхватил стократно этот вопль, и в десятках вагонов, из сотен грудей прозвенел он катящимся железом, вырвался в окна и двери, смял, сломал, задушил грохот поезда и через груды стали и камня понесся в поля, на просторы.

И в вагоне-госпитале, в хвосте состава, возвращенный к жизни капсулой дигалена шепотом спросил:

— До Тан-бов-ской, сестрица, далеча?

— Сейчас, сейчас.

Отсюда было рукой подать до Тамбовской, близко до Ярославской и недалеко до Омской. Здесь все было досягаемо, просто, легко. Здесь была родина.

Солдаты принюхивались к неуловимым движениям ветерка и, точно верхним чутьем, угадывали родные запахи садов, полей и оврагов.

Постепенно, час за часом, редел вокзал.

Люди подкарауливали случайные поезда, забирались в вагоны, под лавки, на мешки, пристраивались на подножках и сцепах и бежали, бежали в просторы, в поля, в Россию.

И когда Федор Лепендин услышал, откуда тянет ручьевскими садами — боровинкой, царским шипом, анисом, и понял, что теперь сам за себя ответчик, он затянул потуже ремни лукошка и на прочных своих дубовых руках запрыгал к вагону, который брали приступом солдаты.

— Пособите, братцы-товарищи, калеке,— заголосил он, подшибая плечами коленки солдат и протискиваясь к вагону.— Пропустите инвалида, будьте милостивы... безногого, несчастного, братцы-товарищи!

Его кто-то приподнял на ступеньки, и он повалился на площадку, как мешок зерна. Через него стали переступать жесткие ноги.

Андрей смотрел на пленных, метавшихся по путям и платформе. Он старался поймать какой-нибудь взгляд. Но глаза шныряли по сторонам, как люди — по полотну дороги,— придавленные бровями, сокрытые, непонятные. Весенние окна, распахнувшиеся навстречу друг другу при первом вскрике радости, внезапно захлопнулись ставнями на кованых болтах.

Все оставалось позади. Трупные ямы, залитые известью, голод, окрики, приказанья, духота бараков, ржавая колючая проволока и оконные решетки — все, что соединяло людей в смирное стадо.

Люди прошли дорогу, люди выбрались на простор. И каждый зажил с надеждой на новую для себя судьбу — на воле, на родине, в России.

Андрей расслышал за своей спиной унывную песню, пересыпанную хрипами надорванных голосов:

Уж ты, господи, ты, небесный отец,
Сыми с воина колюч-зол венец,
Ты стуши-сгони войну-заботушку,
Вороти мужику хлеб-работушку...

Трое слепцов, положив руки на плечи друг друга, пробирались медленно по платформе. Вела их крохотная девочка, отстраняя худой ручонкой встречных солдат.

Головы слепцов были подняты кверху и с каждым шагом дергались на тонких шеях подбородками вперед. Глаза были открыты и — молочно-белые — безостановочно кружились в грязных, немигающих веках. Взгляд этих людей можно было рассмотреть. Над ним не нависали брови. Но он был пуст.

Андрей вспомнил парк Семи Прудов и слепых итальянцев — с глазами, в которых отражались ветки деревьев, вспомнил Мари, отделенную от него лавиной слепцов.

И вдруг он ясно увидел ее прислонившейся, точно привязанной, к дереву, увидел ее руки, бессильно повисшие над землей, ее закрытые натуго глаза. Он отошел к стене, привалился к ней, и руки его повисли беспомощно, как тогда у Мари.

И теперь, как тогда, Андрея отделяла от Мари только дорога.

БЕЗ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО

Конечно, все здесь было чужим.

Когда-то в далекой, далекой Баварии об этом городе учитель географии рассказывал, мягким маятником покачиваясь по классу:

— Он поражает своей дикостью, которую многие путешественники склонны считать красотой. Все противоречия русской

жизни, весь хаос воззрений русского народа обнаружился в архитектуре мрачного и наивного Кремля. Итальянское средневековье смешалось в нем с поздней Византией, и эту смесь нелегко разгадать за монгольской пышностью украшений и надстроек. В настоящее время этот памятник варварского быта окружен азиатским базаром и европейскими домами, построенными по германскому образцу германскими инженерами. Москва — родная стихия русского, но цивилизованный иностранец страдает в этом городе от дисгармонии его частей и раздражающей пышности строений. Курт Ван, что вы можете сказать о городе Москве?

Курт Ван вскакивал и говорил:

— Москва поражает цивилизованного путешественника своей дикой красотой.

— Я сказал: своей дикостью, которую многие склонны считать красотой.

Конечно, в этом городе все было чужим — от церковных куполков, похожих на свеклы, до изогнутой лебедем пролетки извозчика.

Но вечерами, в закатный час, нельзя было не бродить до усталости по опустелым улицам.

Облупленные колонки домиков, добродушные полульвы-полусобаки у занесенных пылью дверей, извитые восьмерками решетки давно опустошенных подвалов беззлобно смотрели на высившиеся амбарами коробки, протыканные бесчисленными окнами.

Каждый вечер Курт ходил по безлюдным переулкам, и каждый раз они заводили его в сокрытые свои излучины, как тайный подземный ход завлекает в свои повороты. И снова и снова он останавливался от неожиданного сочетанья никем и нигде не повторенных линий.

В этот час затоплял переулки колокольный звон, и безмолвие домов углублялось им до тишины подводного яра. И, как в яру, все начинало казаться смертным, стоячим, точно соминый взор, и багровые от заката церкви чудились утонувшим царством.

Тогда Курт выбирался из переулков и шел туда, откуда видны были кремлевские башни. Они выплывали перед ним сумеречные, каким-то певучим венцом исчезнувшего под землей города, и за их неразгаданной осанкой ему мерещился полузабытый бург, обелиском веков лежащий над Нюрнбергом.

Но Курт знал другую Москву и утонувшему в яру царству отводил только закатный час.

Найдется ли в мире город, который держал бы сотни тысяч пудов провианта — во дворцах, лошадиный фураж — в универ-

сальных магазинах, бочки с цементом — в квартирах фабрикантов и железное сырье — на главной улице?

Все, что удавалось собрать по России для Москвы и прибывало на ее вокзалы, переправлялось в центр города и с величайшими трудностями размещалось по ресторанам, танцевальным залам и купеческим особнякам. В центре города грузы перевешивались, перетряхивались, и, разбитыми на мельчайшие доли — каплями, крупицами,— их развозили по окраинным складам и элеваторам, где было больше мышей, чем товаров и зерна.

С утра по мостовым запутанных улиц, через выбоины и ямы, переваливались слонами грузовые автомобили, и от их поступи дрожали каменные дома и лопались оконные стекла. По кругу Лубянской площади, от Мясницких ворот и с Покровки, по спуску Театрального проезда и в Третьяковском проломе слоны налетали друг на друга, рыча и встряхивая клади на своих спинах,— и смотреть на них было так — точно переезжала в Москву неизвестная какая-то, погоревшая планета.

И через Театральную площадь, по Моховой и дальше — по Волхонке, по Остоженке — торопились вспугнутые слонами погорельцы неизвестной планеты — с мешками на плечах, бесконечной вереницей — по той части улиц, которую прежде город уступал трамваям.

На Остоженке, близ Крымского моста, вереница вливалась в белый дом, и вокруг этого дома одинокие фигуры погорельцев копошились перед витринами и щитами для плакатов.

На бульваре, подле будки, торговавшей поддельным мылом и уксусной эссенцией, высился стеклянный ящик с моделями человеческих внутренностей, и мелкие буквы объясняли человечеству назначение почек и селезенки.

Из-за чугунной решетки, подскочив на добрую сажень, лицом к военному складу обращался плакат с колонками цифр, и десятки людей исчисляли, насколько общедоступна и могущественна наука новой России.

Новая Россия!

Это она вереницею пришла в белый дом, где еще недавно чинно размещались лицейские мундиры, и — неустанная — заполонила залы, лестницы, чердаки, каморки. И в сутолоке, целыми днями, в белом доме писался первый пункт союзного договора между могущественными сторонами — наукой и Россией. Был этот пункт нескончаемо длинен, так что в канцелярии без передышки работала фаланга машинисток, и во всем доме не было угла, куда не доносился бы грохот ундервудов, как будто починялась железная крыша.

В подвальном этаже неусыпно вертелись ротаторы, и артель

печатников обливалась потом над тысячами, сотнями тысяч листов, вещавших о неслыханном союзном договоре.

По коридорам и вестибюлям от грохота ундервудов и запаха ротаторской краски полыхала бодрость; и люди бегали, отуманенные цифрами, которыми мерились наука, счастье, человечество, Россия.

В зале с позолоченной мебелью вдоль стен, по растянутым на паркете холстам прыгали женщины и мужчины. На холстах распластался синекожий человек ростом в два этажа, и за ним громоздились развалины гранитных зданий. Чтоб рассмотреть живопись, художники залезали на складные лестницы, под потолок, и покачивались там, как электромонтеры.

Курт Ван голой по локоть рукою расчерчивал воздух.

— Я говорил! Синий куб надо убрать. Зеленый — уменьшить вдвое. Плечо провалилось. Получился калека. Зачем?

Маленькая женщина на весь зал переводила:

— Зачем получился калека?.. То есть не надо, чтобы получился калека, надо уничтожить синий куб и сделать меньше зеленый. Тогда плечо не будет... плечо станет... понимаете?

Женщины и мужчины зажимали в зубах папиросы и, подобрав чумазые халаты, спускались с лестниц на пол.

Курт носился по холстам с кистью в руке и кричал:

— Товарищ, как сказать по-русски: углубите плоскость лобной кости?

Маленькая женщина переводила:

— Товарищ Ван говорит, что надо сделать энергичный лоб.

Тогда чья-нибудь кисть подбиралась к синекожему человеку и приклеивала на его лоб мазок кобальта.

С темнотой, вытерев руки газетами, спускались вниз, и над селедочными тарелками переводчица, смеясь, рассказывала Курту, как ухитряются по одному обеденному талону получить две порции супу.

Курт тоже смеялся, прожевывая вязкий хлеб, и говорил сквозь смех:

— Необыкновенный народ! Изумительный! Насчет супа смешно. А вообще. Как он посмел все это сделать?

Он обводил глазами уткнувшиеся в тарелки лица и снова смеялся.

— Здесь даже суп пахнет вощанкой и ротатором. Сколько пишут! Изумительный народ!

Он нагибался к соседке и, снизив голос, таинственно произносил:

— За всем тем я вижу большой смысл. Очень большой, здоровый смысл.

Когда-то в Кадашевой слободке ютились царские ткачи — люди столь же терпеливые, как и мастера. Из слободы уходили только в пожары, вынося пожитки и полотна на ближние пустыри. После пожаров строились, починяли станки, садились ткать. На пожарищах валялись стервы, их никто не убирал, и над ними кружило воронье, отдыхая на оголенных печных трубах, обугленных столбах, на новых, непокрытых стрехах. Ткачи считали пожары, стервы, воронье своим уделом, изо дня в день, от зари до зари гнулись над скатертями для царской челяди, горели, строились, обучали детей и внуков ткачеству.

С тех пор Кадашева слобода обросла камнем, на юг от нее вырос город, а память о ткачах истерлась. Но, может быть, внуки внуков их ходили еще ко всенощной в церковь Воскресения, что в Кадашах. Как при тишайшем царе Алексее, пробирались они уличками, осеняя себя крестиками, когда из-за угла вылетала стайка ворон. И — как в забытые времена, после пожаров,— выглядывали кое-где на перекрестках оголенные печные трубы.

В Кадашах, у Канавы, бок о бок с богомольцами, может быть, последышами царских ткачей, гнездились ломовые извозчики — озорной, тяжелый народ. В полночь они вывозили по Ордынке дохлых лошадей и сваливали падаль в переулке у какого-нибудь подъезда былого купеческого дома. С рассветом на крышу дома, на железный зонт подъезда садилось воронье, каркало, снижалось на стервы, долбило лошадиные черепа крепкими клювами.

Поутру ломовики, растопырив на телегах ноги рогатками, неслись к вокзалам. Сквозь грохот колес и подков они буйно кричали на вереницу людей, тянувшуюся по трамвайным путям:

— Береги-ись!

— Ве-се-лей, сотруд-нич-ки, весе-ле-ей!

— Нно-оо!

— Сотруд-нич-ки!..

Такой увидел Москву Андрей с первого дня, поселившись в Кадашах, и такой возникала она перед ним каждое утро.

Он знал, что в этом городе, где-то неподалеку от сердца его, в узле переулков, над невысоким домом, точно крыльями стервятника, подстерегающего гурты, развевает концами трехцветное —

schwarz-weiss-rot —
черно-бело-красное —

знамя.

Оно неотступно преследовало Андрея, нависало над ним в тихой прохладе Розенау, врывалось в его бишофсбергскую мансарду и теперь вновь настигло — неумолимое, хищное —

schwarz-weiss-rot —

И вот однажды, свежим полднем, Андрей очутился в переулке, где развевалось это знамя, и вскинул глаза на крышу невысокого дома.

Под флагштоком германского посольства стоял человек и развязывал шнур флага.

Андрей остановился.

Человек спустил флаг, уселся на край крыши, в руке у него что-то блеснуло. В тишине переулка раздался дробный протяжный треск, будто на железную крышу бросили горсть гороху и он посыпался по скату в желоба. Звук повторился раз, другой. Человек поднялся и начал быстро перебирать шнур.

Тогда от трехцветного полотнища, комком лежавшего на крыше, отделилась узкая красная полоса и, как вымпел, задергалась вверх по флагштоку.

На посольской мачте Германии был поднят красный флаг.

Человек подобрал черно-белый остаток флага, скомкал его, сунул под мышку и, присев на корточки, скрылся за коньком крыши.

Во дворе, точно сорвавшись с привязи, заторкал мотор, и в тот же момент за ближним углом ему отозвался другой. Два автомобиля почти столкнулись у ворот. Блестящий, начищенный лимузин выезжал с посольского двора,— и пыльный, помятый торпедо, точно вагонетка шахтера, подлетел к посольству по переулку.

Андрей успел подойти к воротам.

У пыльного автомобиля не отмыкалась дверца, и седоки повыскакивали из машины через борты кузова. Серые куртки германцев и порыжевшие шинели русских вдруг замешались в густую кучу, и нельзя было понять, как могли все эти люди уместиться в одном автомобиле. Дверца блестящей машины медленно открылась, на подножку ступил худощавый гладкий человек.

— Что такое? — спросил он и потянул одной бровью вверх.

Кургузый солдатик, заломив полинявшую бескозырку на затылок, отчетливо объявил по-немецки:

— В Москве из германских пленных образован совет солдатских депутатов Германии.

Гладкий человек опустил бровь.

— Какое мне дело, что образовано в Москве? Прошу дать дорогу моей машине.

— Совет солдатских депутатов Германии в Москве постановил принять все дела посольства бывшей Германской империи.

— Я повторяю, меня не касаются постановления совета, о котором вы говорите.

Гладкий человек легко поднял руку и приказал посольскому солдату, стоявшему под ружьем:

— Расчистите мне дорогу и закройте ворота.

Вместо того чтобы исполнить распоряжение, солдат показал ружьем на крышу.

Гладкий человек медленно поднял голову.

Тогда кто-то из приехавших крикнул:

— Назад!

Гладкого человека протолкнули в дверцу лимузина, захлопнули ее, навалились, как по команде, на радиатор и крылья плечами и вкатили автомобиль назад, во двор. Шофер помогал направлять машину рулем, и по обветренному лицу его скользила чуть приметная кривая улыбка.

Андрей качнулся к солдату под ружьем.

— Что случилось?

Каменный холодный взгляд уперся в Андрея, и тонкие губы старательно выговорили изломанные слова:

— Тофарытш нье снает? Германиа органисофаль ссофет. Германиа Россиа фместье.

Андрей не дослушал солдата. Он смотрел во двор, где перед вышедшим из автомобиля гладким худощавым человеком толпились германские куртки и русские шинели.

Какой-то солдат растолкал толпу, подошел к гладкому человеку и бросил к его ногам черно-белую полосу флага. Гладкий человек не шелохнулся, и материя легла перед ним траурным подножием.

Андрей посмотрел на солдата, который принес и кинул обрезок флага.

— Курт! — вскрикнул он и бросился в ворота.

Солдат вглядывался в него, пока он перебегал двор, потом отступил на шаг и спросил тихо:

— Андрей?

— Курт! Курт!

Тогда солдат рванулся к Андрею, зажал его голову в ровных, прямых своих руках и еще тише проговорил:

— Андрей, милый друг...

— Если бы я просидел это время где-нибудь в мастерской, может быть, мир казался бы мне по-прежнему чем-то цельным, как мы говорили и понимали раньше — человечество, мир,— глядя сверху. А я сидел внизу, под полом, видел, как все это устроено. В общем — театр. Ничего цельного. Человечество — фикция.

Курт раскурил тоненькую прожженную трубочку, вытянул ноги, потом плавно, размеренно продолжал:

— Раньше все было укомплектовано, как маршевая рота. Человек пригнан к человеку, как доска к доске в двери. Теперь все расползлось. Между досок — щели. Слепому видно, что все врозь.

Он засмеялся.

— Ты никогда не пробовал писать?

— Нет, не пробовал,— сказал Андрей.

— Я тоже нет. Но я как-то думал, что романы пишут так же, как строят ящики. Надо, чтобы каждая доска всеми сторонами сошлась с другими досками. Так, по крайней мере, писали романы до войны. Теперь и в романе нельзя, наверно, в одном месте свести больше двух человек разом. Клей не годится, не держит.

— Старый клей? — спросил Андрей.

— Конечно, старый. Через колючую проволоку окопов, как через лупу, это ясно видно. Обо всей этой музыке ты думаешь с содроганием — бомбы, трехлинейки, особенно гаубицы. Но я думаю, если бы не весь этот грохот, мы долго еще не образумились бы. А теперь наша голова ясна и сердце проветрено.

Курт зажег спичку, бережно поднес к трубке, снова раскурил.

— Вот моя история, и вот мои выводы. Те доски, какие еще держатся, надо разъединить, может быть, разбить, потому что они искусственно склеены и потому что таким клеем нельзя склеить людей в человечество. А в конце концов в этом наша цель. Согласен?

— Согласен,— отозвался Андрей.

Курт подошел к нему и взял его руку.

— Ну вот. Хорошо. А теперь прошу тебя сказать мне прямо, что я был скотиной... в Нюрнберге, в трамвае.

Андрей обнял его и рассмеялся.

— Нет, нет! — воскликнул Курт, отстраняясь.— Ты должен мне сказать, что ты тогда думал!

— Мне было страшно. Я чуть не плакал, когда вспоминал тебя... каким ты тогда был...

Курт стукнул себя кулаком по голове.

— А-а-а! А-а-а! Какой я идиот! Иди-и-от!

— Дело не в этом,— остановил его Андрей.— Ты мог думать тогда по-другому.

— Я думал как скотина.

— Сейчас ты думаешь иначе. Но ни тогда, ни сейчас тебя не пугала война. Переменилось ли в тебе что-нибудь? Я остался прежним: мне отвратительно само слово «война».

— Подожди,— произнес Курт,— подожди, подожди. Я понимаю тебя... Но неужели ты допускаешь, что я не задумывался над этим? Есть разные войны! И чем ты уничтожишь войну, если не войной же? Не сопротивлением войне? Ведь нет другого пути, нет, нет, нет!

Он топнул ногой и закричал:

— Кровь, кровь — вот что тебя пугает. И эта вечная опаска,

что зло рождает зло. А что ты можешь предложить мне взамен зла? Из меня тянут жилы, по ниточке, без остановки всю жизнь. И мне же предлагают строить эту мою жизнь на добре, потому что — зло рóждает зло. Откуда мне взять добро, если кругом — зло? Докажи мне, что злом нельзя добиться добра.

— Этого я не могу доказать.

— Значит, путь один?

— Значит, да.

— Тогда о чем же ты?

— О том, что это страшно и... унизительно,— проговорил Андрей с таким усилием, точно его душили слезы.

Курт сжал его руки.

— Милый, милый друг. Ты действительно не переменился. Я часто вспоминал тебя вот таким — с этой доброй, растерянной улыбкой. Мне было бы даже жалко, если бы ты утратил ее. И, послушай, я — настоящий твой друг, навсегда. Помнишь Нюрнберг, с холма? Я тогда испытал счастье. Ты знаешь, я никогда не жил с женщиной, то есть подолгу и хорошо. Что это за чувство? Если такое, как тогда, на холме,— и всегда такое, постоянно,— нужно, наверно, родиться с особым даром, чтобы выдержать. Я говорю о том восторге, помнишь? Это должно изнурять... Ты дополняешь меня. Мне хорошо, когда я знаю, что ты вот такой, милый друг, с твоей растерянной улыбкой. Теперь здесь, в Москве, после всего, что произошло, я хочу, чтобы мы повторили нашу присягу. И чтобы ты забыл то, что нужно забыть.

Андрей притянул Курта к себе, охватил его широкую спину.

— Я помню только одно, Курт: как мы сказали друг другу *навсегда.*

— До самой смерти! — произнес Курт, с какой-то строгой пристальностью вглядываясь в Андрея.

Потом он улыбнулся и, неловко складывая слова, точно чтец, выронивший книгу, добавил:

— Школьническое или не знаю какое в чувстве к тебе у меня. Дружба, мистическое что-то. Но мне не хочется бороться с нежностью к тебе. Хотя подсознательное — смешно.

Он помолчал. Потом выправился и опять заговорил, как по книге:

— Я считаю, что не должно быть чувств, недоступных пониманию. И, конечно, все чувства следует подчинить раз навсегда рассудку. Только в этом случае за бессмысленностью видишь смысл и за страданием — радость.

— Однако вот что,— перебил Курт самого себя.— Я рассказал обо всем, что пережил, а о тебе не знаю ничего. Рассказывай. Я буду молчать. Ни слова больше. Почему ты скучен?

Андрей кивнул головой на окно.

В желтоватых сумерках темнел осыпавшийся Нескучный сад, колебались, словно бумажные, фермы Крымского моста, плыла под него черная Москва-река. И над садом, над мостом, рекою, непроницаемой для глаз плитой, кружила воронья стая.

— Ужасно. Этот призрак заслоняет собою все. Голод! Чтобы переступить через него, нужно быть очень смелым. И что за ним?

— Эх ты, революционер! Стыдно, Андрей.

— Я — революционер? Мне до сих пор совестно пройти мимо нищего, не подав ему милостыни.

— Тем не менее у тебя сегодня дрожали руки, когда солдаты в посольстве говорили, какого жару они зададут dem oberen Zehntausend [1] в Германии.

— Ах, Курт, Германия... Как мне хотелось бы очутиться сейчас там...

Курт настороженно взглянул на Андрея и сухо проговорил:

— Там тебе нечего делать. Это от усталости или непонимания, что твое место здесь, в России. У меня мелькнула мысль... Послушай. Меня назначают в глушь, эвакуировать пленных, образовать из них совет. Это в Семидоле — заброшенный, забытый угол. Поедем со мной. Там хватит работы, нужной для всех. Поедешь?

— С тобой — да,— ответил Андрей, не отрывая глаз от неподвижной точки где-то в пространстве, за окном.

— Прекрасно, добрая душа! Мы заживем с тобой великолепно, мы сдвинем горы! Брось смотреть на ворон! Смешной человек! Оставайся ночевать, чтобы лишний раз не слышать над головой зловещего карканья. Чудак! И говори же, говори обо всем, с самого начала, живо!

Он затеребил Андрея за плечи, оттащил его от окна и бросился разжигать прокопченную керосинку, расшвыривая попадавшийся под ноги хлам. Комната Курта, здесь, в Москве, на чердаке бывшего лицея, напоминала его нескладную нюрнбергскую мансарду.

И ночью, когда Курт и Андрей, закрывшись шинелями, легли на узкой клеенчатой кушетке, похожей на те, какие стоят в приемных покоях,— московской беззвучной ночью Андрей рассказал своему другу о Мари словами, которые так просто приходили в Нюрнберге.

Он рассказал о встрече зимою на Лауше, и о свиданьях в парке Семи Прудов, и о том, как отпирал дверь своей комнаты в условный час и как жаркими ночами кралась Мари по променадам.

Он дошел до последней встречи, до обещанья, которое дала Мари в последнюю минуту.

---

[1] Верхним десяти тысячам, то есть «верхушке» общества *(нем.)*.

Тогда Курт дотронулся до его груди и так же тихо, как говорил Андрей, почти шепотом, сказал:

— Я понимаю, почему ты хочешь туда.

И так как Андрей затих, спросил, погодя несколько минут:

— Значит, самое большое в твоей жизни за эти годы — любовь?

Андрей сказал:

— Да.

И, погодя опять несколько минут, в застывшей ночи, в темноте, произнес Курт:

— А в моей — ненависть.

ЯГОДЫ

Вводить читателя в заблуждение насчет названия этой главы — нет смысла. Главы, посвященные цветам, не имеют особой связи с описанным в дальнейшем. Всем, конечно, известно, что за цветами наступает пора ягод, и одно сопоставление этих слов может зародить мысль о тенденциозности романа.

Но мы далеки от какой бы то ни было тенденции и, чтобы устранить всякие сомнения на этот счет, сразу приводим документ, побудивший нас столь двусмысленно назвать эту главу и совершенно необходимый для целей, сокрытых от поверхностного глаза.

В разгар лета на столбцах всеми уважаемой «Утренней газеты Бишофсберга» появилось следующее воззвание:

ВСЕ В ЛЕС ПО ЯГОДЫ!
НЕ ДАВАЙТЕ ГИБНУТЬ ДОБРУ!

Германские женщины! Да будет это слово услышано каждой разумной патриоткой. Все должны помочь великому делу!

Наше обращение касается особенно домашних хозяек небольших городов и женских союзов и объединений. Устанавливайте постоянные сношения с деревнями и сельскими общинами, побуждайте тамошних бедных жителей собирать лесные ягоды!

Сельские общины должны позаботиться о том, чтобы, с согласия лесничеств, сбор ягод происходил вполне систематично. Ни в коем случае не возлагайте этого большого дела на одних детей! Следите за тем, чтобы ягоды не счесывались с кустов, а собирались руками. Счесывание вредит будущим урожаям, и, например, черника оправляется после него только через несколько лет. Строгое блюдение этого совета сбережет также много труда по очистке ягоды от листьев перед варкой.

Система, применяемая для собирания ягод в Фогтланде, кажется нам наиболее целесообразной. Взрослые, опытные и знающие местность женщины руководят там группами детей. Получив от лесничества разрешение на сбор ягод, такие группы рассыпанным строем при-

ступают к работе, снося найденные ягоды в заранее приготовленные корзины. Сбор начинают ранним утром и заканчивают к полудню, до наступления жары. Ягоды продаются затем на вес. Труд оплачивается в зависимости от урожая. Оптовая поставка сберегает время, которое обычно тратится на взвешивание мелких партий. Женщинам-руководительницам выдаются деньги, чтобы, если нужно, они могли поехать по железной дороге вместе с детьми. Это очень много значит — проехать в поезде хотя бы один конец утомительного пути.

Регулируйте спрос и предложения. Но будьте бережны с излишним трудом. Коль скоро покрыта потребность частных хозяйств, лазаретов и пр., отправляйте ягоды кратчайшим и выгоднейшим путем в соседние большие города. Самое лучшее — запродать ягоды какому-нибудь оптовому торговцу или консервной фабрике, так как только соответствующая специальная упаковка гарантирует безукоризненный транспорт.

Помните, что ни одна ягода не должна погибнуть в наших отечественных лесах! Ягодные изделия питательны и дешевы.

Германские патриотки, дело за вами!

С Лаупе дул холодный, колкий ветер, по камню и асфальту неслись шумливые хороводы листьев. Стоял ноябрь.

Девятый день его прошел сурово и просто, как все дни до него — в скудости и нужде. Улицы бежали нескончаемым своим бегом, ничто не нарушало устава рабочих часов.

И только на одну минуту и в одном месте — неподалеку от ратуши, в тесном пологом переулке — жизнь дрогнула и приостановилась.

В этом переулке помещалась батальонная кухня, и солдаты, получив пайки, с хлебом и котелками в руках, разбегались по своим отделениям, расквартированным в соседних домах.

Какой-то медлительный солдат, тяжело ступая и раскачиваясь, мрачно смотрел в свой котелок, овеянный сероватым клубом пара. Его обгоняла торопливая, разбитная молодежь, перебрасываясь криками и посвистывая. Солдат шел не спеша. Вдруг он остановился, поднес котелок к лицу, подумал, потом размахнулся и швырнул посуду на дорогу, отрывисто и зычно крикнув:

— А!

И сразу весь переулок замер — молодые солдаты, женщины с детьми на руках. Все посмотрели на котелок, качавшийся на круглом боку, на желтую жижу, заструившуюся между камней, на сероватый парок, подхваченный и рассеянный ветром. Затем взгляды перебежали на солдата и застыли на нем.

Он шагнул на дорогу к пустому котелку, медленно нагнулся, поднял его и так же не спеша и грузно, как прежде, пошел своей дорогой.

Никто не проронил за все это время ни звука, и каждый двинулся своей дорогой молча, как будто ничего не случилось, и переулок начал жить по-прежнему, разве чуть-чуть медленней.

Так прошло девятое ноября в Бишофсберге.

Но на другой день ветер круто переменил направление.

На другой день вдова кавалера Железного креста Марта Бирман из Тейфельсмюле приехала на могилу своего мужа. Она выбрала сухие листья, набившиеся в капустку, которой была обсажена могильная насыпь, положила на нее вересковый венок и опустилась на колени. Сначала она молилась, потом стала озираться и прочитывать дощечки черных крестов, по-военному ровно выстроившихся на солдатских могилках. Единственный камень высился над строем этих крестов — братский памятник умершим воинам. На камне было высечено:

СПИТЕ СПОКОЙНО, ГЕРОИ!
МЫ БЛАГОДАРНО ПОМНИМ О ВАС!

Марта Бирман прочла эту надпись, повторила ее вслух, и слова отдавались в ней какими-то глухими ударами:

— Мы благодарно помним о вас.

— Мы помним о вас.

— Мы помним.

Она вышла с кладбища и у ворот замедлила шаг, чтобы обдумать, куда ей направиться.

Из города по широкой прямой улице приближалась кучка женщин, одетых в траур. Они держались тесно, посередине дороги, шли стремительно, и ветер подгонял их, вздувая юбки и теребя длинные черные вуали.

Резкий говор женщин скоро долетел до Марты Бирман, но она не уловила ни одной раздельной фразы в том, что донес ветер, и стала ожидать, когда женщины подойдут ближе.

Ветер подхватывал их голоса, бросая вверх, и, точно ветром, поднимались над головами женщин руки, грозили кому-то и вытянутыми пальцами показывали вперед.

Обрывки, куски речей закружились над Мартой Бирман:

— У них все благополучно...

— А у них один ответ, на все один ответ!

— ...конца не видно.

— Все равно!

— Пускай, пускай!

— ...запрятали, благополучно...

— ...спокойствие. А мы что — покойники?

— На запоре, под замком, чтобы никто...

— Убойная скотина.

— Прятать?

— ...тогда увидим...

Марта Бирман ждала, что шумная процессия подойдет к воротам кладбища. Она стояла вытянувшись, как на привязи, стараясь в ломких фразах поймать какой-нибудь смысл. Но женщины, все ускоряя шаги, двигались мимо кладбища к Бисмарковой аллее. Внезапно из хаоса голосов вылетели ясные слова:

— Эй, божия вдова! Твой муженек лежит, видно, в надежном месте?

Чья-то рука показала на кладбищенские ворота, и опять тот же ясный голос позвал:

— Пойдем-ка с нами воскрешать мертвецов!

И — точно перерезали привязь, не пускавшую Марту Бирман,— она сорвалась и побежала к толпе.

Ее спросил кто-то на ходу:

— Военная вдова?

— Да,— ответила она, задыхаясь от бега и неожиданного волненья,— вдова кавалера Железного креста.

— Несчастная! — раздался голос.

— Пусть они вешают свои кресты собакам! — услышала она.

— Мы идем в больницу, за калеками! — прокричали ей.

— Может быть, наши мужья живы?

— Они держат взаперти калек, чтобы мы их не видели.

— Может быть, они держат там наших мужей?

— Чтобы у нас не портились нервы!

— У нас уже давно нет нервов!

— С тех пор как у нас отняли мужей...

— Пора кончать войну!

Марта Бирман рванулась вперед, обежала тесную толпу, встала лицом к женщинам и надсадно крикнула:

— Стойте, стойте! Я знаю, что в этой больнице! Женщины, несчастные женщины! Мой муж был тоже солдат. Ему оторвало руки и ноги, он ослеп и оглох, он не узнал меня, когда я пришла к нему, туда, в больницу, перед смертью. Теперь он лежит вон там. Я знаю. Весь дом набит безногими, безрукими. Пусть выпустят их, пусть покажут, пусть!

Ее перебили пронзительные крики:

— По домам раненых!

— На улицу калек! Пусть все видят!

— Мы будем их возить по паркам и театрам!

— Пусть смотрят!

Марта Бирман показала на кладбище:

— Вон там целый город мужчин! Там мой муж, Альберт. Мой муж. И там написано: «Мы помним о вас, мы помним».

У ней вдруг перекосился рот, и визг ее разодрал все крики:

— Я помню тебя, Альберт! Женщины, женщины!

Ветер рванул и поднял вопли, стенанья, рванул длинные креповые вуали, и женщины в трауре бросились бежать.

За их траурной толпой, закруженной ветром в воронку, неслись в одиночку и кучками женщины, слетевшиеся неведомо откуда, точно листья в разгар листопада.

Ветер дул к аллее Бисмарка. .

И когда сквозь оголенные ряды лип, подстриженных под кофейные чашки, многогранным хрусталем засветились окна больницы, женщины-одиночки и кучки женщин слились в сплошное озеро голов, и черными гребнями взмывались над озером креповые вуали.

— Женщины, жен-щи-ны!

Благополучный дом взирал на волнение женщин, слушал их визги и неколебимо приятно показывал свои оштукатуренные стены под кирпично-красной черепицей крыши.

Женщины сгрудились в подъезде, и тяжелая, как храмовые врата, дверь плавно и широко растворилась.

Какой-то человек в блистательно-белом халате, выбежав навстречу толпе, прокричал с отчаянием:

— Пощадите раненых, ра-не-ных, безумные!

И в ответ ему сотня голосов закидала надрывно:

— Мы пощадим!

— Мы знаем!

— Пощадите нас!

— Пощадим!

— Пощадим!

Куда исчезли запретительные надписи, параграфы, разделы и пункты? Кто попрятал четко урисованные дощечки с постановлениями, приказами и выписками из правил? Где пропали люди в белом, долгом которых было блюсти параграфы, постановления и порядок?

В коридоры, пронизанные сиянием начищенного бетона, белых потолков и стен, ворвались женщины в черном. С ними влетело в палаты и залы уличное беснованье, и впереди них, над ними, удесятеренные простором коридоров, неслись слезные вопли Марты Бирман:

— Я по-о-мню, Альберт! Я помню!

И потом:

— Вот здесь лежал мой муж, мой муж, женщины!

И снова:

— Я по-мню, Альберт, я помню!

Тогда емкие мужские голоса замешались в стенания женщин:

— Вынесите нас на улицу!

— Покажите нас людям!

— Несите меня в кресле,— пусть посмотрят, что такое война! Вот, вот, смотрите, что такое война!

— Возьмите всех, кого можно поднять с постели!

И какой-то обмотанный бинтами чурбан гулко орал сквозь черную дыру, зиявшую в марле там, где мог быть рот:

— Покажите меня, я умею ходить! Покажите меня, я хожу!

В распахнутых халатах, в бинтах, бандажах, с гипсовыми перевязками, на клюках и палках раненые ковыляли и прыгали из палаты в палату, созывая:

— Кто может — на площадь, в город!

— Кто может — поднимайся!

А из палат отвечали этому зову немолчные стоны и проклятья.

И вот толпа женщин с визгом и воем подняла над головами кресло и двинулась к выходу. В кресле на подушке полулежал человек с толсто забинтованным задом. Подножка кресла была открыта и пуста. Левая рука калеки висела привязанной за шею. Правой он слабо помахивал, то показывая на свое утолщенное перевязкой туловище, то грозя кому-то в пространство.

Перед фасадом больницы шествие долго колебалось, обрастая толпой. Женщины выкатывали на улицу кресла, коляски, стулья, усаживали в них раненых, и раненые размахивали костылями и что-то выкрикивали неслышными хрипами. Молодой солдат, скинув с одного плеча мундир, поднял поблескивавшую никелем и лаком руку, и следом за ним раненые, державшиеся без помощи женщин, заголили стальные, картонные, кожаные руки, и патенты заторкали, заскрипели, заныли своими пружинами и рычагами.

И тогда толпа взвыла неистовым разноголосым воем и, подняв на плечи калек, с креслами, стульями, носилками и протезами в руках, тронулась по аллее Бисмарка и дальше — по улице мимо кладбища, и дальше — на площадь ратуши.

И впереди толпы, со взмытой ветром креповой вуалью, как с флагом, шествовала вдова кавалера Железного креста Марта Бирман из Тейфельсмюле.

Это был странный день.

«Утренняя газета Бишофсберга» неожиданно утратила присущее ей красноречие и с большим трудом, как сильно заикающийся человек, пробормотала что-то о волнениях в имперской столице. Редактор жарко высказывался за необходимость повышения почтового тарифа, и фельетонист описывал геропческую защиту Камеруна колониальными войсками. Весь остаток номера был заполнен божественными пустяками.

Фрау Урбах, усталая от утреннего благотворения (по утрам она увязывала пакетики с сигарами для больных и раненых), присела перед окном, выходившим на площадь. Часам к двум вокруг ратуши начал собираться народ, и на выступы здания, на фонари и трамвайные столбы полезли мальчишки. Фрау Урбах спросила у горничной, что могло означать такое оживление. И так как горничная ничего не знала, она решила:

— Наверное, какая-нибудь победа.— И заметила недовольно: — Вечная история: власти узнают о событиях после всех. За всю войну ратуша ни разу не вывесила вовремя флагов...

Площадь мерно заполнялась народом, сыпавшимся изо всех улиц, дверей и ворот. Толпа становилась густой, и люди обращались лицом к улице, которой фрау Урбах не было видно.

Все, что произошло затем, развернулось с удивительной, почти невообразимой быстротой.

Откуда-то налетела стайка газетчиков, рассыпалась по площади, и быстрые, звонкоголосые продавцы засновали в толпе. Народ колыхнулся. Маленькие белые листочки заплескались над головами и побежали по рукам. Раскаты придушенного гула покатились из конца в конец площади.

Фрау Урбах позвала горничную:

— Сбегайте скорее вниз и купите телеграмму. Произошло что-нибудь исключительное!

И когда захлопнулась дверь, она произнесла самой себе, что с нею случалось очень редко:

— Может быть, мир?

В это время толпа подалась к улице, которой не видно было фрау Урбах, и, скучившись там, отринула назад, под напором плотной, сбитой из человеческих тел стены. Поверх этой стены колыхались кресла с непонятными комьями на них, которые шевелили какими-то подобиями голов и рук. Вдруг все запуталось в вихре бумажных листков, шляп, палок, зонтиков.

В комнату вбежала горничная и испуганно протянула фрау Урбах помятый листок.

Черным по белому, даже не просто черным, а иссиня-черным, на листке стояло слово:

Революция.

И не где-нибудь в России или в Китае — в чем не было бы ничего необычного, а

в Германии,

что было уже не только необычно, но даже

сверхъестественно.

Листок был экстренно выпущен социал-демократической газеткой.

На правой его колонке сообщалось об отречении и бегстве императора. На левой — о провозглашении республики. Внизу, через обе колонки, протянулась надпись, смысл которой был ничтожен по сравнению с бегством императора и провозглашением республики.

Но слова прыгали в глазах фрау Урбах, и смысл их путался. Она соединяла кусочки одного сообщения с обрывками другого и восклицаниями третьего. Получался как раз тот сумбур, который должен был объяснить происшедшее, но не объяснял его: отречение... выборы... республика... собрание... конец... учреждение... бегство... мир...

Ее глаза задержались случайно на строках о выборах в ландтаг, или в какой-то новый рейхстаг, или в какое-то конституционное собрание — разве это важно? В этом рассыпанном наборе слов, в этой болтовне она прочла слово — Урбах. И потому, что все время, пока листок дрожал у ней в руках, она думала об одной себе, о своем имении, о своем будущем, внезапно она стала не только видеть, но и понимать. И она осмысленно прочла:

> ...наш комитет выставит в числе прочих кандидатуру члена партии Урбаха из Лауше, в течение двадцати лет поддерживавшего социал-демократическое движение не словом, а делом. Мы не должны забывать, что член партии Урбах из Лауше, никогда не проявлявший себя общественно, сделал для...

Фрау Урбах откинулась на спинку кресла и закрыла глаза руками. Помятый листок соскользнул на пол.

Вот оно, возмездие... Его нельзя предупредить, его нельзя избегнуть, возмездие знает свой час.

Теперь, только теперь — к концу жизни — становится понятным этот человек, его таинственные проекты, спрятанные в шкафах, его запертая библиотека, его необъяснимые отлучки из дому. Все это делалось за спиной фрау Урбах, в ее доме, на ее деньги.

Теперь, только теперь становится понятной ее дочь — его дочь, дочь Урбаха — Мари, с вульгарными поступками, с упрямством и плебейским своеволием. Теперь поверишь темным слухам, которые свились вокруг Мари. От этой девчонки можно ожидать всего. Ведь она — дочь Урбаха! В ней нет ни одной кровинки фон Фрейлебен!

Теперь понятно все. Возмездие...

О, это опозоренное имя — фон Фрейлебен! Как могла она решиться загрязнить кличкой Урбаха честь и достоинство своего первенца, единственного, последнего ее крови, ее гордость — Генриха Адольфа?

Бежать! Бежать, как император... отречься от дома... от Урбаха. Конец... возмездие...

Фрау Урбах приподнялась, чтобы приказать укладывать вещи, чтобы собраться и уехать. Надо было спешить. Она выпрямилась, как стальная полоса, оправила платье, взяла в руку палочку с резиновым наконечником.

В этот момент вошла горничная, подала фрау Урбах телеграмму и повернулась, чтобы уйти.

— Погодите, вы мне сейчас понадобитесь,— сказала фрау Урбах и, как деловой человек, привычно вскрыла и развернула телеграмму. Текст ее был краток:

Обер-лейтенант Генрих Адольф Урбах 1 ноября в бою под Анкошем пал геройской смертью.

Адъютант штаба полка.

Фрау Урбах пропорола телеграмму ногтями, медленно согнулась и села в кресло. Потом она дернулась всем телом, точно ее что-то ударило снизу, и выкинула вперед больную ногу в шагреневом башмаке.

В ее глазах, обращенных к окну, на секунду отразилась мелькающая суета площади, и она осталась неподвижной.

Это была толпа.

Демонстрации, которые устраивались союзами и обществами Бишофсберга, демонстрации с лампионами и оркестрами равнялись в шеренги, роты, батальоны, и дети шествовали игрушечными полками, и женщины — сомкнутым строем, точно в турнгалле. Но это была толпа.

Дети и женщины, солдаты и бюргеры, калеки, нищие, мусорщики, рабочие, модистки, выбежавшие из мастерских, и батраки, приехавшие с ферм, неслись среди домов пущенной по ветру колодой карт.

Над ними не развевалось ни одного флага, и ни одна труба не созывала их к маршу, но какое-то невидимое, радостное и страшное знамя влекло их по площадям, променадам и улицам.

Мирные люди, из которых тысячи знали друг друга в лицо и сотни распивали за одним столом свою утреннюю кружку пива,— вдруг обернулись париями, и перед ними захлопывали двери, замыкали магазины, прятали базарные лотки, корзины и тележки.

Какой-то бюргер, все еще веря в силу установленных вещей, как отец еще верит в свою власть, когда сын впервые безбоязненно выкажет непослушание,— какой-то бюргер, заперев свою табачную лавочку, вывесил на двери картонку с объявлением:

ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ.

В самом деле, не могли же люди, проснувшись утром десятого ноября, сойти с ума! И если они неслись по дороге и тротуарам без видимого смысла, то, конечно, только потому, что ни на дороге, ни на тротуарах не было написано:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ
НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ.

Из-за такой непредусмотрительности муниципалитета уличное движение оказалось нарушенным настолько, что всех пешеходов, куда бы они ни направлялись, поворачивало в одну сторону и, точно опавшие листья, несло к цитадели.

И вот суровая, рыхлая, как старый генерал, цитадель открылась глазам толпы. Поседевшая крыша ее была насуплена, и застегнутыми на все запоры стояли ворота.

Толпа замедлила свой бег, толпа почти остановилась.

Но толпу собрали женщины, и голоса их были пронзительней сигнального рожка.

— Женщины! Сюда прячут немецких солдат, которые не хотят идти в мясорубку!

Сигнал ударился о крышу цитадели и, отскочив, упал в толпу.

Его проглотил раскатистый и гулкий бас:

— Солдаты! Здесь сидят ваши друзья!

Пауль Геннинг, подняв над головами зонт, гневно указал им на решетчатые окна, вырвался из толпы и побежал через площадь, не опуская зонта. Тогда какой-то молодой солдатик, обернувшись к толпе, весело скомандовал:

— Ро-та! Вперед, за капитаном! *В зонты* цитадель!

На эту команду из толпы выбежали солдаты — зеленая молодежь еще не обученного набора, с расплывшимися от смеха лицами. Они облепили жужжащим роем командира и кинулись к воротам цитадели, следом за величественным, торжественным Паулем Геннигом.

Бежать было весело, как в недавнем детстве, когда в цитадели развешивался фураж и она беззлобно смотрела на ребячьи шалости вокруг своих стен.

Подбежав ко входу, солдаты принялись стучать в ворота кулаками, с криками, свистом и смехом. Глаза Пауля Геннига метали искры, грудь часто и высоко подымалась,— на голову выше солдат, он озирал их почти вдохновенно и размеренно бил зонтом по воротам. Он был похож на учителя, окруженного озорными школьниками,— в черном одеянии, волосатый и гневный среди серых курток безусых веселых солдат.

Может быть, все события перед цитаделью так и окончились бы этим школьным буйством, если бы спустя минуту в воротах не распахнулась калитка.

Это было так неожиданно, что солдаты, точно от взрыва, отпрянули назад.

Калитку заслонил массивный офицерский монумент.

Он словно ушел в землю ногами, будто сверху что-то ударило его по плечам, и вперил белый взор в пространство над бескозырками солдат. Нижняя квадратная челюсть его вдруг отвалилась, затянутый живот дрогнул, и сиреноподобный вой повис над площадью:

— Смир-но-о-о!

Но в этот миг передний вал толпы, бежавшей к цитадели, накатился на солдат, подмыл их и бросил на офицера. Монумент оказался вовсе не так прочно врытым в землю: зажатый людьми, он громоздко повернулся вокруг своей оси, и его отвалили в сторону. В давке он попытался расстегнуть кобуру револьвера, по его руке ударили чем-то острым, он огрузнел, размяк, и толпа повалила его себе под ноги, как мешок.

Пауль Генниг нагнул голову, чтобы войти в калитку, когда мимо него проскользнула юркая девушка. Под натиском солдат он ввалился за ней в калитку и тут же почувствовал, как тонкая рука охватила его шею и потянула книзу. Сквозь ропот толпы за воротами он расслышал прерывистый голос:

— Послушайте, Генниг! Мы должны освободить monsieur Перси!

В бледном свете, который то закрывали собой, то пропускали в калитку люди, он уловил черты знакомого лица.

— Фрейлейн Мари? Вы, вы здесь?

— Надо открыть ворота! — крикнула Мари.

Кто-то загремел засовами, кто-то закричал: «Ключи от камер! Где ключи от камер?» Кто-то вдалеке затопал по каменным плитам, убегая в темноту. А в калитку не переставая сыпались люди, как матросы в шлюпку под ружейным огнем,— быстрые и одинаковые.

И вот ворота тяжеловесно развели свои створы, и вместе со светом в цитадель полился густой гудящий человеческий поток.

Солдаты, ворвавшиеся в цитадель первыми, волей-неволей продвигались вперед по запутанным темным переходам каменного котла. Где-то в глубине этого котла, бурлившего придушенными голосами, то взлетал, то падал железный звон, точно рвали на части огромную связку ключей. Потом из распахнувшейся дверп плеснуло на толпу ярким светом, и тут же один за другим зазвенели замки. Камеры открывались опытной рукой.

Когда из первой раскрывшейся клетки неуверенно вышел человек, молодой дребезжащий голос прокричал:

— Ур-рра-а!

Толпа мгновенно подхватила крик. И с этой секунды, пока отпирались камеры, по коридорам и лестницам крепости непрестанно перекатывался многоголосый рокот:

— Ур-р-а-а!

Толпа забиралась все выше и выше, все глубже заводили ее переплетавшиеся переходы цитадели, но передняя кучка людей, отмыкавших двери, таяла с каждым новым поворотом коридоров: вместе с освобожденными пленниками народ устремлялся на площадь.

Мари, Пауль Генниг и три-четыре солдата дошли до узкого тупика под крышей здания.

Тюремщик отпер дверь ловко и привычно: замки были повсюду одного образца, новые, как всё в цитадели, кроме камня стен и полов.

— Последняя,— произнес тюремщик.

— Теперь вы можете просить о государственной пенсии,— заметил Пауль Генниг.

— Может быть, вы похлопочете за меня? — отозвался тюремщик.

Мари вгляделась в человека, стоявшего посреди камеры.

— Выходите, вы свободны! — крикнул один из солдат.

— Ур-ра! — поддержал его другой.

Полумрак тупика обрезал этот возглас, как ножом. Здесь было тихо, и казалось, что потолок медленно опускался на головы. Все смолкло.

— Это не он! — сказала Мари.

— Я говорю вам,— сказал тюремщик,— заключенного по имени Перси у нас не значилось.

Солдаты вывели человека из камеры под руки.

— Перси? — вдруг тихо спросил он.

— Да, мы ищем бельгийца Перси, которого посадили сюда в третьем году,— сказал Пауль Генниг.

— А я вам говорю, что у нас такого не было! Кому же здесь знать? — оскорбился тюремщик.

— Это не совсем точно,— так же тихо проговорил человек из камеры.— Monsieur Перси — бельгийский гражданин: я знал его. Он содержался здесь недели две, потом исчез. Он был против войны.

— Они убили его, Генниг! — воскликнула Мари.

— Весьма вероятно,— сказал человек из камеры.— Он был против войны и, кроме того, иностранец.

— Ах, чер-р-рт! — прорычал Пауль Генниг.

— Что-нибудь случилось? Может быть, кончилась война?

Мари кинулась к человеку из камеры:

— Вы мастер Майер из Нюрнберга?

Немного помедлив, человек из камеры посторонился. Тупой свет высокого оконца, разлинованный решеткой, лег на лицо Мари, и он взглянул на нее искоса.

— Совершенно верно. Я мастер Майер из Нюрнберга, враг народа. Я против войны.

— Мастер Майер...

Голос Мари надломился, она докончила чуть слышно:

— Пойдемте,— и мягко взяла Майера под руку.

В темноте, в затихших каменных лабиринтах Майер спросил:

— Что это означает? Я не знаю вас, фрейлейн.

— Мне рассказал о вас Андрей Старцов.

— Русак и хороший малый,— прогудел в затылок Майера Пауль Генниг.

Уличный свет ослепил мастера Майера, и,— может быть от света, может быть от пестрой сутолоки людей,— он схватился за голову, закрыл глаза и стал.

Пауль Генниг с осторожностью развел руки Майера.

Тогда он ответил:

— Андрей Старцов, я помню. Он был тоже против войны?

— Ах, он... такой... он такой...— начала Мари, запыхавшись и сжимая локоть Майера,— он так любил вас, мастер Майер!

У Пауля Геннига выступили слезы. Он раскашлялся, заглушив каких-то певцов, налаживавших незнакомую песню.

— Андреас — малый с головой, я его всегда понимал,— растроганно сказал он.

Мари кинула ему улыбку заговорщицы.

— Андрей был бы сейчас с нами, Генниг.

Среди снующего, неугомонного народа она стояла ясная, счастливая и, как деревцо, легкая.

Пауль Генниг смерил ее гордым, поощряющим взглядом, высморкался и закашлял еще громче.

— Куда хотелось бы вам пойти, мастер Майер? — спросила Мари.

Мастер Майер осмотрел площадь. Над озером колыхавшихся голов старыми глазами он различил потертую надпись:

Bauernschenke [1].

---

[1] Крестьянская пивная *(нем.)*.

Он пожевал губами, точно закусывая поудобней чубук, седоватая щетинка бороды зашевелилась, поползла вверх по щекам, он обдал теплой улыбкой Мари, Пауля Геннига, и слова его были так же теплы и тихи:

— Если говорить о моем желании, то я выпил бы кружку темного... Теперь, кажется, самый раз?

И он потрогал карман вязаной своей куртки, откуда раньше через живот у него бежала цепочка.

Настало время сказать последнее прости городу Бишофсбергу. Он будет еще не раз упомянут, но мы уже не прикоснемся усталыми ногами к его намытым мостовым, не увидим его тесных, малолюдных улиц, не услышим сонного вызванивания часов на ратуше:

Son-ne,
Son-ne,
Son-ne!..

Мы расстаемся с ним полные грусти — с этим единственным видением розовой девушки, поутру окунувшейся в речку.

Мы помним скатерки газового света, разостланные вокруг уличных фонарей, и весенние шорохи парка Семи Прудов, и заснеженную, тонущую в подмороженном запахе смолы вершину Лауше. Мы помним даже беззлобную тетку Мейер, охраняющую общественную уборную подле полиции. Долго ли еще она будет вязать свой неизменный чулок?

В Бишофсберге мы оставляем с любовью мастера Майера, который был против войны. Он был последним, кому подарил свой короткий привет monsieur Перси: bonjour, bonjour, bonjour! В Бишофсберге, конечно, все еще громыхает и рокочет бас казначея Общества друзей хорового пения Пауля Геннига. Мы не знаем, вышел ли он из социал-демократической партии, и потому говорим о нем очень сдержанно, хотя питаем к нему симпатию за его внимание к героям романа.

Но будем честны.

Нам глубоко безынтересна участь секретаря полиции и даже участь полицейского здания, нам безразличны редактор «Утренней газеты Бишофсберга», парикмахерский подмастерье Эрих, старшая сестра Нейман, или майор Бидау, или его величество король Саксонский. Все это — мелочь, налезающая во всякий роман, как мухи — в сладкий чай.

Мы с облегчением думаем, что о тайном социалисте Урбахе нам придется сказать всего один раз. Мы не сочувствуем ему, по-

тому что он женился на хромой аристократке с незаконным сыном, чтобы помогать дрянной политической партии.

Наконец, только из одних эгоистических соображений, касающихся композиции романа, мы возвращаемся к фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен. Она не умерла, ее разбил паралич; и она лежала в спальной комнате, когда в доме Урбах произошел случай, припасенный к концу этой главы.

Мимо этих людей, вперед, вперед!

Но город!

Прости, если неловкое слово заставило страдать твое самолюбие. Прости!

Ты достоин воспеваний, как всякий город, построенный человеческой рукой и возлюбленный человеческим сердцем.

Ты прочен.

В тебе живут люди. Ты верен им.

Ты бросился вместе с ними искать новые дороги.

И ты не наделал ошибок больше, чем их совершили Рим, или Афины, или Париж.

Ты — скромный, безвестный Бишофсберг. Прости...

Вечером десятого ноября содержатель кабачка, ухитрившийся проторговать без перерыва целый день, преспокойно поглаживал свои четырнадцать волос на глянцевом приплюснутом черепе. Как табачник, запретивший делать революцию около своего магазина, он верил в прочность существующих вещей. В его ресторации по-прежнему висел автограф князя Отто фон Бисмарка, которым железный канцлер благодарил Münchnerbräuerei [1] за присланный бочонок темного пива. В его ресторации по-прежнему фыркали пивные краны и стоял неуемный шум. Он мало вслушивался в этот шум, это было привычно для него, он беседовал с завсегдатаем кабачка.

— Я ему сказал: что же изменилось, голубок? Вот ты вышел на одной ноге из госпиталя, помахал клюкой против ратуши, побезобразничал в цитадели. А в конце концов вернулся опять ночевать в госпиталь. Он мне вопит свое: погодите, изменится! Что же, говорю, изменится? Ведь нога-то у тебя не вырастет?..

Круглый стол посредине кабачка был залеплен солдатами. Вспотевшие, красные, они расстегнули воротники и куртки. Ах, наконец, наконец-то можно было расстегнуть воротники и куртки! Голоса были хриплы, но солдаты не переставали спорить.

— Как! — угрожающе кричал веснушчатый новобранец.— Солдаты сразу оказались ни при чем? Все дело в руках партий?

— Одни ждут директив из резиденции...

---

[1] Мюнхенскую пивоварню *(нем.)*.

«Города и годы»

— Резиденций теперь нет!

— Урр-рр-а!

— ...директив из столицы, другие целый день совещаются, третьи...

— К черту партии!

— Позвольте, позвольте же,— стучал по столу ландштурмист в очках.

— Надо уяснить себе характер переворота. Что это? Народное восстание? Сословная революция? Классовая борьба?

— Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...

— Солдатский бунт!

— Солдаты хотят мира!

Кто-то ввернул из уголка:

— Как только солдат захотел мира, он перестал быть солдатом. Солдат должен хотеть войны.

— До-лой войну!

— До-о-ло-о-о!

— Дело наполовину сделано! Ратуша в наших руках, цитадель тоже, повсюду расставлены наши посты. За чем же дело?

Кабачок вдруг стих.

И в секундной этой тишине раздался неожиданно высокий голос:

— Дело за властью, которая будет управлять вашими постами, ратушей, городом. Дело за властью солдат.

Головы потянулись к выходной двери, откуда доносился голос.

— Я как будто знаю эту девчонку,— погладив лысину, сказал содержатель «Bauernschenke».

Мари стояла на стуле — тонкая, натянутая, как тетива. Лицо ее было запрокинуто вверх, волосы разметались, чуть поднятая рука дрожала.

В английском журнале, запрещенном для чтения в пансионе мисс Рони, когда-то был помещен снимок с суфражистки, произносящей речь на митинге в Гайд-парке. Лицо суфражистки было запрокинуто вверх, волосы разметались, и вся она была прямой и тонкой, как тетива.

Но, Мари, у этой ораторши Гайд-парка, наверно, не дрожала чуть поднятая рука, и, Мари, неужели теперь, в этот час, можно было думать об иллюстрированных журналах?

— Верно! — вырвалось у веснушчатого новобранца.

— Мы понимаем, что дело за властью...— начал ландштурмист в очках, но тут же захлебнулся в крутой волне безудержных стонов:

— Солдатская власть!

— Солдатский совет!

— Совет, совет!

И на спаде волны, отчаянно выкарабкиваясь из шума, захоркал чей-то голос:

— Но как, как, как?

Тогда Мари, будто поймав все время ускользавшее слово, подняла руку вровень с плечом и прокричала:

— Това-ри-щи! Я прихожу сюда в третий раз и слышу, как вы толчетесь на одном месте. Надо дорожить каждой минутой. Надо договориться. Я предлагаю для этого перейти в другое помещение. Кто хочет взять на себя честь учреждения в Бишофсберге солдатского совета — пойдемте за мной!

Ее почти выбросило на улицу тараном грудей, плеч и рук. И в новой волне стонов, от которой задребезжало окно, она различила только один припев, давно забытый, волнующий и бесшабашный:

— Эх, хороши девочки в Саксонии!

Несколько солдат дошли с нею до дому.

Она привела их в гостиную фрау Урбах. Она выдвинула на середину комнаты широкий стол, принесла бумагу, чернила и перья. Она сняла со стены дубовую доску с двустишием:

WIR STEHEN IN OST UND WEST WIE FELS UND EICHE FEST

Она написала на обороте доски — бумажкой, скатанной в трубочку и намоченной чернилами:

Провизорный Совет
Солдатских Депутатов
в. Бишофсберга.

Она спустилась вниз и привесила доску у входной двери на улице.

И когда пятеро солдат, разместившись за столом, начали высчитывать, какое число депутатов должны послать в совет расквартированные в Бишофсберге части, Мари стояла у окна, в углу гостиной,— неслышная, как тень.

И с каждой минутой, убегавшей в новую отныне историю Бишофсберга, голоса солдат становились прочней, и слова — короче, и смысл их — проще.

В это время медленно открылась дверь, и, облаченный в черное пальто, с туго скрученным зонтиком в руке, вошел в гостиную бюргер. Он снял котелок, остановился, обозрел стены, карнизы,

окна. Потом, не сгибаясь, подошел к столу, но стал не вплотную, а поодаль, на расстоянии, которое не могло уронить его очевидного достоинства. Куда он смотрел — нельзя было понять.

— Вы — совет? — произнесли его одеревенелые губы.

— Да,— ответили ему.

— У ратуши кем-то расставлены солдатские посты. От желающих пройти в здание они требуют пропусков совета. Никто в городе не знает, где находится этот совет. Я искал его целый час. Отсюда я заключаю, что у совета нет административного уменья.

— Совет только что организовался.

— Значит, в то время, когда у ратуши требовались пропуска совета, никакого совета в городе не существовало?

— Солдаты проявляют революционную инициативу.

— Но вы — совет?

— Да.

— Дайте мне пропуск в ратушу.

Солдаты переглянулись.

Бюргер был неподвижен, и глаза его смотрели неизвестно куда.

Тогда от окна, в углу гостиной, оторвалась неслышная тень.

— Я знаю — кто это,— сказала Мари.— Это герр штадтрат. Мне кажется, ему можно дать пропуск, если он скажет, что ему нужно в ратуше.

Одеревенелые губы произнесли:

— До изменения конституции власть в городе сохраняет муниципалитет. Если власть захватили силой, то на ответственности муниципалитета лежит еще городское хозяйство. Мне нужно быть в ратуше: вечером я рассматриваю бумаги хозяйственного отдела.

— Я напишу,— сказал один из солдат.

Он оторвал листочек бумаги и набросал несколько слов, подперев их жирным росчерком. Пропуск пошел вокруг стола, отяжелялся подписями. Когда последняя была наложена, сделавший ее заявил:

— Хорошо бы... какой-нибудь штемпель.

— Штемпель? — воскликнула Мари и выбежала из гостиной.

Вернувшись, она взяла пропуск и с силой стукнула по бумажке деревянным грифом слева от росчерков. На пропуске оттиснулись четыре фиолетовых слова:

EX LIBRIS
MARI URBACH[1]

Герр штадтрат принял пропуск в свой кабинет из рук Мари, не сгибаясь дошел до двери и надел котелок.

---

[1] Из книг Мари Урбах *(лат.)*.

Мари побежала за ним, часто, как девочка, перебирая ногами. Ей захотелось взглянуть, как он будет спускаться с лестницы.

Но в передней, за дверью, она увидела отца. Она остановилась.

Герр Урбах смотрел на нее, как будто не узнавая.

— Ты что? — спросила Мари.

— Знаешь, Мари? Твоя мать тяжело заболела. У нее паралич.

Мари молчала.

— И твой брат убит в бою...

— Да,— ответила Мари,— мне говорила об этом горничная.

Она постояла секунду неподвижно, потом повернулась, вошла в гостиную и плотно прикрыла за собою дверь.

НАРОДНОСТЬ ФИНСКОГО ПЛЕМЕНИ

Вот отрывки записей обер-лейтенанта саксонской армии фон цур Мюлен-Шенау, которые он вел в русском плену. Разрозненная тетрадь с этими записями была найдена спустя много времени после семидольских событий. Плохие, вероятно самодельные, чернила расплылись, бумага промокла. Сохранившиеся страницы удалось восстановить и перевести почти полностью.

19 февраля.

Семена кипрея, полученные от искусственного опыления, дали первые всходы. Фрей ходит гордый и счастливый.

27 февраля.

Сегодня год.

За это время ни одного письма с родины. Я писал всем, кого мог вспомнить.

Теперь, когда Мари так безнадежно далека, мысль о ней сжимает меня тоской. На фронте этого не было. Оттуда все представлялось простым: война оканчивается, я возвращаюсь в Шенау, женюсь.

Я думаю о своем роде, о его и своей судьбе, и женитьба на Мари становится для меня потребностью. Это удивительное существо дало мне почувствовать, что в нем спасенье моего рода. У нас было пять ветвей, все мужские. Четыре из них прекратились при моей жизни, на моей памяти. Я — последняя. Женитьба должна произойти по каким-то особенным основаниям, чтобы в роде снова появилась воля к жизни. У меня сейчас воля к доживанию. Я не вижу, для чего мне жить. Картины? А что дальше? Все во мне, в том отрезке жизни, который мне положен. С ним кончается все. Я не повторяюсь, не живу, а доживаю, промериваю

положенный отрезок. Я должен хотеть, чтобы в будущем передо мной простирались века — точно так, как они лежат позади меня в прошлом. Я должен хотеть повториться.

Фрей не перестает твердить о физиологии. Мне неприятно думать о Мари, когда в уме вертятся такие термины. Мои пращуры любили сначала по праву брачной ночи, потом — за деньги. Едва ли кто-нибудь из них любил своих жен. Жены были в стороне, на их обязанности лежало продолжение рода. Род возникал в стороне от основной жизни пращуров. Если бы они любили по линии рода, он был бы крепок, и я жил бы сейчас вперед на сотни лет, а не доживал бы свой отрезок.

В этом я уверен.

Фрей говорит о том же такими словами: надо полюбить, жениться, произвести детей, и тогда все станет понятно само собой.

Мари носит в себе волю к повторяемости, продолжению. Я закрываю глаза и вижу ее, какой она была последний раз в Шенау. Я готов кричать — так меня раздражает это.

30 апреля.

В лагере объявлено, что мы можем беспрепятственно селиться в деревнях и наниматься к крестьянам по соглашению.

...приезжал какой-то солдат из города, было устроено собрание. Солдат говорил о мире и о том, что будто бы Россия...

16 июня.

Нас держит здесь, конечно, не власть. Власти давно не стало. Держат непроходимые дороги. Фрей мрачен. Когда перебирались в Пичеур, с воза скатился ящик с гербарием, попал под колесо. Больше ста листов гербария смяты и поломаны. Фрей избил возницу-мордвина, я ничем не мог...

...тридцать семь верст (40 километров) до Семидола. По сравнению с лагерем — ближе на двадцать три версты; но в этом мало отрадного. Из города выехать нельзя, поезда не ходят. Об обмене никто ничего не слышал, и не знают, куда направлять пленных. Говорят, там скопилось больше тысячи человек и живут милостыней. Я тоже живу милостыней. Фрей находит, что нужно поближе присматриваться к мордве. В ней наше спасение. Спасение?

...не видели ни одной печатной строки. Фрей забросил свою морфологию, все время молчит.

Вчера приехал в Пичеур продовольственный отряд. На завтра созван сход, будет собираться хлеб для городов. Мордва совсем перепугалась, прячется по избам.

28 июня.

Мордва относится ко мне с непонятным почтением. Вчера приходила знахарка-мордвинка, принесла молока, позвала на молян. Уходя, поклонилась в ноги. Фрей просил записать:

Каринь-Паз — лесной бог, хранитель липы и лыка для лаптей (обуви).

Калма-азыр-ава — защитница погоста, охраняющая ворота кладбища.

Юртава — богиня очага, оборотень,— то кошка, то заяц.

«Может быть, пригодится»,— сказал Фрей.

29 июня.

С восходом солнца мордвины уводили свои семьи за село. К нам зашла знахарка. Мы отправились в путь. В пути были два часа десять минут. Сначала шли полем, потом лесом, оврагами. Овраги здесь страшные. Не зная местности, легко заблудиться. Народ собрался в трущобе, у родника, бьющего на полметра вверх. Вода в роднике необыкновенная — ледяная, желтая от железа. Камни, по которым бежит ручей, покрыты коричневым налетом, как от ржавчины. Родник бьет всю зиму. Народ сидел семьями, каждый двор — кольцом. В глубине трущобы, за родником горели четыре костра. Посередине каждого кольца людей стояли горшки с кашей, принесенные из Пичеура. Когда нас заметили, взволновались, стали оглядываться. Знахарка побежала по кругу, что-то сообщая шепотом. После этого успокоились, одобрительно закивали нам головами. Фрей подсел к кружку, где были почти одни старики. Я сел с ним рядом. Вскоре наступила тишина. Старейший прочитал перед родником молитву. Ее повторили старшие в каждом кругу. После этого из глубины трущобы вывели четырех баранов. Старшие отправились к кострам, начали напевать заклинанья. Потом закололи баранов, сняли шкуры, уселись вокруг костров, стали жарить мясо. Старейший не переставал молиться. В это время пришел русский поп. Его встретили с почтением. Он был, видимо, доволен, не мешкая развернул свой узелок, надел пышное золоченое облаченье и приступил к русскому молебну тотчас, как мордвин-старейший сказал ему, что мордовский молян окончен. Обрядовые отличия молебна от моляна незначительны. Это любопытный тип миссионера — русский поп, мирно уживающийся с язычеством.

Фрей рассказал мне, что поп, так же как мордвин-старейший, молился о дожде и благополучии. Фрей говорит по-русски не лучше мордвы, объясняется смешно, но его отлично понимают. По окончании обрядов между семьями разделили мясо. Был розлит в глиняные плошки пуре — пьяный напиток, сваренный из меда.

Первым выпил старейший. За ним поднесли почему-то мне, потом — попу. Поп, выпивая, посмотрел на меня и поднял плошку. Пуре очень крепок — я почувствовал опьянение с первых глотков, может быть, потому, что полтора года ничего не пил. Пуре подавалось только мужчинам. Часть мяса и горшки с кашей женщины унесли с собой на загоны, где пища и была съедена. Мы вернулись в самый зной. Фрей шел со стариками. Я — один, впереди.

Молян называют «Бабань гаша».

...я уже привык жить в каком-то седьмом веке. По утрам нам приносят в глиняной посуде кислое молоко и хлеб. От нас ничего не берут. На мне рубаха из холста, расшитая желтыми крестиками. Говорят, ее вышивала пичеурская красавица. Я ее не видел. Я вообще не видел здесь красивых. Когда думаешь о них — задыхаешься, а как только посмотришь вокруг — все проходит.

Фрей рассказал, что в селе посажена за прялку девушка лет двенадцати, прясть суровую нитку длиною в окружность села. Этой ниткой в полночь она обнесет Пичеур, чтобы оградить его от заразы. Пряха должна быть непременно целомудренна. Пока она прядет, к ней допускают одних старух. Иначе нитка не будет иметь силы.

Из города к нам занесли тиф.

После рассказа Фрея не мог заснуть целую ночь.

7 сентября.

Все движется? Нет. Все стоит. Вырваться из проклятого...

...не доберешься даже вплавь. За целую неделю мы вышли из своей конуры всего один раз. Ходили собирать на дубках чернильные орешки. Фрей все еще на что-то надеется, говорит, что если мордва кормит нас...

10 ноября.

Я застал Россию в революции. Другой я ее не знаю. Но, на мой взгляд, она и не была другой. Я думаю о миллионах километров, которые лежат таким пластом, как Пичеур. Седьмой век. С ноября выпадают снега. Люди прячутся в берлоги, спят полгода. Если это — революция, то что же было до нее? Фрей говорит, что России мы не видали. По-моему — наоборот. То, что мы видим,— и есть Россия: снег, бездорожье, сон. Здесь — овраги, дальше — степи, еще дальше — пустыня, в другом конце — леса, болота, мох. Среди этого первобытного величия — поселения, названные городами, и кое-где поля. Эти пласты пригодны для колонизации. Колония должна еще пройти путь просвещенной тирании. Тогда, может быть, перед ней откроется будущее. Здесь нужны феодалы,

а не социалисты. (Нужны ли вообще где-нибудь социалисты?) Феодалы принудят научиться разумному труду. Другого средства заставить сажать кукурузу там, где выгорает от зноя рожь, нет. В городах уже началась гражданская война... что революция...

...снег, только снег. Боже мой!

Ночью проснулся в изнеможении. Опять Мари, живая, теплая. Ради того, чтобы увидеть ее...

20 декабря.

С первой санной оказией из города пришел слух, будто бы Германия подписала перемирие и его величество кайзер бежал. Какой вздор! И какими ничтожными негодяями должны быть люди, распространившие эту клевету! Отвратительно думать.

Фрей стал хмур и молчалив до крайности. Я сосчитал: сегодня он сказал семь слов — доброе утро, опять снег, да, покойной ночи. Спит он всегда крепко, без снов. Уже неделя, как он опять углубился в свою морфологию, сидит над лупой. Я помогаю ему разводить болотные растения в горшках. Пробовал рисовать углем. Уголь мордва обжигает великолепно. Но нет бумаги.

Я провозился два дня на дворе, расчищая снег.

...неизвестно — откуда. Один из них баварец, другой чех. Фрей уговорил баварца сходить в город, разузнать обо всем. Обещал за это всю зиму кормить. Баварец ушел. Фрей провожал его за село. Вечером он вдруг разговорился и рассказал наконец о своем плане, который показался мне фантастичным. Предпосылки, однако, верны. Мордва хочет истолковать для себя всю так называемую революцию как национальное освобождение. Никакого освобождения ожидать, конечно, нельзя. Но симпатии мордвы на стороне нерусских народностей. Мы, ведущие войну с русскими, легче всего найдем общий язык с мордвой, хотя бы и русский язык Фрея. У нас общий враг. Фрей успел многое сделать. Нас действительно кормят недаром, и я теперь понимаю, почему мордва смотрит на меня с благоговением. Пичеур подготовлен. Если бы рассказать Мари, она не поверила бы. Это из «Тысячи и одной ночи». Фрей, браво!

Вечер Сильвестра.

В прошлом году, в лагере, Фрей загадывал, где и как встретим мы новый, 1919 год. Где — мы почти угадали: от лагеря мы ушли на двадцать четыре километра и по-прежнему отделены от мира снежной пустыней. Но как могли мы думать, что нашу страну ожидает такой позор! Германия, родина! Какие силы могли тебя сломить?

Утром вернулся из Семидола баварец. Это правда, что его величество кайзер покинул отечество. Германия — республика. У власти шайка каких-то неведомых парламентариев. Перемирие позорно. Армия, флот, офицерский корпус сдались на милость противника. Его величество король Саксонский... Нет, я не могу! Фрей, железный, непоколебимый Фрей, рыдал...

...Смерть — вот единственное наше слово. Мы поклялись под Новый год — я, Фрей, баварец и чех,— поклялись на оружии, что мы не простим позора нашей родины. Пусть будет так.

Баварец принес из города шесть револьверов. Фрей торжественно вручил мне лучший из них. Баварец — бравый, толковый солдат, у него три ранения, кавалер Железного креста. Чех мне не очень нравится, но Фрей ручается за него. Кроме оружия и газет, баварец принес следующие сведения: в Семидоле находится совет германских солдат-большевиков, занимающийся агитацией среди пленных, которых он должен эвакуировать на родину. Лагерь для пленных переполнен. Свирепствует тиф. Пленные продолжают прибывать, а отправка их почти невозможна, так как дороги бездействуют и гражданская война в разгаре. Все это благоприятствует нам. Чехи пробиваются в Сибирь, чтобы окружным путем, на американских и японских судах, попасть на родину. Изменниками были — изменниками и останутся.

Днем мордвины принесли двух убитых волков и положили к моим ногам. Звери прекрасные. Я принял их, приказал унести и снять шкуру. Когда мордвины ушли, Фрей пожал мою руку.

— Так хорошо,— сказал он.— Ты должен помнить, кто ты для этих людей.

О, эти люди до сих пор не потеряли инстинкта воинственных варваров. Может быть, в их легендах все еще витает призрак угорского повелителя, громившего русских князьков? Этот инстинкт можно потревожить. В конце концов один род маркграфов фон цур Мюлен-Шенау стоит всей княжеской истории мордвы!

Фрей прав. Все дело во времени и в сроках.

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОМ, КОТОРАЯ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПЕРВОЙ

СУББОТА В СЕМИДОЛЕ

В «Крестном календаре» Гатцука перед словом «Семидол» топорщилась на тонкой талии рюмочка, и над нею висел почтовый рожок.

И правда — в станционном буфете Семидола водилась даже нежинская рябиновая, а почтово-телеграфная контора содержала по штатам девять чиновников и семь почтарей.

На российском просторе было раскидано таких Семидолов великое множество. Все они были похожи друг на друга, как куры, и жизнь в них шла по-куриному — от зари до зари, с нашеста на нашест.

Семидольцы бродили по пыльным, мягким, как перины, улицам и прогнившим панелям, кормились, клохтали, выводили цыплят, с опаской посматривали наверх, откуда валятся все беды, и бежали без оглядки, как только раздавался вопленный трепет петушиного крыла. Петухи, как положено, топтали семидольцев, блюли их нравственность, бились смертным боем за свои приходы.

Чтобы отличить в Семидоле наступавшие новые времена от давно прошедших, надо, бывало, прожить в нем не меньше человеческой жизни. В этом случае наблюдательный глаз замечал, что на Монастырской улице поставлен новый фонарный столб, да развалился палисадник против земской управы, да выкрашена заново пожарная каланча.

Но если в мирное стояние Семидола врывалось какое-нибудь событие, то оно проносилось разяще быстро. Так благоденствие

птичьего двора сменяется кромешным адом, когда в его пределы влетит оголтелый пес.

Нам трудно устоять перед соблазном ретроспективного описания города, в былое время похожего на птичий двор. Что может быть умилительней клохтанья наседки, трогательней писка желтоперого выводка или вдохновенней петушиного призыва? Но мы твердо помним, что этот идиллический курятник погубил немало русских романистов.

Вот почему мы начинаем свое повествование прямо с того дня, когда над птичьим двором прокатились первые раскаты всполоха и в вышину, откуда валятся все беды, взлетело выдранное из хвоста перо. Вскоре такие перья заклубились над Семидолом непроглядными тучами, а через пять дней — всего через пять дней — воздух стал снова прозрачен.

Товарищ Голосов — молодой человек, и стоит ли говорить о том, что в его годы незазорно показаться на улице рука об руку с девушкой?

Но товарищ Голосов — председатель исполкома, и зовут его в Семидоле городским головой. Пристало ли голове волочиться за юбками? Да и как связать появление председателя исполкома на улице с поповной Риточкой? Правда, Риточка — делопроизводитель исполкома и, таким образом, приобщена к труду. Правда, зовут Риточку товарищем Тверецкой. Но семидольцы — народ дотошный, до сплетен падок и охоч,— поди вдолби им в головы, что Семен Иваныч Голосов — оратор и противник частной собственности — в известном отношении ничем не отличен от любого семидольца, достигшего двадцати двух лет.

Ну их к черту!

По городу надо ходить быстро, припечатывая подошвы к утоптанным панелям, подергивая и теребя верхнюю губу, сморщив на лбу шишку и глядя вперед по меньшей мере на полверсты. А когда встречные кланяются — отвечать стремительно и кратко:

— Здр-расте, товарищ!

И нестись дальше, глядя прямо перед собой на полверсты.

Если же ехать в тарантасе, то не иначе как сжав крепко зубы, засунув руки в карманы и впившись глазами в кучерскую спину. Тогда всем ясно, что товарищ Голосов спешит по неотложному делу государственной важности, а не катается на советских лошадях без необходимости.

Но кем надо быть, чтобы, увидев товарища Голосова в субботу после занятий в исполкомском тарантасе, бок о бок с поповной Тверецкой, подумать о государственной важности занятиях?

Разумеется, все дело тут в несознательности семидольских обывателей, которые на второй год революции все еще глубочайше убеждены, что весна противоречит Коммунистическому манифесту, а любовь — самая настоящая, самая пахучая, с катаньем на лодках, короткими объятиями в кустах, солеными поцелуями у калиток,— такая любовь отменена на каком-то съезде.

Впрочем, если бы обыватели думали иначе...

Ну их к черту!

Товарищ Голосов так и сказал, прикрыв улыбку круглой ладонькой:

— Ну их к черту! Поеду с Покисеном...

Андрей нахмурился.

— Ты как будто нарочно стараешься делать так, чтобы я оставался наедине...

— С товарищем Тверецкой? — подхватил Голосов.— Ерунда! Ты же видишь, что иначе не выходит?! И потом...— Голосов потеребил верхнюю губу.— Надо быть немного почеловечней, Старцов. Неужели ты не замечаешь?

— Не твое дело.

— В моих интересах сохранить трудоспособность делопроизводителя исполкома. Товарищ Тверецкая начала путать бумажки. Я позвал ее, стал спрашивать, у нее забегали глаза, а в глазах — Андрей Старцов.

— Я понимаю,— сказал Андрей, улыбнувшись,— в твои годы чувствуют себя неловко, если влюбляются.

— Ерунда!

— Ничуть. Ты валишь с больной головы на здоровую. По субботам тебя как будто подменяют. Это от предчувствия свиданья. Ведь и сегодня ты едешь в Старые Ручьи, чтобы...

— Брось! За кого ты меня принимаешь? Я еду подыскать помещенье для детского дома.

— Да что ты говоришь? Для детского дома? На зиму глядя?

— Да, да, для зимнего детского дома,— прикрикнул Голосов,— и потом, мне нужно испробовать новый маузер.

— И для этого поехать за десять верст?

Лицо товарища Голосова почерствело, он приготовился сказать что-то жесткое, но вдруг рука его дернулась ко рту, и бойкий смешок скользнул на Андрея, не успев спрятаться в ладоньке.

— Для этого поедешь, пожалуй, верст за сто...

Он круто повернулся и зашагал через двор, одергивая рубаху и крича в открытые окна двухэтажного дома:

— Няня! Обедать!

И как всегда, Андрей застыл на минуту при ясном крике — няня!

В дверях Голосов обернулся.
— Значит, приедешь?
— Приеду.
— Ну, то-то!
Это — весь разговор Андрея с Голосовым во дворе редакции семидольских «Известий».

Вечер был тих, и, подрумяненное, падало за монастырь небо. Похожая на яичную скорлупу телега с хрустом перекатилась через железнодорожный переезд. Товарищ Покисен сидел на соломе в середине деревянного кузовка, вытянув ноги и держа на весу детский кинематограф. Голосов перекинул одну ногу через передок, другую поджал под себя, как настоящий — о да, настоящий! — бывалый возница.

Перед тем плыли они по неукатанным улицам в хрустящей скорлупке, не спеша разминая сухие кочки грязи и волоча за собой ленивый желтовато-прозрачный половичок пыли.

Покисен сквозь золотые очки строго озирал тесовые домишки и полусгнившие мудреные куполки толстых верей. При всяком толчке он подымал над головой кинематограф, опасливо и осторожно, точно вез дароносицу. Голосов сердито щелкал языком и покручивал в воздухе концом веревочных вожжей.

И было со стороны, для тех, кто не знал председателей в лицо (а находились в Семидоле и такие): вот едут товарищи землемеры в Саньшинскую волость резать наделы. Для тех же, кто знал: непременно придумали исполкомщики новую агитацию за Баварию или — чур-чуру! — за полное уравнение с почвою крестопоклонского базара на предмет устройства какой-нибудь дошкольной площадки.

Так тихо и чинно плыли два председателя мимо распахнутых крашеных ставен, водоразборных кранов, забитых наглухо бакалейных лавок, по хрупким дощатым мостам и мягким, как перина, улицам.

Тихо и чинно — до железнодорожного переезда.

А после него товарищ Голосов подобрал в телегу ногу и осмотрелся.

Из-за крутой насыпи полотна выглядывали круглые, как у цирка, крыши дорожных мастерских. Позади них крепкой зеленой заплатой прилип к небу соборный купол. У самого переезда высоко торчала закопченная сторожка, и вправо от нее, вдоль песчаной подошвы насыпи, точно лагерные палатки, тянулись штабеля решетчатых серых щитов.

По сторонам дороги лежали вперемежку обстрпженные на-

голо прямоугольники полей. Еще неубранные, долговязые подсолнухи тут и там забегали в оголенные полосы редкими почернелыми веснушками.

Впереди виднелась темная полоса саньшинского леса.

— Поедем, Покисен?

Голосов поднялся, сбросил фуражку, раскидав солому, установил одну ногу в кузове, другой уперся в передок. Покисен подмял под себя пук соломы, нацелился через очки на Голосова, сказал, точно пытая:

— Поедем, Сема...

Тогда Голосов натянул вожжи.

От железнодорожного переезда до гущи фруктовых садов Саньшинской волости вился крутыми поворотами ручьевский поселок. В повороте — излучинка, в излучинке — петля, и петля бежит неровно — изогнулась тонкой змейкой: надо объехать всякую выбоину, обойти уступ, увернуться от камня.

Но не Семену Голосову объезжать, обходить да увертываться, Семен Голосов приучил себя ходить прямо и на ходьбу иль переезд не тратить много времени, потому что всякая дорога, даже самая совершенная, даже воздушная, всякая дорога — пустая трата времени.

И разве не распалит дыханья, разве не одурманит, не подожжет встречный ветер, что свищет в уши, треплет и рвет волосы, бьет, точно жгутом, в оголенную грудь?

Плотно влегла кобылка в мокрую кошму хомута, весело отплясывает на взмыленной спине ее увитая медяшками шлея, нет-нет словно обухом гакнет копыто по передку,— а Сема хлещет поджарую по быстрым ляжкам раз за разом, все чаще, чаще, все сильнее. Ноги у Семы будто вправлены ступнями в телегу и на толчках мягко пружинят в коленках. Рубаха у Семы выбилась из-под пояса, пузырится красными шарами за спиной, и волосы зализаны ветром на затылок гладко, точно частым гребнем.

Через рытвины, колеи, по выбоинам и кочкам, то по кузов в долговязых подсолнухах, то в рыжем клубе пыли, ямами, пригорками, быльем,— прямо, все прямо, встречу ветру, с свистом, грохотом, гиком:

— Сема! Сем-ка, Семка-а! Держи, черт, держи!

Но ходят вожжи по крупу и бокам поджарой кобылки, и вот взметнула она мордой, мягким раздутым храпом отвалила на спину дугу, пошла в опор.

— Сема! Сем-ка! Чер-рт!

Недаром выездил кобылку пожарный вестовой. Недаром смотреть на него было страшно, когда ночью, вопя от жути не своим голосом, с керосиновым факелом за спиной, носился он по городу.

— Сема, ч-че-ерт!

Не остановить.

Тогда растянулся товарищ Покисен во всю телегу, поднял над головой обеими руками кинематограф и вдруг высоким, пронзительным, как звон жестяного листа, голосом запел песню. Слова ее были просты, но никто, кроме Покисена, не знал их. И так же прост был напев ее, и никто, кроме Покисена, не знал напева.

Эй, ле-ле.
Эй, ле-леле,
Эй, ле,
Эй, ле,
Эй, ле-леле,

Голосов отпустил вожжи, присел на корточки. Обернув круглое пушистое лицо к Покисену, смотрел в небо. Так неслись они еще с версту. Будто пружиной сжималась и разжималась в галопе взмыленная кобылка. Из стороны в сторону перекидывало телегу, и она громыхала, как мешок, набитый железным ломом.

Жестяными всхлипами пронзал округу Покисен. И не разобрать было, слушал ли Голосов песню иль думал о чем-нибудь своем, раскачиваясь на корточках.

Эй, ле-леле,
Эй, ле-леле,
Эй, ле,
Эй, ле,
Эй, ле-ле.

И когда остановились у въезда в ручьевские сады и стали оправлять расхлебавшуюся мокрую упряжку, Голосов спросил:

— Это ты по-фински?

Покисен улыбнулся, как ребенок.

Тогда Голосов улыбнулся тоже.

— А что, у вас оперы есть?

Покисен подумал, потом просто сказал:

— Дурак.

Ручьевские сады раскинулись на сотни десятин. Тесно прижались они друг к другу тугими, обмазанными глиной плетнями и через плетни подавали друг другу мохнатые руки вишняка и слив. У каждой избы был сад, и ко всякому саду вела дорога, по которой могла проехать телега, чиркая осями по торчавшим из плетней прутьям. Когда на дорогах встречались возы, мужики

смекали, кому ближе до садовых ворот, пятили лошадей назад, заносили телегу в ворота и так распутывались. Только одна дорога — широкая, трактовая — прорезала сады, и вела она от полей, сквозь Старые Ручья, в Саньшино.

Люди жили тут давно, отцы отцов и отцы дедов садили здесь черное дерево и китайку, царский шип и бергамот, а горький терн щетинился здесь путаными зарослями с незапамятных времен.

Напоить вдосталь стодесятинные гущи яблонь, вишен да всякой другой крупной и малой росли можно было только круговой порукой. И сады жили братьями. Узкие дороги меж плетней с весенних ден до заморозков лежали под болотцами, и нигде не жилось так привольно ужам да лягвам, как на этих дорогах. От сада к саду протягивались в воздухе желоба, ползли по земле канавки, и по вечерам, когда смолкали шорохи работы, торопливая капель вызванивала веселые частушки, сыплясь с желобов на деревья. Сотни десятин — кудрявых, густых, расцвеченных,— сотни десятин, убранных рукою человека, слушали тогда воду.

Голосов и Покисен въехали в Ручьи по тракту. Но впереди бежало стадо овец, поднимая непроглядный столб пыли, нужно было свернуть в сады, чтобы не задохнуться.

Тут почти по обоймы проваливались в колеях колеса. Подковы чвакали в размятой и жирной, как кулага, грязи. Дуга раздвигала податливый переплет вишен. Широкими ладонями хлопали по осям лопухи. Какой-то желоб сажен десять тянулся вдоль дороги, и, пока проезжали этот кусок, на спину лошади и в телегу рушился крупный холодный дождь. Лошадь вскинула морду, шумно раздула бока, отфыркнулась, пошла тихо. Голосов растер на лице капли воды, взглянул на Покисена и, словно сконфуженный, сказал:

— Хорошо...

— Председателю исполкома на правах дачника? — спросил Покисен.

Потом молчали, прислушиваясь к журчанью, переплеску и звону струек и капель.

На даче старший сын Покисена — остроплечий, сухой мальчуган — ползал вокруг кинематографа, щупал и трогал винтики, колесики, вертел ручку. В кухне, у русской печи, жена Покисена ломала хворост и мурлыкала песенку на языке, которого в Старых Ручьях никто не понимал и никто никогда не слышал.

И на том же непонятном языке товарищ Покисен вполголоса напевал трехмесячному своему сыну о том, о чем в Старых Ручьях никто не знал.

О том, что скоро, очень скоро, когда победит социальная революция и партия скажет: «Товарищ Покисен, вы послужили рево-

люции, располагайте своей свободой»,— вот тогда он отвезет маленького Отти на озеро Хэпо-Ярви.

— О, Хэпо-Ярви! Отти, крошечный Отти, ты еще не вдыхал его горклого запаха, еще не жмурился навстречу острому его ветру. Отти, крошечный Отти, ты еще не видел, как ветер Хэпо-Ярви скренил на север мачтовые сосны, и твоих маленьких ушей не коснулся свист поднятого с дюн песка.

— О, Хэпо-Ярви! Нигде не бежит так быстро конь, как по льду Хэпо-Ярви, и нигде не катятся так лыжи, как по склону его береговых гор.

— И как умеет Хэпо-Ярви молчать! И как кричит, ревет и свищет Хэпо-Ярви, когда буря идет со шхер!

— А какие качели, Отти, какие качели расставили храбрые люди на берегу Хэпо-Ярви — качели такой вышины, что сердце готово выскочить из груди, когда они взовьются над водой. А песни, какие песни поют люди на этих качелях по ночам, когда луна смотрит на дно Хэпо-Ярви! Отти, крошечный Отти, слушай:

Эй, ле-леле,
Эй, ле-леле,
Эй, ле,
Эй, ле,
Эй, ле-ле.

Высокие, тонкие вскрики пробежали по верхушкам яблонь, зарылись в гущу сада, пропали. Покисен прижал к груди укутанного кружевами Отти и смолк.

Жене, которая пришла кормить ребенка, он шепнул:

— Я рассказал ему про Хэпо-Ярви.

И она чуть слышно поблагодарила:

— О, ты!

Воздух стянуло студью заморозка, какая выпадает октябрем, после тихого дня, отогретого солнцем. От этой студи и оттого, что хотелось уже посидеть по-зимнему — в пахучей тесноте, вокруг огня,— окна дачи закрыли наглухо.

Военный летчик Щепов — худой, обтянутый фуфайкой, в узких зашнурованных до колен сапогах — ходил мимо стола. Героиня семидольского театра следила за ним из уголка большими, засоренными карандашом глазами. Ее все звали по имени и отчеству — Клавдия Васильевна,— и Щепов посмеивался над ней: какая популярность!

Рита забралась на диван и не шевелилась.

— У вас воспаленное воображение,— говорил Щепов, обрезая слова короткими шагами.— И ваша лихорадочность — от боязни,

что вы ошибаетесь. Какая, к черту, в Семидоле революция? Четыре маслобойки и одна мельница. Пролетариат?

— Ты ничего не понимаешь! — кричал Голосов, подскакивая на стуле.— Наша задача...

— Дай я кончу. Вот вы — что ни на есть ответственные большевики — уехали в субботу из города. Знаете, что там осталось? Если не считать военкома, остался в неприкосновенном целомудрии Семидол царя Гороха. Весь город пополз ко всенощной, к Покрову пресвятой богородицы. В исполкоме дежурная сторожиха вяжет варежки, у особого отдела заснул красноармеец, а заведующий народным образованием рубит в корыте капусту для пирога. Ладно еще, что вы печатаете «Известия» на бутылочной бумаге. Она хоть и плохо, а раскуривается. Вот вам и революция.

— Наше дело — привлекать к себе новые кадры...

— Пошел к черту с этими словами! Я говорю тебе, что здесь за кадры.

— Виноват,— вступился Покисен,— если я вас точно понимаю, вы говорите, что Семидол контрреволюционен? Ну, а борьба с контрреволюцией разве не та же...

— Да какая здесь, к черту, контрреволюция? Болото с лягушками, больше ничего. Квакали раньше, квакают теперь.

Щепов остановился, скрестив руки. Взгляд его был блесток от веселого задора, голос — отточен и упруг.

— Посмотреть на вас со стороны — восьмидесятники! Сема для пущего сходства даже волосы отрастил. Собрались вечерком у приятеля, распиваем положенные уставом напитки, хозяйка хвастается грибками и маринадами...

— О-о-о! — воскликнула жена Покисена, и от негодования ее лицо окаменело больше обыкновенного.

— А восьмидесятники истекают потом в принципиальной дискуссии.

Голосов вскочил, точно уколотый. Руки его запрыгали по пояску. Он собирал полы рубашки сборочками за спиной, обтягивая живот и бока, и назади у него получался хвостик, подпрыгивавший от малейшего движения, как у трясогузки.

— Ерунда! — гаркнул он, топнув ногой.— Вот такие, как ты да вот как Старцов, это вы разводите болтовню, потому что вы рохли, тюфяки. Для нас все ясно, мы знаем, чего хотим, и в любом болоте найдем что делать. Дай нам самых сонных лягушек, мы из них сделаем то, что нам надо. А если из них ничего сделать нельзя — уничтожим, да, уничтожим их. Болота нам не нужно! Это вы — Щеповы, Старцовы — крутитесь вечно в мнимой принципиальности, все хотите примирить идеальное с действительным. Мы знаем, что примирить нельзя, можно только подчинить. И мы

находим в себе силы подчинять! Мы не оглядываемся, не боимся, что вы про нас скажете, и нам все равно, какими мы представляемся воображению Щеповых. Восьмидесятники? Наплевать! Мы не боимся есть маринады и ездить на дачу. А вы лизнули варенья-ца и сейчас же задумались: а имеет ли революционер право лизать варенье в то время, когда... и поехало! Вот откуда у вас чувство превосходства! Смеешься? Я же по носу твоему вижу, что ты думаешь: нам-де очевидны противоречия, в которых погрязли большевики, и наше рыльце чистенькое. Плевать мы хотели в ваше рыльце! Думайте что угодно! Обойдемся без интеллигенции с ее патентом на непорочное мышление. Это не то что — спецы, у которых есть знания и которые...

Голосов остановился, обвел всех нахмуренным взором, гаркнул:

— Ерунда! — и сел.

— Целая декларация,— сказал Щепов.

Покисен поправил очки.

— В вас еще сохранился юмор, Щепов? Не оттого ли, что Голосов оставил открытый ход для вылазки? На вашем лице превосходство интеллигента сменилось превосходством спеца.

— Ну, а вы-то, вы,— неожиданно закричал все время молчавший Андрей,— разве вы не та же интеллигенция?

— Не те же недоучившиеся студенты? — ввернул Щепов.

— Поехало! Кровь от крови и плоть от плоти! Брось! — отмахнулся Голосов.

Он снова привскочил, сощурился на Щепова и тихонько спросил:

— А верно говорят, будто бы летчик может уронить самолет так, что аппарат разлетится к чертовой матери, а сам он останется целехонек?

— К чему ты?

— Нет, нет, ответь на вопрос прямо!

Щепов развел руками.

— Теоретически...

— Нет, нет, не теоретически! — наступал Голосов.

— С известными системами такие случаи бывали. От падения на крыло пилота выбрасывает вон, иногда шагов на двадцать, машина переваливается на пропеллер, сминает его, иногда мнет и другое крыло. Вообще... Но это смешно! Уронить аппарат нарочно!

Щепов потянулся — высокий, худой,— подперев пальцами костлявых рук тесовый потолок.

— Рискованно? — спросил Голосов, пряча в ладоньку неприметный смешок.

— Я тебя понимаю,— глухо проговорил Щепов.— Риск, однако, заключался бы не столько в умышленном падении, сколько в объяснении, которое оно потребовало бы. В аварии должна быть ясность.

Он прислушался к последним словам — как они расчертили воздух вровень с его головой — и повторил:

— В аварии должна быть ясность.

— Но ведь здесь на сто верст кругом никто, кроме тебя, не смыслит в аэропланах,— ты можешь объяснить любую аварию, как захочешь,— сказал Голосов в ладоньку.

Щепов тяжело уставился на него и молчал. Все вдруг стихли, перехватив дыханье и глядя куда-то между летчиком и Голосовым.

— Вот скучно! — пугливо вздохнула Клавдия Васильевна.

Тогда лицо Щепова быстро разгладилось и посветлело.

— Занятный ты человек, Сема...

Голосов встал, сборчатый хвостик его рубашки хлопотливо оттопырился и задрожал, он тряхнул своими космами.

— С вами в самом деле скучища. Я пойду пробовать маузер. Кто со мной? Рита, пошли!

Товарищ Тверецкая тихо перевела глаза на Андрея. Он сидел сгорбившись, поочередно распуская и собирая морщинку между бровей, точно припоминал что-то непрестанно ускользавшее и смутное.

Голосов кинулся к двери, выдавив из себя с брезгливой болью:

— Ах, ну тащите вашего Старцова!

Рита спросила:

— Хотите, Старцов?

Он молча поднялся.

Вероятно, ему было все равно — идти куда-нибудь или остаться.

С ним случается это часто. Внезапно он как будто глохнет и тогда слышит только то, что происходит внутри него. Усилия, которые нужно сделать, чтобы не закричать в такие минуты от страха, изменяют его до неузнаваемости. Его лицо коробится, как пергамент от воды, он повторяет какие-то давно заученные движения, не замечая их, как бывает с контуженными. Он подчиняется всему, к чему его побуждают извне, не противясь и не соглашаясь, хотя сознание его по-прежнему живо. Он не может оторваться от единственной, непередаваемой, громадной какой-то мысли, однажды поразившей его мозг.

Он идет рядом с маленькой, жмущейся к нему Ритой. Она

взяла его под руку, и он локтем ощущает мягкую теплоту ее груди и — за нею — беспокойное торканье сердца.

Голосов шагает спереди, разводя руками встречные ветки. Ночь непроглядна, заросли торона и вишняка густы и колючи, но Голосов упрямо пробивается чащей вперед и вперед, в холодную темень.

— Тише, Голосов! — говорит Рита.— Не бросайте так веток, вы исхлестали мне все лицо.

— А на что у вас руки? Отцепитесь от Старцова и не отставайте, идите скорей.

— Нас двое, нам трудней идти.

— Тогда черт с вами! — кричит Голосов и — упругий, изогнутый — бросается в сторону, ломит и мнет непролазные заросли, потом прыгает через гряды кустарника, ничего не видя, бормоча что-то досадное и жаркое, как бред.

Рита выводит Старцова из чащи торона в редкий строй яблонь, и они нащупывают ногами рыхлые лунки округ коротких стволов. Андрей медлителен и все так же послушен вкрадчивым движениям Риты. Она прикасается к нему почти всем телом, он слышит, как дрожит ее бедро, как разгибается твердое колено.

— Вам холодно?

— Да.

Она прижимается плечом к его лопатке, часто вздрагивает и замедляет шаг.

Андрей вслушивается в рассыпанные слова Риты и долго не понимает их. Они долетают издалека, как звон и всплески капели поливных желобов, и, так же как капель, обступают вкрадчиво и мягко.

— Вы испытали это? — вдруг слышит он.

— Я?

— Да, вы испытали?

— Что?

— Когда оба чувствуют одно и то же, совсем одинаково, так что ни раздумывания, ничего нет, а только одно... Вы знаете это?

— Да.

— Это случается раз в жизни?

— Что?

— О чем вы всегда думаете? — слышит он снова.— Почему судьба толкает меня туда, где я ничего не ищу? Голосов не дает мне покоя. Это всегда так бывает, а? Я ничего не понимаю. Я только знаю, жизнь — маленький кусочек. Очень маленький. Его жалко, если он так пройдет...

Рита спотыкается, падает, тянет Андрея за собой на землю. Он хочет ее поднять, она противится. Он садится рядом с нею.

Здесь опять начинается гуща торона, и его терпкий дух стоит плотной душащей толщей. На земле еще больше колется холод, на земле он крепок и жгуч, на земле сильнее и слаще человеческое тепло.

— Раз в жизни. Я только этого хочу, Андрей... У меня в груди все прожжено этим, вот здесь.

Она берет его руку и с силой вминает его согнутые пальцы в свою грудь.

— Холодно, холодно! — бормочет Рита.

Андрей слышит, как стучат ее зубы, как вся она содрогается от озноба, как в стуке зубов прерывается горячее бормотание:

— Ведь я не задумываюсь... Чего же вы... чего же, Андрей...

Потом терпкие, как тороновый дух, волосы оплетают его уши, шею, щеки, его движения сковывает дрожь, холод становится нестерпимым, и зубы так же рвут невнятный шепот, как бормотанье Риты:

— Кто задумывается? Разве можно, когда... Такой холод... земля... Рита...

Он оторвался от единственной, непередаваемой своей мысли, он оттолкнул ее от себя, он заново видит то, что перед ним, вблизи него, вместе с ним. Да и была ли у него какая-нибудь мысль? Не плыло ли перед его губами горячее, влажное, мягкое кольцо, ускользавшее вот уже целый год — больше года! — в тот самый момент, когда он готов был прикоснуться к нему сухим, воспаленным ртом? Наяву и во сне это мягкое, влажное кольцо маячит где-то в пространстве маленькой красной мишенью, и теперь — даже теперь, в непроглядной темени ночи,— Андрей различает жаркую его красноту.

— Холод... Мари... целый год... Рита!

Кольцо подплывает ближе и ближе к воспаленному сухому рту, растекается по губам, спирает горло духотою, и сквозь духоту едва слышно выкарабкиваются бессмысленные, но такие человечьи слова:

— Ну же... ну! Ах, ты... ты, ты!

И в эту минуту, в другом конце сада, может быть, в другом саду, в зарослях терпкого торона, прикрытый недосягаемой чернотой неба, стоял товарищ Голосов лицом вверх, к звездам. Звезды лили на землю холодное серебро — отчетливо круглые и большие. Голосов глядел в них пристально, словно они отражали события, которые надо было рассмотреть.

Вдруг он вздрогнул, вытянул из кармана маузер, навел длинный ствол в самую яркую и самую большую звезду, процедил сквозь зубы:

— Ах, ты... ты, ты!

И вместе с последним «ты» нажал на спуск.

Выстрел распорол тишину и покатился над садами.

— Гук-а-а-а!

Голосов, не торопясь, выпустил весь магазин в звезды. Маузер работал исправно.

Мужики валили в темноте густо и уверенно. Места были хорошо известны, каждый кустик узнавался на ощупь.

Впереди всех, мягко и быстро переставляя руки, скакал в своем лукошке Лепендин. Когда зарыжели деревья, освещенные окнами дачи, он спросил, обернув голову к мужикам:

— В окно постучим иль в дверь?

— Там увидим.

К дому подошли тихо, стали в малиннике, против окон.

— Ну-ка, который подлиньше, смотри,— сказал Лепендин.

К оранжевому стеклу приблизилась черная круглая голова. Мужики ждали молча, не шевелясь.

— Один ходит поджарый. Очкастый сидит с барыней,— сказала голова.

— А председатель тут? — спросил тоненький голосок из кустов.

— Из товарищей тут двое. Да еще две барыни.

— Председатель — коротыга такой, долгогривый,— тута?

— Председатель должен быть тоже. Стучи,— сказал Лепендин.

На стекле показалась крючковатая рука, окно трижды тихо звенькнуло. Подождали.

— Не слышат,— проговорила голова и обернулась к кустам.

— Может, поутру прийти?

— Чего поутру, дело такое, стучи сильней! — крикнул Лепендин.

Рука снова поднялась к стеклу, окно зазвенькало тревожней, и тут же и рука и голова шарахнулись в темноту.

В комнате к окну подошел человек, сверкнул золотыми очками, распахнул раму, вгляделся в ночь.

— Семка, это ты? — спросил он.

Мужики молчали.

— Старцов? — снова спросил человек и, немного подождав, повернулся к темноте спиной.

— Семка, наверно, дурачится.

Тогда в кустах несмело закашляли.

Человек в очках бросился к подоконнику и прокричал:

— Кто здесь?

— Г-ха, к-ха... мы, товарищ, так что-о...

— Кто «мы»?

— Товарищи хрестьяне, стало быть, ручьевские, граждане вообще.

— В чем дело, товарищи?

Лепендин качнулся к свету и, звонко откашлявшись, заявил:

— Мы к товарищу председателю, желаем объявить товарищу председателю результацию схода.

— С вами, товарищи, говорит Покисен, председатель...

Его перебили из темноты:

— Эт-то мы зна-аем! Только желание наше говорить с председателем Голосовым.

— Голосова сейчас здесь нет, он ушел.

По кустам прокатился глухой смех.

— Это вы, товарищ, изволили сказать несправедливо. Они находятся совместно с вами. Как они сюда ехали, мы их хорошо видали.

— Вот чудаки! — воскликнул Покисен.— Что же, я вам врать, что ли, буду? Голосов вышел в сад. Где я вам его возьму?

— Воля ваша, конечно, однако...

— Сход принял решенье окончательное, чтобы...

— Что такое? — проговорил Покисен, высовываясь в окно.— Ни черта не видно. Много вас тут?

— Хва-атит! — довольно протянул кто-то в стороне.

К окну подошел Щепов, резко бросил в темноту:

— Да в чем же дело?

В кустах забурлило:

— Пускай скажет Федор...

— Федор!

— Объяви, чтобы без обиняка...

— Шпарь, как давеча...

— Товарищи! — прокричал Покисен раздельно, точно на митинге, и вытянулся, опершись пальцами на подоконник.— Товарищи, если вы хотите говорить с председателем исполкома, то приходите завтра утром. Он сейчас вышел. Мы пробудем здесь до завтрашнего вечера. Но вы можете заявить мне о решении схода, о котором говорите, я передам товарищу Голосову. Только сейчас дело ночное, темное, я даже не вижу, кто со мной говорит. Лучше приходите завтра.

— Дело те-емное, эт-то правильно! — опять протянул кто-то в стороне.

В кустах вновь забурлило.

— Федор, объясни ему, чтобы он не путался...

Откуда-то снизу, точно из-под земли, зазвенел размашистый голос:

— Как вы, товарищ, обратились к нам с речью, мы желаем довести до вас про положение, в котором состоит хрестьянство нашей местности. Очень известно, новый закон в корень отменил разверстку и всякие поборы с гражданов рабочего хрестьянского классу. Этот самый закон которые товарищи не знают, которые прячут и скрывают от гласности. Так что сход Саньшинской волости, бедняки и прочие хрестьяне постановили, чтобы потребовать от председателя Голосова оглашение закона и чтобы разверстку отменить в корень, а также продотряды убрать приказом. Между прочим...

— Стойте, товарищи, или кто там? — крикнул Покисен.— Дело, я вижу, у вас серьезное, сразу не разберешь. Я вам могу сказать одно. Закон о хлебной разверстке никем не отменен и в настоящий момент отменен быть не может. Советская рабоче-крестьянская власть...

Из темноты рухнул в окно многоголосый ропот, изрезанный острыми вскриками:

— Слы-ха-ли!

— На полозу подъехал!

— Ладно прятать председателя!

Покисен закричал изо всех сил:

— Вы с ума сошли? Вам говорят русским языком: Голосов ушел. Какого черта мы будем болтать в темноте, когда...

— По-стой, по-сто-ой, товарищ! — провопил Лепендин.— Тута все в своем уме и в разуме. С миром надо говорить сурьезно, мир — тебе не сполком. Ты послушай, какое дело. Местность у нас не хлебная, занятие больше огородное, садовое тоже. Лиха в нашем хозяйстве хошь отбавляй: бедность, морковь одна да картошка. Хлеба мы сами не видим. А с нас требуют хлебом. Как быть теперь? Земля, выходит, вольная, хрестьянская, а между прочим хрестьянин...

Щепов отстранил Покисена, взялся за оконные рамы и крикнул:

— Давайте-ка, землячки, отложим разговор до завтра.

Ему навстречу рванулся гулкий галдеж. Он хотел захлопнуть окно, но с обеих сторон в рамы вцепились толстые, крепкие пальцы.

— Это что же? — прокричал он резким своим, точеным голосом.— Насилие?

Покисен сказал жене непонятное слово. Она отозвалась по-русски:

— Я заперла.

— А это как они желают,— заорал кто-то в темноте.

И сразу черные растворенные в ночи кусты шелохнулись,

двинулись к окнам, и в мутном свете, падавшем в темень из окон, засветились десятки неподвижных глаз.

— Сход наказал востребовать новый закон, чтобы не прятали, и, значит, продотряды снять.

В задней комнате запищал маленький Отти, к нему бросилась жена Покисена. Клавдия Васильевна схватила Щепова за локоть и пробормотала:

— Алексей, мужики... они нас...

— Перестань! — обернулся Щепов и показал кивком на диван.

Покисен прислушивался к писку ребенка, лицо его каменело, он уставился в окно потупевшим взглядом, потом твердо шагнул вперед:

— Граждане крестьяне! Обращаюсь к вам последний раз. Предлагаю немедленно разойтись по домам, а завтра утром прийти сюда для обсуждения ваших вопросов с товарищем Голосовым.

Из-за галдежа, с новой силой рванувшегося в окно, вынырнул пронзительный голосок:

— Покеда не выдашь закона — не уйдем!

— Не уй-де-о-ом!

Щепов дернулся в темный угол комнаты, схватил прислоненный к стене кинематограф, поднес его к окну и принялся устанавливать аппарат объективом наружу, в сад.

— Молчи,— шепнул он Покисену.

Галдеж начал спадать. В темноте как будто засветилось больше глаз, все они застыли на руках Щепова, проворно бегавших по аппарату. Стало слышно отчетливо металлическое потрескивание колеса для ленты. Движения Щепова были сосредоточенны и ловки.

Из сада робко спросили:

— Эт-то что ты налаживаешь, товарищ?

Щепов помедлил с ответом.

— Это, землячки, беспроволочный телеграф. Слыхали? Вот-от. На всякий случай с городом снестись.

— На что тебе, товарищ, надобно?

— Как сказать...— мямлил Щепов.— Может понадобиться... Отрядик какой-нибудь вытребовать... или что...

Тишину вдруг взорвало смехом — раскатистым, звонким, и десятки глаз опустились к земле. Смеялся Лепендин, постукивая деревянными уключинами и хлопая ими мужиков по ляжкам:

— На-сме-шил, от насмеши-ил, товарищ! Да какой же это телеграф? Да у нас на фронте из этакой машины живых людей казали!

— Картины, выходит?

— Ну так и есть — картины. От чудак!

Кто-то засмеялся, кое-кто загудел:

— Запужать хотят...

— Обманом думают...

Потом голоса помрачнели, приглохли, и упрямая угроза поднялась к окну:

— Все одно не выпустим.

Маленький Отти, точно расслышав эту угрозу, вскрикнул и залился плачем. Покисен бросился к окну, сунул руку в карман.

— Рас-сх-ходис-сь, говорю, с-слы-шите?

Тогда в ответ резнуло криком:

— Петуха, что ль, пустить по дачке, а?

Клавдия Васильевна взвизгнула и зажала лицо руками.

— Алексей!

— Молчи!

— А-а-а, та-ак? Вы та-ак? — завопил Покисен, высовываясь в темноту.

И вдруг издалека донесся отрывистый удар, и стянутую заморозками ночь распорол гулкий стон:

— Гук-а-а-а!

И через секунду — еще:

— Гук-а-а-а!

И снова — три, четыре... еще, еще... точно откуда-то с тылу, из города, наступали стрелки.

Чуть освещенные кусты задергались, что-то черное метнулось в стороны от окна, потом все стало.

— Гук-а-а-а!

Покисен вслушался в утихавший плач маленького Отти, вытер лоб и сказал:

— Молодец, Сема, вовремя!

Он поправил очки, нацелился на Щепова, улыбнулся.

— Н-да... Революции у нас, пожалуй, еще нет. Ну, а контрреволюция, как здесь говорят, мал-мала́ имеется.

КОНЕЦ ЛЕПЕНДИНА

В город въехали глухой ночью — как переселенцы — с пожитками на телегах, с плачущим ребенком, усталые от тряски и темноты. Дачу бросили незапертой.

Голосов проводил семью Покисена, заехал на пожарный двор, сдал лошадь и пошел домой. В сенях, когда его впустила нянька, он, как всегда, спросил:

— Ничего нет?

— Телеграмма, что ль,— шамкнула старуха.

В большой комнате, заставленной купеческой мебелью, всегда горела лампочка, и свет от нее робко таял в углах, как от лампады.

Раскрывая телеграмму, Голосов скользнул глазами по адресу:

Вне очереди Семидол председателю исполкома копия председателю особотдела копия военкому .

Он поднес исписанный карандашом бланк к свету.

Непроверенным сведениям районе села Пичеур Семидольского уезда направлению Семидола движется банда бывших пленных германцев чехословаков которым примкнула кулаческая часть мордовского населения также вооруженные дезертиры точка бандой руководит германский офицер агитирующий за выход мордвы из советской федерации точка агитация может найти почву среди малосознательного элемента связи недовольством кулаков разверсткой точка предписываю первое получением сего образовать ревтройку второе немедленно выяснить на месте положение третье принять военно-революционные меры необходимые ликвидации банды четвертое впредь до распоряжения сообщать действия ревтройки телеграфно каждые два часа точка возможный мятеж должен быть корне подавлен силами Семидола под личной ответственностью членов ревтройки точка председатель губисполкома.

Голосов стоял неподвижно.

Комната притаилась, по старинке убранная прожившей в этом доме полжизни нянькой. Здесь все было чинно, и упорство, с которым держались цветочные горшки, чехлы на мебели, лепные амурчики на стенах, было необычайно даже для Семидола.

— Так! — проговорил Голосов и одернул рубашку.

Он бросил телеграмму на стол, потяжелевшей поступью прошел по темному коридору, нащупал в тупике узкую дверь каморки и спросил:

— Няня, вы спите?

— Чего вам?

— Сходите за метранпажем.

— Это чего еще?

— Ну, в типографию, за этим, как его?..

— Да знаю, как его! Чего это, на ночь-то глядя, приспичило?

— Сходите сейчас же.

— Нету на вас угомону, господи, твоя воля!

Голосов угрожающе промычал что-то неразборчивое и досадное, но за угрозой нянька расслышала знакомый, неловкий, чуть стыдливый смешок и примиренно спросила:

— Дверь-то за мной кто запрет?

— Ладно!

Голосов зажег настольную лампу, придвинул к себе нарезанную полосками бумагу, примостился к столу бочком — словно на минутку, закурил папиросу и начал писать. На глаза его свисли кленовым листом прямые, слипшиеся пряди волос. Рука бегала по бумаге быстро, заползая в конце строчек кверху, точно стараясь нанизать все строчки на верхний уголок полоски. Он грыз мундштук папиросы, выплевывал на стол мокрые бумажные ошметки, потом щелчками сшибал их со стола на пол.

Через четверть часа в комнату вошли Покисен и военком.

Голосов мельком взглянул на них, и рука его еще поспешней побежала в верхний уголок полоски.

— Получил? — спросил Покисен.

— Да. Я сейчас кончу.

— Что это?

— К крестьянам.

— Правильно,— сказал военком, отдуваясь. Он был грузен, широкоспин, красное лицо его было облеплено темными веснушками, как кулич — изюмом.

Голосов бросил карандаш, отодвинул исчерканные полоски бумаги, сказал:

— Готово. Все понятно, товарищи?

— Непонятно, каким путем губисполком узнал об этой истории раньше нас? Конфуз! — сказал военком.

— После того, что сегодня произошло на даче...— начал Покисен.

— Объявляю заседание ревтройки открытым,— перебил Голосов чужим тоном и потрогал верхнюю губу.— Товарища Покисена прошу секретарствовать. Предлагаю такой порядок: ответ губисполкому, организация разведки и вопрос о боеспособности гарнизона, вопрос об использовании содержащихся в лагере военнопленных, потом о партийной мобилизации, о воззваниях, потом обо всем, что выяснится во время решения этих вопросов. Принято?

— Насчет пленных это ты хорошо, только это назад. Сначала о партийцах,— заявил военком.

— Согласен. Принято? Первый вопрос. Предлагаю такой текст: ревтройка образована, о принятых мерах телеграфируем через час. Согласны?

— Я привел вестового, он там в сенях.

— Это к чему? — спросил Голосов.

— К тому, что ведь телеграмма по воздуху не полетит на почту-то, и вообще связь,— ответил военком и отдулся так, что на столе разлетелись бумажки.

Он вышел и возвратился с вестовым.

— Дальше,— сказал Голосов, передав красноармейцу телеграмму.— Предлагаю наметить план военных действий на ближайшие сутки и высказаться вообще о военных ресурсах Семидола.

Военком, напыжился, густая краснота сровняла его веснушки в сплошное темное пятно, его сжала одышка, точно он взял одним духом девятиэтажную лестницу.

— Ресурсы известные, конечно, товарищи... Сводный полк... человек семьсот... гарнизонная рота... В полку можно набрать штыков полтораста... Однако... амуниция... и сапоги... этого нет... Да-а... И к тому же обученье... обученье только что началось...

— Конкретно, товарищ, что вы можете выставить сегодня в семь утра?

— Это ты мне?

— Ну да, тебе.

— Какого же черта выкаешь? В семь утра... В семь утра полурота из гарнизона... готова к маршу... к полудню отряд из сводного... Другая полурота несет службу по городу... Вообще, я предлагаю объявить... военное положение...

— Предложение военкома принято? Дальше...

Через час комната была закрыта, в коридоре раздавались сдавленные голоса, за окном лошадиные копыта выбивали пыльную перину улицы да где-то во дворе повизгивала блоком и хлопала расхлябанная калитка.

Нянька внесла начищенный самовар и расписные толстые чашки.

Члены ревтройки сидели на прежних местах за столом, голова к голове.

Военком ухал в одышке:

— У-ясните... товарищи... Парк... не подведомствен военкому! Парк... подчинен...

— Ерунда! — отмахивался Голосов.

— Ответственность перед центром,— задыхался военком.

— Не надо забывать другой ответственности. Ерунда! Раз целесообразно, значит, можно. Я настаиваю.

— Но тогда гарантии!

— Какие гарантии? У него ничего нет.

— Тогда заложников.

— Опять двадцать пять! Говорю тебе, что у Щепова нет никого и ничего. Что с него взять? Мы должны рискнуть.

— Рискнуть Щеповым... согласен... но... а...аппаратом... как мы можем рисковать а...аппаратом?

Покисен объявил твердо:

— Я в Щепове уверен.

— Ерунда! — крикнул Голосов.— Я не уверен ни в ком из спецов. Но у нас есть власть, и он не дурак.

Тогда военком спохватился и, весь содрогаясь в поимке воздуха, задышал:

— Позвольте... а-а эта... а...артистка-а, как ее... которая со Щеповым...

— Ну?

— Заложницей...

Покисен прыснул смехом:

— Тогда... тогда, если бы понадобились гарантии от Семена, надо было бы взять заложницей Риту — ха-ха! Риту Тверецкую.

Голосов вскочил, стул под ним с громом откатился в сторону, он уперся воспаленными глазами в Покисена.

— Брось шутки! Ее можно было бы взять, если бы понадобились гарантии от Андрея Старцова.

Он поднял стул, сел и упрямым холодным голосом отчеканил:

— Я принимаю предложение военкома. Щепов — спец. По отношению к нему это правильная мера. Товарищ Покисен, напишите ордер на немедленный арест Клавдии Васильевны. Военкому поручается установить время отправления Щепова и определить задание воздушной разведки.

И еще через час, когда уже не переставая визжала во дворе калитка и по коридору плавал неуемный говор, председатель Германского совета солдатских депутатов в Семидоле Курт Ван сидел четвертым за столом в комнате бывшего купеческого дома.

Курта слушали терпеливо, подолгу ожидая, когда он подберет и выговорит русское слово. Зажмурившись, он переводил в уме с немецкого, и на лбу его надулась толстая жила.

— Я не держу... не считаю... рациональ... сделать разведку... с немецкий пленный... Для пленный я не могу... быть поручатель... я держу возможно... набирать компания доброволец... рота доброволец, если исполком будет давать оружья... После организовать еще сегодня... митинг в лагер... Но говорить митинг я не буду... Митинг будет говорить Андрей Старцов... это... рациональ...

— Ерунда! — воскликнул Голосов.— Старцов рохля.

— Что называется рохля?

— Ну — тряпка, размазня... Вообще, интеллигент.

Курт покачал головой.

— Вам неизвестно, что в лагер... настроение в лагер... я нахожу, должен говорить русский, не германец... Андрей Старцов.

— Вы уверены, что его выступление принесет нам пользу?

— Я друг Андрей Старцов. Я могу... быть поручатель для него...

Голосов протянул Курту руку.

— Итак, вы даете слово содействовать?

— Я большевпк,— ответил Курт и поднялся.

Полурота гарнизона выступила из Семидола в семь с половиною утра. Ее проводил густой колокольный звон, потому что было воскресенье, и Семидол — как при царе Горохе — начинал праздник молитвой.

В семь с половиной утра из ручьевских дворов, по обросшим лопухами дорожкам, меж плетней и частоколов пробирались к тракту расцвеченные бабы. Кое-кто выехал к обедне на лошадях, напихав в телегу ребятишек и молодух с грудными младенцами. По тракту закружились клубочки пыли, запестрели пятна сарафанов и рубах. Но на полпути к Саньшину, когда из-за голого холма показался бирюзовый куполок колокольни, ручьевские богомольцы замешкались. Навстречу им по тракту трусил отряд вооруженных верховых. Видно было, как за спинами всадников подпрыгивали винтовки. Телега, ехавшая впереди ручьевцев, останавливаясь, осторожно сползла с тракта на поле, потом решительно оборнулась назад. Через две-три минуты все повозки катились обратно в Ручьи, тарахтя кузовами и поднимая столбы пыли. Мужики нахлестывали что было мочи своих кобылок. Только безответные и бесстрашные бабы реденькими расцвеченными кучками продолжали свой путь к бирюзовому куполку колокольни. Кто-то из перетрусивших мужиков — может быть, с первой наткнувшейся на отряд телеги — пустил с царских времен не вспомянутое словцо:

— Каратели!

И оно завертелось в клубах пыли, обрастая беспокойством, смятением, страхом.

В Ручьях кому-то пришло в голову спросить:

— Это откуда в Саньшине взялись каратели?

Но страх не уступил:

— Что они, дураки, что ль, из Семидола-то ехать? Обошли.

— Обошли!

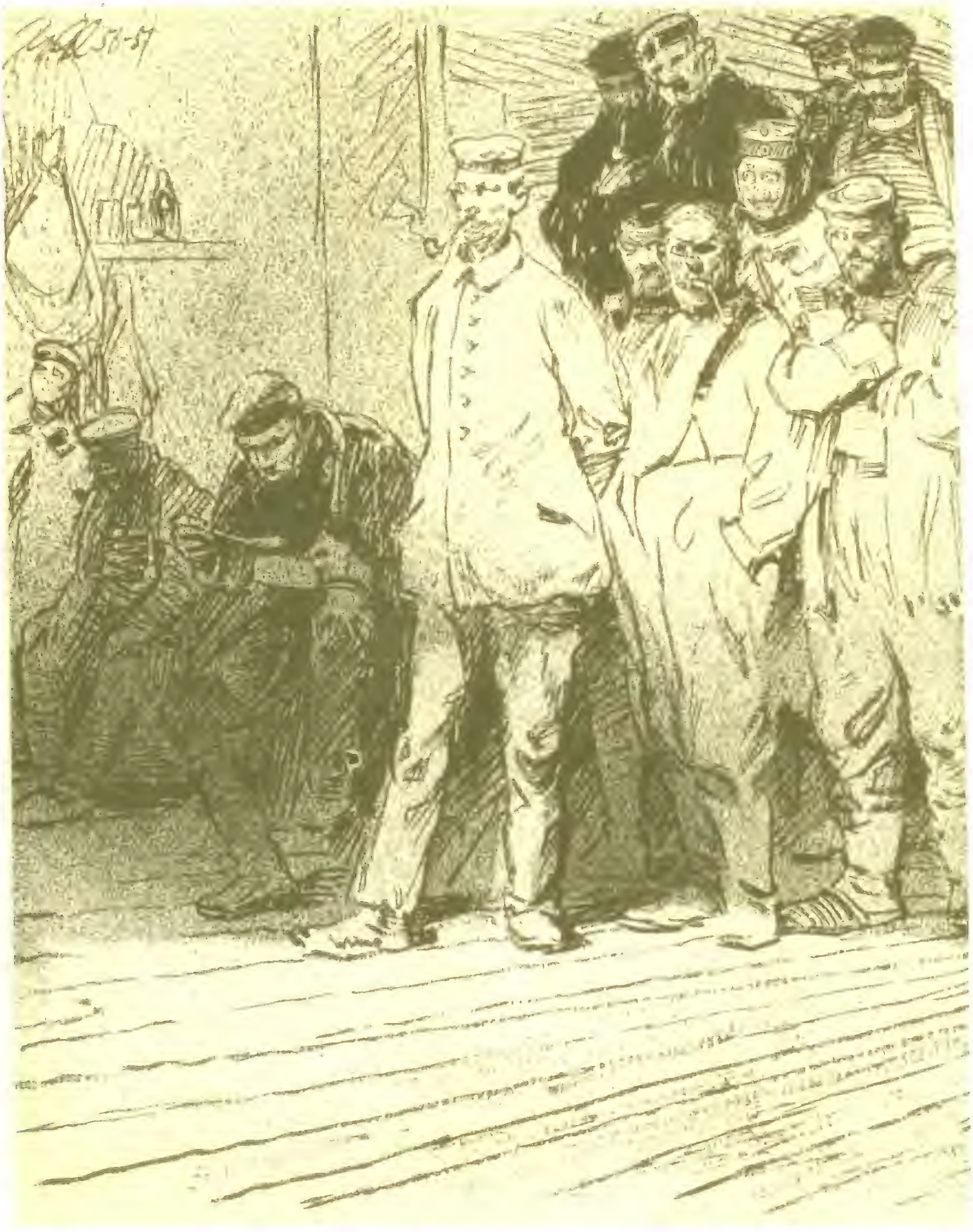
И пошло через плетни и частоколы:

— Обошли!

— Обошли!

— Каратели!

Старые Ручьи притаились. Ребятишек загнали в избы, ворота и ставни замкнули.



«Города и годы»

Конный отряд въехал в Ручьи шагом и остановился на тракте посередине деревни. Верховые были одеты по-разному — кто в чем, и напоминали сразу и мужиков и солдат, точь-в-точь как красноармейцы сводного полка, которых ручьевцы видывали в Семидоле. Спешившись, они собрались вокруг командира, похожего на офицера, но в невиданной сборной форме. Он долго что-то объяснял им, показывая рукою на дороги, уходившие с тракта в сады, потом они опять вскочили на лошадей, разбились попарно, и сады поглотили их своею пышной паветвью.

Командир тронул шагом по тракту на Семидол в сопровождении горстки солдат.

И вдруг где-то в самой гуще садов треснул выстрел.

Мгновенно ему отозвался другой, и по всей округе, застревая в зарослях, рассыпался отрывистый, торопливый винтовочный треск. Вспугнутые, не приученные к стрельбе лошади носили седоков без пути и дороги, подминая под себя изгороди и перескакивая через канавы. Не разобрать было, откуда шла пальба, и верховые отвечали на нее без толку, в воздух, в чащу торона и вишняка.

Собравшись на тракте, они дали несколько залпов по садам и растянувшейся бестолковой кавалькадой умчались назад в Саньшино.

Полурота семидольского гарнизона, не отвечая на залпы, отошла от Старых Ручьев по направлению к городу и заняла позицию на отлогих холмах, лицом к ручьевским садам.

Старые Ручьи замерли и лежали не дыша до тех пор, пока солнце не взобралось на полдень. Небо к этому времени стало прозрачно, осенний день отстаивался после крепкого утренника. И тогда в тишину и ясность полдня ворвалось дикое топанье копыт, и по деревне, от избы к избе, по садам, от ворот к воротам, по путаным дорожкам и тропам пронеслась смертельная тревога.

Какие-то перепуганные мужики подбегали к затаившимся избам, колотили кулаками в ворота и ставни, выкрикивали сполошные слова, бежали дальше. В избах подымался истошный бабий вой, ребятишки подхватывали его подголосками, на дворах то появлялись, то пропадали суетливые, шустрые девки. В одиночку, пригнувшись к земле, держась плетней и кустов, пробирались деревней мужики.

Сход собрался за Ручьями, на облысевшем пространстве, где от заброшенных садов торчали одинокие деревья дичка да иссушенный, с железными шипами крыжовник полз злыми плетьми по низинкам.

На возвышенности, в стороне от Саньшинского проселка, застланного подорожником, спешилась кучка людей, одетых в смурые мордовские чапаны. Посреди кучки на упавшей яблоне сидел

человек в мордовском праздничном наряде — лицом непохожий на мордвина, светлоглазый, выбритый. Рядом с ним маячила серая выгоревшая куртка солдата. Оседланных лошадей держали под уздцы поодаль.

Сход ручьевских мужиков окружили и затянули в кольцо верховые солдаты, невдалеке от возвышенности, на которой расположился наряженный мордвином человек. Верховыми командовал офицер в невиданной форме.

— Кто будет говорить от схода? — рявкнул усатый солдат, подбоченясь и шевеля кривой саблей.

— Выходи вперед, живо!

Из толпы мужиков, тесно сбившейся в кучу, вылез неуверенно низкорослый бородач с зарытыми в бровях глазками. Солдат надвинулся на него.

— Сопро-тив-ляться-а-а?!

Бородач переступил с ноги на ногу и замигал глазками.

— Сопро-тив-ляться-а-а?!

Солдат приподнял саблю, цепочка портупеи угрожающе звякнула по железным ножнам.

— С боль-ше-ви-ка-ами?!

Бородач качнулся к солдату и тоненьким голоском обрадованно подхватил:

— Завсегда, товарищ, с большевиками, беспременно, это у нас...

— А-а, беспременно?

— Беспременно, товарищ, как один человек — вся деревня, стало, с большевиками...

Тогда солдат, подняв саблю и потрясая ею над головою бородача, завопил:

— Выдавай зачинщика! Кто зачинщик? Ты зачинщик? Говори — ты?

— Товарищ, дорогой, дай слово сказать, как у нас это самое дело...

— А-а, то-ва-рищ?!

С проселка, вертко выбрасывая вперед туловище на быстрых прочных руках, катился к сходу Лепендин. Он пронырнул между ног лошадей, обступивших мужиков, и подскочил к бородачу.

Усатый солдат, побагровев и вытянув шею, наступал на толпу.

— Скрывать зачинщика? Сопротивляться?

Вдруг мужики заволновались, закашляли, несколько рук мотнулось к солдату, кое-кто снял и опять нахлобучил картуз.

— Что мнетесь? Онемели? — крикнул солдат.

Тогда сразу из десятка глоток вывалилось на солдата неуклюжее слово:

— Лепендин...
— Лепендин все...
— Федор, он объяснит, стало, как...
— Лепендин...
Солдат притих и спросил:
— Который?
Головы и руки показали на Лепендина. Его вытаращенные глаза испуганно перескочили с солдата на толпу. Мужики не глядели на него, и лица их почудились ему одинаковыми, как струганые доски.
У солдата отвалилась и повисла нижняя челюсть, он остолбенело смотрел на торчавший из земли человеческий обрубок.
На щеках Лепендина сквозь загар выступили зеленовато-желтые пятна, лицо порябело, и голова еще больше, чем всегда, стала похожей на дыню.
— Эх! — крякнул он, еще раз растерянно оглянув мужиков.
Потом тряхнул головой и обернулся к солдату:
— От, товарищ, какое дело. Как нам, изволите сами видеть...
Но солдат от первого его слова пришел в себя.
Он ткнул Лепендина ногою в грудь, и тот опрокинулся на землю, как круглодонная бадейка.
— Погоди,— произнес молчавший до того офицер в невиданной форме. Он повернул лошадь и поскакал к возвышенности, где на упавшей яблоне сидел человек, наряженный мордвином. Человек встал ему навстречу, подошел к лошади, постоял около стремени и вернулся к поваленному дереву. Офицер прискакал к сходу.
— Веди! — сказал он усатому солдату.
Лепендин все еще лежал опрокинутой бадейкой. Солдат двинулся к нему и ударил его саблей. Он перевалился со спины на живот, согнул в локтях руки, упрочил в земле свои уключинки, приподнялся и сел.
— Ползи, мразь! — крикнул солдат.
Лепендин наклонился и переставил руки. Но прежде чем пересесть на шаг вперед, он еще раз обернулся к мужикам, и опять лица их показались ему струганными досками.
— Пошел!
На возвышенности Лепендин сидел против светлоглазого выбритого человека, наряженного мордвином. Он видел, как непокойно шевелился чуть приоткрытый рот человека, слышал его гладкий голос, но ни его слов, ни слов других каких-то людей в смурых чапанах, которые кричали на него и требовали ответов, он не разбирал. Он только улыбался виновато и переминал по земле уключинками, стараясь поудобней сесть.
Солдат в серой выгоревшей куртке и тот усатый, который под-

гонял Лепендина, пока он взбирался на пригорок, быстро ушли в сторону. На Лепендина все еще кричали, и гомон говоров был по-прежнему неразборчив и смутен, и Лепендин продолжал готовно и виновато улыбаться, когда солдаты возвратились. Люди в чапанах дали им дорогу, и Лепендин рассмотрел позади людей на одинокой корявой яблоне свисавшую с сука веревку. Наряженный мордвином человек стремительно поднялся с поваленного дерева, поднял руку вровень с своим плечом, вытянутым пальцем показал на яблоню и выкрикнул цепкое слово.

Тогда Лепендин качнулся и завопил:

— Братушки-и! Ведь это — не-емцы! Бра-туш-ки!

Он упал на бок и покатился под гору, к мужикам.

Но его задержали ногами и, схватив за руки, поволокли к яблоне.

Тогда он начал бить своими уключинками по рукам и коленям людей, которые его тащили. Уключины вышибли у него ножнами. Он стал кусаться и — в отчаянье — визжать. Но люди волокли его без остановок, с силой отдирая от крыжовника, когда железные шипы впивались в его одежду и в его тело.

— Бра-туш-ки-и!

Лукошко, которое служило Лепендину прочным, удобным башмаком, отодралось от его коротких культей и тащилось на ремне, следом за туловищем, оставляя на кустах тряпичную требуху.

— Братуш-ки-и!

Лепендина приволокли к яблоне, веревку передвинули поближе к стволу, чтобы сук не отломился от тяжести, и с минуту не видно было, что делали люди, нагнувшиеся под суком.

— Бра-туш...

Потом над их головами заколыхался несуразный обрубок, и длинные руки, приткнутые к нему, дернувшись раз-другой в стороны, вдруг выпрямились вдоль туловища и сжались в кулаки, как будто Лепендин в последний раз захотел упереться руками в землю.

Человек, наряженный мордвином, медленно погрозил пальцем сначала на повешенного, потом на сход, неслышно стоявший под пригорком в кольце конного отряда.

Тогда в толпе мужиков чуть слышно кто-то вздохнул:

— Пронеси, господи... А Федор все одно калечный...

— Эх, паря! Какая у нас сила ягоды! Вишняка у нас — прямо туча! Сливы там, торона — свиньи не жрут! А на грядках, на грядках, паря, красно все от землянигн, а землянига — во, в кулак!

Вихтория там всякая, скороспелка — и-и-и-и! А яблок этих самых — всю зиму лопаем,— и мочим, и солим, и сушим, никак не справиться, до чего много! Базар у нас...

Да, да, Лепендин. Всего этого в Старых Ручьях до сих пор вволю...

Самое страшное — остановиться на каком-нибудь лице, увидеть чужие глаза. Самое страшное — вдруг почувствовать, что толпа состоит из множества непохожих друг на друга людей и что каждый человек — непримиримый враг чужой мысли и ненавистник чужого слова. Тогда — позор.

Смотреть надо поверх голов, слушать — только свои слова и не любоваться ими, а кидать их с ожесточением, чтоб они не мешали мысли. Тогда — победа.

Вот как сейчас, наедине, в закрытой комнате,— победа! Андрей отыскал все слова, какие нужно, чтобы измученных солдат побудить снова взяться за ружье. Андрей построил речь. Он изучил ее. Он взвесил силу каждой паузы. Он знает, где и как поднимет руку, где остановится и где даст волю неудержным словам. Андрей готов.

Но в лагерном тесовом бараке — не толпа, а множество людей. У каждого свои глаза, и над глазами хмуро нависают полинялые, простреленные бескозырки. Глаза подозрительны, глаза усталы и пусты. Что притаилось за этой пустотой? Холодный мрак блиндажей и сладковатый угар госпиталей, вывороченные из разрыхленного мяса белые кости, капающая с колючек проволоки кровь и затхлая, стоячая сырость окопов. Чем изумишь такие глаза? Они видели все, они знают все, им ничего не надо, им пусто, им бесконечно пусто в этом мире. Мир блиндажей, окопов и госпиталей не придумал еще слов, которые заполнили бы пустоту таких глаз, и ничто в этом мире не снимет неподвижности с обветренных кровавым ветром лиц.

Вот они скучились в низком тесовом бараке — затверделые, отточенные на станке войны лица. Сотни разнокалиберных трубок воткнуты в их зажатые рты, и желтоватые, сизые, синие струйки, отрываясь от лиц, утолщают дымовую завесу над бескозырками. Завеса сбита из запаха тлеющего вишневого листа, и кажется, что где-то поблизости палят сады.

Пленные попыхивают своими трубками и лениво расступаются перед Андреем. Он торопится дойти до скамьи, с которой Курт объявил бараку, что будет говорить русский.

Будет говорить русский? Не все ли равно? Пусть. Наверное, будет болтать о революции и о братстве народов. Черта с два, братство! Не могут вывести тифозных вшей, и вот уже полгода, как

каждый день обещают отправить на родину. Впрочем, пусть. Можно послушать. Иногда русские несут такой вздор, что смешно. А смеяться доводится редко, это надо ценить. Пусть.

Слова эти на уме у кривого солдата, стоящего как раз против Андрея. Он бронзоволиц, и тяжелое веко его здорового глаза то медленно опускается, то поспешно взлетает наверх, точно он хочет подмигнуть и всякий раз раздумывает.

Только бы не забыть начала речи, Андрей! Только бы не увидеть чужого глаза, который вот-вот подмигнет, чтобы напомнить, что за его пустотой — блиндажи и госпитали, окопы и проволока. А что за трепетным испугом в глазах Андрея? Он будет призывать к войне? А видел ли он хоть один блиндаж? Валялся ли с разорванной коленкой на койке госпиталя? Хоть одну ночь проспал ли он в окопе? Может быть, он резал ножницами загражденья, когда их поливали свинцом? Он будет призывать к войне?

И вот в притихшем бараке, под дымовой завесой, пахнущей жженым листом, несется ободряющий голос:

— Тише, вы, бедные дьяволы! Не слышно, что там говорит этот русский...

Кажется, солдаты рассмеялись? Что это? Кто-то теребит Андрея за ногу. Разве он давно взобрался на скамью? Как начиналась хорошо заученная речь? Бронзоволицый солдат как будто подмигнул своим пустым глазом? Что это он жует? Галету или печенье? Австрийское печенье.

— Австрийское печенье,— тихо говорит Андрей.

— Лакомая штука! — отзывается какой-то солдат.

И снова смех. Смеяться доводится редко, это надо ценить.

— Австрийское печенье,— громче произносит Андрей.

Курт что-то говорит быстро и сдавленно. Андрей нацеживает полную грудь дыма: завеса стелется вровень с его головой; стоя на скамье, он подпирает ее, как вершина горы — облака.

— Недавно, товарищи, вам роздали посылки, накопившиеся в совете, потому что нельзя было разыскать пленных, которым они были присланы. Больше всего таких посылок пришло из Австрии. Я вспомнил сейчас об этом, потому что тут один товарищ жует австрийское печенье. Австрийцы — большие мастера делать печенья.

— Положим, у нас, в Саксонии...— заметил какой-то солдат.

— Заткни рот, кофейная гуща! — посоветовал ему другой.

— Я вспомнил историю одного австрийского печенья и хочу рассказать ее вам. В здешнем совете работало несколько пленных. Во время отдыха они сварили себе кофе. Им была выдана со склада посылка, адресованная какому-то Шмидту. Они разделили ее между собой. И вот одному пленному попало такое жесткое пе-

ченье, что он чуть не сломал себе зубы. Печенье раскрошилось, а перекусить его солдат не мог. Тогда он размочил его в кофе, и в тесте обнаружился запеченный кружочек из двух жестянок, вроде медальона. Солдат раскрыл медальон ножом и нашел в нем письмо. Я сохранил это письмо. Вот оно, как было, в жестяном медальоне, который немного заржавел. Я прочту вам письмо. Вот.

«Милый Густав!

Уже шесть месяцев от тебя нет никаких известий, и Лизбет говорит, что может случиться, что тебя уже нет больше в живых. Но я не хочу этому верить. Густав, ведь без тебя мне нечем будет жить. На прошлой неделе вернулся из плена Генрих Менерт, у него отрезали по плечо руку, и он рассказывал, что в Сибири вовсе не так страшно, что летом даже очень жарко и что хлеба в России все еще много. Он говорит, что хорошо, что ты попал в Россию, так как плен сохранит тебя для нас, а на фронте дело кончилось бы хуже. Я только молю бога, чтобы скорее кончилась война, потому что стало тяжело. Милый Густав. Я все думаю, какой ты найдешь нашу деревеньку, когда вернешься. У мельника Томаса старший сын убит, а младший Пауль пришел с фронта слепым, и он перестал работать, так что мы ездим молоть в Люкендорф. Слава богу, это приходится делать теперь очень редко, а то наш Серый перед пасхой пал, и теперь из-за каждого пустяка надо нанимать лошадь. Этой весной мы не сеяли из-за Серого и еще потому, что отец не вставал с постели. Сегодня духов день, а вчера, на троицу, во время мессы, сошла с ума тетушка Анна. Перед этим ее портрет напечатали в нашей газете — по случаю того, что ее шестого сына Ганса так же убили на фронте, как пятерых, а у ней всего и было что шестеро, о чем я тебе два раза писала, не знаю, получил ли. Она помешалась, как раз когда патер говорил, что тетушка Анна отдала на алтарь отечества все, что ей дал господь, и вся деревня плакала. Прости меня, милый Густав, я тоже плакала о тебе и о твоем душевно любимом брате Августе, про которого я писала тебе, что он ранен в грудь, и об отце, что он так и не дождался твоего возвращенья. Лизбет говорит...»

Но в этом месте чтения сквозь немоту барака прорвался к Андрею дребезжащий голос:

— Значит, отца похоронили?

Андрей замолк.

— Может быть, Август тоже умер? — резче и выше задребезжал голос.

Какая-то рука с вывернутыми длинными пальцами тянулась над головами пленных к Андрею.

— Дайте сюда письмо! Ведь это пишет Эльза!

— Это пишет Эльза,— сказал Андрей.— Вот здесь подписано: Эльза.

Трубочные дымки гуще и торопливей заструились от бескозырок к завесе под крышей. Пленные навалились на скамью, вдруг сросшись в безликую выжидающую толпу.

И тогда что-то холодное полыхнуло Андрею в спину — от затылка до пят,— и он вспомнил заученную свою речь, вспомнил по-новому, такой, какой она ему никогда не приходила на ум. И, не видя лиц, ни пустоты за несчетными глазами, ни дымовой завесы, ни барака, а только окунаясь в полыхавший откуда-то необъяснимый холод, Андрей с ожесточенной злобой к словам, которые мешали мысли, кричал поверх голов в простреленных бескозырках, кричал о том, что надо сделать, чтобы потерянные письма не искали тщетно потерянных по свету Шмидтов...

Потом Андрей и Курт в бесшумных сумерках стояли на дворе барака, ожидая ответа пленных. И когда совсем стемнело, дверь барака раскрылась. К Андрею подошел солдат и пыхнул на него табаком из вишневого листа. Трубка осветила его бронзоволицую одноглазую голову. Он коротко сказал:

— Можете передать своему совету: пленные решили поддержать большевиков.

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ

Самовар не сходил со стола. Трубу воткнули длинным коленом в камин, корзинка углей стояла рядом с посудой, клейкой и захватанной грязными пальцами. Чай заваривали попеременно в двух трактирных чайниках и пили густой, черный, как йод. Кончалась вторая ночь без сна и отдыха.

У Голосова набухли веки, зрачки по-кошачьи расширились, но поблекли, и взгляд был непослушен и вял. Он держал голову руками, уткнув локти в стол, и мутно уставился в глаза Покисена.

— Пойду я! — хрипло сказал он.

Покисен был бледен, синие жилки на его висках бились тревожно, он через силу говорил спокойно:

— На твоей шее город и уезд. Военком ничего в этих делах не смыслит. На тебе газета, на тебе все. Пойду я.

— Нет, я.

— Я знаю, что ты осел. В обычное время — это хорошее качество. Теперь нужен расчет. Пойду я.

— Это мы увидим.
— Увидим!
— Иду я.
— Нет, я.

Мутный взор близится к золотым очкам с жирными стеклами. Сквозь жирные стекла холодят белые глаза. Лица сближаются медленно и непоколебимо, лица упрямы и мрачны, лица тверды, как камни.

— Я!
— Нет, я.
— Чего вы... словно бараны? — просопел военком, ввалившись в комнату.

Он по-прежнему отдувался, пыхтел и лоснился от пота, говорил задыхаясь и ловя подолгу ртом воздух. Он устал раз навсегда в жизни, и никакая новая усталость, ни работа, ни бессонные ночи не могли изменить его вида.

— Через час отряд будет готов к маршу,— сказал он, нацеживая чаю.— Рота сводного ожидает его у Старых Ручьев. Задание — к десяти утра овладеть Саньшином.

Он отхлебнул чаю и обернулся.

Голосов и Покисен не двигались. Налитые кровью лбы их почти соприкасались друг с другом, губы беззвучно дергались, в выпученных глазах стыло желтое пятно лампы.

— Ф-фу, ч-черрт! Что с вами? — пропыхтел военком.

Тогда Голосов и Покисен бросились к нему и наперебой завопили:

— Втолкуй ему, пожалуйста, что мое присутствие в городе совсем не нужно!
— Вздор, ерунда! В такое время бросить особый отдел...
— Подожди!
— Если бы речь шла...
— Постой! Я говорю, что...

Военком замахал руками.

— Довольно! Понял, понял!

Он отошел в сторону, сел в кресло и вытянул из кармана папиросницу.

— Прежде чем заняться вашими препирательствами,— сказал он, сопя и продувая папироску,— я, товарищи, должен передать вам одно постановление. По моему докладу комитет назначил комиссаром отряда товарища Покисена...

Голосов отскочил к окну и стал к военкому спиной. Покисен поправил очки.

— Ты говоришь, отряд выступает через час?

— Черт с вами! — гаркнул Голосов и рванулся к выходу.— Я буду в типографии.

Вбивая каблуки в звонкий пол, он с размаху ударил по дверной ручке и распахнул дверь. Потом остановился на секунду, круто повернул назад и подошел к Покисену.

— Счастливо, Покисен,— сказал он.

— До свиданья, Сема.

Они дважды коротко тряхнули друг другу руки, и Голосов вылетел из комнаты.

В сенях он наткнулся на няньку. Она шла со свечой, и непокойный свет трепыхал по ее темным морщинистым щекам. Она придержала Голосова за рукав и старческим шепотком спросила:

— Самовар-от кипит?

— А что?

— Я, мол, ты скоро вернешься, подогреть иль не надо?

— Ладно! — отмахнулся Голосов.

Нянька торопливо дернулась к нему и, как старая заговорщица, посвященная во все тайны, строго спросила:

— Справитесь, что ль?

Тогда на лице Голосова тепло колыхнулась улыбка, и он прикрыл ее ладонькой — обычным своим стыдливым движением.

— Обойдется, няня,— проговорил он и выбежал во двор.

На рассвете в чадной от ламп типографии товарищ Голосов дочитывал гранки воззвания ревтройки «к рабочим, крестьянам и всем честным гражданам Семидола».

Свисавшие со лба волосы все чаще и чаще падали на бумагу. Карандаш дрожал на искривленных строчках жирного, пахнувшего керосином оттиска. Последние слова воззвания были набраны так:

Да здравствует победа рабочих
и крестьян во всем пире!

Голосов нацелился затупленным карандашом на букву «п», но длинные прямые космы закрыли вдруг смешавшиеся строки, и голова упала на руку. Голосов что-то пробормотал и повис на столе.

Метранпаж осторожно вытянул оттиск из-под неподвижной косматой головы председателя исполкома.

На третий день сполоха, в понедельник, в дождливые сумерки, вернулись в Семидол военный летчик Щепов с наблюдателем. Они пришли пешком, мокрые, оборванные.

— Где «ньюпор»? — выдавил из себя военком, едва они показались в редакции.

Щепов упал на стул, начал расшнуровывать сапог.

— Я говорил, что нельзя предпринимать разведку без второго пробного полета. Эта старая калоша...

— «Ньюпор», «ньюпор»! — задыхался военком.— Вы сожгли его?

— Не подумал.

— Вы спятили с ума, черт вас...

— Примите донесение.

— Да говорите, черт...

Тогда наблюдатель, поправив грязную перевязку на правой руке, левой вынул из-за пазухи зарисовку местности и положил ее на стол. Военком, пыхтя и отдуваясь, наклонился над смятой бумажкой.

Разведка устанавливала сосредоточение противника в районе села Саньшина, в местности, свободной от леса. Силы противника состояли из небольших пеших отрядов, численность которых не превышала трех-четырех рот. Аванпосты в виде прерывистой цепи стрелков были выдвинуты по тракту к ручьевским садам. Расположения частей в районе Старых Ручьев разведка установить не могла. По предположению наблюдателя, сады были свободны от противника, так как Саньшино лежало на командующей местностью высоте. Непосредственно за нею было установлено нахождение обоза противника. Связи с дальним тылом у неприятеля не было, и на протяжении пятнадцати — двадцати верст, на тракте за Саньшином и по примыкающим к нему проселкам, не было замечено никаких передвижений. Противник не располагал артиллерией, и весь обоз его состоял из провиантских повозок. Фланги противника не прикрыты. Условия освещения при полете были благоприятны, наблюдение совершено с высоты четырехсот метров и относится к воскресенью, к двум часам дня.

— То есть не имеет теперь для нас никакой цены,— сказал Голосов.

Военком запыхтел:

— Вы, товарищ, строите тут всякие предположения насчет Ручьев. Это не ваше дело. В остальном донесение не противоречит данным, полученным другими путями. Ну, а дальше?

— Вам доложит летчик.

— Это все? — воскликнул Голосов.

— Ну, не совсем,— сказал Щепов, расстегивая кожаный пояс и куртку.

Он вытащил из-под рубахи согнутые вчетверо листы бумаги, бросил их на стол, но тут же прихлопнул ладонью.

— Стоп, товарищи, минутку терпения. Обследовав расположение противника, наблюдатель дал мне знак взять высоту восемьсот метров и держать направление по тракту. На двадцатом примерно километре мотор дал взрыв. Я закрыл бензин и стал планировать. Через минуту я попробовал открыть бензин и включил контакт. Четыре взрыва, один за другим. Я закрыл бензин и стал спускаться, взяв вправо от тракта. Я спланировал на поляне, закрытой от дороги молодым дубняком. Я провернул мотор в обратную сторону, проверяя компрессию. В двух цилиндрах ни к черту не годились впускные клапаны. Дело в том, что пробный полет установил как раз...

Голосов, закрыв лицо руками, хохотал. Он дергался от смеха, точно от приступов нестерпимой боли, и его слипшиеся, как лапша, космы тряслись и хлопали по рукам.

Щепов выпрямился и крикнул:

— Какого черта, Семка? Я говорю о деле...

— О деле... хо-хо... о деле, в котором, кроме тебя, на сто верст кругом никто не смыслит! В аварии должна быть ясность? А? Хо-хо!

— А «ньюпор», что с «ньюпором»? — опять заволновался военком.

— Я не могу при таком отношении, товарищ...

— Да не сердитесь вы, Щепов,— словно изнемогая, вздохнул военком.

Щепов забормотал:

— Издевательство! Черт знает что придумал с Клавдией Васильевной, теперь...

— Хо-хо! Чудак! Говори просто!

— Словом... ну, словом, не мог же я, на самом деле, высосать из пальца запасные клапаны! Я вынул из мотора... ну, черт, такую часть, без которой он вообще не мотор... Словом, мы оставили аппарат на месте приземления.

— Чтобы его спалил противник?

— Он может его и не спалить, потому что никакого противника там нет. А если бы спалили его мы, то у нас...

— Дальше, дальше!

— Мы пошли обходом, лесом, в Лебежайку. Банда заночевала там с субботы на воскресенье, реквизировала лошадей и направилась к Саньшину. Мужики попрятались по избам. Волостной исполком заперт, и на дверях бумажка за подписью... Вот она, смотрите.

Щепов развернул лист бумаги.

Воззвание было написано от руки, плохими, вероятно самодельными, чернилами, печатными буквами.

Русские крестьяне!

Мордовский народ, изнывавший веками под гнетом царских сатрапов, восстал за свою независимость и свободу. Российская революция, провозгласившая право самоопределения угнетенных народов, оказалась на деле ловушкой для доверчивого простого люда. И после революции, как до нее, чиновники при помощи солдат держат в рабском подчинении все инородческие племена.

У мордвы отнимают хлеб, силой набирают рекрутов, реквизируют скот, не считаясь ни с волею народа, ни с бедственным положением, в котором находятся мордовские села.

Русские крестьяне! Вы все знаете, какой мирный и трудолюбивый сосед — мордовский народ. Он безропотно переносил все надругательства царских ставленников, сознавая, что великое русское крестьянство терпит царский гнет вместе с ним. Но терпение мордовского народа иссякло. Он понял, что если он не вырвет своей свободы из рук угнетателей силой, то судьба его будет ужасна. И он восстал.

Мордовский народ видит, что великое русское крестьянство обмануто революционерами так же, как все народы, ходившие под скипетром русского кровавого царя. Мордовский народ с радостью помог бы своим братьям — великому русскому крестьянству, но он слаб и сам нуждается в помощи. Он призывает русских крестьян к совместному братскому восстанию против угнетения и верит, что общими усилиями нетрудно сбросить большевистское иго с плеч землепашца и труженика.

Мордовский народ борется за право свободно распоряжаться своей судьбой. Он не вмешивается в дела великого русского народа, но силой оружия требует, чтобы большевистская власть признала его право на землю, веру, независимость и равенство со всеми другими свободными народами. Освобождению мордовского народа содействуют бескорыстные друзья, которые образовали мордовское ополчение для борьбы с большевиками.

Русские крестьяне! Помогая мордовскому ополчению, вы помогаете самим себе, потому что оно борется с вашими угнетателями.

Мордовский народ призывает всех под свое знамя, которое несет мир для его друзей и смерть его врагам.

Друг мордовской свободы,
командующий ополчением

маркграф фон цур Мюлен-Шенау.

— Бестия! — просопел военком, обмахиваясь, как в жару, газетой.

Голосов затеребил космы, потом сощурился, съежился, точно изготовясь к прыжку.

— Эта бумажка дороже всякой разведки. Теперь у нас есть прицел.

— Из Лебежайки мы направились...— хотел продолжать Щепов, но Голосов не дал ему говорить.

— Ерунда! Все ясно. Остальное — приключения военного летчика в гражданскую войну. Ты расскажешь нам о них когда-нибудь за грибками и маринадом...

Он прикрыл ладонькой улыбку, метнул глазом на Щепова и неожиданно с заботливой серьезностью спросил:

— Ты здоров? Почему ты дрожишь?

Щепов был бледен, и на остекленевшем левом глазу его странно дрожало верхнее веко.

— Я продрог,— сказал он.— Я хотел поговорить с тобой насчет...

— Знаю! — оборвал Голосов.

Он схватил со стола клочок бумаги и начертил карандашом несколько слов.

— Насчет этого? — спросил он, передавая бумажку Щепову.

Щепов взглянул на нее, аккуратно сложил и спрятал в карман.

— Да. Согласись, что это было глупо.

— Ерунда! Пойдем, я дам вам согреться,— сказал Голосов.

На его губах дернулась было улыбка, он смял ее упрямой гримасой, схватил Щепова и наблюдателя за рукава, потащил их к двери.

Едва они подошли к ней, как она раскрылась. Забрызганный грязью вестовой шагнул им навстречу.

— В чем дело, товарищ? — спросил Голосов, точно обрушиваясь с каланчи.

— Комиссар сводной роты товарищ Покисен... в атаке... в наступлении на Саньшино...

— Ну!

— Товарищ Покисен убит.

Щепов почувствовал, как на рукаве, за который тащил его Голосов, повисла тупая тяжесть.

Этим часом жена товарища Покисена сидела у коляски, над застегнутым в конверт маленьким Отти.

Отти долго не спал и глядел на мать огромными молочными глазами.

Может быть, он понимал, что она пела?

Ее лицо было каменно, застыло, челюсти и скулы плоски, и только длинный рот извивался, показывая прочные желтые зубы.

— Маленький Отти! Ты еще не знаешь, какие пляски водят девушки на берегу Хэпо-Ярви. И ты не засыпал еще под их песни, и они не приносили еще тебе сосновых шишек, и ты еще совсем, совсем крошечный Отти.

Крошечный Отти! Ты так и не увидишь девушек с озера Хэпо-Ярви. И они не споют над тобою песен и не принесут тебе сосновых шишек, и ты не покачаешься с ними на качелях, когда будешь большим, большим Отто.

Крошечный Отти! Ты еще не знаешь, что твой отец — большевик и что большевикам лучше не иметь жен и не иметь детей, потому что их Хэпо-Ярви далеко, и — кто знает — увидят ли его жены, дойдут ли до него дети.

Крошечный Отти! Ты еще не знаешь, что твоя мать несчастна потому, что отец твой — на войне, и потому, что войне не видно конца и никто не знает, придет ли назад твой отец.

Но, крошечный Отти, если не придет твой отец с войны, и если погибнет твоя мать от горя и нужды, и никто больше не споет тебе про Хэпо-Ярви, обещай мне из колыбели, обещай, крошечный Отти, отомстить за отца и за мать.

Потому что они любили тебя, крошечный Отти, потому что любили свое Хэпо-Ярви.

Обещай отомстить.

Она кончила петь и опустила каменное лицо в коляску, ожидая ответа.

Маленький Отти закрыл глаза.

Маленький Отти спал.

Из подвала, в котором сидела героиня семидольского театра, было два пути. Один вел на семидольские улицы, в семидольские флигельки, к самоварам, киотам и складням, и Семидол казался из подвала бесконечным простором, и лачуги с божницами — обетованным пристанищем.

Другой путь лежал огородом, и дальше — через лозняк на болоте, мимо маслобойки, и дальше — по распыленным жмыхам, пустырем, в овраг,— и к оврагу ступало больше человеческих ног, чем возвращалось назад.

Этим часом Клавдии Васильевне передали кошелку с хлебом, маслом, яблоками, с куском вареной свинины, с десятком слив. Гостинец собирали актрисы, и они не позабыли сунуть в кошелку пачку папирос и коробок спичек.

Два глаза — блестящих и шустрых — зажглись в темноте подвала, и кошелка скрипнула на нарах, около колен Клавдии Васильевны.

— С передачей вас, гражданка. Угостите папиросочкой.

Она нащупала спички, чиркнула. На коробке засветился зеленоватый след, синенький огонек зашипел и завертелся на спичке.

— Вон папироски-то, сверху,— показал шустроглазый.

Огонек пожелтел, вырос, осветил коричневое узенькое лицо, потом быстро потух.

— Спасибочка.

Закрывая за собой дверь, шустроглазый успокоительно протянул:

— Ничего, гражданка артисточка, недолго осталось...

Недолго?

А потом?

Неужели коленки начнут дрожать, как на сцене, когда с двух репетиций ведешь новую роль, и неужели не хватит сил улыбнуться в темноту, как со сцены, чтобы смотрели на лицо, а не на коленки? Впрочем, Клавдия Васильевна не будет освещена рампой, и никто не заметит, как неровны ее шаги. Ночь будет черной, и она пойдет огородом, и дальше — через лозняк на болоте, мимо маслобойки, и дальше — по распыленным жмыхам, пустырем. Из оврага поползет под ноги холод, и Клавдия Васильевна будет дрожать на краю оврага, как сейчас в подвале, сильнее, чем сейчас.

Нет, нет!

Неужели недолго?

Недолго до минуты, когда раскроют дверь, и еще одну дверь, и еще, и — мимо постового с винтовкой — выпустят на семидольские улицы, в кривую, вольную череду флигельков и лачуг. Клавдия Васильевна бросится, куда подует ветер,— может быть, к себе — в низенькую комнатушку с киотом, может быть, в театр — к артисткам, которые не позабыли прислать папирос и спичек, может быть, к Щепову. Щепов встретит ее своей усталой улыбкой, и в глазах его мелькнет грусть. Он будет посмеиваться над тем, как дрожала Клавдия Васильевна от подвальной сырости и от мысли, что будет мишенью стоять на краю оврага. Он заговорит в десятый раз о том, что с революцией люди перестали жить обычной жизнью, что они каждую минуту готовятся к смерти и что единственное требование революции — в этой постоянной готовности умереть ради победы. Что нечего задумываться над судьбами революции, а нужно только не бояться умереть, потому что на место умерших придут живые, ради которых революция побеждает. Он будет говорить об этом, устало улыбаясь, и в глазах его будет грусть, и когда Клавдия Васильевна позовет молящим голосом:

«Щепов!» — он похлопает ее по спине, как собачонку, и останется по-прежнему холоден, скуп и грустен. А Клавдия Васильевна будет думать о том, что она — героиня семидольского театра, что она одинока, никому не нужна и что Щепову надоел ее молящий голос и запачканные карандашом глаза, что все это — жалко, унизительно, ничтожно и что лучше было бы стоять мишенью на краю оврага.

Потому что вся жизнь Клавдии Васильевны напоена горечью нелюбимой, ненужной женщины. Вот она мерзнет два дня в затхлой темноте, и человеку, который для нее — как для собаки — хозяин, не пришло на ум порадовать ее пачкой папирос и коробком спичек. Ему отвратительно пожалеть ее — смешную, ненужную; и она никогда в жизни не увидит от него даже такой терпкой сладости, как сладость серной спички.

Откусывать хрупкие головки спичек, глотать их одну за другой, все торопливей, все скорей, чтобы успеть проглотить весь коробок, пока не начались еще боли, пока набегают из-под языка и катятся в горло пряные слюни, пока не свело оскоминой рот и не прошла еще собачья жалость к себе, к Щепову, к театру, к Семидолу, к покойной матери, к России, ко всему миру.

Пусть будет так. Скорей, скорей!

И когда выпал из рук пустой коробок и рассыпались по полу обкусанные спички, отточенной пилой резнуло там, откуда Клавдия Васильевна не ждала боли,— под грудями, в плечах и лопатках, как будто яд разлился по легким.

И в нестерпимой жалости к одной себе и в радостной какой-то злобе на весь мир Клавдия Васильевна рванулась к открывшейся двери с воплем:

— Ще-пов, я отра-вилась!

Щепов схватил ее на руки, поднял и побежал под сводами подвала, в дрожавшем желтом свете фонаря.

Узколицый коричневый человек, держа фонарь, шустро передвигал глаза по клочку бумажки с подписью:

Председатель ревтройки *Голосов*.

Курт бегал из угла в угол по небольшой своей комнате и то теребил коротко остриженную голову, то растягивал воротник гимнастерки. Руки его ни на секунду не успокаивались, мелькая перед Андреем, точно качаемые бурей ветви.

— А-а! Его растрогала наша дружба? Он чувствителен к братским отношениям? Что? Что он сказал, когда отпустил тебя?

— Он спросил, понимаю ли я, что он нарушил свой долг.

— Он хотел сказать, что пошел на такую жертву ради меня?

— Мне показалось, что он действительно ценит тебя.

— А-а! Ценит! Ценит! Не чересчур ли снисходительно ты о нем говоришь? За тот час, который ты провел с ним, ты не успел раскусить, что он — ханжа. Тебя ослепил сентиментальный жест этого выродка?

— Я, может быть, обязан ему своей жизнью.

— Что ж из этого? Ты можешь быть обязан жизнью какому-нибудь суку, за который зацепился, падая в пропасть. Неужели весь остаток своих дней ты будешь молиться на этот сук?

— Я не молюсь на него, Курт. Я говорю тебе, что он помог мне, потому что я — твой друг. Вероятно, ты ему чем-то дорог.

— А-а! Ты не понимаешь, Андрей! Ему непременно нужно чувствовать себя благодетелем. Благодеяниями он прикрывает жестокость. Перед самим собой он оправдывает свое существование ничтожными подачками добродетели. Тебе должна быть омерзительна всякая милость из таких рук! Ты должен...

— Послушай, Курт,— перебил Андрей.— Ты как будто подозреваешь меня в симпатии к этому человеку? Я не могу ненавидеть его с такой силой, как ты. Лично он, как человек, просто не существует для меня. Пустое место. А теперь, когда он так неожиданно оказался моим врагом...

— Ну, что теперь?

— Ты понимаешь, он обезличился теперь для меня еще больше. Он — враг, вместе с сотнею, с тысячей, может быть, с миллионами других врагов. Человек, которого я случайно знал, вошел в число моих врагов. Больше ничего.

Курт перестал ходить и заложил за спину руки.

— Это сложно, Андрей.

— Нет, это просто.

Лицо Курта похолодело, взгляд заострился, он, точно крадучись, подошел к Андрею и понизил голос:

— Нет, это очень сложно, Андрей. Если бы этот непрошеный друг мордовской свободы, этот достойный отпрыск великолепной маркграфской фамилии, если бы он вдруг очутился в твоих руках...

— Ну?

— Ты убил бы его?

Андрей сгорбился, провел рукою по лбу, наткнулся на взгляд Курта и опустил глаза.

— Я, вероятно, не мог бы убить никого. То есть так, одного какого-нибудь человека. Чтобы потом знать, что я убил. Что именно я. Именно такого-то человека.

Курт опять замахал руками и бросился бегать по комнате.

— Ты боишься страха, Андрей, боишься страха! Это ужасно. Надо переступить через страх, перешагнуть через него.

— Я иду вместе с тобой на фронт, Курт.

— Это не то.

— Я сумею употребить там маузер не хуже Голосова.

— Не то, не то, мой друг!

— Может быть, как раз я и убью маркграфа. Но... только чтобы не знать этого наверно. Не видеть.

— Не то, милый друг, все не то. Как я ненавижу этого выродка! Слушай, Андрей. Я чувствовал себя — нет, что там! — я сделался вещью в руках этого благодетеля. Я засыпал и просыпался с мыслью о том,.что он купил меня, что я не принадлежу себе. Ему был известен каждый мой шаг, он шпионил за моими замыслами, он не выпускал из моей комнаты ни одного клочка полотна. Его агент подкупал мастера Майера, чтобы знать все, что делали вот эти руки. Мне все кругом напоминало о моем унижении, как чахоточному все напоминает чахотку. Проклятие! Ради чего это делалось? Себялюбивому мальчишке вздумалось навести лоск на поблекшее в забвении имя маркграфов. Он хотел, чтобы о нем заговорили, чтобы его вспомнили. Захудалый лейтенантишка, неизвестный дальше полка, в котором он служит, неожиданно открывает нового художника. Ах, это маркграф? Маркграф, ха-ха! Дело не в художнике, а в меценате! Без мецената не было бы и художника! Дьявол! Он проводил свой план с расчетливостью паука. А-а-а! Такое отродье надо держать на замке! А ты поверил в его любовь к картинам? Поверил, ха-ха! Любовь к картинам, ха-ха-ха! Теперь этот покровитель изящных искусств не прочь украсить свой реставрированный титул новыми лаврами. У него, наверно, в глазах мутится: маркграф вступает в Семидол, маркграф победно шествует в Москву, маркграф восстанавливает монархии, маркграф фон цур Мюлен-Шенау — друг мордовской свободы, ха-ха-ха! Попадись он мне только, друг мордовской свободы, ха-ха!

Курт кинулся к окну, распахнул его, привалился на подоконник. Во дворе раздавались глухие голоса, кто-то бегал по размякшей от дождя земле, лошадиные копыта чавкали в грязи, колеса затарахтели по разбитому полу каретника.

— Готово, Франц? — крикнул кто-то под окном.

— Ступай зови!

Курт выпрямился и застегнул воротник гимнастерки. Дыхание его стихло, движения стали отчетливы и ровны.

— Нам пора, Андрей.

Тогда Андрей вздрогнул, быстро встал и шагнул к столу. Рядом с пузатой походной сумкой на столе лежал долгоствольный иссиня-черный маузер. Андрей взял его и протянул Курту.

— Покажи, Курт, как наполняют магазин,— тихо попросил он.

В городе перебрасывались короткими словами, кое-кто отставал, чтобы поправить за спиною сумку или затянуть на ногах обмотки. Но когда миновали железнодорожный переезд, наступило безмолвие и строй не нарушался. Марш был тяжелый. Сеявший с полудня мелкий дождь пропитал глубоко дорогу. Сапоги облипали мягкими туфлями грязи, и шаги срывались, как на льду. Но ноги двигались упорно, и тела раскачивались грузно и мерно, как колокольные языки.

По глухому тракту, затерянному в России, прикрытые осенней ночью, в убогих полях без конца и края, неведомо куда шагали гессенцы, дармштадтцы, нюрнбержцы. Привыкшие к походу, они легко расслышали его суровую музыку, и на чужой земле, под чужим незрячим небом запели непозабытую песню:

I-ich hatte ein'Kamara-aden...[1]

На этой земле слащавая песня стала грозной, и Андрей не слышал своего голоса в хоре дармштадтцев, гессенцев и нюрнбержцев.

Но он пел, и слова его совпадали со словами песни, хотя смысл их казался ему другим. И хотя с каждой минутой мерная поступь марша отдавалась в земле тяжелее, идти становилось легче. В какую-то пустоту уходило прошлое, и все будущее было в том втором шаге, который делался за первым. Так незаметно исчезли в пустоте неясные видения маркграфа, Курта, Риты, Москвы, скромной комнаты у Пауля Геннига и сам Пауль Генниг, что-то рокочущий об уравнительности в социализме. Обрывки неволнующих слов возникали и гасли в памяти, как сигнальные огни оставленного вдалеке полустанка.

Ничем не отличный от солдат, нога в ногу, плечом к плечу с солдатами, Андрей ступал навстречу темноте, и чужая песня лилась из него легко и безбольно:

In der Heimat, in der Heimat,
Da gibt's ein Wiedersehen...[2]

Он был крепок и спокоен, он пел о родине Мари, он пел о свидании с ней. Он верил, что Мари — будущее, что она — тот второй шаг, который он сделает следом за первым.

Он заснул на земле, когда отряд расположился в Ручьях биваком...

---

[1] Был у меня товарищ... *(нем.)*
[2] На родине, на родине
Ожидает нас свиданье... *(нем.)*

Рассвет был поздний, дождь не переставал, сады стояли оголенные ветреной ночью. В промозглом тумане утра Андрей впервые разглядел солдат. Черты их лиц были странно одинаковы, как будто все они вытачивались на одном станке и красились одной краской. Медлительны и скупы были их движения, и рты их раскрывались только для того, чтобы откусить хлеба или поудобней перехватить зубами трубку.

Когда передали приказание о выступлении на Саньшино, солдаты завозились с трубками: кто выколачивал их, кто набивал наново, неторопливо и старательно, точно это было самым важным в исполнении приказания. Потом разобрали из козел винтовки, построились в колонну и пошли. В конце садов дали команду, которую Андрей не понял. Колонна развернулась в длинную шеренгу, и шеренга ломкой цепью двинулась по холмам, покрытым тоскливыми реденькими остатками заброшенных садов.

— Пахнет противником,— буркнул сосед Андрея.

Андрей взглянул на него. Солдат попыхивал дымком кургузой трубки и смотрел под ноги. Подстриженные щеточкой усы его с одного бока были подернуты сединой.

— Я не проходил строя,— сказал Андрей,— я не знаю, что надо делать.

— Идти,— ответил солдат.

— Я буду держаться рядом с вами.

— Это все равно.

И они пошли молча, перескакивая через ползучие плети крыжовника и обходя хилые стволы одичалых яблонь.

За поворотом проселка, на покатой возвышенности Андрей увидел одиноко торчащее дерево с бесформенным рыжеватым комком на суку. Он вгляделся в этот комок пристальней. С дерева свисала на веревке неподвижная толстая туша, похожая издалека на заколотого гуся, подвешенного за шею. Андрей не заметил, как переменил направленье и спутал, ускорил шаги. Он шел прямо к дереву.

— Что это? — сказал он, протягивая руку назад, чтобы схватить своего соседа.— Человек? — спросил он тише.

Локоть его уткнулся в чью-то грудь, он осмотрелся. Его окружала кучка солдат, стремившихся вместе с ним к дереву. Шеренга была сломана. Чей-то голос вопрошающе прохрипел:

— Ему отпилили ноги?

Андрей рванулся и побежал на верх холма. За ним кинулись солдаты.

Голова повешенного была наклонена набок, бессильно и тяжело, как у мертвой птицы. Лицо посинело, и один глаз — желтый и громадный — вылезал из глазницы, точно выбитый. На рас-

тянутой длинной шее вровень с человеческим ростом странно висело широкоплечее громоздкое туловище. Казалось, если бы подставить под него ноги, оно пошло бы. Но на месте ног из-под разорванного тряпья розовела, точно живая, сморщенная кожа толстых культей. Растопыренными пятернями упирались в воздух руки, как будто туловище держалось на руках отдельно от головы, привязанной за веревку. Солдаты обступили повешенного.

Андрей смотрел на его синюю с вылезавшим глазом голову. Он где-то видел эту голову — дынеподобную, рябую от крупных веснушек. На коренастом обрубке она раскачивалась по пояс толпившимся солдатам и, радостно щерясь, подвывала бестолковому говору:

— С приездом, братики-товарищи! Дождались, можно сказать, до миру, до родины...

Но Андрей не мог вспомнить, когда он встретил эту голову, и она смутно сливалась в его памяти с другой головой, такой же синей, с внезапно шевелящимися мертвыми губами. «Adieu, Frau Mama, adieu...»

— Его надо снять,— глухо раздалось позади Андрея.

Он обернулся. Говорил сосед Андрея по шеренге. Половина его лица с поседевшим усом выплясывала какую-то стремительную дробную пляску. Он был бледен. Андрей окинул взглядом других солдат. Они были странно непохожи друг на друга, тогда как минуту перед тем показались Андрею все как один.

Кое-кто шагнул к человечьему обрубку на дереве и приподнял его. Неловкие вздрагивавшие руки задергали веревку на растянутой шее повешенного.

Но в этот момент на головы упал откуда-то сухой недолгий треск, как будто обломился старый сук. Андрей поднял глаза на яблоню. Солдаты быстро побежали в стороны, рассыпались по холму длинной линией и, как картонные фигурки от дуновенья ветра, попадали наземь. Сухой треск повторился. И вдруг неровная дробь нагоняющих друг друга коротких разрывов покатилась через холм, точно где-то раздирали на куски толстую дерюгу. И, как от дерюги, на дальнем за проселком холме полетели кверху легкие, пушистые охлопья.

Андрея что-то толкнуло в бок. Он отлетел от дерева и упал. Лежа на правом локте, он левой рукой отстегнул от пояса деревянную кобуру маузера. Потом медленно насадил рукоятку револьвера на легкий приклад из кобуры, открыл предохранитель, лег на грудь и уперся подбородком в кулак.

Невзрачное, простоволосое небо подернулось клубочками сизых дымков. Они редели, таяли, и на их месте возникали новые, чтобы рассосаться и дать место другим. Андрей долго смотрел на

них. Потом он приподнял голову. Шагах в сорока от него лежал на животе его сосед с подстриженными щеточкой усами. Рядом с ним валялась винтовка. Он тщательно и неторопливо прочищал соломинкой свою трубку. Книзу, по отлогому склону холма, редкими звеньями разлеглась цепь стрелков. Все они были неподвижны и тихи. Андрей взглянул на дерево. Потревоженный солдатами висельник все еще плавно раскачивался на суку. Андрей отвернулся безразлично.

Странное спокойствие разлилось по его телу. Впервые за эти годы, может быть, впервые за всю жизнь, он испытывал необычайную легкость какого-то бездумья. У него было такое чувство, как будто он ничем не был связан с миром, который неожиданно и удивительно просто раскрылся перед ним и принял его. Он ощущал в мире одного себя, и время вдруг прекратило свое теченье, так что не стало ни будущего, с неотступной мыслью о Мари, ни настоящего, с его тоской и страхом за изуродованного, казненного человека.

Андрей следил за огромным рыжим муравьем, волочившим по земле иссохшую личинку. Муравей брал отважно препятствия из увядших дудчатых былинок, гальки и комочков грязи. Какой-то черный крошечный мураш в поисках добычи забежал в поле зрения рыжего, и тот, изогнувшись в дугу, ринулся на смельчака и поверг его в бегство. Потом он вернулся к личинке и пополз своей дорогой.

Может быть, оттого, что земля была близка к лицу, ничтожное пятнышко ее, источенное ходами червей и жуков, вырастало в целый мир, и этот мир наполнял Андрея все углублявшейся непоколебимой тишиной.

До него донеслась далекая, непонятная команда. Сизые дымки на небосводе исчезли, выстрелы прекратились. Он посмотрел на склон холма. Солдаты кривой, как складная саженка, линией, с винтовками в руках, сбегали в лощину.

Андрей легко поднялся, захватил маузер и побежал под гору. И с каждым ударом ноги о пологую землю в нем росло ощущение никогда не испытанной странной легкости, как будто с него спадала постепенно одежда и он бежал голый. Когда же склон холма упал в лощину и нужно было сберечь разбег, чтобы взять подъем другого холма, Андрей перестал слышать свое дыханье, и легкость сменилась чувством какой-то бестелесности, неощутимо несшим его вверх.

Он опомнился, оставив позади себя возвышенность, над которой недавно взлетали сизые дымки. Он упал в реденький дубовый молодняк за этой возвышенностью, как падает клочок бумаги, когда под ним уляжется закружившая его воронка ветра.

Его ударило по голове выстрелом. Куцые, обрезанные винтовочные удары отозвались со всех сторон.

Тогда Андрей прижал к плечу полый приклад маузера и стал нажимать собачку без счета и без перерывов, пока не опустел магазин. Потом, не шевельнувшись, он прислушался к тому, как поднятый стрельбою рокот катился по округе. Сквозь тонкую вязь дубовых веточек справа и слева от себя он увидел улыбавшихся солдат и только тут понял, что маузер направлен кверху, в небо.

— Ну, как? — спросил кто-то, зычно рассмеявшись.

Андрей откинул приклад от плеча и посмотрел на револьвер. Он был опален синеватой пороховой гарью.

— Работает исправно,— ответил Андрей и тоже рассмеялся.

ВСТРЕЧА

На десять часов утра было назначено собраться в лагере, куда целый день перед тем приводили захваченных в плен мордовских ополченцев. В особом бараке были заключены пленные австрийцы и немцы, среди которых предстояло опознать «друга мордовской свободы».

Семидол оправлялся от переполоха, и женщины с ведрами на коромыслах уже судачили у водопроводных будок. Но чем ближе Андрей подходил к окраине, тем безлюдней становилось кругом, и домишки прятали свои подслеповатые оконца за растрепанными ставнями.

Вдруг на углу захудалого переулочка Андрей увидел девушку, показавшуюся ему чужой, нездешней среди почерневших от дождей тесовых хибарок, заборов и ворот. Он замедлил шаги, вгляделся пристальней и, точно налетев на протянутую поперек дороги веревку, стал.

Девушка стояла на другой стороне улицы, спиной к нему, и разглядывала проржавленную железную дощечку на столбе ворот. Потом она медленно пошла к соседнему дому и принялась отыскивать на нем давно исчезнувшие следы номера. Постояв, она двинулась дальше, неуверенно и тихо, как человек, который сомневается, на верном ли пути ведет он розыски. Прочитывая полинявшие или облупившиеся дощечки, она прижимала правую ладонь к виску, как делала Мари, всматриваясь во что-нибудь неразборчивое, туманное. Потом она отнимала руку от лица, но не опускала ее тотчас, а несла перед собой две-три секунды, точно отдавая честь. Этот мельчайший жест, эта неизмеримо маленькая частица жеста принадлежала только ей — Мари. Не могла, не должна была принадлежать никому на свете, кроме нее — Мари.

О, конечно, это была Мари!

Каждое ее движенье — то, как она заносила тонкую — пожалуй, чересчур тонкую — свою ногу, чтобы ступить, то, как она переставляла ноги, почти не колыхая корпуса и выбрасывая вперед колени, как будто ее путь всегда лежал в гору,— все эти ничтожные черты движений, известные единственно ему, Андрею, составляли ее поступь — поступь Мари.

В самом деле, это была Мари.

На ней было платье, которое Андрей прекрасно знал,— коричневое тяжелое осеннее платье с широкими складками вокруг пояса и натуго застегнутыми на запястьях рукавами.

Вот она подняла голову, чтобы рассмотреть какой-то домишко. Волосы выбились из-под дорожной шляпы, сквозь них просвечивает белесоватое небо, и Андрей ясно видит их цвет — цвет волос Мари.

Нет сомнений, это она.

Но как она очутилась здесь, в этом захолустье, на этой окраине, в этот час?

Боже мой, она только что с поезда, с утреннего поезда. В ее левой руке небольшой саквояж. Может быть, Андрей припомнит его, этот саквояж? Бледно-зеленой кожи, как фисташковый орех, почти квадратный, перехваченный посередине одним ремнем. Разве мало видал он таких саквояжей в Бишофсберге? Разве не было такого саквояжа у Мари?

Мари!

Нечеловеческими усилиями она добралась до России, она разузнала, где живет Андрей, она из-под земли выкопала неведомый Семидол, она приехала, и вот — теперь плутает по захолустью, разыскивая его, Андрея.

Мари...

О, бывают минуты, когда воображенье проносит через наши головы несравнимо больше воспоминаний, догадок, доводов и картин, чем те ничтожные обрывки и клочки мыслей, которые ослепили Андрея, пока он смотрел на девушку через дорогу. Наверно, в нем не оставалось и капли сомнения, когда он прорвал невидимую веревку, преградившую внезапно его путь, и бросился через грязную улицу.

Но он сделал всего два шага. Девушка, что-то разыскивающая на воротах, обернулась к Андрею. Он увидел чужое и — ему показалось — отталкивающее, отвратительное лицо.

Он схватился за грудь и повернул назад.

Он едва не сшиб с ног какого-то человека и приостановился. Раздельные немецкие слова, произнесенные очень тихо, привели его в себя.

— Странно... Странно...

Перед ним стоял пленный немецкий солдат и, не обращая на него вниманья, глядел через улицу на девушку.

— Что странно? — спросил Андрей.

Пленный вздрогнул и быстро осмотрелся. Одутловатое, плохо вымытое лицо его медленно изменилось под налетом непонятной улыбки.

— Пустяки,— сказал он,— вон та славная фрейлейн напомнила мне одну знакомую...

— Да? Странно... Впрочем, это случается...

— Случается,— согласился немец.— Вы в лагерь? — спросил он тут же.

— Да.

Пленный запрятал руки поглубже в карманы шинели. Шинель была изжевана походами и ненастьем, на ногах коробились просушенные огнем австрийские голубые обмотки и на глаза сползала высокая, с большой чужой головы бескозырка. Пленный вздрагивал и пожимался от студи.

— Не знаете случайно, долго ли еще будут нас держать в этой помойке? — Он мотнул головой в сторону лагеря.

— А вы в Германию?

— Да.

— Понемногу отправляют.

— На тот свет? — усмехнулся пленный, и Андрей увидел его рот.

Они узнали друг друга мгновенно — пленный немец и Андрей Старцов. У них вырвалось в одно и то же время придушенное:

— Вы!..

Они впились глазами друг в друга и окоченели в испуге. Но это длилось один кратчайший миг. Испуг встряхнул их, точно ледяной душ, и они стояли готовые к схватке. И, может быть, оттого, что Андрей бросил куда-то поспешный ищущий взгляд, пленный напал на него первым, стремительно и метко.

— Нет, нет,— проговорил он, чуть подаваясь к Андрею и вынимая руку из кармана,— вы не сделаете этого, вы не можете этого сделать!

— Вы с ума сошли! — воскликнул Андрей.

— Вы не сделаете этого, потому что от одного вашего необдуманного шага зависит жизнь сотни невинных людей. Невинных людей!

— Послушайте...

— Нет, нет. Не торопитесь, чтобы потом не раскаиваться всю жизнь. Не торопитесь, умоляю вас! Я не о себе. О себе — мне все равно...

— О чем вы? О каких людях?

— Ради бога. Прошу вас. Выслушайте. Если вы выдадите меня, если меня поймают...

— Я знаю, что мне делать! — крикнул Андрей и огляделся.

Табунки растрепанных непогодью хибарок по-прежнему одичало жались по бугристой улице. Безлюдные дороги скучно убегали в поле. Ни души.

— Я знаю,— снова крикнул Андрей, но голос его сорвался и заглох.

Тогда пленный шагнул к нему, уверенно взял его обеими руками за локти и заговорил:

— Хорошо. Я могу сейчас побежать, вы броситесь за мной, поднимете крик, народ выбежит на улицу, меня настигнут и возьмут. Вон там уже идут двое каких-то солдат. Вы не один. Вы можете взять меня. Но я говорю вам: за это заплатят жизнью двадцать, тридцать, пятьдесят человек, вся вина которых в том, что они хотели поскорей попасть на родину. Меня захватили вместе с моими солдатами. Это все — пленные, и один я виноват в том, что они пошли драться. Но они — честные, простые люди, и они выручили меня. Они переодели меня еще там, под Саньшином, перед тем как сдаться. Я сидел вместе с ними в бараке, вон там, как рядовой. На рассвете они помогли мне бежать. Я говорю ради них. Им не простят того, что они помогли мне. Их судьба в ваших руках. Решайте. Я готов. Я смерти не боюсь. Я пять лет жил со смертью под одной крышей. Если вы...

— Все это вздор,— отмахнулся Андрей и сдвинул брови.

Поздно, Андрей! Не надо было слушать этого вздора, не допускать ни одного слова, не терять ни одной секунды. Тогда двое солдат не видели бы, как товарищ Старцов, которого знает весь Семидол, поутру, на пути в лагерь, стоял с каким-то пленным в изжеванной шинели и австрийских обмотках, и пленный жарко упрашивал о чем-то товарища Старцова, держа его крепко за локти. Тогда заспанный мужичонка, вылезший из лачуги, подле которой Андрей разговаривал с пленным, не заметил бы, как растерянно дернулся товарищ Старцов, точно хотел позвать на помощь, и тотчас сдержал себя и вслушался в торопливое бормотанье пленного:

— Я прошу не за себя, поверьте, мне все равно. Я даже не рассчитываю, что вы припомните, как я нарушил когда-то свой долг, чтобы выручить вас, чтобы спасти вас, может быть, от смерти. Я вижу, что вы помните это, вы не могли забыть этого, не правда ли? Ваше положение тогда было немногим лучше моего. Не так ли? Вы помните?

И вот за вздрагивающим покатым плечом пленного Андрей

опять видит Мари. Неужели в мире возможно такое сходство? Немыслимо! Мари! Она вышла из ворот, остановилась, приложила руку к виску, всматриваясь в даль, потом решительно и легко двинулась под гору, в город. И чем дальше удалялась она, тем страшнее становилось от мысли, что она может уйти навсегда, что ему — Андрею — не суждено, быть может, никогда вернуть ее и что вдруг лицо этой девушки вовсе не отвратительно, потому что это — лицо Мари, Мари!

Секунда, другая — и ее скрыл кособокий угловой домишко.

И тут же ясное, странно близкое слово, произнесенное чужим прерывистым голосом, замыкает мысль Андрея:

— Бишофсберг...

— Бишофсберг? — спрашивает он изумленно.

И пленный торопится договорить что-то очень важное шепелявящим, сухим языком:

— Клянусь, я ни о чем не думаю больше, как только о возвращении в Бишофсберг. Я готов отплатить вам, чем хотите. Вернуться в Бишофсберг, на Лауше! Неужели вы, в память того, что я когда-то сделал для вас...

— Вы хотите вернуться в Бишофсберг? — прерывает его Андрей.

— О да!

Кругом опять ни души, захолустье недвижно и сокрыто от человечьего глаза.

— Говорить об этом — безумие! — воскликнул Андрей и вдруг, затихнув и пригнувшись к пленному, быстро шепчет: — Приходите ко мне сегодня, как стемнеет, я живу на углу...

Он говорит свой адрес точно и коротко, он пожимает протянутую руку пленного, поворачивается и слышит растроганный, сдавленный, чуть-чуть насмешливый возглас:

— О, как вы благородны!

Потом без оглядки он кидается из безлюдных улиц в поле и, мимо заброшенных кирпичных сараев, через овражки, тропы и лощинки, почти бежит к лагерю.

Он, конечно, скажет, кого только что встретил на улице, кого позвал к себе сегодня, когда стемнеет. Он устроит засаду у себя в комнате, он выдаст, он предаст беглеца. Предаст? Нет, он исполнит свой долг. Долг? Но разве он уже не нарушил своего долга? Ведь если беглец...

Андрей останавливается внезапно, точно ослепленный жестоким светом, и опять бросается вперед...

Потом он стоит в бараке, между Куртом и Голосовым, и мимо него тянется череда захваченных под Саньшином немцев и авст-

рийцев. Пленных останавливают, заставляют снять фуражки и показать руки. Курт задает короткие вопросы и машет головой.

— Следующий.

С Андрея не перестает лить пот, он часто вытирает лоб промокшим тяжёлым платком и машет головой так же, как Курт.

— Следующий.

Голосов говорит негромко:

— Завтра, Старцов, митинг в лагере. Ты должен благодарить пленных, которые дрались на нашей стороне. Их отправят на родину с первым эшелоном. Это все, что мы можем сделать для них. Мы очень обязаны им.

Голосов прикрывает ладонькой улыбку.

— И тебе, конечно...

— Хорошо,— отвечает Андрей,— следующий.

В ленте проходящих мимо него людей остаются пятеро, трое, двое. Вот последний.

— А-ах, чер-рт! — хрипит Курт.

— Боже мой, боже мой! — отзывается Андрей.

— Я так и знал: убежал, дьявол...

И Андрей:

— Убежал. Да, да, убежал. Боже мой...

Он отводит глаза, и ему кажется, что все кругом застлано тягучим черным дымом.

СОН

— Если месяц пребывания в осажденной крепости зачисляют за год, то месяц плена надо бы считать за два. Моя жизнь, в сущности, прошла. Плен — гроб. Дно и стенки его — снег, крышка — небо, заткнутое снежными тучами. Заживо в гробу. Иной раз я падал в отчаянье на пол и бился головой. Я с ума сходил от снега. Я с ума сходил от мысли, что скоро опять пойдет снег. Я не могу видеть, как он падает, падает, падает. У меня волосы становятся дыбом... Вы хотите знать, чем я руководился, затеяв эту жалкую аферу? Или вам безразлично это так же, как мне? Но я чувствую необходимость оправдаться перед вами. Ведь в ваших руках — моя судьба, и вы снисходительны к ней, может быть, не по заслугам.

— Вы опять говорите громко. Тише! — шепчет Андрей.

— Простите. Я насилу сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться. Я не могу смотреть на вас без слез. Я не вмещаю в себе этого. Как грандиозна и нелепа наша жизнь. Недавно еще враги, мы...

— Говорите тише и скорей. Говорите скорей.

— Я так взволнован, я не знаю, о чем должен сказать. У меня был единственный друг, с которым я прожил в этом гробу два с

половиной года. Его звали Фрей. Его убили третьего дня, в последней стычке, которая решила все. Он был германским офицером, и его приколол штыком германский солдат. На его смерти я понял, что он затеял глупое дело. Это была его идея — поднять мордву. Он назвал меня другом мордовской свободы, пустил целую легенду обо мне, не знаю толком какую. Он ненавидел большевиков и презирал русских. Мне любопытны и те и другие. Но мне было скучно. В конце концов политика — только скука. Свекровь всегда считает сноху расточительницей, отцу кажется, что сыновья — паразиты, а дети изнывают под гнетом родителей. Но все это — своя семья. Скучно. Я не думал ни о какой политике. Я просто любовался на Фрея, на его увлеченье, с каким он плел свой узор, который должен был привести нас на родину, положить конец плену. Вы ведь знаете по себе, что значит плен? Вы знаете, на какие безумства может толкнуть человека плен? Вы помните?..

— Говорите же скорей!

Андрей кутается в широкую жесткую шинель, как будто сквозь наглухо занавешенное окно, к которому он прислонился, дует пронзающая струя холода. В комнате тихо. Боязливый язычок восковой свечки на столе не колышется, хотя на расстоянии протянутой руки судорожно трепещут шепчущие губы обер-лейтенанта:

— Я надеюсь, я почти верю... Все зависит от вас, добрый друг. Могу я вас так называть?

— Как вы решились прийти ко мне?

— О, я ни минуты не колебался. Вы поймете меня. Я так несчастен, я так раскаиваюсь, так жестоко раскаиваюсь...

— На что вы надеетесь? Говорите же!

Обер-лейтенант облокачивается на стол и приближает свое лицо к свечке. Оно неподвижно, изможденно, и только рот наполнен напряженной жизнью.

— Я жду, что вы поможете мне, как когда-то я помог вам. Постойте, постойте! Я понимаю, что это против вашей совести. Но разве я отпустил вас из Шенау не против своей совести? Я вижу, что вы хотите сказать: вы были безвредны для Германии? Но посмотрите на меня. Я пришел к вам за милостью, за снисхождением, и вы вольны сделать со мной, что хотите. Неужели я действительно хоть сколько-нибудь опасен для вашей страны?

Андрей скидывает с себя шинель и встает. Громадная тень распрямляет на потолке руки и кидается из угла в угол. Андрей смеется:

— Для моей страны? Для страны?

Обер-лейтенант вторит ему тихоньким, раздумчивым смешком и бормочет:

— Конечно, смешно. Для великой страны, для великой России... друг мордовской свободы! Но даже для Семидола, для вас, для того дела, которому служите вы. Неужели опасен? Я окружен пустотою, я одинок. Мой друг убит. Я никогда не забуду, как два года подряд мы собирали с ним гербарий. Бедный Фрей. Что останется делать без него? Допустите, что я на свободе и что мною руководит злая воля. Вы видели, на чьей стороне пленные. У меня были случайные люди. Я безвреден, беспомощен, я ничтожен. Если вы поможете мне выбраться отсюда, вы никому не причините вреда, как не принесете никакой пользы, если выдадите меня. Нет, нет. Я не допускаю такой мысли. Я хочу сказать, что у вас может и не быть тех дружеских чувств, какие побудили меня выручить вас тогда, в Шенау. Но я верю в вашу человечность.

— Вы тогда отпустили меня как друга Курта Вана,— шепчет Андрей, перегибаясь через стол.— Вы знаете, что я как друг Курта Вана должен был бы... выдать вас?

Обер-лейтенант откидывается на спинку стула, глаза его растут, он насилу сдерживает дыханье и мнет сухие, тонкие пальцы в ладонях.

— За что так ненавидит меня Курт Ван? — бормочет он чуть слышно.

— Вы знаете? — продолжает шептать Андрей.— Курт Ван здесь, в Семидоле. В его руках эвакуация пленных — он председатель совета германских солдат.

Обер-лейтенант закрывает глаза и хватается за виски. Недвижный, пожелтевший, он молчит, держась за голову, и полуоткрытый рот его подергивается конвульсивно.

— Судьба,— наконец выговаривает он и поднимает веки. Взгляд его мутен и безжизнен.

— Судьба... За что он ненавидит меня? — повторяет он.— Моя надежда сделать что-нибудь в совете... единственная надежда...

Он вдруг вскакивает, бросается кругом стола к Андрею и стонет:

— Я прошу о человечности, об одной чело-вечности!

Тогда Андрей хватает его за мягкую, дрожащую кисть руки, тянет ее книзу, точно в рукопожатье, и хрипит ему в лицо:

— Тиш-ше, вы! О человечности? О человечности? А безногий калека на яблоне — человечность? А кровь несчастных идиотов, которые поверили в вашу потеху,— человечность?

— О, не будьте жестоки! О!

— Жестоки?

— Умоляю вас. Фрей искупил нашу вину своей смертью. Клянусь вам, что я всю жизнь...

Андрей выпускает его руку и отходит прочь.

— Я больше ничем не могу помочь вам. Вам удалось бежать. Бегите дальше. Скрывайтесь. Я не мешаю вам. Мы квиты. Мы квиты, обер-лейтенант! — вдруг резко выкрикивает Андрей.

— Я понимаю вас. Вы проходите мимо человека, умирающего под забором...

— Но что же вы хотите от меня? Что я могу сделать для вас?

Обер-лейтенант съеживается, неожиданно крепко потирает руки и быстро шепчет:

— Мне нужно какое-нибудь имя. Больше ничего. Какое-нибудь имя...

Андрей смотрит на него застылым, как стекло, взглядом, и руки его туго поднимаются, точно их что-то сводит против воли.

— Какое-нибудь имя, даже самое неблагозвучное, доведет меня до Бишофсберга. Я больше ничего не хочу: Бишофсберг, Лауше, Шенау — мое последнее желание в этом мире.

Андрей бессильно опускается на кровать.

— Бишофсберг — последнее желание в мире...

Беззвучие сковывает полумрак комнаты, свеча горит по-прежнему боязливо, и медленно густеет пряный медовый дух растопленного воска.

Андрей тихо встает и подходит к обер-лейтенанту. Он становится рядом с ним, касаясь его плеча грудью, обвивает его спину рукою и приближается лицом к его уху. Он весь дрожит. Грузным, частым дыханием он раскачивает прижатого к груди обер-лейтенанта, и его шепот шумен и тяжел:

— Если вы доберетесь до Бишофсберга, вы исполните одно мое порученье?

— Это будет целью моей жизни!

— Послушайте, у меня там... у меня невеста, единственная женщина, которую... моя невеста...

— Да, да, понимаю, конечно,— шепчет обер-лейтенант, и что-то детское овевает его полуоткрытые губы.

Тогда, впервые за этот вечер, по лицу Андрея тепло растекается темная краска, и желтое пламя свечи умножается и ширится в его глазах.

— Вы разыщете ее, расскажете о том, что я... что вы видели меня, что я говорил о ней... я скажу вам потом... передадите ей письмо... первое письмо... я расстался с ней год назад, и она ждет... Мне страшно думать: целый год! И впереди... Но я напишу все в письме... Вы передадите? Ее нетрудно найти. Ее зовут Мари Урбах, фрейлейн Мари Урбах. Она живет...

Андрей качнулся. В его руках подломилось и повисло мешком отяжелевшее тело обер-лейтенанта. Голова запрокинулась назад, и

на растянутой шее скользнул челноком выпятившийся острый кадык.

Андрей прислонил обер-лейтенанта к стене.

— Что вы? Вам плохо?

Обер-лейтенант вздрогнул и распрямился.

— У меня... видите,— глухо пробормотал он, показывая на голову.

От правого уха к затылку бежал широкий исчерченный рубцами шрам.

— В Шампани, в пятнадцатом году, с тех пор это бывает. Не обращайте внимания... Фрейлейн Мари Урбах, говорите вы? Ма-ри Ур-бах?

Обер-лейтенант прищурился на Андрея.

Но Андрей не смотрел на него. Он вытянул шею, прислушиваясь к шороху за окном. Три отчетливых удара по стеклу негромко звякнули и оборвались безмолвием комнаты.

— Ко мне,— прошептал Андрей.

Он, крадучись, вышел из комнаты, бесшумно проскользнул темной каморкой в сени и прильнул к наружной двери.

Обер-лейтенант отскочил в угол, прижался спиною к стене и вытащил из кармана офицерский наган. Левой рукой он охватил запястье правой и навел револьвер на дверь. Так он стоял, неслышный и неразличимый в теплом полумраке настороженной комнаты.

Андрей прислушался к неуверенным, мягким шагам на дворе. Они остановились на крыльце, и полусгнившие ступени скрипнули жалобно, готовые обломиться. Кто-то взялся за железную скобку двери.

Андрей затаился. Потом он шумно, освобожденно вздохнул, снял крючок и открыл дверь. По блеску круглых черных глаз, засветившихся перед ним в темной ночи, он понял, что не обманулся, и быстро проговорил:

— Рита, милая, я не могу принять тебя, у меня дело... у меня товарищ... Через четверть часа я освобожусь. Я приду к тебе, непременно приду.

Рита подняла руки, широкий черный платок тяжело скатился с ее плеч, и она молча потянулась к Андрею. Он обнял ее нежно, точно обрадованный молчаньем, и туго поцеловал в мягкие, мокрые, холодноватые губы.

— Андрей!

— Да, да. Через четверть часа.

— Ты уже знаешь?

— Что?

Она забормотала бессвязно.

— На фронт... тебя решено отправить на фронт... Это все Голосов, Голосов, я знаю... Он не может простить мне, что я с тобой... Это решено... я знаю... на этих днях, может быть, завтра... мобилизуют. Андрей... расстаться теперь...

Он снова нежно обнял ее.

— Мобилизуют? Ну и что же? Это хорошо. Это отлично! Я буду у тебя через четверть часа. Ступай.

Он поднял с пола платок, закутал ее, повернул к себе спиной и слегка придержал за плечи, пока она спускалась по скрипучим ступеням крыльца.

Потом он наложил крючок и вернулся в комнату. Он не сразу разглядел своего гостя. Обер-лейтенант стоял, прислонившись к стене, лицом к двери. Руки его торчали в карманах. Он молчал. Андрей подошел к нему и дотронулся до борта его шинели.

Обер-лейтенант тихо спросил:

— Как вы говорите? Фрейлейн Мари Урбах?

— Позвольте! — сказал Андрей.— Вы могли ее знать, Мари. По соседству с Шенау, вилла Урбах, помните?

— Не припоминаю,— промямлил обер-лейтенант и показал раздумчиво на голову: — У меня — видите...

Тогда Андрей заторопился.

— Вам надо идти. Я постараюсь сделать что-нибудь для вас. Постойте. Завтра, в одиннадцать вечера, на том месте, где мы встретились. Я буду. Я приготовлю письмо. Вы передадите? Но запомните имя и адрес, на случай, если не удастся уберечь письма: Am Markt, 18/II, Мари Урбах... Сейчас...

Он бросился к полке, схватил кусок хлеба и сунул его обер-лейтенанту, не переставая шептать:

— Am Markt, 18/II... Am Markt...

Обер-лейтенант попробовал спрятать хлеб за пазуху, но кусок был большой, угловатый, он разломил его на две части и одну часть засунул в левый карман шинели. Потом, подталкиваемый Андреем, миновал каморку, сени, подошел к выходной двери, беззвучно и зыбко, как тень.

Тут он вдруг отвердел, схватил руку Андрея, сжал ее и раздельно проговорил:

— Я запомню: am Markt, 18/II, фрейлейн Мари Урбах. Я бесконечно благодарен вам. До завтра.

Он окунулся в темень, уверенно пробежал двором, нешироко приоткрыл калитку и юркнул в щель.

Черная жесткая ночь обнимала чуждый мертвый Семидол. Косогоры с угнездившимися на них лачугами чуть различимыми горбами подымались к безглазому небу. В пустой глубине города выл затосковавший пес.

Обер-лейтенант вынул наган и подержал его на ладони, как будто прикидывая вес. Потом засунул револьвер назад в карман и решительно двинулся в ночь, придерживая двумя пальцами левой руки прыгавший на ляжке кусок хлеба, как когда-то придерживал саблю...

В эту минуту, сгорбившись над столом, в пугливом трепыханье свечи, Андрей чертил щербатым пером по надорванному, рыхлому листку бумаги повторяющиеся, отчаянные, бессмысленные слова:

«Милая, любимая моя, маленькая Мари. Каждый мой вздох, каждый удар сердца, всегда и всюду... Ты одна... Боже мой...»

Уже поздним вечером, когда Курт кончал работу, пришел Андрей. Он был необычно подвижен, разговорчив, пожалуй, болтлив. Он рассказал о том, что на завтра назначены проводы мобилизованных, что он занят сборами отряда, что Голосов тысячу раз прав, утверждая, будто бы ему — Андрею Старцову — очень полезно размяться на фронте.

— Я совершенно переродился после Саньшина! — восклицал он, потирая руки, как на бодрящем, душистом морозе.— Я понял теперь, почему до сих пор я постоянно чувствовал себя угнетенным. Какой-то мрак окутывал меня, я задыхался от него, у меня не было ни минуты передышки. Знаешь, что это было? Это было ложное сознание, будто бы я не несу ответственности за ужас, который совершается в мире. Будто бы я не виновен в этом ужасе. Но совесть не давала покоя. Совесть — это страшно, Курт. Совесть... да...

Андрей помедлил с минуту, потом еще горячей продолжал:

— Ложь... понимаешь? — ложь. Я виновен в том, что люди шли на смерть, а я не шел с ними. Ведь правда? Все, кто не шел на войну, все, кто не идет на войну,— все виноваты в войне. Если смерть нужна, если она неизбежна, надо самому... понимаешь? — самому умереть, а не смотреть, как умирают другие... Под Саньшиным, когда надо было бежать за смертью вместе со всеми, я понял, что значит совесть... я понял, что нужно взять на себя всю тяжесть ужаса, а не бежать его, считая, что в нем виновен мир, но не я...

Андрей вскакивал, принимался бегать по комнате, садился, снова вскакивал и, почти задыхаясь, не переставал говорить. Лицо его было смято, как от бессонной ночи, но необычно и остро горели неясные глаза.

— О, я теперь другой, совсем другой. Я с наслаждением иду на фронт. Я уже не мог бы теперь жить, как прежде. Я просто умер бы с тоски. У меня захватывает дух, когда я вспоминаю, что пережил под Саньшином. Знаешь, Курт? За всю жизнь единственный раз, на несколько минут, я перестал видеть себя. Никогда раньше, даже когда, подростком, впервые узнал женщину.

Он опять остановился, как будто пораженный неожиданной мыслью, затих и вгляделся в невидимую точку, где-то на уровне глаз. Потом покачал головой и ответил своей мысли:

— Нет. Даже с Мари, когда все плыло и качалось в ее взоре, даже тогда, Курт, я не испытал такого чувства. Я всегда видел себя со стороны. Под Саньшином я перестал не только видеть себя, но даже ощущать. Если это смерть, то она прекрасна...

Курт следил за Андреем с той нарастающей и скрытой тревогой, с какою смотрят на человека, который чересчур жарко доказывает, что он совершенно здоров. И когда Андрей выговорился и его голос упал, как птица, избившаяся в клетке, он сказал:

— У тебя очень усталый вид, Андрей.

— Мне кажется — не больше, чем у тебя,— ответил Андрей.

Курт показал на пачку бумаг под лампой.

— Я провозился с утра. Мы отправляем громадную партию. Это все те, кто дрался против маркграфа... Может быть, хочешь чаю? Я скажу, чтобы приготовили.

— О да, чаю я выпью. Скажи.

Курт вышел. Стук его каблуков раздался в соседней комнате и стих в коридоре. Далекая дверь захлопнулась чуть слышно.

Андрей поднялся с кресла, шагнул к столу.

Синие папки лежали сложенными ровной стопой. На крышке верхней папки чернели крупные литеры:

P — S
REICHSDEUTSCHE
ГЕРМАНЦЫ

Андрей развернул папку на середине. Толстый сероватый лист бумаги был разграфлен жирной чертой пополам. Правую сторону листа заполняли русский типографский шрифт и чистенькая писарская пропись. Кучка четких слов бросилась Андрею в глаза:

Воинское звание: *ефрейтор*
Имя: *Конрад*
Фамилия: *Штейн*
С какого времени в плену: *с февраля 1917 г.*

Андрей выдернул лист из папки и скользнул глазами по его оборотной стороне. Внизу листа прилипло лиловое пятно печати и крутая, размашистая стояла подпись:

К. Ван.

Андрей закрыл папку, согнул бумагу надвое, проворно сунул ее в карман и обернулся к столу спиной. Чтобы придушить всхлипыванья, вылетавшие вместе с дыханием, он напряг все мышцы с такою силой, что откачнулся, как на пружине, от стола, на котором присел. И вместе с этим движеньем у него запал глубоко живот, и он громко икнул. Когда издалека послышались шаги, он бросился в полумрак соседней комнаты и крикнул подряд несколько раз, с каждым разом невнятней:

— Не надо, не надо!..

Он налетел в темноте на Курта и схватил его руки.

— Не надо. Я не хочу, я раздумал...

— Что такое?

— Я не хочу чаю, не могу, не успею. Я вспомнил, что мне еще нужно пойти... надо пойти по одному важному... мне поручили...

— Что с тобой?

Курт сильно сжал руку Андрею и потянул его к свету. Но он не унимался, твердил о неотложном деле, икая, захлебываясь, то вскрикивая, то шепча, и торопливо, кое-как натягивал на себя неуклюжую шинель.

— Как мог я забыть? Прощай, Курт, я никак не могу...

Курт резко взял его за плечи.

— Ты совсем не владеешь собой, дружище. У тебя лихорадка.

— О да! Но это хорошая лихорадка, хорошая. Я так счастлив! Прощай.

Курт прижал его к себе, обнял и — высокий, прямой, негнущийся — постоял так неподвижно.

— Если ты умрешь, Андрей, то у меня будет одно утешенье: ты умрешь за хорошее дело. Ну...

Он дотронулся губами до щеки Андрея, потом отпустил его. Тогда Андрея пронизала страшная дрожь, точно от нечаянного прикосновения холодного железа. Он выдавил из себя, сдерживая икоту:

— Прощай,— и выбежал вон.

Улицы были черны, ветер налетал из-за углов внезапными порывами, неистово трепля ободранные ветки деревьев.

Андрей бежал не переводя дух, запахивая непрестанно борта шинели, точно не догадываясь застегнуть их на крючки. Икота му-

чила его, он почти задыхался, и ветер разносил во тьме его обрывистые, гулкие всхлипы. Но он не останавливался.

Он добежал до косогоров окраины, миновал свой дом и устремился в гору, по улице, ведшей в поле. Здесь он замедлил шаги и стал приглядываться к постройкам. Но лачуги увязали в беспросветной ночи, как мухи в чернилах, и отличить одну от другой было нельзя.

Андрей остановился.

И в тот же миг его кто-то уверенно взял сзади за локоть. Он отскочил и быстро обернулся; припадок икоты сдавил его живот и глотку, он зашатался от боли.

— Это я,— расслышал он сквозь завыванье ветра.

Он вытащил из кармана покоробившийся лист бумаги и протянул его в темноту. Холодные пальцы коснулись его руки. Он выговорил прерывисто и глухо:

— Пробирайтесь одиночкой... с эшелоном нельзя... до Москвы...

Он рванулся под гору, но его нагнал окрик:

— Письмо для Мари!

Андрей дернул ворот гимнастерки, выхватил из-за пазухи письмо и ткнул его в холодные растопыренные пальцы.

Ветер дул по пути, путь катился вниз, и бег Андрея был полетом камня, брошенного в пропасть.

Он долетел до ворот своего дома, ворвался во двор, на крыльцо, и только тут передохнул. Ему открыли дверь, он прошел сенями в кухню, нащупал на скамье ведро с водой, присел на корточки и, нагнув ведро, стал пить через край. Вода показалась ему горячей, как кипяток. Он оторвался, отдохнул, снова принялся пить тягучими емкими глотками. Потом разыскал ковш, зачерпнул воды, раскрыл окно, высунул наружу голову и опрокинул на нее ковш. Потом упал на скамью.

Войдя в свою комнату, Андрей не зажег огня. Он ощупью приготовил постель, медленно разделся и лег, зарывшись плотно в одеяло.

Сон пришел неожиданно скоро, так что Андрей ни разу не шелохнулся, и тишина все реже и реже вздрагивала от икоты.

И, кажется, так же скоро, как сон, пришло видение:

Какой-то бесконечный простор наполнен переливающейся синевой. Эта синева повсюду — вверху и внизу, со всех сторон только она — бездонная, струящаяся синева. И в этой синеве, где-то в глубине ее — и в то же время где-то очень близко — перед Андреем стоит неподвижный пустой стул. У него высокая прямая спинка, ровные ножки, гладкое сиденье. Он

совершенно неподвижен, и на нем никто не сидит. Он пуст. На нем никого нет. Но он как бы ожидает, что на него кого-то посадят...

Андрей очнулся. Он лежал, прижавшись всем телом и лицом вплотную к стене. Одеяло, подушка, белье были мокры от пота. Он вскочил, сбросил ноги на пол и притаился. Бледный, немощный рассвет брезжил за окном. Но перед Андреем, в бесконечной, дрожащей синеве, все еще стоял неподвижный пустой стул. На стуле никто не сидел. Но он кого-то ожидал. Это было ясно видно...

Андрей расслышал стук своих зубов, и, точно откликнувшись на этот стук, его голые пятки стали выбивать по полу частую дробь.

Это был последний день, проведенный Андреем Старцовым в Семидоле.

Все, что он делал за этот день, скаталось в клубок. Андрей едва запомнил сумерки, накрывшие толпу, когда она провожала мобилизованных. Нестройные голоса, свернутые — для удобства — плакаты и знамена, толчея на узкой платформе вокзала. Перед тем как провожавшим вернуться в город, Андрей что-то говорил, и от выкриков под его ногами раскачивался скрипучий ящик. Потом он прощался с товарищами, и лица их казались ему застенчивыми, а поцелуи — деловыми. Товарищ Голосов лукаво спрятал в ладонь-ку беглый смешок и крепко тряхнул руку. Военный летчик Щепов отвел Андрея в сторону и дал ему письмо к отцу — Сергею Львовичу.

— Вам, может быть, придется задержаться в Петербурге, так вот... Вы можете остановиться у отца. Я тут пишу... Да, кстати, я написал, что женился, и, кажется, забыл сообщить, как зовут жену... Передайте. Впрочем, вы знаете? Я женился на Клавдии Васильевне...

Потом беготня по черным запутанным путям, между слепых вагонов, потом дорога в город, где надо было что-то сделать,— дорога одинокая и длинная. Все это заслонилось неотступным желанием еще раз пережить чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином,— чувство бесплотности.

Может быть, Андрей боялся вспомнить сон? Может быть, он торопился искупить свою вину? Но его воля отдать себя лучшему, что он узнал в жизни, была неотступна и заслоняла собою все.

И только вот что разорвало ее непрерывность, литым мечом откинуло в сторону весь этот день и сделало его прощальным.

Ночь была холодна. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как

всегда, пустырем, а простиралась пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура впрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.

— Рита! — вскрикнул Андрей.

— Я хотела, чтобы никто не видал, чтобы не видал Голосов,— задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук, нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:

— Прощай!

Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда,— должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:

— Гони!

И вновь заслонилось все ясной волей — еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.

— Гони, гони, гони!

Потом Андрей забился в угол теплушки и, подняв высоко воротник, закрыл глаза.

Спустя час поезд волочил его по пути в Петербург.

В этот час Курт Ван, составляя донесение в Москву о работе Семидольского совета солдат Германии, написал последний пункт записки:

Сообщаю, что из канцелярии Семидольского совета исчез личный документ на имя ефрейтора саксонской службы Конрада Штейна. Предъявитель этого документа подлежит задержанию. Действительный Конрад Штейн будет снабжен мною, помимо личного документа, особым удостоверением. Одновременно я сообщаю о сем в Центропленбеж.

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТОМ

ЧЕХЛЫ СНЯТЫ

За окнами медленно падал легкий, пушистый снег. Горы теснились белые, почти прозрачные, и свет от них наполнял комнату покоем. На столе под широкодонным кофейником колебалось синеватое пламя спиртовки.

Обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау осторожно снимал с картин холщовые чехлы. Он бросал чехол на пол, спускался неторопливо с лесенки, отходил на несколько шагов и смотрел на картину. Потом опять взбирался на лестницу, обнажал следующую картину и снова рассматривал ее издали. Иногда он оборачивался к окну, глядел на плавное падение снега, поправлял засученные рукава еще не смятой рубашки и вновь принимался за работу. Ему помогал неслышный слуга, складывавший в угол чехлы и переставлявший лестницу.

Обер-лейтенант выпил подряд две чашки кофе, раскурил трубку и приказал:

— Приготовь умыться и поди седлай.

Слуга вышел, но через минуту вернулся и доложил:

— Фрейлейн Урбах.

Обер-лейтенант стиснул ручки кресла, выбросил туловище вперед, чтобы вскочить, но тотчас овладел собою, поднялся спокойно и спокойно ответил:

— Проси.

Мари вошла быстро и остановилась посреди комнаты. Ее еще овевала свежесть легкого мороза, и на плечах ее блестели следы растаявших снежинок.

Обер-лейтенант поклонился. Мари стояла неподвижно. Он шагнул к ней, и правая рука его едва заметно дернулась. Он начал:

— Вы пришли...

Ему что-то мешало говорить, он осмотрелся, как будто неожиданно попал в незнакомую комнату, направился к двери и попробовал, хорошо ли она затворена. Возвращаясь к столу, он миновал Мари с каким-то усилием: шаги его замедлились, и он должен был наклониться, чтобы они не остановились.

— Присядьте,— сказал он.

Но Мари продолжала стоять, глядя в сторону. Он смотрел на нее, и пальцы его опущенных рук подергивались, точно он все время хотел что-то взять или сделать какое-то движение и все время раздумывал. Всегда чуть раскрытые губы его обнажили крепкую белизну зубов, и лицо стало сразу испуганным и хищным.

— Почти четыре года...— вновь заговорил он.— Я никогда не думал, что в этой комнате увижу вас такой... чужой. В этой комнате, Мари...

Она внезапно перебила его:

— Вы обманули меня?

— Я? — воскликнул обер-лейтенант.

Взгляды их встретились на мгновенье, потом Мари опять отвела глаза в сторону, и обер-лейтенант повернулся к столу. Он выдвинул ящик, достал бювар, открыл его, вынул засаленный, помятый конверт, подошел к Мари и молча подал его ей. Она разорвала конверт, взглянула на начало письма, на его конец,— и обер-лейтенант видел, как по ее щекам разлилась густая и медленная кровь. Мари зажала письмо и спрятала руку в кармане пальто.

Обер-лейтенант отошел к окну и, всматриваясь прижмуренно в глубокую снежную рябь, с усилием расставил внятные слова:

— Я вас никогда ни в чем не обманул. Обманули меня вы.

Мари отозвалась тихо:

— Я не люблю вас.

Он не ответил. Она помедлила, потом внезапно громким голосом и торопясь сказала:

— Я не верю ни одному слову в вашем письме. Это все — ложь, что вы написали...

Тогда обер-лейтенант круто обернулся к ней, заложил руки за спину и захохотал. Он хохотал, покачиваясь вперед и взад, не сводя с Мари взгляда и притопывая носками сапог по ковру. Смех не давал ему выговорить ни слова. Наконец он успокоился, приподнял одну бровь и, небрежно шевельнув плечами, посоветовал:

— Мне думается, уважаемая фрейлейн, что лучше всего было бы, если бы вы прокатились в Петербург, чтобы убедиться, в

какой мере соответствует действительности все то, что вы изволите называть ложью...

Он прищурился на Мари, опять застукал ногой по ковру, взялся за трубку, но не закурил и бросил ее на стол. Боль и надменность переметнулись на его губах, и он спросил:

— Вы ненавидите меня?.. Что делать. Я написал вам одну правду...

Он вдруг заметил, что Мари бледна и странно покачивается, не переставляя ног. Он двинулся к ней, но она быстро повернулась и пошла вон из комнаты.

Обер-лейтенант прислушался, как угасали ее шаги, кинулся к двери, но не добежал до нее, выкрикнул что-то бессмысленное и жесткое, как брань, и остановился.

В углу лежали аккуратно сложенные стопой холщовые чехлы. За ними высилась снятая со стены картина «Дворик Немецкого музея в Нюрнберге». Обер-лейтенант вынул из кармана перочинный нож, раскрыл его, переступил через чехлы, с размаху всадил нож в картину и провел им из угла в угол полотна.

Звук был такой, как будто на железную крышу бросили горсть гороху и он посыпался по скату в желоба.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

— Вас, папочка, честью просят потесниться...— говорит Щепов-сын.

— Да была ли у тебя когда-нибудь честь? — кричит Щепов-отец.

— Это ваше частное мнение.

— Господи боже! Один сын обворовал до нитки, пустил старика по миру! Теперь приехал другой — выбрасывает отца на улицу. Подыхай под забором.

— Вас не выбрасывают, а просят занять комнатки поменьше.

— Проклинаю тебя отеческим проклятием на всю жизнь!

— Вы, папочка, сволочь...

— Проклинаю, проклинаю! Изверг!

До Андрея доносятся исступленные старческие вопли, шум от передвигаемых стульев, хлопанье дверей. Потом все стихает, и через стену слышен голос Щепова-сына:

— Нельзя, Клавдия, выселять Старцова, когда у него жена на сносях...

Жена?

Андрей разгибается, встает, подходит к постели, на которой сидит Рита. Он кладет ладонь на ее голову, гладит мягкие прямые волосы, говорит так, что слышно только ей:

— Моя жена.

Рита прижимает его руку к щеке. Он смотрит на ее улыбку — беспомощную и странно озаряющую одутловатое, водянистое лицо. Оно некрасиво, неприятно какой-то преждевременной, чужой дряблостью, и он целует его нежно.

— Я пойду,— говорит он.

— Куда?

— Мне обещали тут... недалеко... стакан молока... Я захвачу с собой бутылку...

— Теперь недолго,— говорит она.

— Да, конечно. Самое страшное — позади: зима... Сегодня выдают хлеб, я зайду...

Он улыбается Рите и уходит.

Пока он отыскивает в передней фуражку, над притолокой входной двери беззвучно вздрагивает колокольчик. Андрей открывает дверь в тот момент, когда в передней раздается чуть более уверенный звонок.

Прислонившись к перилам лестницы, против Андрея стоит девушка. Волосы ее, белую юбку и блузу треплет теплый сквозняк, рвущийся из пролета в открытую квартиру. Она стремительно протягивает к Андрею худые, голые до локтей руки и тянется к нему. Он узнает ее не по рукам и не по взгляду светящихся круглых глаз, а по какому-то изгибу тела, вдруг намеченному одеждой, прижатой ветром к ноге. И, точно защищаясь, он вздергивает свои руки к груди, ладонями наружу, и отступает в переднюю, в полумрак, к развешенному на стене платью. Тонкие прямые руки тянутся к нему через дверь, все ближе и ближе, и вот ему кажется, что он различает шепот:

— Андрей, ты не веришь, Андрей?

Тогда он задыхается радостным и диким словом:

— Ты... ты-ы! Мари! — выкрикивает он, и его руки устремляются вперед.

Но он в тот же миг видит, что Мари смотрит в сторону от него и что ее глаза опущены до половины человеческого роста. Он поворачивает голову.

Рядом с ним стоит Рита. Он тут же замечает ее выпяченный живот, уже отвислый и безобразно большой, приподымающий спереди подол юбки.

Мари прислонилась к двери, руки ее падают, она точно повисает вся в воздухе. Потом она переводит взгляд с живота Риты на ее лицо, веки ее вдруг мертвеют, глаза останавливаются.

Андрей хочет двинуться, ему мешают шинели, пальто, зонты, развешенные на стенке, он сам становится мягким и бескостным,

как шинели. Из последних сил он отталкивается от стены, шагает к Мари и, не дойдя до нее, протягивает к ней руку.

— Мари...

Но едва он прикасается пальцами к ее локтю, она пронзительно кричит:

— А-а-а!

Андрей отдергивает руку и, наклоняясь к ее лицу, повторяет чуть слышно:

— Мари...

И она снова кричит пронзительно, на одной нотке, не опуская и не подымая голоса:

— А-а-а!

Тогда на ее крик отзывается протяжный и тупой стон Риты. Андрей оглядывается и видит, как Рита нагнулась к полу, точно уронив что-то и шаря в темном углу, потом выпрямилась и опять неожиданно и неуклюже согнулась. Он двинулся к ней, но в это время Мари скользнула в дверь, и по каменным ступеням лестницы коротко зачеканили стуки ее каблуков.

Андрей выскочил на площадку, перегнулся через перила и без передышки, много раз подряд прокричал в пролет пустынной, глубокой лестницы:

— Мари, Мари, Мари-и!..

Он видел, как раз, другой, третий мелькнуло ее белое платье, как колыхнулись у одного из окон ее волосы, слышал, как задребезжала в подъезде брошенная с силой дверь и взвыл в пролете порывистый сквозняк. Потом он уронил голову на перила.

Из раскрытой квартиры до него долетел звенящий голос Щепова:

— Клавдия... надо сбегать за акушеркой!

Из-за угла катится шумливая толпа ребятишек, бурлит, пенится, рябит на солнце расцвеченными ситцами, впадает в плотный, грузно плывущий по проспекту поток человеческих тел. В этом потоке дети сплющиваются, как ягода в кошелке, но толпа их становится еще бурливей, и поверх ситцев, похожих на пологи деревенских кроватей, чаще блестят белые пятна зубов.

И вот в катящуюся из-за угла толпу детей непонятно откуда попадает девушка. Она растерянно озирается, она хочет пересечь дорогу, чтобы идти куда-то дальше, ей непременно нужно идти дальше, своим путем — высоким бесконечным строем многочисленных зданий. Но ее толкают, дергают, вертят бегущие дети, и она, как щепка в водопаде, кружится бессильно в пенистой гуще расцвеченных ситцев. Ее выносит за угол. Дети плотно зажимают

ее неугомонно-подвижными тельцами, сплюснутыми, чуть не раздавленными в грузном потоке людей. К ней подымается горстка смешных, пытливых мордочек, ей что-то кричат на непонятном языке, перед ней щерятся острые, сверкающие зубы, и маленькие проворные руки теребят ее блузу. Она что-то говорит, ей в ответ над головами рассыпается смех, она видит, как от смеха и солнца весело морщатся неглубокими морщинками крохотные лица, и она опять что-то произносит. Тогда дети поднимают крик, без конца повторяя одно и то же слово, и машут руками куда-то в толпу. К девушке протискивается старуха с трясущейся головой, с полинявшим солнечным зонтиком за плечом. Дети тянутся к ней, показывают пальцами на девушку, кричат о чем-то наперебой.

Старуха шипит на детей, старается припугнуть их строгой гримасой, и они еще веселей, еще неудержней смеются. Старуха улыбкой просит извинить неуемных детей и, тряся седыми космами, говорит на ухо девушке:

— Probablement, vous n'êtes pas d'ici, mademoiselle?

— Oui, madame,— отвечает девушка одними губами, неожиданно приседая, точно собираясь сделать книксен,— je ne suis pas d'ici...

— Je vois bien que ce pays vous parait nouveau. Allez-vous quelque part?

— Non... en ce moment je ne vais nulle part...

— Voulez-vous, alors, nous faire compagnie?

Девушка оглядывается. Бесчисленные ребячьи лица, колеблясь из стороны в сторону и вытягиваясь кверху, без остановки плывут за нею. Она говорит рассеянно:

— Oui, si vous voulez...

Потом громко спрашивает:

— Mais où est-ce-que vous allez avec ce tas d'enfants?

— Nulle part, tout droit [1].— И старуха зыбкой рукою показывает в даль прямого, упирающегося в небо проспекта.

Мари глядит туда, и ей кажется, что она на вершине Лауше и под ее ногами убегает к пологому небу вечно новый и вечно зовущий простор. Над головою несутся грядами белые облака, ветер налетает порывами, прибивая к домам гул и топот толпы, как

---

[1] — Вы, вероятно, нездешняя, барышня?
— Да, сударыня... я нездешняя.
— Я вижу, для вас здесь все необычно. Вы куда-нибудь идете?
— Нет... сейчас мне никуда не надо...
— Хотите пойти с нами за компанию?
— Да, если вам угодно...
— Но куда же вы идете с этой толпой ребятишек?
— Никуда, вот так прямо *(франц.)*.

на Лауше шум леса прибивало к обрывам гор. И как на Лауше, когда взберешься на вершину и переведешь дух, грудь становится огромной, и хочется, чтобы гора шла выше и подъему не было бы конца.

Мари бросает взгляд на старуху. Она так сильно трясет головой, что у нее дергаются плечи. Временами она как будто шепчет:

— Tout droit, tout droit...

Прямо, прямо... Какая-то девочка протягивает Мари обрывок тополевой ветки. Мари берет ее, улыбается, пожимает костлявое, острое плечо девочки, заглядывает ей в глаза. Они глубоки и веселы, как лужицы, в которых играет облачный день. Толпа внезапно редеет, становится просторно, дети кидаются вдогонку за ушедшими вперед, две, три, четыре — может быть, больше — девочек хватают Мари за руки и тащат со смехом за собой. Мари смеется и бежит...

Так вот куда привел ее Андрей!

— Tout droit, tout droit!..

В это время Андрей сидел у постели, на которой распласталась Рита. Он держал ее за руку и смотрел ей в лицо. Оно было серо, и на мешках под глазами поблескивали слезы. Едва начиналась схватка, Рита закусывала нижнюю губу и отворачивала голову к стене. Андрей мял ее руку вспотевшими ладонями и, точно боясь, что она застонет, бормотал:

— Ну погоди... погоди...

Когда боль стала нестерпимой, у Риты посыпались за уши торопливые слезы, и она выдавила из себя, чтобы придушить крик:

— Скажи правду... ты ее... все еще любишь?

МЫ КВИТЫ, ТОВАРИЩ СТАРЦОВ

Вот мы кончаем повесть о человеке, с тоскою ждавшем, чтобы жизнь приняла его. Мы оглядываемся на дорогу, по которой ступал он следом за жестокостью и любовью, на дорогу в крови и цветах. Он прошел ее, и на нем не осталось ни одного пятна крови, и он не раздавил ни одного цветка.

О, если бы он принял на себя хоть одно пятно и затоптал бы хоть один цветок! Может быть, тогда наша жалость к нему выросла бы до любви, и мы не дали бы ему погибнуть так мучительно и так ничтожно.

Но до последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь.

Стекло не сваривается с железом. Об этом не нужно было бы говорить, если бы на исходе дорог не пришло сознание, что жалость заслуживает больше снисхождения, нежели жестокость. Не потому ли мы оправдываем жестокость только тогда, когда она освящена состраданьем?

Но стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея.

Андрей получил письмо. Оно прорвалось через пограничные заставы, сквозь десяток почтамтов и сотню баулов, и на нем зияли следы их прикосновений: цветные карандаши, штемпельная краска, жирные оттиски пальцев. Странно, но письмо миновало только тот кордон, который не мог бы отнестись к нему безразлично.

Андрей затворился в комнате, сел спиною к двери. Он открыл широко рот, чтобы не было слышно свистящего дыхания, руки его тряслись, и он навалился на них, уперся локтями в коленки. Лицо его вдруг побелело, когда он вскрыл конверт, точно в него плеснули мелом.

«Уважаемый господин Старцов,

впрочем, не знаю, как следует к вам обращаться. Может быть — «товарищ» Старцов? Не могу отказать себе в удовольствии сообщить вам обстоятельства, которые, по всей вероятности, могут быть для вас небезынтересны. В наше последнее свидание в Петербурге, оказывая мне известную вам услугу, вы изволили поинтересоваться, считаю ли я себя расквитавшимся с вами, принимая от вас помянутую услугу. Если припомните, я тогда заявил вам, что буду обязанным вам до тех пор, пока не исполню вашего поручения, принятого от вас в Семидоле. Я счастлив, что имею в настоящий момент возможность сообщить вам, что это поручение я в точности исполнил и, таким образом, вполне с вами расквитался. Да, мы квиты, товарищ Старцов! Я без труда отыскал в Бишофсберге вашу невесту, и она пожаловала ко мне за вашим письмом с поспешностью, свидетельствующей о неизменности ее чувств к товарищу Старцову. Однако позвольте начать издалека. Вам нельзя отказать в чутье. Во всяком случае, я был очень смущен, когда в Петербурге вы спросили меня, не знаю ли я фрейлейн Мари Урбах. Вы понимаете хорошо, что признаться вам в этом тогда — значило бы для меня не исполнить обещания, данного вам в Семидоле. Между тем я чувствовал себя настолько обязанным вам, что предпочел утаить истину, что-

бы столь необычной для меня ценой приобрести возможность отблагодарить вас так, как вы этого заслужили. Не скрою, меня потрясла сила вашего чувства к фрейлейн Урбах. Я отлично понял, что именно этому чувству я и обязан некоторой беззаботностью, с какой вы игнорировали известные обстоятельства, имевшие в тот момент для меня решающее значение. Все дело сводилось для вас к тому, чтобы переслать тем или иным путем письмо фрейлейн Урбах. Я это понимал лучше, чем вы. И я хранил ваше письмо, как можно хранить только самое ценное в жизни. Ведь я был вам так обязан, товарищ Старцов! Когда я узнал от вас, что фрейлейн Мари была счастлива с вами в то время, как я дрался в Шампани и на востоке,— выйдя от вас ночью, у калитки, я решал, с кем мне вперед посчитаться. Я колебался, потому что вы были под рукой, а до фрейлейн Мари мне предстоял далекий и небезопасный путь. Но чувство признательности к вам пересилило, и я решил посчитаться с Мари. Когда впоследствии в Петербурге я снова встретился с вами, мысль достойно отблагодарить вас опять посетила меня, и я должен был сделать над собой усилие, чтобы, следуя по вашим пятам, не раскроить вам череп. Но судьба мне благоприятствовала. Мне посчастливилось еще раз убедиться в ваших чувствах к фрейлейн Мари и в то же время установить, что пылкость этих чувств не мешает вам обманывать вашу невесту с новой любовницей. Тогда я решил окончательно, что мне делать. Заметьте, я ни на минуту не забывал о своем слове передать письмо, полное тоски и любовного томления, вашей невесте. Как мог бы я дойти до такой низости? Ведь я обязан вам жизнью, товарищ Старцов, и моя жизнь оценена вами в стоимость транзитного письма из Семидола в Бишофсберг... Теперь я снова в своей комнате, и меня окружают любимые картины. Я был бы вполне спокоен, если бы не чувство досады, что однажды я имел неосторожность выпустить вас из этой комнаты живым. Кстати, о картинах. Если вы еще имеете возможность сноситься с товарищем (кажется, верно?) Куртом Ваном, то сообщите ему, что все его полотна, хранившиеся в моем собрании, я сжег. Однако маловероятно, что ему это интересно, потому что политики редко и не так, как нужно, занимаются искусством. Неужели товарищ Ван до сих пор не догадался, кто является виновником исчезновения из его канцелярии документов покойного Конрада Штейна? Я никогда не считал его таким тупицей... Итак, вернувшись в Шенау, я сообщил вашей невесте обо всем, что мне стало известно с ваших слов, а также что мне удалось узнать о ваших чув-

ствах к фрейлейн Мари, о вашей новой подруге и прочее. Само собой разумеется, что я подробно написал вашей невесте об услугах, оказанных вами мне и, надеюсь, социалистическому отечеству — России. Это я сделал тем охотнее, что мне стали известны подвиги вашей невесты на поприще еще не задушенного социалистического отечества — Германии. Чтобы не быть голословным в своем обращении к вашей невесте, я обещал ей представить в качестве свидетельства ваше собственноручное письмо. Я уже написал, что ваша невеста не заставила себя долго ждать и явилась ко мне. Я имел с ней свидание в комнате, которую вы знаете и в которой когда-то... Впрочем, об этом ниже. Ваша невеста не поверила мне, как я, впрочем, и ожидал. Я посоветовал ей поехать к вам, чтобы убедиться в кристальной истине моих слов. Я установил за нею надзор. Право, я так близко принял к сердцу нежные чувства вашей невесты к вам, товарищ Старцов! Чтобы попасть к вам, она решилась на поступок, не столько героический, сколько нечистоплотный: она вышла замуж за какого-то рядового русского солдата из пленных, дабы получить права русского гражданства и разрешение на въезд в Россию. Я убедился на этом поступке, что она горячо любит вас, и мне приятно думать, как она унизилась, чтобы испытать затем еще большее унижение от вашего обмана и вашего ничтожества. Я представляю себе, как переживете это унижение вы, товарищ Старцов, и мне становится не так досадно, что я не всадил в ваш лоб пулю, когда услышал от вас, что вы считаете своей невестой фрейлейн Мари Урбах. Невестой? Я не был оскорблен чрезмерно тем, что Мари обманывала меня с вами, потому что женщины должны с большей осторожностью скрывать первого любовника от второго, чем наоборот. Если я не подозревал в вас своего преемника, то вы не думали ни минуты, что я — ваш предшественник. Потребность посчитаться с вами я уравновешивал не только тем, что ценою молчания покупал себе жизнь, но и воспоминаниями о веймарской пансионерке Мари, убежавшей из пансиона мисс Рони ко мне в Шенау, в ту самую комнату, в которой произошло мое знакомство с вами. Мы квиты, товарищ Старцов!

Благодарный вам

фон цур Мюлен-Шенау.

Надеюсь, мое имя не повредит вашей безопасности. Если же повредит, то лишь после свидания с вашей невестой, моей любовницей и женой неизвестного русского солдата — фрейлейн Мари Урбах. Во всяком случае, я нарочно повременю

с отправкой этого письма, чтобы не предупредить встречи, одна мысль о которой меня приводит в прекрасное расположение духа. Servus!» [1]

Андрей скомкал письмо и бросился вон из комнаты. Его нагнал тонкий, внезапный плач ребенка. Он не остановился. Женский голос тревожно окликнул его́ на площадке лестницы, кто-то назвал его по имени в воротах, кто-то в испуге шарахнулся от него на улице. Он бежал, как от преследованья.

Всклокоченный, измятый, он замедлил свой отчаянный бег только на окраине города. Кругом него лежали пустыри, засыпанные отбросами и кирпичом. Шел мелкий дождь, сгущая и холодя вечерний сумрак. В каменном остове разрушенной постройки, как зверь в клетке, покачивался ветер.

Андрей повернул назад, в город, прошел какие-то улицы, застроенные низкими фабричными корпусами, попал на берег Невы, снова вышел в фабричные улицы и вновь очутился на пустыре.

Темнота становилась плотной, ночь надвигалась не по-летнему быстро.

Андрей осмотрелся, сквозь частое сито дождя разглядел черные массивы теснившихся вдалеке зданий и опять двинулся в город.

Его поглотили беззвучные громады амбаров, элеваторов, вышек и башен. Он углублялся в город костенеющих, мертвых небоскребов.

Вдруг что-то серое пересекло ему дорогу и провалилось в землю. Его ноги не дрогнули, он шел, как живая кукла,— вперед, вперед. Один за другим скользнули через дорогу серые комочки. Андрей шел дальше. Вот что-то ткнулось о его сапоги и откатилось в сторону. Вот он наступил на что-то мягкое, как тряпка, и короткий визг резнул по его ушам. Он замедлил шаг, потому что начал натыкаться на податливые препятствия, рассыпанные по всей дороге. Он остановился, потому что пронзительные визги, раздававшиеся с каждым его шагом, заострились до свиста.

Он стоял посередине улицы из подпиравших черное небо амбаров. Он стоял по щиколотки в какой-то массе, крутыми неторопливыми волнами перекатывавшейся через дорогу и тяжело омывавшей его ноги. Он смотрел на мутно-серые гребешки этих волн, и они казались ему покатыми спинками каких-то бесчисленных гадких зверьков.

И вдруг он расслышал чуть придушенный голос:

— Это крысы, крысы, Андрей! Перешагни через них!

---

[1] Покорный слуга (буквально: раб) *(лат.)*.

Он, как слепец, протянул руки вперед и позвал:

— Курт! Курт!

Ему отозвалось послушное эхо.

Он закрыл лицо и окостенел, подобно окружавшим его черным амбарам. Мутно-серые волны медленно катились по дороге, и одна за другой крысы переползали через сапоги Андрея.

Когда он опустил руки, лицо его белым пятном прилипло к темноте. Мостовая была неподвижна, и по ее лужицам дождь выбивал мелкую дробь.

Андрей рванулся и побежал к городу. Но улицы завели его опять на пустыри. Он оступился в глубокую рытвину, упал, стал выкарабкиваться и скатываться назад в яму. И пока ноги его, и руки, и все его тело сползали по грязи в рытвину, в ушах его раздавался придушенный, далекий голос:

— Ты боишься страха, Андрей. Перешагни через него. Перешагни...

Он с воплем выскочил из ямы и кинулся в ночь, крича:

— Помогите, по-мо-ги-ите!..

И в ночи, по щебню, по рытвинам, по бесконечным пустырям метался, как безумный,— безумный, может быть,— ища путей. Но кругом него лежали пустыри, над ним висело черное небо, и не было человеческого жилья, и не было путей.

Так пустыри окружали Андрея до года, которому суждено было завершить наш роман.

Когда же наступил этот год, Курт сделал для Андрея все, что должен сделать товарищ, друг, художник.

Май 1922 г.— сентябрь 1924 г.

К РОМАНУ «ГОРОДА И ГОДЫ»

Первые отрывки из романа «Города и годы» появились в печати в 1922 году.

В 1924 году роман был окончен и вышел отдельным изданием.

Исполнившееся десятилетие с начала первой мировой войны дало толчок к созданию многих произведений, возникших из жизненного опыта участников и современников этой трагедии. Вряд ли можно назвать значительную страну в Европе, где во второй половине двадцатых годов не было бы написано несколько романов, посвященных событиям военных лет.

Западноевропейские писатели, весьма часто изображая войну как не управляемое человеческой волей бедствие, обрекали своих героев на погибель. Повсеместно распространилось общее имя таким героям романов и — вместе с ними — их прототипам, жертвам

первой мировой войны: «погибшее поколение». Война называлась бойней, мясорубкой. Она и была бойней, мясорубкой, организованной правящими кругами конкурирующих мировых держав. Чуждая народным интересам, эта империалистическая война не означала для молодого поколения, кровью которого оплачивалась, ничего, кроме истребления.

В известном смысле герой моего романа Андрей Старцов принадлежал к «погибшему поколению». Царская Россия своим участием в схватке империалистических государств приговорила целые армии молодых людей к безжалостному уничтожению. Андрей видел себя в числе приговоренных и, как большинство из них, возненавидел войну. Как большинству возненавидевших войну, ему был открыт выход из нее Октябрьской революцией в России. Однако препятствием на этом пути оказались предубеждения, в которых он рос, будучи выучеником и наследником дореволюционной российской буржуазной интеллигенции. Отвращение и ужас, внушенные войной, помешали ему отделить отталкивающий смысл мировой бойни от нового и совершенно иного содержания гражданской войны в России. Он видел в войне только войну, в то время когда Советская Россия, покончив с империалистической войной, уже боролась за социалистические цели рабочих и крестьян и защищала свое отечество от вторжения недавних союзников царской России, пытавшихся подчинить ее себе и вернуть на старую дорогу. Не найдя в себе сил принять исторически разумную борьбу революции, потому что эта борьба — война, Андрей Старцов как бы естественно увеличивал собою число жертв «погибшего поколения».

Неспособность Старцова пойти путем революции вытекала равно из названных предубеждений и пороков его характера. Он не мог подчинить личную жизнь суровым, но и великим задачам времени, и это ему отомстилось. Слабость привела его к преступлению. Гибель его была судом над ним. Это отличает его от «погибшего поколения»: уже не трагедией войны предопределялась его участь, но он сам обрек себя справедливому возмездию. Судьба его становилась исключением, довольно, правда, распространенным среди той части интеллигенции, к которой он принадлежал. Это последнее замечание скорее относится к фабуле романа, чем вызывает на авторские изъяснения по его существу.

Но вот что теперь, на исходе четвертого десятилетия после начала первой мировой войны, вот что побуждает меня говорить об Андрее Старцове как герое романа и, кроме того,— о себе как авторе романа.

Война застигла Андрея в Германии. Он был свидетелем германской жизни перед войной и во время войны. Он стал дейст-

вующим лицом в обстоятельствах, порожденных фактом его пребывания среди немцев. Он не всегда умело и часто ошибочно или крайне субъективно оценивал то, что видел. Но он хорошо видел. И то, что он увидел в Германии времен первой мировой войны, имеет значение и теперь для нас, после победы над Германией в результате второй мировой войны 1939—1945 годов.

Вопрос об «автобиографичности» романа «Города и годы», прямо или косвенно затрагиваемый критикой, может быть верно понят при оговорке, что в широком смысле слова редкий роман не автобиографичен. Было бы заблуждением непременно искать в сюжетах романиста повторение его житейских испытаний. Но основой характеристик героев всегда будет служить его знание жизни. Он раздает свой жизненный опыт, восполняемый домыслом, героям романа, как композитор раздает голоса инструментам оркестра.

Роман «Города и годы» частью построен на основе моих наблюдений, приобретенных в Германии до первой мировой войны и во время ее. Эти наблюдения, разумеется, не во всем совпадают с тем, что пережито Андреем Старцовым. Они выходят за рамки его образа, потому что не исчерпываются образом, и за рамки романа, потому что я продолжал проверять свои наблюдения уже за временными пределами, поставленными действием романа,— когда он писался. Проверить эти наблюдения мне пришлось не раз на протяжении истекших после первой мировой войны десятилетий, довелось сделать это и после недавнего разгрома нацистской Германии. И так как изображение Германии, которая является как бы одним из главных действующих лиц романа, возникло из этих личных наблюдений, то я хочу о них сказать в автобиографическом плане, не чуждом самому роману.

Весной 1914 года московским студентом я приехал в Германию. Я поселился в Нюрнберге — в городе, который привлекал к себе сохранившейся чудом средневековой архитектурой. В башнях и рвах седого бурга, оплетенного паутиной тесных улиц, игрушечных площадей и нагромождениями кукольных домиков с непомерными мансардами, средневековье казалось только мертвым памятником. Даже «Железная дева» — башня с коллекцией орудий пыток — невинно дремала в романтической оправе города-музея. Удивлял только наглядный академический педантизм, с каким были собраны, классифицированы и разложены под стеклом эти орудия истязаний человека.

Летние события 1914 года, предшествовавшие войне, лихорадочно обнажили в Германии издавна воспитанные милитаризмом и укоренившиеся черты. В мещанской, буржуазной и особенно юнкерской среде это было национальное высокомерие и воинствен-

ная нетерпимость ко всем не немецким народам. Почти всякий филистер, от мала до велика, считал себя призванным судить каждую нацию и рвался «наказать» славян, «наказать» французов уже за одно то, что они могли думать не так, как думали немецкие милитаристы.

Прусский милитаризм был язвой кайзеровской Германии. Прусское воспитание, заполонившее все немецкие земли, покоилось на двух китах: повелении и повиновении. Нередко это признавалось самим филистерством. Реакционный немецкий романист Шпильгаген говорил, например, так: «Неистовство — приказывать, рабская жажда — слушаться приказаний — вот змий, который душит немецкого Геркулеса, делая из него карлика». Известно, однако, что карлики зачастую опаснее геркулесов. И скоро они себя показали.

«Жажда слушаться приказаний» буржуазии сделала из первой по величине в Европе и некогда заслуженной социал-демократии Германии недурных солдат в руках милитаристов. Мастер Майер в «Городах и годах» — явление недюжинное. Социалисты кайзера были законопослушны. Рушилась последняя надежда немногих на то, что благоразумие удержит Германию на краю обрыва в пропасть. Безумие шовинизма господствовало и поразительно легко увлекло за собой вымуштрованный фельдфебелями народ. Бург оказался не только памятником. Средневековье за его стенами еще не истлело, рыцарские доспехи в нюрнбергских музеях неспроста береглись от ржавчины.

Я выехал из Нюрнберга в день объявления войны, когда на вокзале расклеивался приказ баварского короля о мобилизации и железные дороги перешли к военным властям. По существу, это было уже бегством. Я был и молод и наивен,— до последнего часа я не верил в реальность катастрофы. Я надеялся «проскочить» через границу. В Дрездене меня задержали, и здесь я должен был похоронить расчеты на освобождение: у меня был произведен обыск, я стал «гражданским пленным» под надзором полиции.

Вскоре я был выслан в Циттау. Этому саксонскому городку на границе Чехии суждено было сделаться моей длительной школой по изучению германского обывателя. Я видел десятки торжествующих факельных шествий по городским улицам. Это было открытие: немецкая «цивилизация» лелеяла языческий культ огня. Я видел изнуренных русских пленных за работой на полях орошения и на скотных дворах. Немецкие помещики и кулаки были истовыми рабовладельцами: они изнашивали рабов, сваливали их в могилу и шли в ближайший лагерь за новыми. Я слышал проповеди о праведном немецком сердце, произносимые патером на братском кладбище военнопленных, когда хоронили оче-

редного лагерного самоубийцу. Я прочитал сотни немецких газет, высмеивавших гуманизм как проявление слабохарактерности.

Но немецкий народ не мог скрыть от себя своих собственных возраставших страданий, происхождение которых ему объясняли злой волей чужеземных наций. Боль заставляет думать. После бессмысленного истребления армий под Верденом, после бесплодной гибели части флота в Ютландском бою, после летних поражений 1918 года — в жизни германских масс явились уже очевидные признаки отрезвления. В этом году, приехав в Берлин, я встретился с немецкими спартаковцами, и они показали мне молодежь, успевшую на войне пересмотреть свои взгляды на нее и готовую к революции. Этим фактом определилась потом биография Курта Вана в «Городах и годах».

Я получил возможность вернуться на родину незадолго до падения кайзеровской Германии. Меня включили в обменную партию пленных, я приехал в Москву. Плен стал воспоминанием. Записки о более чем четырехлетнем пребывании в тылу у немцев и кипа газетных вырезок лежали в моем чемодане.

Затем пробил час десятого ноября. Могло казаться, что прошлое в жизни немецкого народа безвозвратно, как царское прошлое — в жизни народов России. Вильгельм бежал, устрашавшая Европу германская армия распадалась, фронт восстал, в Берлине создалось новое правительство, во главе с социал-демократами.

Но силы, вызвавшие войну, только переживали кризис, продолжая существовать. Они поднялись на ноги в исторически кратчайший срок. Версальский договор не разоружил Германию до конца. Реакция начала внушать народу, что военного поражения не было, что стратегия немецкого генштаба безукоризненна, что «победоносная» Германия стала жертвой внутренней революции.

Социал-демократия с изумительной последовательностью продолжала предательство, начатое еще при Вильгельме голосованием военных кредитов в рейхстаге. Она подавила все попытки революционных масс взять в свои руки судьбу государства. Ею были разгромлены восставшие матросы в Гамбурге и Киле, спартаковцы в Берлине, революционное движение в Саксонии, советская республика в Баварии. Она упрочивала свою недолговечную власть с помощью юнкеров Пруссии и промышленников Рура, содействуя пушечным королям производить оружие втайне от попустительского контроля англо-французских союзников и при щедрой поддержке американского капитализма, агрессивно проникавшего в старую Европу.

Спустя десять лет после окончания первой мировой войны я приехал снова в Германию. Кёльн уже был возвращен союзниками немцам. Но я еще застал англичан в Кобленце и французов на

южных извилинах виноградного Рейна: союзники стремились выбить цену подороже за вывод своих войск из Западной Германии. Солдаты победителей достаивали последние вахты.

Немцы необыкновенно цепко боролись с последствиями своего поражения. Настроения реванша усердно подготовлялись буржуазной прессой. Социал-демократическое правительство без особой маскировки маршировало в ногу с милитаристами, обеспеченными покровительством фельдмаршала Гинденбурга, который был символом национализма во время войны под знаменем Вильгельма и стал президентом Веймарской республики.

Мне предстояли затем еще два новых посещения Германии — в 1931 и 1932 годах. То, что я тогда увидел, можно назвать совершенно новыми временами. За прошедшее трехлетие передний план в немецкой жизни заняли главари мюнхенского движения национал-социализма. Они разжигали требования реванша, препятствовали выполнению условий Версаля, взвинчивали злобу против остатков революционных преобразований, быстро сколачивали военизированные отряды штурмовиков, терроризуя ими сторонников демократии.

В маленьком баденском городке, вблизи французской границы, где я прожил полгода, мне довелось быть свидетелем последних выборов в рейхстаг. Они проводились с помощью нахального устрашения выборщиков дубинками штурмовиков. Свастика взвилась в разгар голосования на здании избирательного участка, поправ собою государственный флаг.

К этому времени военные работы в Германии велись почти открыто. Поучительно было смотреть, как на виду у французского соседа вырастали громадные автомобильные станции-базы под вывеской почтовых дворов и создавалась густая сеть совершенных дорог для той же невинной почты, хотя в эти глухие места Шварцвальда доставлялся всего тощий мешок писем в день. Социал-демократы сделали свое дело и были оттеснены за кулисы правыми партиями, позади которых стоял могущественный Рур со свастикой национал-социалистов. Австрийскому фельдфебелю Гитлеру было поднесено германское подданство, он стал «имперским немцем», получил потребный чин, прошел в рейхстаг и стал во главе добытого дубинками большинства. Реакционная Европа разговаривала с германскими фашистами не только заигрывающе, но даже подобострастно.

В январе 1933 года Гитлер захватил власть, поставил себя на пост рейхсканцлера, и тогда началась в Германии сдача ключей нацистам по всему внутриполитическому фронту. Рассказывался меткий анекдот: Гитлер отправился в резиденцию дряхлого Гинденбурга и там прогуливался с ним по саду; вдруг президент об-

ронил платок, и когда Гитлер поднял и подал его старику, Гинденбург так изысканно и так подчеркнуто благодарил своего новоявленного премьера, что тот сказал: «Право, не стоит благодарности, ваше превосходительство, это такой пустяк»,— на что Гинденбург, проникновенно глядя в платок, отозвался: «Помилуйте, как же пустяк? Ведь это единственное место в государстве, куда я могу сунуть свой нос!..»

Президентство Гинденбурга было единственным внешним пережитком веймарской конституции, который терпели нацисты до скорой, впрочем, смерти отслужившего фельдмаршала. Он им не мог мешать. Поджогом рейхстага они показали миру, какими способами национал-социализм будет перевоспитывать Германию. Перевоспитание проведено было в осатанелом темпе. Национализм был втащен на высшую ступень ненавистничества и возвершен человекоистребительной теорией расизма: немцы объявлялись призванными господствовать над всеми народами как наичистейшие представители «арийства». Антисемитские погромы вихрем закружились по Германии.

Нюрнберг стал цирковой ареной устрашающих фашистских парадов, столицей нацизма, кафедрой кровавых проповедей, инквизиторских законов. Средневековые истязания сочетались с насаждением языческой мифологии. Сжигались на кострах неугодные гитлеровцам книги. Невиданно умножилось возрожденное германское вооружение. Наконец, армия, хранившая заветы прусачества кайзеровских времен и вначале сторонившаяся нацистов, была подчинена ими, и тогда произошло полное слияние нацизма с традиционным германским милитаризмом. Внутри Германии уже ничто не мешало ее шествию по дороге к военному реваншу. Во внешней политике гитлеровцы путем шантажа, угроз, сделок с «мюнхенцами» и планомерным захватом польских, чешских, литовских, австрийских земель подготавливали исходные позиции своего нападения на мир.

Ровно через четверть века после начала первой мировой войны Германия нацистов ринулась на Польшу, и это было началом второй мировой войны, небывалой по масштабам и ожесточению.

Летом 1941 года Гитлер, осуществляя давно заготовленный план, без объявления войны нагло напал на Советский Союз. Все, что произошло затем,— у нас на свежей памяти. Она глубоко ранена неслыханным в истории насилием, которое учинили над нашей страной миллионные орды гитлеровцев, и страшный этот акт никогда не будет забыт. Мы противопоставили захватчикам славное единство советских народов в Великой Отечественной войне, окончившейся торжеством нашей победы и полнейшим разгромом нацистской Германии.

Помню, с каким необъяснимым чувством читал я в сводках Красной Армии, наступавшей в глубине германских владений, так хорошо знакомые мне имена саксонских речек и городков — Нейссе, Циттау! В дни первой мировой войны, живя на берегах этой Нейссе, я только во сне мог увидеть русского солдата. И я видел его во сне, потому что наяву мечтать о нем было нельзя,— чтобы не выдать своих мыслей. Теперь Советская Армия несла возмездие за неизбывные испытания, перенесенные нашей землей по вине милитаристской Германии. Наш опаленный огнем победитель-солдат бросил себе под ноги последние штандарты разбитых им нацистов — в Саксонии, Силезии, Бранденбурге, и воздвигнул знамя Советского Союза над рейхстагом в Берлине.

Я говорю обо всем этом не потому, что из романа «Города и годы» вытекает предвидение последовавших за первой мировой войной событий. Я не мог, конечно, их предвидеть. Но те роковые силы, которые участвовали в подготовке недавних ужаснувших мир потрясений, существовали в младенческом состоянии либо в зародыше еще в первую мировую войну,— конечно, существовали и раньше,— и они, больше или меньше, нашли свое отражение в немецких главах и персонажах моей хроники.

Трагический опыт, вынесенный из столкновения с гитлеровской Германией, воочию показал нам, что немецкие нацисты отвергают все человеческое. Это нацисты уничтожили в своих лагерях тысячи тысяч мужчин и женщин. Это они во рвах расстреливали матерей с грудными детьми. Это они выжгли целые страны. Они стерли с лица земли сотни городов. Они клеймили пленных, как каторжан. Они угоняли в рабство советскую молодежь. Кто взялся бы перечислить все зверства, ими содеянные?

В моем романе показана иная эпоха. Немецких характеров, мною описанных, еще не коснулась железная обкатка, которой подверг Германию режим Гитлера. Если так допустимо сказать, все в ту пору было мягче. Но обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау в «Городах и годах» уже сеял вражду между народами Советской России, вешал на деревьях русских крестьян, «ломал» роль карликового фюрера контрреволюции. Вернувшись к своим пенатам, он накрест перечеркнул ножом картину, идиллически изображавшую дворик Немецкого музея в Нюрнберге. Он сделал это по личным мотивам, из ненависти к художнику — своему соотечественнику, который после войны стал революционером. И все-таки сейчас его жест приобретает иное содержание.

Нюрнберг перестал существовать как идиллический памятник прошлого, он сделался символом нацистского изуверства, и вряд ли можно допустить, что такой характер, как фон цур Мюлен-Шенау, не был бы отмечен со временем золотым знаком гитлеров-

ской партии. Вряд ли можно себе представить, что немецкая социал-демократия сначала так рьяно расчищала бы дорогу гитлеровцам, а потом столь позорно и угодливо уступила бы свое место им, если бы в ее рядах времен Вильгельма было поменьше монархопослушных обывателей вроде Пауля Геннига. И даже вряд ли в немецкой медицине появились бы гитлеровские экспериментаторы, пробовавшие на пленных действие ядов и удушливых газов, если бы прежде в кайзеровской Германии не существовали врачи, которые испытывали новые анестезирующие средства на людях, взятых из лагерей, как это эпически практикует в «Городах и годах» старший ординатор больницы, отпиливший Федору Лепендину остатки ног.

Подобных параллелей и перекличек между нынешним нашим знанием немецких милитаристов и тем, чем были они во время кайзера, можно найти в моем романе немало. Если говорить только о главах, посвященных Германии, то содержание их, кажется мне, в том, что они касаются истоков катастрофы, в которую мир был ввергнут нацизмом. В какой-то существеннейшей части человеческие начала отвергались Германией милитаристов тогда — в первую мировую войну. Они полностью были отвергнуты ею теперь — господством Гитлера.

Немецкий перевод «Городов и годов» был встречен консервативной печатью Германии двадцатых годов враждебно. В тридцатых годах роман был сожжен нацистами на кострах.

Такова биография книги, многие страницы которой уделены изображению прусского милитаризма.

Мне довелось снова увидеть Германию в 1945 и 1946 годах. Сквозь разрушения Берлина и городов Бранденбурга, Саксонии, Тюрингии, Баварии я приехал в Нюрнберг. Необъятная куча мусора высилась среди обломков башен и стен бурга. Весь романтический сон застывшего средневековья, некогда привлекавший сюда туристов, улетучился, как рассеянный туман. По горам щебня вились кое-где тропы в ширину человеческой ступни. От улиц не осталось следов. Лишь по-прежнему шутливо улыбался пробитый осколками бомб бронзовый мейстерзингер Ганс Сакс. И если этот бывший Нюрнберг сейчас и привлекал новые толпы людей, то их интерес сосредоточивался уже не на памятниках старины.

Здесь торжественно совершалось то, чего ждали люди на севере и юге, на востоке и западе, когда лучшие из них бились насмерть, освобождая свои отчизны из-под пяты поработителей. Здесь судили главных преступников войны — главарей германского нацизма. Здесь судили тот Нюрнберг, который был символом инквизиции, проповедником лютых дел против свободы и достоинства человечества. Те, кто воскресил в XX веке средневековые

орудия пыток «Железной девы», усовершенствовал их руками изобретательных палачей и применил на мучениках всех народов, ждали теперь своей участи на скамье подсудимых перед лицом Международного военного трибунала.

Тогда, вскоре после победы 1945 года, казалось, что существует незыблемая общая решимость навсегда устранить опасность возрождения германского милитаризма. Казалось, что остаткам разгромленных гитлеровцев больше уже никогда не будет позволено воспрянуть. Случилось, как мы знаем, иначе.

Те самые американские стражи, которые в Нюрнберге приводили из тюремных камер в зал Международного трибунала немецких фашистов — главных военных преступников, спустя воистину недолгий срок после приговора над ними выпустили из тюрем генералов Гитлера, этих уцелевших подранков уничтоженных армий. Вчерашние «судьи» фашизма обернулись его защитниками, энтузиастами, и вчерашние враги уселись за один стол — разрабатывать планы новой войны.

Вновь застучали подковы эсэсовцев по диабазовым мостовым Западной Германии. Вновь забарабанили на парламентских барабанах немецкие социал-демократы во славу нового своего хозяина — американского претендента на мировое господство. Вновь задымил трубами Рур, и заокеанские финансовые магнаты, помогавшие Круппу встать на ноги после Версаля, вновь подняли его из праха после Потсдама.

Может показаться, что следом за второй мировой войной убийственно повторяется в Германии все то, что произошло следом за первой. Но это не так.

В 1950 году последняя моя поездка по Германии дала мне возможность увидеть совершенно иной мир, нежели тот, который сколачивается на западе этой страны эфемерными американскими распорядителями.

Для немецкого народа не могло пройти бесплодно его освобождение от гитлеризма героической Советской Армией. Провозглашение Германской Демократической Республики — плод глубоких революционных процессов, охвативших массы в их порыве к историческому возрождению. В социальной жизни, политике, культуре нового германского государства — повсюду рождается человек, свободный от пут недавнего фашистского самовластья, убежденный, что он ступил на путь преуспевания своей нации в кругу миролюбивых равноправных народов.

Я пережил на этот раз встречи волнующие и знаменательные. В той самой Саксонии и в той Тюрингии, по землям которых я проезжал в Нюрнберг менее чем пять лет назад, теперь мне все предстало неузнаваемым.

В Лейпциге на собрании в зале, вмещающем две с половиной тысячи человек, я услышал песни, какие никогда не раздавались в Германии,— в них было все облагорожено новорожденным гуманистическим чувством: гармония, ритмы композитора, слова поэта. Здесь женщины и мужчины уже не напоминали людей, подавленных недавней трагедией, несущих тяжесть преступлений, на которые толкнул страну позорный режим нацистов. Юноши и девушки приобрели в своем поведении черты, ярко враждебные трафарету, наложенному на подрастающее поколение гитлеровской муштрой. В Цвикау, городе угля и тракторов, рабочая молодежь переполняет школы, курсы, клубы, жадно учится все свободное от труда время. В известном университете Иены, где в библиотеке покоится 425 000 забытых диссертаций, наряду со старейшими факультетами открыт рабфак. Дети рабочих пришли в старую «аулу» с ее мемориальными досками, посвященными именам Лейбница, Гегеля, Маркса и героям 1848 года. В Веймаре с его прославленными памятниками немецкой культуры — домами-музеями Гете и Шиллера, в былом герцогском дворце разместился огромный народный музей эпохи Гете. Из интимной литературной реликвии ученого мира Веймар превращается в национальный центр германской истории, куда потечет народ за свободным знанием.

Нет, события, последовавшие в Германии за второй мировой войной, не повторяют собой того, что произошло после первой мировой войны. Не неизменность быстро сменяющихся десятилетий наблюдает современник, но крутые перемены в бурном движении действительности. Резче и непреклоннее встали друг против друга два мира — реакция и прогресс. И между этими двумя мирами пока все еще разделена Германия.

Но народ Германии поднимается после смертельной болезни к жизни, как возводимые стены и кровли поднимаются из руин. Он борется за свое единство. И воля его к жизни и единству сказалась больше всего в защите мира против угрозы войны. Борьба эта сейчас цементирует внутренние связи немецкого народа, искусственно расчлененного зональными границами. Демократическая Германия благодаря борьбе за мир против войны с каждым днем увеличивает к себе симпатии и тягу среди своих соотечественников в Западной Германии. Немцы Запада все яснее понимают, что мир — это единственное спасение Германии. Они неизбежно должны протянуть руку немцам Востока.

Иначе и не может быть. Иначе мучения, обильно вкушенные в первую мировую войну и пережитые столь кроваво во вторую, опять будут уделом человечества, умножаясь и углубляясь неизмеримо.

Когда я теперь глядел в глаза свободной немецкой молодежи, я часто встречал в них блеск, подобный тому, который с изумлением и радостью увидел впервые во взорах молодых спартаковцев при встречах в Берлине 1918 года. Блеск этот никогда не угасал бесследно. Его пронесли немецкие коммунисты на протяжении долгой борьбы со времен «кровавой собаки» Носке до «железного» Гинденбурга, через концентрационные лагеря Гитлера и Гиммлера, сохранили его в многолетней эмиграции и ныне зажгли в миллионах глаз юношей и девушек новой Германии. Блеск этих глаз — готовность защищать дело мира, преданность трудовому народу, интернационализму. Блеск этот — ненависть к войнам, несправедливости и лжи буржуазного строя.

Такова дорога, по которой мне довелось идти, наблюдая то тягостные и ужасные, то обнадеживающие отрадные перемены в жизни Германии.

«Города и годы» отразили только часть этой дороги. Я хорошо вижу, что и герои романа — только малая часть образов, из которых слагалась картина двух миров той эпохи. Андрей Старцов испытывал беспомощный ужас перед войной. Счастливой минутой своей жизни он считал однажды подаренную ему судьбой отчаянную решимость умереть в бою. Но рядом с ним жили и действовали люди, ненавидевшие войну не меньше, а больше его. Решимость их в бою была иной природы. Не смерть они искали в битвах, но освобождение человека от опасности новых и новых войн. Счастье их заключалось в победе. Эти люди были предшественниками, отцами нынешних сторонников мира, убежденно организующих его защиту, знающих, что желать мира — мало, его надо отстоять в борьбе. Этих людей не хватает в романе, их не восполнят, конечно, отдельные характеры других героев, им близкие и родственные. Я понимаю эту неполноту и вытекающие из нее недостатки «Городов и годов».

Мой затянувшийся очерк вызван переживаниями, выходящими за рамки событий, охватываемых романом. Переживания эти единят меня с современным читателем.

Большинству читателей обстановка первой мировой войны знакома только по книгам и рассказам. Для меня она — такой же личный опыт, как для большинства — опыт Великой Отечественной войны. Многое из того, что я увидел в 1914—1918 годах, можно было увидеть только тогда. Неясно или, может быть, неверно тогда мною понятое отошло в прошлое вместе с исторической действительностью, описанной в романе.

Если бы я писал роман не тридцать лет назад, а сейчас, я многое увидел бы иначе, и, может быть, смятение духа Андрея Старцова, нашедшее отражение в «смятенной» композиции романа,

оставшись одной из моих тем, не помешало бы мне поставить рядом с ней другие темы, рожденные последующими событиями. Но как тридцать лет назад, так и сейчас я сохранил бы зерно своего замысла и, наверно, лишь усилил бы лейтмотивы «Городов и годов», подобные, скажем, голове казненного в Нюрнберге убийцы. А того, что тридцать лет назад было написано иначе, нежели я хотел бы написать сейчас, того я уже не могу изменить. Да этого и не следует делать, если помнишь совет Чернышевского, сказавшего, что «в старости не годится переделывать то, что написано в молодости».

1947—1951

БРАТЬЯ

МОЕЙ СЕСТРЕ —
АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
СОЛОНИНОЙ

Прощай, прощай, и если
навсегда, то навсегда прощай!

Байрон

ОДНА НОЧЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Доктор Матвей Карев к пятьдесят четвертому году своей жизни устал от славы, от работы, от самого себя. Он был профессором, но не любил ни этого звания, ни самого слова «профессор». После обхода своего отделения в громадной, безнадежно грязной от ветхости больнице, после занятий со студентами, после визитов к больным он возвращался домой. И тут, почти всегда,— в сумраке большой, увешанной картинами приемной комнаты,— возникала перед ним зыбкая человеческая тень, и голос, исковерканный страхом, надеждой и лестью, падал ему навстречу:

— Профессор, ради бога!..

Тогда он горбился, голова его тяжелела, в серой мути сумерек еще снежнее делалась его седина, и он в двадцатый раз за день шел к умывальнику мыть руки.

Несколько лет подряд он складывал в книжный шкаф бювары, папиросницы, ножи для разрезания книг — золотой и серебряный мусор, исчирканный граверами,— складывал так, чтобы не попадалось на глаза слово *профессор,* засовывая вещи поглубже на книжные полки, за книги и альбомы.

Но все-таки на его столе громоздился нескладный письменный прибор с мемориальной доской из золота:

В день двадцатипятилетия
ученой деятельности
профессора...—

и на крышках чернильниц сидели корявые, непохожие на живых, божьи коровки из рубинов.

Иногда его вызывали в Москву, на консультацию к какому-нибудь больному, жизнью которого дорожили. Приезд его в Москву делался скоро известным, и два-три дня его возили по сутулым мостовым на извозчиках, и он так же, как дома, часто и подолгу мыл руки.

Дома его ожидали записочки, городские телеграммы и скучный рядок телефонных номеров, выведенный женской рукой в настольном блокноте.

Все случаи, по которым обращались к нему, бывали неотложны, он привык к этому и почти никогда не торопился, так что походка его давно уже стала грузноватой. В пятьдесят четыре года доктор Карев устал. Он полюбил домашние праздники, нечаянные семейные события, загородные поездки. Внезапно, вечером, он привозил с собой плетеную корзину, туго перетянутую шпагатом, набитую разнокалиберными свертками, пакетиками. Он сам смотрел за тем, как приготовлялся стол, развертывались розовые, голубые, серые бумажные картузы, открывались коробки и бутылки.

Потом, в передней комнате, он снимал с телефона трубку, говорил прислуге:

— Меня нет дома,— и шел в комнату дочери.

И вот, когда он вводил свою дочь в столовую и включал свет, когда дочь смешно всплескивала руками и вдруг угловато, по-ребячьи, бросалась к столу с криком:

— Папа! А инжир есть? В сахаре? — Доктор Карев стягивал на губы седые с прожелтью усы, точно стыдясь улыбки, и глуховатым голоском загадочно говорил:

— Не знаю, что тут есть, посмотри.

И пока дочь перебирала коробки с ягодами и пряниками, он следил за ней пристально, и лицо его становилось покойней.

— Давай кутить,— говорил он.

Тогда начинался пир.

Бывал он хорош не миндалем и фисташками, дробно хрустевшими на молодых зубах, не рахат-лукумом, в котором сладко вязнул язык, и даже не ореховой халвой — этим вожделенным лакомством школьников.

В продолговатой, слегка похожей на коридор комнате, начинавшей уже дряхлеть,— с проржавленной лампой, с треснувшей облицовкой камина,— вдруг возникало волнение молодости. Все кругом беспричинно, неясно становилось смешным, все оборачивалось самой веселой, самой забавной стороной.

Весь вечер непрерывно доктор Карев мягко поводил толстыми губами под занавескою седых с прожелтью усов. И только на одну минутку пробегал по комнате сквознячок, когда Ирина, растягивая склеенные рахат-лукумом челюсти, вдруг говорила отцу:

— А почему ты не позвал маму? Давай позовем? А?

Доктор утирал большой ладонью лицо, ото лба книзу, легкая позевота налетала на него вместе со сквознячком, и он отвечал, чуть медля:

— К ней кто-то пришел, кажется...

Потом снова все молодело.

Да, доктор Матвей Карев с каждым годом больше уставал, с каждым годом больше любил отдыхать. Вот почему семейные праздники в его доме бывали многолюдны и широки, вот почему именины его жены — Софьи Андреевны — устраивались на русский лад: с ужином, танцами, с превеликой стряпней на кухне, с разливанным морем настоек и водок, с чаевыми трешницами дворникам, швейцару, повару, кухаркам, с бестолочью, беготней, гамом, треском, грохотом — на всю долгую ночь, до зари...

Давно ли потеряли мы в переулках нашей памяти — так легко, словно обронили на проспекте перевязанную шпагатиком покупочку,— окаменело возвышенный облик Петербурга? Грозные, мятежные и смятенные годы счесали с Петербурга завитушки, пуговицы, папильотки, бантики, и город предстал перед нами в суровой своей наготе. Поблекло, омертвилось великолепие фасадов, застыли обмороженными пальцами недвижимые краны верфей, гавани, порта, и люди, скрюченные холодом, торопились оголить окоченелый город там, где он был еще прикрыт.

Но нет такого испытания, нет запрета, которые поколебали бы людскую веру в воскресение, и люди верили, что город воскреснет,— и — каждому по вере его — город воскрес. Он зашевелил окоченелыми пальцами — со ржавым свистом повернулись краны верфей, он начал дышать, и редкой испаринкой отделились от него дымки и поплыли в рассвет.

И вот уже изо всех щелочек, скважин и трещин, с василеостровских задворок, величественных своими фасадами, лопухами и крапивой, с молочно-бидонной, сыроваренной Охты, из деревянного Лесного, из подворотен дворцов и разбитых окошек Рот — отовсюду полез, повыполз, посочился старомодный, недавно упраздненный Петербург.

Где хоронились завитушки, бантики, папильотки, пуговицы? В каких сундуках были попрятаны, каким нафталином пересыпаны шевиотовые сак-пальто, убранные кружевцами наколочки, департаментские сюртуки, путейские диагоналевые брючки? Кто извернулся в сыпнотифозные, застуженные вьюгами, измятые голодом и санитарной каретой дни и ночи, кто извернулся уберечь всю эту нафуфыренную ветошь, от умиления перед которой разорвалось бы сердце бессмертной калужской просвирни?

Но уже наступают фаланги модисток, закройщиков, портных, уже выгарцевала снежно-полотняная кавалькада парикмахеров, неслышно просеменили, подергивая хвостиками салфеток, полки официантов, и россыпью отмаршировали музыкантские команды приказчиков: так-с, нет-с, да-с! так-с, нет-с, да-с!

— Переделать? Перелицевать? Приспособить?

— Одеколон? Вежеталь? Попудрить?

— Филе-соте? Шато-икем?

— Так-с, нет-с, да-с!

И вот по заплатанным торцам проспектов надвигается танкоподобная колымага, обложенная тортами и пирогами, в цветочных горшках, опоясанных крашеной плетенкой, в гортензиях и гиацинтах, и под обсахаренным кренделем, закрученным в гигантскую восьмерку и благостно висящим в небесах, триумфально восседают всероссийские Вера, Надежда, Любовь и матерь их София.

Они слегка реставрированы — стародавние вековушки,— но мудрено не поверить в их подлинную моложавость, глядя на лоск полированных ноготков или вдыхая свежесть rouge pour les lèvres [1].

О, этот вечер, перед закрытием лавок и пассажей, эта судорожная минута евхаристии, это преддверие, предчувствие торжественной ночи! Трясущейся рукой доцарапывает золотых дел мастер сакраментальную цифру на сахарнице или солонице; в кондитерской укладывают сто сороковой фунт пралине в коробку с «Березовой рощей» Куинджи; в цветочном магазине исколотыми пальцами насаживают на проволочку дохлые папоротники; фруктовщик, как скульптор, в последний раз оглядывает корзину с яблоками, виноградом и перевертывает персик гнилым бочком вниз.

Кончено. Закрыты двери, навешены решетки, повернут ключ.

Голубые, розовые, белокипенные именинницы ждут гостей.

Оголтелые трамваи перебрасывают из конца в конец города перешитое, перелицованное, приспособленное и попудренное человечество. С Выборгской стороны в Гавань, с Аптекарского острова на Пески. Даже какой-нибудь новодеревенский отец Геннадий, пребывавший круглый год в состоянии анабиоза, медленно оживает и — во благовремении, купно с матушкой, охраняемый законом республики,— движется, подобно ледоколу, взяв некий твердый курс...

Софье Андреевне Каревой в тот день некогда было поглубже вздохнуть. Усилия всего дома были устремлены к воображаемому, идеальному порядку, в котором должны были бы протекать именины. В доме делалось решительно все, что могло бы с честью войти в энциклопедию российских празднеств. Но каждый пони-

---

[1] Губная помада *(франц.)*.

мал порядок по-своему, хватался то за одно дело, то за другое, хозяйничал, суетился за свой страх. И вдруг обнаруживалось, что ничего больше нельзя сделать, что поздно, что множество необходимейших вещей так и останется недоделанным, что гости водопадом рушатся в столовую, что выпита первая смена графинов, расковыряны вилками осетры, сиги и салаты и что сам Матвей Карев, во главе дрессированного табунка молодых докторов и студентов, вот-вот прослезится.

— Тиш-ше, тш-ш!

— Чш-ш! Матвей Василич говорит! Т-ш-ш!

Звенькают ножи по тарелкам, переливается колокольцами хрустальная посуда, нетерпеливо погромыхивают на паркете подбитые, ради праздника, набойки студенческих башмаков.

— Т-ш-ш! Ч-ш-ш! Матвей Василич!

— Что ж, господа,— тихо говорит хозяин, опираясь о краешек стола угловатыми костяшками пальцев,— что ж?..

Он стоит, чуть сгорбленный, в старом черном сюртуке, сидящем на нем так, как сидят только докторские, профессорские сюртуки — будто снисходя к общественным предрассудкам, бочком, одним лацканом чуть пониже, на домашний лад. Под усами его и в глазах зыблется смешок, и не понять — смеется ли Матвей Карев над своими словами, или над тем, как заглядывают ему в рот студенты, или над Арсением Арсеньевичем Бахом — ученым-биологом и публицистом, который торчит из-за стола, напротив хозяина, каким-то сморщенным опенком.

— Что ж, господа,— повторяет Матвей Карев,— что я могу сказать? Вот давеча, в зале, Арсений Арсеньевич обмолвился, что-де в жизни все закономерно, а русский народ в революцию изменился-де ровно настолько, насколько он и должен был измениться. А я, господа, даже думаю, что русский народ ни капельки не изменился.

— Ого! — прорывает кого-то после рюмки «ерофеича».

— Я думаю, что по-прежнему есть хорошие и плохие люди и что, как мы ни стараемся испортить русский народ, ничего у нас из этого не выходит.

— Святая истина, Матвей Василич! — кричит звонкий, рассчитанный на большую сцену тенор.

Арсений Арсеньевич сосредоточенно прожевывает ветчину. Кажется, что он жует не челюстями, а всем лицом. Оно разбито у него продольными и поперечными морщинками на мельчайшие участочки. Ромбики, квадратики, прямоугольнички тонкой желтой кожи шевелятся на лице в сложнейшей машинной последовательности. От поджатых губ движение передается щекам, со щек наползает на виски, с висков проносится по лбу стремительною

рябью и, растаяв на высокой лысине, точно обежав вокруг головы, снова появляется на губах.

Арсений Арсеньевич внимательно глядит на Карева. Изредка соседи с робкой любезностью подкладывают на его тарелку кусочек ветчины. Не поворачиваясь, привычно прямо взметнув свой профиль, Арсений Арсеньевич благодарит за ветчину величаво и торжественно, словно приняв диплом какой-нибудь заграничной академии. Он давно знает Матвея Карева, знает весь этот дом, с его прославленной хлебосольной бестолочью, с его ритуалом речей и тостов, со всеми слабостями немного путаных, смешных, но — в сущности — хороших стареющих людей.

Он знает, что Матвею Кареву будут мешать говорить, что в его речи все чаще и чаще замелькают слова «русский народ», он растрогается, отуманенными, добрыми глазами — вот так — будет глядеть только на одного Баха, а сам Бах — вот так — будет отвечать на его взгляд сочувственным, несогласным, но довольным взглядом.

Потом Матвей Карев грузновато опустится на стул, поднимет большую рюмку, с понимающей улыбкой кивнет Баху и размажет указательным пальцем слезу...

Тогда вокруг Арсения Арсеньевича защетинится сначала почтительный, потом настойчивый, назойливый шумок, стул его окружат полные, зарозовевшие дамы и оставленные при кафедре общей терапии доктора, и, все больше наклоняясь к нему, почитатели талантов и каревского гостеприимства станут требовать:

— Несколько слов, всего несколько слов, Арсений Арсеньевич! Пожалуйста! Т-ш-ш!

Засушенной и морщинистой, как лицо, рукой Арсений Арсеньевич миротворно, но с решимостью отклоняет просьбы:

— Нет, зачем же? Ведь мы собрались повеселиться.

И на манер человека, понимающего толк в веселье, говорит:

— Давайте лучше выпьем, закусим... вот передайте мне, пожалуйста... ветчину!

Он глотает рюмку водки, какой-то смерч проносится по его ромбикам, квадратикам, прямоугольничкам, губы страдальчески суживаются и вдруг — стертые меловой белизной лица — пропадают. И только большие, немного выпяченные глаза застенчиво улыбаются, словно говоря: «Уж вы простите меня, что я такой морщинистый, невзрачный и сухой, что я не совсем подхожу для ужина и меня вряд ли что позабавит в нашей любительской программе».

— Пусть скажет Софья Андреевна,— предлагает он.

Это случается при самых дверях всеобщего единодушия, когда холодными закусками умерены аппетиты и на буфете заклу-

бился пахучий парок соусов. В треске и звоне сменяемых тарелок поднимается хозяйка дома, именинница, Софья Андреевна.

Не слишком ли раскраснелись ее щеки? Так ли молоды глаза и рот? Неужели не стоило усилий взбить волосы с такой легкостью, таким задором?

— Господа,— произносит Софья Андреевна, и рука ее дрожит, чуть-чуть отплескивая белое вино из стакана на пальцы.

И едва открываются ее зубы — видно, что весь ее облик странно повторился в этой шумной комнате, и тотчас головы гостей — мужчин и женщин — поворачиваются в сторону, на край стола, к Ирине. И потом, сейчас же, все переводят взгляды на Матвея Карева, и почти у всех, вероятно у всех, возникает мысль, что чуть уловимое сходство Ирины с отцом волнует больше обновленной в ней материнской красоты.

Софья Андреевна покашливает, пышность ее внезапно кажется неловкой, дыхание коротко перехватывает ей горло. Она вдруг хрипнет и раньше срока сбивается на тост:

— Нашу радость... наше счастье... не можем не выразить нашего счастья, что здесь присутствуют такие представители русской науки, как наш общий друг Арсений Арсеньевич, как Матвей Васильевич... русской мысли... наше искусство тоже...

Софья Андреевна называет по имени добрую дюжину гостей — художника, докторов, старого композитора, тенора, голос ее поднимается, выбросив свободную руку, она показывает на край стола и — в растущем, дыбящемся шуме — кричит:

— Наконец, с нами здесь — гордость и слава молодой русской музыки, брат Матвея Васильевича Никита Карев!

Так искушенная рука распахивает двери застольного единодушия, и общество врывается в них с кликами радости. Студенты под шумок торопятся схватить стаканы размером побольше, осушить их и снова наполнить; доктора встают, отодвигают стулья, протискиваются в дальний конец комнаты; как стайка спугнутых голубей бьет крыльями — плещут в ладоши восторженные дамы, и громоздкий, похожий на Будду, старый композитор медленно поднимает глаза и постукивает вилкою по костлявому рябчику, как концертмейстер постукивает смычком по скрипке, когда от имени оркестра благодарит дирижера.

— Никита Карев, Никита Карев! Здоровье Никиты Карева!..

На этом, в сущности, кончалась часть ужина, общая всем званым вечерам, которые устраивались у Каревых. С того момента, как Софья Андреевна избирала очередного фаворита из среды непременных знаменитостей, украшавших собрание, вечер получал, так сказать, голову, и в нем проявлялись индивидуальные черты. И, право же, на каревских вечерах не всегда было скучно!

Никита Карев сравнительно давно вернулся после своих скитаний. Он жил по-прежнему в стороне, диковато и, казалось, навещая Матвея, нарочно выбирал часы, в которые каревский дом отдыхал от гостей, пациентов, ученых коллег брата и театральных любимцев его жены. Он впервые за последние годы пришел на каревский вечер.

Он сидел рядом с Ириной, на конце стола, и в кругу малопочетных гостей, какие всегда оказываются в избранном обществе. Лица этих гостей крайне деликатны, почти умильны, неисчезающая улыбка уподобляет их бедным родственникам, и смотреть на них может только человек с очень хорошим, устойчивым характером.

Кажется, Никита не видал соседей. Когда заплескались дамские ладоши и гости, колоннами, повели наступление, обходя свою жертву с флангов, Никита наклонился к Ирине и сказал:

— Экая глупость!

Она озорно, по-девичьи, взглянула на него снизу вверх и приготовилась ждать. Он понял ее, сказал, нахмурясь:

— Инквизитор.

Она молча засмеялась.

Шум становился сильнее. Студенты вопили, как на галерке: «Никита Карев, Никита Карев!» Старый композитор неслышно постукивал вилочкою по рябчику.

Ирина опять взглянула на Никиту, быстро подвинулась к нему, крикнула (надо было уже кричать):

— Встаньте же, откланяйтесь! Ведь вы привыкли кланяться на концертах!

Он посмотрел в ее глаза. Они были веселы, лукавы и так молоды, что он резко, точно испугавшись, отвернулся.

В этот момент Матвей Карев, широко раздвигая толпившихся гостей, подошел к брату, взял его за локоть, заставил приподняться и повернул к себе лицом. Потом обнял его, крепко поцеловал усатым мягким ртом в лоб и начал трясти его руки. И пока он делал все это, шум неистовствовал, шум взгромождался на какую-то вершину.

Никита сжал пальцы брата. Матвей понял по его губам, что он сказал: «Что ты, что ты, Матвей?!» — и опять легко и трогательно прослезился.

И тотчас Никита увидел среди ладоней, бившихся вокруг него справа и слева, тонкие, чуть худощавые, быстрые руки, узнал их мгновенно и обернулся к Ирине.

Ей мешал стул, она встала на него одной коленкой, платье туго обтянуло ее, она раскраснелась и часто, сильно хлопала в ладоши, переводя взгляд с Никиты на отца и снова на Никиту.

Он вспыхнул, придвинулся вплотную к столу и сделал медленный поклон. Выпрямившись, он посмотрел на композитора, встретил его бесцветные глаза в мешковатых веках и еще медленнее, глубже поклонился.

Композитор положил вилочку, ударил трижды пальцами правой руки по ладони левой и, не поворачиваясь, так же буддообразно сидя, прикрыл глаза в знак того, что он отвечает на поклон поклоном.

Никита поднял стакан и залпом выпил его.

Гости с удовлетворением прянули в стороны, Софья Андреевна осекшимся голосом воскликнула:

— Но ведь это овация, прямо овация! — и тоже выпила вино, держа стакан чуть блеклыми, дрогнувшими пальцами.

Никите захотелось поблагодарить Ирину. Он взял ее руку, лежавшую на столе. Ирина не отняла ее, он хотел приподнять руку, поднести к губам, но Ирина вдруг заговорила с кем-то, и он почувствовал, что она нарочито тяжело облокотилась на стол.

Тогда взгляд его неприязненно и удивленно заскользил по лицам, кучившимся в комнате, как будто только теперь он заметил, кто его окружал.

Он быстро поднялся и вышел из-за стола в коридор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В кабинете горела одна лишь лампа под абажуром с длинным козырьком, как у жокейской кепки. По стеклам шкафа, на полированных спинках кресел, на письменном приборе мелькали обрывки теней.

Никита ходил из угла в угол, Матвей привалился к кожаной подушке дивана, сидел, разрыхлевший и большой. Оба курили папиросы, вязкий дымок космами тянулся за Никитой, было похоже, что у него мгновенно отрастают и улетучиваются седые пряди волос. Шум из столовой едва доносился сюда.

— Так ты и не соберешься рассказать толком о Ростиславе,— проговорил Матвей.

Никита остановился у шкафа. В полумраке, сгущенном дымом папирос, лицо его казалось мутным отсветом, упавшим на черное стекло. Он ответил:

— Главное ты знаешь. А подробности — не сейчас же.

Чуть приметно он качнул головою на дверь.

— Я все жду, когда ты выберешь часок.

— Я бываю у вас,— сказал Никита, помедлив,— ты всегда занят.

Матвей вздохнул, руки его сползли на диван, он произнес с неохотой:

— Устаю я. Время...

Они продолжали молча дымить. Потом Никита раздельно и тихо сказал:

— Самое невнятное для меня в жизни — эта минутка, на углу, знаешь, там, у Вахромеева тупичка, в трех шагах от нашего дома. Я никак не могу назвать ее. Но вся горечь и вся радость, отчаяние и восторг какой-то — не пойму,— все вместе, вся наша жизнь — в одной этой дощечке. Когда я поднял голову — не помню почему — и увидел ее, вот тут — черт знает что! «Улица товарища Карева» — что это? Знаешь, этак неумело буквы выведены, не профессионально, и краска жидкая, и под ней сквозит: «Атаманская улица»...

Никита приостановился, пыхнул папироской, в оранжевом свете огонька зажглись и потухли неподвижные глаза, он повторил с расстановкой и еще тише:

— Улица товарища Карева...

Матвей сказал, усмехнувшись:

— Третий Карев, который сделал себе имя...

— Третье поколение,— отозвался Никита,— ты, я, Ростислав.

Матвей тяжело встал, подошел к брату, взял его под руку.

— Если так, то Ростислав — четвертое колено: первое — отец, Василь Леонтьич. Не сдается старина! Пойдем, я для тебя кое-что приготовил...

Он потянул Никиту к двери.

Когда они проходили мимо столовой, Матвей зашел туда, вынес графин водки, повел Никиту в глубь коридора.

— Пойдем, пойдем!

Сгустки пара клубились над плитой, заволакивая монументального неподвижного повара, кто-то шарахался из угла в угол кухни, кто-то усердно выколачивал золу из самовара. Здесь была кочегарка вышедшего в плавание большого каревского корабля, в кают-компании которого уже появились неизбежные на море больные.

Встречу хозяину из-за стола качнулся невысокий человек. В нахлынувшем облаке пара он казался ступенчатым, как отражение в колеблемой воде: мелькнула короткая рука, выпятилось круглое плечо, покатая грудь с частым рядком башмачных пуговиц на вороте, наконец, выплыла голова в кудерьках негой середины.

Матвей подтолкнул медлившего брата. Никита всмотрелся в лицо человека, ясно выступившее из тумана, отодвинулся, точно не веря себе, потом вытянул вперед руки.

— Евграф, ты? Откуда?

Он кинулся к нему и обнял его.

Маленькое волосатое существо щерило дубовые зубы, мигало лучистыми глазками, довольное и спокойно-прозрачное.

— Здравствуй, Никита Василич.

— Здравствуй, Евграф, здравствуй, дружище! Да откуда же ты взялся? Давно ли?

Матвей по-отцовски добродушно наливал в стакан водки. Никита разглядывал Евграфа, пощупывал его плечи, круглую спину, как будто с изумлением обнаруживая, что это — точно плечи, спина, тело живого Евграфа. Никита словно даже обнюхивал Евграфа, и ему чудилось, что он пахнет не только кухонными пряностями, но еще и степью, и яблоками, и еще чем-то холодновато-затхлым, вроде больницы.

— Так как же ты, где, с каких пор? — твердил он.

— Налей мне тоже, Матвей, я выпью с Евграфом.

Кто-то бросился из кухни в столовую за рюмкой, повар деловито вытер фартуком уголок кухонного стола около Карева, не замечая Евграфа, и так же деловито подсунул Никите крошечную кастрюльку тушеных грибов.

Евграф взял стакан, ласково глянул на Матвея, Никиту и приветил:

— Ну, с повстречаньем!

Выпив, он обтер ладонью мохнатый рот и посмотрел на грибы.

— Ешь, ешь, Евграф,— торопился Никита, подвигая ему кастрюльку.— Что же ты все молчишь?

— Жду, пока ты выговоришься,— сказал Евграф и тут же, понизив голос, прибавил: — Слыхал, слыхал, какой тебе почет, Никита Василич!

— Какой почет?

— Большой почет,— повторил Евграф.— Давеча, как тебя в комнатах величали, я в щелку глядел, порадовался за тебя, заслужил, думаю, не иначе!

— Да ты о себе скажи, где ты теперь?

Евграф одернулся, волосатое лицо его взъерошилось, он ответил степенно и жестковато:

— А по-прежнему — при анатомии. Благодаренье Матвею Василичу, опять на своем деле, с усопшими.

Матвей засмеялся, сказал:

— Прислал мне письмо, определите, говорит, опять к анатомии, скучно мне на родине, ни одного стоящего доктора вокруг, один фельдшер, а в Питере, слышь, опять хлебом кормят, опять стал народ наживаться. Вот я его и выписал.

— А ведь он меня спас! — воскликнул Никита.— Я тебе говорил, Матвей? Помнишь, Евграф, как в будке-то сидели? А?

— Никто никого спасти не может,— недовольно и все еще жестковато возразил Евграф,— каждый сам себе спаситель.

— Ладно! — перебил его Никита.— У отца бываешь?

Евграф ожил, глаза его залучились, хмелек, видно, докатился до головы, он ответил проворно и с лукавиной:

— Одолел я Василь Леонтьича! Он все говорит — выдержит, а я ему — вре-ешь, не выдержишь, Василь Леонтьич. Перетянули! Аж забранился на меня, смерть как серчает.

В кухню вбежала Ирина, завидя отца и Никиту, крикнула:

— Вон где вы! А вас-то ищут!

— Это — мой дядька, Ирина, знаете? — живо спросил Никита.

Ирина дружелюбно поглядела на Евграфа.

— Знаю. Он все не хочет мне сказать, сколько ему лет.

— А ты попытай,— насмешливо, поощряющим баском отозвался Евграф и вдруг, мотнув на Ирину головой, сказал Никите: — Вот бы тебе такую дочку, Никита Василич!

Никита вздрогнул, хмурая улыбка сжала его рот, глаза прищурились, точно от внезапной темноты.

— Ну, прощай, Евграф,— сказал он коротко,— загляни ко мне. Знаешь, где живу?

— Люди добрые знают,— ответил Евграф.

— Прощай,— еще короче сказал Никита.

В коридоре, идя следом за Ириной, Матвей говорил брату:

— Ведь что особенно хорошо: русская, настоящая русская душа этот Евграф!

И в его голосе булькала растроганность стареющего человека.

Никита молчал.

Из столовой выходили гости. В узком коридоре теснились, медленно проталкивались в переднюю, там, по пути, заводили разговоры, останавливались, потом шли в гостиную. Нескладный, долговязый и пусторотый человек в смокинге, скаля черные корешки зубов на белых деснах, тыкался от одного гостя к другому, зачем-то таинственно потихоньку твердил:

— Гевалт, гевалт! — и смеялся.

И ему отвечали смехом, замедляя движение, скучиваясь, закупоривая вход в гостиную разморенными, неповоротливыми телами.

В тот момент, когда Никита с братом, Ириной и Арсением Арсеньевичем добрались до передней, над притолокой входной двери дернулся и пружинно задрожал колокольчик. Хозяин стоял около самой двери и — не сделав ни шага — открыл замки.

И тотчас, прямо на него, обсыпанный изморозью, словно выкупанный, запыхавшийся, налетел матрос. На мгновение он как будто смешался, мелькнул взглядом по комнате, но сейчас же обрывисто, на необычный в этом доме лад, сказал:

— Мне надо профессора Карева.

Было похоже на то, что общество, случайно столпившееся в передней, ворвалось в дом к матросу, когда он никого не ждал, и ему не понять: чего хотят от него все эти странные люди?

Матвей Васильич сгорбился, запахнул сюртук.

— Это — я,— ответил он нехотя.

— Вы требуетесь к больному, внизу — машина,— по-прежнему отрубил матрос.

Хозяин ухмыльнулся, качнул головой на гостей, точно хотел сказать: «Что вы порете чепуху, вы же видите!» Тогда матрос, засовывая руку в мокрый карман куртки, подчеркнуто-раздельно произнес:

— Вот бумага. Заболел товарищ Шеринг.

И он медленно обвел глазами переднюю, словно испытывая, какое впечатление произвело это имя. Взгляд его скользнул по телефону, упал на снятую трубку, беглая улыбка шевельнула вдавленные, отчетливые уголки его рта, но тут же он заметил Никиту.

С того момента, как он влетел в комнату, прошло не больше полминуты. Гости сразу же приостановились. Те, кто уже протискивался в гостиную, обернулись назад, другие продолжали выходить из коридора в переднюю. Не то что замешательство удержало всех на месте, но как-то вдруг стало очевидно необычайное значение этого визита, и когда матрос назвал имя Шеринга, действительно кругом притихло. Однако никто не проронил ни слова, и все как будто ожидали более важного, чем известие о болезни Шеринга.

Никита с первой же секунды, как только матрос заговорил, начал вглядываться в него, понемногу выдвигаясь вперед.

Отдав Матвею Васильичу письмо и вслед за тем увидев Никиту, матрос быстро вскинул брови, и так же быстро лицо его передернулось косой, болезненно-трудной гримасой.

— Вы как здесь? — спросил он и, догадавшись, прибавил: — Да, вы ведь — брат.

И он кивнул на Матвея Васильича, который, откинув голову и держа бумагу на отшибе, по-стариковски разбирал письмо.

— Вот, встретились еще раз,— неуверенно проговорил Никита.

Матрос глядел на него с напряжением, словно подавляя в себе какое-то тягостное желание. Ни он, ни Карев, стоявший против него, не двинулись друг к другу, и — как знать, чем разрешилось бы смутное, молчаливое ожидание, если бы в это время не вклинились две новые нечаянные и странные встречи.

Матвей Васильич дочитал письмо.

— Извините, господа,— сказал он гостям, растерянно, со вздохом улыбнувшись,— я должен ненадолго оставить вас.

Но ему удалось это не сразу.

Арсений Арсеньевич, проложив себе дорогу деликатным потрагиванием рукавов и фалд своих соседей, незаметно вынырнул между Никитой и матросом. Взметнув профиль (Арсений Арсеньевич был человеком профиля; качество это далось ему природой и необыкновенно украсило его; замечательно, что с течением лет оно возрастало в нем непрерывно, так что Баха никто не знал иначе, как в профиль; так он становился к аудитории, выступая с докладом, так говорил с друзьями, так покупал в кооперативе ученых селедку — всегда в профиль; в конце концов горбинка на его носу, выпяченный глаз, округлая, высокая лобная кость, мягкий подбородок и линеечка поджатых губ — все это со схематичной наглядностью выразило сокровенную сущность Арсения Арсеньевича),— взметнув свой профиль, он произнес лаконично, в духе классической древности, как если бы сказал: «Deus ex machina»:

— Здравствуйте, Родион.

Тогда в лицо матроса хлынула молодая кровь, наивно расцветила его щеки, и он неуклюже, как школьник, затоптался.

И опять новое классическое «Deus ex machina»:

— Рад вас видеть, Родион.

И суховатая, морщинистая рука, протянутая величаво и добро (не жест, но мание), колыхнулась перед матросом.

И вот, едва Родион дотронулся до руки Арсения Арсеньевича, кажется, пуще всего боясь изувечить ее, и — будто освобожденный — начал приходить в себя, незапертая входная дверь медленно отворилась.

Самая тихая, самая изумительная, необъяснимая минута в каревском званом вечере наступила.

В дверях стояла женщина, стряхивая с пальто растаявшие хлопья раннего, крупного снега. Мокрые следы его залепили вуаль, и женщина осторожно, стараясь не замочить лица, стягивала вуаль с подбородка кверху. Но лицо ее все же запорошилось мельчайшими блестками капель, и, может быть, потому рядом с комнатно-желтыми лицами гостей, намученных ужином, казалась она

особенно свежей. Краски лица ее были чересчур ярки, словно ненатуральны, и здоровье ее, бросавшееся в глаза, могло, пожалуй, и оттолкнуть.

— Простите, ради бога, что я врываюсь,— заговорила она так просто, точно отпировала с каревскими гостями весь вечер,— но мне нужен вот этот бестолковый человек.

Она взяла за локоть Родиона.

Он стоял спиной к двери, не выпуская руки Арсения Арсеньевича, и, когда услышал голос женщины, выпрямился и отвердел. Она хотела повернуть его к себе, но он резко отдернул свою руку, шагнул в сторону и прислонился к закрытой створке двери.

— У нас нет ни одной свободной минуты,— сказал он угрюмо, обращаясь к Матвею Васильичу.

— Ах, чудак! — воскликнула новая гостья.

Рассмеявшись, она стала еще поразительней среди вытянувшихся в любопытстве, недоуменных и неловких фигур.

— Что ты прячешься? — продолжала она сквозь смех.— Я видела, как ты сюда подъехал, и решила непременно узнать, куда ты девался. Что за конспирация? Как здоровье Ленки?

Матрос стоял неподвижно, потупясь и сжав крепко рот, так что углы губ вдавились еще больше. При имени Ленки его опять передернуло косой гримасой, и, вдруг подняв глаза, он уставился на Никиту. Взгляд его был тяжел, озлоблен, как у затравленного зверя, и неуловимая, блуждавшая по лицу боль увеличивала это сходство.

— Я сейчас оденусь,— совсем растерянно пробормотал Матвей Васильич и двинулся в коридор.

Тогда, всмотревшись в Родиона и перехватив его взгляд, женщина быстро повернула голову и увидела Никиту.

— Карев! — снова воскликнула она.— Карев! Ей-богу, это — великолепно! Вот не думала! Здравствуйте, ну, здравствуйте же! Господи, какие вы все деревянные! На вас лица нет... Что у вас тут происходит? Зачем примчался сюда Родион? Да говорите же, Карев! Неужели вы так перепугались меня?.. Чудак, право!

— Варвара Михайловна,— с усилием отозвался Никита,— все это вовсе не обычно...

— Да я же о том и говорю, что — великолепно! Только никак не могу понять, почему вы такой деревянный? Вы мне не рады? Я помешала вам?

Она огляделась, на секунду брови ее сжались, усмешка жестко дрогнула на темных веках.

— А-а,— протянула она тихо и тут же, словно перебив свою мысль, еще живее, стремительней и проще заговорила: — Это ваша племянница? Ирина, кажется? Ну познакомьте же меня с ней, Карев!..

Матвей Васильич, грузно влезая в рукава тяжелого пальто, протиснулся из коридора и поощряюще мотнул головой.

— Вы знакомы, Никита? Ну, приглашай раздеться, а я поеду. Простите, господа. Пошли,— буркнул он матросу.

Матрос взялся за дверь.

— Родион! — позвала Варвара Михайловна, отрываясь от Ирины.— Постой, постой! Что же ты ничего не сказал мне?

Матрос тяжело глянул на Ирину, Никиту, потом на Варвару Михайловну, медленно разжал рот и, уже выходя за дверь, наклоняясь всем телом вперед, точно падая, обезображенный гримасой, хрипло выдавил из себя:

— Дрянь!

Матвей Васильич подтолкнул его и с силой захлопнул за собою дверь...

— Ну, познакомьте же меня с вашей племянницей, Карев,— повторила Варвара Михайловна так же просто, с прекрасной, немного пугающей улыбкой, как будто никакого матроса и не было в этой комнате, еще гудевшей от захлопнутой двери.

— Познакомьтесь, Ирина,— бездушно, одними губами сказал Никита.

Варвара Михайловна протянула руку, плавно качнулась к Ирине и, глядя прямо в ее глаза, не изменяя улыбки, сниженным голосом назвалась:

— Шерстобитова.

И, глядя прямо в глаза Варвары Михайловны, не моргнув, преодолевая темноту набегавших слез, выросшая и больше обычного похудалая, Ирина, заложив свои руки за спину, не торопясь, нарочно сдерживая, напрягая себя, повернулась и пошла в гостиную.

Ей дали дорогу, расступившись почти в испуге.

Тогда Варвара Михайловна внимательно, в подробностях рассмотрела застывшее лицо Никиты и вдруг громко, оглушающим взрывом расхохоталась и бросилась вон, к дверям.

Через мгновение ее смех оттолоском докатился с лестницы и замер.

Никита стоял неподвижно. Голова его, высоко поднятая, в углубившихся тенях морщин, казалась неживой.

Гости бестолково, с деликатным оживлением заговорили о театре, об уровне воды в Неве, о норд-весте и тяготах докторского быта.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прежде Шеринг не замечал, что диван неудобен. Диван служил постелью, каждую ночь по нескольку часов Шеринг проводил на нем в забытьи, похожем на сон. И постель исполняла свое назначенье: она была просторна, не жестка, хорошо согревалась. Каждый вечер диван оказывался накрытым простыней и одеялом, на кожаном широком валике лежала свежая подушка, и — оторвавшись от стола — можно было, не думая, скинуть башмаки, раздеться и лечь. Никаких неудобств Шеринг не замечал.

Но это было наваждение, какой-то нелепый, бессмысленный самообман.

Диван никуда не годился, его следовало бы давно выкинуть, продать, как барахло, татарину,— может быть, он нашел бы ему применение в каком-нибудь кабаке или черт знает где!

Но лежать на этом диване,— да что там! — спать на нем каждые сутки, отдавать ему редкие, спасительные часы отдыха — какое издевательство над здравым смыслом!

«Завтра же велю выкинуть,— подумал Шеринг,— и куплю кровать. Велю купить кровать. Надо поберечь здоровье. Нельзя».

Диван был короток. Ступни упирались в кожаный валик, подушка страшно давила на плечи, как будто Шеринг нес поклажу в неудобной корзине. Ощущение было именно такое: в плечи врезывался упругий, слегка треснувший на выгибах переплет прутьев.

Матрасик, подложенный под простыню, был слишком тощ, и холод диванной кожи проникал сквозь него.

Но самая большая беда — спинка дивана: она мешала протянуть левую руку, рука ныла, ей нужен был покой, удобство. Спинка не пускала руку. И потом — боль в левой лопатке. Не поймешь — что от чего? Может быть — все дело в лопатке? Если бы можно было лечь на бок! Этот проклятый лед, нагроможденный в ногах! Может быть, вовсе и не надо льда? Разве положишься на такого доктора, как этот юноша? Этакий вопрос:

— Товарищ Шеринг, можете ли вы не дышать?

Да ведь в том все несчастье, что невозможно дышать, что нет дыхания, что товарищ Шеринг не дышит!

Скорее бы приехал доктор, то есть настоящий какой-нибудь, знающий доктор, старый доктор. Черт знает что за бестолочь! Добрый час звонят по всем телефонам, разогнали по городу чуть ли не дюжину машин — и никого нет. И потом — куда все подевались? То кучились вокруг, словно в синагоге, а то — как рукой сняло — ни души!

Впрочем, теперь ничего. Ужас прошел. Даже лучше лежать одному. Ужас? Товарищ Шеринг и — ужас? Ну да, это чувство, это потрясающее чувство пустыни. Мрак, пропасть, пустыня. И так стремительно быстро: из комнаты, наполненной людьми, из круга друзей, известных до мельчайших пустяков,— в пустыню, в смертное беззвучие, к черному одиночеству. Черт знает как это назвать!

Теперь лучше. Холод становится меньше, боль в спине и руке выносима. Какие-то буравчики ввинчиваются еще в лопатку, прутья давят на плечи. Но уже можно дышать, спокойно, тихо дышать, даже тише обычного. Как сказал этот молодчик-доктор — *можно* и не дышать. И такая усталость, такая здоровая, покоряющая усталость! Конечно, здоровая! Главное — не шевелиться, не двигать даже пальцем, лежать, думать, думать о чем угодно — ведь теперь можно думать о чем угодно. И дышать.

Если бы не диван с дурацкой, никчемной спинкой!

«Завтра же велю продать»,— снова подумал Шеринг.

Он застыло вслушался в отдаленный неясный шумок, взгляд его ожил, он прошептал невнятно:

— Кажется, приехал...

Матвея Васильича встретили несколько человек. Он видел, как испытующе оглядели его, как ждали, что он скажет. Родион стащил с него пальто, молодой человек с красным крестиком на кармане френча вытянулся по-военному.

— Где больной? — спросил Матвей Васильич.

Кто-то торопливо, но внушительно поправил:

— Товарищ Шеринг...

— Где больной? — повторил Матвей Васильич.— Проведите меня к больному.

— Пожалуйста, профессор,— выдохнул молодой человек с крестиком, решительно и отчаянно, как брандмейстер, показывая в глубину пустой комнаты, точно там, как в дыму, подкарауливали неизведанные опасности.

За Матвеем Васильичем двинулась колонка настороженных людей.

— Кто оказал помощь? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Я, профессор, доктор Званцев,— одним духом выпалил молодой челевек с крестиком,— у больного ясно выражена...

— Очень рад,— перебил его Матвей Васильич и подал руку.

Сделав вид, что собрался выслушать молодого коллегу, Карев замедлил шаг и начал устало покачивать головой, как будто хотел сказать, что он, профессор Карев, так и знал, что больной страдает

теми болезнями, о которых говорит доктор Званцев, что всего этого давно следовало ожидать и ничего здесь не поделаешь.

— Характерно, очень характерно,— торопился доктор, стараясь перейти на латынь и все поскальзываясь,— несомненно, следует предположить застарелое... я хочу сказать — нарастающее воспаление сердечной мышцы. Во всяком случае, angina, я хочу сказать — angina pectoris...

— Да, да,— понимающе покачивал головой Матвей Васильич, присматриваясь, как вслушивается в разговор колонка настороженных людей, разглядывая потертый френч доктора Званцева и думая о том, что трудно, безнадежно трудно начинать вот такому доктору частную практику.

— Практика, к сожалению, очень часто в последнее время наблюдает сердечные болезни,— проговорил он, оборачиваясь к настороженной колонке.— Что делать,— добавил он,— люди устали. Ну, войдем...

— Здравствуйте,— громко выговорил он, подходя к дивану и вытаскивая из кармана платок.

Он медленно протер глаза, уши, бороду.

В дверях окостенели — молодой доктор, Родион, за ними смутно колыхались всклокоченные головы.

— Слякоть сегодня,— сказал про себя Матвей Васильич,— залепило.

Он осмотрелся. Доктор Званцев сорвался с места и подал стул.

Матвей Васильич сел, сочувственная улыбка шевельнула его усы, он вгляделся в лицо больного, точно говоря: «Ну, что?.. да, понимаю, понимаю!»

Шеринг оценивал доктора, неподвижно уставив на него глаза. Перед ним находился новый человек, которому надо было что-то доверить. Человек был стар, нетороплив, за дружеской улыбкой его была припрятана жестоковатость, он уберег свой докторский сюртук, какое-то упрямое превосходство этого сюртука над френчем с красным крестиком казалось несомненным: доктор был настоящий.

Шерингу хотелось спросить его: «Вы — Карев?» (почему-то вспомнилась эта фамилия). Но он почувствовал, что тот ответит: «Я — доктор». И улыбнется обезоруживающей улыбкой. Непременно, непременно должен так ответить и так улыбнуться. Это у них есть, у них — специалистов!

И Шеринг отозвался Кареву усмешкой, раздвоенной беспомощностью и одобрением. Испытание было выдержано: Шеринг знал, что новому человеку можно доверить.

— Оставьте нас,— сказал Матвей Васильич, подняв брови на доктора Званцева.

Френч бесшумно исчез, прикрыв двери.

— Ну, приподнимитесь,— предложил Матвей Васильич.

Шеринг испуганно взглянул на него. Может быть, он ослышался? Может быть, в комнате есть кто-нибудь, кроме них? Ему трудно, невозможно, немыслимо двинуть рукой, а доктор... Да, да, доктор берет Шеринга за плечо, тянет его к себе, заставляет Шеринга сесть, неловко стаскивает с него рубашку.

Осмотр начался...

Осмотр начался, и в соседней пустой, оголенной комнате стихло. Родион кривобоко, как человек в непомерных сапогах, старающийся пройти на цыпочках, отошел к окну, присел на подоконник.

Перед ним, в полумраке, закоченели взъерошенные головы людей, имена которых были менее звучны, чем имя Шеринга. Он должен был вместе с ними терпеливо ждать, что скажет Карев, должен был так же, как они, прислушиваться к шорохам за дверью.

Но, против воли его, в мутном, странно звенящем мраке, среди взъерошенных голов, потухающей полоской мерцали ровные зубы, и, едва Родион останавливал на них свой взгляд, мгновенно дополнялись они запорошенным растаявшими снежинками лицом. Родион жмурился, гримаса обезображивала его, он переводил глаза в другое место, и опять мерцал перед ним белый ряд зубов, и он почти слышал сильный голос:

«Бестолковый человек!.. Как здоровье Ленки?..»

Тогда до ясности, с какою возникают предметы в полдневный час, он видел голое, посеребренное струйками мыльной воды тельце Ленки, стоящей в корыте, и ее картавый лепет отчетливо раздавался в тишине:

«Папочка, папуля! Что ли ты у меня искал пупочек? Вот же он!»

Родион вновь видел, как Ленка подтягивала кверху кожу на круглом, скользком от мыла животишке, стараясь разглядеть получше свой пупок, и опять пугающе близкий и чужой в то же время голос обрезал Ленкину болтовню:

«Что за конспирация?!»

И снова мерцали тут и там ровные полоски зубов, дополняясь холодною, слепящею свежестью лица.

Родион, как от стужи, потер руки, соскочил с подоконника и, громыхая сапогами, зашагал.

Взъерошенные головы дружно шикнули на него:

— Т-ш! Тише, кто там?!

— Родион, тише ты!

Родион замер, вспомнив, что надо думать о Шеринге, об опас-

ности, угрожающей Шерингу, надо ждать решения судьбы товарища Шеринга.

В это время открылась дверь, и профессор Карев, высунувшись из комнаты Шеринга, попросил:

— Коллега доктор! Надо приготовить горячие бутылки.

Точно дождавшись какого-то важного результата, люди колонкой двинулись следом за доктором Званцевым.

— Значит, надо не лед, а бутылки, горячие бутылки, а ты клал лед, это что же? Нарочно, что ли, лед, а? Ты понимаешь, что делаешь, ты кладешь лед, когда...

— По-пе-ре-мен-но! — неожиданно закричал доктор Званцев так, что все остановились.— Понимаете? Попеременно! Холодные и горячие ножные ванны попеременно, чтобы отвлечь кровь к ногам! Понимаете?..

Колонка притихла, рассыпалась на две горстки, одна из них потрусила на кухню, люди затормошили кухарку, надо было затапливать плиту, чтобы согреть воду; доктор Званцев схватил примус, начал прочищать закопченной иголкой горелку.

Был момент, когда Родиону почудилось, что с Шерингом ничего не произошло. Просто собрался очередной пленум, сильно поспорили, и вот, в перерыв, забегали по комнатам знакомые озабоченные люди,— прямой, как солдат, Званцев из губздрава, коротышка-секретарь,— не примечая Родиона (Родион — свой), и вот сейчас выйдет Шеринг, кивнет ему, скажет:

— Здоро́во! Ты здесь? Как дела? А у нас, видишь, на ночь глядя,— горячка...

Но, войдя с другою горсткой людей в смежную с кухней комнату, Родион почувствовал холодок непривычной растерянности.

Рябой коротыга-секретарь, подергивая носом с красной продавиной от очков, держал около уха телефонную трубку, и все смотрели на него, чего-то напряженно ожидая.

Словно умышленно тихо, он говорил в трубку:

— Выпускающий?.. Ну?.. В стереотипную?.. Неопределенно... Ждем, что скажет Карев. Во всяком случае... одна минута...

Он прикрыл ладонью трубку и сощурился на товарищей. Ему ничего не сказали, он сильно задергал носом и опустил руку:

— Во всяком случае, в газету больше ничего не успеем. Спускайте на машину... Да... Подождите...

Он быстро, как близорукие, выпятил лицо, снова прижмурился, ему ответило безмолвие, и вдруг он еще тише выговорил:

— Оставьте двоих на ручном... Да, наборщиков... Может быть...

Не договорив, он резким рывком повесил на аппарат трубку и как-то косолапо обернулся: сначала стал лицом к стене, потом медленно отошел от нее, сделав полный оборот.

Тогда Родиону захотелось спрятать глаза, и, не взглянув ни на кого, он вышел...

Матвей Васильич застегивал свой сюртук, один лацкан приходился выше другого, Карев тянул его книзу и во второй раз внушительно досказывал порядок леченья. Опять, как в начале осмотра, он улыбнулся, что должно было означать, что для него Шеринг — обыкновенный больной, что он — Карев — знает, как надо говорить с больными, и что тут ничего нельзя поделать.

— Поправляйтесь,— сказал он, дотрагиваясь до руки Шеринга и пожимая ее на одеяле. И в том, как он пожал руку, предупреждая лишнее движение больного, было что-то сурово-нежное и подчиняющее,— так что Шеринг затеплился ответной улыбкой и вдруг, поднявшись на локоть, спросил беспокойно:

— Вы уходите?

Он тут же опустился на подушку, повел ладонью по лицу, точно стирая с него нечаянное, неподобающее выражение, и проговорил по-деловому:

— Я хотел спросить: у вас есть дети?..

— Есть,— ответил Матвей Васильич,— а у вас?

Словно обдумывая, куда может привести зачем-то начатый разговор, привычно стягивая лоб в морщины, Шеринг сказал:

— У меня сын. Ему восемнадцать лет... И его никогда нет дома,— вдруг зло добавил он.

— Ого, уже — солдат! Но вам не следует разговаривать, не следует. До свидания, до завтра.

Тут Шеринг вновь колыхнулся, незастегнутый рукав рубашки сполз на плечо и обнажил белую руку, дрябло и неуверенно потянувшуюся за Каревым.

— Я хотел сказать... спросить вас...

— Вам нельзя волноваться,— перебил его Карев.

И сразу холодно, неприязненно, преодолевая непонятное отвращение, проговорил Шеринг:

— Что, всегда бывает это дурацкое состояние?.. Это... черт знает что!.. Какой-то... какая-то...

И, совсем зло, выпалил:

— То есть при этой болезни, я спрашиваю?.. Это, конечно, чистейшая физиология...

— Ну да! — спокойно отозвался Карев.— Ведь все-таки сердце, вы понимаете,— сердце, самая жизнь, средоточие. Конечно, всегда. Главное — покой.

— Пожалуйста,— вскрикнул Шеринг,— позовите мне...

Он оборвался и тихо договорил:

— Пусть сюда придет Родион!..

— Хорошо. Главное — покой,— повторил Карев и вышел.

Шеринг лежал неподвижно. Глаза его потухли и неторопливо блуждали по стенкам. Он мог думать о чем угодно, и, может быть, поэтому лицо его не отражало никаких мыслей. Он остановился на толстых корешках немецкого словаря, издавна скучавшего на полке. Корешки были тяжеловесные, прочные, в золотых полосках наверху и внизу, с кожаными наклеечками темно-красного цвета, в золоте букв с четким именем Мейера, увесисто повторенным каждым корешком: Мейер, Мейер, Мейер. Эта почтенная немецкая фамилия истратила на себя такое количество позолоты, какого хватило бы на сенаторские, судейские, канцелярские мундиры во всем свете и на протяжении всей человеческой истории. Но, по правде, золото должно было заслужить честь увенчания такого имени, как Мейер, потому что все Мейеры делали прекрасное дело, и отец Мейеров делал прекрасное дело, и дядя и дед Мейеров совершали все то же неоспоримо замечательное дело Мейеров. Золото внушительно и бесконечно повторяло: Мейер, Мейер, Мейер; золото переливалось в сплошную рябящую ленту, разрывало тягостную туманность на желтые полосы, прокалывало, пронзало тоскливое ничто светлыми остриями; на этих остриях бесчисленно повторялось какое-то: ер, ейер, ер, ер, потом опять возникал отчетливый золотой ряд: Шер, Шер, Шеринг, Шеринг, Шеринг. Золото поистине должно было заслужить честь украшения такого имени, как Шеринг, потому что все Шеринги делали прекрасное дело, и отец Шеринга бежал от преследований за границу, и сам Шеринг только недавно вернулся в Россию, и его сын, сын Шеринга... Шер, ер, ер... ейер, Мейер, Мейер...

— Что это? Что это? — спросил Шеринг, вздрагивая всем телом.

— Это — я,— робко сказал Родион.

— Это — ты? — прошептал Шеринг.

— Да,— шепотом ответил Родион.

Он стоял, приподняв локти и касаясь пола одними носками, точно готовясь куда-то полететь. Испуг и смятение сделали его похожим на птицу.

— Опять? — снова прошептал Шеринг.

— Что — опять? Я не знаю, я только что вошел...

— Ну?

— Я вошел и... смотрю...

— Уехал? — спросил Шеринг, стараясь бровями показать на дверь.

— Уехал. Воротить? Я ворочу его.

Родион кинулся к двери, не отрывая глаз от Шеринга.

— Постой.

Рядом с простыней и наволочками лицо больного было чуть серовато, и заостренные на висках концы бровей казались чернее обычного.

Вдруг Шеринг вдавил затылок в подушку, руки его необыкновенно удлинились, выгнувшись в локтях как-то по-женски, внутрь. Серое лицо его посеребрилось пóтом, капли которого росли, увеличивались с неожиданной быстротой.

Родион наклонился к Шерингу, беспомощно растопырив над ним руки, как птица распускает подбитые, негодные крылья. В небывалом, отвратительном страхе он глядел, как сквозь омéртвевшую кожу Шеринга проступают булавочные головки пота.

Это продолжалось несколько секунд. Шеринг прерывисто, как после плача, вздохнул и, вцепившись в руку Родиона, зашептал:

— Что такое? Нет, нет! Зачем? Ничего!

Точно извиняясь в чем-то, он силился улыбнуться, и таким жалким, убогим стало его лицо — мокрое, перекошенное болью, что Родион в отчаянии забормотал:

— Ты... Ты не бойся... Понял? Не бойся... Это, брат, так, это всегда... главное — не бойся...

И тут же, застыдившись, нечаянно вспомнив что-то очень важное, перебил самого себя:

— Будь спокоен. Мы все сделаем. Положись. Все как есть. Так что можешь спокойно... Мы...

Шеринг бессмысленно, стеклянно глядел на Родиона, губы его шевелились. Родион припал к нему, коснувшись ухом холодного, влажного кончика носа.

— Позови...

— Кого?

— Сына...— выдохнул Шеринг.

Потом он неожиданно громко воскликнул:

— Не мо-жет быть!..— и странно застыл.

Когда Матвей Васильич вернулся домой и переступил через порог передней, в него впился острый, продолжительный телефонный звонок. Не раздеваясь, прямо от двери, он подошел к телефону.

— Слушаю,— сказал он. Брови его лениво приподнялись, он пощупал свои карманы, отыскивая портсигар.— Опять?.. Но ведь машина ушла... Другую?

Он снял шляпу, кинул ее в кресло и, приподняв плечи, сгорбившись, ответил:

— Ну что же делать... Хорошо.

Он прошел в гостиную. Здесь было пусто, оранжевая лампочка лениво освещала один угол комнаты, следы многолюдной и шумной бестолочи были видны повсюду: скученные кресла, закатанный в трубку ковер, окурки на полу возле камина, раскиданные по роялю листы нот. Со скукой оглядевшись, Матвей Васильич вернулся в переднюю, прошел коридором. Около столовой он остановился, приоткрыл дверь. Там все еще торчали засидевшиеся сонные, размякшие гости, допивая подонки разнокалиберных бутылок. Софья Андреевна увещевала пусторотого человека в смокинге, он не хотел слушать, щерил черные корешки зубов, пьяно твердил: «Гевалт, гевалт!»

Матвей Васильич отыскал наконец в заднем кармане сюртука портсигар, раскрыл его, но не нашел ни одной папиросы. Уже у себя в кабинете он закурил и, точно боясь присесть, распуская тонкие, сизые в темноте ленты дыма, двинулся к комнате дочери.

Ирина не слышала, как он вошел. Она сидела, облокотившись на изголовье кровати, спрятав лицо в ладони. Матвей Васильич молча глядел на нее, ожидая, что она пошевельнется. Но она была как-то особенно неподвижна. Он позвал ее.

Ирина вскинулась, схватила с постели платок, наскоро вытерла им глаза.

— Это — ты? А я собираюсь ложиться...

— Что с тобой?

— Со мной?.. А ты почему в пальто? Только что приехал?

— Ты расстроена? — спросил Матвей Васильич, подходя ближе.

Но она продолжала торопливо сыпать вопросы:

— Ведь поздно? Наверно, утро? Наверно, уже светает? А ты почему не разделся?

— Мне надо опять ехать.

— Опять? Но ведь это немыслимо! Когда же ты отдохнешь?

Матвей Васильич обнял дочь одной рукой и, заглядывая в глаза, крепко прижимая ее плечо к своей груди, сказал:

— Ну-ка, помолчи.

Коричневое лицо ее стало еще смуглее, больше обычного проступило в ней сходство с мулаткой (черта эта рознила ее от Каревых, была ее собственной, не унаследованной, и придавала ей едва уловимую особенность), она отстранила отца.

— Я очень устала.

— Ты плакала?

— Да нет же, я говорю, что устала,— недовольно повторила она.— Слышишь, в передней — звонок.

— Это — за мной,— сказал Матвей Васильич.

Он поцеловал дочь и — хмурый, отяжелевший — ушел.

...На улице колебался мутный, насыщенный изморозью рассвет. Рыжий кузов автомобиля, дожидавшегося у подъезда, мокро поблескивал в тумане. Шофер с нетерпением смотрел, как медленно, неуклюже влезал в автомобиль Карев, и, не успела захлопнуться дверца,— включил мотор.

Матвей Васильич привалился к подушкам, закрыл глаза. Но автомобиль мотало из стороны в сторону, подкидывало на выбоинах, как мяч, надо было держаться за ременный поручень, чтобы не размозжить себе голову.

— Черт знает что! — пробурчал Карев.

Он оглядел внутренность автомобиля. Это была старая, трепаная повозка, пережившая свою эпоху, видавшая поражения и победы, свидетельница героизма и подлости, та самая повозка с мотором, которой уже приготовлено место в музее революции,— *машина,* механизированные розвальни, усердно и самоотверженно потрудившиеся в гражданскую войну. Запасные сиденья, откинутые к передней стенке экипажа, были исковерканы, пол — протерт, зашаркан тысячами ног, обивка вымызгана, просалена, кое-какие планочки из фанеры, набитые тут и там, указывали на изобретательность нового владельца — шофера, решившего попытать счастья на бирже автомобильного проката. С треском, гулом и грохотом, разражаясь пальбой, как пулемет на полигоне, починенный, отремонтированный, залатанный и запаянный мотор мчал это чудовище по сумрачной и влажной бесконечности, встряхивая его, подбрасывая, точно норовя скинуть на каком-нибудь повороте с приземистой скрипучей каретки.

— Мостовые...— опять пробурчал Матвей Васильич, раскачиваясь и повисая на поручне.

Он вспомнил, к кому едет, и вдруг на него напала раздраженность. Не останавливаясь он ворчал на ночные вызовы к больным, на грязь и слякоть, на треск мотора, бессонную ночь, засидевшихся у Софьи Андреевны гостей, на всю неудобную, утомительную жизнь.

— Сказать бы ему,— шептал он, кланяясь в лад дергавшему автомобилю и думая о больном,— сказать бы... до чего дошло... противно видеть... развал, сплошной развал...

Его сильно потянуло вперед, он почти сполз с сиденья: автомобиль стал.

В квартиру Шеринга Матвей Васильич поднялся с трудом. Усталость безжалостно сгорбила его, лицо стало желтым, почти слилось с прокопченными табаком усами, руки тяжело и непо-

движно повисли. Еще на лестнице, поднимаясь, он решил сказать, что считает вызов ненужным, что следовало бы подождать до утра и делать то, что он велел.

Но его встретили настолько неловко и как-то неуважительно, что он старым своим докторским, каревским нюхом почуял, что мог бы и не являться.

— Мы вызвали вас,— сказал кто-то,— чтобы подписать бюллетень.

Обстоятельный и строго формальный голос поправил:

— Чтобы составить совместно с нами и подписать бюллетень о кончине товарища Шеринга.

— Так, так,— сказал Матвей Васильич и развел тяжелыми руками,— ну, пройдемте все-таки к нему.

Около раскрытой двери какой-то комнаты на мгновение задержались, и Карев увидел коротенького человека с прижатой к уху телефонной трубкой. Нетерпеливо подергиваясь, он говорил:

— ...Набирай, да... Из пяти, из пяти человек, а не из шести, комиссия из пяти человек... Да ты сосчитай по фамилиям... Бюллетень пришлем через двадцать минут...

При входе в пустынную большую залу Карев заметил бледное лицо Родиона, точно приклеенное к стене, не узнал его и, конечно, не слышал, как Родион, поглядев ему вслед, пристально обмерив его с головы до ног, выговорил сквозь зубы:

— Эх, вы... сюртуки!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Что, если бы все безумцы, чудаки, Герострaты собрались в этом городе?

Он еще полон химер, окутанные сыростью камни кажутся сквозными, здесь нет пространства, каким глаза привыкли видеть его, здесь утро наступает в полдень, и лампы вновь загораются, не успев остынуть.

Не призраки — живые люди скользят вдоль зыбких стен, струятся по мостам, перекинутым из мутной пустоты в мутную пустоту, колышутся испариной над бледными площадями.

И все же, как будто — не живые люди, но призраки, призраки, призраки.

Сорвавшись с библиотечных полок, шуршащие, как книжные страницы, они притворились простыми людьми, обыденными вещами, осязаемой, тленной материей.

И они говорят, они поучают, они плодятся, как печатные изделия, они убедили человечество в вещности, животности своей природы.

Но это же — Диккенс, это — полнейшее собрание сочинений Чарльза Диккенса, представленное в бесподобной обстановке!

Здесь люди улыбаются так, что один взгляд на них напоминает счастливый очаг, здесь отращивают бакенбарды на голландский манер, чтобы поглаживать их незабываемым жестом согнутой в пальцах руки, здесь плачут о погибших безродных малютках, носят веночки из вереска на могилы утонувших моряков, и высшее, сердечнейшее веселье — до слез в благородных глазах — здесь все еще — простенькая полька и старая семейная кадриль.

Да, да, в этом бледном городе человеческие призраки, надуманные чувствительным британцем, поселились прочно, и целый республиканский штат, пожалуй — республика, принадлежит неотъемлемо очагу, бакенбардам, несчастным малюткам, веночкам из вереска и семейной кадрили.

Остров, воспетый остров, республика академиков и лоцманов! Никакими брандспойтами не смыть с тебя прекрасного твоего обольщения!

Печальные корабли стародавней стройки одиноко удаляются отсюда в неизвестность, доморощенные капитаны, завернувшись в угловатые резиновые дождевики, осеняют крестиками пряжки своих поясов, и в кирках служатся суровые мессы, и бородатый звездочет поворачивает обсерваторские телескопы, и аспиранты поводят головами следом за флюгером метеорологической вышки, и заводы, как курильщики, грустно выпускают зеленоватые колечки хлористых отбросов.

Как Млечный Путь, неясны и обманчивы здесь очертанья, и, как в Млечном Пути — загадочно множество видений.

Ночами островная республика рассылает по всему городу своих бумажных, призрачных граждан, и худощавые поэты бормочут на каналах вирши, застывшие женщины, перегнувшись через перила мостов, смотрят в воду, отжившие витии становятся у церковных оград и протягивают давно не мытые руки за подаянием.

Разоблачается театр, и даже трезвейшему педанту очевидно неумное дневное притворство героев, и вот он сам уже покрылся бледностью, размеренная поступь его дрогнула, он стал просвечивать и шуршать, вместо того чтобы отражать свет и громыхать сапогами, неясность, всерастворяющая неясность поглотила трезвейшего педанта, и вот он — новый персонаж из Чарльза Диккенса, вот он — призрак, вот он — живое подобие человека!

Что, если бы и впрямь в этом городе собрались все чудаки, безумцы, Герострaты?

И куда же, куда еще могли привести Никиту Карева его взволнованные скитанья?

В самой походке его было что-то необычное, прямое, словно приподнятое над землей. Как случилось, что из всей каревской семьи он один — Никита Карев — не унаследовал ничего от отца, деда, от всех своих пращуров, уральских, яицких первой руки казаков? Куда девались в нем косолапость ступней, вывернутых киргизскими стременами, тугая упругость колен, неповоротливая толщина пояса — тех самых чресел, которыми крепок казак? Да и сидел ли Никита когда-нибудь в седле?

Откуда-то появилась у него любовь к ходьбе, и земля носила его удобно, с внимательной заботой о том, чтобы не нарушить легкой прямоты его осанки, не искривить ровной его поступи. И он ходил, не помня, куда заносили его ноги, постоянно глядя вперед малоподвижными, ленивыми глазами.

...В эту ночь, выйдя от брата, окунувшись в вихревую сумatоху тяжелых, тающих на лету хлопьев снега, Никита быстро слился с темнотою. У него было одно желание: идти. То, что он оставил в доме Матвея, чудилось ему сумбуром. Ни одного взгляда, ни одного движения по-разному близких ему людей он не мог понять. Но жестокая встреча с Родионом и Варварой Михайловной как-то очень скоро заслонилась болью, знакомой, почти привычной, но еще больше выросшей болью об Ирине.

С этой тоскою, с этим гнетом только и можно было нестись неизвестно куда, в снежном тайфуне, в мокром, свистящем смерче. И, закрученный воронками вьюги, исчезнувший в рябой сумatохе несчетных пятен, Никита кружил по бесконечным слепым улицам города.

Его сопровождал непрерывный слитный шум: звенели потоки воды по сточным трубам, хлюпала по крышам и дорогам тяжелая дробь дождя. В этом шуме сама собой нашлась стонущая длинная волна каких-то звуков. Волна катилась навстречу Никите, неустанно возрастая, готовая подмыть его, бросить и разорвать, разомкнуть неудобное, назойливое сцепление звуков. Он слышал ноты, которые должны были разрешить это сцепление, они были в нем, он знал их, он даже промычал их одну за другой через нос, числом пять, гнусаво и коротко, точно давая тон безучастной, неподчиняющейся погоде, он даже прикрикнул:

— Ну же, ну!

И вновь прогнусавил пять нот, сидевших в голове и единственно способных сбить гребень с волны, уронить ее, сровнять с

поверхностью потока. Но волна продолжала мчаться на него, все усиливая свое звучание, разливаясь вширь, окружая Никиту со всех сторон и упрямо держась на одной и той же напряженной, мучительной высоте. Ему хотелось, чтобы она ударила его в грудь, он думал рассечь ее, он ускорил шаги, побежал, и его охватило то чувство тоски, которое давит человека после томительного сновидения.

Он против воли смутно и долго вспоминал недавний сон, державший его в мертвящем подчинении целое утро.

Это был город, похожий на все города, какие видел Никита, а может быть — на те, каких он никогда не видал. И был вечер, с огнями, фаэтонами, людьми. Какой-то большой, сумрачный дом, нерусской стройки, колыхался где-то в городе. И вот самое непонятное: вовсе не Никита со стороны смотрит сон, и вовсе не себя видит Никита во сне, а какие-то чужие души переживают все за Никиту, и само собой понятно для этих чужих душ и для Никиты, что смотрит, видит, переживает Никита. Словом, когда-то в юности Никита учился в Дрездене, в консерватории. Там встретил он девушку, и они жили вместе, не зная, конечно, что это и была настоящая жизнь, а как все люди думая, что настоящее — впереди. Потом девушка умерла. Возможно, впрочем, что Никита потерял ее, но только он сразу понял, что настоящее — позади. Так вот, оказалось, что девушка не умерла, а живет в этом колышущемся большом доме, в этом городе, вечером. Зовут ее Анной. Да, да, ее действительно звали Анной, и она только что приехала в большой дом. Живет она в одной квартире с другой девушкой, но не знает, кто эта девушка. И вот она смотрит Никите в глаза, он слышит, как она держит его голову теплыми руками и говорит ему, что любит его. Тогда он опять чувствует смертельное счастье и рассказывает ей, что он никогда не верил и ни за что не поверил бы, будто она умерла. Так вот, когда его заставили думать, что она умерла, когда он думал это, он поехал к ней, в ее город, в их город. Против окна Анны был магазин с громадным зеркальным стеклом. На выставке магазина всегда торчали манекены в модных платьях, люди часто останавливались смотреть на манекены. И он всегда стоял у зеркального стекла, но не видел манекенов, а смотрел в стекло, в зеркальное стекло, чтобы видеть ее окно. Он стоял, смотрел, ожидая, как она подойдет к окну и кивнет ему. Она ведь знала, что он смотрит через стекло на нее, и всегда отвечала на его поклон коротким кивком. Надо ведь было скрывать их любовь, и они были осторожны. Он все ждал, что она подойдет к раскрытому окну, что она появится в летнем платье — голубые полосы по белому — и кивнет ему. Но он не дождался Анны и ушел искать ее могилу.

«Братья»

И вот, пока Никита рассказывал Анне об этом, он видел, как росли ее глаза и как она начинала понимать его тайну: он связан еще с кем-то! И потом, вместе с Анной, он внезапно понял, что все раскрыто, что Анна угадала, кто жил с нею в большом доме. Он видит, как каждый день, в один час, вечером, крадучись, возвращается в большой дом та, другая девушка, Ирина, и как Анна угадывает, что она возвращается от Никиты. Может быть, это не Ирина, может быть — двойник Анны крадется по большому дому, где живет та — другая, то есть Анна, которая не могла, конечно, не понять всего, решительно всего, когда Никита рассказал ей, как он смотрел на ее окна через зеркальное стекло магазина. Потому что кому же, если не Анне, знать об этой любви Никиты к тайному, скрытому, обманному, о той неотразимой силе, какая тянула его к глядению через стекло? Да, конечно, он смотрел тогда в окно Анны, надеясь, отчаиваясь увидеть в нем Ирину. И не в этом ли двоении Ирины и Анны таилась мертвящая сладость сновиденья?..

Никита сделал последнее усилие подробней и живее представить себе сон. Волна неприятно сцепленных звуков сменилась чем-то однотонно-пустым, хлопьев снега не стало, суматошную рябую пелену кто-то сдернул с улиц.

Никита стоял на плохо освещенном проспекте против громадного зеркального стекла магазина и смотрел в отражение большого темного дома. Окна его были мрачны, ни одной тени не скользнуло в них, ни одна рама не открылась. Кажется, Никита в действительности ждал, что у окна появится Ирина, взглянет в зеркальное стекло и тайком кивнет ему.

Он выговорил вслух:

— Умерла, конечно, умерла. Не пойти ли искать могилу?

Он внезапно громко рассмеялся.

— Как во сне! — воскликнул он.

И, уже двинувшись вдоль проспекта, все еще с улыбкой на лице, так же вслух спросил:

— Но, может быть, повторится?..

Он ощутил резкий, пронзающий холод, пальто его было мокро и тяжело повисло на плечах, со шляпы скатывались и падали на грудь капли воды. Он увидел большой иссиня-белый фонарь, проливавший свет на подъезд старого дома. Череда колясок тянулась из глухой темноты к подъезду, согнутые силуэты людей дрожали в иссиня-белом свете. Никита узнал дом, тоскливое желание тепла толкнуло его к подъезду, он отряхнулся, расстегнул пальто и вошел в дом.

Его встретили разбухшие от одежды ряды вешалок, как в лавке богатого старьевщика. Ковер в потертых землисто-серых плешинах пятнистой гадюкой вползал на лестницу. Тонконогий

столик, покрытый газеткой, на минуту загородил Никите дорогу. На столике валялись потерявшие блеск серебряные и медные деньги, топорщились розовенькие книжки входных билетов. В зимнем саду поддельная зелень пальм бережливо держала на себе фиолетовые мертвые слои пыли, и в маленьком бассейне с водою мертво стыли фиолетовые спины карпов и лещей. Разноцветные лампочки жидкой гирляндой обвивали пальмы, и в ровном их тлении таилась такая бесталанная, могильная скука, что Никита почти бегом кинулся вперед.

Но это было лишь преддверие склепа.

В игорном зале на стульях, разбросанных вдоль стен, искалеченные страданьем, сидели, полулежали, приткнулись фиолетовые мертвецы. Головы одних были запрокинуты назад, и черными дырами зияли раскрытые рты. Лиц других не было видно, только округло-тупые, недвижные затылки возвышались над скрюченными телами. Выбывшие из строя, изможденные, загнанные, обескровленные, посиневшие от злобы, как удавленники, игроки в бессмыслии отдавались мертвой хватке сна. И когда внезапно кто-нибудь, забормотав спросонок, вскакивал и бросался к столу,— казалось, что мертвец присоединяется к тихой погоне за удачей, чтобы вновь отстать, вновь изойти кровью и замертво рухнуть где-нибудь в сторонке, открытым черным ртом выдыхая отчаянье.

И только за столами медленно шевелились восковые фиолетовые чучела, наряженные людьми, и этим молчаливым паноптикумом безупречно дирижировал охрипший, как пропойца, арбитр счастья, пробуждавший к движению своих чучел рокочущим призывом:

— Есть прием на табло! Делайте игру! Принимаем на табло!

Тогда женщины начинали обкусывать грязные ногти, и кургузые пальцы стариков ощупывали карманы жилетов и брюк, и мертвецы вздрагивали на отдаленных стульях, с болью вслушиваясь в чарующую, властную хрипоту:

— Есть место за столом баккара! Есть прием на табло!..

Приторная духота охватила Никиту, он поспешно сделал круг по залу, держась около столов, будто в боязни упасть, и вернулся в сад. Но холод не оставлял его, он решил согреться, выбрал глухой угол позади волосатой пальмы и занял столик.

Но едва он опустился на стул, как вплотную перед ним кто-то встал. Он вскинул голову.

Раскрасневшееся, пышущее свежестью лицо Варвары Михайловны улыбалось ему, точно из другого мира. Он отстранился, не веря глазам, но тотчас принял обычный свой сдержанный, чуть напыщенный вид и привстал. Варвара Михайловна рассмеялась и, будто дразня Никиту, приблизила к нему свое лицо. Он ощутил

поток душистого холода, который она принесла на себе с улицы, яркость ее словно утишила в нем беспокойство, он улыбнулся. Тогда Варвара Михайловна засмеялась громче, взяла Никиту за руку и — довольная собою — сказала:

— А здорово я вас знаю, Карев!

— Вы знали, что я приду сюда? — спросил он.

— Ну, нет! Я плутала вместе с вами по улицам,— черт знает где вас носило! — я насквозь промокла. Просто, когда я выбежала от вашего братца, мне сразу пришло на ум, что вы не вынесете всей этой неразберихи,— я ведь здорово там начудила! — не вынесете, ну, и непременно пойдете бродить, выхаживаться. И правда ведь, Карев? Я подождала совсем немного, не больше десяти минут, и вот он — вылетел и поплыл!

Она опять расхохоталась, в голосе ее появились сочувствие и теплая, женственная нежность, но говорила все еще насмешливо, немного, пожалуй, свысока:

— Право же, право, Карев, вы ведь не ходите, а плаваете. Или нет, нет! Вы если и ходите, то не по улицам и, конечно уж, не по панелям, как у нас выражаются, а по эпо-хе, по совре-менности или как это? Миры, миры! Верно? Вокруг вас ледок, в такой вот форме, как это называется? — сфероид, что ли? Ха-ха, такой сфероидальный холодок...

Она круто сжала брови, точно намереваясь одним взглядом разгадать Никиту.

— Послушайте, Карев...

Вдруг оборвав себя, она спросила чуждо:

— Скажите мне правду, Никита. Вы побежали за мной, то есть вы захотели меня видеть, или... или напросто ваша племянница устроила вам сцену?

Он смотрел мимо Варвары Михайловны неизменившимися, малоподвижными глазами, и неровная белизна медленно покрывала его губы.

— Впрочем, она, конечно, не из тех, кто устраивает сцены,— с легкой улыбочкой сказала Варвара Михайловна.— Да?

— Не знаю,— ответил наконец Никита,— мне было неприятно и тяжело. Я ушел.

Варвара Михайловна опять засмеялась, и опять волнующая теплота смягчила ее речь.

— Бедный Карев, ведь из этого ничего не выйдет. Неужели вы надеетесь? Сколько ей лет? Семнадцать?

Он вдруг вспомнил Евграфа, озноб передернул его плечи, он спросил резко:

— Почему вы такая злая?

На одну секунду Варвара Михайловна смешалась. Вдруг она наклонилась к нему и торопливо зашептала:

— Нет, нет, Карев! Не злая, нет! Но подумайте: всю жизнь— ведь скоро уже *вся* жизнь, и зачем обманывать себя? — всю жизнь я преследую вас...

— Зачем? — воскликнул Карев, но она не дала ему говорить и продолжала торопливо шептать, приблизив к нему вплотную свое лицо:

— Тут не во мне дело, Карев. Я знаю, я прекрасно знаю вас, Карев, я знаю...

Она остановилась, сжала его руку и убежденно, просто сказала:

— Вы не можете быть счастливы без меня.

Он отшатнулся от Варвары Михайловны, пристально оглядел ее, точно впервые попавшегося, чужого человека, и неуверенно засмеялся:

— Я боюсь вас.

— Вы любите меня,— еще проще сказала Варвара Михайловна.

Он закрыл глаза и с минуту просидел молча.

— Нет,— произнес он тихо.

Она снова внезапно расхохоталась, как будто долго сдерживала мучивший ее смех и наконец дала ему волю.

— Вы должны были это сказать, Карев! Иначе в какое нелепое, смешное положение вы попали бы? Двадцать лет подряд тайно влюблен! Здорово!

— Вы возбуждены сегодня.

— Я давно не говорила с вами, Карев.

Она глядела на него в упор, открыто, немного надменно и вызывающе. Было что-то неприятное в ее глазах, может быть — грубоватая уверенность в том, что они хороши. Они действительно были хороши — под твердым росчерком бровей, разделенных прямою тонкою морщиной. Изредка морщина углублялась, и тогда вместе с выражением упрямства в лице Варвары Михайловны мелькало нечто очень несвойственное ей, мягкое, растерянное,— подобие мольбы, пожалуй — извинение за эту скрытую, застенчивую мольбу.

Кареву стало не по себе. Он спросил новым, подчеркнуто измененным тоном, показывая, что прежний разговор кончен:

— Что произошло у вас с Родионом?

— Я бросила его.

— Бросили?

— Ну да, ушла от него.

— Но зачем же вы сегодня разыскивали его?

— Он ревнует ко мне Ленку. Мечет и рвет, когда я прихожу с ней повидаться. И, представьте, потихоньку перебрался бог знает куда, кажется, на Васильевский остров, а я ищу его, как дура.

— Зачем?

— Как — зачем? А Ленка? Это же — прелестная девчонка, я ее страшно люблю. Вы послушали бы, как она болтает! Я ей обещала подарить домик, а она спрашивает: а что, у домика будет открыватка и закрыватка? Понимаете? Нет? Ну, дверная задвижка! Прелесть! Книги у нее бывают порусские и понемецкие, бороденку она называет бородавкой, или, например, знаете вы такое число — половинадцать? Я без ума от нее, Карев.

— Зачем же вы бросили ее? — воскликнул Никита.

— Я и не думала! Я бросила Родиона. А он не отдает мне Ленку. Он тоже от нее без ума, он прямо зверски привязан к ней.

— Тогда зачем же вы ушли от Родиона?

— Карев, Карев! Ведь это же форменный допрос! Я никак не ждала от вас такого интереса к себе. Я страшно польщена, право! Ха-ха! Ну, извольте: Родион мне надоел. Он сделал свое дело.

— Какое дело?

— У меня от него ребенок.

— Родион только для этого нужен был вам? — изумился Никита.

С запыленных фиолетовых верхушек пальм низринулся грохот оркестра, в саду стало шумно, нужно было кричать. И Варвара Михайловна, придвинувшись к Никите, прокричала:

— А вы не догадывались? Конечно, я предпочла бы иметь ребенка от другого отца, но он — тоже прекрасный отец. Впрочем, я хотела бы еще одного ребенка... от вас, Карев.

Варвара Михайловна сильным, плавным движением качнула свои широкие плечи и грудь перед Никитой, словно развертывая их материнскую мощь, и губы ее раскрыли ровную, мерцающую полосу зубов.

— Чтобы бросить меня, когда я... сделаю свое дело? — спросил Никита с усмешкой и, казалось, чересчур тихо, чтобы его можно было расслышать.

Но она поняла его и ответила:

— Я вас не бросила бы.

Пододвигаясь совсем близко к нему, она отчетливо выговаривала, точно вбивала в Никиту крепкие, неломкие слова:

— Я никогда не брошу вас, Карев. А вы должны выкинуть из своей великолепной головы бред о том, что вы не годны для меня и что мне нужны особые экземпляры, какие-то Родионы.

— Это — не бред,— сказал он, покачивая головой.

— Это — глупость,— крикнула Варвара Михайловна.— И трусость, ребячья трусость.

— Невозможно,— улыбнулся Карев, все еще покачивая головой,— вы говорите невозможное. Человек, к несчастью, связан прошлым. Мы не *поступаем сейчас*, а неизбежно *должны* поступать так, как определено нашим прошлым. Каждый шаг нап оставляет следы не только настоящего, но и прошлого. Прошлое и настоящее — одно. В этом смысле времени нет, по крайней мере, его нет для одного человека. А вы хотите...

— Я хочу прежде всего,— прервала Никиту Варвара Михайловна,— чтобы вы не говорили со мной так снисходительно и к тому же не выдавали пустяков за философию.

Он встал, мучительно поморщившись, взглянул наверх, откуда горохом сыпалась барабанная дробь. Варвара Михайловна опять взяла его руку и тоже поднялась.

— Я больше не могу. Пойду,— сказал он.

— Я приду к вам, Карев,— быстро проговорила она ему на ухо.

— Хорошо,— ответил он.

— Приду скоро! — добавила она, пожимая руку Никиты.

И тут же громко, весело крикнула:

— И у меня будет от вас ребенок!

На полуфразе оборвалось разящее форте оркестра, и сильный голос Варвары Михайловны прозвенел в тишине сада:

— ...от вас ребенок!

Это было так громко, что — кажется — фиолетовые рыбы в аквариуме расслышали неожиданные слова и пошевелили мертвыми спинами.

Все кругом обернулись на Варвару Михайловну.

Она стояла, упершись одной рукой в бедро и показывая стынущую полоску ровных зубов.

Никита быстро вышел.

Он вырвался на улицу и с радостью вдохнул в себя колющую, острую свежесть зари.

Но неожиданный, стремительный поток крови неприятно согрел его с головы до ног, он засунул руки поглубже в карманы и торопливо зашагал.

Ему представилось, что десятки, сотни глаз с укоризной и нелюбовью, даже с ненавистью осматривают его лицо, затылок, помятую, промокшую шляпу, его забрызганное грязью пальто. Ему

стало мерзко видеть себя, точно грязь запачкала не одежду его, а все тело.

Утро было обычное. Толстые, укутанные в мохнатые шубы фигуры неповоротливо копошились на трамвайном пути, поспешные удары молота железно сыпались, догоняя и подталкивая эхо, в молочном свете электрических вспышек дрожали и колебались согнутые спины сварщиков рельсов. Раскачиваясь и гудя суетливыми колесиками, бежали вдаль серые платформы рабочих трамваев, и навстречу Никите, наперерез ему, перегоняя и обходя его, спешили люди, кое-как заткнув в рукава курток красные от холода руки, разбрызгивая покоробленными подошвами слякоть тротуаров.

Никита попробовал вглядеться в мелькавшие мимо него лица. Они были сосредоточены на одной какой-то думе, в морщинах их лежала сдержанная суровость, точно эти люди, сжав свое сердце, навсегда признали упрямую неизбежность вот таких городских рассветов — с торопливо бегущими, однотонными фигурами, с железным звоном ударов по рельсам, с дрожащим молочным огнем сварки.

Это был долг, человеческий долг — такие рассветы, когда люди бежали, бежали, чтобы скорее, как можно скорее добежать, включить себя в какую-нибудь крошечную часть озабоченной машины.

Стыд щемил Никиту. Ему было стыдно перед божьим светом, перед зачинающимся днем, перед бегущими людьми. Ему хотелось приобрести с ними сходство, потеряться среди них. Но он чувствовал, что лицо выдает его, что нельзя скрыть истекшей бессмысленной, жалкой ночи.

Он вздохнул свободнее, выйдя на Фонтанку. Походка его изменилась, свет сломал ее, как сламывал, стирал вечернюю, ночную неуловимость и неясность уличных линий.

Город лежал спокойный и большой. Все вокруг было полно смысла. Краски, стены, углы, решетки были подобраны и сделаны расчетливо и разумно. Все размещалось на земле с простором и достоинством. Мир был удобен.

Никита легко сбежал с возвышенности, поднимающейся к Аничкову мосту.

Вдруг сзади его кто-то придержал за локоть.

— Извиняюсь.

Он отдернул локоть и повернулся.

— Извиняюсь, гражданин,— сказал мухрастый человечек, приподнимая картузик,— очень извиняюсь, если обознаюсь.

Желтенькие глаза с сиреневыми мешочками под нижними веками испытующе всматривались в Никиту. Незнакомец, как

бы нарочно, быстро заткнул руки в ободранные рукава рыжего пальто.

— Извиняюсь — холодно, не могу протянуть руку. Не за подаянием, нет. До этого не доведен. Но чтобы пожать, в свою очередь, руку известному и знаменитому Никите Кареву. Насколько убеждаюсь,— не обознался. Извиняюсь — Никита Васильич?

— А вы кто?

— Значит, верно-с... Никите Васильичу — честь, почет, уважение и вообще — фурор. Готов рукоплескать, но холод не допускает.

— Вы знаете меня? Кто вы?

— Называю по имю, отчеству и по фамилье. Так что — знаю-с. Мое фамилье, конечно и обязательно, не так знаменито. Но вам может показаться знакомо. Чупрыков. Мог сохраниться в вашей памяти довольно прочно, скорее, конечно и обязательно, по имю: Витька. Витька Чупрыков.

— Помню,— сухо сказал Никита.— Вы служили у Шерстобитовых?

— Действительно, так. Но впоследствии служил по призванию в геройской Красной Армии. Заметьте: по призванию, а не по призыву. Совершил большие походы, контужен и в демобилизацию уволен инвалидом на сорок процентов. Страдал сознательно и не каюсь: по призванию бороться за правду.

— Как же вы попали сюда... и чего вы хотите от меня?..

— От вас — ничего. Считаю за почет обмен мнением. Ваше фамилье облетело весь город. Читал в афишах и чувствовал. Очень крупно: синфония Никиты Карева под управлением автора. Стоял у дверей и наблюдал за толпою публики. Конечно и обязательно, мое фамилье честного бойца не может идти в сравнение с вашим фамильем. Однако задумываюсь по своей склонности размышлять...

Никита пожал плечами и двинулся с места.

— Мне надо идти.

— Пожалуйста, не могу задерживать. Извиняюсь. Но разрешите проводить. Вы ведь неподалеку?

— А вы откуда знаете?

— Заметил. Привык замечать.

— Вы давно здесь?

— Не очень. Но срок дела не меняет. С утра в искании работы. Был в Саратове, затем в Москве. Искал места, но ничего не достиг, хотя, конечно и обязательно, везде признают, что Чупрыков заслужил весьма беззаветной борьбой в рабочих-крестьянских рядах. Впрочем, сказать правду, достиг: в Саратове платили шесть с полтиной в месяц за сорок процентов контузии, здесь платят

десять. На такой баланс, извиняюсь, даже умереть прилично невозможно.

Чупрыков оглядел себя сверху донизу, демонстрируя свою бедность.

— Никакого сальда не остается, чтобы постираться и подмыться,— сказал он, ухмыляясь.

Потом он умерил шаг и остановился.

— Извиняюсь, вы ведь, кажется, торопились домой?

— Да откуда вы знаете, где мой дом? — вскрикнул Никита.

Чупрыков приблизился к Кареву и, подергивая сиреневым мешочком под правым глазом, чуть дребезжа хрипотцой, легонько протянул:

— Я много чего знаю, Никита Васильич, уважаемый мой Никита Васильич.

— Вас что,— грубо спросил Карев,— Варвара Михайловна подослала?

— Ну-у, не-ет! — засмеялся Чупрыков.— Хотя мы, конечно и обязательно, с Варюшей, как братья, и я знаю, что она, моя душенька, здесь проживает, в Питере, но я ее пока не видел. У нас с ней вроде перерыва в сношениях, и я понимаю, что другого классу... А про вас я знаю...

— Что знаете? — нетерпеливо поторопил его Никита.

Но Чупрыков неожиданно стал медлить, вытащил из рукавов краснопалые руки, потер их со вкусом, будто готовясь к чему-то чрезвычайно приятному и важному, поправил картузик.

— Про вас я знаю порядочно,— заговорил он с растяжкой.— Про то, как вы ушли, и про то, как вернулись. И про то, как вы *там* были, *там*...

Он снова задергал сиреневыми мешочками глаз и куда-то таинственно показал.

— Ну, и что же? — зло спросил Никита.— К чему это ваше знание?

— Пока не употребил его, не употребил. Но по привычке задумываться... Да-а. Вот, думаю, ходит человек, и вот другой человек. Один, скажем, Витька — в рубищах и в постоянном искании труда за фунт ситного. Но человек геройской заслуги и инвалид, бился за правду по призванию. Другой, скажем, какая-нибудь знаменитость. И тоже ходит. Но одетый, обутый, в почете и в чести. Хотя в прошлом, то есть в прошедшем времи, у человека... Да-а! И как ходит?!

Витька подмигнул с веселым лукавством и распрямился, поднял голову, стал на цыпочки.

— Вот как ходит. Хе-хе! Дескать, на то мы вам знаменитость, полюби нас беленькими, а красненькими нас всякий полюбит!

Он очень громко, рассыпчато засмеялся, тихонько подтолкнул локтем Никиту в бок и повторил с удовольствием:

— Полюби нас беленькими!.. И, извиняюсь, любят! Любят, конечно и обязательно, выражают почет! А красненьких-то, сказать правду, не всякий любит, нé-е-ет, шалишь! Красненьким-то от сил — красненькую в месяц, за сорок процентов контузии! Вот как-с!

Никите хотелось уйти, но что-то удерживало его около Витьки. Было отвратительно видеть его подмигивания, кривлянья, гнусно ощущать панибратское подталкивание локтем и слышать прилипчивую хрипотцу. Он принижался с умыслом и ровно настолько, чтобы придать загадочность назойливым своим намекам. Но что мог знать о Никите этот вынырнувший из-под земли человек? И разве Никитину жизнь нельзя было показать всему миру на ладони?

— Перестаньте попусту болтать,— брезгливо оборвал Никита Чупрыкова.

Но, взглянув в глаза нечаянного своего собеседника, поежился и отступил. Желтизна этих глаз показалась ему совершенно прозрачной, как у кошки, и в небольшой глубине их он увидел незатененную, голую и ясную, как божий день, наглость. Он никогда не встречал таких глаз.

— Попусту, изволили сказать? — произнес с усмешечкой Чупрыков.— А сами пожимаетесь...

Они стояли у открытых литых ворот шереметевского дворца. Один шаг — и Никита был бы во дворе дома. Он оторвал взгляд от глаз Чупрыкова и посмотрел через Фонтанку.

Там, на громоздких развалинах сломанного дома, копошились рабочие, разбирая и укладывая в клетки кирпичи. Работа успела развернуться, сероватый покров пыли колыхался над развалинами, по дощатым настилам ворчливо катились груженные кирпичом тачки.

Витька проследил взгляд Карева, прицелился на разрушенный дом и секунду смотрел молча. Потом он опять подтолкнул Никиту в бок и, показывая отогнутым большим пальцем через Фонтанку, просмаковал язвительно:

— Производство кирпича...

Но в тот же момент он дрогнул. В его подвижном лице, во всем его теле произошла мгновенная схватка каких-то противоречивых движений. Он глядел на Никиту подозрительно, пытливо, ненавистно, и в то же время губы его кривились в льстивой и понимающей улыбке.

Он вновь потер свои руки, на этот раз уничижительно, и раскрыл было рот.

Но Никита уже смеялся. Под его преодоляющим взором загорозили, засновали машинными челночками сузившиеся глазки Чупрыкова.

— Красненькие, говорите? — спросил Никита, стараясь поймать сновавшие во все стороны глаза и подражая последнему вопросу Витьки.— А сами забеспокоились.

Он повернулся и, смеясь, вошел в дворцовые ворота.

Витька молчал.

Конечно, он выдал себя. Но как было ему устоять перед соблазном такого словечка?

Он опять посмотрел на разрушенный дом и ухмыльнулся.

Потом он мотнул головою вслед Никите. Это должно было означать: «Посмотрим!..»

INFERNO[1]

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Семья Каревых была громадна, пышна, многолика. Дети росли тремя поколениями, старшие почти не знали младших, дочерей выдавали замуж, у них родились и цвели ребята, а в это время основатель семьи, папаша Василь Леонтьич, производил на свет новых Каревых. У него были внуки старше детей, и последний сын Ростислав, родившись, сразу заполучил кучу племянников, один из которых уже щеголял в новенькой форме реалиста казачьего образца — с широким малиновым околышем на фуражке, с такими же малиновыми лампасами на штанах. Раскиданы Каревы были по разным далеким концам, но иногда, почти полностью, всей семьей собирались в горсть, и тут Василь Леонтьич, приехав домой, наскоро осматривал своих чад, точно подытоживая доходы.

— Ну, что, кончил, доктором стал? — спрашивал он Матвея, пыхтя и осторожно наваливая свое раздутое, ожиревшее тело на краешек кровати.— Что бороду-то остриг, точно адвокат? Борода не ноготь, не сломается. Что? Для чистоты? Много ль в бороде грязи поместится? Все норовят почуднее... Деньги стал зарабатывать — это хорошо, отцу с плеч долой, а то у меня вона сколько!.. Скоро ль женишься?.. Как — учиться? Опять учиться? На профессора? Ну, вали. Да гляди, женись скорей, без жены баловство...

Василь Леонтьич с великим трудом пересаживал свое туловище с кровати на ноги и вперевалку шел в другую комнату.

— Что это, Мастря,— обращался он к дочери,— про тебя мне мать говорит, будто не в меру богомольна стала, с чего это? Ну-ка, покажись... Нехороша, матушка, нехороша. Замуж надо. Чего?

[1] Ад *(итал.)*.

Рано? А я говорю — как раз, не то забегаешься по монастырям — поздно станет. Ну ступай, целуй.

Он нагибал к дочери коричневую маленькую свою голову, насколько пускала толстая шея, чмокал губами воздух, а сам уже косил глазом на другую дочь, подходившую к нему здороваться.

— Здравствуй, Поля, с приездом. Родила? Слава богу. Это который у тебя? Второй? Как нарекли? Иваном? Хорошее имя, хотя больно просто, как у мужиков. Совсем позабыли, что казаки! Надо было бы Васильем назвать. Не казачье имя? А отец кто у тебя, казак? Есть Василий? Это который? У Катерины? А тебе что до Катерины — у ней Василий, и у тебя был бы Василий, чай, не в одной постели спите, разберетесь...

Потом выкатывался на двор, к маленьким, раздавал им конфеты, вынимая гостинцы из отвислых, глубоких карманов чесучового пиджака, углы которого хлопались у него по коленкам. Повидав потомство, он возвращался к жене, чтобы передать свои впечатления — сверить лицевые счета с главной книгой.

Жена его и впрямь была главной книгой многочисленного человеческого и вещевого каревского хозяйства. Как успевала она справляться со всеми болезнями материнства, растить маленьких детей и помогать взрослым, приглядывать за домом, за несколькими домами — в городе, на форпосте, в саду? Между тем делала она все в большом, неприметном спокойствии и всегда в каждом деле успевая.

— Слава богу,— отчитывался Василь Леонтьич, посапывая после утомительной, хотя и короткой ревизии.— Все, как у людей. Насчет Мастриды ты, мать, подумай. А кого у нас нету? Натальи? Ученье не кончилось? Синий чулок, только и знает книжки муслит. Никита что-то больно тих, хуже девчонки. Матвей — молодец. За этого я спокоен, дело доводит до конца — казак...

Василь Леонтьич сам был казаком по роду, по крови, по уральской степной волюшке, и отцу его доводилось скакать в голове целой сотни. Но воякой Василь Леонтьич прослыл шарабанным, и хоть в малолетках научен был, лежа на коне, преспокойно запускать в обе ноздри хорошие понюшки табаку, когда конь не скачет, а расстилается по земле стелькой,— хоть и научен был этому Василь Леонтьич, но ловко и с удовольствием занялся хозяйственною службою и скоро начал толстеть.

Толстел он непомерно, с легкостью невиданной, со дня на день, и вместе с толщиной пухла, ширилась его известность в городе, на форпостах, на зауральской, «бухарской» стороне. К сорока годам весу в Василь Леонтьиче было восемь пудов с небольшим, и он даже во сне давным-давно не ездил верхом, а садясь на дрожки, просил кого-нибудь помочь ему закинуть ногу через си-

денье. Дрожки для него заказывались особые, на рессорах, а не на столбиках, и рессоры ставились линеечные, поосновательней, так что в Уральске не находилось подходящего дрожечника, и со всем делом отправлялись на Волгу, в губернский город.

С дрожек Василь Леонтьич почти не сходил; иной раз, позавтракав, так и засыпал сидя, протянув короткие ножки и облокотившись на коробок с провиантом, привязанный позади сиденья. Служба его была непокойная, хлопотливая, надо было неустанно передвигаться, —где же тут прыгать с дрожек да на дрожки, сел поутру — сиди до вечера.

Был Василь Леонтьич управляющим,— должность, ни в каком законе с точностью не обрисованная, но могущественная и многосильная, особенно если владелец хозяйства носит звучное имя и проживает в каких-нибудь Петербургах. Ко всему благоприобретенному владельцем присоединялись богатства, положенные казакам по вольностям (хозяин считался старого казачьего роду), и добра было много, добра была прорва, и добром полноправил, добро умножал единственно Василь Леонтьич.

За казачьей чертой, в самарских полях простирались имения, где сеяли, разводили племенную скотину, строили конные заводы; при самой черте, в степях уральских испокон веку нарезались владельцу покосы — степные, хрящеватые, обильные травы; на тихом, стоячем Чагане, под яицкой атаманщиной, на изворотах низкой луки цвели пахучие яблонные сады; а в самой атаманщине, в Уральске, старели огромные тесовые дома; а в заречье, на «бухарской» стороне, у киргизов, подрастали закупленные овечьи гурты, чтобы летом, пока не сгорела степь, перевалить пыльной тучей через Урал, через Чаган, в степь, на луговую Волгу, в города.

Но ведь Василь Леонтьич тоже был казак, и сыновья его — казаки, и он не только управлял чужим добром, но имел еще и свое, и сыновнее, и ему нарезали в степях участки под покосы, и его сыновьям, и ему отводили надел под яблоньки на Чагане, и его сыновьям. И — господи сил! — кто, кроме Василь Леонтьича, мог бы разобрать, где кончается свое, каревское, и где начинается чужое? Мир был широк, без конца и краю, лошадей много, овец без числа, степи не охватишь, сена не взвесишь, яблочка к яблочку не уложишь!

Василь Леонтьич ездил на дрожках, дрожки возились за ним с самарских полей в уральские степи, из степей — в сады, из садов — на «бухарскую» сторону, к киргизам. Он пыхтел, посапывал, перекатывал свое круглое туловище на коротких ногах, утирал пухлой ладошкой потный, запыленный, коричневый лоб.

Со временем в нем оставалось все меньше и меньше казацкого, он обрастал путаным обиходом, новые домочадцы подмыва-

ли столбы, на которые исстари казак ставил дом. Иногда Василь Леонтьич спохватывался, и на него нападало свирепое упрямство. В такую пору про него говорили: папаша хворают норовом.

— Обмужичились,— задыхался он,— в купцы метите, в ученые? А я кто вам? Отец? Ну и баста! Как сказал, так и будет.

Так действительно и бывало. Одну свою дочь он окрестил Мастридией, потому что, захворав норовом, вспомнил превосходные казачьи имена (а казаки именами славятся, и поныне еще украшают землю многие Агафангелы и Таврионы, Олимпиады и Артемии). И — как знать? — может быть, папашиному норову обязан был Никита тем, что стал музыкантом?

Он помнил с томящею силой одно лето, которое проплыло над ним зеленым облачком и — часто потом — казалось последним счастливым, по-настоящему счастливым летом.

В мае перекочевывали, как киргизы, всей семьей из зимнего жилья, с форпоста (казаки говорят — фарфос) на Чаган, в сады. Степь лежала сытая, вдосталь нахлебавшаяся обильными снегами, и — по вечерам — как-то особенно смирная, совсем неслышная.

Много позже, когда жизнь населилась грохотами и скрипом, в хорошую минуту Никита возобновлял в себе эту неслышность, и тогда ему было так, будто он утратил все и навсегда.

Он помнил, как остановились однажды в вечернюю зарю на ночлег, как он убежал от табора, и издалека, над травой, видны были ему неподвижно изогнутые верблюжьи шеи и тоненькие поднятые оглобли телег и линеек. Головы верблюдов освещались упавшим солнцем и были кирпично-красны, и тончайшими волосками висели на верблюжьих ноздрях повода.

Над Никитою устало пролетел ястреб. Снизу было видно, как у птицы просвечивало одно изорванное крыло, и он долго слышал мерные вздохи и присвист полета. Потом опять наступила такая неслышность, такая необыкновенная неслышность, что Никита вдруг заплакал и в страшном испуге побежал к матери.

Наверное, впервые он почувствовал, что живет в неизмеримо громадном мире и что мир этот непонятно суров.

Но лето не было сурово.

На Чагане Каревых встретил Евграф — существо домовитое, обстоятельное. Он играл в семье роль почтенную, а в иных делах даже тираническую, несмотря на то что чин его был невысок: когда-то Евграфа наняли садовым мужиком. Старшие посмеивались над ним, но редко перечили ему, потому что он умел молчаливо, без шума и ссор, настоять на своем. Маленькие привязывались к Евграфу крепко, хвостом волочились за ним по саду, а он неторопливо и ловко, как нянька, справлял докучливое бабье дело.

В садах Евграф давно стал главным, старшим мужиком вроде надсмотрщика, десятского, и оттого, что узнал себе цену, сильно заскупился на слова.

Перед приездом Каревых сады были подготовлены к поливу, весенние работы кончились, и у Евграфа нашлось немало времени для каревских ребятишек. Никите шел восьмой год, приспела пора научить его ставить переметы и морды, гнать обломком весла бударку, бить из дробовика, скакать на лошади...

И вот колыхнулось и поплыло Никитино зеленое облачко.

Подле избенки Евграфа вечерами варились харчи для садовых рабочих. Это был славный час, когда медлительные, тихие от усталости работники усаживались на земле вокруг бурливого пахучего котла, подвешенного к козлам. Изредка тут затевались разговоры о далеких, чудесных краях, об осетре, которого не могло вытянуть из Урала все казачье войско, о киргизском богатстве, о всяческой удали и силе.

Но чуть ли не каждый вечер, когда темнело, рабочие кучились около Евграфова крыльца, разглядывая ужищу, выползавшую со своими ужонками полакать молочка. Змея была хорошо приручена, преспокойно, не глядя на людей, пила молоко, нет-нет отнимая узенькую свою головку от черепка и по-птичьи запрокидывая ее назад. Красные отблески костра мерцали в ее маленьких глазках, она чудилась Никите зловещей, безжалостной, но вдруг кротко припадала к черепку, и ей смешно подражали коротенькие глянцевые ужонки.

Евграф осанисто и снисходительно, точно какой-нибудь немец, показывающий зверинец уважаемой публике, объяснял:

— Гад гаду рознь. Есть такой, что его и сапогом раздавить мало, а есть невредные. Ужа большую человеку службу принесла. Когда прародитель наш сорок дней, сорок ночей над землей, как по морю, плавал, поганая мыша в ковчеге дырку прогрызла. А вот эта самая ужа тую дырку собою заткнула. Ковчег-то и не потоп. Может, мы за всю нашу жизнь этому гаду благодарны!..

Никита дивился на Евграфа. Такой простой, понятный человек с корявыми длинными руками, обгорелым лицом, как все мужики, нырявший под яблонную паветвь, расхаживавший босиком по саду,— откуда мог он знать такое множество чудеснейших вещей, о которых ни от кого другого никогда не услышишь? И как легко, как тихо бывало Никите с Евграфом!

Когда выжгло степь и — серая — она растрескалась, как пересохшая кожа, Евграф занялся приработком — начал выливать из нор сусликов. В городе, в какой-то конторе, за каждого суслика платили одиннадцать копеек, надо было доставлять хвосты и задние лапы суслика — для счета, шкурка шла ни во что.

Черными дырками нор рябила голая, плоская степь, и только Евграфовым чутьем можно было выбрать в этой ряби настоящее сусликовое жилье. Охота ставилась неподалеку от Чагана или поблизости от котлубани, которую не успело выпарить солнце. Евграф носил воду ведрами, Никита выливал ее в норку.

Земля жадно впитывала в себя влагу, темнея и размягчаясь, ведро за ведром бесследно исчезало в глубине норы, Евграф неутомимо подтаскивал воды и наставлял Никиту:

— Сперва он будет пить. Значит, как дотекет до него вода, он уйдет в самую глубь и подождет. Как увидит, что вода бежит за ним вглубь, так начнет ее пить. Ну, однако же, поймет, что всю ее не выпить. Тогда он заткнет нору задом. Вот, постой.

Никита понемногу наклонял ведро над норою, струя воды, беззвучно пропадавшая в земле, начинала звенеть, и внезапно вода вырывалась наружу, точно из переполненной бутылки.

— Видал? — говорил Евграф.— Это он теперь заткнул задом и держит, не пущает. Однако же долго ему держать не под силу, он отпустит. Ну-ка, подлей. Вот так, держи воду вровень с землей, чтобы ему было потяжеле.

С минуту стояли молча, отплескивая из ведра воду пригоршнями. И — опять внезапно — вода всасывалась норой, как пустой воронкой, и Евграф щерился:

— Не удержала, погань. Ну, пойдем.

Они отходили на несколько шагов в сторону, Евграф озирался вокруг себя, что-то отыскивая, потом говорил:

— Вон он, вылез! Вишь, куда у него выход проделан.

Никита подбегал к норке.

Из земли высовывалась грязная, мокрая крысиная морда. Как чумной, ничего не понимая, точно не видя людей, суслик с трудом вылезал на свет божий, через силу таща по земле обезображенный, раздутый водою живот.

— Нахлебался! — с презрением замечал Евграф и, подняв дубинку, бил ею по черепу суслика.

— Ай! — кричал Никита.

— Жалеешь? — говорил Евграф.— Надо знать, кого жалеть. Одиннадцать копеек мы с тобой заработали, а это — четыре фунта хлеба. Разве он за зиму-то четыре слопает? А ты — жалеть.

И они отыскивали другую сусличью норку...

Пожалуй, самым прекрасным в счастливом Никитином лете была его первая пробежка на лошади.

Он почти задыхался от восторга и страха, когда Евграф посадил его верхом на низенькую карюю казачью замухрышку. Лошадь была не оседлана, не взнуздана, веревочный повод перекинули через ее вихрастую шею вместо уздечки. Евграф заставил

Никиту покрепче прижать икры к бокам лошади (коленки наездника приходились наравне с лошадиным хребтом), выпрямить поясницу, не сутулиться и держать повод одной рукой. Потом он ударил лошадь по крупу, и она пошла.

Она пошла вдоль березовой аллеи, отделявшей яблонный питомник от старого сада, пошла ровным, не валким шагом, словно понимая, что несет на себе хрупкую ношу.

Никита боялся шевельнуться, сидел, будто привязанный, и со страхом замечал, как в нем растет желание дернуть повод, прикрикнуть на лошадь.

Каким он представлял себя в эту минуту? Шляпа сползла у него на затылок, он раскраснелся от жары и скрытых, невидных усилий всего тела, на лбу его высыпали мельчайшие капельки пота, он ждал чего-то решающего, окончательного и необычайного.

Наконец против воли рука его потянула и дернула повод.

— Но-о, пош-шо...— хрипло и тихо сказал он, и пот покатился с его висков струйками.

Тогда решающее началось. Лошадь добродушно передернула ушами, словно хотела спросить, верно ли она поняла верхового, и охотно, привычно перешла на грунцу.

И Никита не упал — нет, нет,— он даже не пополз набок, даже не ухватился за холку, он запрыгал на лошади, как мячик, неслышно и ровно. В нем радостно вспыхнула уверенность в себе, он улыбался и с удовольствием слушал свой чистый, окрепший голос, смешно перерубаемый в лад мелкой рыси:

— Но-о-о, по-шо-о-ол!

И вдруг:

— Стой! Тр-рр-рр!

Прямо перед ним, перерезая его путь, тянулась глубокая канава, шириною в два добрых шага.

Лошадь стала. Никита сполз на землю. Что было делать? Вернуться назад? Чудно подумать об этом: он только что начал кататься, только-только научился бежать — ну да,— бежать рысью, как настоящий казак. Перед ним, за канавой, простиралась лука, заросшая ежевикой, хмелем, высокими дуплистыми деревьями, в узких тропинках и дорожках — привольное, нетронутое, дикое место.

Никита решил перебраться в луку.

Он долго стаскивал с лошадиной шеи повод, подпрыгивая и становясь на цыпочки, лошадь не понимала его боязливых и неловких движений, наконец опустила голову и скучно ущипнула травку. Никита благодарно, но с опасочкой похлопал ее по шее и, спрыгнув в канаву, потянул повод.

Но лошадь не слушалась его, стояла точно врытая в землю, и Никите показалось, что во взгляде ее светился непонятный укор. Никита пробовал понукать ее нарочно грубым, не своим голосом, потом прищелкивал языком и уговаривал ласково:

— Ну, Каринька, пошел вперед, вперед!

Все было напрасно, лошадь не двигалась.

Никита вылез из канавы и, опечаленный, задумался. К счастью, лошадь снова принялась щипать траву, и Никите удалось перекинуть повод через голову упрямицы. Он вцепился лошади в гриву, подпрыгнул, вскарабкался на спину, сел и решил повернуть назад. Но в тот же момент лошадь отступила на один шаг и неожиданно прянула через канаву.

Никита не помнил, как он удержался. Он пришел в себя, почти лежа на лошадиной спине, одной рукой тщетно отыскивая какой-нибудь упор на покатом крупе, другою держась за натянутый длинный повод. Ноги его беспомощно барахтались, запутавшись в гриве коня. Со страха он даже не кричал, изо всех сил стараясь выровняться и сесть.

Спасло его то, что, перепрыгнув, лошадь сразу пошла вскачь.

Но вот Никита распрямился, сел, взял в обе руки повод.

И тотчас необыкновенное, никогда не испытанное тепло разлилось по его телу. Как к человеку, он почувствовал любовную нежность к лошади. Ему было немножко стыдно перед ней за то, что он чуть-чуть не свалился, но — главное — за то, что он не поверил в нее — в эту прекрасную, умнейшую скотину, усомнился в доблестном и благородном сердце казачьего коня и позорно отступил перед первым препятствием. Как могло прийти ему в голову, что конь полезет следом за ним в канаву? Ведь это же не черепаха какая-нибудь, не ползучая тварь, не ужища!

И, втайне изумленный, что бежать вскачь легче и удобней, чем рысью, расхрабрившийся, счастливый, стегнул лошадь концом повода.

— Ше-ве-лись!

Он скакал по тенистой прохладной луке, задевая головой свисавшие с ветел и вязов листья. Шляпы на нем не было, она осталась за канавой, но он ничего не замечал, он мчался, и каряя замухрышка чудилась ему стрелоподобной антилопой, а путаные усы хмеля — первозданной чащей олеандров, как в книжке, по которой сестры учили его читать.

Вернувшись, Никита рассказал Евграфу, как он перемахнул через ров, утаив, что лазил в канаву и тянул туда за собой лошадь.

— Удержался? — недоверчиво спросил Евграф и, когда Никита жарко и торопливо побожился, заметил безразлично: — Ездок — что охотник, не омманет.

Никите было очень обидно подозрение Евграфа, он хотел признаться ему во всем, но счастье его было так велико, что поглотило обиду без остатка...

Вскоре после этого произошел случай, неожиданно оборвавший летние Никитины радости и странно переставивший всю Никитину жизнь на новый, какой-то безжалостный, жестокий путь.

Случилось же, в сущности, пустячное, ничтожнейшее дело, невинная детская история.

Никита никогда потом не мог вспомнить, по какому поводу он очутился в Уральске, на Михайловской улице, и зачем его оставили одного перед окном игрушечного магазина.

Он стоял и глазел на разноцветную груду тряпочек, оловяшек, жести и фольги. Игрушки сверкали, точно росный лужок на солнце, времени у Никиты было много, он разглядывал игрушки пристально, не спеша...

И вот в уголке окна, рядом с куклою в шутовском пестром наряде и в бубенцах, Никита увидел скрипку.

Это была обыкновенная игрушечная скрипка, простого, наверно, елового дерева, покрашенная в желтенький, канареечный цвет, с розовыми колочками и коротким — не длиннее скрипки — смычком. На верхней дощечке коричневым лазом таращился перепиленный сук, но в остальном скрипка была, право же, как настоящая: с подставочкой, струнами, с прорезами на верхней деке — прелестный инструмент!

Вот бы такую скрипку Никите! Вместо всяких игрушек и скучных безделиц — одну такую скрипку. Главное, конечно, то, что она — как настоящая, и такой вещью можно вполне заменить уйму ерунды. Если бы Никите подарили такую скрипку, даже лучше именно эту скрипку — с сучком и розовыми колками,— он отказался бы навсегда от всяких других игрушек. На кой они ему? Только мусор от них. А скрипку он повесил бы над своей кроватью и перед сном глядел бы на нее из-под одеяла и трогал бы струны. Струны на скрипке настоящие, поправдышные, и, наверно, звенят. А с сучком, конечно, красивее. В самом деле, ведь Никите не так уж много преподносят игрушек. Почему бы не подарить ему скрипку? Ведь это просто выгоднее для них же, для больших, выгодно. Купили раз навсегда окну скрипку, и кончено — никаких подарков делать не надо до тех пор, пока Никита не станет большим. Тогда — он накупит себе чего захочет! А какой тоненький у скрипки смычок! Эх...

Еще немного — и Никиту ударило бы в слезы. Но тут его взяли за руку и увели.

И опять Никита не помнил, кто отвел его от окна: кажется, сестра, но какая — он не знал. Всю дорогу он твердил о скрипке,

так что в конце концов на него прикрикнули, и от обиды у него больно сжалось горло и задрожал подбородок.

Вечером, дома, Никита не выдержал и разревелся: скрипка не давала ему покоя. Может быть, ему было горько, что от его желания кругом отмахивались, как от каприза баловня. Он не был баловнем, он редко, очень редко о чем-нибудь просил; наконец, он не был виноват, что родился в громадной семье, где постоянно было так много всевозможных желаний, что никто толком в них не разбирался. Может быть, поэтому его желание сделалось нестерпимым, нудным, как боль, и он твердил день и ночь о вожделенной скрипке.

Вдруг этой истории наступил нечаянный конец.

Папаша Василь Леонтьич, приехав из города, привез с собою на дрожках скрипку. Неизвестно, каким путем, какой дорогой докатились до Василь Леонтьича сыновние слезы.

— Ну, Никита,— сказал папаша, сопя и отдуваясь,— ты тут нудишь — на, вот тебе, получай.

И он положил на стол черный длинный футляр с медными замочками и ручкой.

Все столпились вокруг стола.

Никита — бледный, большеглазый — смотрел за тем, как отец отпер замки и приподнял крышку футляра. Там, в футляре, оклеенном зеленой бумагой с цветочками, лежала скрипка.

Но что это была за скрипка! Большая, темная, блестящая свежей полировкой, с черными колками, с длинным, изогнутым смычком, надетым на какую-то вертушку.

Никита был потрясен. Он не мог выговорить ни слова. Он глядел на скрипку в страшном испуге.

Василь Леонтьич сказал, польщенный:

— Не ждал? Видишь, как я тебя...

— Ведь это — настоящая, совсем настоящая!

— Ну а как же,— довольно отозвался Василь Леонтьич.— Со знающим человеком покупал. Как раз для тебя, твоя мерка.

— Ведь на этой нужно играть!.. Я не умею играть, папа! — опять закричал Никита.

— Научишься! Будешь учиться — научишься.

— Папа, папа! Я не хочу... я не хотел учиться! Я хотел только так... ту, желтенькую...

— А про это тебя не спрашивают,— наставительно прервал папаша,— про то, чего ты хочешь, знают без тебя.

— Но я совсем не то просил, папа!

— Пошел, дурак! — заключил Василь Леонтьич.

Как мог Никита объяснить отцу, объяснить всем большим, глупым людям, что он хотел получить ту, желтенькую скрипку, с

сучком на верхней дощечке, ту самую скрипку... Ах, да разве можно, разве можно?! Ведь Никита хотел ту скрипку, которая — как настоящая, а вовсе не поправдышную, не эту ужасную скрипку, на которой надо учиться играть по правде, как большие! Разве можно?!

Никита бросился к Евграфу.

Он умолял Евграфа уговорить отца, чтобы тот продал скрипку, чтобы не учил его — Никиту — играть на скрипке. Он клялся, что откажется от той, первой, желтенькой скрипки, что никогда в жизни, ни за что на свете, ничего не будет просить — только бы его не заставляли учиться играть на скрипке. Он успел разжалобить Евграфа.

— Эка, довели парнишку,— сказал дядька и пошел к хозяину.

Но Василь Леонтьич, как на грех хворавший норовом, прогнал его. Евграф вышел из дому мрачней тучи и с такой досадой шикнул на Никиту, что он понял: все и навсегда для него было кончено.

Он убежал прочь, сел в канаву — в ту самую канаву, через которую недавно перескочил на лошади,— и дал волю горьким слезам.

И правда. Если с этого часу еще не все и не навсегда было кончено, то многое начиналось.

Осенью Никиту отправили к тетке, в большой волжский город, учиться.

Незадолго до его отъезда уехал Евграф — на службу, в Петербург, куда его вытребовал старший сын Карева — доктор Матвей Васильич. Много позже обнаружилось, что Евграф сам подстроил докторское требование и бросил Каревых назло Василь Леонтьичу, кровно его оскорбившему, когда он просил за Никиту.

Прощание дядьки с Никитой было очень любезным, но ни словом, ни намеком Евграф не обнаружил перед питомцем причины своего ухода. Он только сказал:

— Ты ведь теперь тоже не жилец здесь: пойдет ученье-мученье, замотаешься. Свет-то весь в дорожках да в тропах...

Одна тропа открывалась Никите, и ступить на нее он не хотел. Как зародилось в нем томительное предчувствие неблагополучия, какой-то тяготы, ожидавшей его впереди? Он не мог ни знать, ни думать об этом. Ему стало тоскливо, тревожно и немного боязно.

Завязывалась судьба музыканта, его — Никитина — судьба, его inferno.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первая гамма по школе Берио начинается со свободного (музыканты говорят — открытого, пустого) соль. Это — четвертая, крайняя слева струна, басок. Потом идут: ре — терция, ля — секунда, ми — квинта, слева направо. Все это прекрасно объяснено у Берио и запоминается без труда.

Если левую руку обернуть ладонью к лицу и потом очень медленно, без напряжения, сжимать кулак, стараясь, чтобы мизинец прежде других пальцев коснулся ладони, то в какой-то момент кисть сама собою займет положение, которое она должна иметь на скрипичном грифе. Указательный палец считается первым, средний — вторым и так далее. (Здесь, в названии пальцев, скрипачи расходятся с пианистами.)

Об этом тоже изложено у Берио, и, кроме того, Яков Моисеевич Гольдман записал Никите на особом клочке нотной бумаги:

указательный — первый
средний — второй
безымянный — третий
мизинец — четвертый.

Большой палец, как видно по этой записочке, в счет не входит. Он торчит у Никиты с левой стороны грифа, отогнувшись загогулинкой, и — от времени до времени — Яков Моисеевич дает ему щелчка, чтобы он не торчал, чтобы держал гриф, чтобы гриф не ложился на Никитину ладонь, а палец не залезал бы на колок баска.

Для того чтобы начать играть, надо подумать. Подумать надо прежде всего о ногах. Становиться следует так, чтобы тяжесть тела падала на левую ступню. Правая нога, в сущности,— простое украшение. Яков Моисеевич, поди, ничего не имел бы против, если бы правую Никитину ногу отрезала конка. Правую ногу нужно чуть-чуть выставить вперед, с известной небрежностью (ну вот, точь-в-точь так, будто она совсем лишняя).

— Непроизвольно, непроизвольно! — кричит Яков Моисеевич, подшибая Никитину коленку сзади ударом руки, как делают школьники.

Что такое «непроизвольно» — Никита не знает, слово кажется ему зверским.

Потом надо подумать о левой руке. Без левой-то руки не обойдешься; небось и Якову Моисеевичу было бы жалко, если бы, например, левую руку Никиты отрезала конка.

Локоть левой руки должен приходиться против сердца, но опираться локтем на грудь нельзя, ему полагается свободно висеть

в воздухе. Над ним проходит средняя линия нижней деки. То есть она должна проходить, у Никиты она не проходит, у Никиты и локоть и скрипка лезут вбок и вниз, налево, и Яков Моисеевич, схватив скрипку, дергает ее вверх, так что подгрифок больно тычет Никиту в подбородок, а край нижней деки — в ключицу.

— Ну, попробуем начать.

Это вовсе не значит — начать первую гамму по Берио. Нет. Начать — значит положить на бас смычок. Положить его надо так, чтобы смычок прикоснулся к струне всею плоскостью волоса, наиболее широкой у нижней колодочки. При этом кисть правой руки должна как бы свисать с запястья, совсем свободно, легко, а запястье должно приходиться примерно вровень с кончиком носа. Большой палец нельзя высовывать дальше середины лучка (на этом месте обычно сделана неглубокая ложбинка), а другие пальцы...

— Вот так, так, так, так,— хрипит Яков Моисеевич, раскладывая и по очереди втискивая Никитины пальцы в серебряную обмотку лучка у нижней колодки.

— Свободно, совершенно свободно, легко! — кричит он.— Ну, начнем, раз, два, три, четыре, раз...

Кажется, все сделано как у Берио: правая нога отодвинута в сторону, локоть левой руки свободен, и локоть правой — тоже, и пальцы на смычке лежат свободно, легко.

Но вместе с вытягивающим душу хрипением Никитиной скрипки низкий потолок комнаты рушит вопль Якова Моисеевича:

— Ай, а-а-а, вэ-вэ!

Он всаживает пальцы в свою кольчатую черную гриву, потом принимается вертеть Никиту, точно куклу, и кричать:

— Разве это — мальчик? Это не мальчик, а дубовый комод, это дубовая доска, это дубовый кухонный столик!

И правда, Никита чувствует, что он одеревенел и нечего больше ожидать от его локтей, пальцев, от подбородка и ног.

— Еще раз! Раз, два, три, четыре...

Смычок надо вытянуть до конца, до верхней колодочки, не изменяя положения правого локтя, и затем... Но то, что нужно проделать, выдержав счет и дотянув смычок до верхней колодочки, что нужно проделать кистью правой руки, не мог бы описать даже сам Берио.

Нет, нет! Никогда, ни за что Никита не сумеет этого сделать!

Да и откуда взяли, что Никита хочет стать музыкантом? Кто это придумал? Он не может терпеть музыку, он ненавидит скрипку, ненавидит Якова Моисеевича, он действительно выбежит вот сейчас на улицу, кинется под конку, и пусть! Нарочно ляжет на

рельсы, чтобы отрезало руку и ногу, и будет жить без руки и без ноги. Вот вам тогда, возьмите!

— Выше, выше, выше! — орет учитель.— Си, си, си простое! А теперь — до, ниже, ниже, рядом со вторым рядом! До-о-о-четыре, ре-е-три-четыре.

Очень приятно, если спускается струна,— незадача с колком или еще что-нибудь.

— Опять, чер-рт! — скрежещет Яков Моисеевич, выхватывая скрипку из рук Никиты и принимаясь строить.

Тогда выпадает лишняя минуточка отдыха, можно постоять не по Берио, а просто как все люди.

Это, конечно, лучше, нежели тянуть смычок, ломая руки, это хорошо — постоять без дела. Но еще лучше было бы совсем кончить урок, перестать заниматься, уйти, убежать из подвала Якова Моисеевича!

Боже мой, как жутко и душно в подвале Якова Моисеевича!

Вот вбежал в комнату шустрый маленький отец Якова Моисеевича, такой же курчавый, как сын. У него засучены по локоть рукава, он тащит громадную книгу без переплета, за ним струится запах клейстера. Он подбегает к большой, страшной машине, хватается за колесо, вертит его стремительно и громко, на весь подвал, подпевает сыну:

— Ми-и-три-четыре, фа-а-а-четыре, соль-два-три-четыре.

Он кладет книгу в машину и пускает колесо в обратную сторону. Никита слышит, как тяжелый нож режет бумагу и тонкая гармоника обрезков, шипя, сыплется на пол. Никиту пробирает мороз, он фальшивит.

— Фальшь! — кричит Яков Моисеевич.

— Фальшь! — весело и громко отзывается за спиной Никиты переплетчик.

— Фальшь, фальшь, фальшь! — еще сильнее кричит сын.

— Фальшь, фальшь, фальшь! — отвечает отец, подкрадываясь в своих мягких туфлях к Никите.

Никита не может поправиться, он фальшивит больше и больше, у него холодеют пальцы, он видит выглядывающую из двери мать Якова Моисеевича. Она больна желтухой, лицо ее страшно, она улыбается, глядя на мужа и сына, которые пугают ученика. Во рту у нее один большой зуб, чуть белеющий в сумраке подвала.

— Фальшь, фальшь! — кричит в одно ухо Никиты учитель.

— Фальшь, фальшь! — кричит в другое отец учителя.

— Чего вы пугаетесь? — смеется переплетчик, ласково заглядывая в лицо Никиты.— Мы же шутим между нами!

Лучше бы он не говорил, что шутит. От его слов Никите становится нестерпимо жутко, его бросает в пот, омертвелые руки падают, он жалобно просит:

— Яков Моисеевич, я устал!

Переплетчик уносится за дверь, попахивая сыроватой кислиной клейстера и напевая гамму, зубастое лицо исчезает. Яков Моисеевич от скуки тренькает по струнам Никитиной скрипки.

Потом он берет с отцовского верстака свою скрипку — темно-вишневый, покрытый белой пылью канифоли инструмент, легко, не опираясь грифом, на весу, стоит и начинает играть.

Подвал наводняется потоками звуков, шорохи и голоса за стеной стихают, уже не слышны торопкие шаги прохожих на улице, ноги их, мелькая в высоком — над головой Никиты — окне, точно не касаются тротуара, потоки бурлят, затопляют темные уголки переплетной, и только стекла входной двери дребезжат, когда на улице пробегает вагон конки.

Медленно приоткрывая занавеску, из смежной комнаты вновь показывается бледный, притихший отец Якова Моисеевича и судорожно подпрыгивает на мягких носочках туфель в такт музыке.

Потом, когда сын кончает играть, восторженный отец подбегает к нему.

— Яков, Яков,— выкрикивает он, махая руками и счастливо раскачиваясь, как скрипач,— совсем замечательно вот это: та́ра-та-тира-та-та́ра-тарамта!

Яков Моисеевич повторяет коду, потом — бурливый, головоломный пассаж.

Никита в недоумении глядит на его пальцы, веселым винтом сползающие по грифу к самой подставке, ему кажется, что надо родиться в подвале с машиной и клейстером и что он — Никита — всегда нежно любил необыкновенного своего учителя.

— Яков, Яков, какой переход!

— Что ты хочешь,— гордо говорит Яков Моисеевич,— это же — Сарасатэ.

— Ну, я же говорю! Кто может еще что-нибудь такое, если не Сарасатэ? Та́мтара-ррита-тара́мта-тарра́мта!

Отец и сын совсем позабывают о Никите, размахивают руками, смычком скрипки, отец выделывает тенорком сокрушающие дробные коленца, а сын щелкает подошвой по асфальтовому полу.

— Рра́м-та-та-ррримта!

Наконец, перебесновавшись, отец Якова Моисеевича оборачивается к Никите. Его глаза блестят, в кольцах кудрей болтается за ухом косичкой моток суровых ниток, он в упоении хлопает Никиту по плечу и восклицает:

— Вот как надо играть, господин Никита!

— Будет работать — научится,— безжалостно замечает Яков Моисеевич и вновь берется за ученика: — Начнем. Раз-два-три-четыре...

Ах, провалиться бы этому подвалу со скрипками, клейстером, с шипящей гармошкой бумажных обрезков, сгинуть бы переплетчику, его жене, его сыну — Якову Моисеевичу, которого всегда, всегда, всегда ненавидел Никита больше всего на свете!..

Но дни бежали, как конки,— звенькая, поскрипывая, останавливаясь на минутку, чтобы передохнуть (случалось, что у Якова Моисеевича болели зубы, и он не давал урока), и опять бежали, бежали.

Помимо желаний Никиты, подчас против его воли, он научался одной, другой гамме по Берио, привыкал не опускать левую руку по десять, двадцать минут, усваивал смычковые штрихи, и на пальцах его давно уже натрудились мозоли.

За зиму Никита одолел первую позицию по школе Берио и перешел на гаммы второй.

И опять — легко говорится и легко объясняет Берио: вторая позиция.

Человек учился грамоте, он запомнил тридцать шесть букв, начал читать. Тогда, обрадовавшись, что он уже читает, ему объяснили: ну, теперь переучись. То, что ты считал за Б, будет А, В — вовсе не В, а Б, и так до конца алфавита.

К чему это? Зачем нижнее до брать вторым пальцем, если оно берется третьим? Разве удобнее лезть четвертым пальцем бог знает куда по баску, когда трижды проклятое ми, из-за которого ломаешь мизинец, гораздо легче взять первым пальцем на терции? Неужели это делается ради лишнего писклявого до на квинте?

Впрочем, Никиту не так уж сильно смущала вторая скрипичная позиция. В конце концов — все равно погибать, жизнь в прошлом, что еще осталось? Но наступило лето, горячее, стойкое, как солнце, лето, и вдруг в чистом небе грянул гром: ехать домой, на Чаган, в степь нельзя; каникулам срок — один месяц; и за этот месяц — четыре гаммы второй позиции и все — первой, по той же самой школе Берио.

Может ли быть, что когда-нибудь земля носила на себе живого Берио? Что же это было за чудовище?!

И все-таки Никита ждал каникул с тоскливым беспокойством: целый месяц он не будет ходить в подвал, целый месяц не будет видеть кольчатых кудрей Якова Моисеевича, его, похожего на черные кольца кудрей, пенсне, дрожащего на горбинке носа, не будет слышать пугающего и зовущего к возмездию гула коночных колес.

Лето готовило ему даже радость: на его жалобные письма нежно отозвалась мать и обещала приехать погостить у тетки.

Но, несмотря на радость встречи, он уезжал в деревню новым, другим Никитой: с двумя позициями по Берио, тетрадью нот и сердцем, полным грусти.

Книзу от города, верстах в сорока, Волга движется гладкой лавиной. По пути ее — ни одного островка, ни одной отмели. Взглянуть с одного берега на другой — тоненькая, чуть приметная зеленая полоска.

Правый берег крут, горы обрываются почти отвесно. Вверху, на выступе желтой глиноземной корки, стоят дубовые рощи. Жилистые корни дубов свисают с обрыва и топорщатся корявыми усищами. Кое-где дубы выпячиваются на самый край выступа, и, если смотреть снизу, кажется — растут в воздухе.

В отлогих местах склоны гор покрыты сыпучей голубой галькой, стекающей на подошву и дальше — по берегу — в реку.

Никита стоит рядом с ноздреватым старым дубом, на краю обрыва. Под ногами его — так круто, что занимается дух,— сквозь мотню шершавых корней виден шнурочек берега, на нем — две кучки белья. У берега, распуская по воде паутину сверкающих кругов, окунается мать Никиты. Много дальше, на свинцовой глади, маячит крошечная голова Надежды Николаевны — учительницы Никиты. Она повязана белым платком, концы его торчат крыльями, издалека похоже, что на воду опустилась птица.

Надежда Николаевна высовывает из воды блестящую, точно облупленный сырой пруг ветелки, руку, машет ею, кричит:

— Ни-ки-та!

Голос ее долго бежит по воде и карабкается на обрыв, добираясь до Никиты, как по ступенькам, и он слышит:

— Ни-и-ки-и-та-а!

Он отвечает ей:

— Ау-у! — и бежит к расщелине обрыва, откуда по отлогому скату падает к воде голубая дорога гальки. Он садится на гальку, вытянув ноги, отталкивается и, как на салазках по ледяной горе, камнем летит вниз. Вслед ему, обгоняя его и нарастая грузным валом за спиной, сыплются шуршащие ручьи окатышей, круглящей, и, сильно отставая, волочатся ленивые клубы пыли.

Никита отряхивается на берегу, у воды.

Свинцовый живот реки набухает, делается покатым и желтым, обрыв взмывается над головою, висящие в воздухе дубы становятся маленькими, легкими, как на картинке.

Мать Никиты и Надежда Николаевна выходят из воды, стряхивают с себя ладонями серебро капель и струек, вприпрыжку бегут к белью.

Тело Надежды Николаевны смугло, вся она подтянутая, глянцевая, поворотливая и чем-то напоминает холеную лошадь.

Мать Никиты белая, движения ее — шаги, обороты туловища, сгибание спины — рыхлы и полновесны. Когда, надевая рубашку, она вскидывает над головой руки, видно, как опадает книзу ее большой живот.

Женщины по-крестьянски скоро и просто одеваются, идут в деревню. По дороге переходят ручей, звонко скачущий по дну оврага. Никита отыскивает в овраге ракушки, выплеснутые сюда рекою. Он слышит в разговоре женщин странное слово, произнесенное чуть-чуть пониженным голосом: беременна. Слово это почему-то вызывает в его памяти деревенскую девку с бельмами на глазах. Он спрашивает:

— О чем вы говорите?

Тогда Надежда Николаевна громко смеется и дразнит Никиту:

Бесштанный рак
Залез в овраг,
Собирает ракушки...

— Почему — бесштанный? — спрашивает Никита.

— Э, э, посмотри! — дразнит Надежда Николаевна.

Он щупает свои штаны, сзади они изодраны и висят лохмотьями, будто Никиту рвали собаки.

— Это я там, на камнях,— бормочет он, неуклюже запихивая лохмотья в дыры.

— Э, э! Бесштанный рак! — напевает и посмеивается учительница.

У Никиты вылетают из головы и девка с бельмами, и непонятное слово, и раковины, и все, все...

Потом он останавливается с матерью на деревне, под вековым дубом. На объерзанных, голых уступах корня сидят старухи, подергивая толстые спицы вязанья, держа в подолах черных юбок пегие клубки толстой шерсти. Платки у старух напущены зонтиками на глаза, и под зонтики, в волосы, заткнуты гусиные перья, смоченные керосинцем,— от мошкары. Разговаривая между собою, старухи покачивают головами, но так тихо, что движения заметны только по кончикам гусиных перьев, то сверху вниз, то из стороны в сторону: видно, старушечью беседу вязать не трудней, чем чулки.

Из дома, наполовину укрытого дубом, выбегает лоцманский сынишка — Родька. Он на ходу дожевывает ломоть ситника и говорит второпях:

— Никита, айда на дощаники!

Никита умоляюще смотрит на мать.

— Надо играть, Никита,— говорит мать,— поиграешь, тогда пойдешь.

Никита видит тучки мошкары, неугомонно толкущейся над головами старух, густую темную кудерь дуба, синее — без пятнышка — небо.

Родька с любопытством останавливается, переводит глаза с Никиты на его мать и вновь на Никиту.

— Пойдешь? — спрашивает он на деловой лад, точно его попусту задержали.

Лучше бы Никите не приезжать в деревню, так бы и остаться в подвале Якова Моисеевича навсегда. Ведь даже старухи, с гусиными перышками в волосах, счастливее, удачливее Никиты.

— Опять скрыпачить будешь? — спрашивает Родька и, нерешительно подходя поближе, с трудом проглатывая ситник, просит: — Никит, а Никит, покажешь? А то все посуляешь...

Никита взглядывает на мать, потом с радостью хватает Родьку за рукав и тащит его к себе в избу.

Там он торжественно вынимает скрипку из футляра и показывает ее Родьке.

Родька старается держать руки за спиной, посвистывает носом и переминается. Потом косит глазом на Никиту и тихонько трогает руками басок. Никита подвигает скрипку в сторону, чтобы палец Родьки пришелся дальше от подставки. Но Родька понимает это по-своему, прячет руку и садится на лавку.

— Ну-ка,— говорит он, чудно дергая плечом и головою, что, наверно, означает: «сыграй».

Никита выбирает труднейшую пьесу из тех, какие он выучил и какие приводит Берио для первой позиции. Он становится, берет скрипку и смычок, соблюдая все правила и наставления. Он впервые с тех пор, как начал учиться, принимается за игру с гордостью. Во время пауз, старательно, громко отбиваемых носком башмака, он поглядывает в волнении на Родьку.

Родька следит за пальцами Никиты, за смычком, и бойкие глаза его останавливаются, хмурятся, точно он прикидывает, к чему может изгодиться такое дело — скрипка. Потом он в подробностях оглядывает горницу, городские вещи, привезенные теткой Никиты, тихонько встает, топчется около скрипичного футляра, подходит к окну и, минутку посмотрев кругом, высовывается на улицу и что-то воинственно кричит. Затем он наспех говорит Никите:

— Кончишь — айда на дощаники! — и выбегает вон.

Очевидно, что музыка прискучила Родьке, что Никита очень скверно играет, что вообще скрипка — негодное, противное занятие. Наверно, ребятишки собрались на дощаниках удить; может быть, поймали сазана (третьего дня Родька вытащил сазана в че-

тыре фунта), может быть, поживились где-нибудь старым бреднем и теперь пошли на косу бродить.

А Никите нужно играть.

В каникулы положено заниматься по два часа в день. Разве это каникулы?

Для облегчения занятий время игры разбито на четыре получаса. Два получаса перед обедом и два — после.

Подряд тридцать минут Никита тянет смычок, стоя перед пюпитром и выстукивая ногой такт. Иногда он отходит в сторону, долго строит скрипку, быстро поднимает смычок и броским, неслышным толчком подгоняет кудрявую стрелку маленьких стенных часов. После этого он снова добросовестно учит гаммы.

Не потому ли летние дни делались как будто длиннее и случалось, что солнце заходило в полночь?

Да, да, они были длинны, нескончаемо длинны — эти жалкие, безрадостные дни! На медленном, тихом огне жгли Никитино сердце, и он знал, что не успеет окончиться получасовая пытка, как нужно ждать наступления нового, второго получаса, за ним — третьего, четвертого. Он ложился спать с мыслью, что завтра встанет все тем же несчастным Никитой, каким встал сегодня, и что во сне он увидит темный подвал, машину для резания бумаги и веселого переплетчика, который с песенкой засунет под нож, вместо бумаги, Никиту, не умеющего стоять по Берио.

Чье сердце вынесет мрачную казнь медленным, тихим огнем? Кто со слезами и воплем не бросится на колени матери, не будет биться в отчаянии, не простенает спасительного, всеискупляющего, беспамятного слова — «мама»?!

— Мама, мама! Зачем вы меня мучите?!

И какая мать не прижмет к своей груди вздрагивающую, горячую голову ребенка, не погладит его вихры, не заговорит с грустью и участием, не заговорит о том, что в жизни — увы — всегда и все вот так: сначала труд, и потом труд, и в конце, в самом конце — тоже труд, что нужно быть мужественным и сильным, что падать духом нельзя, потому что только сильным дано счастье, и то, что тебе, милый мальчик, кажется сейчас печалью, когда-нибудь непременно станет твоей радостью; какая мать не скажет грустных этих слов, когда на ее коленях в отчаянии будет биться голова ребенка?

Но на десятом году жизни понять ли ласковую настойчивость матери, ее бессмысленную речь, ее сторожкую опасность перед судьбой?

И Никита плакал. Никита давал клятвы, обещал невыполнимое, смешное и дерзкое, грозил, упрекал в жестокости и умолял, умолял о пощаде.

Он добился уступок: мать согласилась написать Василь Леонтьичу, чтобы он разрешил Никите бросить музыку, и своею властью сократила Никитину пытку до одного часа в день.

Письмо догоняло Василь Леонтьича очень долго, перекочевывая из сумок в карманы, из корзин в короба и снова в карманы, пока не настигло Карева где-то между форпостом и Чаганом. Не слезая с дрожек, Василь Леонтьич прочел письмо и тут же, на дрожках, написал ответ. Вероятно, поэтому ответ был кратко-суров и состоял из двух пословиц насчет груздя да насчет гужа.

Папашино решение дошло до сына в тот день, когда Никите радостно объявили, что у него родился новый братец.

Никита встретил оба известия без любопытства. Его двухчасовая пытка возобновилась с переездом в город, он не верил ни во что и никого не любил.

Последние свои слезы он выплакал на коленях матери, в деревне, и вместе со слезами кончилось его детство.

Он исполнился отчаяния, и оно было так велико, что в нем одном находил он какое-то подобие услады.

— Знаешь, что пишет отец? — сказала мать, когда Никиту привели к ее кровати.— Надо учиться.

— Знаю,— ответил он.

— Что же ты не скажешь, рад ли ты своему новому брату?

— Рад,— сказал он.

Потом взял со стола телеграмму и прочел:

«Поздравляю благополучным разрешением нареки Ростиславом...

Отец».

— Какое разрешение? — спросил Никита.

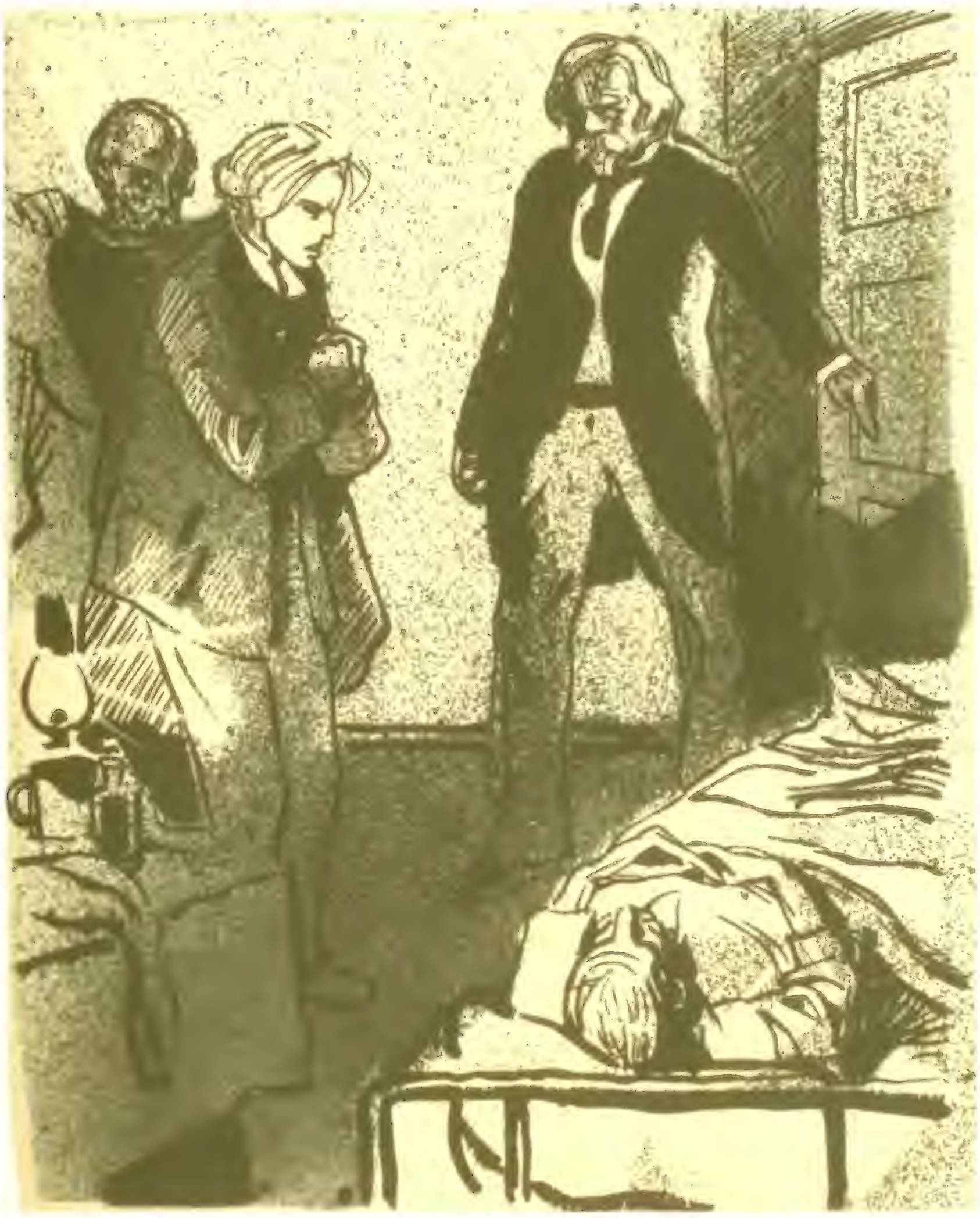
— Это о твоем брате,— сказала мать.— Нравится тебе имя Ростислав?

— Нравится,— ответил Никита.

Он взглянул на мать, и она не узнала его: глаза Никиты были полны тусклой покорности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Переулок звался Смурским и был, правда, буровато-серым, смурым, смурыгим. На углу Староострожной улицы, посреди проезда, торчала водопроводная будка, к ней с утра до сумерек, погромыхивая ведрами, ползли бабы. Отсюда дорога скатывалась к Нижней улице, потом — к оврагам, которые в городе назывались бараками. Дальше шли горы.



«Братья»

У бараков жили по левому порядку угольщики, по правому — шорники. Изредка от бездонной смурской тоски угольщики затевали с шорниками свалку. Старикам доводилось видеть и кулачные бои — стена на стену, но народ мельчал, и к тому времени, когда Никита поселился в переулке, дальше одного-двух сломанных ребер дело почти ни разу не заходило.

Угольщики и шорники в обычное время пользовались тротуарами, не задевая прохожих, по субботам парились в бане — на углу Смурского и Цыганской, в праздники отстаивали раннюю обедню у Петра и Павла, грызли каленые подсолнечные и тыквенные семена,— люди как люди.

По будням, рано утром и к вечеру, Смурский оглашался криками угольщиков, выезжавших в город или возвращавшихся домой на своих кособоких тележках, отороченных рогожами.

— Угле-угле-е! — вопили угольщики на разные лады, зловеще поблескивая белками начерненных глаз и точеными квадратами зубов.

В Смурском звали угольщиков анафемами, они не сердились на эту кличку, и — если принять в расчет, что шорники, по роду занятия, кричали на улице только с перепою и тоже не обижались на свою кличку (их прозвали потниками),— жизнь была очень тиха и нравы мирны.

Но наступило время, когда анафемы и потники показали себя во всей красе, и Смурский переулок на своем опыте убедился в обманчивости человеческой природы.

Никита к этому году вытянулся; долговязую, неуклюжую фигуру его каждый день видал Смурский, и снисходительное превосходство потников и анафем над странной, немного тщедушной осанкой музыканта увеличивалось вместе с торопким ростом Никиты.

Он был, конечно, не наш, не нашенский, не смурыгий, потому что его жизнь шла мимо тыквенных семян, мимо Петра и Павла,— бог знает, где она шла, непонятная, монашеская жизнь, скрипичного футляра и нотных папок. Вряд ли во всем переулке, на Нижних, Цыганских, Староострожных улицах, в бараке и на горах, вряд ли кому-нибудь было дело до того, как живет несуразный подросток — скрипач. И, пожалуй, хорошо, что шорники, угольщики, переулочные старожилы, пареньки и молокососы ничего не знали об этой жизни. Зачем смущать невинные души?

Упорно и сухо Никита одолевал громоздившиеся перед ним трудности. Они возрастали с годами, множились и усложнялись. Он боролся с ними, приучив себя добиваться цели, но ни одно достижение не радовало его. Он знал, что за каждым взятым пре-

пятствием возникает новое и что ступенчатость достижений бесконечна. Он знал это не только по себе. Опыт его учителя, его сверстников, примеры десятков прочитанных книг о музыке и музыкантах — все это было сурово и горько, как хлеб поденщика.

Когда Никита играл на скрипке по четыре часа в день, Яков Моисеевич играл по пяти. Пришла пора увеличить работу ученика до пяти часов, учитель начал работать по шести.

— Зачем вы это делаете? — спросил Никита.

— Чтобы вы не перегнали меня,— засмеялся Яков Моисеевич.

— Я никогда не перегоню вас. Я не буду музыкантом,— упрямо твердил Никита.

— Вы думаете, Яков Гольдман возился бы с вами семь лет, если бы не был в вас уверен? Яков Гольдман? Ого!

Но ученик не верил в себя. Он не верил ни похвалам учителей, ни зависти товарищей, ни наивным восторгам случайных посторонних людей. Убеждение в том, что ему предназначено заниматься бесплодным, чуждым делом, было неколебимо в нем. Иногда ему казалось, что это дело должно погубить его.

Однако он шел к своей гибели, непрестанно совершенствуясь, и если бы Шарль де Берио, воскреснув, попал на Смурский переулок, он убедился бы, что его школа недаром положена в самый низ тяжелой стопы Никитиных нот.

В конце концов только катастрофа могла бы поставить предел разладу Никиты с самим собою, и он ждал ее до мучительного телесного напряжения, до ощутимой, резкой боли...

Осенью Никита готовился к публичному концерту. Он должен был выступать в мендельсоновском квартете. Первую скрипку играл Яков Моисеевич, партии альта и виолончели были в руках учителей музыкальной школы. Никите была поручена вторая скрипка. Лучшие музыканты города признали его достойным партнером.

Он работал. Усталость не покидала его, переходя в изможденние и тоску. Он двигался как лунатик — с легкостью, почти беззвучно переставляя ноги, не в силах освободиться от бредовой тяжести в голове и пугающих, неясных предчувствий. Так, в солнечный прохладный день, возвращаясь с Волги после прогулки, он испытал волнующее предвкушение чего-то непоправимо жестокого и болезненного.

Перебираясь через пыльную дорогу, Никита нечаянно посмотрел в сторону. Длинная улица, примыкавшая к речным взвозам, наполовину была занята тесовым забором, ограждавшим новые постройки. Четыре одинаковых двухэтажных дома достраива-

лись на скорую руку. По крышам домов ползали и бегали кровельщики, плотники размыкали леса, тут и там, стоя на лестницах, доконопачивали стены. В распахнутые ворота заграды видно было, как оборванные женщины, согнувшись, подбирали щепу и чурбаки, как, рассеивая розовую пыль кирпича, возчики проворно накладывали в телеги щебень. Во всем обнаруживалась спешка, люди торопились кончить стройку до осенних дождей, крепкая, увесистая рука подрядчика подгоняла спорую работу.

Дома стояли гладенькие, желтые от янтарной смолы, молодо проступившей на бревнах, и солнце веселило статные, похожие друг на друга, как сестры, постройки.

Никита взглянул на протянувшуюся серую улицу, и в один миг — с невероятной резкостью, почти ослепившей его,— увидел четыре новых дома в огне. Они пылали жаркими, дружными кострами, прикрытые легкой шапкой дыма.

Никита закрыл глаза. Багровые кольца расплылись перед ним в тумане. Он боязливо глянул на постройки и быстро пошел своей дорогой. Но он отчетливо расслышал внутри себя убежденный голос:

— Сгорят.

Он прошел больше половины пути и успел отделаться от навязчивого представления пылающих домов. Но, дойдя до базара, он расслышал захлебывавшийся звон набата и остановился.

Из-за угла, со двора полицейского участка, выкатывались яркие, сиявшие упряжью и снарядами пожарные телеги. Они громоздко повернули за угол и ринулись вниз по улице, туда, откуда шел Никита.

У него перехватило дыхание, и секунду он не мог двинуться. Потом он оторвался от земли и, подгоняемый тревожным стоном набата, побежал. Он вскочил в вагон конки и высунулся в окно, глядя вслед уносившемуся пожарному обозу, который мчался *туда*.

Никита несколько раз подходил к двери вагона, конка, казалось ему, тащилась по-черепашьи. За квартал до *того* места он выпрыгнул из вагона и опять побежал. На него никто не обратил внимания, потому что кругом было суетливей обычного.

На *том* месте, именно на *том* месте, откуда Никита смотрел на постройки полчаса назад, толпился народ. Никита протискался через толпу и взглянул на угол.

Он увидел четыре дома в огне. Они пылали жаркими дружными кострами, прикрытые легкой желтой шапкой дыма.

Никита не сомневался, что загорелись новые дома. Его тянуло убедиться в этом, ему нужно было видеть, так ли они горят, как представилось его воображению.

Он насилу выбрался из людской давки, напутствуемый пинками и руганью ротозеев, которым помешал спокойно любоваться пожаром.

Гнетущее чувство охватило его, точно все вокруг пылало огнем и он — Никита — был виновен в этом, он — Никита — поджег четыре новых недостроенных дома. У него подкашивались ноги, он плохо помнил, как дождался конки, как потом дошел домой. Он чувствовал такую слабость, что не мог работать; он был болен.

День спустя его заставили пойти к врачу. Врач выслушал его сердце, велел несколько раз кряду присесть на корточки и подняться, снова послушал сердце, усадил Никиту, постучал по его коленкам, спросил, сколько Никите лет, чем он занимается, и, подумав, объявил:

— Вы здоровы. Маленькое переутомление, усталость, это пройдет. Полезно изредка заниматься каким-нибудь физическим трудом: столярничать, колоть дрова.

Он опять подумал, написал рецептик и сказал:

— Ничего...

Но беспокойство Никиты росло вместе с уверенностью, что предчувствие не обманывает его, что нечто жестокое, неминуемое должно сбыться.

И — странно — оно сбылось.

Катастрофа пришла оттуда, откуда Никита не ждал ее, не мог ждать, потому что связь его со всем тем, что лежало дальше скрипки, была ничтожна. Он часто думал о том, что находилось за пределами его мирка, но его мысли постоянно затемнялись сознанием несправедливости, которую над ним совершили. Он понимал, что скрипка, наполнявшая всю его жизнь, была мельчайшей пылинкой в мире, в том самом Смурском переулке, по которому он раз в день проходил, в смурыгом мире потников и анафем. Он не был виноват в своем рождении, в своем пребывании на путаном просторе земли. Но в тот момент, когда он начинал приглядываться к этому простору, ему дали в руки пылинку и принудили ограничить ею весь мир. Разве это справедливо? Все его существо вращалось в одной пылинке, и он настолько привык к этому, что ожидаемую катастрофу представлял себе не иначе, как катастрофу внутри пылинки. И если бы он мог оторваться, чтобы извысока поглядеть хотя бы только на Смурский переулок, он понял бы, что его предчувствия были связаны все с тою же пылинкой, с Никитиным мельчайшим мирком, а не с миром. Но он без раздумий отнес предчувствия к тому, что внезапно раскрылось перед ним.

Это были ночи, когда город не спал. По комнатам ходили люди, закутанные в шубы, платки, шинели. Не снимая неуклюжей

одежды, варили на керосинках ужины, ели стоя, наспех. Почему-то нигде не ставили самоваров, не топили печей. Было похоже, что город тронулся в путь. Улицы пустовали, никто никуда не выходил. Ворота, ставни, калитки, двери — все было на замках.

И едва наступала осенняя темнота, город начинал стонать.

Он стонал протяжно, как волчья стая в мартовскую оттепель, стон подмывал дома, катился по крышам, стон слышен был везде: в подвалах, на чердаках и погребицах, в глухих толстостенных комнатах, в кладовушках и чуланах. Стон отдавался в печах, от него позвякивали стекла, он был повсюду.

Волчьи стаи рыскали по омертвелым площадям, закоулкам, на горах, в бараках, ища поживы, разнося по ветру дикий вой, переливавшийся в стоны. И молча перекликались над городом дрожавшие зарева.

Началось с синагоги. Она горела сутки, и целую ночь Никита, сидя в кухне с потушенной лампой и занавешенными окнами, слушал, как грузно ступали по переулку люди, волоча вниз, к бараку, тяжелые, неудобные для переноски вещи. Иногда люди останавливались под окном передохнуть. Их голоса были низки, они перекликались, потом, кряхтя, поднимали кладь и уходили. Спустя недолгое время они бежали налегке обратно, весело покрикивая и треща палками по частоколу палисадника.

Никита выходил в сени. Двор был нежно-розов от недалекого зарева, и погребицы, сушила, надворные флигеля гибко гнулись в колебании отсветов.

Никита не ложился спать. Он был наготове в эту ночь, как все в городе: он не снимал пальто, ему было зябко, и он не мог согреться, он ничего не ел и не испытывал голода.

Так встретил он утро.

Оно занялось чахло и бледно, обескровленным поздним рассветом. Не находя себе места, Никита вышел в коридор верхнего этажа, откуда виден был угол Смурского переулка и Нижней улицы. Стояла робкая тишина, ни одной души не показывалось из домов, все стыло в неподвижности, и если бы воробей запрыгал на кочках дороги, он тотчас привлек бы на себя взгляд.

Эту неподвижность нарушила калитка углового домика Нижней улицы. Она медленно открылась и выпустила со двора коренастого человека, измазанного мукой. На Нижней, чуть подальше Смурского, торговал мучной лабаз, и приземистого, коренастого человека Никите доводилось встречать.

Мучник вылез на улицу спросонья, снял фуражку, погладил черную голову, заложил руки за спину и прислонился к низенькой верее ворот. Вероятно, он проснулся раньше, чем было нужно, и у него нашлось время до работы поскучать на улице.

Вдруг он повернул голову в сторону, насторожился и подался вперед.

В тот же миг до Никиты долетел отдаленный, раскатистый гул, мерно усиливавшийся и постепенно переходивший в знакомый по истекшей ночи протяжный стон.

Мучник пристально всматривался в даль Нижней улицы, потом живо, неожиданно вертко для коренастой своей тяжелой осанки, юркнул в калитку и притворил ее за собой.

Стон подкатывался ближе, как будто к нему присоединялись новые и новые дома, и вдруг весь Смурский взвыл истошным звериным воем.

На пустынной Нижней улице показался человек. Он бежал посередине дороги, в расстегнутом пальто, без шапки, сильно размахивая руками. Лицо его было похоже на кружок белой бумаги.

Когда он поравнялся с воротами углового дома, калитка распахнулась и из нее выскочил мучник. Он кинулся наперерез бежавшему человеку, припав к земле, чтобы делать пошире шаг, потом дал скачок и раскорякой прыгнул человеку под ноги.

Человек упал на дороге плашмя, крестом раскинув руки, но мгновенно вскочил и бросился снова бежать.

Мучник тотчас настиг его и сразу обеими руками ткнул в спину.

Человек сел на колени, как поскользнувшаяся лошадь, не подымаясь, быстро обернулся лицом к мучнику и пополз к нему на коленях, тряся и протягивая перед собою сложенные руки.

Мучник расставил широко ноги, подбоченился и мотнул головою.

Тогда человек на коленях стал креститься. Он делал это со страшной быстротой, как будто жизнь его зависела от числа положенных крестов. Но кресты клал он странно, кидая руку с левого плеча на правое, так что казалось, будто крестится левша.

Все это отняло очень короткое время, почти мгновенье, и человек крестился еще, и тянулся дрожавшей левой рукою к груди мучника, и подползал ближе к нему на коленях, когда на Нижней улице появился длиннорукий детина и, подбежав к молившемуся человеку, ударил его в лицо.

Он упал, и ему не дали больше подняться.

Один за другим высыпали на улицу какие-то чуйки, поддевки и полушубки, и вдруг орава рвани, голытьбы, золоторотцев привалила с Нижней и обрушилась на то место, где перед мучником крестился человек. И ничего, кроме дубья, кулаков, растопыренных пальцев и трепаных шапок, не стало видно.

Смурский стонал, ревел во всю глотку, и анафемы, потники, на ходу напяливая чуйки, подымая с дороги булыжники, бежали по Смурскому, от барака к Нижней, чтобы поспеть взять свою долю.

Не помня себя, Никита слетел вниз по лестнице на двор и бросился к калитке. Но тут его задержали.

У калитки, припертой засовом, кучились квартиранты. Посреди них стоял слесарь — жилец надворного флигеля,— скрестив руки, с силой прижимая что-то к груди. На локтях у него висела и билась его жена — маленькая белобрысая женщина. Все тормошили слесаря, уговаривали его и — вместе с женщиной — старались разнять его руки.

Никиту поразила прежде всего жена слесаря. Он привык видеть ее на дворе, она была бойка и норовиста, крикливо верховодила мужем, а он — громадный, нескладно-сильный — всегда подчинялся ей, и двор подтрунивал над ним.

Теперь происходило невиданное: женщина захлебывалась слезами, рвалась, как птица в тенетах, вне себя, беспамятно твердила шепотом:

— Петя, Петенька! Христа ради, Христа ради!

А муж стоял каменный, потемневший, и только челюсти его двигались, точно он разжевывал сухую корку хлеба.

— Петенька, Петя! Христом-богом!

Он вырвался наконец из рук жены, шагнул к калитке, но ее заслонила кучка людей, в ужасе сдавленно хрипевших на слесаря:

— Петра, оставь! Сожгут, убьют! Петра, с ума сошел! Христос с тобой!

— Петенька, Петя!

Его оттеснили от калитки. Тогда Никита увидел, что́ прижимал к груди слесарь: Петр рознял руки и сунул в карман большой матово-черный револьвер. Потом он сжал кулаками свою голову и, как пьяный, покачиваясь, тяжко поднимая обутые в валенки ноги, пошел через двор к себе во флигель.

Жена его опустилась на крылечко и, размазывая белобрысыми косицами слезы по щекам, начала тихо смеяться. Кто-то вынес ей ковшик воды. Она отхлебнула глоток, неловко сползла с крылечка на колени и принялась кланяться соседям в ноги. Ее увели в горницу.

К калитке нельзя было подступиться: засов стерегли, нечего было думать выйти за ворота.

Никита побежал наверх, в коридор.

Стон на улице оборвался. Никита увидал, как чуйки, пиджаки, поддевки воровски разбегались по Смурскому и Нижней, и в

минуту на углу никого не осталось, ворота, калитки захлопнулись, все опустело и притихло.

И только против углового домишка, рядом со столбиком, обозначавшим границу между мостовой и тротуаром, на серой подстилке пыли неподвижно лежала пятнисто-черная колода, и темные разводы пятен ползли от нее по сторонам, переходя в рябые следы человеческих ног.

Сколько времени прошло с тех пор, как Никита разглядел на дороге неподвижную колоду? Он смотрел на нее не дыша, ему чудилось, что она шевелится, он прищуривался, вновь смотрел. Колода не двигалась, и по-прежнему было тихо и пусто.

Но вот открылась калитка, за которой прятался мучник, и со двора вылезла старуха. Вразвалочку она подошла к колоде, нагнулась над ней и потрясла головой. Затем, не торопясь, она ушла назад, во двор, не затворив калитки. Это была единственная калитка, стоявшая настежь, в трех кварталах, которые были видны Никите.

Спустя минуту старуха снова показалась. Она несла ведро воды, по-бабьи перекосившись набок и размахивая приподнятой пустой рукою.

Подойдя к колоде, она принялась потихоньку поливать ее водой. Чернота скатывалась с колоды, она начинала поблескивать и медленно окрашиваться в чистый, киноварно-красный цвет. И вместе с тем колода странно изменялась в форме, принимая очертания человека, лежащего ничком: появились протянутые вдоль туловища руки, оттопырились над землею пятки, округлился затылок.

И вдруг вся киноварно-красная масса исподволь зашевелилась. стала приподниматься.

Это был человек.

Его успели, избивая, раздеть и разуть, белье пропиталось на нем кровью, прилипло к нему, разжиженная водою кровь стала яркой, и — облитый ею с головы до ног — человек шатался теперь на зыбких, тонких ногах, словно раздумывая, упасть ли ему снова или идти.

Он пошел. Старуха подставила ему плечо, он обнял ее. Может быть, это была мать мучника?

Киноварно-красный человек шел посередине Смурского переулка, вверх, к Староострожной, к будке, к воде, шел маленькими шажками, странно перегибаясь, точно мешок, туго набитый тряпьем. На дорожной пыли позади него оставались черные следы.

Народ, прятавшийся по углам, когда человека избивали, высыпал на улицу...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вот что стало известно об избитом человеке после того, как его отлили водою около будки и увезли в больницу.

Он ехал на извозчике. У базара его окружила толпа. Надо было остановиться, но он испугался и велел извозчику гнать лошадь. Толпа бросилась за ним, и, еще больше испугавшись, он выстрелил в воздух из револьвера. Тогда извозчик столкнул его с пролетки. Человек проложил себе сквозь толпу дорогу револьвером и побежал. Он пробежал шесть кварталов и расстрелял весь барабан.

Остальное Никита знал.

Впрочем, он не знал, что избитый человек был поляком и потому крестился не так, как хотелось мучнику.

Но разве все это важно?

Наступила и прошла новая ночь, в протяжном стоне города, в трепыхании огненных зарниц.

Сонливость иногда преодолевала страх и беспокойство. Никита впадал в глухое забытье, но тотчас вздрагивал, прислушивался к рокоту гулов за окном, плотнее кутался в пальто и окликал свою тетку.

— Нет, нет, не сплю,— говорила тетка, и — в сумраке — он различал, как, встрепенувшись, она зябко поправляла на себе черную шаль.

Не стало никакой грани между сном и явью, и, точно наяву, крестился со страшной быстротой и полз на коленях человек, и во сне шел он — ярко-красный — посреди дороги, шатаясь и оставляя позади себя черные следы.

— Ты спишь?

— Нет, нет, не сплю...

Утром Никиту позвали в кухню, в нижний этаж.

Когда он проходил к сеням, из-за печки (это был самый черный угол кухни, куда не проникал свет даже в летний полдень) раздался приглушенный зов:

— Никита!

Он остановился. Сердце его сжалось до боли, потом сильно и громко забило в грудь.

— Кто это? — спросил он чуть внятно.

— Я.

— Кто? Я не вижу.

— Я, Никита, я!

— Яков Моисеевич? — вскрикнул Никита.

Он шагнул в темноту и тихонько вывел своего учителя на свет.

— Как же вы? — спросил он шепотом, словно испугавшись нечаянного своего крика.

— Вот так,— тихо отозвался Яков Моисеевич и повел рукою сверху вниз, как будто предлагая посмотреть на себя.

На нем были высокие болотные сапоги, широкоплечая, упругая, как кошма, коротайка, бараньья шапка с наушниками. Пенсне по-прежнему дрожало на горбинке носа.

— Могут узнать,— сказал Никита, ощупывая шершавый ворс коротайки.

— Меня никто не видал. Я был тут недалеко, прятался. Но там опасно.

— У нас лучше,— сказал Никита, бодрясь.

Он помолчал, внимательно осмотрелся и потер руки: ему стало холодно, как ночью.

— Я совсем не играю... эти дни,— растерянно пробормотал он.

Яков Моисеевич не ответил.

— Здесь, пожалуй... ничего,— быстро прошептал Никита, кивнув за печку.

Потом добавил:

— Тетка будет молчать.

Он ткнулся губами в ухо Якова Моисеевича и спросил:

— А кухарка видала?

— Нет, не видала.

В заднем окне кухни мелькнула юркая тень. Никита оттащил учителя в темноту и побежал к двери. Она уже рокотала и звенела щеколдой.

Никита отпер дверь.

Белобрысая жена слесаря, не успев раскрыть рта, кинулась прочь от двери и, оборачивая на бегу простоволосую крошечную головку, забросала в Никиту бестолковыми словами:

— Выносите иконы!.. Идут сюда!.. За ворота!.. Ступайте все... На окна поставьте иконы-то, на окна!.. Придут — поздно!

У своего флигелька женщина обернулась еще раз и, несуразно взмахнув руками, крикнула через двор:

— Да чтобы занавесок не было, отдерните занавески. Идут!..

По крышам, взмывая и падая, уже надвигался раскатистый волчий вой.

Никита вбежал в кухню. Его тетка, забравшись на табурет, снимала со шпигиря киот.

— Скорей, скорей! — крикнул он.— Ступай наверх, неси оттуда, я сниму здесь!

Он вспрыгнул на другую табуретку, распахнул киот и вырвал из него икону в блестевшей серебром фольговой ризе.

Маленькие раззолоченные бумажные иконки, приклеенные к киоту кухаркой, посыпались на пол.

Никита действовал точно, рассчитанно и шустро.

Отдернув занавеску, он прислонил икону к стеклу, ризой на улицу.

Под лестницей, ведшей в комнаты второго этажа, находилась кладовочка, где берегли припасы. Никита распахнул низенькую дверцу кладовки, ощупал и расшвырял снизки луку, банки, кульки и шмыгнул за печку.

— Яков Моисеевич,— прошептал он,— пойдемте.

Он подцепил учителя за полу коротайки, быстро протащил его узкой полоской света, падавшей из окна, и, силой нагнув голову в бараньей шапке, втолкал Якова Моисеевича в кладовку. Затем он прикрыл его шелестящими снизками лука.

— Здесь лучше... Я скажу... когда.

Он закрыл дверцу на вертушку.

Тетка принесла сверху две иконы. Он взял у нее одну, тогда другою тетка благословила Никиту и поднесла холодную ризу к его губам. Он наскоро чмокнул колючий венчик и пошел.

У ворот, на улице, плотной кучкой жались квартиранты. Чинно, как перед крестным ходом, они держали в руках закоптелые бедненькие иконы и чутко прислушивались к вою, доносившемуся из-за угла.

Нижняя уже неистовствовала, ревела, громыхала. Хряский треск раскалывал вой, и в воздухе тянуло паленым волосом.

— Кто это? Где? — спрашивал Никита.

Ему объясняли, твердили одно и то же по нескольку раз, но он ничего не понимал и снова спрашивал: чей дом, кто там живет, подожгли уже или еще нет?

Ему необходимо было говорить.

С Нижней вылетела шайка расторопных парень ков в заломленных на затылки фуражках, с дубинками и гвоздырями в руках. По-хозяйски заглядывая в окна домов, они расталкивали людей с иконами, заходили во дворы. Осмотрев флигеля, они шли дальше по переулку на Староострожную.

Один из парень ков отстал, пошел ленивой раскачкой, покручивая в воздухе ременным кистенищем с навязнем. Может быть, парень ку наскучила разведка, и со скуки он прилипнул к кухонному окну Никитиного дома. Он стоял долго, недвижно, тупо вглядываясь в окно — в то самое окно, свет которого падал полосой между кладовушкой и русской печью.

Прислонившись к воротам и сдавив пальцами икону, Никита ждал: сейчас, вот сейчас должно начаться.

И правда.

Крича, потрясая дубьем, разведчики затопали назад, вниз по переулку. Паренек оторвался от окна и кинулся догонять приятелей.

Вой и треск за углом надломились, точно припав к земле, потом со страшной, отвратительной хрипотой сотни голосов переплелись в какой-то рык, и удушающий стон ворвался в переулок.

Лавина громил вымахнула из-за угла и понеслась к Староострожной, заливая тротуары, дорогу, сваливая наземь людей с иконами.

Мимо Никиты мелькали десятки лиц. Они чудились ему знакомыми, не раз встречавшимися, он даже отчетливо различил белую покатую спину коренастого мучника, расслышал мерзкое слово, слетевшее перед его лицом с мясистых красных губ.

— Скрипач,— протянул кто-то со смехом.

Кажется, это было сказано о Никите.

До сознания его ничего не доходило. Он не сомневался, что лавина катится к кухонному окну, к полосе света, падавшей из окна на пол, между печкой и низенькой дверцей, запертой на вертушку, к этой дверце, к шелестящим снизкам луку.

Многолапые, опьяненные, изрыгавшие волчьи стоны, перекошенные коряками, смурские, смурыгие человекоподобные потники и анафемы неслись в кладовушку под лестницу, чтобы урвать свою долю на скрипаче, на музыканте, на учителе Якове Гольдмане.

Музыкант, скрипач, учитель Яков Гольдман будет ползать на коленях перед коренастым мучником, сложив руки, потеряв пенсне, подслеповато щурясь на людей, а мучник станет фертом над Яковом Гольдманом и потребует, чтобы он перекрестился.

— Не смейте! — крикнул Никита и выронил икону.

Но вдруг наступила тишина, и лавина, смешавшись, дрогнув, обернулась назад и повалила вниз по переулку. Люди бежали в молчании, деловито выбирая дорогу, глядя под ноги, на серые мерзлые кочки грязи и выбитые колесами колеи. Быстрота и неожиданность безмолвного бегства были необъяснимо страшны.

Никита успел разглядеть одно: пареньки-разведчики, которые выступали перед толпой, двигавшейся вверх, оказались впереди всех и теперь, когда народ побежал назад, к бараку.

Страх гнал людей с такой силой, что спустя мгновенье переулок опустел.

Но тот же страх внезапно захватил в свои пригоршни людей, стоявших с иконами у ворот, и — сплюснутыми табунами — кинул их в калитки.

Неужели на свете существовало что-нибудь более ужасное, чем осатанелая, воющая, смурыгая толпа с кистенями, дубьем и разжигой, намоченной в керосине?

Было так тихо, как в то утро, когда Никита стоял в коридоре, и так же наглухо закрыты были ворота и калитки. Что могла предвещать сейчас тишина?

Войдя в кухню, чуть приоткрыв дверь, Никита взглянул на свет: за окном было пустынно. Он подкрался к дверце кладовки и, не отрывая глаз от окна, пощупал вертушку. Она была завернута натуго. Он быстро, прерывисто вздохнул и опять услышал свое сердце.

В тот же момент на улице беззвучно показалась горстка людей. Никита отскочил от кладовки и присел на пол, у подоконника. Потом он осторожно, одним глазом, выглянул из-за косяка в окно.

Людей было немного — человек восемь,— и они были необычны для Смурского переулка. Почти все они были одеты одинаково скучно, точно экипированы каким-то бедным интендантством,— в черных куртках или в прямых длинных пальто, в сапогах с короткими голенищами. На одном из них была фуражка с белым кантом, как у пароходной команды.

Движения этих людей были очень скупы, бережливы и неспешны. Они растянулись редкой цепью поперек дороги, обернувшись лицом к бараку. На тротуаре, вполоборота к окну, заслонив от Никиты свет, стал высокий рыжеволосый человек. Он держал револьвер, повертывая барабан и вкладывая в него патроны. Окончив зарядку и сунув лишние патроны в карман, он громко, раздельно сказал:

— Бей в упор! — и поднял руку.

Тогда оконные рамы, лампа на стене, раскрытый киот в переднем углу, ухваты под печкой звонко задребезжали, и разорванные, краткие стуки недружно процокали по крышам и потолкам.

Люди стреляли вдоль Смурского, к бараку, стреляли в потников, в анафем.

Радость торкнулась в Никитино сердце. Он подпрыгнул и выпрямился. Рыжеволосого человека с револьвером и патронами отделяло от него только оконное стекло.

Никита тихо, осторожно раскрыл форточку, словно боясь помешать человеку в его важном деле.

За палисадником первой в цепи виднелась фуражка с белым кантом. Она сидела как влитая на круглой большой голове. Никита пристально вгляделся в голову и, вздрогнув, высунувшись наружу, обрадованно закричал:

— Родька, Родион!

Рыжеволосый человек быстро обернулся, подозрительно скользнул по Никите синим глазом и нехотя позвал:

— Родион, тебя, что ли?

Да, да, это был Родион, лоцманский сынишка Родька, с которым Никита дружил в деревне — скатывался по гальке с обрыва в овраг, пропадал на дощаниках и лодках,— тот самый Родька. Года два назад Никита встретился с ним на бульваре, и они посидели под липкой, не зная, о чем говорить. Родион работал на перевозе матросом. «Юнгой?» — спросил тогда Никита. «Это что? У нас такого нет!» — ответил Родион, и Никита почувствовал смертельную неловкость и зависть к своему товарищу. За два года Родион поздоровел, стал кряжистым, мужиковатым, и только лицо его осталось прежним — с глубоко врезанными углами губ, придававшими ему выражение обиды.

Он валко подошел к окну и заглянул в форточку.

— Здравствуй, Родион,— задыхаясь, сказал Никита.

— А, это вы? — произнес Родион, пряча одну руку поглубже за борт куртки.

Никита не заметил этого неожиданного «вы»; он понимал, что отрывает Родиона от дела, но не мог сдержать радости.

— Ловко вы их,— одобрил он и коротко тряхнул головой в сторону барака. Ему было очень тесно в форточке, он почти висел на локтях.

Родион с достоинством помолчал.

— А вы что же тут? — спросил он недоверчиво.

— Я здесь живу, с теткой. Хотите — приходите ко мне.

Никита немного смешался, как будто новое «вы», которое сорвалось у него, должно было бросить тень на весь разговор.

— Там есть один,— заторопился он,— низенький, мучник, весь белый. Он вчера убил поляка, знаешь? Он тут с ними. Вот бы его как следует...

Родион согласно кивнул и, жестко глядя вдаль, на судовской лад, вымеривая глазом расстояние, отделявшее его от барака, сказал:

— Мы их...

Ему не дали кончить.

Пронзительный женский голос неожиданно вспорол тишину. Это был отчаянный, раздирающий вой.

Никита вытащил голову из фортки и подбежал к другому окну.

Слесарь Петр волочил по тротуару цеплявшуюся за полу его куртки маленькую простоволосую свою жену. Она упиралась коленками, путаясь в разорванном подоле юбки, хватаясь крючко-

ватой, сведенной судорогой рукою за ноги мужа. Пальцы другой ее руки намертво сжимали полу куртки. Сквозь белые космы волос стеклянно проглядывали вытаращенные бесцветные глаза. Крик ее был неистов.

Слесарь ступал тяжело, с усилием отдирая от земли ноги, наклонившись всем телом вперед. Но в лице его было что-то неколебимо упрямое, как будто он решил непременно выволочить свой груз и будто грузом этим было безжизненное, неподатливое бревно.

К нему подошел рыжеволосый человек.

Петр приостановился, с натугой выговорил несколько слов. Человек подумал и обрывисто утвердительно мотнул головой.

Тогда Петр круто обернулся к жене, коротким, злым рывком выдернул из ее рук полу куртки и, как ребенка, схватив женщину под мышки, поставил на ноги.

— Молчать... баба! — рявкнул он, прислонил качавшуюся жену к изгороди палисадника и пошел на дорогу.

Женщина перестала кричать. Притихшая, она глядела сквозь космы волос вслед своему мужу, потом откинула волосы с лица на голову, по-бабьи привычно заложила косицы за уши и, нагнувшись, примерила к себе болтавшийся под коленами широкий клок подола.

Кучка одинаково одетых людей молчаливо сгрудилась посередине дороги. Рыжеволосый, внушительно поводя рукою над картузами и шапками, говорил. Кучка встряхнулась, рассыпалась, люди по сговору зашагали вперед, и было так, точно в обед открылись ворота маслобойки или махорочной фабрики, и мастеровые поспешно разбегаются по домам.

Родион не оглянулся. Слесарь Петр — на голову выше всех, но странно схожий со всеми,— нескладно передергивая огромные углы своих плеч, ушел с людьми, необычными для Смурского переулка.

Безлюдное спокойствие опять простерлось над улицами, стайка воробьев упала с крыши на палисадник, птицы расселись рядком на остриях тесовой городьбы, почирикали, повертелись и, припав к дороге, как ласточки — к воде, юрко исчезли с глаз Никиты.

Он стоял около открытой фортки, ему приятно было ощущать осенний ток холода, тишина казалась благостной, надежной и легкой, и впервые за эти дни на Никиту дохнула сладкая усталость. Он позевнул, не спеша прикрыл фортку и еще постоял у окна.

Нет, в мире должна была существовать справедливость! Всегда, повсюду, в какой-то последний час, в последнюю минутку она являлась, чтобы вдохнуть искупляющий покой усталости, являясь

неожиданно, вот как теперь явились люди с бережливыми, скупыми движениями, как явился Родион, как явится где-нибудь нескладно-сильный, громадный и упрямый Петр.

Никита подошел к чуланчику и без оглядки распахнул дверцу.

— Яков Моисеевич!

Он прислушался к безмолвию и позвал громче:

— Яков Моисеевич!

Ему опять ответило молчание. Он расшвырял шелестевшие сухие снизки луковиц и нащупал грубый, колкий ворс коротайки.

— Яков Моисеевич!

И тогда, за шорохом и потрескиванием луковичной шелухи, он уловил сбивчивый, спотыкавшийся шепот:

— Но я же вам... все время... отвечаю!

— Можно! — закричал Никита.— Вылезайте, пойдем наверх.

Он вытянул учителя на свет.

Яков Моисеевич, точно придя с мороза, снял пенсне и тщательно протер стекла. Увидев незанавешенное окно, он схватил Никиту за руку и потащил его наверх. Там, в полутемной комнате, выходившей окнами в коридор, Яков Моисеевич сел и, облокотившись на стол, закрыл ладонями лицо.

Он молчал.

Никитина тетка, подойдя к нему, боязливо дотронулась до его головы и провела ото лба к затылку по волосам. Из-под ее руки посыпались вперемешку то иссиня-черные, то белые, как глазурь фарфора, кольца упругой, странно новой и старой в то же время гольдмановской гривы.

— Господи, господи,— сказала тетка.

Яков Моисеевич открыл лицо, виноватая улыбка застенчиво дрогнула на его впалых щеках, он опять уткнулся в ладони.

— Господи,— повторила тетка.

Так провели они день и ночь, так до поры жил у Никиты его учитель — скрипач, музыкант Яков Гольдман...

Но не выдумка ли все это? Не бредовая ли болезнь — эти рыскающие по городу вымазанные кровью волчьи стаи, этот протяжный нечеловеческий стон, эти улицы, безлюдные, как кладбища, дрожащие зарева, треск досок, оконных рам, дверных засовов?

Стоит только взглянуть на любой перекресток больших улиц — как благоустроено здесь человечество, как статны подбитые ватином шинели приставов, какое небесное сияние излучают медали постовых, как зорко стережется благополучие пикетами прославленной пехоты, разъездами казаков, позициями артиллеристов!

На площадях расставлены целомудренные пулеметы, вместительные дворы казенных зданий дружелюбно приютили спешив-

шихся уральцев и астраханцев, малиновые разводы галунов, околышей и лампасов восхитительно сочетались с яично-желтыми кантами, оторочками, погонами, и все это блестит, блистает, блещет, все это умиленно верует в неискоренимость благонравия, все это безоблачно, солнечно уповает на высокую идею справедливости и божественный порядок.

Что может быть трогательнее такого братского, душеспасительного восторга, когда сам господин начальник губернии, в положенной четвертому классу треуголке, не щадя своего высокопревосходительного здоровья, сопутствуемый коляской, проходит из конца в конец улицы и, встречая благовоспитанное население вверенной ему губернии, ласково спрашивает:

— Как вы находите меры, принятые властью для ограждения безопасности?

Или:

— Полагаете ли вы достаточными меры, принятые властью для охраны порядка?

Или даже так:

— Не могли ли бы вы порекомендовать власти дополнительные меры, направленные к обеспечению спокойствия?

Вовсе не нужно иметь чувствительное сердце, чтобы умилиться при виде столь явственного единодушия всех слоев населения. Слезы проступают сами собою даже на глазах черствого худодума, ибо воочию праведен и добродетелен человек, ибо посрамлено неверие, уничтожен разврат и благонравие водворилось в мире.

Стряхивает мизинцем хрустальную слезу губернский прокурор, и пухлой ароматной ладошкой утирает щеку преосвященный епископ, и, прихлебывая изюмный квас, плачет навзрыд казачий есаул.

Нельзя не плакать, нельзя не рыдать: пресечено преступление, утверждается братство, властвует порядок.

Благородные институтки возлагают веночек на статую Фемиды в актовом зале, протопресвитеры объясняют прихожанам шестую заповедь, и город беспрепятственно дышит полной грудью. Уральцы, астраханцы, пикеты, разъезды, посты и отряды несут радостно свой блистательный, блестящий, блещущий долг. Население отправляет гражданские обязанности без различия вероисповеданий — без малейшего различия вероисповеданий,— каждый прописанный в домовых книгах человек трудится сообразно с отмеченной в паспорте профессией. Переплетчик может делать книжные корешки с отступом и разглаживать наклеенный форзац, молодой филер может спокойно мерзнуть в каком-нибудь неблагонадежном тупике подле маслобоек или махорочных фабрик, музыканту, скрипачу Якову Гольдману ничто не мешает, зажав

потертый футляр под мышкой, бежать через весь город на репетицию мендельсоновского квартета.

В городе господствует порядок...

Староострожные, Нижние, Смурские улицы и переулки, бараки, горы, золотые роты! Не во сне ли взъярились вы, позабыв про тыквенные семечки, про Петра и Павла? Не с похмелья ли причудилось вам, будто нет на вас ни управы, ни острастки, ни судьи, ни закона? Куда подевались палицы, гвоздыри да дубины? Не злой ли навет пустила на вас людская молва?

Может быть, не ваши спины гнулись под чужим добром, не ваши подошвы разносили по дорогам липкую кровь, не ваши руки, обхватив тараны, ссаживали с петель ворота и двери?

Иначе зачем же было пожаловать на Смурский переулок если не самому начальнику губернии, то господину полицмейстеру и ласково обратиться к вам — к плотникам, анафемам, к смурыгому приходу Петра и Павла,— ласково обратиться от имени его высокопревосходительства:

— Его высокопревосходительство приказал мне лично заявить населению, что властью приняты все меры для ограждения порядка. Необходимо соблюдать решительное спокойствие...

Но в чинном, благоустроенном городе все еще попахивает гарью, упрямо вздымаются к небу печные трубы пожарищ, свисают из разбитых окон этажей застрявшие кровати и шкафы, хрустит под ногами истолченное в крупу стекло.

И чему же было верить — блистающим галунам, нашивкам, околышкам, смиренной беседе о шестой заповеди или головешкам, стеклу, гари, придорожным тумбам, обрызганным человеческим мозгом?

Катастрофа пришла. Она должна была завершиться так же, как завершилось пьяное неистовство толпы у дома Никиты: возмездием. Возмездие — вот оправдание, цель и смысл катастрофы.

Но Никита напрасно ожидал возмездия.

Настала вкрадчивая, обманная тишина. Благополучие становилось гнетущим, оно удушало больше, чем призраки убийц, чем мрачные стоны сновидений. Люди соблюдали спокойствие боязливо и покорно, как обитатели больниц, и образцово смирной, послушной сделалась жена слесаря Петра, который не вернулся домой.

Из крошечного душного мирка Никиту выбросила на простор жестокая, неумолимая сила, и духота простора сдавила его нещадной горечью. И тут, как внутри пылинки, тут, в этом путаном просторе мира, кружились бесплодные кольца Никитиной дороги, и тут продолжалось для Никиты отрешенное хождение по аду.

Тогда он, сжав сердце, вернулся в свой мирок...

Для скрипача техника правой руки имеет решающее значение. Можно достичь громадной быстроты, эластичности пальцев левой кисти, можно приноднить скрипичный гриф к пальцам, привить его, как прививают хорошую породу к дикой яблоне, можно чувствовать гриф, не держа в руке инструмент, как чувствует калека боль и ломоту в отрезанной ступне,— все это можно. Блестящие игроки, великолепные виртуозы знают такое чувство грифа. Но этого чувства мало для скрипача. Игрок, виртуоз, мастер становится скрипачом лишь тогда, когда он овладевает смычком. Потому что смычок — не мастерство, не виртуозность.

Потому что смычок — музыка.

Смычковая техника, если о ней рассказывать, непобедимо скучна. Это — теория. Но, примененная на опыте, она становится зловещей. Ее можно преодолеть, ее преодолевают тысячи, десятки тысяч скрипачей мира. Но от этого они не становятся музыкантами.

Чуть выгнутый лучок, скрепленный ровной лентой подобранных нитей волоса, заостренный угольником есика, всем ничтожным весом своим сосредоточенный в нижней колодке,— незамысловатое изобретение пращуров, оно затаило в себе сверхъестественную мощь. Хрупкий, почти невесомый, смычок может быть грузным и тяжким; непрерывный — он может дробиться на мельчайшие части; короткий, ограниченный длиною волоса — он может быть бесконечным. Сотни штриховых приемов усваивает скрипач, и десяткам штрихов учат школы для техники правой руки.

Но все штриховые приемы дают плоды только тогда, когда скрипач, взявшись за смычок, прикасается к *музыке*.

И чем выше взбиралось скрипичное мастерство Никиты, тем горше становился его труд.

Он часами тянул смычок, и звук нарастал беспрерывно, и переход от штриха — вниз, к штриху — вверх был почти неуловим; он разрывал движение на крошечные доли, и оно послушно дробилось размеренным стаккато, как торопливая весенняя капель; он кидал смычок на струны, и пружинная, веселая пляска болтыхалась по комнате.

И он падал на постель, и он лежал, глядя в пустоту, изможденный, раздавленный отчаянием.

Однако мендельсоновский концерт должен был состояться хотя бы потому, что он был концертом Мендельсона и в нем участвовал Яков Гольдман, и если бы музыка Мендельсона была отменена или Яков Гольдман уклонился бы от выступления, разве это не посеяло бы тревогу за действенность мер, принятых властью для безопасности населения?

Концерт состоялся и принес Никите нечаянное волнующее счастье — впервые за весь его музыкантский скорбный послух. Он принес разрешение годами накопленной тоски о настоящем деле, о настоящей радости дела.

Четыре пюпитра, поставленных затылками друг к другу, четыре тетради нот, одинаково четкие линейки, усеянные запятыми, безглазовыми очками и хвостиками, прямые ряды бесстрастных ключей — пузатых, хитроумных восьмерок. Четыре человека за пюпитрами в холодной пустоте большого зала: четыре разных, враждебных понимания одной мысли.

И вот труд: стремительный, непоседливый Яков Моисеевич — виртуоз, одержимый музыкой, как талмудист — законом Иеговы; спокойный, умеренный виолончелист — добродушный педагог, никогда не делающий лучше и больше того, что требуется от учителя музыки; живописный, как итальянский нищий, альтист, для которого его мешковатый, осипший инструмент — то же, что развинченный циммермановский ящик для уличного шарманщика — кусок хлеба, только кусок хлеба (ибо что за музыка — альт?); застенчивый, неуверенный подросток, ученик, школьник, добившийся быстроты пальцев и плавной гибкости рук, ничего не видавший за этой быстротой, за этой гибкостью. Вот труд: соединить в одно воду и масло, камень и дерево, уничтожить природу материи, добиться состава, который безропотно наполнил бы урну с прахом доктора чести, капельмейстера, Generalmusikdirektor'а Мендельсона-Бартольди.

Четверо людей, хватаясь за волосы, размахивая смычками, подтягивали яблоновые податливые колки, ежеминутно прерывая игру, чтобы кричать или перебегать от пюпитра к пюпитру и тыкать пальцами, смычками в нотные страницы, четверо людей кропотно разгадывали мысль одного человека.

И когда по крупицам и крошкам начало устанавливаться согласие, когда в пустом холодном зале возникла гармония и за обрывками, клочками звуков вдруг выросло *целое*, тогда стало так, будто распахнулась передняя дверь и в пустой зал вошел сам Мендельсон-Бартольди, такой, каким его привезли в Веймар, к действительному тайному советнику Гете.

— Так, так, господа,— тонким голоском проговорил Мендельсон, торопясь между рядов пустых стульев и — от холода — потирая маленькие руки,— это почти совершенно так, как я себе представлял!

Озноб пробежал по спине Никиты, он еще не верил, что слышит нечто громадное и повелительное; но существо его с необычной легкостью оторвалось от скрипки, перешагнуло через преодоленную трудность инструмента и растворилось в новом начале.

Так Никита Карев прикоснулся к музыке. Так, если бы одушевить неживую природу, пригретая солнцем капля воды должна была бы чувствовать себя, испаряясь.

Никита перестал ощущать себя, перестал видеть своих партнеров, он всеми силами старался удержаться в подчинении воле, которая обобщила четырех разных людей. Он наслаждался этим подчинением. Он отдавал себя этой воле...

Дважды пережил такое чувство Никита. На предпоследней репетиции, когда квартет был сыгран в первый раз без перерывов и спора. И на концерте.

Он не помнил, как выходил вместе с учителями на вызовы зала, как пожимал ему — перед публикой — руку Яков Моисеевич, и не разобрал смешного замешательства, случившегося после концерта в артистической комнате: мелькнули чужие лица, заблестел аксельбантами частный пристав, кто-то жарко жестикулировал и кричал.

Никита выбежал на улицу. Навстречу ветру, в нелюдимой осенней темноте, он промчался, горячий и легкий, крепко прижав к боку футляр со скрипкой. Сзади его раздавался озабоченный голос:

— Никита, Никита! Господин Никита!

Наконец кто-то схватил его за пальто. Он остановился без страха, недовольный, что ему помешали бежать. Перед ним стоял переплетчик — отец Якова Моисеевича.

— Что, разве где-нибудь горит? — задыхаясь, спросил он.— Уф! Что значит молодость! Прекрасный концерт. Я хотел вас поздравить.

Он немного передохнул и тихонько притронулся к воротнику Никитиного пальто.

— А вы знаете, что происходит? Нет? Вы ничего не заметили? Что? Ну, так после того, как вы вышли второй раз кланяться и Яков пожал всем руки, публика стала орать еще больше. Тогда господин пристав пошел туда, за кулисы, и сказал Якову, чтобы он больше не кланялся.

— Почему? — воскликнул Никита.

— Потому что, сказал господин пристав, он не может допустить оваций, которые уже перешли границы, и это уже будто бы форменная демонстрация Мендельсона и Гольдмана. И в такое время! Уф!

Никита топнул ногой.

— Что за подлость!

— Подлость? — переспросил Гольдман и помолчал.— Вам надо знать Талмуд,— сказал он, чуть улыбаясь.— Там есть такое место: падает камень на кувшин — горе кувшину; падает

кувшин на камень — горе кувшину; так или иначе — все горе кувшину.

Он неслышно и продолжительно посмеялся, затем приблизил чернобородое лицо к Никите, быстро глянул по сторонам (люди кучками тянулись с концерта) и пробормотал:

— Я давно хочу поблагодарить вас, Никита, за Якова, за то, что вы его спаситель. Нет, нет! Не говорите мне ничего, я же знаю! Вы — его спаситель. И Яков мне тогда сказал: человек с таким сердцем, как господин Никита, должен быть музыкантом. Я, и моя жена, и Яков, вся наша маленькая фамилия, благодарим вас!

Он неловко скользнул рукою по шее Никиты, пригнул к себе его голову и поцеловал. Никита прикоснулся лицом к жесткой, холодной бороде. На переплетчике распахнулось пальто, он был одет в новый сюртук и манишку, но от него знакомо пахло клейстером.

Он несколько раз кряду пожал руку Никите, хотел что-то выговорить, но только мотнул головою и кинулся прочь.

Никита с минуту стоял неподвижно, глядя вслед убежавшему переплетчику. Ему показалось, что ветер донес до него кисловатый запах клейстера, и он втянул в себя воздух поглубже.

Он любил этого маленького, живого человека. Он любил его сына — учителя, скрипача Якова Гольдмана. Он знал, что на свете стоило жить.

НА ВЗВОЗАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вечером Родион сменился и получил отпуск в город. Было холодно, по реке неслось густое сало, шурша и поскребывая о борта судов. Ждали со дня на день конца навигации, перевоз еще работал, но рядом с пароходами стоял мрачный ледокол, и на нем уже несли зимнюю вахту.

Родион быстро прошел берегом, привычно разбираясь в темноте, мостками и настилами опустевших товарных складов и выбрался на взвоз. Смоченный дождями булыжник слегка подморозило, идти было скользко, но Родион не умерил шага и скоро очутился на перекрестке. Там он подошел к тусклому оконцу часового магазина и постоял около него, раздумывая. За окном виден был сгорбившийся над верстаком мастер, он собирал карманные часы, ловко подцепляя крошечные части щипчиками.

Родион осторожно надавил коленкой на дверь и вошел. Путаный треск маятников, вразброд и страшно торопливо нарубавших ничтожные дольки времени, необыкновенно углубил тишину, и — против воли — голос Родиона упал.

— Скажите, пожалуйста,— спросил он,— который теперь будет час, по-точному?

— Проверить часы? — спросил часовщик, не отрывая головы от работы.

Оттого что мастер не поглядел на него, Родиону показалось, будто в мастерской стало еще тише, какой-то холодок остро юркнул ему за рубашку, на грудь, и он вдруг громко тяпнул:

— Да не проверить, а узнать, сколько время!

Часовщик вскинул глаза, с удивлением осмотрел Родиона и тоже закричал:

— Что у вас, на пристанях, часов, что ли, нет? Шляндрите только тут!

— Виноват,— неожиданно мягко, точно с перепугу, проговорил Родион,— я не был на пристани, я туда иду. Сколько сейчас, скажите, пожалуйста?

Часовщик ткнул большим пальцем через свое плечо:

— Вон те верные,— и снова наклонился к верстаку.

— Очень спасибо,— сказал Родион и для вежливости добавил шепотом: — Четверть седьмого.

Да, часы показывали четверть седьмого. Иначе не могло быть: Родион сменился ровно в шесть, минут на пять задержали его на пристани, минут десять он шел берегом и поднимался по взвозу. Если бы он стоял на вахте или работал на погрузке, он был бы спокоен и мог бы с точностью слышать ход времени. Но он мчался длинной черной улицей, сердце его стучало путано, точно маятники в часовом магазине, и ему чудилось, что он никогда не угонится за минутами. Потом он внезапно сменил бег на медленный шаг, и опять ноги его, сами собой, ступали чаще, чаще, и вновь он бежал, квартал за кварталом, из одной улицы в другую.

Он должен был прийти на место к половине восьмого. Но он потерял чувство времени и, когда очутился на знакомом углу,— стал. В тот же момент его обдало жаром: стоять здесь было невозможно. Тогда неожиданно его осветило воспоминание, радостное, как встреча с любимым человеком; он находился вверху Смурского переулка, какая-нибудь минута отделяла его от дома, в котором жил Никита.

Никита не был ему нужен, но у него он мог узнать время, мог переждать и приноровить свой приход точно к половине восьмого. Самое важное — ни секунды не стоять на месте и явиться в назначенный час.

Его долго расспрашивали, прежде чем пустить в дом. Он терпеливо рассказал о себе и о том, откуда знает Никиту. Его провели кухней, узенькой лестницей наверх. Первые слова его, лишь только он увидел Никиту, были:

— Который час, по самому точному?

Оказалось, что в полчаса Родион пробежал почти весь город. Это обрадовало его, но только на один миг: при мысли, что надо разговаривать с Никитой целых три четверти часа, он опешил.

В комнате Никиты стоял книжный шкаф, поперек кровати валялись ноты и раскрытый скрипичный футляр, стол освещала мягким, желтым светом керосиновая лампа. Тепло, какое бывает

только в просторных деревянных домах, ровно колыхалось около печи и ощутимо плавало по комнате.

— Ну, как идет это дело? — спросил Родион после первых бестолковых слов. Он подошел к кровати и мотнул головой на футляр.

— Знаешь, теперь — хорошо,— доверчиво заговорил Никита.— То есть хорошо, потому что стало интересней. Я играл недавно на концерте, в квартете.

Он поглядел на своего гостя и объяснил:

— Вчетвером, четыре инструмента.

Родион улыбнулся и промычал:

— Зн-наю... Что же, вы так и решили музыкантом сделаться? — спросил он.

— Почему ты говоришь мне «вы»? — вспыхнув, сказал Никита.— Мы с тобой не первый раз увидались, а кто с детства знаком, тот всегда...

Он не договорил, дожидаясь ответа.

Родион взглянул на Никиту, прищурившись, отчего глаза его сделались ласковей и мягче; как будто складки лица, которые придают человеку черты хитрости и недоверия, выражали у него простодушие.

— Вы не обижайтесь,— сказал он,— я не нарочно. Хоша мы с вами жили в деревне, но с того много воды утекло.

Он сразу осанился, как только сказал про «воду», и поглядел вокруг себя внимательно.

— Бывает, что дружба всю жизнь тянется,— обидчиво заметил Никита.

— Верно, конечно.

— А что же нам мешает?

— Как сказать,— промямлил Родион.

Он попал в тот знакомый ему тон, который усваивают деревенские мальчуганы в детстве, подражая отцам и дедам. Этот тон вполне огораживал его от ненужной откровенности и одновременно поддерживал разговор.

— Мало мы касаемся,— сказал он, опять пристально озираясь.— Я — на конторке либо на пароходе, а вы... у себя.

— Чудак,— засмеялся Никита,— ведь так бывает всегда: каждый у себя.

— Правильно, время не остается.

— На дружбу?

Родион улыбнулся:

— Я так и хочу вам сказать, что на дружбу ни одного часу нету. А сколько сейчас время будет? — спохватился он.

— Поспеешь,— сказал Никита.

— Нет, уж пожалуйста,— беспокойно и робко попросил Родион.

— Ну на, гляди сам,— сказал Никита, пододвигая карманные часы на край стола.

Родион взглянул на циферблат и отвернулся к книжному шкафу.

— Можно?

— Смотри.

Родион открыл дверцы и начал разглядывать корешки книг. Иногда он вытаскивал какую-нибудь книгу, развертывал ее и подробно прочитывал титул, но тут же ставил книгу на место, и чем дальше, тем рассеяннее пробегал глазами по полкам. Наконец он вздохнул и попросил:

— Которую поинтереснее бы...

— Здесь много интересных,— снова обиделся Никита, но тотчас ожил и, подойдя к Родиону вплотную, спросил тихонько: — Тебе про революцию?

Родион отстранился от него и помолчал минутку.

— Про чего? — переспросил он, не понимая.

Никита схватил его за локоть.

— Брось притворяться! — шепнул он.— Ведь я знаю! Тут никого нет, тетка — там!

Он махнул рукой на дверь. Лицо его раскраснелось, глаза часто моргали, он точно еще больше вытянулся и стал смешней.

— Ты в дружине состоишь?

— В дружине? В какой? — по-прежнему не понимая, переспрашивал Родион.

Его круглая, широколобая голова глубже уползла в плечи, он немного попятился от Никиты, чтобы лучше наблюдать за ним.

— В рабочей дружине, в боевой. Нет? Рассказывай! А помнишь, на улице-то, около дома? — шептал Никита.

— Это тогда... сгоряча,— буркнул Родион.— Какое мне дело...

— Рассказывай! — не унимался Никита.— А куда делся Петр? Не знаешь? Высокий такой, с нашего двора, слесарь. Он тогда ушел с вами. Не знаешь?

— Я там никого не знал. Это — все так.

— Поверил я тебе! — тряхнул головой Никита и отступил, недовольный: видно было, что из Родиона не вытянешь ни одного дельного слова.

Они помолчали. Родион опять глянул на часы, на книжки и повторил:

— Как же насчет книжечки?

Тогда Никита ответил с сердцем:

— Про то, что ты ищешь, у меня нет...

— Да я ни про что не ищу,— грубовато сказал Родион.

Потом он всмотрелся в Никиту, улыбка снова смягчила его взгляд, и он сказал тихо:

— Зря сердитесь. Сами говорили про дружбу...

— А ты не хочешь! — прикрикнул Никита.— Утаиваешь о себе!

— Мне таить нечего,— рассеянно ответил Родион.

Он точно вспоминал что-то с усилием, и говорить ему было трудно: мысли уводили его в сторону. Вдруг он встряхнулся и сказал:

— Мне пора. Прощайте.

— Ах, Родион! — укоризненно и горько воскликнул Никита.

Но Родион словно не заметил ни укора, ни горечи, ни того, что Никите было очень обидно неуклюжее и пустое посещение гостя.

Он простился и вышел. И едва на него подуло морозцем, он так же быстро забыл о Никите, как несколько минут назад вспомнил о нем.

Он двинулся вверх по переулку, пугливо вглядываясь в темноту. В том, как он держал руки, как сгорбилась и округлилась его спина, была такая сосредоточенность, что, если бы Никита увидел его в эту минуту, он понял бы, что́ их разделяло: рядом с Родионом — однолеткой, сверстником его забав — он был еще мальчишкой.

Родион дошел до угла. Две ступеньки вели к входной стеклянной двери с распахнутыми ставнями, на которых висели по обе стороны живописные вывески. Вековечные надписи бакалейных лавок были смутно освещены сквозь стекло: «Чай, сахар, кофе», «Табак, сигары, папиросы».

В лавку вползла, согнувшись в три погибели старуха. Колокольчик замотался над дверью, тревожно, визгливо звеня. Родион пропустил старуху вперед и вошел следом за нею.

Спустя две минуты он опять появился на улице, с большим ломтем хлеба, завернутым в газету. Он обхватил сверток поудобнее, туже засунул в карман свободную руку и зашагал вдоль черного, слепого порядка домов.

Вскоре он расслышал, что кто-то догоняет его. Он дрогнул, хотел оглянуться, но удержался и решил, повернув круто, перейти дорогу. В тот же момент на мостовой раздались поспешные шаги. Они были осторожны, но в темноте трудно было бежать тихо: ноги срывались с выступавших булыжников, и вот этот звук — звук соскользнувшей с камня и щелкнувшей подошвы — страшно отчетливо долетал до Родиона. Он приостановился на секунду, чтобы лучше вслушаться в шаги, настигавшие его по тротуару,

и вымерить на слух расстояние, которое отделяло его от преследователей.

Он ни на одно мгновение не сомневался в том, что его преследуют. Шаги слышались совсем близко. Тогда он бросился в темноту, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. И так же открыто, не таясь, тяжко припечатывая сапоги к земле, кинулась за ним погоня.

Бег продолжался недолго. Кто-то крепко схватил Родиона за рукав и выбил у него сверток. Он вырвал руку и нагнулся поднять развернувшийся хлеб. Но человек, бежавший по дороге, налетел на Родиона с другого бока и повалил его.

Борьба велась молча, никто не проронил ни слова, и, может быть, потому до боли заострился слух, и — падая, поднимаясь, отталкивая людей, хватавших его за руки,— Родион расслышал бег третьего человека по дороге — громоздкую поступь сапог с тончайшим, стеклянным дребезжанием шпор.

На грудь Родиона, на лицо навалилась суконная громада, он только успел различить, как откуда-то запахло почтой, почтовой конторой, и сразу руки его были заломлены назад, перехвачены тонкой, режущей бечевкой, и на мостовой задребезжала пролетка извозчика.

Родиона поставили на ноги, и спокойный, шелковый бас произнес:

— Ну, поедем.

Родион хорошо знал город и не мог понять, куда его везут: дорога в тюрьму шла прямо, полиция находилась вверху, на горке, а извозчик кружил по улицам, казалось, без всякого смысла и не спрашивая, куда ехать.

«Все свои»,— подумал Родион.

Наконец пролетка стала у большого дома с плохо освещенным подъездом. Родиона ввели в коридорчик, узенький и мрачный, и тут он снова вдохнул в себя запах почтовой конторы — густую, застоявшуюся помесь жженого сургуча со штемпельной краской. Жандарм, который ехал с Родионом в пролетке, усадил его на скамью, почтительно постучал в грязную дверь, приоткрыл ее и скрылся.

Родион торопко посмотрел в конец коридорчика. В него безжизненно упирался желтый, как бутылочное стекло, взгляд громадного неподвижного человека в синей фуражке. Когда Родион входил, он не заметил этого стража.

Приземистое существо, похожее на базарного лоточника, неся что-то под расстегнутой полой чуйки, скользнуло мимо Родиона и, так же как и жандарм, постучав в грязную дверь, неслышно исчезло за нею.

Спустя минуту дверь раскрылась, и жандарм позвал Родиона.

Он вошел в маленькую комнатку со столом посредине, украшенным высокой лампой в красном, очень пышном абажуре. Офицер с темными усиками и бородкой, согнувшись под абажуром, читал. Стены были закрыты плоскими шкафами, выкрашенными в грязновато-желтый цвет, и несколько дверей,— по раскраске и величине такие же, как шкафы,— казались нарисованными на стенах. Приземистого человека, похожего на лоточника, в комнатке не было.

Офицер бросил чтение и осмотрел Родиона.

— Как вас зовут? — спросил он.

Родион хотел что-то сказать, но кашлянул, поперхнувшись, и застыл. Не отрываясь, в каком-то окоченении, он смотрел на стол.

Там, с краю, в розовой мути абажура, на помятой и выпачканной газете лежал ломоть пеклеванного хлеба и рядом с ним — пачка бумажных листков в восьмую долю, с вершок толщиной, перехваченная веревочкой, один раз — вдоль и дважды — поперек. Пачка была тоже загрязнена, и уголки листков загнулись веерком. Тут же, около листков, валялся сплющенный в лепешку хлебный довесочек: наверно, во время возни на него наступили.

Офицер долго ждал ответа. Потом он перевел глаза на жандарма, стоявшего у входа, и глазами же показал на Родионовы руки. Жандарм ловко развязал бечевку и отошел к двери.

— Как тебя звать? — спросил офицер потверже.

Родион молчал.

Офицер зевнул, поправил усики и сказал тихо:

— Обыщи, Петров.

Жандарм тронул Родиона за рукав, и они вышли.

Офицер придвинул к себе пачку листков, взял большие блестящие ножницы, разрезал веревочку и повертел ее между пальцев. Вероятно, она показалась ему непригодной, и он кинул ее в корзинку, под стол.

Вынув один листочек из середины пачки, он положил его перед собою, текстом наверх: тыльная сторона листка была чистой. Он начал читать, но скоро опять зевнул, поднялся, подошел к шкафу и отворил дверцу. Шкаф снизу доверху состоял из ящиков, закрытых проволочными решетками. Под каждым ящиком значились номерки и буквы.

Офицер покачивался перед ящиками, изучая номерки, и тихонечко насвистывал. Он был похож на повесу, со скуки разглядывающего за решетками морских свинок или кроличьи выводки.

Наконец он открыл одну проволочную заслоночку и вынул канцелярское дело в папке. Вернувшись к столу, он перелистал папку, нашел в ней такой же листочек, какой лежал на столе, и начал сличать их.

Рука его привычно потянулась к кнопке звонка под лампой.

Как будто выскочив из шкафа, в комнате появился жандарм и стал у косяка.

— Пащенко? — спросил офицер, не подымая глаз.

— Точно так.

— Опечатай,— сказал офицер, поведя рукою в сторону развязанной пачки листков.

Жандарм подошел, взял листки, постукал их ребром по столу, чтобы сровнять, распрямил уголки, посмотрел один листок на свет и качнул головой с таким видом, что, мол, понял все с одного взгляда.

Офицер посвистывал.

Жандарм хозяйственно оглядывался.

— Веревочку? — спросил офицер.— На! — сказал он, толкая корзинку под столом.

Жандарм нагнулся и заглянул под стол, но офицер, видно, слабо толкнул корзинку, до нее было далеко, и жандарму пришлось стать на четвереньки. В долгополой шинели, сборчато оттопырившейся у него сзади, неуклюже заползая под стол, Пащенко напоминал собою бабу.

Он вытащил корзинку, достал веревочку, которую перед тем бросил офицер, примерил ее к листкам и, соблюдая уважительную осторожность, взял с офицерской чернильницы сургучную палочку.

Офицер насвистывал.

Пащенко снял со стеклянной спиртовки колпачок, подергал пальцами фитиль и чиркнул спичку. Завязав листки крест-накрест, он поднес сургуч к огню.

— Дозвольте сказать, ваше высокородие? — спросил он.

— Вали,— разрешил офицер.

— Очень красиво свистят ваше высокородие.

— А ты знаешь — что? — спросил офицер, все еще сличая листки.

— Точно так. «Марсельезу».

Офицер достал из ящика печать и, положив ее на стол, толкнул ладонью. Печать гулко покатилась к жандарму. Он поймал ее и принялся заливать горящим сургучом концы веревочки на пачке листков.

— Французскую «Марсельезу», Пащенко, французскую,— сказал офицер.— Это тебе не то что наша: а-а да о-о! — и все...

— Пеклеванный тоже прикажете опечатать? — спросил Пащенко, ложась на гриф печати животом.

Офицер подумал, взглянул на хлеб, на жандарма и опять зевнул.

— Пеклеванный — как хочешь.

Пащенко тоже подумал и сказал:

— Он грязный.

— Ну, пожалуй, опечатай,— решил офицер и, чуть-чуть обернувшись к входной двери, крикнул: — Петров! Можно, веди...

Необычная, сразу бросавшаяся в глаза перемена произошла в Родионе. Лицо его было глубоко-красно, он смотрел на пол, себе в ноги, и точно перестал дышать: таким бывает человек, в натуге, через силу отрывающий с земли тяжесть. Войдя, он не сделал ни одного движения, согнутые в локтях руки, голова его не шелохнулись.

Офицер потрогал усики и с видимым развлечением остановил повеселевший взгляд на арестованном.

Едва слышно дребезжа шпорами, жандарм подошел к столу и аккуратно выложил пригоршню мелочей, найденных по карманам Родиона.

— Это все? — спросил офицер, пошевелив бровями, усиками и бородкой.

— Точно так, ваше высокородие,— шелково отрапортовал бас,— больше ничего обыском не обнаружено.

— Хм-м,— помычал офицер.

На столе лежали спички, большой складной ножик, начатая пачка папирос «Сирень», обрывыш веревочки, синий платок — размером чуть поменьше головного, две волосяных лески, намотанных одна на щепку, другая на пустой спичечный коробок, и потасканное, блестевшее сальцем письмо от матери Родиона, без конверта, полученное уже давно с деревенской оказией.

Офицер не притронулся к вещам, даже не рассмотрел их поподробней, а только скользнул мельком сощуренными глазами по письму.

— Как тебя зовут? — спросил он совершенно таким же тоном, как спрашивал до обыска.

Родион молчал и не шевелился.

Тогда офицер сгреб со стола в горсть лески, «Сирень», письмо, ножик, быстро подошел к Родиону и, остановившись перед ним вплотную, резко сунул в карман его куртки всю мелочь.

— Тебя зовут Родионом Чорбовым,— проговорил он, нарезая слоги, как рассерженный школьный инспектор.— Понял? И ты — матрос с волжского перевоза.

Он все еще держал свою руку в кармане Родиона и с каждым отрезанным слогом втискивал поглубже спичечный коробок, «Сирень», щепку, как будто этот мусор был виною его раздражения.

— Понял? — повторил он, грозно вглядываясь в красное лицо Родиона.— Деревня, дуботол, понял?

Он с силой вдавил кулак в карман Родионовой куртки, так что хрустнул спичечный коробок, вырвал руку наружу и брезгливо отряхнул ладонь.

Родион качнулся в сторону и поднял глаза. За смутным налетом слез в них, на секунду, метнулись подозренье, решимость и страх. Кажется, больше всего было страху перед тем, что офицер примет непрошеные слезы за испуг.

Но офицер перехватил мысль Родиона и снисходительно, с оттенком презренья воскликнул:

— А что же ты думал?! Конечно, они тебя выдали. Мы отлично знали, что ты сегодня вечером пойдешь в лавчонку за прокламациями, и знали, куда ты их понесешь. Они нам все рассказали!

У Родиона дрогнул рот, кровь быстро исчезла с его лица, точно переплеснулась куда-то вглубь, он поднял руку к груди, колыхнулся и вновь застыл, не произнеся ни звука.

Офицер внезапно схватил его за отворот расстегнутой куртки.

— Кто тебе сказал пароль, по которому ты получил в лавке листки? Кто, говори, ну, кто?..

Родион молчал.

— Дурак,— спокойно сказал офицер, немного подождав и выпуская куртку.— Им всем ничего не сделают, а тебя, если ты будешь молчать, закатают куда Макар телят не гонял, узнаешь!

Он отошел к столу и притронулся к своим усикам.

— Ну, как же, Родион Чорбов, вы не намерены отвечать?

Он испытующе покосился на Родиона, потом сел за стол и решительно взялся за перо.

Он писал недолго.

— Петров,— позвал он, протягивая в воздух узенькую полоску бумаги,— отвести арестованного.

Потом он вяло поглядел на опечатанную пачку листков, на сургуч, размазанный по корочке пеклеванного хлеба, и скучно, продолжительно, сладко позевнул.

ГЛАВА ВТОРАЯ

За Родионом больно пронын замок. Это было такое ощущение, будто медленно отняли руку или ногу.

Он оправился минуту спустя и сел на койку.

Против него, на другой койке, лежал большой, покрытый ворохом тряпья человек. Когда Родиона вводили, он поднялся, но тотчас снова лег, приберегая накопленное в тряпье тепло. Он вскоре уснул.

Было тихо, и постепенно дыхание Родиона совпало с размеренным посапыванием спавшего человека.

Тогда Родион впервые задумался.

Где, в какой момент, на каком шаге он споткнулся? Все концы были чисты и гладки, ни одного узла. Часовщик? Не может быть! Ведь Родион зашел к нему только на полминутки и спросил — который час? Ни слова больше. Лавочник? Но ведь лавочник — свой! (И тут же мысль — чей? Что значит — свой? У них ведь тоже — свои?!) Никита?!

Черт побери этого скрипача! Что он там порол о боевом отряде? И зачем ему надобится Родионова дружба? Мало ли с кем водил Родион в детстве дружбу, и никто потом не навязывался ему в друзья. К тому же детство — далеко, детства не вернешь, оно ушло, как пароход, который только снится — белее снега, тише речного течения, с голубым дымком, в голубых, как небо, флагах. Так тихо ходил только буксир, на котором плавал отец Родиона — лоцман Чорбов.

Бывало, ввечеру Родька приметит на небосклоне дымочек, долго стоит, глядя вдаль, вдруг различит корпус буксира, узнает его, бежит домой с криком:

— Мамка, тятька плывет снизу!

И вот он уже на дощанике, с каким-нибудь приятелем, ладит уключины, выпихивает дощаник из затончика, вместе с приятелем садится в весла и часто, коротко побулькивает в воде их увесистыми лопастями. Он держит по течению, навстречу почти неподвижному буксиру, он слушает сиповатое уханье толстых вальков в уключинах и отзвуки дубовой рощи на обрыве, ему чудится, что в роще покашливает громадный человек, он весь ушел в слух, и вдруг сердце его стопорит, падает и летит камнем в пропасть. Это отец его, лоцман Чорбов, подходя к дому и завидя плывущий к буксиру дощаник, дает радостный, многословный сигнал своей родной деревне, своей жене, своему сыну Родьке, сигнал о том, что прибыл лоцман Чорбов!

Береговой обрыв и рощи перепевают на разные лады пароходный свисток — и Родион изо всех силенок ложится в свое весло.

Потом он снимает с парохода отца, и они плывут назад домой. Буксир скоро остается позади них, отягощенный наливными баржами, глубоко вдавленными в воду, низкими, как плоты.

В сумерки они достигают деревни, в дом к ним приходит родня — поглядеть хозяина на побывке,— Родион, разинув рот, ловит отцовское слово, и потом ему снятся пароходы, машины, шумный город, весь в пристанях, кричащий, надрывающийся гудками, и он выкликает во сне:

— Отдай кормо-ву-я-а-а!

Рано утром отец на подводе уезжает в город — догонять свой буксир. Родька и мать провожают отца до соседней деревушки, и, расставаясь, лоцман Чорбов сухо, точно к слову, говорит, когда — через много ль недель — поплывет он назад вниз, с пустыми баржами...

Детство! Разве вернешь его? Пароход, уплывший навсегда, с голубым дымком, в голубых, как небо, флагах!

Зачем вспоминать о нем?

С тех пор прошло много лет, с тех пор, как лоцман Чорбов, после побывки, увез своего сына в город...

Родион прислонился к стене, непривычная полудрема обессилила его, он попытался вернуться мыслями к тому, с чего начал, но самые мысли его облекла удивительная оболочка, словно за него думал кто-то другой.

Думал, что взвозы круты и тяжелы для подъема, что в ростепели потоки воды буйно мчатся по взвозам в реку. Что тогда человек молодеет, и ему делается легко, незаботно. Солнце не может равняться по часовому маятнику, когда шумит и кудряво скачет на булыжнике желтая вода.

А вместе с водою, умывающей город, стекает по взвозам к реке, неизвестно откуда, рабочий люд, и следом за ними — сор, нечисть и шлак... Едва Родька попал в город, у него екнуло в груди. Вот где было всего понаделано!

Он попал на берег, загроможденный горами невиданного добра, попал в заварную, набухшую кашу ломовых, грузчиков, боцманов, в гомон, в рев, в свистопляску.

Если на белом свете и найдется нескучное место, так это — речные пристани. И если наступит когда-нибудь светопреставление, то умирать будет веселее всего на взвозах. Не потому ли, что смерть здесь идет нога в ногу с работой и на нее оглядываются только тогда, когда она пришла, как смотрят на работу, когда она кончена?

Здесь все в приходе и уходе, здесь вещи — как люди — появляются, чтобы исчезнуть, здесь треск и скрежет аварий заглушает набатный стук починок, и стук поглощен воплями катастроф, и вопли тонут в грохотах стройки.

И — вправленные в эту суету гибели и спасенья — медлительно-осторожные поворачиваются на воде суда.

Вот где было всего понаделано!

Родька всхлипнул, как после плача. Смотреть дольше на окружающее его смятенное великолепие у него не стало мужества. Он сидел на толстом бревне, соединявшем пристань с берегом. Бревно было перехвачено железными обручами, в них — вправлены

брусья, на которых лежали сходни. По сходням трусцой торопились грузчики, и от их бега бревно мерно гнулось, слегка подкидывая Родьку.

— Небось,— сказал он вслух.

Это должно было означать, что Родьку ничем не запугаешь, что важно — приглядеться ко всему постепенно, и тогда будет так же просто, как в деревне.

Он глянул вниз, под сходни. Около берега мальчуганы, по колено в воде, ловили мальков рубашкой с завязанными рукавами и воротом. Так ловили мальков и в деревне, ничего замечательного в рубашке и в мальчуганах Родька не нашел. Но вода у берега была особенная — сизо-лиловая, с отливом в зелень, как голубиная грудь. Родька плюнул в воду, сизо-лиловый покров прорвался и потек змейками, потом змейки соединились в кружок и кружок пропал в новом, принесенном течением, широком, как бабий платок, цветистом покрове.

«Обыкну»,— решил про себя Родька и тут же вздрогнул: сквозь шум он расслышал тонкий голос отца.

— Вот он,— сказал отец, подталкивая Родьку навстречу высокому человеку в белой косоворотке.— Это — твой хозяин и начальник,— обернулся он к сыну,— господин пароходный агент, и ты будешь у него служить.

— Значит, за харчи,— сказал агент отцу.

— Точно так, за харчи.

Отец взял Родькину руку, подержал ее недолго и тихонько проговорил:

— Вот твой узел, в уголку.

Потом добавил погромче, чтобы слышал агент:

— Ну, слушайся смотри...

И, немного погодя, опять потише:

— Из Нижнего я теперь буду ко второму спасу, не ране.

Он поклонился агенту:

— Так вы, пожалуйста.

— Ладно,— ответил агент, и отец ушел.

Родька хотел ему что-нибудь сказать, но не вышло, он только поглядел отцу в спину, зажал нос пальцами и высморкался.

— Ты это оставь,— усмехнулся агент.

— Чего? — спросил Родька.

— На пол тут, говорю, сморкаться, нельзя, в конторе.

— Точно так, нельзя,— подтвердил Родион, стараясь говорить точь-в-точь как отец и глядя на пол.

Так Родион попал в город.

«Ничего,— решил он,— обыкну...»

Но первое, что он увидел на городском берегу, потрясло его своим бессмыслием.

Случилось это за полдень, когда стихает немолчный рокот взвозов и люди, оставив работу, показывают себя в безделье.

И вот они развернулись перед Родькой нескончаемой лентою отрепьев, рвани, ветоши, обносков и лохмотьев. Здесь были все цвета, созданные природой, и ни один из них не был чист, но каждый вершок, каждое мельчайшее пятно на лоскуте утопали в шевелящейся грязной мути. Это было какое-то пламя, лениво лизавшее грязными языками своими — охвостьем жалкого и величественного тряпья — обнаженные груди и спины, локти, колени, животы. Человеческие тела — человеческие, потому что они, как все люди, держались на двух ногах и были украшены головами,— горели в мутном пламени охвостья и, обожженные, почти обуглившиеся, с разводами лиловых и синих кровоподтеков, ссадин, язв и волдырей, вельможно несли свое убожество перед очами мира.

Великое галашье царство, увечные души гениев, беспохмельная человеческая тоска! Перед вами последняя нищета — слепящее богатство, и заповеди блаженства для вас не краше помойной ямы!

Потряхивая лоскутами, с высокомерием попирая землю, толпа галахов двигалась вдоль берега, навстречу Родьке. Он начал всматриваться в толпу и понял, что ее объединяло.

Впереди галахов шествовали два существа, разряженные во множество цветных тряпок. Они рдели в красном, и синее, зеленое умещалось на них с желтым, как перья на попугае.

Это были две городские дуры, сестры Катерина и Лизавета Ивановны, не юродивые Христа ради, каких город тоже знавал, а безумицы от роду, женщины причудливой, но незавидной судьбы. Рассудок их был опален огнем богатства (молва считала дур исчадием большого, многославного откупщика с низовьев), весь город звал сестер по имени и отчеству — никак иначе, и они с глубочайшей серьезностью и за чистейшую монету принимали издевательские знаки всеобщего почитания.

Главной во всем была Катерина Ивановна. Лизавета Ивановна неизменно подражала старшей сестре, как тень расхаживала за нею, как тень приседала в ответ на поклоны насмешников и шутников.

Всю жизнь они прожили на взвозах, под мостками побережных сараев, в подворотнях ночлежек и обжорных рядах базара. Впрочем, нет,— они прожили в пышном миру шелковых одеяний, бисера и аграманта, окруженные шепотом лести, завистью, коварством и обожанием, как живет только безмерно богатая и безмерно счастливая знать.

Ни на секунду, ни на одну секунду сознанья их не коснулось несчастье: так мощно озаряло его блаженство. Они были старухи, седые космы висели у них из-под шляпок, но ни одной морщинки нельзя было разглядеть на их лицах: так заплыла, опухла и проспиртовалась их кожа. Они бранились, как галахи, и благосклонная улыбка не покидала их, когда слюнявые рты выплевывали непотребные слова: так прочно было в них очарование мечты. Любая беспутница вела себя добродетельнее этих убогих творений, и всякий пьяница протянул бы ноги, если бы вздумал перепить Катерину Ивановну с сестрицей. Но когда бы чиноначалие в небесах было отдано в руки какого-нибудь земного судьи, он возложил бы на городских этих дур венец серафимов.

Они шествовали прямо на Родьку, забравшегося под перевернутую лодку. Он даже приподнялся от изумления, завидя два пестрых вороха лохмотьев, завершенных соломенными шляпками в лентах. Он видел впервые Катерину Ивановну с сестрицей и долго не мог признать в них женщин.

С блаженными улыбками идиоток они выступали, взявшись под руку, темно-коричневые от солнечного загара, рыхлые, бесформенные в своем многокрасочном отрепье.

И, обогнув их полукольцом, живым, гогочущим амфитеатром медленно двигалась за ними пьяная, оголтелая толпа поречной голи в страшном пламени мутно-грязного охвостья и рвани. Изредка какой-нибудь галах вырывался из амфитеатра, забегал вперед, изысканно расшаркивался перед дурами и говорил что-нибудь, от чего притихшая голытьба вдруг покатывалась истошным гоготом, на минуту заглушая пыхтенье пароходов.

Катерина Ивановна отвечала галаху жеманным реверансом, и Лизавета Ивановна делала точно такой же реверанс, и они шествовали дальше, и за ними, как за медведями, волочился амфитеатр голытьбы.

— Катерина Ивановна,— орал на весь берег волосатый оборванец, догоняя дур и заглядывая им в ублаженные лица,— дозвольте узнать, почем платили за этот мухобель?

Он дергал Катерину Ивановну за обмызганный подол, еще громогласнее выкрикивал бесстыдные, бессмысленные слова, и толпа взвывала от восторга.

Шествие поравнялось с Родькой. Расфранченные дуры стали взбираться на пригорочек, чтобы обогнуть лежавшие на пути грузы. Несколько галахов кинулись за женщинами, хватая и теребя их подолы.

Тогда, забравшись наверх, стоя на самом яру, вровень с головою толпы и задом к ней, Катерина Ивановна безобразно оголи-

лась. Лизавета Ивановна, как тень, преспокойно повторила движение сестры, и так они простояли некоторое время, под громовой упоенный гогот толпы.

Вдруг на пригорок взбежал волосатый оборванец, игравший роль вожака, и с разбегу пихнул ногой Катерину Ивановну. Она взвизгнула и поползла вниз, стараясь подняться. Но галах кинул на нее Лизавету Ивановну, и обе старухи — неуклюжие, отвратительные — завозились на земле в куче тряпья, беспомощно скатываясь по склону пригорка, а волосатый подталкивал их огромной своей ногою в опорке.

И вот тут Родька выскочил из-под лодки, юркнул сквозь ораву галахов на пригорок и в страшной злобе толкнул обеими руками оборванца. Тот качнулся, почти упал, но успел схватить Родькину руку и потянул его за собою вниз. Толпа окружила их. Родька отбивался, как пойманный хорек. Галах закрутил ему руки за спину и, приподняв одно свое колено, положил поперек него Родьку.

— Давай ремень! — крикнул он, оборачиваясь к толпе.

Тогда Родька запустил зубы в голую коленку галаха и что было мочи сжал челюсти. Оборванец взревел и, ударив Родьку кулаком по затылку, швырнул мальчугана наземь.

И он сидел на земле, окруженный пьяной ратью голи, выплевывая густую, клейкую кровь в отвращении и страхе, точно ему попала в рот какая-то падаль.

Катерина Ивановна, оправившись и распушив на себе помятое тряпье, кокетливо поднесла к Родькиному лицу грязный лоскуточек, предлагая вытереть окровавленный его рот. Но Родька отмахнулся от нее и начал ожесточенно плевать кровью в гоготавших вокруг него босяков...

Бить, бить все это подлое человеческое отребье, расстреливать его не щадя, как расстреливал Родион оголтелую толпу громил на Смурском переулке!

Разве забудешь боль, испытанную в мерзкой схватке с волосатым вожаком галахов? И разве не те же галахи, облаченные в чуйки, сапоги и шапки, помолясь у Петра и Павла, рыскали по городу с гвоздырями и потом мчались по Смурскому переулку, унося свои животы от револьверной пули?

Смурский переулок?..

Мысли Родиона опять принимают обычную свою оболочку, и опять Никита встает перед ним.

Вот он окликнул его по имени, высунувшись из форточки на улицу и глядя пугливыми, беспокойными глазами.

— Там есть один низенький,— торопится он,— мучник, вот бы его хорошенько!

Тогда, слушая его, Родион удивленно подумал: чего это он

раздирается? Пошел бы сам, да и вздул своего мучника. Сидит дома, прячется, а туда же — лезет!..

И теперь, в холодной темноте ночи, еще непонятнее стало поведение Никиты, и весь его облик еще больше удивил Родиона и стал неприязненно чужд.

Родион вспомнил о Никите еще один раз — это случилось после встречи у фортки, совсем недавно,— когда катился по обрыву на дно оврага, спасаясь от казачьих берданок.

...Толпа собралась на окраине города. Большая, скучная площадь, обнесенная с двух сторон деревянными домишками, была засеяна рябыми горстками людей, как давнее порубище — кустами. И как в ветреный день кусты — раскачивались и трепетали люди, перебегая от одной горстки к другой. Все было живо, рябко и бестолково-радостно, когда вдоль домишек протянулась тонкая цепочка всадников. Они спешились, низенькие лошади их легли на дорогу и укрыли растолстевшими круглыми туловищами своих хозяев, так что из-за седел видны стали только малиновые — уральские — околыши фуражек. Горстки людей на площади скучились в плотную недвижную толпу, и по этой толпе, в самую гущу ее, в рябое месиво людей, малиновые околыши, прятавшиеся за туловищами лошадок, дали огонь.

Так от внезапного удара грома шарахается овечье стадо, как ринулась прочь толпа.

Родион, пригнувшись к земле, побежал в сторону оврага и бросился с откоса вниз. Он летел, кувыркаясь, наскакивая на кучи мусора: овраг служил городскою свалкой. И так как следом за Родионом сыпались комья навоза, грязи и сор, а рядом с ним летели вниз такие же, как он, люди — ему припомнился родной деревенский обрыв с дубовой рощей и голубыми скатами гальки. Припомнилось, как он катался по этим голубым дорогам с товарищами, как вслед за ними неслись оторванные живым падением их тел камни и как смешно вскрикивал от радости Никита — чудной городской барчук, приехавший на деревню, чтобы часами стоять в избе и скрипачить.

Мгновение длилось тогда это воспоминание, и один миг продолжался полет Родиона на дно оврага. Он очутился у бледно-мутного небыстрого ручейка, распространявшего зловоние по всему оврагу. Он приподнялся, и в то же время над головою его — на земле — рухнул новый залп берданок. Он нащупал в кармане револьвер, с которым не расставался с тех пор, как получил его от приятеля-матроса: револьвер был цел. Невысокий человек в каракулевой шапке, с очень дряблой кожей впалых щек, скатившийся в овраг вместе с ним, взял его за руку и произнес настойчиво, как будто поняв его жест:

— Оставь. Пойдем.

Они двинулись по оврагу, в ту сторону, куда катился зловонный ручей (это была сточная банная вода, но изумительно чисто и звонко звенел ручеек!), и долго, беспокойно шли в веренице других людей, бежавших с площади оврагом.

В тот день — да, именно в тот день, когда Родиону пришел на память Никита,— он впервые получил от человека в каракуле явку на тайное собрание, и с того дня все началось.

Никиту он больше не вспоминал. Нет. Не вспоминал до нынешнего вечера, когда понадобилось узнать точное время, чтобы не прийти раньше срока к лавочнику.

И не в лавочнике, конечно, было дело, не в часовщике, ни в ком другом. Никита, Никита стоял поперек дороги Родиона!

Неловкий, долговязый подросток со своей скрипкой все больше и больше вызывал в нем тоскливую неприязнь. За любопытством, которое Никита к нему проявил, за всем разговором о дружбе, детстве, о боевой дружине Родиону слышался вялый холодок, что-то настолько чужое и бездушное, что хотелось завыть от обиды. Где, где еще пережил он такую обиду?!

Истекшим летом встретил он одно существо, взволновавшее его необъяснимой болью.

Он подходил на пароходе к городской пристани в душный солнечный день. Как всегда, он стоял на носу, разделив смотанную кольцами легость между обеими руками, то отбавляя, то прибавляя в правую горсть одно-два лишних кольца, чтобы удобней и легче было кинуть конец на пристань.

Он слышал, как помощник дал команду в телефон: стоп! Было очень тихо, противная вода шибко умеряла движение, дувший на полном ходу ветер исчез, и серая тучка мошкары закачалась перед лицом Родиона. Не выпуская из рук легости, он стал отмахиваться от мошек, но они налезали на него густыми табунками со всех сторон, залепляя глаза. Он начал мотать головой, как лошадь, которую проняли слепни, и тогда расслышал над собою негромкий, веселый смех.

Он поднял голову. На верхней палубе, облокотившись на балясину перил, стояла молоденькая девушка в белом, как капитанский китель, платье. Она глядела вниз, на Родиона. То, что он услышал ее и поднял голову, как будто больше развеселило девушку, и она засмеялась погромче. Смех был очень хорош — мягкий, неожиданно глубокий для такой девочки, почти женский. Родион успел приметить яркую темную краску глаз и бровей и сверкнувшую на солнце точеную полоску зубов. Потом на него опять обрушилась туча мошкары, и он проворно шагнул в сторону: надо было давать чалку.

Все это длилось меньше минуты.

Родион привычно раскачал правую руку и бросил конец. Да, он бросил его, но было уже поздно.

Потому что в тот момент, когда, выпуская легость, он разжал пальцы, сверху озорно упал на него насмешливый грудной голос:

— А вот и не докинуть!

И уже по тому, как распускались в воздухе кольца бечевы, летевшей к пристани, Родион понял, что у него дрогнула рука. Легость, не долетев, ударилась концом о деревянный борт пристани и плюхнулась в воду.

На палубе перекатывался дразнящий веселый хохот.

Родион быстро взял запасную легость и с злобой пустил ее на пристань, так что конец перелетел через крышу конторки и загромыхал по железу.

Потом он закрепил другой конец на чалке, скинул ее за борт и стал выбирать из воды недокинутую легость. Он больше не глядел на палубу.

Но едва пассажиры схлынули с пристани, его позвали к сходням. Там он увидел поджарого бородатого человека в летнем картузике, с каким-то постным, словно с иконы, лицом. Поодаль почтительно стоял пристанный агент, и вокруг увивались боцмана. Иконописный человек молчаливо смотрел в сторонку.

— Бери, неси! — командовали боцмана, раздавая матросам чемоданы, корзинки, узлы.

Багажа было много, и добрая полдюжина матросов понесла его на берег.

Возвращаясь, Родион встретил девушку, которая смеялась над ним с палубы. Она шла рядом с бородатой иконой. Родион отвел глаза.

Но на пристани он остановился и вместе с другими матросами стал смотреть, как отъезжали извозчики, нагруженные багажом. На последнюю пролетку села икона и рядом с ней — девушка.

Когда извозчик тронул, девушка обернулась, быстро нашла глазами среди матросов Родиона, весело поклонилась ему, и он опять заметил, как сверкнули ее зубы, и — заодно с матросами — пустил ей вдогонку два-три напутственных словца.

Он узнал потом от боцманов, что бородатый человек с иконы был уральский купец Михайло Шерстобитов, и упомнил эту фамилию, потому что она показалась ему забавной.

И он не мог позабыть, как высмеяла его девушка, ни ее мягкого, глубокого, почти женского голоса, ни ее точеной полосы зубов. И он думал, что волнующая, беспокойная боль, какую оставила она в нем,— не что иное, как жестокая обида. Как смела чужая эта девчонка потешаться над ним, в то время как ему не по-

зволено было даже смотреть на господ пассажиров первого класса? Как смела?..

...Родион вздрогнул и скинул с себя давящую тупую полудремоту.

Вокруг него что-то произошло. Темнота разжижалась серым рассветом. Рассвет стекал на пол с маленького оконца, которое было больше в ширину, чем в вышину, как будто раму перевернули и положили набок. Родион, не вставая, долго смотрел на свет: тонкие звенья решетки снаружи окна были видны уже с большой отчетливостью.

Человек, лежавший против Родиона, завозился, скинул с себя кучку одежи и встал. Выпрямившись и расправив руки, он занял страшно много места — так нескладно громоздок и высок он был.

Несколько минут подряд он молча всматривался в Родиона. Потом шагнул к нему и проговорил убежденно:

— Малец, я тебя знаю.

Он усмехнулся и покачал головой.

— Что же молчишь? Я тебя знаю прочно, по рабочей дружине.

Родион привскочил.

Тот самый Петр, слесарь Петр, о котором давеча спрашивал Никита! (И — опять, опять лезет в голову Никита!) Слесарь Петр стоял перед ним.

— Ты будто не спал? — спросил Петр.— Признаешь? Помнишь?

— Послушай,— прошептал Родион,— послушай, ты! Значит — все кончилось?!

Он схватился обеими руками за тяжелый, острый локоть Петра и глядел на него, не мигая.

Это были первые слова Родиона, которые он выговорил с тех пор, как с пеклеванным хлебом вышел из лавчонки.

— Кончилось? — переспросил Петр и ухмыльнулся.— Эка ты, малец! Для тебя только что начинается.

Он помолчал, присел на койку и, усадив рядом с собой Родиона, сказал с уверенностью:

— Пошел теперь гулять по острогам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Варя, Варенька, Варварушка,— с засученными по локотки рукавчиками,— Варюшенька, Варечка — в шелковом платьице, в лисьей душегрейке!

Только бы и любоваться тобою приказчичьей родне, угождать твоему нраву шерстобитовским приживалочкам, смотреть не

насмотреться на тебя купеческой дворне! А уж мамаша-то не нарадуется, что ни слово, то — золотко, что ни вздох, то — любушка, красота, свет души Варварушка, Варя, Варенька, Варюшечка!..

Осенью, на воздвиженье, накупают Шерстобитовы зимних припасов-запасов, и задолго до праздника Шерстобитиха уговаривает всяких тетушек-бабушек:

— Так не запамятуй, милая, на капусту прийти на здвиженье. Да с тяпкой, не позабудь тяпку-то, тяпок-то не хватит. Да ты не запамятуй!

Где тут запамятовать! Не успела отойти ранняя обедня, как к Шерстобитовым тянутся бабьи полчища: всякие Настеньки да Сашеньки, Ивановны, Селиверстовны, кособокие, кривые, с горбами да грыжами, в темных кацавейках, юбки — в крапинку, платки — в каемочку, что ни божье лицо — то рыло, одна другой краше, как на подбор.

Шерстобитовские ворота настежь. День не торговый — один базар шумит на площади,— но в ворота вкатываются воз за возом, полные, умятые, набитые добром.

И все вокруг набивается, ломится, трещит и поскрипывает — кадки, кадушки, жбаны, корыта, погреба, чуланчики. И весь двор кишит пестрядью, расцвеченный, размалеванный — красный, лиловый, зеленый: теснятся, цепляются колесами друг за друга возики, воза, возища с морковью, свеклой, петрушкой, и — как сапоги по снегу — хрустят в руках кочаны капусты.

Здвиженье, плодоносное солнышко, останный денек бабьего лета, терпкий капустный праздник!

Эк ведь ловко летят кочаны из телег в бабьи фартуки, ишь растут, наворачиваются у корыт лиственные зеленые вороха, скрипят, похрястывают бойкие тяпки по обчищенным белым вилочкам, и, словно у хороших дровоколов — поленья, сыплются наземь гладенькие кочерыжки.

Распутались, опростались воза, покончили с морковью и свеклою, разложили все по кучам, по бунтам, по щепоткам, замкнули ворота на все болты, засовы, щеколдочки и начали, благословясь, капустное действо.

Сашеньки и Селиверстовны выстроились рядами вдоль корыт, засучили рукава, подвязавшись передниками. И пошли скрипеть тяпки по ядреному капустному листу, пошли барабанить в деревянные днища корыт, понеслась, побежала бегунами тяпочная дробь в натертое синькой небо.

Сладок дух вишневого листа, крепко горькое дыханье дуба, свербит в носу от молодого чеснока, туман и пряность в голове от укропа. Весь двор купается в огородной, садовой, лесной сентябрьской истоме: прячут на зиму в кадушки осенние ароматы.

А про капусту, про сахарный вилок, про зеленый кочан сколько натрещат бабьи языки всякой всячины!

«Стоит поп низок, на нем сто ризок».
«Латка на латке, а ниткой не сшит».
«Сидит баба на грядке, вся в заплатках».

...Варя, Варенька, Варварушка, с засученными по локотки рукавчиками, у корыта с капустой,— на плечах душегрейка, за спиной коса, в руке тяпка! И рука белая, как очищенный вилок, и, кажется, возьми ее — как вилок, крепко хрустнет на ладони гладкая, ровная кожа. Платье на Вареньке осеннее — желтое, точно кленовый лист, и душегрейка-безрукавочка тоже как осень — красной кожи на золоте лисьего меха.

Смеется Варенька, любо ей рубить душистые вилки в стоведерном корыте, хорошо слышать, как рассыпается и бежит в небо тяпочная веселая дробь, сладко покусывать крепкие, как сахар, кочерыжки, сущая потеха глядеть на старух да теток.

Что ни баба у Шерстобитовых, что ни приживалка — то сваха: косятся кривоглазые, слепые на купеческую дочку,— вот красота, вот писаная, вот удачливой свахе по гроб жизни обеспеченье!

Но потешается Варенька над свахиными стараньями, высмеивает бабок и теток, отваживает от дому женихов.

В кого уродилась шерстобитовская дочка — не разобрать толком. Не то чтобы она была капризна или нехороша характером, самовластна или кичлива, нет. Только с давних пор появилась в ней маленькая, впрочем, чувствительная для всего дома черточка: вот вы живете по-своему,— как будто говорила Варенька,— на свой образец, по стариночке, и я ничего против вашей жизни не имею, даже сама иной раз поеду с папашей на Деркул, в мужской монастырь, или посижу за кассой в лавке, но только, пожалуйста, дайте и мне пожить, как моей душе захочется.

И тут можно было изойти на глазах у Вареньки кровью, уговаривая, что-де не пристало ей, в девичьи годы, ходить на балы да гулять с кавалерами, не видано, мол, стоять у обедни в шляпке или кататься по улицам с казачьими офицерами.

Только рассмеется Варенька да скажет:

— Не надо было меня в гимназию отдавать, тогда я, может, носила бы вязаный повойничек, как мамаша, да сидела бы с утра до ночи с тетками на лежанке!

Скажет это без зла и не заносчиво, а рассмеется — ну, что говорить! — потом целый день на памяти ее рот, так бы и глядеть в него, не сводя глаз.

Или соберет Варенька на лбу морщинку, помолчит, подумает о чем-то, потом протянет глубоким, сочным голосом:

— Ведь ску-учно!

И так у нее это «ску-учно» получается, что только махнуть рукой: какое уж веселье, в самом деле...

Вот вышел на двор Михаил Гаврилович Шерстобитов, и сразу кругом приуныло, даже тяпки поутихли, и закусили языки Сашеньки и Селиверстовны.

Михаил Гаврилович — человек не суровый, безобидный и тихий, слова никому не скажет, лишний раз не взглянет и не двинется. Целый день молчит, в лавке торгует и то — молча, редко-редко выговорит тоненьким фальцетиком что-нибудь незначащее и тут же кашлянет неожиданно густым басом, словно замкнет на засов проявившее себя горло. Никогда нельзя было сказать по нему — недоволен ли он чем-нибудь или удивлен, приятно ли ему, или, может быть, он сердится. Он не одобрял никого, но и не хулил, не миловал, но и не наказывал. Он только ходил по двору, заглядывал в палатки — вместительные каменные лабазы, набитые товаром,— на конюшни, погребицы, залезал в подвалы и хлева, появлялся на кухне в разгар какой-нибудь праздничной стряпни.

И — удивительно — Михаила Гавриловича не то что боялись, а точно бы теряли при нем самообладание. Приказчики у него были отменные воры, и он не мог не знать этого, но ни разу не случилось, чтобы рассчитал какого-нибудь жулика. Заметит воровство, уличит пойманного, постоит против него молча, кашлянет иногда — и делу конец. На молодых воров это действовало удручающе — нередко каялись и после воровали осторожней. Старые же, накопив под конец службы копеечку, благодарили Михаила Гавриловича за доброту и науку и открывали себе собственные лавочки.

В молчании и безразличии Михаила Гавриловича к человеческим поступкам, казалось, скрыт был неприятный, беспокоящий укор, и редко кто мог быть поблизости от Шерстобитова, не испортив своего самочувствия. Подобное испытывают суеверные люди при виде некоторых очень старых и часто уродливых икон, преследующих воображение своим холодным беспокойством. Как должны быть вынесены вон из комнаты такие иконы, чтобы человек мог свободно дышать, так надо было ждать ухода Михаила Гавриловича, чтобы заново почувствовать себя вполне хорошо.

Из близких ему людей — родни, помощников, приказчиков, всяких нянек и бабок — только двоих как будто не стеснял он своим присутствием: дочери и жены — добрейшей, сердечной Евдокии Петровны. Впрочем, про одну дочку можно сказать это наверное. Евдокии Петровне же, вероятно, приходилось не раз смутиться сердцем, встречая холодящее молчание мужа там, где самый нелюдимый человек выльет душу...

Михаил Гаврилович прошел через весь двор узеньким, скупым шагом, осмотрел наваленные повсюду вороха овощей, покосился на корыто с капустой.

— Ну-ка, поруби, папаша! — громко крикнула ему Варенька, протягивая облепленную капустной крошкой тяпку.

Он глянул на дочь маленькими слезливыми глазами, что-то шевельнулось в его постном лице, но тотчас он отошел подальше, к открытым настежь дверям погребицы. В раздумье, почти в замешательстве, он взял на ладонь дубовый листочек и потер его в пальцах. (Дубовый лист кладут в огуречный рассол, чтобы огурец был крепче, вишневый — чтобы был душистее.)

Велико же было смущенье Михаила Гавриловича, если он, ни к кому не обращаясь, неожиданно произнес фальцетиком:

— Суховат!

Он выпустил из рук листочек, внушительно кашлянул и торопливо, как будто совсем смутившись, ушел на конюшню.

Ах, уж эта Варенька! Всегда вот так скажет что-нибудь неловкое!

Через минуту Михаилу Гавриловичу закладывали в тележку толстокрупого мерина, и подручные волокли из палаток ящики, мешки, кулечки с курагой, сахаром, сабзой и изюмом: Шерстобитов отправлялся на Чаган, на Деркул, благодетельствовать святым обителям...

А еще через минуту появляется на дворе Евдокия Петровна — круглолицая, круглобокая, круглогрудая, отыскивает синими теплыми глазами ненаглядную свою дочку, катится к ней неслышным мягким катышко́м.

— Варюша, поди-ка, милая, съешь чего-нибудь, я там тебе приготовила.

— Ничего, мамаша, не хочу, спасибо.

— Как это ничего не хочешь? А ты ступай, золотая, съешь балычку, балычок янтарем горит, свеженький.

— Ни капельки не хочу, мамочка! По горло сыта кочерыжками,— говорит Варенька, пустив гулять по корыту тяпку так, что капуста летит во все стороны веером.

— Ну, икорочки солененькой, Варюшечка!

— Не хочу!

— Да постой ты тяпкать-то, несговорчивая! Ну поди попробуй каймачку,— сейчас принесли со льда, из погреба.

— Не хочу, не хочу, не хочу! — нараспев кричит Варенька, пристукивая изо всех сил тяпкою и жмурясь от града капустной крошки.

Тогда глаза Евдокии Петровны меркнут, вся она поникает, становится еще меньше, круглей и жалобно убивается:

— Господи помилуй, да как же так, Варюшенька, с самого раннего утрышка ничего, кроме кочерыжек, во рту не было, а теперь, поди, который час...

Варенька бросает тяпку, отряхивается, сильно хлопая в ладоши, и, постукивая башмаками, обнимает мать и сквозь смех поет ей на ухо, в повойничек:

— Ну, хорошо, хорошо, маменька! Пойдет твоя дочка Варенька, поест балычку янтарного, икорки солененькой, каймачку холодненького, утешит твою милую душеньку!

Она целует мать, громко чмокнув губами, смех ее бойкими коленцами бежит наверх, вдогонку за тяпочной дробью, и вот мелькнула ее красная душегрейка, вот загорелась желтком на солнце юбка, и пропал смех, исчезла со двора Варварушка, нету Вареньки, Варюшечки...

Надолго ли хватит такого развлеченья — грызть холодные сладкие кочерыжки, махать рукой над корытом, слушать бабью трескотню да сказки про богатых женихов?

Куда денешься от скуки в этом городе?

Ну, выйдешь за ворота — поглядеть на толчею базара. Меж возов стоят стриженые, не успевшие обрасти верблюды, высокомерно задрав пепельные головы и лениво пережевывая жвачку. Они с презрением озирают кучащихся вокруг киргизов, изредка сочувственно откликаются на скрипучие, жалостливые вопли верблюжат, и, когда раздается их отклик, кажется, что какая-то огромная рассохшаяся телега вдруг сдвинулась с места, на котором она стояла испокон веков. Казаки в парусиновых шароварах, похожих на юбки, не спеша приценяются к буртам верблюжьей шерсти, потом с достоинством развязывают гашники, спускают шаровары и достают из нижних штанов кисеты с деньгами. Вдалеке закручивается ветерком прозрачная воронка пыли, шире и шире охватывает своим раструбом базар, выше и выше ввинчивается в небо, густеет, уплотняется и вдруг темным смерчем, со свистом и гулом, пропосится над головами. Тогда люди, лошади, верблюды закрывают глаза и ждут, пока схлынет, исчезнет пыльный смерч.

И опять, раскрыв глаза, стряхнув со щек колющие белые пылинки, Варенька видит все тех же киргизов, выглядывающих из своих стеганых халатов, как из тюфяков, все тех же казаков, которые затягивают или распускают гашники, и по-прежнему презрительно глядят сверху вниз пепельные головы верблюдов, и только все кругом стало чуть-чуть побелее от известковой пыли.

Но неожиданно лицо Вареньки вспыхивает, резкие краски его делаются так ярки, что прохожий казак, опешив, разевает рот и бормочет, почесываясь:

— Пострели тя зар-разой, как румяна...

Варенька, перехватив дыхание, глядит вдоль приземистого порядка лавок. Торгует только привоз, народ толпится посередине площади, лавки на запоре, и в смуглой их тени быстро и ровно ступает человек, опустив голову, держа за спиною руки. Оторвав от земли взгляд, он видит Вареньку, поступь его как будто сбивается, но тотчас он берется за шляпу. Тогда Варенька идет к нему и громко говорит, протягивая издалека руку:

— Здравствуйте... Никита... Карев!

Она разделяет слова, придавая каждому из них какую-то особенную значительность, и улыбка ее так хорошо летит навстречу Никите, что он тоже вспыхивает и почти обрадованно пожимает узкую цепкую руку Вареньки.

— Здравствуйте, Варвара... Михайловна.

Он спотыкается на отчестве, и, может быть, потому, что хочет загладить свою неловкость, еще больше краснеет.

Его смущенье веселит Вареньку, она не перестает улыбаться и с любопытством разглядывает Карева — его короткий, немного чудной серый пиджак, шляпу и рубашку с мягким батистовым отложным воротничком.

— Поймала я вас,— говорит она с насмешечкой.

— Поймали? — удивляется Никита.

— Конечно, поймала! Если бы не вышла на улицу, так вы и уехали бы, не повидавшись. Почему не зашли? Ведь обещали, помните?

— Хорошо помню и непременно зашел бы.

— Не верю я вам, Никита,— вдруг тихо говорит Варенька. И точно от взгляда ее улыбка Карева кривится, и он неуверенно отвечает:

— Правда, собирался все время. Но я говорил вам — нужно много работать.

— Вам всегда нужно работать. Куда теперь вас понесет?

— За границу.

— За границу?.. Надолго?.. А Москва, а Петербург?

— Мне там больше нечего делать.

— Переросли? — с лукавством спрашивает Варенька.

— Нет,— снова улыбается Никита,— но сейчас мне нужно другое.

— Гармония и контрапункт? — язвительно говорит Варенька.

— Нет, нет, гармония...— серьезно начинает Карев.

Но Варенька берет его за руку и настойчиво, почти торжественно произносит:

— Запомните, Никита: с вашей глупой гармонией вы прозеваете все на свете!

Он искоса взглядывает на Вареньку и секунду молчит, как будто мысленно проверяет свое впечатление от ее повелительных и пугающих слов.

Тряхнув головой, Варенька говорит:

— Что, небось испугались?! Ух, как я ненавижу вашу скрипку! — сердито вскрикивает она, топнув ногой.— Я разбила бы ее в мелкие кусочки!

— Да я давным-давно забросил скрипку! — улыбается Никита.

— Ну, все равно! Я разбила бы вашу гармонию, и ваш контрапункт, и — что еще там?

— И фугу, и инструментовку,— вторит ей Никита.

— Какие дурацкие слова — фуга,— невнятно и все еще сердито говорит Варенька.

Внезапно она спрашивает строго:

— А зачем вы бросили скрипку?

Но тут же, не дождавшись ответа, она рассыпается грудным, веселым смехом и припевает с тем озорством, с каким школьники дразнят друг друга.

— Я знаю о скрипке одну историю... такую историю, такую...

И, опять не дожидаясь, что скажет Никита, перебивая самое себя, она спохватывается:

— Что же мы стоим здесь? Пойдемте к нам, а то так и не соберетесь. У нас сегодня капуста, слышите — тяпки?..

Она берет Никиту за руку и распахивает калитку.

Сашеньки, Настеньки и Селиверстовны угомонились, присмирели и косят подслеповатыми глазенками на хозяйскую дочку. Слыханное ли дело? Привела с улицы кавалера, обежала с ним двор, ущипнула кусочек моркови и — юрк с глаз долой, только их и видели! Да хоть бы зашла с гостем в дом, а то спряталась в палатке, поди-ка разгляди в темноте, что там делается!

В самом деле, Варенька затащила Никиту в палатку.

— Посидим,— сказала она, переворачивая вверх дном пустой ящик,— здесь хорошо.

Никита осмотрелся. Громадный закром, почти до потолка, отделял больше половины амбара. Внизу широкие выгребы стояли полные подсолнечного семени. По углам палатки валялись разбитые ящики и, как штабеля досок, были ровно сложены пустые мешки. Тусклый свет сочился из двери, воздух был прохладен и тяжел от густого запаха масла.

— Правда, приятно дышать? — спросила Варенька. Ей, кажется, нравилось, что гостю было здесь все внове.

— Что вы начали о скрипке? — спросил Никита.— Какую историю вы знаете?

— А-а, зацепило? — с удовольствием протянула Варенька.— Я знаю, как вы бросили скрипку.

— Как я бросил ее?

— Нет, лучше — когда вы ее бросили, при каких обстоятельствах...

— Это произошло не сразу. Я до сих пор иногда берусь за скрипку.

— Да нет же! Я знаю, когда началась ваша война со скрипкой.

— Я с детства не любил ее.

— Ну, перестаньте притворяться! Ведь вы отлично понимаете...

Она оборвала себя и, помолчав, сказала тихо:

— Мне рассказывала ваша сестра, и я в точности знаю, как все было... Помните, летом?

Варенька взглянула на Никиту настороженно, точно ожидая от него чего-то решающего. Но он отвернулся. Тогда, испугавшись, что ему скучно, она заговорила поспешно:

— Вам нравится здесь? Там доверху семечки (она кивнула на закром). Один раз туда упал мальчишка. Забрался на переборку, на самый верх, и полетел. А у нас как раз семена ссыпали. Туда вагона два уходит. Ну, пока мальчишка лежал на боку — ничего, а поднялся на ноги, ступил — начал тонуть. Хорошо, что...

Никита не слушал Вареньку. Что могла рассказать ей сестра? Какие-нибудь пустяки! Но лето, о котором напомнила Варенька, и те часы — сколько раз в жизни нечаянно возникали они перед Никитой, то стремительно проносясь, то проплывая тоскливыми нескончаемыми снами?

Это было после первых больших его надежд, когда он в радостном упорстве ломал, растягивал и гнул свои пальцы, счастливый тем, что мог одолеть такие трудности, о которых прежде не мечтал. Он был уверен в себе, пьян от мысли, что прикоснулся к настоящему труду, весел от чувства музыки, носившейся повсюду,— по луке, над стоячим, мертвым Чаганом, в его груди — в груди Никиты Карева, молодого и сильного человека. Этим летом бестолковый, смешной рост в вышину приостановился, мышцы налились, как зреющее яблоко, и плечи, спина, ноги стали крепче. Кровь пела в нем вместе с лукою, Чаганом, вместе с яблонями, которые раскалывались от тяжести плодов. Он быстро, опьяненно мужал, и тревожная нежность наполняла его тело.

Как-то раз Никита возвращался с котлубаней в сад. Перейдя через Чаган, он зашел в придорожную лавчонку, одиноко торчавшую у моста. Здесь он любил отдохнуть после бродяжничанья по

горячей степи. Лавочник-казак вытаскивал из ледничка под полом бутылку фруктовой воды, и Никита медленно глотал холоднова-тую, колющую иглами газа влагу.

Едва он подошел к будке, из отворенной двери, спрыгнув с крыльца, выбежала девушка. Она тут же увидела Никиту, остановилась и осмотрела его с ног до головы.

— Вы где пропадали? — неожиданно спросила она, сжав брови и начальнически вглядываясь в глаза Никиты.

Он так растерялся, что неловко, будто провинившись, забормотал:

— Я ходил на котлубани... ловить рыбу...

— Ловить рыбу? — строго переспросила она и, вдруг ухмыльнувшись, озорно и со странной укоризной покачала головой.— А рыба-то — вот она! — сказала, разводя руки и чуть-чуть кланяясь, точно приглашая осмотреть себя получше.

Никита не шевельнулся. Наверно, он был очень смешон с длинными удилищами в одной руке, с ведерком и фуражкой — в другой.

Минуту девушка постояла против него, наклонив голову вбок и по-прежнему разведя руки, потом без удержу расхохоталась и, отвернувшись, пошла прочь по желтой пыльной дороге, к садам. Шла она плавно, хотя немного тяжело, по-женски, и плечи ее слегка подергивались от смеха.

Никита смотрел ей вслед, пока не расслышал позади себя тихонького хихиканья. Он обернулся: в дверях будки стоял лавочник.

От этого лавочника Никита тогда же узнал, что девушка была — Варенька, дочь купца Шерстобитова, арендовавшего соседний с Каревым сад, что она не раз уже наведывалась в будку и выспрашивала о скрипаче Никите.

Он отказался от лимонада, которым его усердно потчевал торговец, и побежал домой.

Он хорошо помнил, что на Вареньке было белое платье, но почему же она чудилась ему яркоцветной? Он должен был бы сгореть от стыда за смешную свою неуклюжесть, но почему же ничего, кроме восхищения, не оставила в нем эта встреча?

Он мчался домой, пересохшим ртом вдыхая накаленный степной воздух, и глубокий голос не переставал дразнить его насмешливой укоризной:

— А рыба-то — вот она!

Ни тени обиды не мог отыскать Никита в озорном смехе Вареньки, и томительная, радующая мука была в ее появлении.

Он схватился за скрипку, стал выбирать пьесы, бросил их, бросил пюпитр и, не зная что́, начал играть.

Должна же была помочь ему музыка. Недаром он поверил в нее, недаром почти целый год бережно носил в себе отголоски ликования. пережитого на мендельсоновском концерте.

Но это был ничтожный, жалкий деревянный ящик — скрипка! Она пищала и повизгивала, как побитый кутенок, она голосила по-сиротски, точно нищий-слепец. А в этот час грузно вздыхала земля, с рекою, садами, степью, и в каждой клеточке, в каждой жилке Никиты, как в грозе, разрывались и гремели песни.

Скрипка! Дощаный органишка! Разве это — *музыка?!*

Никита с размаху швырнул скрипку. Инструмент упал на постель, стукнувшись о стенку. Никита слышал, как щелкнула лопнувшая квинта и в жалобном стоне сухо треснула дека.

В это время кто-то вошел в комнату. Помнится, это была одна из его сестер.

— Что с тобой? — спросила она.

Но он завопил:

— Убирайтесь от меня, убирайтесь! — И сам выбежал вон, на волю...

В тончайших черточках и в одно мгновенье вспомнил Никита эту первую свою встречу с Варенькой и вдруг задал себе недоуменный вопрос: что же было тогда и что происходило потом, в редкие встречи, отделенные друг от друга годами?

— О чем вы думаете? — расслышал он недовольный, глухой голос.

— Я слушаю,— сказал он, встряхнувшись,— мальчишка... чуть не потонул... Хорошо...

— Хорошо, что Витька оказался недалеко, услышал, как мальчишка кричал, и вытащил его...

Варенька испытующе заглянула в лицо Никите. Голос ее приглох еще больше:

— О чем вы всегда думаете? Вам что-нибудь мешает?

Никита быстро посмотрел на дверь и вздрогнул.

— Там кто-то подглядывает,— сухо сказал он.

— Легок на помине. Кому же больше: Витька!

Варенька встала, подошла к двери и крикнула во двор:

— Ну, пошел прочь, пошел! Вот дурак! — обернулась она к Никите.

— Он очень неприятен.

— Витька?

— Да.

— Послушайте, Никита.

Варенька подсела к нему совсем близко, и он ощутил прикосновение ее руки.

— Неужели вам не стыдно обращать на Витьку внимание? Он о вас не может слышать, потому что до смерти... ревнует меня к вам. Ну, а вы-то что?

— Я не понимаю, как можете вы держаться с ним запанибрата?

— Вам хорошо говорить,— с обидой сказала Варенька.— А попробуйте пожить здесь безвыездно, и Витька покажется кладом. Над ним хоть посмеяться можно.

— Вы мало знаете его...

Варенька захохотала.

— Вы можете не знать о нем самого плохого,— настойчиво сказал Никита.— Я видел...

— Ну, что вы видели?

— В прошлом году — помните? — мы ездили в сад. Я дожидался вас на дворе у ворот. Двор был забит людьми, возами. Я видел, как пробирался к воротам нагруженный воз. Когда он проезжал мимо кухни, на крыльцо вышел этот ваш Витька, осмотрелся, потом — я не мог разглядеть, откуда-то у него взялся ящик, большой, вот с этот, и он взвалил его на телегу. Возчик прикрыл ящик парусиной и уехал.

Варенька засмеялась еще веселей:

— Вы что же, думаете, я не знаю, что Витька — вор?!

Никита продолжал с отвращением:

— Мне было противно вот что: он заметил, что я видал все это, с ящиком, и ничуть не растерялся. Посмотрел на меня, наглец, вероятно, решил, что я не скажу, и такая мерзкая ухмылочка заиграла на его роже!

Никита стукнул кулаком по ящику и замолчал. Варенька глядела на него с любопытством.

— Я тогда хотел сказать вам об этом, но было очень гадко.

— Он был прав,— серьезно проговорила Варенька.

— То есть... как?

— Он правильно решил, что вы не скажете. Он людей знает. Прохвосты вообще знают людей. А вам нужно было сказать, назло ему.

Она подумала немного и добавила с уверенностью:

— Конечно, ничего не изменилось бы. С него как с гуся вода. Он всегда вывернется. Да и все знают, что он — вор.

— Ну, а вы-то, вы! — воскликнул Никита, вскакивая с ящика.— Зачем вы не прогоните от себя этого негодяя?!

— Разве вам не все равно? — быстро спросила Варенька, прищуриваясь на Никиту.

Он не ответил.

Тогда она поднялась, положила руки на его грудь и произнесла чуть слышно, сорвавшимся, потускневшим голосом:

— Милый, если бы вы поняли... если бы поняли...

В полутьме палатки лицо ее казалось бледнее обычного (может быть, она действительно побледнела), и остро блестели глаза, крут и темен сделался росчерк бровей. В сырой прохладе, пахнувшей подсолнечным маслом, стало напряженно тихо, так что слышно было, как потрескивали в закроме сохнувшие семена, и дробный стук тяпок доносился со двора, как далекое громыхание телеги по мосту.

Никита стоял лицом к свету, и Вареньке легко было видеть его... Что-то смятенное отражалось в его глазах — досада, неприязнь, стыд и восторг, точно он искал решения, как надо было поступить сейчас, готов был поступить как угодно и лучше всего не поступил бы никак. Он колебался на кромке между желанием и волей.

Тогда, чтобы столкнуть его с этой кромки, Варенька еще больше придвинулась к нему, коснувшись его груди своею и подняв руки до его плеч.

— Если бы...— еще раз шепнула она в лицо Никите.

Но он сделал шаг назад, и она, резко сорвав с его плеч руки, вскрикнула в отчаянии:

— Если бы вы поняли, какая здесь тоска!

И опять, словно испугавшись, что вот сейчас, недовольный ее порывом, Никита непременно уйдет, она улыбнулась и сказала нараспев:

— Тощища без конца, без краешка!

Никита живо протянул ей руки.

— Милый,— с волнением повторила она, сжимая его ладони.

— Что с вами? — участливо спросил он.— Вы всегда так жизнерадостны...

Она оттолкнула его.

— Ах, перестаньте! Ну что особенного? У каждого свое. У вас музыка. Возитесь с ней... и даже поглупели. А у меня... Ведь вы опять на сто лет закатитесь?

— Года на полтора.

Варенька в упор поглядела на него и вдруг, отвернувшись к двери, запахнула душегрейку и скрестила руки.

— Можете вообще никогда не приезжать, не надо. Уходите,— проговорила она тихо.

Никита молчал.

— Уходите, говорю я.

— Странный вы человек,— глухо сказал Никита.

— Я говорю вам — уходите!

— Ну, до свиданья.

— Уходите же! — крикнула она, поворачиваясь так, чтобы не видеть двери.

Он вышел. Она не шелохнулась. Но когда на дворе оборвался и затих стук тяпок (Сашеньки, Селиверстовны разинули, наверно, рты, глядя, как уносит ноги непрошеный кавалер), Варенька бросилась в темный угол палатки и изо всех сил затопала по земляному полу каблучками.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С виду город не похож на монастырь. Но десятки, сотни тысяч келий скрыты в его раздутом чреве, и множество жизней преображается и гаснет в вековечном городском послухе. И как монахи отбивали когда-то огнем и мечом вражеские нашествия, так город льет кипятком, смолою, варом с невидимых своих стен на головы супостатов. Прост и грозен монастырский устав: достигни цели. Так в городе: подчини дух свой началу, в которое веришь; и волю свою — ему же; и сердце твое пусть бьется не чаще и не реже положенного. Вот кладь, что ты должен сдвинуть с места; вот взвоз, на который тебе нужно поднять ее. Вези. Вези, поднимайся, достигай. Если ты упал под тяжестью клади, ты — плевел, нечисть, и тебя смоет по взвозу назад, в реку, и ты захлебнешься в половодье. Если же ты, в отчаянии, поведешь себе подобных на невидимую городскую стену, кипяток, смола, вар — твоя убогая участь. Поднимайся, достигай. Комнатенка в седьмом этаже — твоя келья, исполосованная рельсами и огнями площадь — твой собор, и труд твой — схима. Не отступай, упрямствуй, иди, иди!

...В Дрездене Никита жил в квартире, которую снимали по уговору четверо студентов консерватории. Он входил в их число. Это была фабрика шума, безалаберное, ярмарочное производство звуков, позиционная война музыкальных инструментов с нервами и душами соседних жильцов. В квартире обитали только два рояля, скрипка и виолончель. Однако соседи были убеждены, что господа студенты дали у себя приют объединенной музыкантской команде всех саксонских полков и вдобавок по меньшей мере оркестру королевской оперы. По справедливости, фабрика отличалась не столько силой звуков, сколько их длительной, безжалостной методичностью. Но капля воды частым падением долбит камень. И стоило на одну минуту нарушить расписание занятий, установленное при участии домовладельца, как с трех сторон раздавался воинственный стук квартирантов в стены и пол. Несчастный, проживавший этажом ниже музыкантов, имел на такой случай особое било, сооруженное из старой швабры, обмотанной на

конце суконочкой, чтобы предохранить от повреждения штукатурку потолка.

Соседом Никиты по комнате был скрипач Верт — наполовину немец, наполовину чех. Он должен был хорошо слышать музыку, как германец, и не хуже исполнять ее, как славянин. И он верил своей смешанной крови, как может верить тепло, что оно греет.

Верт был очень сильным, мускулистым человеком, заросшим буйными волосами. Поутру он шумно мылся, разбрызгивая кругом себя воду, и потом аккуратно вытирал полы тряпками и щеткой. Перед тем как взяться за скрипку, он засучивал выше локтя рукава рубахи, обнажал грудь и становился у окна. Окно выходило в небо. Верт глядел в утреннюю его синеву, подставив туловище и руки солнцу. Казалось, что под рубахой у Верта была надета мохнатая пуховая фуфайка,— настолько густо заросло его тело волосами, и солнечный свет, распахнутое в прохладу окно делали его здоровее, мускулистей обычного.

Он подходил к скрипке, точно столяр к верстаку, легко, как перышко, брал ее в руки и начинал трудиться. Он именно трудился,— с оголенными руками, открытой грудью, с глазами, наполненными простодушием,— в священном, сосредоточенном упорстве. К полудню в комнате становилось жарко, пот лился по груди и лицу Верта, и бархатная подушечка, подложенная под скрипку, прилипала к голой ключице.

Верт каждый день добивался какого-нибудь успеха, и ровная младенческая радость хорошо обращалась в нем вместе с чешско-немецкой кровью.

Выполнив намеченную работу, Верт приступал к иному священнодействию: он приводил в порядок свою жизнь. Это заключалось в неторопливом, обстоятельном подборе писем, концертных программ, каких-то счетов и расписочек, почтовых квитанций и пригласительных билетов. Клочки, оборвыши, полоски бумаг тщательно наклеивались, вшивались в альбомы, регистраторы, тетради. Верт составлял каталог своих нот, перечни и алфавиты книг, расписание занятий и прогулок, запись концертов и опер, которые ему приводилось слушать. Обширный дневник монументально венчал собою разграфленную, каталогизованную жизнь, и странно было, что вся эта величественная чепуха не могла помрачить прелестной ясности Вертова духа.

Над скрипачом потешались, он убежденно и добродушно отвечал, по-детски приподымая длинноволосые брови:

— Во всем нужна известная система. Музыка, как математика,— точная наука. Все окружающее музыканта должно звучать в одном ключе.

И он нумеровал, шнуровал, вклеивал в регистраторы свою

жизнь, и ключ, в котором она звучала, наверно, казался ему прекрасным.

Но однажды Верт вошел к Никите в неурочный час, и по одному взгляду товарища Никита понял, что произошло непоправимое.

— Карев,— сказал Верт,— я прошу вас уделить мне десять минут. Пойдемте в мою комнату.

Он нимало не изменился. По-прежнему здоровая краска просвечивала сквозь синеву его бритых щек, все те же кочковатые мускулы округляли его плечи и грудь, пуховая фуфайка волос виднелась за воротником рубахи. Только из глаз его исчезло простодушие, они померкли, обесцветились, как стекла погашенного фонаря.

— Вы сегодня не играли? — спросил Карев, садясь рядом с Вертом на кушетку и отодвигая к стене пустой скрипичный футляр.

— Нет, не играл,— ответил Верт.— И я не знаю... то есть, видите ли, Карев...

Он сосредоточенно уставился глазами в пустоту и с боязливой осторожностью проговорил:

— Вчера, после урока, Гюбнер предложил мне перейти на альт.

— Что? — вскрикнул Никита.

Гюбнер был профессором по классу скрипки и многолетним учителем Никиты.

— Да, да,— подтвердил Верт равнодушно.— Он предложил мне перейти на альт. Он сказал: «Из вас, несомненно, получится хороший скрипач, прекрасный скрипач. Но, милый Верт, сказал он, милый Верт... прекрасных скрипачей немало. И теперь скрипачу так трудно работать, то есть зарабатывать. Получить достойное место невозможно, почти невозможно. А спрос на альтистов громадный, хороших альтистов нет. Из вас, милый Верт, сказал он, должен получиться совершенно замечательный альтист, исключительный, редкий альтист. С вашей одаренностью, сказал он, музыкальностью и с вашими пальцами,— смотрите, какие у вас пальцы, они созданы для альта... Конечно, сказал он, вы можете продолжать работать на скрипке, я ничего не говорю, вы делаете хорошие успехи. Но мой совет — перейти на альт». Он больше ничего не сказал... И это все, что я хотел сообщить вам, Карев.

Верт смущенно улыбнулся.

— Это все,— повторил он.— Я прошу вас, Карев, не говорить пока об этом. Я избрал вас потому, что вы отнесетесь к этой истории серьезно.

— Но ведь ваш Гюбнер сошел с ума! — опять закричал Никита.

Верт молча встал и подошел к столу. Взяв скрипку, он повернул ее в руках, удивленно разглядывая деки, как будто никогда прежде не видал их плавно изогнутых поверхностей.

— Коварный инструмент,— проговорил он.

— Трагический,— в беспокойстве отозвался Никита.

— Коварный и трагический,— повторил Верт и внезапно обернулся к Никите: — Вы знаете шахматы, Карев?

— Нет.

— Хотите, я научу вас?

Так священнодействие игры на скрипке и регистрации бумажек сменилось молчаливым сиденьем за шахматной доской.

Верт тяжело обдумывал ходы, с опаской брался за фигуры, подолгу держал их в широких расплющенных пальцах, и тогда Никите казалось, что эти пальцы действительно не годны для скрипичного грифа и рука Верта, в пушистом покрове волос, как в перчатке,— рука обреченного неудачника. С каждой партией выигрыш давался Верту трудней, рассеянность возрастала в нем с разрушительной силой. Он садился за шахматную доску, чтобы сосредоточиться на одной мысли, но она ускользала от него, и он бесплодно разыскивал ее в хитросплетении фигур. Спустя неделю он впервые сдал партию Кареву.

— Вы делаете успехи,— сказал он,— очень хорошие успехи. Не меньше тех, которые пророчит мне Гюбнер, если я перейду на альт.

Лицо его подернулось немощной улыбкой, точно он просил извинить его, что заговорил о том, о чем лучше было бы молчать.

С ним стали обращаться бережно, он внушал гнетущее, подавляющее беспокойство, его устойчивая житейская система неожиданно рухнула, рассыпалась в пыль и вдруг из придурковатой стала жутко-зловещей.

Теперь Верт умывался не так шумно, скупо тратил воду, синева его бритых щек перешла в черный колючий панцирь, стало видно, что борода растет у него начиная от скул и за ушами сливается с шевелюрой затылка. Он зарастал волосами, как заброшенный деревенский двор — чертополохом и крапивой. И странно нежен сделался его взгляд из-под мохнатых, детски приподнятых бровей, словно он молчаливо благодарил за то, что друзья понимали его.

Наконец ночью, в совершенной тишине, Никиту Карева разбудил сожитель-виолончелист. Он бормотал в волнении:

— Там что-то упало... тяжело упало...

— Где? Что упало? — привскочив, спросил Никита.

— Там,— чуть слышно повторил товарищ, показывая на соседнюю комнату,— не знаю что...

— Почему же вы не пошли туда?

— Не знаю. Я хотел сказать вам, чтобы вместе с вами...

— Вы думаете... Какое-нибудь несчастье? — прошептал Никита.

— Нет, не знаю. Только... я не могу один... пойдемте вместе.

Никита выпрыгнул из постели и, не одеваясь, побежал к комнате Верта.

Они раскрыли дверь. На них пахнуло холодом. Дрожь охватила Никиту, и он спросил:

— Почему такой холод?

Он отчетливо помнил, как в этот миг насмешливая мысль подсказала ему, что он босиком и ему холодно потому, что холоден пол. Он взглянул на товарища, стоявшего позади.

— Не могу понять,— сказал тот, преодолевая такую же, как у Никиты, дрожь,— откуда этот холод...

У Верта горела газовая лампа, но за печью, выступавшей около двери, Никите не видно было всей комнаты.

— Это... давно случилось... упало?

— Я как услышал — пошел к вам.

Никита шагнул вперед. В комнате был беспорядок: на полу валялись раскрытый чемодан и портплед, из ящиков стола выглядывали и свешивались листы бумаги и тетрадки. Дверь веранды стояла притворенной, и там было темно, как за окнами.

Никита кинулся туда.

В этот момент он явственно различил, как существо его раскололось надвое. Одна часть (та, что стояла где-то позади, у спины и затылка) сразу поняла и ощутила происшедшее. Другая вся собралась впереди, в том, что составляет лицо человека, и затрепетала в животном отчаянном неверии. Голова, грудь, руки Никиты, все его лицевое существо рвалось вперед, чтобы как можно скорее убедиться, что ничего не произошло, что ничего не могло произойти, что жизнь осталась жизнью, что страха нет,— иначе к чему бы это беспокойство рук, биение жилок на висках, захолодавшее дыхание? Лицевое существо рвалось увериться в жизни. А то, что стояло позади и где-то в спине, в затылке, жестко стерегло сознание, разум, волю, все те дольки души, из которых слагается мужество, эта часть существа с неприятной решимостью, похожей на злорадство, признала: да, вероятно — кончено, но кончено не для тебя, а для другого, ты жив и должен заботиться о себе, по-прежнему о себе. Эта холодная, мужественная часть существа успела напомнить Никите, что, когда он с тремя своими товарищами снимал квартиру и осматривал веранду, Верт увидал на потолке крючок для лампы и глупо пошутил:

— Масса удобств: есть и крючок, чтобы удавиться.

Два этих голоса расколовшейся сущности расслышал Никита в кратчайший момент, пока, пробегая по комнате, пять-шесть раз переставил ноги.

Верт лежал на полу, вдоль стены, головою к двери. Он вытянулся, точно солдат в строю. Нельзя было понять, как это произошло с ним.

Тогда все, что составляло лицевую, животную сущность Никиты, отпрянуло назад. «Не может быть, не может быть»,— клокотало в нем с возмущением. «Не может быть? — быстро спрашивало то, что стояло позади.— Почему же ты шарахнулся, будто лошадь, которую привели убрать с дороги падаль? Лучше признавай, что это так, и береги, смотри береги себя!» Но в нем все содрогалось от негодующего «не может быть!».

— Возьмем,— сказал он товарищу, заставляя себя нагнуться к Верту.

Он просунул ладони под его голову, охватил шею и поднял. Виолончелист взял Верта за ноги, в коленях.

И первое, что мелькнуло в сознании Никиты, едва он, спиною вперед, начал протискиваться в дверь: тело Верта было чрезмерно тяжело. И сейчас же, одно за другим: как стеклянно холодна его шея! Как прямы опустившиеся руки!

И — в негодующем отчаянии: обман! ложь! омерзительное притворство! Этот несчастный притворяется!

И вот Верт не положен, а брошен, кинут на пол, подле кровати: Никита со злобой рознял свои руки, и затылок Верта глухо стукнулся о гладкую половицу. И когда Никита распрямился и легкая струйка воздуха взлетела за его лицом с пола, он поймал в этой струйке чуть уловимый тонко-пряный запах тлена.

Тогда исчезла раздвоенность его существа, и молниеносно быстро всего Никиту — от ступней до кончиков волос — поразил страх.

Верт сдержанно усмехался, поджав сузившиеся лиловые губы, чуть-чуть показывая розовый язычок, по-детски подняв волосатые брови, и желтым хвостом торчал под его подбородком оборвавшийся ремень.

Никита опустил руку, чтобы растянуть петлю ремня (это был ремень от портпледа, и петля сидела как на портпледе, только поуже: конец ремня был вдет в пряжку), но едва ощутил стеклянный холод Вертова подбородка, отдернул руку.

— Трогать нельзя,— деревянным тоном сказал виолончелист,— нужно сохранить картину для следствия.

— Картина, картина! — вскрикнул Никита.

Голос подбодрил его, ему тут же захотелось крикнуть еще что-

нибудь, но Верт лежал так неподвижно, так серьезна была его неподвижность, что голос Никиты пропал в глубине горла, и он опять содрогнулся от омерзительной мысли: неужели Верт притворился?

— Доктора,— вдруг решил кто-то за Никиту, и он схватился за это слово, почувствовав, как вместе с ним освобождающе пронеслось по его жилам тепло.

— Сейчас же за доктором! Я побежал за доктором!..

Он несся в темноте улиц, с усилием припоминая, откуда взялась у него трубка (он иногда курил папиросы), и прилаживаясь удобней захватить жесткий мундштук зубами. Ему было жарко, он часто подергивал лопатками, чтобы отстала от спины приклеившаяся сорочка.

— Несчастье! — задохнувшись, пробормотал он, вбегая в участок.— Случилось несчастье! Где дежурный врач?

Шуцман, застегивая серебряные пуговицы мундира, вышел из-за ширмы и, позевывая, спокойно выслушал Никиту.

— Вы говорите — повесился,— произнес он раздельно и негромко,— значит, умер. Но если умер, тогда зачем вам врач? Ступайте домой, я приведу все в порядок.

О каком порядке могла быть речь? Надо было спешить, торопиться, бежать, попеременно в жару и холоде, раскуривая трубку десятками гаснущих спичек, пощелкивая зубами по жесткому, холодному мундштуку, чтобы удобней захватить его и крепче держать.

Но какая неподвижность! Лежать так прямо, по линейке протянув прекрасно сложенный корпус, как перед решающим смотром выпятить грудь, прижать руки к бедрам и сдержанно усмехаться — неужели вечно, вечно усмехаться, до истления, лиловыми сузившимися губами? — недвижно, абсолютно недвижно! И какая пошлая, трусливая мысль: притворился!

В оцепенении Никита дождался у себя в комнате звонка.

Пришел полицейский секретарь — низенький смуглый человек, недовольный, что его подняли с постели. Не нагибаясь, пренебрежительно он оглядел Верта, потом вышел на веранду и посмотрел на оборванный конец ремня под потолком. Подойдя к столу, он взял двумя пальцами аккуратно обрезанный клочок бумаги, лежавший на видном месте.

Странно, что этого клочка прежде никто не заметил.

Никита заглянул через плечо полицейского.

На клочке очень ровно было написано:

«Прощайте, Карев, благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке.

Верт».

Какой-то душный колпак опустился на голову Никиты. Он упал бы, но позади него, у кровати, в неподвижности лежал Верт.

Полицейский, обернувшись, спросил:

— Wer ist Kareff? [1]

— Я,— отозвался Никита.

— Wie war's? [2] — произнес сквозь зубы полицейский, бросая бумажку на стол.

Виолончелист рассказал ему главное. Он слушал, не перебивая и блуждая взглядом по стенам. Верта он не замечал больше.

— Es ist klar [3],— сказал он, когда рассказ был окончен.— Но ведь профессор был прав: альтисты зарабатывают лучше скрипачей...

Он недоуменно подергал маленьким пальцем струны скрипки, лежавшей тут же, на столе, и спросил:

— Это — его?.. Квинта спустила,— добавил он, как будто ожидая комплимента.

Ему никто не ответил.

— Я пришлю людей,— сказал он, уходя.

Спустя час, на рассвете, пришли люди. Это были рассыльные в красных фуражках, понурые существа, часами сосавшие трубки подле вокзалов и кафе. Они внесли прямоугольный длинный ящик с железными ручками, подняли Верта и попробовали уложить его в ящик. Но Верт вырос не по мерке. Тогда рассыльные согнули ему ноги. Они подсунули под сгибы колен крышку ящика ребром, и один из них навалился Верту на ступни. Ноги его сгибались медленно и туго. Он вошел в ящик, и посыльные в красных фуражках вынесли его на лестницу, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить квартирантов.

Газовый рожок в комнате Верта еще горел, когда закрывали крышку ящика. Но утренний свет был уже силен и побеждал лампу. Эта борьба двух источников света отразилась на лице Верта бледно-сиреневым оттенком, тень, упавшая от крышки, придала лицу землистость, и темнота ящика бесследно поглотила его.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О, если бы бесследно! Воображенье наделено зрачками, из которых однажды виденное исчезает только со смертью или в безумии. Можно бежать из дома ранним утром, много раз кряду пройти по Pragestrasse, купить и прочитать в кафе газету, зайти на

---

[1] Кто Карев? *(нем.)*

[2] Как это было? *(нем.)*

[3] Ясно *(нем.)*.

вокзал, переменить полдюжину скамеек в тенистых кущах Bürgerwiese, и все напрасно, напрасно и тщетно! Пустыми глазами будешь смотреть вслед белым легким платьям женщин, наводнивших кружевами, перьями, оборками полированную улицу. Пустым, как будто вылущенным взглядом будешь следить за убегающим поездом. Неощутимо будешь пить все тем же пустым взором тонущую в солнце зелень газонов и желтый покой листвы — все, все пройдет мимо тебя, не тронув, не коснувшись средоточия чувств. Но с какой режущей болью вопьются зрачки в красные тульи фуражек около вокзала,— вон те, нет, вот эти! — понурые люди с красными головами, это они сгибали ноги Верта, подставив под них ребром крышку ящика, они унесли Верта по лестнице, стараясь тише ступать, чтобы не потревожить жильцов! Как быстро отыскивают зрачки в громоздкой выставке универсала то, что нужно отыскать, чего не отыскать нельзя: дорожный портплед, на нем— ремни чуть грубоватой желтой кожи. И вот еще быстрей, еще пронзительней: какой-то человек с лиловыми поджатыми губами. Он улыбается, он усмехается так сдержанно, так неподвижно! И снова: статуя фонтана, на ней бледно-сиреневый отсвет, холодный, вдруг переходящий в серое, землистое. Может быть, это тень качнувшегося дерева, может быть... тень падающей крышки? Может быть, все вокруг окрашено в лиловый цвет? Посмотри на свои ногти. Разве когда-нибудь видел ты их фиолетовыми, почти серыми? Разве не струилась под ними кровь, пробиваясь сквозь белый роговой покров здоровой розовой краской? Но это от прохлады, от проведенного на воздухе целого дня, от бессонной ночи, от голода наконец! Черт побери эти детские ужасы! Не в них дело!

Что заполняло Никиту, когда он скитался по уныло-чистому городу? Портплед, серебряные пуговицы шуцманов, фуражки рассыльных, сжатые узкие губы прохожего, лиловые оттенки, лиловая окраска, переходящая в землистый цвет, всего — травы, трамваев, желтых листьев, бронзовых памятников, белых юбок женщин. Смерть есть смерть, не больше. И не в ней — о нет,— не в ней беспокойное значение этих часов! «Не в альте дело, а в скрипке». Не в том, к чему перейти, но в том, что оставить.

Оставить? Не пора ли оставить теперь же, не дожидаясь, когда какой-нибудь Гюбнер скажет, что, конечно, милый Карев, из вас выйдет очень хороший музыкант, но, милый Карев, хороших музыкантов много. Бросить, уйти, убежать, пока еще не поздно, пока есть куда убежать!

Но куда же, куда? Оцепенение одиночества охватывает Никиту, как ночью его охватило оцепенение ужаса. Весь путь, который привел его на гладенькую скамью Bürgerwiese, весь путь му-

зыканта Никиты Карева, бездарно уткнувшийся в этот парк чопорных филистерских прогулок, разве не предопределил он собою бесплодного, одинокого конца?

И вот — последний знак, последнее предупреждение: Верт!..

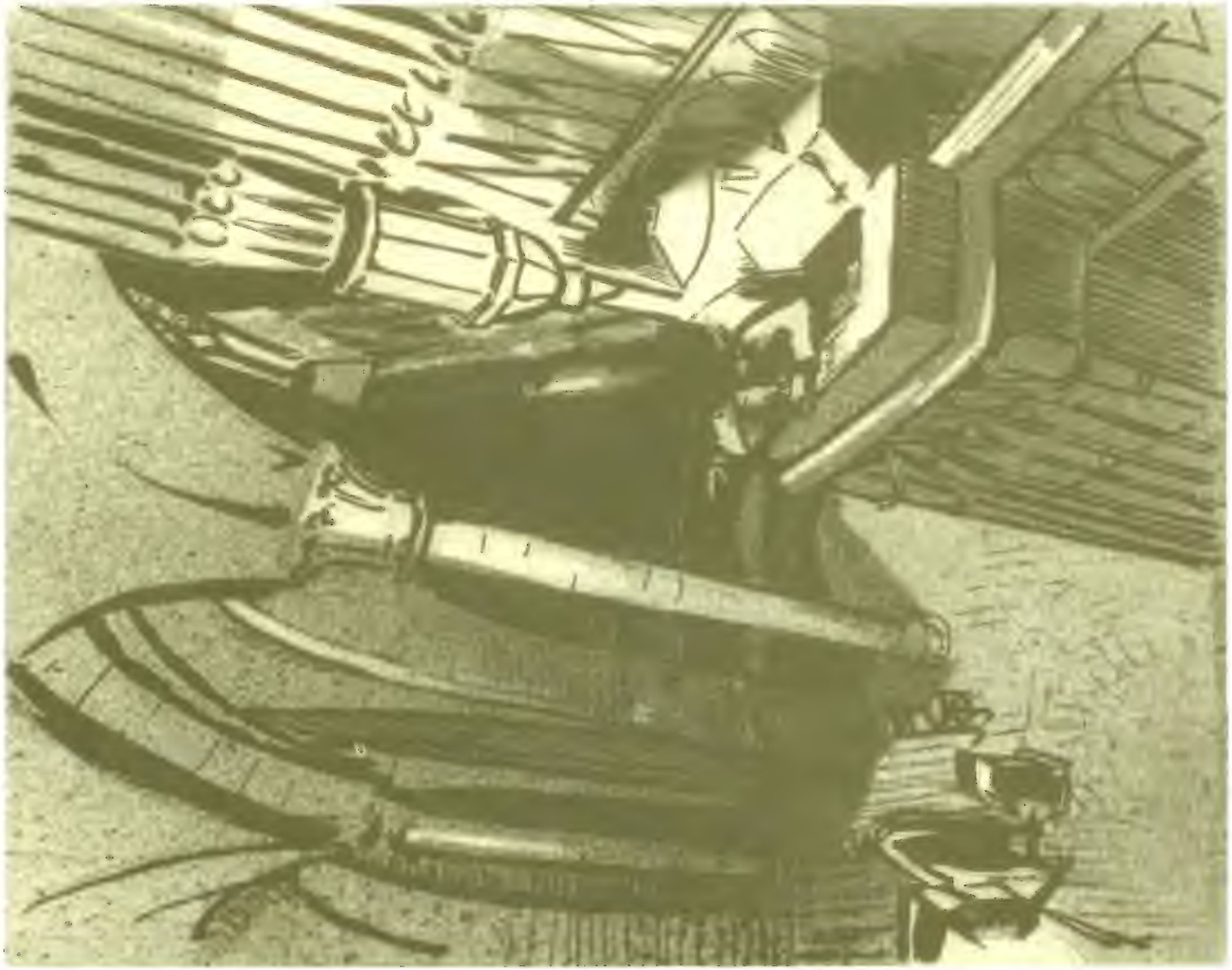
За каждым препятствием, возникавшим перед Никитой, он постоянно чувствовал такое предупреждение. Но он упрямствовал, не отступал. Как бесконечно много упущено было случаев уйти, бежать, бросить! Глупец! Он увеличивал ставки, вместо того чтобы сойти с круга. Он понял, что никогда не сделается скрипачом, и решил сделаться дирижером. Понял, что раскрывать чужие души — великое искусство, и вздумал раскрыть свою! И — ничтожество, безрассудная пустота! — вот она раскрыта, эта душа, и ничего, кроме хаоса, смятения, в ней нет!

Он был брошен в отчаяние давно, в Москве, едва очутился в переулках, изрезавших Никитскую с ее монументально-неудобной консерваторией. В каморках старых, источенных червем домишек, на чердаках нелепых многоэтажных сооружений, в лавочках инструментальных мастеров, в коридорах и вестибюлях концертных помещений, во всем великомосковском стеснении (о да, Москва звучит в своем ключе, сказал бы Верт) Никита почувствовал впервые особый музыкальный быт. Культура, говорилось здесь, культура — не знание музыки, но знания о ней. Здесь слово «музыка» впивалось так, как соки земли впиваются сосною — непрерывно, на протяжении десятилетий. И люди говорили о себе здесь: я музыкант — ну, как сосна в бору могла бы сказать: я сосна.

О, это было насыщение знанием, подобное насыщению соснового бора смолистым запахом. И в этот бор попал Никита — сын Карева, Василь Леонтьича, уральского казака, управителя степных просторов, яблонь на Чагане, овечьих гуртов в Зауралье!

С каким смешным ожесточением Никита взялся за фортепьяно! Ему казалось, что он верно понял и определил свой путь. Тут говорилось — овладеть инструментом, чтобы уметь грамотно выражаться; изучать образцы, чтобы прочно помнить, что́ пройдено и чего нельзя повторять. О да, но помнить яблони, помнить, как раскалываются яблони под осень, когда нальется урожай; помнить, как плывут известковые облака пыли над гуртом скотины, которую гонят по дороге; помнить, как страшно в степи, когда она молчит! Помнить все это, хранить в сокровенной глубине сердца и — да, конечно,— изучать, изучать образцы — Баха и Гайдна, Моцарта, Листа, Россини, даже Дебюсси и даже Сен-Санса — почему не изучать Сен-Санса, ведь надо же знать, что́ пройдено и чего нельзя повторять!

Никита помнил, как исступленно совершил он перевал от отчаяния к негодованию, как на четвертый год работы с образцами



:Братья»

он бросил Москву, вдруг омертвев, вдруг странно утратив чувство воздуха и пространства, вдруг все забыв. «Фундаментальный трактат о контрапункте» показался ему обновляющим чтением, и — со словарем в руках — развалившись под яблоней, он изучал книгу, снова опаленный горячим током степи. Он берег тогда свое негодование, раздувая его, как тлеющий уголь, любовно неся в себе вражду ко всему чужому. За лето он выжег этим углем остатки интереса к тому, что было сделано не им самим, приехал в Петербург таким же дикарем, каким его увидела когда-то Москва.

Он верил, что ему не нужно десятилетиями впитывать культуру музыки, как сосна впитывает соки земли, что он усвоил знание о музыке и отбросил его, освободив свою природу, что он внедрился в музыкальный быт и, преодолев его, нашел и утвердил свою самобытность.

Легкомыслие! Ему суждено было узнать, что самое существо музыки подлежит изучению наравне с содержанием, далеким от существа, как далека наука психологии от человеческой психики. Он все еще оставался учеником, и угроза навсегда им оставаться только возросла, когда он вздумал писать музыку. Он заставил себя сделаться ревностным учеником, каким он был всегда, и, точно школьник, решающий задачки по математике, гармонизировал чуждые напевы, которые давали ему в консерватории.

И он добрался до вершины, чудившейся ему желанной, он протянул руки, и они коснулись музыки, они коснулись того, что́ он слушал внутренним слухом, чего реально никто не слыхал, что́ совершенно звучит только в музыканте и чему музыкант присвоил неловкое имя: абсолютная музыка. Да, он коснулся ее, он сумел уже создавать оркестры, произвольно (когда бы произвольно!) подбирать инструменты, он мог уничтожать однажды созданное, как творец.

Он взошел на вершину, протянул руки, и они коснулись — чего вожделел он. Он поднял глаза и увидел, что касается подошвы новой горы, вершина которой исчезала в высоте. Опять он был учеником!

На этот раз поиски привели его в Дрезден, и сочинение органной пьесы стало его целью...

Когда Никита вспомнил об этом, краски, линии, формы, заполнявшие его восприятие, уступили место звучаниям: в зажегшихся вечерних огнях город слышен был явственнее и полнее.

Карев поднялся со скамьи и быстро пошел. Но чем ближе подходил он к своему дому, тем неуверенней и непокойней делались его шаги.

Вдруг до сознания его дотронулась неожиданная мысль: он должен обратить взгляд на самого себя и передать то, что увидит.

Ведь самый путь его, путь музыканта Никиты Карева, слагался в законченную тему.

Шаги его окрепли, пальцы опущенных рук дрогнули и разъединились, как будто приготовившись подняться на клавиатуру, но тут же он почувствовал приближение дома. Он поднял голову и увидел стекла веранды. Они переливались смутными отсветами уличных огней, а в мелком переплете рам таилась неподвижность темноты. Все окна квартиры стояли окованными этой неподвижностью.

Он с трудом оторвал ноги от мостовой, нарочно быстро перешел дорогу, взбежал по лестнице и вздохнул только у двери квартиры. Надо было перешарить все карманы, чтобы отыскать ключ. Он лежал там, где всегда носил его Никита,— в правом кармане пальто.

И вот дверь с шумом открыта настежь. Стуча башмаками и громко откашливаясь, Никита входит в переднюю и дергает цепочку газовой лампы. Молочный свет медленной волной обливает одинокое, неподвижное серое пальто на вешалке. Наверху, на полке, над самым пальто лежит широкая фетровая шляпа. Значит, дома никого нет,— это пальто и шляпа Верта.

Раздеваясь, Никита на секунду перестает шуметь. Тогда тишина холодным дуновеньем выскальзывает из-под двери Вертовой комнаты и заставляет Никиту шаркнуть ногой, закашлять и промычать себе под нос какой-то немудрящий мотив.

Он вешает свое пальто на другой конец вешалки, но тотчас перемещает его поближе к пальто Верта, вскользь прикасаясь рукой к поверхности чужой одежды. Пальто колышется обычным колыханием висящей материи и на ощупь вполне обыкновенно, слегка прохладно и шершаво.

Никита оставляет газ гореть и, плотно прикрыв за собой дверь, прислушиваясь к безмолвию, стоит в темноте посредине комнаты. Потом он привычно находит лампу над своим столом, и свет падает прежде всего на аккуратно вырезанный клочок бумаги:

«Прощайте, Карев. Благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке.

Верт».

Никита мгновенно оборачивается к двери. Где он? В своей ли комнате? Да, это его комната, комната Карева. Как очутилась записка у него на столе? Ее положил кто-нибудь из товарищей, наверное — виолончелист. Зачем? В ней Верт обращается к нему, Кареву. Но почему к нему, почему именно к нему? Неужели Вер-

ту нужно было связать его ответом за свою смерть? О, он должен был бы адресовать записку Гюбнеру. «Прощайте, Гюбнер, благодарю вас за альт»,— должен был бы написать он. Пусть Гюбнер получил бы предсмертную записку самоубийцы!.. Но эта записка принадлежит Никите. Пусть помнит Никита, что, перед тем как выдернуть ремень из портпледа, самоубийца думал о нем, о Никите.

Он поворачивается к столу, берет записку и внезапно рвет ее на мельчайшие кусочки. Он кладет кусочки в пепельницу, закуривает папиросу и поджигает бумагу. Ровные клочья ее горят желтовато-синим огоньком, чуть-чуть шурша, дымя и раскаляясь докрасна, потом чернеют, оседают и обращаются в пепел. Никита осторожно несет пепельницу к печке, открывает дверцу и вытряхивает пепел в топку. Тогда что-то протяжно стонет за его спиной. Прислушиваясь, он поворачивает голову и замечает на шкафу портплед. Это его портплед, портплед Карева, но ремни на нем не отличны от ремня Верта, от того ремня, кусок которого остался на шее Верта. Снимут ли его с Верта? Наверное, да, когда будут вскрывать труп. Снят ли другой кусок ремня с крючка, там, на веранде?

Никита подходит к шкафу и толкает портплед кулаком так, чтобы его не было видно. На мгновенье после этого становится тихо, потом вдруг что-то падает со скрипом и шуршанием. Никита вздрагивает, и вместе с потоком жара, обдающим тело, отчетливая ликующая мысль приводит его в чувство: портплед завалился за шкаф.

— Довольно,— произносит громко Никита и почти со смехом идет к роялю,— довольно!

Он прислушивается, как звуки колышут тишину, и сосредоточивает все свои силы на возможной связи сочетаний, которые готов породить взятый аккорд.

Тогда в звуки рояля, едва они стихли и расплылись, в тон верхней ноты аккорда, продолжая его, вплетается прекрасно различимая скрипичная нота. Она настолько тиха, что может исходить только из дальней комнаты, из комнаты Верта. Никита вновь с силой ударяет по клавишам и рвет аккорд педалью. В какой тональности начал он игру? Фа мажор. Да, да! И вот оттуда, из комнаты Верта, несется си-бемоль, верхнее си-бемоль! Но ведь квинта на скрипке Верта спустила! Это заметил даже полицейский!

— Довольно же! — кричит Никита, вскакивая со стула и бросаясь в переднюю комнату.

Он останавливается под лампой, вслушиваясь в отголоски своих шагов. Си-бемоль звучит над его головой ровно и сильно, хотя чистота скрипичной ноты совершенней этого хриплого, засо-

ренного писка. Он смотрит вверх. Часть сетчатого колпачка газовой горелки истлела, отвалилась, и равномерная струя газа высвистывает на щербине колпачка ясно различимое верхнее си-бемоль.

Так, так, это уже — победа! Бодрость распрямляет Никиту, он решительно подходит к Вертовой комнате, с размаху нажимает ручку замка и распахивает дверь. Как и прошедшей ночью, из комнаты дует холод: дверь на веранду не закрыли; осенняя ночь свежа, и воздух стынет быстро.

Никита входит в комнату. Он зажигает лампу. Беспорядок нисколько не переменился: из стола торчат листки бумаги, на полу валяются раскрытый чемодан и портплед. Усилие, еще одно усилие — и Никита обертывается лицом к кровати. Здесь, на полу, ногами к затворенной двери веранды лежал Верт. Теперь здесь никого нет. Пол пуст. Чуть сдернут с кровати конец одеяла. Наверно, его задели, когда укладывали Верта в ящик.

Еще усилие, еще одно последнее усилие! Никита направляется к веранде. Несколько секунд он должен преодолевать взглядом темноту. Он различает очертания рам. Ему нужно посмотреть наверх, под потолок. Но взор его натыкается на упавший стул. Как попал сюда стул? Наверное, пытались снять с крючка ремень. Надо только поднять взгляд, чтобы убедиться, что ремня нет. Но глаза не могут подняться, и неожиданно яркое воспоминание, мгновенно переходящее в осязательное чувство (коленка сильно ударяется о ножку стула), отбрасывает Никиту прочь от двери. Как мог он забыть об этом? Когда, подняв Верта с пола, он начал подвигаться к двери, спиною вперед, коленка его ударилась о ножку стула, и он тогда же,— о да, тогда же! — подумал: этот стул Верт вышиб у себя из-под ног, едва петля была надета на шею. Внести теперь этот стул в комнату? Нет, нет!

Никита закрывает дверь и дважды резко поворачивает в замке ключ. Он старается удержать ощущение холодного металла в пальцах, которыми только что держал ключ: да, он в действительности запер дверь веранды.

Зачем он пришел в эту комнату? Нужно что-то сделать. Нужно подойти к столу и привести в порядок ящик. Кто-нибудь должен взять и пересмотреть все, что осталось после Верта. Но Никита берет только одну книжку — учебник шахматной игры. Да, кажется, он затем и пришел сюда, чтобы взять эту книжку.

Он тушит лампу и, стараясь ступать медленнее и ровнее, мурлыча песенку, выходит в переднюю. Но дверь он закрывает стремительно, одним тяжелым и сильным движением, точно ускользая от кого-то, и так же, как в двери веранды, дважды повертывает ключ.

В своей комнате он подходит к роялю, но тотчас догадывается, что играть нельзя, потому что за музыкой ничего не слышно. Слышать же нужно все — тончайшие шорохи, потрескиванья, скрипы,— боже мой, каким истребляющим разрушением исполнена каждая секунда, с какою машинною непрерывностью подкрадывается ко всему смерть, каким отчаянием проникнуты все эти вопли, стоны и жалобы умирания!

Никита отыскивает в книге шахматную задачу, берет доску и расставляет фигуры. Так, притаившись, улавливая малейшее движение воздуха, он собирает волю и мысль на одном: в три хода мат.

Постепенно осмысливаются темные деревяшки, наполняются значением квадраты полированной доски. Турою можно шаховать: раз, два, три — три хода. Впрочем, одна минута. Почему не третий ход? Тогда король защищается... Нет, защищаться он не может. Он уходит... раз, два... сюда. Конечно, третий ход. Тура как будто движется сама. Она качнулась вверх и вбок, точно приподнятая невидимой рукой. Невидимой? Рука видна прекрасно: расплюснутые широкие на концах пальцы, буйно растущие волосы, покрывающие кожу пуховой перчаткой, лоснящиеся от мыла и воды.

— Ваш ход, Карев,— тихо говорит Верт.

— А-а-а! — вскрикивает Никита, ударяя по шахматной доске снизу вверх. Грохот падающих фигур, доски и стула возвращают его к жизни. Но он стоит, прижавшись к стене, блуждая широкими, горящими глазами по комнате, и торопливые змейки пота, извиваясь, ползут по его лицу.

Стул валяется на полу точно так, как другой такой же стул на веранде. Никита широким шагом приближается к нему, берет его и с неистовой злобой ставит на ножки.

После этого наступает тишина.

И в совершенном беззвучии, когда, казалось, приостанавливалась навсегда жизнь, Никита различил, как осторожно и неторопливо в передней комнате, в дверном замке повертывается ключ. Вот повернулся раз, вот приостановился, не поддается... поддался, и вот — другой раз, полный оборот.

Тогда в исступлении, сгорая и содрогаясь от приступа озноба, Никита бросился к двери.

В переднюю входили его товарищи.

Он прислонился к косяку и, обессиленный, посрамленный, готовый признаться в малодушии и осмеять себя, освобожденный в то же время, пролепетал:

— Черт побери! Черт возьми! А я вздремнул, и вдруг... мне показалось... черт...

Так наступила и прошла ночь...

И вместе с утром, обновившим очертания и смысл предметов, в Никите вспыхнула решимость противиться, всей силою противиться тому, что предвещала исчезнувшая темнота.

— Думайте что хотите,— сказал он товарищам.— Слабодушие, безволие — мне все равно. Я не могу оставаться здесь. Не могу работать, не могу дышать. Это вовсе не страх, это...

— Но никто не говорит, Карев, что это — страх,— неожиданно мягко возразил виолончелист.— Мы сами думали...— И он поглядел на своего соседа.

Тогда Никиту опять передернуло испугом. Откуда такая бережность к нему у этих людей? Разве они не должны были бы высмеять его? Неужели он внушает сочувствие? Не значит ли это, что на лице его уже написана участь Верта?

Он был уверен, что все изменится, как только он бежит из этих несчастных стен. Его бегство было безоглядным, и чем лихорадочней он спешил, тем меньше его смущала постыдность отступления.

Утром была найдена квартира, в полдень Никита уже распределил по комнате последние мелочи своего монашеского обихода, уехал за город и к вечеру вернулся, и ободренный и успокоенный сознанием, что возвращается в новое жилище, пожалуй — к новой жизни.

Но преследования едва лишь начинались.

Поднявшись по лестнице, Никита услышал странный больничный запах — что-то холодновато-приторное, похожее на формалин или карболовую кислоту. Он позвонил и долго ожидал у двери. Никто не отзывался ни на второй, ни на третий продолжительный звонок. Бесплодное ожидание у малознакомой двери, в тишине, пропитанной тягостным запахом больницы, излучавшимся, казалось, этой дверью, как тепло — печкой, стало беспокоященеприятно. Никита позвонил в соседнюю квартиру. Открыла молодая, очень приветливая женщина и, увидев Никиту, быстро сказала:

— Вы — новый жилец? Вам оставлен ключ от квартиры. Ваша хозяйка заболела, и ее увезли. У нее, кажется, что-то с желудком...

— Откуда такой запах?

— Была дезинфекция, приезжали санитары. Я сейчас принесу ключ.

— Позвольте, а где же прислуга?

— Прислуга? Она не захотела оставаться одна в квартире и ушла. Господин музыкант, конечно, не испугается одиночества,— улыбнулась женщина,— я сейчас дам ключ.

Вернувшись, женщина подошла к двери и показала, как отпирать замок.

— Покойной ночи, господин музыкант,— произнесла она с любезной готовностью.— Утром, если пожелаете, я приготовлю для вас кофе.

— Благодарю вас.

В квартире запах больницы был резок и удушлив. Он проник в комнату Никиты и плавал здесь, точно невидимый туман — слоями, как будто кресла, постель были залиты удушающей жидкостью и она медленно испарялась, насыщая воздух.

Никита открыл окна. Они выходили на маленькую площадь, гладко вымощенную, поблескивавшую мостовой в свете немногих фонарей. Это была тихая, старая и старомодная часть города, и ночь здесь наступала внезапно, словно усталые дома сладостно погружались в сон, как только темнело.

Тишина площади сгущала безмолвие комнаты, и время — чудилось — утрачивало здесь свое течение, как река, зашедшая в пруд.

Одиночество было совершенно. Незнание того, что находилось за пределами комнаты — какие стены безмолвствовали, обступая Никиту, какою формой выражалась остановившаяся в доме чужая жизнь,— это незнание толкнуло воображение Никиты на прежнюю, горько изведанную дорогу, и комната Верта, веранда, упавший стул, оборванный ремень и лиловатые, землистые цвета, оттенки, отблески, тона, окраска снова населили его душу.

Он хотел пойти в незнакомые соседние комнаты, осмотреть закоулки чужого жилища, чтобы каким-нибудь неожиданным впечатлением вытеснить довлеющую силу прошлых ночей, чтобы оплодотворить им почву для всхода новых представлений,— пусть более мучительных, но только новых.

О, он с наслаждением и в мельчайших подробностях представил бы себе смерть квартирной хозяйки, в больнице, на узкой койке, пропахшей вот этой приторной смесью карболки с формалином, вот в эту тихую, беззвучную и горестную минуту, когда молчаливо стоят расставленные по уголкам стулья, комоды, полочки и диваны. Он готов был неделю мучиться, глядя на картину нечаянной, чужой этой смерти (и он не сомневался уже, что в этот час смерть мрачно-беззлобно совершает свое дело), только изгнать бы, какой угодно ценой изгнать из своего воображения гнетущую память Верта.

Судьба его сливалась с судьбой Верта. Верт шел к нему из неподвижности, все так же неподвижен, как в ту ночь. И с каж-

дой изнуряющей долгой секундой расстояние между живым Никитой и мертвым Вертом уменьшалось, и Никита цепенел в ожидании конца.

За всю ночь он запомнил только одно живое восприятие: сторож на площади бросил палку в какого-то заблудшего пса, и палка звонко покатилась по гладким камням мостовой. В этот момент ему захотелось броситься на улицу и обменяться взглядом со сторожем или с собакой — не все ли равно? — лишь бы это был взгляд живого существа. Но бессилие Никиты было слишком велико...

Рано утром он услышал звонок.

Он встрепенулся и пошел открывать дверь.

Перед ним, в волнении и растерянности, стояла женщина, которая вечером впустила его в квартиру.

Прижимая к груди руку, она начала впопыхах:

— Сегодня ночью, господин музыкант...

Но он не дал ей договорить.

— Я знаю,— сказал он спокойно.— Сегодня ночью умерла моя хозяйка.

Женщина отшатнулась от него и прошептала в ужасе:

— Но... чему же вы смеетесь?

— Смеюсь? — удивился Никита.— Простите... разве...

Весь день потом он провел в безмолвных скитаниях по улицам. В сумерки, обессиленный, он опустился на ступеньку подъезда в незнакомом квартале, далеко за старым вокзалом.

Он сидел, опустив голову, пальцы его устало теребили листья сорванной ветки, заостренные плечи выпятились, он сгорбился, и обычно ленивый взгляд его совсем застыл. Почувствовав холод, он хотел встать, опершись локтями на колени, когда в доме, на крыльце которого он сидел, раздался сильный, краткий удар, похожий на выстрел.

Никита вскочил и побежал прочь. Но, сделав несколько шагов, он остановился и повернул назад. Проходя мимо дома и пристально вглядываясь в дощечку с номером над входом, он улыбнулся блуждающей улыбкой, чаще и чаще появлявшейся у него на лице.

Он твердо знал, что́ наступило для него. Пожары, то предчувствие пожаров, которое когда-то впервые разрушило его самообладание и потом возвращалось вместе с сомнениями, безверием, отчаяньем.

Наутро первое, что сделал Никита,— он развернул газету. В отделе происшествий он прочитал:

Вчера, в восьмом часу на Uhlandstrasse, 26...

Он скомкал газету. Стоило ли читать дальше? Дом 26 на Uhlandstrasse — недаром Никита запомнил этот номер! И разве важно то, что́ там случилось, что́ произошло? Убит ли кто-нибудь, или кто-нибудь убился?

«Я схожу с ума»,— сказал себе Никита.

Он беспомощно огляделся и вслух пробормотал:

— Одно из двух.

Вряд ли он отдавал себе отчет в том, что́ могло быть это «одно из двух».

Он потер горячею рукою лоб. На ум ему пришел Грэсе, так же случайно, как мог прийти другой какой-нибудь знакомый. Он быстро пошел к нему.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Так встретил Никита Анну.

Так, вероятно, в тундре потерявший товарищей путник, после бесплодных стараний выбраться к жилью, очнувшись от забытья, находит себя окруженным людьми. Так приготовившийся к смерти больной чувствует, что здоровье возвращается к нему и он может встать и ходить.

Грэсе был из тех людей, которых никогда толком не узнаешь, которых не очень-то хочется знать, но с которыми и без того хорошо и не скучно. В каком-то заброшенном фотографическом ателье, не то на задворках человеческих жилищ, не то на пустопорожнем месте, он учредил свою мастерскую и сосал огрызыши зловонных сигар, распространяя вместе с дымом величайшее философическое спокойствие. Чтобы заработать на хлеб, Грэсе одно время танцевал в шантанах, но сломал ногу, охромел и принялся за основное свое дело: он был живописцем. Ему следовало бы жить в Мюнхене, еще лучше — в Париже. Он ни с чем не соглашался, но удовлетворение его решительно всем, что встречалось в природе, было громадно. Он говорил: «Какая гадость!» И довольство окружало его блаженной туманностью, подобно сигарному дыму.

Он докуривал сигары до конца, и казалось, держал в самых губах ярко-оранжевый пламень горящих табачных листьев.

— Это переходит всякие пределы, даже для нас, немцев, этот Дрезден! Город так чист, что, когда пригреет солнце, хочется полежать на мостовой. Между тем земля дана человеку для того, чтобы можно было бросить окурок. Если бы не эта безвкусная чистота, я выкуривал бы не больше половины сигары.

И он почти проглатывал пышущий жар окурка. Искусство его было странно: оно не шло путем новаторства, не повторяло задов и не было серединой двух этих возможностей. Грэсе ни на что не был похож. Скорее всего он был сумасшедший. С тех пор как он сломал себе ногу, на его работу нашелся всего один покупатель.

— Сколько вы хотите получить за картину? — спросил он у Грэсе.

— Сто тысяч.

Этот чересчур краткий диалог стал известен всему Дрездену, и Грэсе гордился своей популярностью:

— Мир скоро узнает, что у меня есть полотно в сто тысяч. Ко мне начнется паломничество американцев.

Американцы не спешили, а амбаровидное ателье наводнялось чудаками, бездельниками и очень хорошими, но почти всегда несчастными людьми...

— Да,— многозначительно произнес Грэсе, когда Никита рассказал ему о том, что́ он пережил за последние трое суток.— Да. Я понимаю вас, хотя ваши испытания граничат с чем-то трансцендентальным. Да. Нечто серафическое, или... как это? Я, например, читал о Сведенборге... Это случается с людьми повышенной душевной деятельности. Впрочем, не важно. Первое, что необходимо сделать,— повернуть. Круто повернуть в другую сторону.

Грэсе поднял хромую ногу и сделал ею в воздухе неопределенное вращательное движение. Лицо его было серьезно.

— Некоторое фуэте,— поучительно объяснил он.— Нынешнюю ночь вы проведете у меня, с друзьями, настроенными совершенно реально. Я настаиваю на этом, милостивый государь! Да вот сейчас,— вдруг встрепенулся он, заковыляв к выходу...

Дни были осенние, той последней тихой поры, когда в полдень шелково греет солнце, а ночами все кругом стынет в холодном окостенении. Днем еще можно было ходить в легком платье, как летом, и вот это платье — в голубую полоску, чуть короче тех, которые тогда носили,— это платье прежде всего увидел Никита. Оно как будто еще хранило в себе остатки света, впитанного на улице, было ярко, свободно, и следы чуть уловимой небрежности, с какою носят одежду богатые люди, странно украшали его. В первый момент Никита видел только это — в голубую полоску — платье, и речь Анны — торопливая, изорванная коротким частым дыханием — показалась ему звучащей откуда-то из-за стены.

— Фарфор и стекло будет, достала. А ножей и вилок нет,— проговорила Анна, запыхавшись и сбрасывая шляпу.

Она была очень стройна, но движения ее, самый стан и особенно руки были резко угловаты.

— Превосходно,— сказал Грэсе,— будем есть с фарфора руками. Вы ничего не покупали еще? Нет? Вот вам помощник. Он подавлен, и его нужно занять. Погоняйте его за покупками. Знакомьтесь.

— Вы — художник? — спросила Анна, быстро протянув Никите руку и садясь рядом с ним.

— Нет.

— А что же вы делаете?

— Пишу...

— Писатель?

— Нет, я пишу музыку,— внезапно смутившись, ответил Никита и, чтобы преодолеть неловкость, в упор поглядел на девушку.

В ее подбородке и губах мелькало что-то детское, мягкое и округлое, взгляд был ясен и прям, дыхание волновало все ее лицо. Много позже Никита узнал, что порывистость, частота дыхания были так же свойственны ей, как способность ее одним небрежным прикосновением обесценивать вещь. Все ее качества были неотделимы от нее и — казалось — не могли ни в ком повториться.

— Музыкант? Я приду к вам слушать вашу музыку. Хорошо? — сказала она, уверенная, что ее решение обязательно и приятно для Никиты.

Она обернулась к хозяину.

— Я поручу вашему другу купить бананов. Я решила, что главным блюдом у нас будут бананы.

— Конечно. Вместо картошки,— сказал Грэсе,— сытно и недорого.

— Только не покупайте очень желтых, переспелых,— снова обратилась она к Никите.— Вы понимаете в бананах? И потом вот еще...

Она развернула перед ним записку. Он увидел ее почерк — четкий, быстрый, похожий на мужской. Он слушал ее, стараясь запомнить, что она наказывала купить, ощущая краткое дуновение поспешных ее слов. Он заметил, как она взяла с дивана свою шляпу — непринужденно-просто, как ее жест сделал шляпу второстепенной, не важной. Это поразило его так же, как привлекающая небрежность ее платья. Она не была неряшлива, но вещи становились в ее присутствии незаметными, они служили ей, дополняли ее, как будто она в них не нуждалась.

— Ну, ступайте!

Никита вышел.

Улица показалась ему переполненной движением, которое подгоняло и тормошило его. Он шел легко и скоро. В голосе Анны, все еще звучавшем у него в памяти, он расслышал что-то хорошо знакомое, пожалуй — близкое. Он долго вспоминал женщин, ко-

торых приводилось встречать. На ум ему пришла Варвара Михайловна; ее интонации были схожи с теми, что он слышал сейчас, но он вдруг рассмеялся, и чувство неприязни и неожиданного превосходства прогнало воспоминание.

Он усердно и увлеченно ходил по фруктовым лавкам, отыскивая бананы, потом, нагруженный пакетами, с удовольствием ощущал в руках их тяжесть. Усталость не изнуряла его, он захотел есть и, усевшись на скамью посреди площади, принялся шелушить мягкие прохладные корки бананов.

Тут, в сквере, прожевывая мясистые пахучие плоды, Никита вспомнил Bürgerwiese, опустошающее отчаяние прошедших ночей. Он пожал плечами — так чужды стали ему перенесенные терзанья, так удивительно было, как — слушая Анну, припоминая на улице ее слова — он просто забыл о том, что́ его недавно наполняло.

Вернувшись, он не застал у Грэсе Анны. Но он уже не хотел и не мог уйти.

Покручивая в губах огонек сигары и мастеря из ящика и досок стол, Грэсе говорил:

— У нее отец — офицер. Поэтому ее семья называется хорошей. «Она из хорошей семьи». Я не из хорошей семьи, так как мой отец — булочник. В этом нечто трансцендентальное...

Грэсе пробовал свои сооружения, садясь на доски и покачиваясь, и опять болтал:

— Она очень славный зверек, эта Анна, и любит нашего брата. По моему мнению, это — достоинство. Но мое мнение не совпадает с мнением хороших семей. Вы ведь, кажется, из казаков? Это — дурная семья, Карев, у казака не может быть хорошей семьи...

Анна пришла только к вечеру — запыхавшаяся, разгоряченная — в сопровождении рассыльного, который принес тяжелые корзины с посудой и свертками.

Кажется, Никита не заметил, что на рассыльном горел красный круг фуражки и вид его был понур и безразличен, как у могильщика.

Хромой Грэсе принялся помогать Анне. Он расставлял тарелки и стаканы, стараясь делать это торжественно и методично. Но обдуманность его движений была ненужной.

— Вы удручаете меня, Грэсе,— засмеялась Анна.— Из такого веселого дела устраиваете мистерию!

Посуда в ее руках, бананы, которые она обрывала и скучивала горкою на блюде, извлеченные из корзин свертки — все это неожиданно обращало внимание Никиты то на одну, то на другую

черту Анны, и он смотрел на нее в счастливом чувстве равновесия, которое она принесла с собой.

Она не умела хозяйничать. В том, как она брала и ставила тарелку, сквозила все та же поразившая Никиту небрежность, с какой она взяла свою шляпу с дивана. Перетирая салфеткой посуду, она толкнула локтем стакан и хотела поймать его на лету. При этом быстром движении Анна показалась Никите очень смешной, неловкой, больше, чем с первого взгляда, угловатой. Стакан разбился под общий хохот, и Грэсе, важно оттопырив губы с неизменным окурком, мстительно заявил:

— Неуклюжесть, друг мой, худший из пороков!

И Никита, подбирая с пола мелкие куски стекла, смеясь, вдруг почувствовал взволнованное влечение ко всему, что было в Анне смешного, неловкого, угловатого.

Когда она, приготовив стол, вымыла руки и заявила:

— Теперь я пойду переодеться,— Никита подошел к ней и сказал негромко и торопливо, точно таясь от Грэсе:

— У меня к вам просьба. Пожалуйста... не переодевайтесь. Останьтесь в этом платье.

— Вам нравится? — просто и полным голосом спросила она.— Хорошо, я останусь в этом платье. Но мне нужно съездить за пальто.

...Вечер был путаный, несуразный, громоподобный. Бородатые мужчины по очереди вертели ручку старинной шарманки. На ее валу не хватало множества иголок, пьесы получались недосказанными, о мелодии чопорной кадрили можно было только догадываться по обрывкам попеременно писклявых и басистых нот. Ритм танца отбивали ногами, ложками, тростью, и стук и грохот особенно всех восторгал и побуждал к пляске.

Анна веселилась захлебываясь. Никита не помнил, чтобы взгляд ее потух или остыл, и волнение росло в нем, когда он смотрел, как она пляшет кадриль. В танце смешное, неловкое проявлялось в ней еще больше. Он увидел девичью худобу ее ног и подумал, что худоба эта чересчур заметна и некрасива, как у детей, которые быстро растут. Но он не в силах был оторваться от ее некрасивости.

Он восхищался всем, что окружало, что попадалось ему на глаза. Хозяин, чудачествуя и хмелея, роздал гостям пригласительные билеты на вечер, не разосланные вовремя («За полным отсутствием средств, за бедностью и нищетой!» — кричал Грэсе). Никите досталась акварель: нелепый текст был перевит невразумительным рисунком, как делывали декаденты. Он с удовольствием рассматривал фиолетовые и серые разводы рисунка, несколько раз перечитал текст, засмеялся и положил билет в карман.

Может быть, он разглядел, что фиолетовый тон акварели переходил скорее в розовое, чем в синее или багровое?

Сквозь шум, сквозь бестолковую сутолоку гостей, уже прощаясь, Никита сказал Анне:

— Не забудьте, вы обещались прийти слушать мою музыку.

— Я помню. Когда к вам можно?

— Скорее! — вырвалось у Никиты.— Пожалуйста, скорее!

Анна пристально и прямо поглядела в его глаза, дыхание ее стало еще короче, чаще, и улыбка как будто совсем оборвала его:

— Непременно в этом платье?

Лучше всего Никита обнял бы ее в тот момент. Она легко отступила от него, ему показалось, что она сосредоточилась на неприятной мысли, что он был виноват в этом, и растерянно, в нерешительности он ответил:

— В каком хотите.

Засмеявшись, она протянула ему обе руки и без колебания сказала:

— Я приду завтра вечером.

...Она пришла к нему и осталась у него.

Все кругом Никиты наполнилось с этого дня бесконечным значением. Вещи в его комнате, которых он прежде не замечал — коробка папирос, пепельница, исчирканная карандашом нотная бумага,— странно одушевлялись только потому, что Анна прикоснулась к ним. Но он уже чувствовал способность подчинить их себе, заставить служить, как они служили Анне.

Она немного знала музыку и вошла в замкнутый мир Никиты так же просто, как входила в комнату.

Нечаянно и незаметно для себя Никита рассказал ей обо всех ступеньках, по которым взбирался он, начиная с подвала Якова Моисеевича, со страшного шипения бумажных обрезков, выползавших из-под ножа переплетной машины.

И тогда — восторженный пониманием подруги, восхищенный тем, что неожиданно соорудила перед ним его память,— он снова уверился в своем призвании.

Анна помогала ему в работе. Он никогда не сказал бы, откуда знала она тайну дружбы. Но она умела слушать, молчать, и присутствие ее было так легко, что он научился тосковать о нем.

Под вечер Никита ходил по комнате, изредка подбегая к роялю, чтобы проверить записанную фразу. На крышке рояля пестрели нотные листы, тяжелая, похожая на блин чернильница была усыпана мелкими засохшими кляксами, как бумага — нотами, развернутые чистые страницы на пюпитре рябили чуть заметными карандашными точками. Все эти знакомые пустяки — линейки нот, кляксы, точки и черточки, черно-белая прямая полоса клавиа-

туры — медленно расплывались в сумраке, смысл их ускользал, и Никита вдруг переставал слышать.

Он бил по клавишам ладонью, чтобы оживить слух, как человек, засидевшийся у стола, вскакивает и потягивается, чтобы размяться. Закрыв глаза, он несколько минут сидел неподвижно, потом нажимал правую педаль и с внезапной силой проигрывал тему, которая час назад казалась прекрасной. Казалась! Перефразировка мелодийки, которую пустил порхать по свету кто? — может быть, Сен-Санс, может быть... и опять Никита ничего не слышал, и музыка расплывалась в гаснущей пестроте нотных листов, бессмысленных точек, запятых, клякс, и одна холодная черно-белая полоса клавишей отчетливо виднелась в сумраке.

В этот час обычно приходила Анна. Мог ли Никита знать, с каким напряжением инстинкта она разгадывала его состояние, как билось ее сердце, когда она, войдя, бросала первый взгляд на его лицо?

Для Никиты ее сердце билось как всегда, частота дыхания стала привычна, и он говорил:

— Сегодня у меня ничего не выходит,— таким голосом, будто кто-то другой был виноват в неудаче, и — само собою — Анна должна была исправить ее.

И она исправляла, необъяснимо превращая его безверие в уверенность...

Наконец труд был кончен.

Органист, преподаватель консерватории — мягкий, медлительный старик, с проницающим бесцветным взглядом, просмотрев последний раз Никитины ноты, сказал:

— Вам надо теперь услышать все это со стороны. Приходите в два часа во Frauenkirche.

По праздникам, после богослужений, здесь происходили концерты, в будни церковь пустовала, огромное здание проветривалось через открытые накрест двери. Уличный шум докатывался сюда сквозь землю, пол гудел, и, если закрывались двери, пустота храма дрожала почвенным ворчливым гулом.

Органист пошел на хоры, стали слышны его шаги по лестнице, отдававшиеся наверху и каменно падавшие с купола на пустые ряды дубовых скамеек.

Никита выбрал дальнюю от хоров скамью.

Он услышал, как начали вздыхать мехи органа, как над ним откашлялся и что-то уронил музыкант. Потом сразу взлетели в вышину, в купол, певучие, чуть гнусавые металлические звуки дискантового регистра, и вдруг вся пустота каменной громады колыхнулась, точно от подземного толчка. Устрашающе быстро звуки заполнили все уголки храма, как будто запел камень, и

деревянные скамьи, вздыбленные над головой кафедры, балюстрады соединились в послушный хор, и стекла окон звенели в нараставшем forte.

И только грудь Никиты опустошалась этой вращавшейся в замкнутом каменном шаре многоголосой гармонией. Боже, до чего чуждо было ему то, что он слушал.

Он облокотился на узенькую стойку, на которой прихожане перелистывают молитвенники, и стиснул голову кулаками. Он никогда не писал этой музыки! Он не мог добраться до своей мелодии в громоздившихся, наползавших друг на друга, как плавучие льдины, аккордах. Нет, он улавливал, почти улавливал какие-то фразы, сочетания фраз. Мелодия прорывалась к нему сквозь рушившиеся и скрежетавшие бесформенные льдины. Но он не верил, что это он — Карев — пытался уложить в несуразную смену ритмов отчетливую мысль своей музыки. И опять — нет! Не в ритмах, нет, не в ритмах причина катастрофы! Гнетущее разнообразие рефренов в басах, назойливо, беспомощно повторяющих лейтмотив!

Вскочить, обернуться лицом к хорам и крикнуть в стонущую пустоту: довольно, не надо больше, ради бога, не надо! Или, прикрываясь неистовым гудением органа, беззвучно прокрасться к выходу и бежать, не оглядываясь, из церкви, из консерватории, из города, навсегда!

Никита дрожащими ладонями вытирал лицо, пот лился с его лба, глаза блуждали, словно отыскивая опору. Ему стало холодно, он передернулся от озноба, выпрямился, потом встал. На мгновение он подумал, что в безлюдии церкви, над ровным строем скамеек, рост его должен казаться выше обычного. Он распрямился еще больше.

То, что он теперь слушал, было по-прежнему чуждо ему. Усилием воли он отказался от своей музыки. Тогда он отличил в многотонном разноречии звуков спокойное движение напева. Оно развивалось, переходя с регистра на регистр, как ветер перекидывается с вершины одного дерева на вершину другого. И как шелестящие шумы вершин сопровождаются мерным, созвучным стоном стволов, когда по земле проходит ветер, так нарастающее движение напева сопровождалось величественной волною басов. О да, она была величественна в своем мощном спокойствии, немного тормозящем развитие музыки. Она задерживала, затягивала темп, и, чтобы ускорить его, Никита поднял руки, и жест, которым дирижер понуждает оркестр ускорить темп, помимо воли Никиты выразил его желание.

Тогда случилось, что органист, не видя Никиты (он не мог видеть его с хоров, из-за органа), ускорил темп, и музыка,

носившаяся в пустой церкви, вдруг совпала, соединилась, слилась с музыкой, которую хотел написать Никита. Его опять пронизал холод, и освобожденный ум его увидел маленького Никиту, в упоении водящего смычком по скрипке в пустой холодной зале, когда открылась дверь и в залу вбежал сам Мендельсон-Бартольди.

— Так, так,— прошептал Никита,— это совершенно так, как я себе представлял!

Он стоял, взобравшись на подножку сиденья, еще больше, стройнее выросши, лицо его было бледно, прижатые бровями глаза остановились, и руки отрезывали короткие, рвущие движения: темп был быстрый, порывистый, смятенный, необычный для органа.

Так продолжал Никита стоять, когда стих и улегся волновавшийся воздух и в пустоте каменного шара, ворчавшей почвенным гулом, раздался жидкий человеческий голосок.

Никита удивленно обвел глазами подавлявшую громаду церкви. Из-за балюстрады хоров ему кивала крошечная лысая голова органиста, и голосок беспомощно плескался в пространстве:

— Конец хорош, конец великолепен! Браво!

Потом в дверях, при выходе из Frauenkirche, старичок, растеряв привычную медлительность, суетливо подергивал Никиту за лацкан пиджака, говорил:

— У вас ужасный рисунок вначале. Ведь ничего нельзя выразить, если так неясно. Ведь тема у вас пробивается с величайшим трудом, с величайшим, друг мой! Преодолевает с усилием, с величайшим усилием. Вы чувствовали, да? Вот видите! А там, где рисунок отчетливей, строже, помните — с начала Allegro con moto и к концу, к самому концу, там...

Никите нужно было что-нибудь сказать этому старику учителю, мастеру, ставшему другом. Он сжал его сухие пальцы и начал:

— Мне казалось невозможным...

Но старик не дал ему говорить:

— Позвольте, разрешите! Попробуйте доказать на деле, на опыте доказать, что невозможное — возможно, и оно станет возможным. Ведь вот Allegro con moto у вас...

Никита еще слушал, как ученик, но внутри у него все непокорно пело: он твердо знал не только то, что́ мог он сделать в музыке, но и то, что́ было нужно сделать.

Он сбежал по ступеням паперти, точно мальчишка, и земля понесла его, как любовнейшее свое созданье — бережно, легко и с радостью.

На площади Zwinger'a его дожидалась Анна. Он молча взял ее под руку и повел к набережной.

Там они шли вдоль реки, все дальше удаляясь от сутолоки мостов и пристаней. В лицо им дул ровный, сильный ветер, нужно было наклониться вперед, чтобы преодолеть непрерывный его напор. Ветер развевал платье Анны. Она была в пальто, но пальто распахивалось, и подол синего платья вырывался из-под него, туго облегая Никитино правое колено. Никита держал Анну за руку, между локтем и запястьем, где рука больше всего женственна и ровна. И вот чувство, с которым они шли против ветра, в молчании, и трепыхавшее на его колене синее платье, и ощущаемая сквозь материю тонкая округлая рука, прижатая к боку,— это огромнейшее счастье, вдруг увенчавшее долголетний искус, Никита запомнил на всю жизнь.

В нем прожил он до первой своей поездки на родину, с ним он остался в засыпанной снегами степи, в погребенном под снегом Уральске.

...Никита въехал в город, едва начинались вьюги, и вьюги сгоняли в город со станиц, с фарфосов, со всех войсковых линий промысловое казачество, отцов и сынов, деверей, зятей, внуков и дедов. Отцы и сыны собирались к почину исконного, именитого своего яицкого промысла — на осетровую охоту, на багренье.

По Большой Михайловской, из конца в конец, закрученные снежной вьюгой, неслись, мчались, летели сани. Лошадиные копыта вырубали из ухабов дороги снежные комья, вьюга подхватывала комья, крутила их над санями, над лошадьми, ввинчивала в белые воронки снега и швыряла назад в лошадей, в седоков, в сани.

Это был белый, кипенно-пенистый ад, и черти правили в нем великий чертов праздник.

На головах казаков кишели и змеились черные космы бараньих папах, обсыпанные серебром вьюги, опутанные инеем, замороженные сосульками. Каждая папаха — в две головы высотою, и на верху папах — малиновые донца в серебряных кантах крестиком, в снежном серебре. Под каждой папахой — чертова казачья голова, да лицо нагусто красное, как сурик, да усы и борода, как бараньи папахи — в серебре вьюги, в ледяных сосульках.

В руках у казаков багры да подбагренники, точно вилы в лапах дьяволов на кулугурской картине Страшного суда.

На ногах у казаков холстовые шаровары — на гашниках, круглые, как юбки, и кругло, упруго вросли шаровары в завихренные снегом сани, и...

ах! как крутит, летит, мчится в снежном буране чертово казачье племя в папахах, с баграми, в комьях, в глыбах снега, по

ухабам, по сверкающим заворотам Большой Михайловской в серебряном, белом аду!

Фарфос на фарфос, станица на станицу, отцы и сыны, деверья и зятья — кто кого? у кого удалее конь, у кого легче сани, да ловчее подрезаны полозья, да умелей подогнана сбруя? У кого не займется дух в самый жаркий бег иноходца, у кого не ослепнут глаза в самой гуще бурана да не дрогнут ноги на ледяном завороте, когда бомбой раскатятся сани и вот-вот шандарахнутся об угол дома, чтобы разорваться в картечь вместе с конем, баграми, папахами, в искры, в снежную пыль? Да гляди, не задень чужих коней, не поломай чужого багра, не перебей ног чужому коню — несдобровать тогда тебе, не помилуют! А увернулся на повороте, удержал раскат, выпрямился — ну, лети, несись, дьяволи в ледяное, морозное белое адово пекло, и...

ах, и-их! пострели тя заразой! гикай, свисти, голоси, что есть мочи в тебе самом, в твоем отце, в деверьях, в зятьях, во всем твоем роду и на всем фарфосе!

Крутись, как снежная вьюга, весь день, до сумерек, а ночью оттаивай сосульки на бороде и папахе, пей больше вина, наедайся досыта лакомых жамков, спи крепче казачьим сном, пусть тебе снится, что ты поймал осетра, которого не могло вытянуть из Урала все казачье войско!

Крутись, пей, наедайся, крепче спи, чтобы наутро стать в ряды охотников — на береговом обрыве Урала, повыше города, у первой ятови,— чтобы нахлобучить папаху, затянуть гашник,— в одной руке — багор и подбагренник, в другой — пешня, а вокруг отцы, сыны, родня и соартельщики.

В сторонке, на крутизне берега, разместится кулугурское староверческое и православное судилище — наказный атаман, чины и ордена, есаулы, войсковые старшины, а еще поодаль — иногородний люд, господа и мещанские степенства, и за ними — скупщики, рыбные торговцы, мастера балычных и икорных дел, а дальше — просто толпа.

К купеческим рядам подъедет Михаил Гаврилович Шерстобитов, в бобровой шубе, поверх — полупудовый енот, на ногах — пимы.

С бочку́ именитого казачества — по заслугам — станет Василь Леонтьич Карев, утолстивший свою толщину полушубком, кушаком, заячьей шапкой с наушниками.

И великое уральское войско (вместо пики — остер багор, намест шашки — пешня, за берданочку — подбагренник), ощетинившись, набекрень папахи — на обрыве, над ятовью, в буране, в белом аду вьюг будет ждать пушки.

А ударит она, ну, тогда поминай, как тебя, казак, звали! Где тут разбирать, кто отец, кто сын, где своя голова, где чужая!

С откоса, с крутизны, в снежную пропасть обрыва, как есть — с багром и пешней — бросайся, падай камнем, без креста, без оглядки.

Потому что позади тебя скалою рушится на реку войско, забеленное тучами снега, в грозе всезаглушающего гика, и тут уж ни своего, ни чужого в том серебряном, вихревом и вьюжном аду, тут впрямь дьяволы с кулугурской иконы!

Вот они рассыпаются по снежной, сверкающей равнине реки, вот копошатся врозь и порознь в горбатых сугробах, вот ударяют пешнями по льду, ледяной железный звон врезается в вопли, гик и крики.

Вот вся скала, все скалы обрушились в реку, вся лавина чертова войска стекла на лед, оставив позади себя черно-бурый откос берега, содрав с него пимами, холстовыми шароварами весь снег.

Вот растеклась лавина по белому покрову реки черною зернистой икрой, и дальние охотники не больше чудятся зерна икры.

И на минуту кажется — примерзла черная икра к снежной равнине, и белые воронки вьюг свирепо закружились над рекой, и только звон железа по льду раскалывает и содрогает воздух, и только гул плывет над Уралом от криков, которыми горячат друг друга охотники:

— Скоро, скоро!

— Скоро, скоро!..

Потом икра приходит в движение, казаки кучатся, отыскивая деверей, сынов, и если пристально вглядеться под откос, видать, как сквозь продолбленную прорубь из ятови багром вытаскивают осетра.

Тогда охотники опять как кулугурские черти: в заиндевелых папахах и бородах, крючьями багров и подбагренников они расправляются в пляске и верчении белого пекла с многопудовыми, ожиревшими грешниками — осетрами...

Обсыпанный снежною пылью, налетевшей с реки, Никита стоял у обрыва, с которого только что кинулись на лед казаки.

Он следил за суетливою, спорою работой артелей и думал о младшем брате, Ростиславе, набившемся к какому-то казаку в подручные — подбагривать пойманных осетров — и вместе с лавиною войска ринувшемся под откос, на лед.

Ему была приятна отважность пятнадцатилетнего брата. Он мерил по нему, как по мерке, свою жизнь. Но жизнь брата и весь

он, с отвагой, удалью, стремительностью и весельем, были необъяснимо странны ему, как странно было то, что́ он теперь перед собою видел.

— Никита Васильич! — расслышал он в снежном свисте.

Повернувшись, он различил женщину,— в пимах, в меховой тяжелой шубе, в пуховом платке, завязанном толстым узлом на шее. Она мягко, неуклюже, спешила к нему, неслышно и часто переставляя пимы по утоптанному казаками снегу.

— Не узнали? — крикнула она, засучивая на голове платок, чтобы виднее было лицо.— Хороша матушка купчиха, а?

Было похоже, что сама она очень довольна своим нарядом — так ярко и счастливо сияло на морозе ее лицо.

— Ну, здравствуйте, бродяга! В гостях, видно, хорошо, а дома лучше? Я видела вас вчера, на улице. Какая у вас походка! Откуда это? Я подумала — где уж нам! Ведь вы почти не касаетесь земли, ха-ха!

Никита только успел сказать:

— Варвара Михайловна...

Она не дала ему продолжать, рассматривая его, поворачивая за руку, как невидаль, и без умолку говоря, как будто потоком смеха и слов можно было выразить все, что хотелось.

— Ну, вы рады, скажите? Я вижу по лицу, что рады!

Он, правда, был рад и весело глядел ей в глаза, вслушиваясь, как полно и глубоко переливался ее голос в морозных вихрях.

— Смотрите, смотрите, Карев,— показывала она вниз, схватив его за руку и поворачивая лицом к реке,— как хорошо! Ведь хорошо! а?

— Хорошо.

— Ну почему, Карев, когда хорошо — хочется куда-нибудь бежать, дальше, дальше? Почему? Это всегда так?

— Да,— проговорил он, подумав,— это почти всегда.

— И вы... вы скоро уезжаете?

— Да.

Она выпустила его руку и неожиданно тихо спросила:

— Это — все, что вы имеете мне сказать?

Он обернулся к ней. Она глядела на него свысока, закинув голову, подняв брови. Губы ее подергивались, точно от обиды и ненависти. Вдруг она схватила Никиту за плечи, почти обняв его, и вскрикнула в жестокой злобе:

— Неужели вы еще не понимаете? Ведь я люблю вас!

Он с беспокойством отнял ее руки от своих плеч и опустил глаза.

— Я понимаю,— медленно, тяжело пересиливая смущение и словно проверяя себя, выговорил он.— Но я люблю... не вас...

— Неправда! — исступленно крикнула Варвара Михайловна, быстро отворачиваясь от Никиты и убегая в гору.— Неправда, неправда!

Он посмотрел ей вслед. Она бежала, неловко подгибая несуразные, тупоносые пимы. Ей неудобно было сгибать колени, меховая шуба мешала, утоптанный снег был скользок, бег ее неуклюж и смешон. Нет, ничто в ней не напоминало Анны!

Никита отвернулся к реке и стал наблюдать багренье.

В конце концов — каждый поднимался по своему взвозу, и взвозом Варвары Михайловны была любовь.

КАРАВАНЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иногда Василь Леонтьич, в разгар какого-нибудь дела, оборвав мысль, приостанавливался, с сердцем хлопал себя пухлой ладонькой по боку и бормотал:

— Ростислав, ах, чтоб тебе!..

К войне Василь Леонтьич сильно разрыхлел, коричневая кожа его сделалась дряблой, на скулах, под глазами, мешковато свисла и еще больше потемнела в белой оправе бороды. Но Василь Леонтьич без устали действовал, без передышки жил. Немало дрожек было разбито и коней заезжено, а жизнь все ширилась, и степь как будто раздвигала свои края, и солнце жгло горячее. В войну стало все дорожать: поднимались в цене лошади и овцы, невиданные деньги приносило сено, сушеное яблоко наращивало банковский процент, и в сорочку чистого золота облеклось каждое пшеничное зерно. Хорошо было чувствовать в руке устойчивую державу богатства; хорошо было вести его в прочном поводу, как водили кочевые князьки неписаный жестокий домострой. Все было бы прекрасно, если б не перебивал мысли, не путался бы в памяти Ростислав!

О других детях Василь Леонтьич перестал помнить. Впрочем, нет — вспоминал, но только ненадолго, мельком, чтобы повторить навсегда решенные и прямые слова.

Про Матвея:

— Ему теперь масленица: то и делай — калекам капли прописывай!

Про Наталью:

— Так и знал, дура, за братом потянется, в докторицы. Матвей — человек, а она что? Шилохвостка!

Про Мастридию:

— Ханжа была, ханжой осталась.

Тут Василь Леонтьич обыкновенно вспыхивал и восклицал:

— Что это нынче бабы воевать полезли? Что ни мокрый хвост — то сестра милосердия! И все норовят на фронт!

Эта досада означала общее воззрение Василь Леонтьича,— отнюдь не беспокойство за участь Мастридии и двух младших дочерей, давно выданных замуж и тоже поступивших в госпитали сестрами.

Никита в представлении Василь Леонтьича умещался где-то по соседству с дочерьми, в бабьем разряде. Он все еще учился в Дрездене, и в начале военных действий Василь Леонтьич узнал, что сын остался у немцев.

— Казак! — ворчал папаша Карев.— Нешто казак может у неприятеля оставаться? На карачках к своим приползет! А этот что? Отца позорит, камертон говенный.

Музыкантов Василь Леонтьич любил. Изредка ему случалось бывать в войсковом собрании. Летом собрание перебиралось в городской сад и там, в деревянном павильоне, устраивало симфонические концерты. Оркестр, как и все в городе, был войсковой, настоящие казаки — с погонами, в шароварах — водили легонькие смычки по струнам. Стало быть, ничего зазорного для казака в струнной музыке не заключалось, и Василь Леонтьич мог быть спокоен за доброе свое имя. Когда Никита бросил скрипку, отец похмурился немножко, покорил:

— Мудришь. Скрипачом думал тебя сделать, а ты в регенты захотел.

Но он скоро смирился. По его мнению, Никита давным-давно достиг своей цели: он превосходно играл на скрипке. Однако Василь Леонтьич терпимо допустил, что скрипачу нужна какая-то особая наука, вроде высшей школы верховой езды, вольтижировка. Это было ему так же малопонятно, как в свое время — ученье Матвея после университета на профессора, и он многозначительно определял такое состояние смутным словом — «дальше».

— Учиться дальше...

В душе он охладел к Никите, стал думать о нем не больше, чем о дочерях, и прозвал камертоном.

Кто был бы способен утешить Василь Леонтьича, так это — Ростислав. Он один мог расшевелить мирно дремавшие остатки казачьей его гордыни, заставить трепетнее бежать кровь по жилам тучного отцовского тела. Да, да, он мог это сделать, и — к несчастью — сделал.

Конечно, он порадовал Василь Леонтьича, польстил его родительскому честолюбию. Он был казак, единственный в каревской семье, казак из тех, что из пригоршни напьются и на ладони пообедают.

Но — что таить греха — сам-то Василь Леонтьич, какой он был казак? Шарабанный, дрожечный, чуть-чуть не десяти пудов весу.

Всю свою нежность, весь отеческий застенчивый жар приберег для Ростислава — последнего своего сына, последнего ребенка. На этом мальчугане мужская, обильная мощь Василь Леонтьича, породившая пышное потомство, собралась воедино и иссякла. Папаша Карев отныне мог становиться только дедом, да еще прадедом, но крепкой сладости отцовства ему уже не приходилось испить. А он с любовной охотой породил бы еще двух-трех казаков! Однако нет, не казаков. Лучше уж — еще шилохвосток, еще одного камертона, только не казаков!

Конечно, Ростислав — гордость, Ростислав — каревская честь. Но ведь он — последнее, что дала Василь Леонтьичу его мужская, наилучшая пора, он — завершенье и знак каревской силы. И вот — пухлой ладонькой по боку:

— Ростислав, ах, чтоб тебе!..

Нельзя было вслух сказать этой простой, всегда поражавшей мысли. Даже в отчетном итоговом разговоре с женой надо было держаться, как на людях.

— Мои годы вышли (Василь Леонтьичу исполнилось к началу войны шестьдесят три года), да и тучен я, где мне! Матвей пульсы щупает, тоже дело. О Никите что говорить. Один Ростислав за всех Каревых долг несет, казак!

Но признаться откровенно в беспокойстве, в неотступной тоске об этом казаке, о каревской чести и гордости, признаться в бабьей, кликушеской боли об участи мальчугана, который все еще казался крошкой, дитятей,— не пришло бы на ум Василь Леонтьичу даже с похмелья. Разве не он с детства поощрял в Ростиславе все отважное, озорное? Не он любовался сыновьими околышами, лампасами, пригонял ему в подарки лучших киргизских коней с зауральской стороны? И что же осталось Василь Леонтьичу, как не похвастать сыном (вот, мол, родителям утешение!), когда Ростислав, шестнадцати лет от роду, бросил войсковое реальное училище и ушел на войну?

— Молодчина! — сказал Василь Леонтьич и впервые за всю жизнь почувствовал, как что-то дрогнуло и засосало под ложечкой...

Ростислав был боек и складен. Он постоянно куда-то мчался, спешил, весело, со вкусом втягивал воздух круглым некрасивым ртом. Смеялся он почти всегда. Стоило окликнуть его, как он по-

ворачивал свое лицо, расцвечиваясь улыбкой, и тотчас в упоении начинал о чем-то рассказывать. С ним вечно приключалось необычайное, поразительное, невероятное и до того смешное, что он наливался кровью от хохота, и красный, как маков цвет, не успевая втягивать воздух, несся в галопе рассказа:

— Понимаешь? Лежу, сплю, вдруг — бах! — в нос! Вскочил — утерся — кровища-а! Думаю, что такое? Гляжу — яблоко. Понимаешь? Во-о, в кулак, два фунта, черного дерева. Ха-ха! Вот, черт! Ха-ха! А я, понимаешь, лег под самую яблоню! Вот черт, ха-ха!

Руки у Ростислава ходили ходуном. Он то потирал их, то засовывал в карманы, то хватался за голову, точно получив подзатыльник, то сам давал себе подзатыльник и тут же зажимал нос, смешно надувая ноздри. Одни глаза его были быстрее рук. Он не смотрел на мир, а буравил его со всех сторон горячими остриями зрачков в сером, как олово, ободке. Всегда и повсюду он что-нибудь находил, обнаруживал, открывал. И если не с ним случалось необыкновенное, то с тем, кого он встречал, или с тем, о ком ему доводилось прочитать, или с нескончаемым потоком героев, которые проносились в его стремительном воображении.

Он очень любил географию, с веселой безалаберностью глотал книжки путешественников, накупал и таскал в свой угол атласы, карты, учебники. На антресолях обширного городского дома, в конце Атаманской, за два-три года школьной жизни Ростислава выросли горы расцвеченной, накрашенной бумаги, и Африки, Азии всех масштабов простерлись от плинтусов до потолочных карнизов.

— У Петра Петровича,— захлебывался Ростислав (Петр Петрович был учителем географии),— у Петра Петровича глобус в полсажени, ей-богу! Не обхватишь! И, понимаешь,— рельеф! Монблан — во, в три пальца! Чуть тронешь — поворачивается, неслышно, как земля. Вот черт!

Василь Леонтьич с виду относился к страсти Ростислава усмешливо, но про себя думал, что это на пользу, что, выросши, сын его будет знать Бухарскую сторону, и Урал, и Николаевский уезд не хуже, чем знает он сам, и что так же, как он, поедет на дрожках за овцами или с яблоками в Гурьев, а может, и с хлебом на Волгу!

Но несчетные экспедиции синих, красных, зеленых карандашей в Тибет и Алжир, отважные восхождения булавок на снеговые вершины и зимовки картонных флажков в ночных плавучих льдах — все это кончилось тем, что жарким полуднем Ростислав прискакал из города в сад и, не снимая фуражки, захлебываясь, обливаясь потом, выпалил:

— Готово! Зачислен! Послезавтра! Разведчиком! Охотников — тьма! У наказного атамана не протолкнуться, народ — как икра, во!

Василь Леонтьич сидел за столом и аккуратно крошил складным ножиком яблоко в чайное блюдце.

— Чего понес? — спросил он, отдуваясь.— Какой разведчик? Кто зачислен?

— Я зачислен, в полк, разведчиком! Послезавтра выступаем. Он меня спрашивает: как фамилия? Я говорю. Он спрашивает: это который Карев,— Василь Леонтьича? Приходи, говорит, завтра в восемь, зачислен.

Василь Леонтьич выронил яблоко на пол, приподнялся, толкнул животом шаткий стол и опять сел, о чем-то раздумывая. Лицо его чуть-чуть посветлело, как будто с него медленно начал сходить загар. А Ростислав несся без удержу:

— Был на вокзале — третий состав нынче отправился. Давка, крик, бабы воют! И, понимаешь, какая штука: один казак заболтался, лошади погружены, поезд пошел, не догнать! Тут — я, верхом, по другую сторону. Кричу — айда! Он через пути ко мне. Раз, понимаешь, на Думку! Позади седла. Думку в шпоры — пошла! Догнали, обошли паровоз — он раз — соскочил. Бежит по полотну, а поезд наддает. Изо всех вагонов руки ему протягивают. Хохот, свист! Я скачу рядом. Он ухватился за дверь, закинул вверх ногу — высоко, понимаешь, товарный поезд. Не успели его подхватить, гляжу — бац! — сорвался. Ну, думаю, надо опять сажать, не догонит. А он вскочил, отряхнулся и за последним вагоном — ходу! Гляжу, уцепился за один буфер, на другой вскинул ноги, и только мне фуражкой махнул — пошел! Вот, понимаешь, штука, ха-ха!

Василь Леонтьич молча поглядел на сына и отвернулся к жене.

— Благословляй, мать,— сказал он спокойно.

Потом, ссыпая накрошенные кусочки яблока из блюдца в стакан, он пробурчал, точно самому себе:

— Рановато, конечно. Да не война растет по детям, а дети по ней.

Он вдруг сурово прикрикнул на Ростислава:

— Чего стоишь? Не видишь, отец яблоко уронил? — и шаркнул досадливо ногой под столом...

Затем у Каревых началась обычная жизнь семьи, проводившей на войну близкого человека, ждали писем, прочитывали военные известия, относили на почту старательно зашитые посылочки.

Ростислав писал редко. Попал он в Галицию, походами исчертил равнины и предгорья, и знак, которым отмечался этот первый

в его жизни осуществленный маршрут, ничем не напоминал разноцветных отметок на атласах и картах. Казаки, приезжавшие на побывку в Уральск, рассказывали о Ростиславе с едва приметной усмешкой. Впрочем, в один голос говорили, что он отличался храбростью, был ранен, награжден крестом. В семнадцатом году о нем не стало слышно.

И вдруг осенью до Каревых с разных сторон дошел слух, что Ростислав объявил себя большевиком и с какой-то сборной конной частью бросил фронт.

С тех пор всего единственный раз, да и то спустя год, наедине с женой, у Василь Леонтьича вырвалось против воли:

— Не верю, быть не может! Другой пойдет, Карев — нет! Не верю!

— Может, понапрасну говорят? — робко предположила жена.

Но Василь Леонтьич тотчас переменил убежденье:

— Чего напрасно! Я всегда говорил — рано! Рано кровь увидел, не выдержал!

Так кончен был весь разговор.

...В тот год, в начале сентября, Евграф решил бросить столицу. Двадцать лет прожил он в своем каменном углу и вряд ли собирался когда-нибудь расстаться с ним. Но в какой-то час человек рубит или рвет причалы и идет за своей судьбой.

Это был все тот же садовый мужик Евграф, на устойчивых коротких ногах, невысокий, словно придавленный круглой спиной. Только кудерьки бороды стали светло-пеги, расчесанные со вниманием и степенно, да от постоянного общения с доцентами и докторами много прибавилось достоинства и медлительности.

Он состоял служителем анатомического театра в Медицинской академии. За годы однообразной и неприятной службы он свыкся с волнующим запахом тления, с холодком покрашенных белилами стен, и к мертвецам относился с деловой, немного строгой пристальностью, как плотник — к доскам. Трупы у Евграфа были хорошие и плохие, он не любил, когда покойников «портили зря», и бурчал на препараторов тут же во время лекции:

— Так бы и сказали спервоначалу, что, мол, надо берцовую кость. Вон он, целый ящик с ногами, на выбор. А то: «Приготовьте Евграф, труп!» Обкорнают покойника — и ладно, выкидывай. Раскидаетесь!

Он не жаловал студентов-естественников, находя, что анатомия для них — ни к чему, и когда — изредка — они приходили кучкой на лекцию и непривычно озирались, Евграф презрительно косился на них исподлобья. Вместе с другим служителем он стас-

кивал с полки труп особой, очень ловкой хваткой: согнутыми пальцами правой руки он поддевал мертвеца за подбородок, а товарищ брал покойника за пятку, и так они несли его через всю комнату. Потом, раскачав, они бросали ношу на высокий стол, и труп тяжело стукался о металлическую поверхность, прямой, несгибающийся, твердый, как бревно.

Евграф не спеша вынимал из жилетного кармана медную трубочку, просверливал ею отверстие в опавшем животе мертвеца и брал другой конец трубочки в рот. Дул он долго, краснея, сопя, отрываясь и медленно набирая в грудь воздух, пока брюшная полость трупа не поднималась от давления изнутри. Тогда Евграф прятал трубку, как карандаш, в жилетный карман и, хлопнув ладонью по трупу, говорил:

— Хорош! Для медиков было приберегал, да ладно, учитесь!

И он с достоинством отходил в сторонку, немного гордый тем, что на него молча таращат глаза изумленные студенты.

Работа была нехитрая, сотни студентов становились врачами, десятки получали ученые степени (Евграф говорил о молодых доцентах: «Этот из моих!»), все казалось ясным, простым. Кто мог думать, что ясности придет жалкий и страшный конец?

Но когда в огромном, чудовищно-пышном городе, где можно было достать птичье молоко, не стало ржаного хлеба, когда сопливый мальчишка, торговавший с лотка оладьями на конопляном масле, запросил девять гривен за один оладышек, Евграф начал укладывать свой сундук.

Перед отъездом он повидал Матвея Васильича.

— В свою пору вы меня пристроили к месту, Матвей Васильич,— сказал Евграф.— На том спасибо. Нынче прошу не гневаться. Корысти я не ищу, а только проживать тут нету силы.

— Куда же ты собрался?

— К себе в степь, поближе к хлебу. Чай, батюшке вашему, Василь Леонтьичу, пригожусь, коли старое не вспомянет.

Попрощавшись, он взглянул на Ирину — узенькую остроплечую девочку — и спросил тем грубовато-ласковым баском, каким пугают маленьких:

— Деду кланяться, что ль? — Он чуть дотронулся двумя кривыми жесткими пальцами до ее голого плечика.

— Может, когда тебе калача пришлю,— сказал он, приоткрывая свой желтый дубовый оскал.

Обернувшись к отцу, он покачал головою.

— Лихо придется. Попомните, Матвей Васильич, недалеко время — дерево радо будет корнем вверх расти, да и то не пустят.

— Ты — о ней? — спросил Матвей Васильич, обняв дочь.

— Зачем о ней? Она под крылом. Я — вон о чем!

И Евграф показал за окно на улицу.

Он ушел довольный собою, как будто ловко кого-то обошел, перехитрил и теперь раскусывал сочный плод удачи.

Недели две спустя, правдами и неправдами, Евграф добрался до Волги. Хоть он и привык глядеть на мир с молчаливым превосходством, но и его взяла оторопь: так потрясающе быстро все вокруг разрушилось, расползлось, пришло в негодность.

Хлеба здесь было еще вдосталь, народ налетел на него, как комар на болото, но странное беспокойство волновало все эти толпы, и в человеческом взгляде мелькал огонь неодолимого испуга, точно у лошади на пожаре. Приехав сюда и найдя все, что искали, люди стремились зачем-то дальше.

Река казалась страшной. Оскудевшая, в бледно-желтых песчаных островах, она уныло держала на маловодном своем рукаве скучные, приниженные остатки флотилий. Невероятно много проступило повсюду ржавчины, черными ртами зияли пробоины в облупившихся, помятых бортах, брошенные, желтые на берегу лежали цепи и якоря.

Все происходило как будто беспричинно, и Евграф никак не мог понять, почему люди внезапно скоплялись у пристани, в страшных усилиях прокладывали дорогу несчетным своим мешкам к буксиру, а буксир отваливал без сигнала, выходил на середину рукава, вдруг переставал работать, и его несло течением на баржу. Он проламывал барже борт, потом приставал к другому буксиру и спускал пары. Тогда водолив на барже орал в рупор, что баржа тонет, и требовал, чтобы ее отвели в затон, а с буксира отвечали, что, мол, поздно, что пары спущены и зачем-то надо мыть котлы. Народ с мешками бежал к тому месту, куда причалил буксир, и через час вдруг оказывалось, что котлы мыть не будут, и снова разводили пары. Баржа к этому времени ложилась набок, водолив с семьей выгружался на дощаник, перевозил мешки на берег, шел к буксиру и пил с матросами нардяк — самогон из арбузов.

Одним надо было ехать вверх, другим — вниз, третьи ждали перевоза. В великой путанице кто-то брал со всех деньги и хлеб, усаживал на пароход, и пароход отходил, чтобы пристать к соседнему дебаркадеру. Тут появлялись вооруженные, силой ссаживали народ с парохода, арестовывали того, кто брал за билеты деньги и хлеб, и ничего не возвращали людям. А люди волокли свои мешки к другому пароходу, который неизвестно какой давал сигнал.

По взвозу скатывался бледный от пыли броневик, ужасающе поворачивал пулеметные жерла в слепых бойницах, и с машины соскакивали обмотанные лентами краснощекие молодцы. Они закуривали, потом, бросив машину, шли в трактир пить чай. Там к

ним подсаживались другие молодцы, примеряли на себя патронташи, щупали пулеметные ленты, а у реки на подножках броневика умащивались торговки и куцыми ножиками взрезали арбузы.

Устало шло к закату прощальное осеннее солнце, и с пустынного острова плыл отчаянный зов, до которого никому не было дела:

— Лод-ка-у! Лод-ка-у!

Два дня Евграф терпеливо приглядывался к суматохе. На третий он понял, что терпел не понапрасну: в толчее взвозов он разглядел малиновые околыши. Было ясно, что казаки целят туда же, куда он,— на луговую сторону, в Заволжье, в степь.

Пестрые толпы пехотинцев, перемешанных с киргизами и уральцами, на лошадях, скопились этим днем у пристаней. Кавалерия рыскала за фуражом, пехота — за хлебом, казалось, что начался погром. Киргизы порубили канаты косоушки, которая почему-то мешала погрузиться на баржу. Косоушка заплыла за пристань и раздавила несколько лодок. Когда из щели между бортов стали выплывать раздробленные доски и щепа, спохватились о мальчугане, сидевшем с удочкой в одной из лодок. Стали отводить косоушку в сторону. Тогда вместе с досками выплыла удочка мальчугана, а от него самого не осталось и следа.

Но за бестолочью требований, криков, приказаний и несчастий неожиданно проглянул порядок. К вечеру обнаружилось, что фуражу и довольствия запасено вдоволь, лошади погружены на баржу, люди имеют какие-то пропуска, что неподалеку дожидается какой-то буксир под парами и на верхней его палубе, подложив под себя коврики, сидят и молятся на закат татары. Вместе же все взятое — с лошадьми, довольствием, баржею и татарами на ковриках — имело даже название, и тут Евграф навострил уши.

«Отряд товарища Карева» — звалась эта смесь кавалерии с пехотой, и в голове ее стоял уральский казак, красный атаман, товарищ командир Ростислав Васильич Карев.

Вот это имя — Ростислав, и это отчество — Васильич только и требовались Евграфу. Он поудобней взвалил на спину свой сундук и пошел к пароходу.

Буксир стоял третьим от пристани, отделенный обшарпанным пассажирским перевозом и наливной каспийской шхуной. На пристани толпились люди, и Евграф незаметно прошел на перевоз, с перевоза на шхуну. Она была много выше буксира. Пароход привалил к ней вплотную, сходни положены не были, сплюснутые кранцы из прутьев мерно поскрипывали о железный борт шхуны. Евграф спустил с борта ноги и приготовился спрыгнуть на буксир. Тут его недружелюбно окликнули:

— Ку-да лезешь, шай-тан?

Он посмотрел в сторону. Справа от него, чуть повыше, на капитанском мостике буксира стоял татарин в золоченой тюбетейке. Он лениво улыбался, как видно давно уже приметив Евграфа.

— К товарищу Кареву, с поручением,— ответил Евграф, стараясь жестковатым голосом придать достоинство неловкой своей позе.

— Давай сюда порученье,— засмеялся татарин.

— Не басурманского ума дела,— сказал Евграф,— ступай доложи.

Татарин захохотал громче. На его смех к перильцам быстро подошел казак и звонко спросил:

— От кого порученье к товарищу Кареву?

— От брата его, Матвея Васильича, из Петербурга.

Казак помолчал секунду, потом решительно крикнул:

— Айда сюда!

Евграф спрыгнул на борт буксира и снял со шхуны сундук. Проходя коридорцем между горячим машинным отделением и каютами, он должен был нести сундук в руках, боком, но даже на узкой, крутой лесенке, подымавшейся на палубу, он не расстался со своей неудобной кладью. Так, с трудом держа перед собой тяжелый, обитый крашеной жестью сундук, он очутился лицом к лицу с казаком.

Казак был молод (лет двадцать можно было дать ему по виду), тороплив в движениях и особенно в речи. Он ухмыльнулся сундуку, оглядел Евграфа снизу доверху, сощурился на золотую тюбетейку татарина, сделав все это в один миг и тем же мигом задав быстрый вопрос:

— Ты кто?

Евграф — наоборот — помедлил, помялся, что-то прикинул, и весь разговор сразу обратился в столкновение медлительности с нетерпеливым, уверенным напором.

— Анатом,— сказал Евграф, тонко прищурившись.

Казака взмыло смехом. Он хлопнул себя по коленям, схватился за затылок, сдвигая на лоб фуражку, и сквозь смех громко вскрикнул:

— Вот черт! То есть — как? Что такое, а?

— Вот так... А вы, видать, Ростислав Васильич сами и будете? Признаю по батюшке, по Василь Леонтьичу.

— Да ты кто? Откуда? Что тебе поручил брат Матвей?

— Матвей Васильич велели кланяться вам и сказать, что у них все, слава богу, здоровы.

— Позволь!.. Как он мог знать, что ты меня встретишь?

«Братья»

— Этого они знать не могли. А только, когда прощались со мной, наказывали: увидишь, говорят, кого из наших — кланяйся и скажи, что, мол, слава богу... Я у Матвей Васильича доверенное лицо был, по анатомии...

— Ха-ха, спасибо за поклон! Да ты хитер, старик!

— Какая в уме хитрость?..

— Откуда же знаешь отца?

Евграф осторожно опустил на палубу сундук и, точно собираясь отвести душу, присел.

— Я у вашего батюшки служил до того самого года, в котором вы были родиться должны. А за вашим братцем Никитой Васильичем дядькой ходил. Я у Каревых вроде...

— Постой,— перебил Ростислав,— ты... Евграф?

— Точно так,— солидно подтвердил Евграф и уселся на сундуке поплотнее.

— Что же ты хочешь от меня?

— А вот, сделай старику одолженье, перевези на тот берег, да ежели милости будет — в Уральск доставь, по железке.

— Захотел, ха-ха! За Волгу попасть не фокус, я тебя довезу. Ну, а в Уральск... Плохо, Евграф, газеты читаешь!

Карев бегло взглянул на молчаливо улыбавшегося татарина.

— Вот что. Возьмем его в степь. Там будет видно. Ты ведь от голода бежишь? — обернулся он к Евграфу.— Решай.

— А в Уральске что? — недоверчиво спросил Евграф.

— Туда бородачи ушли, отцы.

— А сыны тут?

— Как видишь.

— Борода-то и у меня есть.

— А еще что?

— Вот сундук,— ощерился Евграф, постукивая по жестяной обивке.

— Не много.

— Куда больше!

— Ну, как же? — недовольно поторопил Карев.

— А вот так,— в спокойствии отозвался Евграф.— Отцу твоему служил, брату служил, пришла пора послужить тебе.

— А что будешь делать?

— Что скажешь, то и стану делать.

Ростислав вдруг засиял, смешно оттопыривая губы круглого рта и тараща серые, круглые, как рот, глаза. Он схватил Евграфа за плечо, потрепал его, точно коня, и выговорил торжественно, подавляя хохот:

— Отлично! Будешь у меня красным ана-то-мом!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Осетр ходил из Каспия по Уралу, мимо Гурьева, мимо редких станиц, хуторов, форпостов, сквозь степь, вплоть до Уральска. Тут он стаями натыкался на учуг — железную решетчатую заграду, поставленную поперек реки, от берега к берегу — и ходу его наступал конец. Осетр останавливался, уткнув морды в учуг, тупо глядя вперед, поводя костистыми плавниками, держась против воды. Вода ненамного относила его (вода на Урале быстра и могуча), он наддавал хвостами и снова натыкался на учуг. За лето его скоплялось здесь тьмущая тьма, он оседал своим пузатым множеством в глубокую — перед учугом — ярь, в ятовь, и в ятови залегал зимовать.

На царское багренье первую ятовь, под учугом, казаки брали в почин, а потом шли вниз по Уралу, от ятови к ятови, поднимая сонную рыбу шумом и звоном ломов из глубины на поверхность, ко льду, выволакивая осетров через проруби баграми и подбагренниками.

Сквозь ячейки учуга под Уральском мелкая рыба вольно могла проходить вверх по воде, во владенья илецких оренбургских казаков. Но осетр покрупней, настоящая рыба, промысловый улов, весь оставался перед учугом, в Уральске, у малиновых, яицких околышей и к голубым, оренбургским не попадал.

Так было испокон века: есть уральский казак, а потом — всякие другие казаки, а потом — просто люди, мужики, иногородние. Но на первом ряду — уральский казак, и в казачьей земле все для него — по святому кресту, по праву, по закону, по царевой охоте, по казачьей вольности — и земля, и вода, и птица в небе, и хозяйское первое слово.

Вот откуда учуг под Уральском, вот откуда мосток через весь Урал, над учугом, над ятовью, и на мостке часовой казак, с берданочкой. Часовой казак стерег нерушимый до багренья покой рыбы, богатство подготовленного улова, сторожил залегшего в ятови осетра, поплевывая от скуки с мостка в воду и глядя на черные костяные пилы осетровых горбов.

Так было испокон века, и вот как случилось в восемнадцатом году, в революцию: революция уральскому казаку стала железным учугом, перекинутым через степь из края в край, и ятовью стал Уральск, и в ятови залегли осетрами старики, отцы бородачи казаки.

Осетр знал только одну дорогу — из Каспия по Уралу, против воды, и, дойдя до учуга, не поворачивал назад, а утыкался острыми носами в железную решетку и залегал на зиму, чтобы выждать,

перележать, взять свое — пойти острыми носами вперед, против воды.

Казак знал одну дорогу — за святой крест, за цареву присягу, за казачью вольность — и, упершись в учуг революции, залег в ятови осетром, чтобы выждать, перележать, взять свое.

В ятови правил Войсковой круг. С бородачами немало было сынов, и сыны отлеживались бок о бок с отцами. Но ячейки учуга были не очень малы, сквозь них казаки помоложе вольно могли проходить вверх по воде, в революцию, и учуг разгородил уральцев на отцов и сынов.

С сынами, по дорогам от Покровска, Николаевска, Новоузенска, из заволжской луговой стороны в степь текло, разливалось половодье. В нем вертелся воронками сор и шлак, но вода стояла высоко, поток был могуч, и сор пропадал в нем.

Железная решетка учуга изредка прорывалась; тогда, у прорыва, поток воды натыкался на бородачей, вылезших из ятови, смывал их, и прорыв наскоро штопался, починялся.

Над починкой трудились разнокожие, разноязычные люди — оборванные великороссийские солдаты и татары, пришлые — с севера — рабочие и покровские хохлы, казаки, урбахские, давно не бритые немцы-колонисты и запакованные в тюфяки халатов киргизы. Судьба событий в то время решалась не здесь, в уральской степи, у черты Азии, а под другим небом, и войска, батальоны, штабы наполовину создавались так, как толпа под кровлей в ливень.

Отряд Ростислава Карева создался по-другому, потому что в голове ходил боевой казак, и боевые казаки облепили его, как пчелы матку. Каждая часть отряда была искушена и выверена — киргизов с татарами вкрапливали в конницу не больше, чем луку в окрошку, пехоту водили строевые солдаты, и отряд легко выковывался в прочную ячейку железного учуга, перекинутого через степь, из края в край...

К исходу осени в лунные ночи выдавались заморозки, серебро ковыля и полыни порастало серебром инея, пространство степи, беззвучное, как небо, блистало зимней неподвижностью, и по таким ночам лучше всего было сидеть в киргизской юрте, у огня, в едком, теплом дымку.

Ростислав скоро привязался к Евграфу, нечаянный знакомец стал для него вроде ординарца, которому иной раз можно доверить не только запечатанный пакет, но и молодой пыл вечерней болтовни, за огнем, после боя.

Бои случались редко, войска лениво меняли позиции, скучиваясь поблизости от воды, как новоселы, оседая на реках, у котлубаней, возле скудных заболоченных родников. И, может быть,

от степной скудости, из боязни потерять воду, из боязни пустыни, бои — если они случались — бывали ожесточенно кровавы. Но — по правде — кровавые университеты были пройдены и окончены много раньше в Галиции, Буковине.

Очутившись среди этих людей, Евграф опешил. Он мог бы мирно ночевать с покойником на одной полке. Но кровь, которая стекала со стола препаратов во время лекций, ничем не была похожа на красные пятна, окрашивавшие в степи серебро полыни и ковыля. Смерть как состояние была Евграфу безразлична. Но внезапно наступавшие на его глазах смерти, всегда необъяснимый и в отдельном случае всегда бессмысленный переход от жизни к смерти смутили его равнодушие.

Он стал суеверен, как рыбак. Он примечал зори, чтоб предсказать удачу или неудачу. Он приглядывался к птицам, слушал вздохи и молчание степи.

— Чтой-то тихо стало, ветер дул, дул, а потом сразу как обрезало,— говорил он, морщась.— Накладут нам завтра...

Вечером, после стычки за маленький хутор, на новой позиции, конь Ростислава, развязав путы, подошел к юрте хозяина, мордой отодвинул ковер и заржал. Евграф спокойно вывел коня, спутал ему ноги и пустил гулять. Но, вернувшись в юрту, он многозначительно тронул Карева за плечо и спросил с расстановочкой:

— Ростислав Василич, знаешь к чему?

— Что к чему?

— А вот конь-то.

— Ну, что — конь?

— Это он тебе встречу наржал,— произнес Евграф, прикрывая глаза.

— Брось ворожить, вещун! — захохотал Ростислав.— Я тебе расскажу про встречу — ахнешь! Ты ночью свой сундук сторожил, а мы, братец, такое откололи — страшно вспомнить. Вот это — встреча!

И он понесся в обычном своем галопе рассказа, пугаясь ужасов, о которых говорил, и тут же смеясь над своим испугом.

— Понимаешь? С вечера мы выбили беляков из хутора, опрокинули за реку, расположились, притихли. Ладно. За рекой ни гугу. Эге, думаю, черти! Вы хитры, а я хитрее вас! Знаем вашу повадку: с вечера тихо — в полночь жди шуму. Ребята, говорю, у кого мы учились? У стариков? Ну-ка, пропишем им ихнюю науку!! Идет! А тишина-а! — слышно, понимаешь, как кони хвостами машут! Начали наши, пока луна не взошла, собираться чуть слышно, налегке — винтовочки, шашки и ладно. Оставили киргизов с конями, велели через часок подшуметь, огонек раздуть, разлеглись, мол, как следует, понимаешь? А сами поползли на четвереньках

к броду,— брод видал где? — в версте отсюда, повыше. Темень — прямо гроб! Ползут, друг дружку не видят, слышат только, как зубы от холода лязгают, вот черт! Доползли, понимаешь, до брода, оружие — на шею, взялись за руки, цепями, чтобы не оступился кто, пошли в воду. А ночь, понимаешь, перед тем как луне взойти, еще гуще! Ну, идут так, держат один другого за руки, боятся водой плеснуть, ни дьявола не видно, кругом точно сажа, только на ощупь, вот так, руками, слышно, что, мол, свой рядом, ха-ха!

Ростислав закрыл ладонью рот, со свистом втянул сквозь пальцы воздух и вытаращил на Евграфа глаза. В полумраке юрты они поблескивали серебряными полтинами.

— Вот так, понимаешь? — спросил он, разводя сжатые кулаки и показывая, как казаки держались за руки в воде. Потом он поежился, словно от мороза, и захохотал.

— Идут, понимаешь, в этой чертовой саже, вода по колено, выше, по пояс, выше, вот по сих пор, выше, видят — надо винтовки подбирать, вода по грудь, брод глубокий. Розняли ребята руки, подобрали оружие, подняли его над головами, идут, понимаешь, в воде, как вплавь, ни черта не видать! И вдруг, понимаешь...

Ростислав нагнулся, выпятил подбородок, на цыпочках шагнул к Евграфу и прошипел:

— Что такое? Ничего не понять! Первый ряд, по грудь в реке, наткнулся на людей! Вот черт! Кто такой? Постояли малость, а тут задние напирают, шепчут — чего, мол, стали? А передние ни с места! Поднялся тут шумок. Сзади рядов прибывает, спереди стоят, думают — запутались, мол, как розняли руки, зашел кто-нибудь вперед, сбился с броду. А тут и впереди, против первого ряда — тоже шумок. Что за черт?! И вот в эту самую минуту луна, понимаешь, во-о!

Ростислав размахнулся, подпрыгнул и свел руки внизу, очертив в воздухе огромный круг и почти усевшись на корточки.

— Ха-ха! Из-за кустика прямо вдоль реки, вот этаким малиновым подносом! И какая штука! — с того берега прут на наших бродом старики, бороды по воде распустили, в руках, над головами, шашки, сами ни гугу! Ах, ч-черт, ха-ха-ха! Вот тебе повстречанье! Перехитрили! Ха-ха-ха!

— Язви тя в сердце,— тихо сказал Евграф и с опаской попятился от Ростислава.

— И пошли тут наши крошить! — нараспев протянул Ростислав.— По горло в воде, шашки накрест — вали, казаки! Вот где бы-ло!

Евграф покачал головою и сказал с сомненьем:

— Заливаешь ты, Ростислав Васильич...

— Чего? — вскрикнул Ростислав.— Ах ты, вещун! Спроси поди у казаков! А как же мы за собой хутор оставили? Мы их до самой зари гнали, они теперь у черта на куличках, понял? Как выжали их из воды, кинулись они к лошадям, а тут...

Тут тяжелый ковер, висевший на входе, отвернулся, и в юрту, нагнувшись, вошел молодой казак. Ростислав оборвал речь.

— Ну? — спросил он кратко.

— Там человека задержали, Ростислав Васильич,— проговорил казак,— степью, что ли, шел к неприятелю.

— Что за человек?

— А кто его знает — с сумой да с подсумком. К вам велите или как?

— Пусть приведут.

В юрте стоял полумрак, небольшой огонь костра на земле робко озарял кошму круглой стены, дымок медленно поднимался к конусу крыши.

Евграф зажег лампу с расколотым стеклом и поставил ее на маленький, единственный в юрте стол.

Казаки ввели в юрту высокого человека и тотчас вышли. Человек устало снял с плеч кожаный ранец и опустил его к ногам, на землю.

— Кто вы такой? — спросил Ростислав, рассматривая высокую сгорбившуюся фигуру.

— Я очень устал и хочу есть,— ответил человек.

Он пригляделся к свету, различил скамью, на которой сидел Евграф, и опустился на ее край.

— Я не могу понять, по какому праву спрашиваете вы о том, кто я,— сказал он брезгливо.— На моем пути меня задерживают третий раз, допытываются, куда и зачем я иду, как будто я не у себя на родине или украл что-нибудь, потом так же бестолково отпускают, как бестолково задержали.

— А что поделаешь? — примирительно вздохнул Евграф и покосился на Ростислава.

— Вы находитесь в штабе красного отряда, который ведет вооруженную борьбу с бандами контрреволюции,— торжественно и грубовато произнес Ростислав.— Вы должны ответить, кто вы такой и куда направляетесь.

— Мне говорили о каком-то отряде товарища Карева. Вы не могли бы сказать, какой это Карев?

Ростислав сел за стол и отодвинул лампу, чтобы яснее видеть.

— Я требую прежде всего ответа на мой вопрос,— жестко вглядываясь в лицо неизвестного, сказал он.

Тогда допрашиваемый человек внезапно вскочил со скамьи и, упершись кулаками в край стола, перегнулся через него к Рости-

славу. В то же мгновение Ростислав с силой вырвал из кармана своей куртки револьвер и поднял его на уровень глаз незнакомца. Евграф качнулся вперед, поближе к столу.

— Кто вы такой? — крикнул Ростислав, твердо держа оружие перед бледной мишенью незнакомого лица.

Так все они — втроем — простояли неподвижно несколько секунд. И в тягостном, беззвучном ожидании с белых губ одного из них слетели неуверенные, тихие слова:

— Ростислав?.. Брат?

Еще секунда прошла в неподвижности. Рука Ростислава медленно опустилась, дуло револьвера стукнулось о стол. Евграф присел на скамейку и выдавил с придыханием:

— Неужто может быть?!

Ростислав швырнул револьвер, откинулся назад, уронив табуретку, схватил себя за голову.

— Брат! — пробормотал он, нацеживая сквозь зубы воздуха, точно обжегшись. И вдруг выпустил из полной своей груди какой-то воинственный и детский вопль:

— Никита! Ты!

Он бросился к брату, широко взмахнув руками, обнялся с ним, скрестив у него за спиной свои ладони, похлопал Никиту по лопаткам и уже обычным голосом, вернувшимся к нему, воскликнул:

— Вот черт, ха-ха! В степи! На тыщу верст! Пять лет, ведь пять лет не видались! На тыщу верст, в пу-сты-не, брат Никита!

Никита провел рукою по голове, улыбнулся, тихо сказал:

— А ты меня вон чем встретил.

Он показал глазами на револьвер.

— Брось, к черту, ха-ха! — кричал сквозь смех Ростислав.

Он смахнул револьвер со стола наземь.

— Дай мне напиться,— попросил Никита и опять в изнеможении опустился на скамью.

— Евграф! Устрой! Давай скорее! — торопил Ростислав.

Никита обернулся к Евграфу, молча, улыбаясь, протянул ему обе руки, и тот так же молча подержал их в своих короткопалых черствых ладонях.

— Ну, вот они — дорожки да тропы,— тихо проговорил Никита.

— Помнишь? — обрадованно спросил Евграф и, подойдя к Никите, без спроса поцеловал его в щеку.

— Дай пить,— снова попросил Никита, слабо пожимая руку Евграфа.

Евграф назидательно качнул головою Ростиславу.

— Вот тебе лошадь-то наржала...

Пока он уходил за водою, Ростислав уложил Никиту на кошму и, разглядывая брата, не переставал кружиться по юрте, взмахивать и всплескивать руками, выкрикивать односложно:

— Ах, черт! Вот черт!

Никита лежал не шевелясь. Даже в полусвете разбитой лампы видно было, как грязен его костюм, избиты и стерты сапоги. Лицо его, покрытое слоем известковой пыли, было совсем безжизненно. Казалось, он вот-вот лишится чувств.

Но холодная вода скоро оживила его. Напившись, Никита умылся. Евграф бережно подавал ему из ковша воду, потом облил его голову и, ласково ощерившись, потрепал мокрые волосы.

— Я иду пятый день и с прошлого вечера не пил,— сказал Никита.— Только было добрался до реки, как твои молодцы меня взяли.

— Да откуда ты, скажи наконец? — опять заторопился Ростислав.— Как ты сюда попал?

— Скоро месяц, как я в дороге.

— От немцев! Вот это штука! Ха-ха! Но куда же ты пробираешься? Неужели...

— Как — куда? — перебил Никита.— Я вернулся на родину и иду домой, к своим.

— Постой, постой! Ах, черт! Да ты что, ничего не понимаешь, что ли? Какие свои, где свои, вот штука в чем? Что ты там делал, у немцев?

Никита не сразу ответил, в удивлении поднял плечи и пристально вгляделся в брата.

— Как — что делал? — тихо переспросил он.— Ты должен знать, что я делаю.

Он опять немного помолчал и добавил, точно в обиде:

— Я по-прежнему занимаюсь музыкой, писал симфонию...

— Писал симфонию? — простодушно воскликнул Ростислав.— Всю войну, четыре года? И больше ничего?

— Если хочешь — больше ничего,— отозвался Никита.

На мгновение в его голосе прозвучала заносчивая досада, но он почти тотчас же снисходительно и мягко улыбнулся:

— Если не считать, что я мучился, падал духом и поднимался, что я смотрел и слушал.

Он засмеялся, и вновь проскользнула в его смехе нотка горького превосходства над братом.

Черты лица Никиты, давно сложившиеся и возмужавшие, в отдельности не были резки или приметливы. Разве одни глаза легко было запомнить — малоподвижные, как будто сонные и ленивые. Но быстрые, крутые смены чувств легко передавались всем лицом, точно просвечивая сквозь него.

Никита повторил все так же горько:

— Если не считать этого...

Но вдруг он словно разглядел Ростислава.

— Боже мой! — вскрикнул он облегченно и бросился навстречу брату.— Ростислав, чудак, да ты ведь все такой же, какой был раньше!

— Ха-ха! Черт! — захохотал Ростислав.— Да ведь и ты такой же!

Он обнял Никиту и опять, потрепывая его по плечу, хватаясь за голову, стал втягивать и глотать воздух круглым, подвижным, некрасивым ртом.

— Подумай, вот штука: на тыщу верст, в пустыне! Ха-ха!

Тогда обычные нестройные вопросы и ответы, которыми осыпают друг друга при встрече, заторкались в тесной, надымленной юрте:

— Как наши?

— Да кто? С кого начать? Наталья была на фронте, я виделся с ней. Теперь у нас, у красных!

— Матвей?

— Этот в Питере, по-старому. Евграф рассказывал — большая дочь.

— Другие сестры?

— Растерял, не слышал. Мастря, поди, в монастыре, ха!

— А что со стариками? Как они?

— Да что им? По правде говоря, я о них мало слышал... последний год. Я им писал, ну, а насчет ответа... Тут везде фронты, а потом... Ведь я большевичу. Думаю, папаше это не по нраву, знаешь, чай, его! Ха-ха! А ты как сам?

Ростислав приостановился и неопределенно помахал рукою над головой.

— Как тебе все это, а? Здорово, а?

Никита твердо ответил:

— Я против отца не пошел бы.

Ростислав схватился за голову и радостно закричал:

— А против брата? А? Что? Против брата иль против сына пошел бы?

Никита покачал головою.

— Это все равно. Ни против брата, ни против сына, ни против отца,— строго и прямо выговорил он.

— А они пошли, они пошли, отцы пошли, вот в чем дело! — еще громче и победительней прокричал Ростислав.— И ты теперь,— я тебя понимаю, очень прекрасно понимаю! — ты теперь если с нами — должен идти против отца, если с отцом — должен идти против брата, против меня, вот! А если не хочешь ни тут, ни

там, то будешь болтаться в воздухе, и тебе напиться негде будет взять, вот! Как сегодня, ого!

— Ты молод, Ростислав,— сухо сказал Никита.

Ростислав перестал улыбаться и недоверчиво поглядел на брата.

— Конечно, молод! — вновь радостно и победительно вскрикнул он.

— В этом все дело,— криво улыбнулся Никита.

— Конечно, в этом, ха-ха-ха!

— Не понимаю твоего восторга. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты действуешь добросовестно. Но ты, кажется, хочешь обвинить меня в том, что я не избрал, как ты, никакой стороны? Ну так вот, брат. Я пришел на родину и не нашел родины. А я хочу найти ее, потому что без нее нельзя жить, понял? Мне нечем себя наполнить без родины. Я говорю — ты действуешь по совести, ты служишь, по-твоему, прекрасному делу. Отец, наверно, тоже уверен, что служит прекрасному делу. Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца, потому что, пока я шел по степи, на моем пути каждый день попадались трупы. Этого, вероятно, требует прекрасное дело, твое или твоих противников, все равно. Решайте сами судьбу дела. Я служу ему постоянно. Потому что служить ему можно только делом, только тем, что умеешь делать. Для меня это давно решено. Утверждайте ваше прекрасное дело тем способом, каким вы умеете. Я ему служу тем, что смотрю и слушаю. Ты не знаешь, что такая служба возможна, поэтому я говорю: ты молод, Ростислав.

— Ты не был на войне,— словно извиняясь, сказал Ростислав,— ты не знаешь, как это все было заверчено, понимаешь, вот так черт!

— С тем же правом я могу тебе сказать, что ты не знаешь музыки, что ты ничего, кроме войны, не знаешь и хочешь решать все войной, хотя бы с родным отцом.

— Да! — упрямо и хмуро сказал Ростислав.— Хочу решать войной. Уверен, что ты — тоже будешь решать войной.

Он озабоченно стал отыскивать брошенный на землю револьвер. Револьвер лежал у ног Никиты, и Никита поднял его и протянул брату. Ростислав вырвал оружие из рук Никиты и засунул в карман.

В эту минуту взоры обоих братьев скрестились на Евграфе.

Он давно уже вскипятил на костре чайник и сидел за столом, подувая в щербатое, струившееся паром чайное блюдце. Вид его был бесстрастен.

Взоры братьев, упав на Евграфа, прояснились, но, снова встретившись,— остыли и потухли. Каждый из них — Никита и

Ростислав — точно хотел найти в Евграфе союзника, и, едва поняв это, оба с неприязнью оттолкнулись друг от друга. Евграф добродушно мочил кудрявые свои усы в чайном блюдце.

— У меня есть дело,— сказал Ростислав,— я пойду. Ложись, Никита, отдыхай. Покойной ночи.

Он вышел, не взглянув на брата.

Евграф налил Никите чаю, пододвинул сухие баранки и темный, гладкий, долго гулявший по карманам кусок сахару. Минут пять они молча пили.

Потом Евграф негромко вымолвил:

— Я тебя хорошо помню, Никита Васильич. Ты все, бывало, сусликов жалел. Как стукну я дубинкой суслика по башке, ты кричишь: ай!

Он укоризненно качнул головой.

— Ну? — спросил Никита.

— Что меня подгоняешь?

Евграф помолчал, шумно отхлебнул чаю и проговорил, ухмыляясь:

— Смешно, говорю, кричал: ай!

— Стар ты стал, Евграф,— сказал Никита.

— Один вишь молод, другой — стар. Поди ж ты!

Он больше ничего не говорил, крепко и недовольно запрятав в усы бесцветную нижнюю губу.

Никита лег на кошму и сразу, как камень в воду, опустился в сон...

Ростислав пришел поздно ночью, перед рассветом. Он отдернул ковер и стал у входа. Костер притух, испепелился, но лампочка еще мигала последними вспышками фитиля. Евграф спал рядом с Никитой.

Ростислав нагнулся над братом.

Никита лежал навзничь. Чуть приоткрытый его рот казался беспомощным, женственным, губы мягко и легко вздрагивали. Но в закрытых веках и прямых бровях сосредоточивалось упорное внимание, точно Никита всматривался в какое-то отчетливое и важное сновиденье. Ростислав пристально глядел в лицо брата, близко наклонившись к нему, разгадывая смысл родных и непонятно чужих черт.

Вдруг Никита глубоко вздохнул и открыл глаза. Томительно тихую минуту он смотрел в горевшие над ним глаза брата. Испуг и мученье искривили его лицо. Он не узнавал Ростислава и вряд ли верил, что очнулся от сна. Потом он резко приподнялся на локте и шепотом спросил:

— Ты что?

— Я уже встаю,— неожиданно для себя солгал Ростислав и тотчас, вскочив на ноги, отошел к столу и погасил лампу.

— Скоро утро? — спросил Никита.

Ростислав отодвинул ковер на входе. В юрте не стало светлее, но вдалеке небо уже подернулось бледно-желтой полосою зари.

— Я хотел спросить тебя,— выговорил быстро Ростислав,— ты окончательно решил идти к белым?

— Я иду домой,— ответил Никита.— Если бы там стоял ты со своим штабом, я все равно пошел бы туда. Мне нужно работать.

— Ах, что ты говоришь! — с болью вырвалось у Ростислава.

Никита поднялся с кошмы, неуверенно ступая в темноте, приблизился к брату, нащупал его плечо и притянул к себе.

— Милый Ростислав, напрасно ты... ну, как сказать? Право, нам не следует ничего решать. Давай пойдем каждый своею дорогой. Уверяю тебя, я ничего не хочу и не могу делать, кроме своего дела. Я не могу отказаться от него. Иначе вся моя прошлая жизнь станет бессмысленной дурью! А мне сейчас кажется, что она наполнена таким значением!

— Как хочешь,— глухо сказал Ростислав и высвободил плечо из рук брата.— Только, понимаешь...

— Я не осуждаю тебя, нет, нет!

— Да не в этом дело! Не все ли равно, кто кого осуждает?! — вскричал Ростислав.

Было слышно, как он, захлебываясь, набрал в грудь воздуха и выпустил его, как будто собрался горячо говорить и мгновенно раздумал.

— Ты не причинишь нам никакого вреда? — сдержанно-тихо спросил он.

— Я не понимаю...

— Ну, черт, как это? Я хочу... Ну, видишь ли, там, у белых, ты...

— Можешь быть спокоен,— сухо сказал Никита,— я ничем не буду полезен ни белым, ни вам. Можешь...

— Ладно! — коротко и громко оборвал Ростислав.— Тогда тебе нужно поскорее уходить, до рассвета.

— Ты должен распорядиться, чтобы меня отпустили.

— Я не задерживаю тебя,— отрезал Ростислав и широким, сильным шагом вышел из юрты.

Несколько минут спустя он ввел в юрту казака и велел ему подождать.

Он долго возился с фитилем лампы, стараясь разжечь его.

— Тебе посветить? — спросил Никита.

— Пожалуйста.

— Вот пропуск,— сказал он, протягивая бумажку казаку.— Только... понял? Шито-крыто!

— Индульгенция? — усмехнулся Никита.

— Что это?

— Католические попы выдавали такие свидетельства об отпущении грехов.

— Ты ни в чем не грешен,— коротко сказал Ростислав.

Никита взялся за свою поклажу. Она была невелика: к ранцу германского военного образца подвешивался подсумок с хлебом, сухарями и чайник. Никита надел ремни на плечи, попробовал, хорошо ли сидит ранец, и протянул брату руку.

— Спасибо, Ростислав. Прощай.

— Прощай,— отозвался Ростислав и пожал руку.

В молчании все вышли из юрты. Следом за ними тотчас вылез Евграф. Он поднялся с кошмы так тихо, что стало ясно: он слышал весь разговор братьев и притворялся спящим.

Казак повел Никиту вдоль берега реки, к броду. Рассвет уже давал себя знать, быстро уходившие люди были видны отчетливо.

Тут внезапно заволновался Евграф. В растерянности он взглянул на Ростислава, потом вслед Никите и хрипло, почти безголосо вскрикнул:

— Никита Васильич, постой! Постой минутку!

Он тяжело сорвался с места, но, не добежав до Никиты, остановился, посмотрел на Ростислава, будто колеблясь — вернуться ему или догонять Никиту.

— Подсумочек-то у его слабо привязан, подтянуть надо! — закричал он не то Ростиславу, не то провожавшему Никиту казаку.

Он опять сорвался, зачем-то махнул рукою и побежал за Никитой.

Догнав его, он старательно притянул подсумок к ранцу, ощупал ремни и, дотронувшись до плеча Никиты, сказал с ласковой серьезностью:

— Теперь ладно, ступай с богом.

Никита потянулся обнять его, но Евграф отстранился и со строгим, исполненным достоинства лицом зашагал назад к юрте.

Тогда, увидев все еще стоявшего около юрты Ростислава, Никита крикнул:

— Нашим кланяться, что ли?

Ростислав быстро повернулся и скользнул в юрту, но почти в то же мгновение выскочил снова наружу и, подняв над головою руку, помахивая в такт своим словам, ответил раздельно и громко:

— Ну, какой разговор! Конечно, кланяйся отцу, и маме, и всем, кто там из наших!..

Он опять юркнул за ковер.

Евграф обернулся, приостанавливаясь, снял картуз.

— От меня Василь Леонтьичу поклон,— сказал он степенно.

Глазки его остро, по-стариковски, засветились, он высморкался и стал неподвижно смотреть вслед уходившему Никите.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда-то, от скуки, Варвара Михайловна выписала пишущую машинку «ремингтон», немного поучилась писать, потом забросила. Машинка стояла на прилавке, неподалеку от кассы, в том узеньком неудобном уголке, откуда железная дверь выводила в жилую половину шерстобитовского дома. В этом уголке вокруг кассы любил вертеться и проявлять расторопность Витька.

Изредка, по утрам или к вечеру, в часы малолюдия и вялой торговли, Витька подбирался к пишущей машинке, вкладывал в ролик листок оберточной бумаги и задумчиво выстукивал указательным пальцем: «Виктор Иванович Чупрыков. Витя. Витька. Витька Чупрыков. ? § %...» «%... Варенька. Варюша Шерстобитова... В. Чупрыков: % % ?? §§» «...В. Чупрыков. Варенька. В. Чупрыкова». И так раз по сто.

Ему никто не мешал, в магазине раздавались привычные позвякиванья гирек по медным чашкам весов, он погружался в мечтательность, подергивая пальцами кончик своего носа и тонкие, круто вырисованные ноздри. Желтенькие глазки его, как завороженные, впивались в последние слова, отпечатанные на обертке: «Варенька. В. Чупрыкова», слеза застилала ему взор, он всхлипывал, точно во сне, и еще более задумчиво печатал: «В. и В. Чупрыковы».

Если поблизости оказывалась Варвара Михайловна, она потихоньку подходила к Витьке, заглядывала через его плечо на бумагу и, расхохотавшись, громко, на весь магазин, восклицала:

— Ах, какой ты дурак! Вот дурак!

В смехе ее, несмотря на выразительность «дурака», бывало немало добродушия, и Витька обижался только для виду, в расчете побольше развеселить хозяйскую дочку.

Он жил в долголетней и безошибочной уверенности, что главное в его отношениях с Варварой Михайловной — веселость. С ребячьей поры он изощрялся в проказах, шутовских придумках и затеях, чтобы укрепить, связать потуже свой необычный союз с Варенькой.

Тоска, тощища без конца, без краешка, отчаяние озорства, высмеянная страсть, нелепая чувствительная мечта и скрытый заветный расчет — все перепуталось в этом союзе.

Он был торжественно — о да, почти торжественно — заключен давным-давно, едва начались поездки на Чаган и Урал, пикники с офицерами, сватовство купеческих сынков, гулянья в коммерческом клубе и войсковом собрании, едва Вареньку, Варюшу, Варю приказчики назвали уважительно Варварой Михайловной.

Торжество случилось летом, на луке, в путаных зарослях ежевики, в знойной полуденной истоме. Варенька захватила с собой бутылку портвейна и пачку печенья. Витька был припаряжен — в парусиновом пиджачке и с пенсне на боковом кармашке. Пенсне он незадолго до того приобрел, уверяя, что у него болят глаза от солнца. Но нос его был плохо приспособлен для такого украшения, и он накалывал пенсне английской булавочкой на кармашек.

Сначала собирали по кустам ежевику, потом, развалившись под деревом, роспили портвейн. Вино было теплое, Варенька щедро наливала в стакан, и Витька быстро пьянел.

— Я вас очень обожаю, Варюша,— говорил он блаженно, растирая по лицу клейкий, блестящий пот,— не в сравненье больше других. Другие, может, подлаживаются, а я чувствую. И вы это замечаете и выделяете меня из толпы, а я опять же это чувствую, потому что не как все, а не в сравненье тоньше.

— Тонок, что говорить,— ухмыльнулась Варенька.

— Я, Варюша, отлично понимаю, что на вас редкий который может угодить. У вас желание высокое, и вся вы так и рветесь.

— Ха-ха! Рвусь! Ну на, выпей!

— Я вас понимаю, потому что не как все,— продолжал Витька.

Он выпил, лицо его покрылось малиновыми пятнами, глазки растроганно лучились.

— Я с детских лет, Варюша, был ребенок беда какой смекалистый, и ум мой был особенный. Например, я вам расскажу случай из жизни. Лет десяти от роду приходит мне мысль — а что такое фамилье? Вот там Петров, Сидоров? Я долго над этим думал. Вроде как воздух — ни пощупать, ни увидеть, а без него жить нельзя, без фамилья. У нас в городе, помню, очень меня одно фамилье удивило. Галкин-Враский. Богадельня была Галкина-Враского, я мимо ходил, читал и думал. Я уж тогда грамоте хорошо знал. Вот я и решаю — врешь! Там Петров, Сидоров, как хотят, а я свое фамилье должен держать твердо! Чупрыков! Вот я тогда беру кусок сыромятной кожи, пишу на нем мелко «Чупры-ков» и потом режу наскрозь ножиком. Два дня резал. Получилось тонко, как кружева: Чупрыков. Тогда я это на шнурок и на шею, рядом с нательным крестом. Так всю жизнь носил и сейчас ношу, а умирать буду — сыну отдам, пусть тоже носит.

Вынул, посмотрел — это я, Чупрыков, буква в букву. Воздух? — ан нет! — кожа! не сносится, не пачпорт, который всякий может подделать. На груди ношу, освятил сердцем, вот...

Витька расстегнул ворот рубахи и вытащил из-за пазухи два шнурка. На одном болтался серебряный крестик, на другом — засаленный черный лоскут кожи, длиною с вершок, в мелких петлях и отверстиях. Витька подполз к Вареньке и показал талисман. Она засмеялась. Он довольно и обрадованно завторил ей беззвучным, дробным смешком.

— Я человек не как все,— опять начал он,— поэтому я вас понимаю, как вы рветесь от тоски и в поисках счастливой жизни. Я вас очень обожаю, но не всегда смею сказать о своем сердце. Если бы вы захотели, Варюша, я бы вам не то что все свое счастье, которым вы меня можете уделить и которое я сам, своими силами, располагаю отроду...

У него заплетался язык, он насилу ворочал во рту слова, но его глазки живо прыгали по лицу Вареньки, и чтобы легче выразить чувства, он изо всей силы вертел на пальцах шнурки с крестом и талисманом.

Тогда Варенька, сощурившись на Витьку, нежданно предложила:

— Витька, давай побратаемся?

Он не сразу понял, взялся за стаканы и бутылку, пробормотал совсем пьяно:

— Брудершахт? Давно стремился, обожаемая Варюша, мечтал назвать вас «ты», но из обожания к тому, что красота и вид... хозяйский вид, и мое преданное вам сердце...

— Постой молоть,— оборвала его Варенька.— Я говорю, давай брататься. По правде, как следует, поменяемся крестами, и ты мне будешь родной брат, я тебе — сестра... Хочешь?

Она откинулась немного от Витьки, сидя на коленях и упираясь в землю кулаками, позади спины. Так ей было удобно рассматривать Витьку, и она с какой-то хищной серьезностью следила за малейшим его движением. Солнце падало ей на лицо, чуть открытый рот поблескивал ровной полосой зубов, брови лоснились глянцевой, темной краской.

Витька побледнел. Малиновые пятна исчезли с его лица, глазки замерли, остановились, он медленно поднялся на ноги.

— Крестами меняться? — глухо и точно в испуге произнес он, глядя в землю.— По правде? Большой ответ перед богом.

Он даже прикрыл пальцами рот, выдыхая последние слова.

— Боишься? — подзадоривая, строго спросила Варенька.

Он оторвал глаза от земли, глянул на нее и вдруг повалился на колени.

— Ослепила! — вскрикнул он, протягивая руки к Вареньке и закрывая глаза.

Она усмехнулась и с отвращением, словно топча каблуком гада, выговорила:

— Трус! Притвора!

Но Чупрыков совсем протрезвел и, кажется, был глубоко потрясен. Стоя на коленях, он стаскивал через голову шнурок с крестом, торопясь отпутать его от талисмана, и бормотал:

— Истинный бог,— ослепила, красота моя, Варенька! Готов, счастлив по гроб жизни, как преданный пес, как собака на верность, на службу, любовь, крепче кровного брата, как пес, на, на, на!

Он стянул с себя крест и совал его Вареньке, подползая к ней на коленях.

— На, на, на!

У Вареньки дрогнули уголки губ, но она сдержалась и неторопливо начала снимать с себя длинную тонкую серебряную цепочку с крестом. Цепочка зацепилась за косу, собранную в большой узел на затылке. Варенька медленно отцепляла волосы, подняв высоко локти, и, не отрываясь, прищуренно глядела на Витьку.

Он все еще стоял на коленях и на вытянутой руке держал свой крест.

— Встань! — сказала Варенька.

Витька послушался. Она надела ему на шею свой крест и взяла себе Витькин засаленный короткий шнурок.

— Фу, какая грязища! — поморщилась она.

Витька, плотно прикрыв слезившиеся глаза, усердно облобызал свой новый крест, сунул его вместе с талисманом за шиворот и осмотрелся. Словно соображая, что следовало теперь делать, он отколол от кармашка пенсне и насадил его на нос. Чтобы оно не свалилось, Витьке пришлось откинуть назад голову, и, стоя так, он произнес с внушительной, торжественной расстановкой:

— Теперь мы с тобой, Варя, кроме бога, неразлучны на всю нашу счастливую жизнь вместе.

Тогда Варенька, всплеснув руками, повалилась в ежевичную чащу, подняв упругую, ее путаную рыже-зеленую постель, и хохот, режущий дальнозвучным своим звоном, хохот, повторяемый зарослями луки, вырвался из ежевики, взмыл кверху и пошел катиться по Чагану. Витька видел только ладони Вареньки да дрожащие оборки ее платья: упав, она не в силах была выпутаться из зелени, смех катал ее по земле, кусты ежевики, высвободившись из-под ее тела, распрямились и закрыли Вареньку почти наглухо. А она все хохотала, подергиваясь, вздрагивая, с шумом набирая воздух и выбрасывая его в высоком, сильном звоне смеха.

Витька отвернулся к реке, сделал обиженное лицо и стал ждать.

— Значит, это все было в насмешку? — спросил он уязвленно, когда Варенька выпуталась из ежевики и подошла к нему.

— Нет, это было серьезно,— ответила она.— Но ты непозволительно смешон, братец родимый!

И, опять захохотав, в усталости, измученным смехом, она простонала:

— Ох, сделай милость, убирайся вон за кусты, ступай! Я хочу купаться.

Лениво, как человек, изнемогающий от жары, она сняла платье и пошла в реку. Берег был отлог, глиняная коса, образовавшаяся на повороте, покато уходила в воду, и, долго ступая по мягкому дну, Варенька как будто оставалась над водою во весь рост. Она купалась не спеша, медленно опускаясь в глубину, снова показываясь над водою, и так же медленно вышла, искупавшись, на берег.

Надевая платье, она расслышала позади себя хруст кустов, спокойно обернулась на него и увидела Витьку, вылезавшего к ней из тайника. Она не сомневалась в том, что Чупрыков подглядывал за ней, но вид его изумил ее.

Витька опять покраснел, точно портвейн заново ударил в него хмелем, малиновые пятна пылали на его щеках и лбу, глазки вертко суетились, рот был растянут неподвижной улыбкой. Он приближался к Вареньке, странно приковыливая, в какой-то игривой и настойчивой присядочке, и видно было, как в приоткрытом рту у него подпрыгивал беззвучно язык.

— Ты что? — спросила Варенька.

Но он только мигнул желтыми своими глазками и продолжал двигаться все с той же присядочкой. Подойдя к Вареньке, он протянул ей руки, и она увидела, как пальцы его нервно вздрагивали, словно через них пропускали ток.

Она ударила его по рукам, потом, немного выждав,— по лицу. Удар был сильный, не женский, наотмашь, и звук его через мгновение повторило эхо, чмокнув где-то в луке.

Варенька неторопливо отвернулась от Витьки, одернула свое платье и пошла прочь, к тропинке. Сделав несколько шагов, она обернулась и сказала:

— Ведь мы побратались, Витька, а не поженились!

И, засмеявшись негромко, скрылась в деревьях.

Витька только махнул рукой, сел наземь и закрыл лицо...

Так печально окончившееся братание должно было бы сильно разочаровать Витьку, умерить его пыл, изменить планы насчет хозяйской дочки. Но он продолжал вожделенно вздыхать и по-

глядывать на Вареньку с покорной, грустной мечтательностью. Смех ее воодушевлял его. Смеется — значит, не скучно, не так скучно, как с женихами из иногородних, с ухажерами и франтами из казаков. Смеется зло, издевается? Еще лучше: злоба человека вяжет, а перенести издевку — чего проще? Главное, чтоб не было скучно с ним, с Витькой, и чтобы было поскучней без него.

Но тут он мог быть почти совершенно спокоен: скука стояла вековечная, фундаментальная, кондовая.

Жизнь перекатывалась неповоротливым снежным комом по торговле, вокруг торговли, облипая, обрастая торговлей, уходя в торговлю без остатка. Ком равнялся, набухал и таял не по зимам и веснам, а по ярмаркам, по базарам, по тому, бывали ль пустые или полные палатки, шел ли подсолнух или вобла (казаки говорят — «лобла»), по тому, куда поехали за товаром — в Самарканд или в Нижний, куда товары повезли — в Лбищенск или в Гурьев.

В Самарканд или в Нижний ездил сам Михаил Гаврилович (брал с собой раза три Вареньку, но потом перестал: не уследишь!), привозил из Самарканда сабзу, изюм, курагу, пастилу, сушеные фрукты — вагонами, возами, тысячами пудов; из Нижнего — сахар-рафинад и сахарный песок, патоку, масло, мыло и духи — водою и степью, поездами и гужом, тысячи и еще раз тысячи пудов.

В Гурьев, на ярмарку, ездили приказчики, степью, пустыней, долгими неделями, с десятками подвод, с караванами верблюдов, везли, тянули, волокли патоку, рафинад, парфюмерию, бакалею, распродавались, набивали карманы, жирели, обрастали корою пыли, ворочали, катали неповоротливый ком своей и чужой жизни вокруг торговли, товаров, хозяйских денег.

Иногда в Уральске появлялись странствующие приказчики, которых звали вояжерами, произнося не «жор», а «жер», как Евдокия Петровна произносила не «солёненький», а «солененький»,— вояжеры от Брокара и Сиу, от Жоржа Бормана и Катыка, скоропалительные, любезные Зайчики, Соломоны, Тютиковы и Коганы. Они чуть свет оставляли в магазине визитные карточки из бристольского картона:

ЛЕОПОЛЬД СИГИЗМУНДОВИЧ ШАВЕР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ РАЛЛЕ

приписывая чернильным карандашом:

будет в 12 часов дня и желает говорить самого Михаила Гавриловича.

С уважением Шавер.

К полудню магазин набивался покупателями. Киргизы задумчиво брали с прилавка и обнюхивали тюбики чаю, казачка с фарфоса приценивалась к жамкам и боязливо смотрела на «самого», распускавшего гашник, чтобы вынуть из кармана кошель с деньгами.

— Хозяин,— застенчиво мялась казачка,— гостинчику бы ребятишкам-то, жамочков...

— Чего еще? — рычал казак.— Бабу только возьми, сейчас на гостинцы глаза пялит! Не надо. Взвесь-ка вон сабзы.

И вот трескучим метеором пролетал по магазину вояжер Леопольд Сигизмундович Шавер, рассекая толщу киргизов и казачек, мимо жамков, сабзы, кураги — за прилавок, к Михаилу Гавриловичу, писал заказ, подносил Варваре Михайловне флакон наилучших духов и улетучивался, распустив позади себя быстро тающий, пахучий, душистый, помадный, мыльный хвост.

А скука по-прежнему стояла краем угла шерстобитовской жизни, и жизнь накатывалась комом вокруг торговли, товаров и денег.

Но — должно же было так случиться! — несмотря на прочность скуки, несмотря на неудачи множества Варенькиных женихов, Витьку тревожило неуемное давнишнее беспокойство. Иной раз, постукивая на «ремингтоне», он томно расплывается в улыбку, отчетливо представляя себе, как Варенька, соскучившись сидеть в старых девах, из озорства иль по капризу вышла за него замуж, как он сделался доверенным Михаила Гавриловича, как потом, попозже, перекрашивают на магазине вывеску, замазывая «Шерстобитова» и выводя золотом по черному: «Чупрыков». И в этот сокровенный момент, за «ремингтоном», словно что-то уколет Витьку в самое сердце: Карев!

Вот откуда чудилась ему опасность, вот что одним мановением стирало начисто золотую роспись черной вывески.

Мудрено было Витьке, который знал Вареньку до кончиков волос, до ноготков, мудрено было не видеть, как преображали ее нечаянные, редкие встречи с Каревым, не чувствовать, какое волнение билось в ней, когда появлялся злосчастный музыкант.

Она не позволяла Витьке говорить о Кареве, как будто Чупрыков мог загрязнить это пустое имя тем, что его назовет. О нем никто не смел говорить. Она берегла это имя для себя одной, не произнося его на людях, она молчала о нем, точно о тайне, хотя все кособокие старухи в городе шепотом источили на этой тайне свои языки.

О Кареве боялась заикнуться Евдокия Петровна, о нем помалкивала вся дворня, а он вершил судьбу драгоценного существа, к которому тянулось, льнуло столько разных, завидных жизней.

«Может же человек напустить на себя такую блажь,— думал Витька о Вареньке, ворочаясь у себя на тюфяке.— Мало ей оравы офицеров, чинуш да купчишек, что бегают за ней по Михайловской? Понадобился, пострели его заразой, этот чистоплюй, присосалась к ему, как муха к молоку!»

Раз выдался случай заговорить с Варенькой о музыканте, да и то Витька не порадовался.

В последнее перед войной багренье Чупрыков как будто доглядел между Варварой Михайловной и Каревым непоправимый раздор. Витька был на реке, видел, как бросилась бежать от Никиты Варенька, знал, что после того она заперлась у себя в комнате и ни с кем не говорила до вечера.

Тогда, улучив минутку, в темном закоулке, в сенях, он решился вылить всю душу.

— Зря ты извела себя, Варюша,— говорил он, дрожа от холода, страха и нетерпения.— И напрасная твоя слабость к этому человеку. Я ведь все давно вижу и понимаю. Чупрыков смышлен! Я скажу, у тебя вовсе к нему не любовь, а зависть. Вот, мол, какой, не такой, как все другие. Он там и по разным городам бывает, и за границей живет, и учен, и умен. Вот это откуда, от зависти, а выходит слабость. А потом от обиды. Ты себя пересилить не можешь, досаду свою, что все перед тобой ковриком расстилаются, а он вильнет пяткой — и нет его, а ты в обиде. Ты послушай, я тебе друг и наместо кровного брата, я тебя жалею. Брось ходить за ним. Он чистоплюй, отцовские деньги пропиликал на скрипке, это я знаю, над ним все казаки смеются. Его родной отец камертоном зовет, не считает за человека. А тебе разве такой нужен? Да ведь ты, если захочешь, найдешь себе...

Витька поперхнулся и смолк. В темноте перед ним светились большие неподвижные глаза.

— Кончил? — спросила Варвара Михайловна.

Он молчал.

— Ну, так пошел вон! — проговорила она твердым, сдержанно-ровным голосом.— Да запомни навсегда: если мне Никита Васильич скажет слово, я все сделаю. Его дырявый сапог дороже твоей целой башки! Пошел!

С тех пор Витька не поднимал о Кареве разговора, и Варенька ни разу не напомнила своему братцу отчаянного его бунта против чистоплюя.

Почти пять лет шло старым чередом, так что Евдокия Петровна выплакала реки слез, убиваясь о дочери, отвадившей от дома женихов.

Варенька словно забыла думать о Никите Васильиче. Дружба ее с Витькой еще больше упрочилась, он постепенно вошел в доверие к Михаилу Гавриловичу, ходил по-хозяйски степенный, распорядительный, упиваясь благополучием и надеждами.

Но, поистине, человек строит свою судьбу на песке.

Когда казаки залегли осетрами в Уральске, распространяя сонливую рыбью уверенность, что все обстоит великолепно, что никакого бунта в Яицком кругу не предвидится, что революция — дело иногороднее, мужицкое, не казачье, что, коснись живота,— они за себя постоят, что надо, мол, только выждать, отсидеться,— вот в это время на Варвару Михайловну напала необыкновенная радость. Все в ней ликовало, переливалось весельем, цвело, как весной рдело. Чем туже зажимали осажденный город сетью учуга, чем круче сковывал мороз притихшие дома, тем восторженнее становилась Варвара Михайловна, точно близившаяся, наступавшая гроза восхищала ее дух.

Один Витька угадал верно, откуда дул ветер, и сразу присмирел, заскучал, поник: в городе появился Никита Васильич Карев. Витька, впрочем, не знал, что возлагала Варвара Михайловна на пребывание в Уральске Карева, и никак не мог доискаться, видела ли она его, говорила ли с ним или узнала о его приезде стороной.

Варваре Михайловне удалось встретить Никиту, и встреча эта, как всегда, произошла случайно, мельком, на ходу.

Странно было, что, не видясь с Никитой годами, живя особой, отгороженной от него семью городьбами жизнью, Варвара Михайловна встречала его так, словно только что рассталась и продолжает прерванный разговор. Наверно, она действительно не расставалась с ним никогда, нося его с собой, в своем упрямом молчании.

На этот раз он первый окликнул ее, и, может быть, оттого она не справилась с волненьем, улица поплыла перед нею, и Никита показался ей каким-то сияющим, большим и счастливым.

— Надолго? — спросила она, почти задыхаясь.

Он уплывал от нее вместе с улицей, сверкая непонятной улыбкой, и, чтобы удержать, не пустить его, чтобы поспеть услышать его голос, она протянула к нему руки.

Но Никита не торопился уходить, он стоял против нее, лицом к лицу, непонятно улыбался и медленно поднимал ее руки к губам. Он поцеловал руки по очереди, сначала одну, потом другую, туго прижимая ко рту и ласково глядя в глаза Варваре Михайловне. Это было невнятно и зыбко, как во сне, и как во сне безостановочно струилась улица, и Никита то уплывал с нею, то до

боли ясно появлялся перед глазами, близко-близко к лицу. Она расслышала какие-то слова о работе, о рояле, который где-то хорошо стоит, о Чагане и луке, все это сбилось в кучу — рояль, Чаган, лука,— и только одно сверкнуло в сознании: надолго, надолго!

Варвара Михайловна придвинулась к Никите и — не зная зачем, с какою целью, вряд ли понимая, что за смысл вкладывала она в свои слова — быстрым, настойчивым шепотом спросила:

— Если придут красные, останетесь?

— Останусь, теперь останусь,— ответил Никита.

— До свиданья! — крикнула она, словно в беспамятстве...

Встреча произошла в осеннюю стужу, ветер был злой, степь дула на город предзимьем, но Варваре Михайловне стужа обернулась оттепелью, день затеплился солнцем, и мартом потянуло из степи. И так пошло: ноябрь — апрелем, декабрь — маем, снега — как молодые травы, и бураны — как весенние дожди, и треск морозов — слаще пенья птиц...

По ночам стала слышна канонада, орудия звенели в морозе железом об лед; осетры похаживали по ятови, поднимались на шум; лед ломало, шум возрастал; осетры били хвостами; лед рвался, железо звенело в трещинах; осетры кучились в великое множество, пилами спин царапали лед; тогда в трещины, в проруби, в ямы просовывались багры и подбагренники и распарывали осетрам животы.

Начиналось последнее великое яицкое багренье: сыны артельно багрили и подбагривали в яицкой ятови кровных отцов. А у Варвары Михайловны шла весна: и впрямь ведь ломало лед! Со звоном, скрежетом бушевал на Урале, над ятовью, неудержимый ледолом.

И вот сначала прошла молва, что город собираются сдать, потом город стал набухать казачьими полками, сотнями, обозами, как набухает каша в печке, потом начал пустеть, опустошаться, пока не наступил последний час.

В этот час у Шерстобитовых горячкою горела работа.

Ни в один торговый день не случалось на дворе такой кутерьмы из саней, долгуш, верблюдов и разномастных лошадей; ни на одну ярмарку не вывозилось таких гор товаров; ни разу на воздвиженье — в капустный-огуречный праздник — не выкатывалось столько кадок, кадушек, бочек и бочонков. Закручивали, вязали, забивали гвоздями, перекачивали насосами, пересыпали, перекладывали, утрясали, мяли, стягивали, зашивали; тянули, волокли, катили бочки, кадочки, мешки, рогожи, ящики, тюки, кули; громоздили, наваливали воза, вьючили обросшие шерстью верблюжьи горбы; уставляли рядком на долгих санях запертые замками сундучки, сундуки, сундучища.

За воротами выстраивали подводы в длинный обоз, верблюдов — в унылую, ровную цепь каравана.

Палатки стояли настежь, двери кухни, магазина, жилой половины мотались, взвизгивали, стучали поминутно.

Михаил Гаврилович молчаливо поглядывал на кутерьму, товары, тысячи пудов товаров привычно и послушно повиновались его молчанию, его иконописному, тишайшему бесстрастию. Он кашлял изредка, тогда от одного воза приказчики бросались к другому, а Михаил Гаврилович отворачивался в сторону, точно смущенный правильно понятым бессловесным своим приказанием.

Все меньше и меньше оставалось вокруг Евдокии Петровны мамок, теток, нянюшек. Сашеньки, Настеньки, Селиверстовны разбегались, прятались по щелочкам, норкам, от страха, от греха, от ответа, натаскав, наворовав себе по палаткам и кладовушечкам полотна, платков, шелков да тряпок, про запас, про черный бабий день. Только две-три круглых дуры — косоротые да косоглазые, топтались над сундуками, с причитаньями вынимали из киотов иконы, завертывали их в скатерти, салфетки, полотенца.

Евдокия Петровна добрейшими своими синими глазами, сквозь слезы, жалеючи смотрела на опустевшие комнаты, в изнеможении от толщины и усталости присаживалась в кресло, но тотчас подымалась и впопыхах совала в сундуки ножи, ложки, подушки, одеяльца, драгоценности и мусор вместе, только бы побольше насовать, побольше взять с собой.

Наконец не оставалось уже ни одной минуты, медлить стало нельзя (да и не увезти было всего с собою): обозы, караваны товаров и всякого добра тронулись в путь — в снега, в пустыню, за Урал.

К подъезду подали вместительный возок, бог знает откуда вырытый, похожий на свадебную карету елизаветинских времен — с дверцами, с кожухом над высокими козлами, с подножкою позади кузова, на полозьях. Поверх возка поместили иконы, увязанные в скатерти, огляделись, зашли в комнаты, присели кто на чем мог, помолчали, поднялись, и Евдокия Петровна, колыхаясь от одышки, сказала через силу:

— Ну, одевайся, Варюшенька, закутывайся получше, храни тебя матерь божия. Поди, я тебя перекрещу.

Варвара Михайловна подняла к груди руки, сложив их крестом, и спросила:

— Все готово? Собрались?

Она вдруг побледнела, рванулась к матери, точно падая, и быстро, сдавленно проговорила:

— Благослови меня, мамочка. Счастливой вам дороги. А я... я остаюсь.

Евдокия Петровна вскинулась, часто затрясла руками над головой, в ужасе отмахиваясь от дочери, и, как была, с открытыми глазами, застланными слезами, не вскрикнув, упала навзничь.

Витька, все время суетившийся около сундуков, пока укладывались, кинулся первый на помощь хозяйке. За ним бросились с воплями старухи. Евдокию Петровну кое-как подняли, положили на кровать, постланную одним тюфяком. Витька крикнул:

— Зеркало, зеркало! — и вылетел за дверь.

Старухи принялись расстегивать на Евдокии Петровне воротник, кто-то побежал за водою.

Только двое оставались без движения: Михаил Гаврилович и его дочь. Она стояла одеревенелая, прямая, все еще держа на груди сложенные крестом руки. Михаил Гаврилович молча глядел на нее, мигая слезившимися, красными глазками. Так прошло с минуту.

Старухи, ворожившие над Евдокией Петровной, взвыли и рухнули на пол, ухватившись за край тюфяка.

Михаила Гавриловича передернуло, он подошел к кровати, наклонился над женою.

В этот момент вошел кучер и, стукнув нога об ногу, спросил:

— Ну, как, пора, чай бы, трогаться?

Тогда Михаил Гаврилович оторвался от кровати, густо, тяжело кашлянул, поднял кулак и пронзительным тенорком завизжал:

— Мол-чать!..

Выйдя на середину комнаты, он страшно махнул кулаком туда, где недвижно вздымалось тучное тело его жены, потом — на окна, на дочь, на кучера и тем же визгом начал сверлить оцепеневшую тишину:

— Взять! Взять! Ничего не оставлять собакам! В простыню! Завязать в простыню! Взять в степь, отвезти в степь. В простыню! Молчать! Ничего собакам!

Витька, убежавший за зеркалом, вернулся с пустыми руками, но, повертевшись, изобразив страшный испуг, тут же откуда-то раздобыл простыню.

— Завернуть! Завернуть с головой! — кричал Михаил Гаврилович, вертя указательным пальцем в воздухе и подергивая головой.— Завязать! Отнести в возок! Положить в возок! Завернуть в степь! Отнести с головой!

Крик этого человека, молчавшего чуть ли не всю свою жизнь, был настолько неожиданным и страшным, что ему повиновались и безумные распоряжения выполняли поспешно.

Евдокию Петровну обернули простыней, вынесли и усадили в возок. Михаил Гаврилович помогал накрывать жену шубой и подсовывал ей под ноги коврик, точно она могла замерзнуть.

— Взять, взять! Ничего собакам! — кричал он, смутно озираясь налитым кровью взглядом.

Витька забежал в комнату.

Варвара Михайловна стояла по-прежнему одеревенело.

— Ты в уме? — выпалил Витька, сжимая ее локоть.

Она вздрогнула, повела на него глазами и жалко улыбнулась.

— Ну,— махнул он рукой,— дочка батюшки сто́ит!

Он бросился к окну и выглянул во двор.

Из ворот выезжал возок, поворачивая следом за ушедшим караваном, и на подножке возка, держась за раскрытую дверцу, стоял Михаил Гаврилович Шерстобитов и что-то яростно выкрикивал, потряхивая бородой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Да, день был злой, степь дула уже предзимним холодом, стужа сурово обдирала остатки сухой листвы на деревьях, сады и луга оголились.

Но в сосредоточенном теплом внимании Никита обходил каревские владения, от берега Чагана до питомника рассад, пристально, любовно осматривая знакомые тропинки, улыбаясь воспоминаниям, почти осязая их грустную бесплотную ткань. Он был один на протяжении верст, сады давно были покинуты людьми, все казалось диким, нелюдимым.

Никита подошел к дому. Двери были наглухо забиты, окна перекрещены узкими тесинами. Он заглянул через стекло в комнаты.

Вот здесь, на том столе, Василь Леонтьич церемониально раскрыл черный скрипичный футляр, и Никита в ужасе увидел большую, полированную, настоящую скрипку. Отсюда, с этого места, начался его путь, его музыкантский послух. Вот в этой комнате, за тем окном, Никита в мальчишеском исступлении впервые пробовал выразить себя в музыке, передать, как пели вокруг него расколовшиеся от тяжести урожая яблони, как пело все в нем от первой его встречи с женщиной. Он бросил, швырнул тогда скрипку — негодный, бездушный, непокорный инструмент,— швырнул о стенку.

Он засмеялся, представив себе маленького Никиту, потрясенного неожиданным видом скрипки, на которой надо было по-настоящему учиться играть. Долговязый подросток, негодующий на инструмент за то, что он отказывался петь, как яблони, как человеческое сердце, рассмешил Никиту еще больше.

Сколько нужно было пройти, как часто и глубоко отчаиваться, чтобы легко, безбольно и добро смеяться над своим горем? Но если

бы теперь Никите сказали, хочет ли он начать жизнь сызнова, жизнь без отчаяний, без горя, без обид и потрясений, он ответил бы — нет! Он дорожил своими несчастьями, он знал, что незыблемо приходит время, когда величайшее горе прорастает доброй, безбольной, понимающей улыбкой.

Никита пошел по аллее, в конец сада. Изба, где прежде жил Евграф, осела одним боком в землю, крыльцо прогнило, коричневая труха сыпалась из щелей. Никита вспомнил, каким было крыльцо при Евграфе, когда дядька подсчитывал вынутых из нор сусликов или сидя рассказывал о повадках какой-нибудь твари. Крепкие толстые половицы разрыхлились за два десятилетья, а эти годы вынес на себе, с непрестанным усилием отмерил собою Никита. Какой заряд разрушения должен был скопиться и вызреть в нем за это время!

На память Никите пришел последний разговор с Евграфом в степи, встреча и расставанье с Ростиславом, и тут же мысль перескочила на отца...

Василь Леонтьич выслушал о Ростиславе насупившись, недовольно подрыгивая коротенькими ногами, сопя и покрякивая больше, чем всегда.

— Ладно,— сказал он решительно.— Стало быть, правда.

Он подумал, посмотрел на Никиту испытующе-строго и добавил:

— А я не верил. Для виду будто бы верил, а про себя нет. Надо было тебе воевать, а не ему.

Он опять подумал:

— Да какой из тебя воин? Вон Матвей — казак!

Уходя из комнаты и грузно дыша, Василь Леонтьич подвел итог:

— О Ростиславе чтобы больше в доме ни слова, попомни. А что это за Евграфа ты помянул? Которого я прогнал, что ли? Суеславный мужичишка. Лукавый раб!

Он сердито стукнул за собою дверью...

Ну что могло быть в Евграфе суеславного? Никита припомнил его пегие кудерьки, светящийся стариковский взор. Взор был так же мягок, как двадцать лет назад, когда Евграф подсаживал Никиту на лошадь, вот здесь, около разрушенного теперь крыльца.

Никита пошел той тропинкой, по которой когда-то впервые совершал свою побежку на казачьей карей замухрышке. Он ускорял шаг, чувствуя, что сердце колотится беспокойно, сбивчиво, почти больно.

На березовой аллее, отделявшей питомник от старого сада, он дернул тогда, в страхе и восторге, веревочный повод, и лошадь перешла на грунцу. Вон там, на дороге, должна тянуться поперек

аллеи канава. Да, да, она все так же круто перерезала путь. Никита видел издалека ее чернеющую глубину. Нетерпенье подталкивало его вперед. Он скоро дошел до канавы. Здесь неожиданно остановилась лошадь, и маленький Никита сполз с ее спины на землю.

Он стал. Канава показалась ему очень узкой. Может быть, она заросла травою и засыпалась оползшей почвой, может быть, тогда восьмилетнему Никите все казалось больше, крупнее, чем было в действительности. Никите становилось трудно дышать. Он снова улыбнулся, подумав, что пустые, детские воспоминания способны так смешно взволновать мужчину.

Никита без разбега, с места, перепрыгнул через канаву. Он был в луке, в глухой, уже засохшей чаще хмеля, свисавшего с голых сучьев, в царапающей жесткой гуще ежевики.

Тут он расслышал в себе новое чувство, которое двигало им, наполняло его с возрастающей мучительной силой, странно перевиваясь с воспоминанием о том, как мчался маленький Никита по зарослям луки.

Тогда в ушах его шумел острый ток воздуха, рассеченного движеньем, по лицу хлестали ветви вязов и ветел, длинные кудрявые усы хмеля заплетались вокруг ног и шеи. Он испытывал всем хрупким, незакаленным своим тельцем жестокую боль, и в то же время слепительная радость гнала его вперед, навстречу хлещущим, режущим ветвям луки.

Сейчас, быстро двигаясь узкой тропинкой, Никита слышал стон раскачиваемых деревьев, свист ветра в оголенных их сучьях, скрипы и шум трущихся друг о друга полуповаленных стволов. Он ощущал щемящее беспокойство сердца, его буйные и томительные удары, в нем стремительно нагнеталось возбужденье. Из какого-то ничтожного зерна внутри груди росло желание подчинить все смутные впечатления одному строю: боль и беспокойство сердца, возбужденное течение крови, смешную трогательность воспоминаний. Он стал искать в себе чувство, способное уравнять всю эту помесь переживаний.

Тогда зерно в его груди, прораставшее желанием строя, равновесия, гармонии, вдруг полностью и пышно раскрылось. Должно же было жить в Никите сознание, отличавшее его от мальчугана, которого впервые посадили верхом на лошадь!

О, он не только хотел найти выражение своим чувствам! Он был исполнен силы, чтобы сделать это!

И вот ощущение избытка этой силы, восторг обладания ею толкнул Никиту с новым приливом вперед.

С того момента, как он пришел в сад, его преследовали, ни на секунду не отступая, звуки. Он приближался к ним, они обступили

его плотнее, ближе, и теперь он находился в их средоточии: лука ревела, завывала, бурно неистовствовала над его головой.

Самая мощная волна звуков катилась на уровне человеческого роста. Она определяла собою ритм бурного движения. Стволы гудели, попеременно ослабляя и усиливая напор прекрасно связанных и ясных звучаний. Где-то в вершинах деревьев, в сплетении тончайших веток гнездились струнные оркестры, согласно обменивавшиеся завершенным мотивом, повторявшие его на разной высоте, в бесконечном разнообразии тембров. И еще выше, к суровой, холодной пелене серого неба, над деревьями, над лукою плыла охватывающая, всепоглощающая звуковая ясность. Никита услышал эту верхнюю музыку лишь тогда, когда понял, что вокруг него бушевал не лесной шум, а стройное, расчлененное на тысячи инструментов единое согласие. И эта верхняя, покрывавшая собою весь хор музыка, едва уловимая, кристаллическая ясность четко выражала мысль величайшей из песен, какую мог себе представить Никита.

Он увидел все здание, вздыбленное над землею осенним ветром. Оно было совершенно. Десятки, сотни оркестров складывали его, воздвигали в единую и единственную симфонию, и последняя наивысшая часть симфонии творилась, создавалась перед лицом Никиты.

Он кинулся бежать. Как в детстве, его хлестали, били, жгли острые сучья, длинные жгуты хмеля. Ему хотелось, чтобы боль была нестерпимой, чтобы холод, опалявший его лицо, пронзил ему грудь. Он распахнулся, поднял руки, закрыл глаза. Сквозь веки просвечивали метавшиеся в нагромождении красные, огненные круги.

Вдруг он увидел себя за высоким пультом. Он шире распахнул руки, взметнув ими, как крыльями. Музыка покорно повиновалась ему, взбираясь на страшную высоту, захватывая, подчиняя себе все большее и большее пространство. Колонны зала раскачивались перед ним в учащающемся темпе. Темп рос неудержимо, переходя в пляску, в смятение огненных языков.

Никита дирижировал в колонном зале. Колонный зал сотрясался невиданным оркестром. Дирижер исступленно бил крыльями, крылья несли его. Вдруг он обернулся к слушателям и крикнул изо всей силы:

— Пожар! Пожар!

Тогда тысячи людей бросились к выходам, колонны закачались в огненных, красных кругах. А дирижер развел своими крыльями над человеческими криками, над пламенем пожара, и крики, пламень, корчившиеся в огне инструменты послушно со-

единились с могучей ясностью невиданного оркестра, и дирижер мчался по зарослям ревевшей, бушевавшей луки дальше и дальше.

Внезапно что-то ударило Никиту в поднятые руки. Он открыл глаза. Громадный сук тянулся над его головою, поперек пути.

Никита ухватился за него, подтянувшись на руках вверх всею тяжестью тела, и всею тяжестью тела, придавленного оборвавшимся суком, рухнул на землю.

Музыка рвалась и взвивалась в высоту.

И тогда Никита испустил бессвязный, продолжительный крик, как дикарь, как мальчишка.

Он лежал на спине, прижатый тяжелым корявым суком, руки его ныли от боли, и усталая, неподвижная улыбка на лице была блаженна, как у безумца.

Дыхание становилось ровнее, биение сердца медленно приближалось к обычной неощутимой беззвучности, но боль в руках засела прочно, и в ней сосредоточилась вся музыка, собравшись в крупицу, как огромные объемы воздуха, сжатые в каплю жидкости.

Он понес эту крупицу с благоговением, точно в ней таилась живая вода и сохранить ее стало целью всей его жизни. Печальное безлюдие степи, когда он вышел из садов, показалось ему счастливым предзнаменованьем: он шел своим путем в одинокой замкнутости, переполненный силой. Так он готов был идти до конца, в смерть или в новое рожденье — не все ли равно? Он мог обнять весь мир — такая мощь была заложена в крупице музыки, которой он обладал,— он готов был обнять первого встречного, чтобы осчастливить его одним прикосновением.

Так встретил и окликнул он Варвару Михайловну. И, правда, довольно было услышать его голос, чтобы — так же как Никиту — ее охватило волнение. Он улыбнулся чужой улыбкой, сквозь которую все еще просвечивало безумие, он с нежностью и жаром поцеловал Варваре Михайловне руки. О, он был щедр! Он был уверен, что обаяние его силы распространялось нерушимо.

Что мог он сказать Варваре Михайловне?

— Останусь, теперь останусь!

Может быть, потому, что он встретил ее?

Нет, он никуда не собирался уходить, ему некуда было идти, он достиг наконец возможности завершить свое дело, и с радостным нетерпением он спешил за него взяться.

Он не ошибся: источник, питавший его воображенье, неиссякаемо бил на родине, там, где он впервые увидел мир, где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости. И он мучительно хотел вознаградить эти камни, деревья, дома, весь

этот убогий и милый клочок земли, вознаградить созданием, достойным их расточительности. Он наделял бессловесный, жалкий степной оазис волей и великодушием, он чувствовал себя должником яблоневых садов, тихого, стоячего Чагана, сгнившего крыльца у избы Евграфа, путаных зарослей луки.

Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен слышать голос камня, положенного отцом. Это и есть родина — голос камня, положенного отцом,— и счастлив тот, кто его слышит.

Тогда Никита мечтал о будущем своей родины — крохотного клочка земли, отмеченного булавочной головкой на карте большой, великой родины. Клочок будет одушевлен воспоминаниями множества людей, прикосновением их мысли, подобно тому как одушевлены тысячи других столь же ничтожных и великих клочков земли. Да, да, так творятся культуры.

Именно здесь, на берегу Урала, вблизи садов, чувствуя трепет их ветвей, Никите хотелось окончить работу. Он уже видел последний лист партитуры своей симфонии, с датой в конце и пометкой — Нижний Уральск. На расцвеченной большой карте Азии (Никита поселился в городском доме, в комнате, где прежде жил Ростислав, и стены комнаты по-прежнему были украшены Африками и Азиями разных масштабов), на повороте длинной волнистой черты Урала, Никита знакомо находил одинокий кружочек и подолгу глядел на стройную надпись: Нижний Уральск. Такая надпись будет стоять в конце партитуры, когда исполненную на многих концертах симфонию награвируют в нотопечатне. Никита улыбался этой наивной мысли, но продолжал мечтать о своем труде с детским восхищеньем.

Важно было сохранить в себе силу недолгих и редких минут, которые наступали с такой внезапностью и потом непременно сменялись упадком. В холодной, расчетливой сдержанности выслушивать накопленные памятью впечатления, выверять их ценность, отбрасывать и снова брать: в этом заключался труд.

Многие листы, написанные Никитой раньше, теперь оказались негодными, и он выбросил их с чувством облегчения, как хлам, который сберегался из косной привычки. Другие он переигрывал по десять раз, иногда случайно заглянув в законченную часть симфонии, и с радостью прочитывал страницу за страницей, до конца.

Концертный рояль упирался острием крыла в большое окно. Никите виден был город и неподвижные пространства степи, сливавшиеся в огромном отдалении с небом. В нижнем этаже каревского дома жизнь шла как будто обычным чередом, ничто не вмешивалось в обособленный мир Никиты, и мир этот расцветал,

оттачивался, как кристалл, грани которого медленно обнажает мастер.

Но ясная прозрачность степей, простиравшихся за окном комнаты, постепенно мутнела. Бураны завьюжились несметными снеговыми воронками и пеленами, степь исчезла за белой стеною, подступавшей к окну, просторы суживались до маленькой комнаты, окруженной снежной бесконечностью. Морозы сковывали город, и вместе с ним сжимались непонятные, невидимые тиски беспокойства, о которых никто не хотел или не мог говорить.

Никита заметил беспокойство позже других, может быть, потому, что оно коснулось его иными путями, чем близких ему людей: он стал утрачивать отчетливость и точность слуха. Это случилось совершенно так же, как бывало со зрением, когда Никита глядел на приближавшуюся снеговую тучу: различимое и яркое очертание небосклона угасало, меркло, серая масса застилала его, неуклонно надвигаясь и все больше захватывая небо и степь, потом вся степь и все небо заслонялись непроницаемой толщей, вдруг навалившейся на город и начинавшей проглатывать бесследно дом за домом, квартал за кварталом, пока не подлетала к самому окну и не задергивала его густой завесой. Так со слухом: прозрачная чистота звуков, наполнявших воображение, ясность, в которой звуки улавливались в отдельности и в любой связи, вдруг исчезала; на смену ей приходил шум, усиливавшийся, поглощавший последние отчетливые отголоски; звуки обезличивались, теряли окраску, окутанные заглушенным шумом; казалось, будто за пределами комнаты стоит немая пустота; наконец, звуки замыкались в деревянном коробе рояля, и если Никита бил по клавише, тупой удар молотка по струне раздавался глухо, точно зажатый подушкой.

Сначала Никита объяснял свое состояние усталостью. Он бросил работать и пробовал читать. Но глухота возрастала, и предчувствие какой-то болезни томило с каждым днем больше и глубже.

В снежной бесконечности за окном, где меркнули остатки привычных для Никиты звуков, в бесформенном колебании шумов неожиданно проныли далекие, раскатистые гулы. С этого дня в доме Никиты сразу проявилось все напряжение, тщательно и тщетно скрывавшееся долгие недели. Начались сборы в путь, приготовления к уходу, охватившие весь город. Чем ближе подходил час отступления, тем сдавленней и обреченней становилась людская поспешность, и, чудилось, самое дыхание людей отравлялось ядом страха: ложились спать не раздеваясь, ели и пили на ходу, наспех. Война стонами накатывалась на город.

Тогда Никита в подробностях вспомнил стоны Смурского переулка, хряский волчий вой потников и анафем, киноварно-крас-

ного человека, зыбко идущего по пыльной дороге, на которой остаются черные следы ступней. Так же, как и теперь, ночи содрогались тогда в непрестанном, протяжном стоне, и стон проникал повсюду, так же, как теперь, яд страха омертвил дыхание людей, и город почти весь тронулся в обреченный свой путь. То, что происходило тогда за окном, вырвало Никиту из круга обычного его мирка, из пределов пылинки, становившейся для него миром. Смурский, смурыгий мир раскрылся перед Никитой, и он увидел зарницы пожара, обгорелые сваи домов, гвоздыри и дубье над головою человека, кладущего быстрые, страшные кресты.

Стоны и волчий вой силились теперь снова вырвать Никиту из его пылинки, уже давно ставшей целым миром, не ограниченным ни небом, ни землей. От ужаса смурыгого царства, от зарниц пожаров Никита бежал тогда в свою пылинку, и она спасла его, вознаградив неповторяемым восторгом первого прикосновения к настоящему делу, к радости дела. Разве мог бы теперь Никита отказаться от своего пути, покинуть пылинку, взрастившую его с материнской любовью?

Никита в злобе, в упрямстве опять и опять брался за работу. Но стоны глушили его, стоны наводняли комнату, точно какое-то чудовище отдирало город от почвы.

Наконец Никита впал в бесчувствие, в тягостное забытье, когда действительность не исчезает, а дополняется смутными видениями, чуждо и грузно врывающимися в сознание. Так оркестры встретившихся на улице полков врываются друг в друга маршами разных тональностей и темпов.

Никита увидел себя мальчиком на уроке музыки, в подвале у Якова Моисеевича, за пюпитром, нарочно опущенным для ученика пониже. В глазах его рябили ноты, он силился припомнить значение трех нот, связанных одной чертой, и не мог.

— Слышите? — кричал Яков Моисеевич, потряхивая кольцами кудрей и громадным пенсне.— Акцент на первой ноте! Как это называется?

Никита не знал.

— Вот я напишу цифру,— не унимался учитель,— какая это цифра?

— Три, цифра три,— робко лепетал Никита, глядя на тройку, которую учитель вывел между нотных линеек.

— Теперь я пишу... смотрите, читайте: «О-ль».

— Оль,— повторял Никита.

— Как это будет вместе?

Взгляд Никиты неподвижно застывал на нотах и ширился, ширился в страшном ужасе.

Он видел три ноты, соединенные чертой. Сверху они были

связаны знаком легато. Над легато стояла тройка — 3 — и хвостиком прилипнул к ней слог «оль»: 3-оль.

— Читайте же! — кричал Яков Моисеевич.

— Золь,— читал Никита.

— Да не «золь»! Ай, ве-е! Какая цифра впереди? Цифра, а не буква!

— Три,— чуть слышно повторил Никита.

— А дальше?

— Оль.

— А вместе?

— Золь,— опять бормотал ученик.

— Триоль, триоль, триоль! — взвыл Яков Моисеевич и вдруг, вырвав из рук Никиты скрипку, ударил ею по голове ученика и начал крушить в припадке злости направо и налево, по пюпитру, по стульям, по машине, выпускавшей шипучую гармонику бумажных обрезков. Отец Якова Моисеевича, такой же кудрявый, как сын, но еще больше черный, зловеще раскачивался в такт ударам и пронзительно кричал:

— Это же великолепно, Яков! Трам-та тарримта, таррамта-тайрамта!

Яков Моисеевич носился в вихре бумажных обрезков, бил вокруг себя оторванным грифом скрипки и злобно сотрясал воздух мрачным, таинственным, ужасавшим словом: триоль, триоль, триоль! Потом весь подвал с кудрями Якова Моисеевича и с кудрями бумажных обрезков провалился в бездонную пропасть.

Никита, облитый холодным потом, летел вниз, в последнем приступе страха, слушая, как настигает его машина, изрыгающая триолями страшные удары: ррам-та-та! ррам-та-та! Никита хотел крикнуть, что ему давно известны триоли, что он прекрасно знает эти тройки связанных чертой нот, с акцентом на первой. Но машина настигала его в полете, и — рррам! — со звоном посыпались стекла, обломки, куски пюпитра, стульев, машины.

Та-та! — отдались где-то отголоски орудийного выстрела, и почти тотчас снова зазвенели и взвыли стекла.

Рррам!

Та-та!

Никита очнулся. Канонада слышна была грозно и ясно. Война шла за окном.

Никита ощущал совершенную, черную глухоту, и горло его было сдавлено, как в приступе слез. Он с тоскою осмотрел свою комнату. Еще недавно милая его сердцу, она опостылела ему так, что у него вылетел стон, и он зажал руками глаза.

К нему поднялась закутанная в полушубок кухарка и, наполовину всунувшись в дверь, с деловитым спокойствием передала:

— Василь Леонтьич прислали сказать, что они все готовы, и спрашивают, чего вы поверх шубы наденете: тулуп альбы доху?..

Он не сразу ответил. С недоверием и опаской он поглядел на окно. Что они там вздумали, внизу? Он никуда не собирается ехать. О каком тулупе спрашивают его? Бежать? Но от кого, зачем, куда? Значит, никто не сомневался, что он поедет вместе с семьей.

Окно опять жалобно взвыло, и снова глухо, бездушно отозвалось тупое эхо:

Та-та!

Нет, ни минуты дольше не мог Никита оставаться в такой бескрасочной, бездонной глухоте!

— Тулуп! — быстро сказал он.— Тулуп, и... я сейчас иду!

Он кинулся к роялю, к заброшенным, раскиданным по его крышке нотным листам, и начал лихорадочно сгребать их в кучу. На стене около двери висел германский ранец, с которым он вернулся на родину. Он снял его и набил нотами. Потом он огляделся: нет, больше нечего было брать. Рояль? Он посмотрел на клавиатуру, немного запылившуюся в последние дни, и, не притронувшись к ней, опустил крышку. Секунду он постоял в раздумье. Как знать, кто подойдет теперь к роялю? Не запереть ли его? Никита торопливо замкнул крышку. Куда спрятать ключ, чтобы никто, никто не мог найти? Кого увидят теперь эти стены?

Тяжелый, прерывистый голос Василь Леонтьича взлетел по лестнице:

— Никита! Иди скорее, пора!

— Сейчас! — крикнул Никита в ответ.

Он взвалил на спину ранец, но тут же бросил его. Стены, увешанные Африками и Азиями всех масштабов, провожали его разноцветными взглядами, в которых внезапно вспыхнул человеческий укор.

Никита подбежал к столу, вырвал из какой-то тетради лист бумаги и написал дрожавшей рукой:

«Дорогой Ростислав! Отец, мать, сестры и я здоровы. Обнимаю тебя.

Никита».

Он сложил бумагу узенькой полоской и крупно вывел на ней: «Ростиславу». Потом, захватив ранец, пошел к двери, но на пути увидел себя в зеркале. Приблизившись к нему, он воткнул записку одним концом под зеркальную раму так, что полоска бумаги легла на стекло и надпись на ней должна была броситься в глаза всякому, кто переступил бы порог комнаты.

Спустя несколько минут Никита был на дворе, где — в санях с высокой спинкой, обтянутой темно-красным ковром в желтых цветах,— уже дожидался Василь Леонтьич.

Когда они выезжали из ворот, над городом триолями пророкотали новые залпы...

Это было утром, а вечером по Атаманской улице крался Чупрыков, стараясь держаться поближе к заборам. Он чутко прислушивался к тишине. В полдень город заняли красные, шум улегся, но повсюду рыскали разъезды, и Витька остерегался попасться кому-нибудь на глаза.

Он подошел к дому Каревых. Окна нижнего этажа были закрыты ставнями, калитка заперта. Он постучал, сначала тихо, потом громче. Стоять было холодно, безлюдие таило в себе что-то грозное, за каждым углом в темноте хоронилась опасность. Витька приблизился к соседнему флигелю, поторкался в окошко. Через минуту чей-то голос тихо окликнул его за калиткой, Витька спросил, где Каревы, и, обрадованный, что можно было идти, двинулся назад. Ему хотелось бежать, он сдерживал себя, весь сжавшись, боязливо поднимая руку, чтобы потереть высунутое из воротника и замерзавшее ухо. Шаги его раздавались чуть слышно. Он был в валенках, но ему казалось, что снег хрустел на всю улицу, и он норовил ступать полегче, одними носками. Перед самым домом он не утерпел и побежал.

Запыхавшись, он вошел в комнату Варвары Михайловны и остановился у порога.

Целые сутки Варвара Михайловна просидела в кресле у окна, выходившего во двор. Витька думал, что ее разбил паралич — так неподвижно лежали на коленях ее руки, раскрытыми ладонями вверх, в таком отвердении стыла голова, высоко поднятая и немного повернутая к окну. Несколько раз Чупрыков пробовал заговорить, но Варвара Михайловна молчала. На другой день после отъезда Шерстобитова в степь Витька сообщил Варваре Михайловне, что казаки ушли и город занимают красные. Тогда она вдруг ожила и велела тотчас узнать, остался ли в городе Никита Васильич. Поручение было не из приятных, но отказаться выполнить его у Витьки не хватило духу. Он сразу все понял, и только недоуменная обида больно ущемила его: ради чего было оставаться ему с Варенькой? Впрочем, любопытство сильно подогревало Чупрыкова, а если Варвара Михайловна заговорила с ним о Кареве,— значит, дело дошло до развязки, и, чтобы ускорить ее, Витька бросился исполнять поручение.

Остановившись на пороге, Чупрыков почувствовал, как страх, преследовавший его по пятам на улице, сменился теплой волной

удовольствия. Он осанисто расправил плечи и сощурился на Варвару Михайловну.

Едва он распахнул дверь, Варвара Михайловна приподнялась в кресле, крепко схватившись за кожаные ручки, вся вытянувшись навстречу Чупрыкову и глядя на него сухими, остановившимися глазами.

— Ну? — хрипло выговорила она.

Чупрыков шумно перевел дыхание. Он должен был произнести одно слово, но не спешил, нарочно со свистом и сопением выдувая воздух, стараясь показать, что не в силах говорить.

— Скорей! — прошептала Варвара Михайловна, всем телом перегибаясь через подлокотник кресла.

— Каревский дом...

— Ну?!

— ...в заколоченном виде... И на полном запоре... Так что невозможно...

— Кого ты видел?

— ...невозможно проникнуть... Однако, надо думать, на мой довольно нахальный стук отозвалась ихняя стряпка... и сказала...

Витька замолк. Взгляд его с любопытством юркнул по Варваре Михайловне, словно удивленный тем, как могла она держаться в кресле на одних руках. Кажется, братец собрался выместить на своей сестрице все одним ударом.

— Говори скорей,— простонала Варвара Михайловна.

— ...Я говорю: сказала, что, мол, господа Каревы нынче рано поутру выехали в белую эмиграцию...

— Никита? — шепотом пробормотала Варвара Михайловна.

— И Никита Васильич отправился совместно с прочими, да-с!

Витька расслышал, как заскрипела под ногтями Варвары Михайловны кожа на ручках кресла, и тотчас раздался дикий, ни на что не похожий крик:

— Врешь! Врешь!

Чупрыков прижался к косяку, ухватив скобку, готовый выскочить за дверь.

— Я вполне знаю,— опасливо сказал он,— что за такую неправду ты меня даже убить можешь, если бы под рукой предмет или что, и сохраняю полную инстанцию. Все, что я сказал,— как перед богом,— сущая правда.

— Уходи! — чуть слышно проговорила Варвара Михайловна и выпрямилась во весь рост.

Витька был не на шутку испуган и вышмыгнул из комнаты что-то очень скоро.

Оставшись одна, Варвара Михайловна упала в кресло. Плечи ее дрогнули, высоко приподнялись и вдруг бессильно упали. Вся

она странно размягчилась, как будто из нее вынули кости. Прижавшись лицом к холодной коже кресла, она вздрагивала, из последних сил удерживая себя от крика, точно ее кто-нибудь мог услышать. Так прошло с полчаса. Потом она вытерла платком глаза, оправила на себе платье и, подойдя к лампе, потушила ее. Когда пламя фитиля, перед тем как погаснуть, широким языком метнулось вверх, оно озарило сурово и круто опущенные углы рта на бескровном, желтом в свете огня лице.

Варвара Михайловна опять села у окна. Двор стоял черный, бесформенный, ночь поглотила очертания построек. Внезапно какие-то огни замелькали в темноте, людские голоса и звон железа донеслись со двора. Окно было затянуто кудрявыми ледяными узорами, похожими на серый мох, и Варвара Михайловна долго отыскивала кусочек чистого, незамороженного стекла. Вдоль каменных стен, палаток, у железных дверей она различила горстки солдат с винтовками через плечо. Одни неловко и бестолково суетились около запоров, отдирая ломами замки, другие светили им, подняв над головами факелы из соломы. Некоторые двери были уже настежь, и люди торопливо вбегали в палатки.

Кто-то пробежал через весь двор, распорядительно помахивая фонарем и выкрикивая короткое слово. Фонарь на секунду ударил светом своим в лицо кричавшего, и Варвара Михайловна узнала Чупрыкова. Он кинулся к воротам. Во двор рысью въезжали подводы.

Варвара Михайловна отошла от окна и прислонилась к охладевшей печке, туго скрестив за спиной руки.

Так ее застал вошедший часа через два Чупрыков. Он не сразу пригляделся к темноте и неуверенно переступал с ноги на ногу.

— Варюша,— позвал он, и в тот же миг услышал тихий, сдавленный смех.

— Ты... что? — трусливо спросил он.

— Сволочь ты, Витька! — с уничтожающим презрением сказала Варвара Михайловна, и было видно, что она давно и убежденно приготовила эти слова.

— А-а! — сразу успокоившись, протянул Чупрыков.

Он подошел к Варваре Михайловне.

— Ругаться сейчас не поможет, да и некогда: надо решать о защите своей жизни.

— Видела, как ты ее защищаешь,— с гадливостью усмехнулась Варвара Михайловна.

— На дворе? Там произошла полная реквизиция, искали крупу и вообще. Дело не в том.

Чупрыков снизил голос:

— Если ты, Варюша, можешь думать и у тебя это в порядке...

понимаешь?.. Словом, положение, как говорится, одно из двух. И раздумывать не приходится.

— Не финти!

— Финтить тоже не приходится, потому что...

Витька взял Варвару Михайловну за локоть и внушительно прошептал:

— Казаки этого так не оставят, и красным, надо ожидать... понимаешь?

— И что же?

— А вот то! Очень возможно, что нынешней же ночью того... Ну, только ненадолго, потому что красные...

Он помялся в нерешительности и выпустил руки Варвары Михайловны.

— Ты с ними? — резко спросила она.

— Как сказать... за ними вся Россия, а тут пойдет завируха — ног не уберешь! Коли к своим идти — думаю, что поздновато будет, а... Пока дорога на Волгу открыта, надо бы... как сказать...

— Говори прямо! — прикрикнула Варвара Михайловна.

— Надо бы, в защиту жизни, податься куда поглубже... особенно с таким фамилием, понимаешь ли...

Он промычал что-то невнятное. Варвара Михайловна громко рассмеялась, так что Витька попятился, перепугавшись. Он боялся, в уме ли она, и пытливо все время посматривал на нее. Но в смехе Варвары Михайловны он поймал хорошо знакомую озорную, своевольную нотку и нарочно молчал, чтобы увериться, не ошибся ли.

— Хорош, хорош молодец,— выкрикнула Варвара Михайловна, с трудом удерживая смех,— значит, ты с красными?

— А как же? — живо отозвался Витька.— Куда же уйдешь? Куда подашься, а?

Она жестко оборвала смех и, помолчав секунду, сказала раздельно:

— Ну, нечего делать. Я тоже — с ними!

Чупрыков взвизгнул и заюлил вокруг Варвары Михайловны, потирая руки, похлопывая себя по ляжкам и по бокам.

— Вот это так! Это я понимаю! Это по-нашему! И все расчудесно: чемоданчики готовы, не зря складывались! Чуть чего — до свиданьица! поминай как звали! Главное, чтобы чемоданчики и все такое. А я живо устрою! Варенька, золотце, ведь я тебе — брат! Витька Чупрыков — живо! У меня с красными полное доверие, нас прямо в вагон, и — пожалуйте, фьють! — ищи ветра в поле!

— Заручился? — перебила его Варвара Михайловна и по-прежнему гадливо, с отвращением усмехнулась.

— Нельзя, без этого нельзя! — юлил Витька.— Главное — чемоданчики! Чтобы в случае чего — сразу, хоть сейчас!

— Подлец! — вдруг устало и безразлично проговорила Варвара Михайловна и опять опустилась в кресло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Город был с боем взят красными днем, в морозном сверкании снегов. Войска заняли новую позицию, штабы и хозяйственные части поспешно и обрадованно захватывали городские дома — с мебелью, с печами и лампами, кроватями, тюфяками. Это была настоящая победа, и плод ее был нежно-сладок: люди рвались в тепло, к живому, человечьему жилью, к печам, в горячие, прогретые стены. Тесные домишки форпостов, киргизские задымленные юрты, немудреные шалаши и землянки, леденящий душу, стойкий, как степь, мороз и снежные смерчи остались позади, хотя бы на одну ночь, на один час, на минуту, но позади, позади! Ах, какими кудрями завились тогда крыши домов! Точно по приказу, в один миг были растоплены все городские печки, и город дохнул дымным своим дыханием в небо, и трубы, весело соревнуясь, принялись выпускать голубые, серые, иссиня-черные и красно-рыжие кольца, струи и завитушки. Машина войны, сотрясаясь, продолжала в страшной инерции свою работу, полки передвигались, каптенармусы вели записи расходам, отвешивали и отсчитывали, штабы собирали трофеи и сводили в колонки цифры потерь, телефонисты карабкались по стенам и воротам, доктора втыкали тампоны в кровоточащие раны, провиантские отряды рыскали по складам в поисках продовольствия и фуража. Но трубы дымили непрестанно, и натопленные печки, грузная духота жилья, горячие котелки и чайники медленно разводили пары в другой машине, в машине мира, покоя, отдыха, и инерция с каждым часом росла. Для города, только что взятого с боем и занятого войсками, ночь была чересчур тиха, бездейственна, летаргична.

И незадолго до того, как наступить рассвету, тишину вздыбило орудийными громами, и едва отброшенные казачьи полки врасплох кинулись назад, на убаюканный теплом город. Взбешенными толпами мчались впереди них смятые полки красных, и огонь рвал их, раскидывал в темноте, выдувал пламенными струями из города в степь. Только там, в степи, за чертой недавней победы, все постепенно стало на свое место, и люди вспомнили, кем они были: штабисты, каптенармусы, доктора, рядовые. К этому часу Уральск был снова в казачьих руках.

На морозе, который пронзает мириадами игл степных буранов, с полками, состоящими из полуголых, полубосых солдат, в одном часе марша от города, решения принимаются твердо и скоро. Запахи жилого тепла еще окутывали воспоминания армии, дымки городских труб курчавились невдалеке, и ужас ночного разбойничьего набега только что начал переплавляться в злобу, когда, открыв артиллерийский огонь, красные пошли в контратаку. За полдень город опять был у них во власти...

Этот короткий обмен поражениями и победами был неверно понят теми, кто отступал из Уральска в степь, и нечаянным поворотом лег на дороге Никиты.

Остатки беглецов, замыкавших цепь последнего каравана, скучились на ночлег в небольшом форпосте. Их скоро догнала весть о том, что казаки сдали город, и они располагались на ночь без уверенности, придется ли встретить здесь утро. Однако ночь прошла спокойно, а перед тем как тронуться в путь, неожиданно разнеслась молва, что красные разбиты наголову и казаки — полные господа положения.

Тогда беглецы осели на форпосте. Подводы, успевшие выехать в степь, возвратились в поселок, и улицы, дворы, сараи переполнились лошадьми и верблюдами. Кажется, все кругом уверились, что наступил какой-то конец, что круг испытаний пройден, замкнут и вот-вот, с часу на час, можно будет повернуть оглобли в город, отслужить благодарственный молебен, постлать по местам перины, открыть лавочки и мирно здравствовать.

Но в сумерки пришло новое известие, опрокинувшее все вверх дном: оказывалось, красные вернули себе город и теперь гнали казаков за Урал. Надежда была еще легче утрачена, чем обретена. Люди бросились спасаться. Форпост содрогался от шума, человеческие крики, ржание коней, обреченные вопли верблюдов перемешались в наступившей темноте. Караваны спутались, расстроились и бешеными стадами ринулись в степь...

Никита с трудом добрался до дома, в котором провел вместе с семьей первую после бегства ночь. Ему сказали, что Василь Леонтьич только что уехал и будет поджидать его на первом по большому тракту хуторе.

С каким-то возом, тяжело скрипевшим по заезженной дороге, Никита подвигался в морозной, безглазой темноте. Впереди и сзади, как выстрелы, лопались короткие вскрики кучеров. Подбодренные лошади обгоняли караваны верблюдов, но с каждой верстою движение замедлялось, и холод все острее хватал Никиту за ноги.

Он соскочил на дорогу и пошел рядом с возом. Ему было трудно передвигаться в тулупе, напяленном на шубу, но он с удовольствием напрягал мышцы и скоро согрелся. Он прошел версты

две. Оранжевый глазок замерцал в стороне от тракта. Никита взял с воза ранец, кучер чудом рассмотрел в темноте корявую вешку, обозначавшую поворот на хуторскую дорогу, и распрощался.

Никита неуверенно ступал по примятому полозьями снегу. Иногда, провалившись, он возвращался и долго ощупывал вокруг себя ногами, примериваясь к направлению дороги. Оранжевый глазок разрастался перед ним, скоро донесся собачий лай,— хутор был недалеко.

У завьюженной изгороди Никиту встретила неподвижность. Две собачонки надрывались где-то совсем близко под ногами, незримые и злые. Наконец мелькнула пара ярко-зеленых жадных глаз, позади нее — другая. Никита запахнул тулуп, открыл калитку и пошел к оранжевому окну. Постучав, он направился к двери. Собаки вертелись вокруг него, осипшие, зеленоглазые, без ясных очертаний, точно бредовое видение. Двор стоял пуст, как степь.

Бабий голос окликнул Никиту из-за двери.

— У вас остановился Карев, Василь Леонтьич,— прокричал Никита, стараясь заглушить собак,— он поджидает сына, так это — я.

— Никого не было, никаких сынов не дожидают.

— Как не было? — вскрикнул Никита.

— Так и не было!

— Ну... значит — будет. Значит — я его обогнал на тракте.

— А когда будет, тогда и заявляйся.

— Тут что, поблизости еще хутора есть? — опять закричал Никита.

— Никаких хуторов нету.

— Да вы Василь Леонтьича знаете? — испуганно спросил Никита.

Собаки прислушались к бабьему голосу, присмирели, затихли, грозно и устало мурзясь.

— А кто его знает, может, и знаю,— бестолково и досадливо взвизгнула баба.

— Вот что,— быстро заговорил Никита,— мне ночью в степи деваться некуда. Отец непременно должен заехать, мы условились. Пустите меня переждать.

— У меня все лавки казаками заняты, некуда пущать. Кто тут разберет — пущать всякого.

Баба с сердцем полохнула внутренней дверью, собаки поняли это как сигнал к атаке и клубками покатились под ноги Никиты.

Сначала он не трогался с места. Потом поправил за спиною ранец (он висел у него на правом плече) и повернулся назад. Оставаться на хуторе и поджидать Василь Леонтьича, не будучи

уверенным, что он заедет на этот, а не на другой хутор,— не имело смысла.

Собаки вырвались из калитки и бежали впереди Никиты. С ними было хорошо идти: они указывали дорогу. Когда они отстали, Никита опять пошел ощупью.

Справа, слева, вверху простиралась черная пустота. Снег скрипел уныло. Может быть, Никита шел по верному пути, может быть — нет. Он мог свернуть в любую сторону — всюду пустота бесстрастно и бессмысленно поглотила бы его ненужную фигуру. Он обернулся. Позади мерцал оранжевый огонек хутора. Он двинулся вперед и налетел на корявую вешку, звонко подломившуюся от толчка. Никита стоял на тракте.

Издалека до него долетел гулкий топот копыт по дороге. Он стал дожидаться и скинул ранец.

Скоро он различил в темноте окутанных инеем лошадей. Они были запряжены гуськом и дружно тянули громоздкую кибитку. Никита крикнул и махнул рукой. Возница придержал коней.

— Не подвезете ли меня до ближайшей станицы? — попросил Никита.— Я отстал от своих.

— Еремей, гони, гони! — расслышал он перепуганный возглас из кибитки.— Тут друг у друга на головах сидят, он — подвезти! Пошел!..

Никита снова остался один. Он взвалил на спину ранец и поплелся назад к форпосту. Двигаться было все труднее, тулуп бил по коленям, ранец поминутно скатывался с плеча и больно оттягивал его.

Вдруг Никита остановился. Подавляющая мысль ошеломила его: он был обманут! Разве могло случиться, чтобы Василь Леонтьич бросил его на произвол?! Разве мог родной отец, папаша Карев, уехать без Никиты? Где и зачем его обманули? На хутор Василь Леонтьич не заезжал, двор был пуст. На форпосте, откуда Никита двинулся в поиски, он не встретил ни одного человека, ни одних саней из своего обоза.

— Зачем? — громко спросил себя Никита.— Кому нужно было посмеяться надо мной?

Но тут же он почувствовал прилив холодного равнодушия ко всему.

Из черного мрака опять показалась лошадь. Обок с оглоблей выступал низенький мужичонка.

— С форпоста? — спросил Никита.

— Оттуда.

— Василь Леонтьича Карева знаете?

— А как же! Под вечер еще с ним говорили.

— На форпосте? Уехал он?

— Должен бы уехать, народу немного осталось. А возможно — зари ожидает.

Мужичок отвечал бойко и охотно, но не переставал подергивать вожжи, и Никите пришлось идти за ним вдогонку.

— Я — сын Василь Леонтьича. Мне неверно сказали, что он уехал, я потерял его. Может, вы подвезете меня?

— Где, дружок! Воз-то — вона! Сам пёхом качусь, притулиться негде.

Никита прошел с ним еще немного.

— Тогда вот что,— решительно сказал он.— Я вернусь назад. С форпоста поутру легче будет выбраться. Я вас попрошу только взять мой тулуп. В нем много не пройдешь. Отдадите, если встретите кого-нибудь из наших. Вы туда направляетесь? Как вас зовут?

— Да ты не беспокойся, дружочек,— останавливая лошадь, услужливо запел мужичонка,— все будет в исправности. Давай сюда свой тулупчик, вот под передком уголочек. Вот сюда, а Василь Леонтьича кто не знает? Пхай сильней, вот так. Его, кормильца, вся степушка знает! Не беспокойся, все в исправности! Н-но, пош-ш-шла! Счастливой дороги! Василь Леонтьича да не знать... Но-но-о!

На шубу надеть ранец было удобней и легче. Никита застегнул ремень, но некоторое время постоял в нерешительности. К сознанию, что он обманут, у него прибавилось чувство, что его ограбили. Мужичонка с возом исчез в непроглядной ночи, Никита даже не мог видеть, каков он с лица.

Расчетливо, нешироко переставляя ноги, прислушиваясь к мерному скрипу снега, Никита постепенно одушевлял эту скупую, однозвучную музыку мороза своим холодным безразличием к тому, что с ним происходило.

Он увидел себя со стороны. Человек ходит ночью по степи, из края в край, что-то отыскивая, за спиною этого человека — ранец, набитый нотной бумагой, черновиками пьесы, которая вряд ли когда-нибудь допишется. Человек глупо дает ограбить себя продувному мужичонке. На душе у него смутно, и он не знает, ради чего нужно брести по степи, в темноте, одиночестве, под унылое, скупое поскрипывание снегов.

Никите показалось, что, если бы он застал сейчас отца на форпосте, он не поехал бы с ним дальше. Зачем? Бежать? От кого? Спасаться? Но что может угрожать человеку, которому нечего беречь, кроме стопы нотной бумаги? Неизвестно, что глупее — отдать ли проезжему хитрецу тулуп или броситься вон из дому, в безглазую темную пустоту?

Призрак пожаров всполошил и напугал Никиту, волчьи стоны потников, анафем мнились ему в подступившей к окну войне. Он оглох от этих криков. Он кинулся от них в бегство.

И вот теперь, в равнодушной власти уединения, один на один с пустыней, Никита пригляделся к людям, с которыми он бежал. Слепец! Как мог он раньше не признать этих смурыгих масок?!

Потники и анафемы неслись мимо него, волоча за собою груды, вороха и кучи скарба, оскаливая зубы, огрызаясь, в стадном бессердечии, в зверином стоне: спасай, спасай! спасай груды сундуков, вороха тряпья, кучи горшков — самое дорогое, единственно драгоценное, кровно любимое в анафемской этой жизни! Но ведь среди стада, спасающего драгоценный скарб, находился отец Никиты, родной папаша Карев! Да, Василь Леонтьич несся в толпе потников и анафем, навьючив возы мешками и корзинами, в которых погромыхивал серебряный, золотой, бронзовый урожай многотрудной каревской жизни. Однако не попал ли сюда Василь Леонтьич так же случайно, как Никита? И не разыскивал ли сын отца только потому, что больше нечего было делать в скудном безбрежии пустыни?..

Однообразный скрип снега воплощал собою пустоту безразличия, наполнявшего Никиту. Он подвигался, как машина, легко и прямо, и заметил усталость только к рассвету.

Форпост он не узнал. Поселок был забит казачьими частями. От караванов городских беглецов не осталось следа. Улицы кишели лошадьми и походными двуколками. Казаки прибывали, втискиваясь в гущу войска с бранью и криками.

Хозяйку дома, в котором останавливалась каревская семья, Никита застал у ворот. Она переругивалась с казаком, тянувшим во двор трех оседланных коней. От коней шел теплый серый пар, казак с усмешечкой подзадоривал бабу ленивыми словцами.

— Что же вы неверно сказали мне о Василь Леонтьиче? Я его не нашел,— обратился Никита к хозяйке.

— А что неверно? — огрызнулась она.— Вольно было бы знать, иде шманяться! Что я, приставлена к Василь Леонтьичу?

Должно было случиться что-то небывалое, если люди говорили так о Василь Леонтьиче.

— Можно мне остановиться у вас? — спросил Никита.

— А мне что? Тут я сама постоялицей стала, язви их, иродов...

Никита вошел в дом. Духота и смрад ударили ему в голову. Он долго присматривался к раскиданным по полу штабелям человеческих тел.

Это были казаки тех частей, которые прошлой ночью отбили у красных Уральск и днем были выброшены из города контрата-

кой. Они спали вповалку. Горница сотрясалась вздохами и храпом, и Никите в первый миг было чудесно слушать беспокойное клокотанье звуков среди людей, насмерть поваленных сном и застывших, как мертвецы.

Он отыскал глазами свободный уголок около печи, пробрался туда, перешагивая через спины, головы и ноги, положил на пол свой ранец и лег, как был — в шапке и шубе. Скоро удушливый смрад сделался ему приятен (казаки пахли лошадьми, овчиной и валяной шерстью), и он заснул...

Открыв тяжелые веки, он увидел себя окруженным проснувшимися казаками. Они пили чай, какой-то неповоротливый разговор шел между ними, сразу застопорившийся, едва они заметили, что Никита пошевелился.

— Казак? — спросил его погодя черноглазый крепыш.

— Да, из казаков.

— Та-ак. Много ль служил?

— Я не обучен.

— Какой же бывает казак не обучен?

— Горазд чудно,— засмеялся кто-то,— вроде девки.

— Иногородний,— убежденно решил другой.

Черноглазый допрашивал:

— Братья есть?

— Есть.

— В войску?

— Старший — доктор.

— А младший — красногвардеец? — вдруг хитро подмигнул и осклабился черноглазый.

— Говорят.

— Сам быдто не знаешь?

— От Василь Леонтьича отстал, выходит? — спросил звонкий голос откуда-то сверху.

Никита поднял глаза. На печи сидел казак, очень широкий в плечах, с маленькой, наголо остриженной головой, с лицом, оплетенным путаной круглой бородой в проседи, как в плешинках. Он чем-то сразу напомнил Евграфа, но только на одно мгновение.

— Да. А вы знаете отца?

— Василь Леонтьич меня лет пять кряду обсчитывал, как я ему гурты с Бухары гонял. Небось узнаешь!

Казаки засмеялись, крепыш опять подмигнул черным глазом и спросил:

— Что теперь делать, а?

— Что дадут, то и ладно,— звонко сказал широкоплечий.— Может, мне, старику, пимы полатает, у меня пятка вывалилась, а вижу я плохо.

Он правда стащил с ноги разбитый валенок и спрыгнул на пол. Он был очень высок, сильно горбился, голова его не шла к нему, точно ее сорвали с другого, низенького человека и посадили ему на широкие сухие плечи.

— Ну-ка,— сказал он, подавая Никите валенок, и звонкий его голос тоже был странен, как будто в неприятном, как у циркового борца, теле сидел по-настоящему веселый и простой человек.

Никита, ни слова не сказав, вышел из горницы.

— Не нравится? — расслышал он в сенях, и зычный хохот казаков встряхнул дом.

Весь день Никита ходил по форпосту, отыскивая подводу, с которой можно было бы уехать следом за Василь Леонтьичем. Но в поселке не оставалось ни одного городского человека, за ночь и поутру караваны ушли в степь, форпост обратился в военный лагерь.

Война была уже не под окном, а вот здесь, рядом, она затянула Никиту тесным поясом, и он впервые разглядел вылезавшие из орбит бесцветные ее глаза, услышал лязгающий сталью голос. Сейчас этот голос напевал о том, как провалился под ятовью лед и в прорубь попали дерзкие супостаты, с баграми и подбагренниками; о том, что настала пора осетрам посмеяться над рыболовами; что обложена ятовь казачьим вольным войском и пришел конец красным охотникам — будут их пытать мором и гладом, пока не сдадутся они на милость. По великому казачьему войску объявлена была осада Уральска.

Вечером в горнице Никита встретил только одного знакомого — черноглазого крепыша. Тот быстро расчистил ему местечко около стола и налил кружку чаю. На полу казаки уже укладывались спать.

— Ты, видно, музыкант? — спросил черноглазый, как будто между прочим.— Я давеча твой багаж смотрел... так просто... для верности... У тебя там одна эта цифирь наложена... крючки. Я у староверов видал, только твоя быдто чуть помельче...

— Да, я музыкант.

Казак вытащил из-под стола мешок и засунул в него руку.

— На-ка, вали,— ласково и тихо пробасил он, подмигнув горячим глазом и протягивая Никите гармонь-однорядку.

— На гармони я не умею.

— Не можешь? — переспросил крепыш.

Он сокрушенно помотал головой и с боязнью пиликнул на дискантовом ряду.

— И я не могу,— вздохнул он.— А гармошка просится, чтобы играли. Я ее третьёводни на улице в Уральске подобрал, когда

красных гнали. Так и была в мешке. Видно, кто из коммунистов посеял, гармошка с украшеньем.

Он снова боязливо пиликнул, потом спрятал гармонь в мешок и задумался.

— Жалко мне тебя,— вдруг сказал он, не глядя на Никиту, словно говорил сам с собою.

Он уложил Никиту подле себя. Но не успели они задремать, как в комнату ввалилась толпа казаков.

— Потеснись! Дай место! Растянулись! — кричали они, переступая через спящих и тормоша их ногами.

Спустя минуту все в доме содрогалось от гама и возни. Каждый отстаивал свое право на место руганью, криком, кулаками.

Над Никитой вырос широкоплечий казак с маленькой, точно чужой головою и звонким голосом. Он выкрикнул в ожесточенном нетерпении:

— Ты что тут, в шубе, развалился? Вставай!

Нагнувшись, казак схватил Никиту за плечо, и он увидел над собою злобные белые искры узких, как у кошки, зрачков. Маленькая дрожащая голова была готова сорваться с широких плеч и упасть на Никиту.

Он не помнил, вскочил ли сам, или его оторвала от пола сухая, длинная рука чудовища. Он был мгновенно оттиснут к двери, и тотчас широкое плечо казака, мелькнув над головами, выбросило снизу согнутую в локте руку, и ранец, завертевшись под потолком, догнал Никиту и вышиб его в сени тяжким ударом по спине.

Никита был на дворе.

Он надел ранец, застегнул шубу и вышел за ворота. Мороз был очень силен. Теплота дыхания ощутимо застывала на лице, стягивая губы и небритые щеки упругой коркой.

Никита стоял неподвижно. Он точно отделился от себя и в эту минуту мог вынести себе любой приговор. Он увидел тупое бессмыслие всего, что с ним случилось. Он не знал, когда и где утрачено им самообладание. Он не признавал своих поступков, и они казались ему достойно завершенными тем, что люди, не имевшие права ни на один его волос, вышвырнули его за порог. Он больше не дорожил собою и схватился за последнюю надежду вовсе не потому, что хотел спастись, но только по упрямой природе надежды: он двинулся с места и пошел влево по улице, туда, откуда большая дорога вела в город.

Никита скоро вышел из поселка, и степь опять поглотила его. Однажды его нагнал какой-то казачий разъезд. Но в это время навстречу подвигалась колонна пеших солдат, и они, в темноте, долго распутывались с верховыми, не желая сворачивать с дороги и загребать неумятый снег сапогами. Никита стоял тем временем

в стороне, по колено в снегу, прикрытый ночью. Он не испытывал ни страха, ни колебаний. Мороз подгонял его, остановиться передохнуть было нельзя.

Когда начал брезжить рассвет, Никита вошел в побережную полосу леса, в урёму. Тут долго еще держалась по кустам темень, и под ее защитой идти было спокойно. Перед восходом солнца еще раз встретился разъезд, и Никита отсиживался в кустах, пока не смолк вдалеке топот копыт. К этому часу изредка начала мелькать сквозь лесок крутая излучина Урала — густо поросшая лука, за которой лежал город.

И вот в туманно-розовом низком солнце, курчавый, как овчина, от утренних дымков, на поверхности снега выдвинулся осажденный Уральск. Он покоился, мирен и сонлив, ничто не напоминало в нем о войне, он словно звал идти к нему безбоязненно и открыто.

Но полсуток непрерывного хода вдруг смяли Никиту приступом изможденья. Он почувствовал приторную тошноту, ему захотелось сесть. Он заставил себя пробраться сквозь урёму и выполз на открытый берег.

Снег на реке был взборонен сотнями человеческих ног, следы пестрели и мешались с глубокими колеями от санных полозьев. Здесь только что прошла война.

Наискосок через реку, в какой-нибудь версте, видны были плоские домишки пригорода. Ближе к Никите, на полпути до города, посредине реки торчали, как грибы, невысокие, в рост человека, будки. Самая ближняя, видно, была слажена и поставлена недавно, снег не успел ее запорошить.

Никита собрал остатки воли и потащился через реку. На неровных вдавлинах снега он все чаще оступался, ноги отказывались служить, он почти падал, когда наконец добрался до будки.

Это была сижá — игрушечная хибарка, плетенная из тальника, с крышей, оконцем и дверью. Казаки ставили такие плетенки на льду, для зимней ловли рыбы, но Никите не приводилось прежде видеть их близко. Снег вокруг сижи был хорошо вытоптан, тропа вилась по льду, к берегу, в город.

Подойдя к хибарке, Никита увидел за углом приземистого человека с жердинкою в одной руке и топором в другой. Никита дрогнул от неожиданности, он был уверен, что сижа рыболовами брошена.

Кто мог засесть тут, в этой будке, рукой подать от города, только что занятого красными?

Человек наклонился и начал обтачивать жердинку. Он был весь покрыт инеем, шапка на нем горела солнечно-снежным ша-

ром, и серый парок дыхания колыхался вокруг него, как стайка мошкары.

Изнеможение толкнуло Никиту вперед.

«Будь что будет!»

Он подошел ближе и выговорил полувнятно:

— Здоро́во!

Человек обернулся. Нельзя было узнать, стар ли он или молод: лицо его было украшено воздушным узорчатым серебром инея. Он недолго поглядел на Никиту и опять принялся тесать жердинку.

Неужели в Никите не было ничего такого, что отмечало бы его особым знаком? Почему своим появлением он не возбудил любопытства? Никита оглядел себя. Шуба на нем искрилась звездами снега, иней густо оплетал грудь и воротник, и с новой силой Никита ощутил свои губы и щеки стянутыми коркою замороженного дыханья.

Не думая ни о чем, Никита спросил:

— Что, белых далеко отогнали?

Человек осмотрел обточенную жердинку, как видно, одобрил свою работу и — снова повернувшись — сказал:

— Теперь, слава богу, не видать.

В следующую минуту они смотрели друг на друга в оцепенении. Оттенок, с каким было сказано неожиданное «слава богу», поразил Никиту. Это не было пустым присловием, голос звучал убежденно, человек произнес слова с душевной настойчивостью, как будто непременно хотел вложить в Никиту их значенье. Необыкновенная, какая-то снисходительная и лукавая доброта светилась во взгляде человека, и вдруг Никита вспомнил эти серые небольшие глаза под мохнатою заслонкой бровей и чуть не вскрикнул. Но человек уже подходил к нему с протянутой рукою.

— Да вижу, что признал! И я тебя тоже признал. Пойдем в сижу. Не замерз? Пойдем.

Никита дал себя ввести в низенькую дверцу, и сразу усталость подломила его ноги.

— Погоди валиться. Главное дело — уберечь тепло. У тебя от ходьбы тепла много. Садись, садись поглубже с ногами, клади сюда ноги, я заверну полушубком, а спину — тулупом. Эк, ты, путешественник, все ходишь! Не замерз — и то ладно. Сумку-то скидай, чего наклал туда, денег, что ль? — не подымешь!

— Ах, Евграф! — начал было Никита.

— То-то — Евграф! Сидеть бы на одном месте надо, и тебе лучше и другим. О других тоже надо подумать. А то куда иголка — туда и нитка. Путешественник! Тебе с Василь Леонтьичем

не равняться: ему капитал спасать, а тебе что? В сумке-то небось дрянь какая?

— Да откуда ты знаешь об отце?

— Я о таком знаю, что коли тебе сказать...

Евграф махнул рукою.

— Сижа-то хороша! От казаков в наследство досталась. Пошшопал малость, да вот, как лиса хвостом — рыбку из проруби и потаскиваю. С вечера давеча половил — на соль выменял да на пшено. На-ка поешь. Еда тоже тепло дает заместо огня.

Евграф развернул тряпицу, отломил кусок вареной рыбы и дал Никите.

Укутанный шубами, Никита сидел на деревянной кровати, занимавшей половину хибарки. На другой половине была вырублена прорубь, в которую опускалась сеть. Тонкий ледок стеклянной паутиной затягивал черную, как смоль, воду.

— Все ничего,— говорил Евграф, протыкая ледок обточенной жердинкой и отводя его к толстым краям проруби,— да вот самоварчиком не знай где разживиться. Не то бы сейчас чайку либо ушицы.

Евграф был рад незваному гостю, но многоречивость его казалась чуть-чуть наигранной, суетливой и не очень шла к нему. Он словно старался что-то заговорить. Когда Никита поел и спросил, как он добрался до Уральска и что знает о Ростиславе, Евграф начал процеживать слова с большей расстановкой.

— Как добрался? — недовольно переговорил он вопрос Никиты.— Чай, дольше тебя добирался. С прошлого лета. Всю степь истоптал.

— Что же ты будешь делать?

— Что делать? Мне делать особо нечего. За меня другие сделали. Видишь — рыбу ловлю да тебя кормлю.

— Ну, а Ростислав здесь?

— Ростислав Васильич?.. Где же ему быть?.. Да что ты все про меня? — с сердцем оборвал Евграф.— Ты про себя скажи. Что вдруг вернулся? С Василь Леонтьичем не поладили? Крут твой батюшка.

— Нет. Отстал от обоза. Да и нечего мне там делать.

— Верно, что нечего. Зачем же ушел?

— Я тебя о Ростиславе спрашиваю.

Евграф быстро перекинул ноги через кровать, к проруби, и прикрикнул:

— Заладил одно! Слышишь, колоколец звонит — в сеть рыба зашла.

Он схватился за сеть, но не вытянул ее, оставшись неподвижен, спиной к Никите.

— Отошел, что ли? — спросил он, помолчав.— А то на тебе лица не было... Я уж думаю, говорить ли тебе, такому...

Голос Евграфа огрубел и приглох. Он не говорил, а бурчал отрывисто, злобно и скупо.

— Ты — о брате? — беспокойно поторопил Никита.

— А то о ком же? О Ростиславе Васильиче, о нем самом. Ростислав Васильич приказал долго жить...

— Умер?

— Кабы умер — ничего бы тут не было.

— Убит? — прошептал Никита, приподнимаясь на руках и заглядывая в лицо Евграфа.

— На то война.

— Когда? Где? Евграф!

— Не кричи. Криком дела не поправишь... Передохни малость, я скажу по порядку.

— Да когда он убит?

— Поутру ты с Василь Леонтьичем уехал, за полдень мы вошли, а ночью нас потревожили. То есть казаки, понял?

— Значит — здесь, в городе?

Никита закрыл лицо.

— Да ты слушай... Входим мы в город, обыкновенно так, от колотка к колотку, народу кругом не очень много, нужно сказать правду — не встречают. Ростислав Васильич на коне, конь у него такой — только смотри. Я, конечно, при нем, недалеко. Хотя, когда по улицам шли, я находился в обозе, потом только, на базаре, где отряд собрался, подхожу к Ростиславу Васильичу, ну, и докладываю ему по-военному, что, дескать, Ростислав Васильич, город, мол, Уральск занят Красной Армией. Он этак по-своему засмеялся. «Спасибо, говорит, тебе за рапорт, поздравляю тебя, наконец ты дошел до своего Уральска». Я тут ему отвечаю, что верно, мол, шли порядочно, и на одном месте тоже потоптались, и теперь я желаю отдохнуть, потому что война для меня отяготительна, и прошу его уволить меня в отпуск. «Вам, говорю ему, Ростислав Васильич, тоже пора бы передохнуть»,— и приглашаю его с собой прямо в родительский дом, это — к Василь Леонтьичу,— там, мол, и на квартеру станем. Тогда он меня отпускает: «Ступай, говорит, Евграф, к нашим, успокой, чтобы не было волнений, а я, говорит, как справлюсь, прибуду». Ну, я военное дело знаю, тут и квартеры, и довольствие, и десцаплина. «Ладно, отвечаю, справляйтесь, а я пойду». Прихожу я в дом, застаю стряпку, волнения с ней никакого нет, так что успокаивать нечего, и узнаю про то, как вы убежали. Вот, думаю, пришло время — друг от дружки бегают. Ну, говорю я стряпке, что занимаю квартеру и что мне должно обнаружить полное подчинение, запираю ворота, ло-

жусь, и — с походной жизни — засыпаю медведем. Ночью меня стряпка тормошит, протер я глаза, на женщину трясучка напала, слова не может выговорить. Прислушался и по-военному объясняю: это, мол, казаки орудиями наших высаживают и, надо ожидать, высадят, так чтобы она молчала про меня, кто я, и говорила, что, мол, дворник. Дворник, дескать, Евграф. Тут слышим мы стук в ворота. Пошел я, слышу — Ростислав Васильич. Спрыгнул он с коня, привязал повод за скобу на калитке и говорит мне: «Ишь, говорит, как казаки нас встретили, ничего путного не оставили, во всем городе одни подсолнухи да гнилая вобла». Я ему отвечаю, что, мол, по барину говядина, по говядине вилка. Он смеется и спрашивает, как, дескать, наши, это значит — вы. Я объясняю, что все отбыли. «А Никита?» — спрашивает. «И Никита, говорю, Васильич со всеми».— «Эх, говорит, дурак!» — и по ляжкам даже хлопнул...

Евграф приостановился и посмотрел на Никиту. Но Никита сидел не шевелясь, по-прежнему закрыв лицо руками в мохнатых шерстяных варежках. Евграф глубоко, медленно вздохнул и повторил:

— «Эх, говорит, дурак!» Это про тебя... Ну, я ему тут говорю: «Ростислав Васильич, вы — человек военный, слышите: винтовки на улицах щелкают, как бы вас, говорю, тут кто не захватил». Он мне на это: «Я, говорит, потому и прискакал, хочу на свой дом взглянуть, может, говорит, долго не придется увидеть. Я сию минутку, говорит, сбегаю наверх и назад. Тебе, говорит, советую в городе остаться, потому красные свое не упустят». Я объясняю, что мне, мол, теперь некуда, я до своего дошел. Отперли мы тут дом, и слышу я, как Ростислав Васильич по лесенке наверх затопал. Только самой этой минуткой подскакали к воротам конные, и слышу — осаживают. Гляжу, в калитку — казаки. «Чей, кричат, конь у ворот?» — «Я, говорю, почем знаю: конь стоит на улице, может из другого колотка, я за улицу не отвечаю, я — дворник». Стали они по двору шастать, потом на кухню пошли. Я тут — шмыг в дом. В темноте нащупал дверь, открыл — лесенка, а там огонек, вроде как от свечки, пляшет. Я на лесенку этаким шепотом: «Ростислав Васильич, хоронись скорей, куда можешь! Казаки!» А он мне сверху: «Сейчас»,— говорит, да громко. Я давлюсь, чтобы не закричать, хриплю: «Гаси огонь, увидят». А он опять: «Сейчас, погоди». А чего годить?! Ну, потом он с лесенки скатился, захромал, бок, говорит, отбил. Я ему: «Ростислав Васильич, на дворе — казаки, ищут!» — «Черт, говорит, с ними, прощай!» И на двор, да бегом к калитке, значит — к своему коню. Отпутывает повод, а казаки из кухни выходят, слышат — конь танцует, кинулись в калитку, но только Ростислав Васильич уж был в седле и при-

шпорил. Погнались они за ним, слышу — раз, два — стреляют, потом треснуло так, словно гороховый стручок лопнул, погромче только. Это, думаю, Ростислав Васильич, у него такой револьвер, чудно стреляет. Ну, значит, полагаю, ушел: ездок он такой, что другого не найдешь. Я все, бывало, поминаю, что вот, дескать, тебя, Никита Васильич, учил на коне бегать, а научился-то Ростислав Васильич.

Евграф остановился и опять поглядел на Никиту.

— Да... значит, тогда я в последний раз Ростислав Васильича и видел. Живого... Залег я на сеновал и отсидел до утра, а поутру, стало быть, наши вернулись. Тут я узнаю, что Ростислав Васильич лежит недалеко от дома, убитый. Бегу туда, там народ, которые из нашего отряда — тоже. Спрашивают — как случилось? Я, значит, что знаю, вот как тебе сказываю, а сам на Ростислав Васильича гляжу. Ну, мало похож на себя остался, разве на губах такое, словно смеется по-своему. Зарубили. Череп ему сверху откололи, вроде как у нас, в анатомии, когда мозги смотрят, а заместо мозгов в череп снег. Это они нарочно набили, насмехались. Простился я, поцеловал Ростислав Васильича, говорю ему: «Жил ты, как охотник, все, бывало, удачи искал, на огне горел за всех за нас, из каких переделок невредим оставался, и вот, у самого родительского дома, под своей крышей кончил. Верно, говорю, Ростислав Васильич, сказано: идет линия — играет дуда глиняна, не идет линия — и медный рог не игрок...» Тут которые из отряда стали с Ростиславом Васильичем прощаться, прямо на морозе, потом повезли. А вчерашний день — похоронили под музыку...

Евграф озабоченно схватился за жердинку, потыкал ею в прорубь и примолк. Немного погодя он украдкой покосил на Никиту защуренным глазом и добавил с укоризной:

— Вот тебе и Ростислав Васильич...

Никита скинул со своих ног полушубок, поднялся с кровати и отворил дверцу.

— Далеко ль? — спросил Евграф, нацеливаясь выскочить следом за ним.

— Мне надо... пойти туда,— медленно выговорил Никита.

— Куда туда?

— В комнату. Домой. Он был наверху, говоришь?

— Стой, стой! — крикнул Евграф, хватаясь за Никитину шубу.— Чего задумал?

Он заслонил собою выход и, навалившись на Никиту, толкая его к кровати, испуганно пробормотал:

— Чего задумал? Иль не в себе? Смерти ищешь? Не пущу, чего хочешь делай, не пущу!

— Уйди! — со злобной и брезгливой гримасой сказал Никита.

— Убьют, говорю — убьют! — закричал Евграф.— Не пущу! На что идешь? Страшней, чем его, убьют! Не пущу!

— Пусти!

Никита толкнул Евграфа на кровать и выбежал вон. Минуту Евграф лежал не двигаясь, сердито ворча себе под нос несвязные слова. Потом вскочил.

— Никита Васильич! — позвал он громко.— Послушай старика! Убьют!

Он подождал, не обернется ли Никита, и еще громче проголосил:

— Приходи назад, в сижу, тут верней!..

Никита был далеко.

Изможденье, которое недавно подламывало его ноги, псчезло без следа. Все его чувства обновились, какая-то свежая кровь опалила его жилы. Он прошел через весь город быстрым, сильным шагом.

Каревский двор был занят артиллерийским обозом, но дом стоял на запоре. Перепуганная кухарка отперла замки и впустила Никиту.

Он бегом взобрался наверх и глянул на зеркало. Записки не было. Никита бросился к столу. Страничка из тетради валялась на виду и около нее — карандаш. От мороза у Никиты слезились глаза, он сорвал с пальцев варежку, вытер лицо, схватил бумагу и прочел:

«Наталья на фронте, врачом. Писала, что Матвей по-прежнему в Питере. Больше ни о ком не знаю. А я — ну, мне что! И в огне не горю, и в воде не тону!

Ростислав».

Последние слова были написаны крупнее и размашистей первых. Подпись можно было разобрать только по начальным буквам. На обороте листка Никита узнал свой почерк.

Он сунул записку в карман и, не глядя на комнату, не видя ничего перед собою, побежал к выходу.

Он опомнился только на улице, неподалеку от дома. Холодными, непослушными пальцами он развернул листок бумаги и еще раз прочитал рассыпанные на нем немногие слова.

Почему в этих словах, в этих последних словах Ростислава не было ни одного — предназначенного только ему, Никите? Впрочем, разве знал Ростислав, что он пишет свое завещанье?

Никита оторвал глаза от записки. Раскрытый больше обычного, отягощенный заиндевелыми ресницами, взор его блуждал бесцельно. Внезапно он остановился.

Никита стоял против забора, сворачивавшего с улицы в короткий пустынный тупик (ребятишки прозвали этот тупик Вахрамеевым, потому что на углу торговал когда-то мороженщик Вахрамей). На зеленовато-серых скучных досках забора висела теперь яркая заплата — крашеная жестянка с названием улицы. Но старого названия не было видно. Или нет,— его можно было разглядеть, оно просвечивало сквозь жидкую кирпичную краску, которая не могла засохнуть, а подмерзла. Сквозь эту свежую краску можно было еще прочитать: «Атаманская улица». Но надпись перекрещивали и дробили новые, черные, лоснившиеся маслом неуклюжие буквы:

УЛИЦА ТОВАРИЩА КАРЕВА

И когда эти буквы в сознании Никиты стали словами и он разгадал их несложное значенье,— мучительный прилив свежей, какой-то чужой крови заново обжег его с ног до головы. Он почувствовал томительное оживание своего тела, как будто просыпался после долгого наркоза. Он начал обонять замороженные ароматы воздуха, увидел прозрачность солнечного дня, ощутил натекающую в мышцы силу, и вдруг около его ушей обвалилась непроницаемо-тяжкая стена, и к нему вернулся слух.

Он слышал, какою горечью отчаяния был наполнен кругом него мир, какую горечь утраты заключало в себе его сердце — сердце Никиты, и тайный, боязливый восторг глубоко содрогнул его.

Он пошел по улице, где погиб его брат, прежней своей походкой — чуть-чуть касаясь земли,— неся в себе первую отчаянную горечь утраты и первую робкую радость — радость приобретения утраты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда присланный из Москвы командующий речной флотилией Шеринг назначил комиссаром флагманского судна Родиона Чорбова — никто не удивился: Родион был лоцманом, большевиком, неплохим парнем — почему же не стать ему комиссаром? Ефрейторы водили дивизии, почтальоны управляли финансами, токари по металлу и портные издавали законы, и армия, банки, юстиция были необычайны, но не так плохи,— революция довольствовалась ими, и понемногу они справлялись со всем, что ей мешало.

Флагманское судно было простым буксирным пароходом, усердием Сормова переделанным в хмурую плавучую крепость — с

мутно-зелеными стволами орудий, тупым взглядом бронированных бойниц,— неповоротливую и неудобную. Крепость передвигалась по коридору насупленных камских берегов, позади и впереди нее шли такие же, как она, буксиры, и на них, под сенью развешенного для просушки матросского белья, хмурились жерла орудий. Фронт откатывался на восток, и на восток шла флотилия Шеринга.

Родион встретился с Шерингом перед лицом команды, на корме, поднявшись из лодки по трапу, и видно было, что Шеринг нарочно сошел с палубы, чтобы встретить нового комиссара. Шеринг подошел к самому борту, нагнулся, спустил руку, и Родион, влезая по трапу, схватил эту руку цепко и надежно и впрыгнул на борт. Шеринг, не выпуская руки Родиона, отстранил его немного вбок, пристально, тепло всмотрелся в его лицо и сказал:

— Ты все такой же. Здравствуй.

Он притянул к себе Родиона, обнял его, и так — обнявшись — они пошли на палубу.

Родион, правда, был таким же: круглая большая голова, вросшая в плечи, как бабка — в борт пристани, глубоко вдавленные уголки крепких губ, прозрачные глаза под буграми бровей. При всей складности движений, которой научила его работа на судах, в нем все еще проглядывала застенчивая неуклюжесть мальчугана, отданного в ученье пароходному агенту. Идя по палубе рядом с Шерингом, Родион старался половчее ступать, но не мог приноровиться к отчетливому шагу своего товарища и грубо толкал его плечом в бок. Перед тем как войти в рубку, у самой двери, он должен был плотно прижать к себе Шеринга, чтобы помочь ему удержаться на ногах. В эту секунду смущенье со странной силой колыхнуло его, и вдруг стало ясно, что неловкость шага, сдавленность всех его движений рождены простодушной молодой радостью, утаить которой он не мог. Его словно что-то сдвинуло с места.

— Какая история,— проговорил он торопливо.— Я все ждал, что мы встретимся. Что ты будешь — главный, а я — помощник!

В глазах его засветилось глубокое, веселое восхищенье. Шеринг ласково улыбнулся, открыл дверь и хотел втолкнуть его в рубку, но Родион уступил дорогу и вошел последним...

Два сна чаще всего снились Родиону.

Первый: он карабкается по каким-то сваям, доскам, лесенкам на борт чудовищного судна. Он слышит возрастающий грохот железа по железу, точно его посадили внутрь парового котла и рядом с ним глухарь отбивает молотом неподатливый болт. Леса, по которым нужно Родиону взобраться, неудобны. Он цепляется за тоненькую балясинку, она подламывается, он падает, но успевает за

что-то схватиться и опять карабкается вверх. Вдруг леса исчезают, он остается в воздухе, и ему нужно лететь. Он машет руками, как птица крыльями, и легко, почти невесомо взлетает наверх. Тогда под ним открывается громадный судовой корпус, наполненный крошечными человечками, по-муравьиному бегущими в разные стороны. Он ощущает упругую толщу воздуха, и рассекать ее широким взмахом рук ему отрадно и сладко. Сверху он видит десятки доков, в каждом из них — суда. Людей уже нельзя разглядеть. Потом исчезают суда, исчезают доки, воздух белеет. Родиона кто-то охватывает кольцом тонких рук повыше пояса, сзади, он произносит довольно:

— Большой ремонт,— и слышит чужое, нетерпеливое, морозное дыхание над своим ухом.

— Успеешь,— говорит Шеринг,— гони сильней.

Но это — второй сон, слившийся с первым и продолжающий его, как вечер продолжает сумерки.

Родион гонит лошадь в бесконечность, снежная пустыня кажется хмуро-лиловой. Шеринг сжимает его грудь с щемящей болью, Родиону невозможно дышать, он леденеет, и страшная боязнь — замерзнуть раньше срока, раньше, чем это нужно Шерингу, держит его — окоченелого — в санях.

— Теперь пора, до свиданья,— тихо говорит Шеринг и сбрасывает Родиона с саней в снег.

Родион лежит в морозной лиловой пустыне, ему хочется улыбнуться, но губы отвердели и челюсти сжаты, как клещи. Его обступают люди, ненавистно заглядывают ему в глаза, кричат в озлоблении и страхе:

— Где Шеринг, отвечай? Куда ты девал Шеринга?

Тогда Родион сквозь зубы процеживает медленно и скупо:

— Разве я обязан следить за Шерингом?

— Разве я сторож брату моему? — рассказывает рыжебородый батюшка, покручивая в пальцах серебряный нагрудный крест...

Но нет, это — не сон! Это действительно случилось около десяти лет назад, когда Шеринг бежал из Минусинского края за границу, к своему отцу. На допросе, учиненном всем ссыльным и ссыльнопоселенцам, Родион Чорбов пожал плечами и выговорил с неохотой, подавляя в себе волну колющего холода:

— Разве я обязан следить за Шерингом?

И в ту же минуту он вспомнил школьного рыжеволосого батюшку, безразличным баюкающим тенорком повествовавшего из Книги Бытия:

— И сказал господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

Никакого сходства с тем, что совершил Каин, не мог иметь поступок Родиона, и неожиданное воспоминание показалось Родиону глупым, и он улыбнулся едва заметной кривой улыбкой. Может быть, за эту улыбку он поплатился годом тюрьмы, пока велось следствие о побеге из ссылки Шеринга. Но Родион ни разу не пожалел, что ему пришлось сменить тесовую конуру ссыльного на каменную клетку арестанта. Он был горд, что больше других пригодился Шерингу, больше других знал о побеге, и он молчал у следователя с упрямством, которое переходило в наслажденье.

Побег был блестящий, о нем говорила вся ссылка, Шеринг еще раз показал, что он умеет действовать, а не только читать и писать книжки. И в этом последнем его безумном и великолепном действии ему помогал Родион. Можно ли было ждать себе какой-нибудь другой награды? Ведь если бы для избавления Шеринга понадобилось замерзнуть в снежной пустыне, как замерзал Родион во сне, если бы нужно было своею смертью предотвратить или хотя бы задержать на один час погоню за ускользающим беглецом, разве Родион Чорбов не отдал бы своей жизни с чувством обретенного наконец счастья?

О да! Ради Шеринга — да! Две жизни, десять жизней! Он готов был вновь и вновь родиться, чтобы снова и снова умереть для спасения единственной — незаменимой, казалось ему,— жизни Шеринга, Шеринга — участника восстания на Пресне, Шеринга — вдохновителя конспиративной работы, Шеринга — революционных дел мастера, ученого, агитатора, неустрашимого, безукоризненного Шеринга,— о, сколько образцовых качеств приписывалось этому имени, этому человеку!..

И вот Родион сидел с ним в крошечной рубке с глазу на глаз, спустя десять лет после того, как в последний раз пожал ему руку.

Шеринг дотрагивался до крутой, широкой коленки Родиона и неторопливо, но очень сжато, бережно выпуская слова, говорил о своем плане захода флотилии в тыл белой армии и прорыва неприятельского фронта.

Надо было собрать все самообладание, чтобы пристально следить за мыслью Шеринга, надо было заставить себя не глядеть на него, чтобы не поддаться любованию его лицом — чуть желтоватым, худым, с подвижными бровями, с тонкой горбиной носа, чтобы не перебирать в памяти бесчисленных старых представлений о том, какой должна была быть встреча с Шерингом, вот с этим Шерингом, чуть теплая рука которого лежит сейчас на коленке Родиона.

И Родион диковато, угрюмо глядел в пол, и бугры его лба вздувались, как будто под кожею перебегали с места на место два ореха.

— Ты понимаешь меня? — спросил Шеринг, рассказав о плане.

— Понимаю,— ответил Родион.

— Ты как будто устал? Или ты не согласен со мной?

— Я согласен. Я старался не пропустить чего-нибудь.

Нажимая кнопку звонка на столе, Шеринг опять улыбнулся, и тогда Родион почувствовал приступ мягкого, согревающего спокойствия: он нашел Шеринга таким, каким хотел его найти, каким Шеринг постоянно появлялся перед ним в воспоминаниях и снах.

В рубку вошла женщина. Черное платье на ней было необыкновенное — таких давно уже не носили — с высоким, глухим воротничком и длинными рукавами. Но сидело оно отлично, и казалось — старомодность его была умышленно сохранена. Женщина бегло взглянула на Родиона, рассчитанно по-деловому усаживаясь за стол и придвигая к себе «ундервуд», и так же по-деловому, наскоро проговорила:

— Здравствуйте, товарищ Чорбов.

«Значит, уже знают»,— решил про себя Родион.

— Пишите,— тихо сказал Шеринг и начал диктовать.

Женщина держалась прямо, лицо ее было сосредоточенно, пожалуй,— строго, но работу она исполняла легко, сильные пальцы ее без заминки находили нужный клавиш, и строки быстро погоняли размеренную однотонную диктовку.

Вдруг, в паузу, она подняла глаза и столкнулась со взглядом Родиона. Она глядела на него, как смотрят, задумавшись, в пустоту, но Родион с неприятной остротою почувствовал, что она видит и нарочно не сводит с него темных своих, недвижных глаз. Он нахмурился, подпер голову рукою и решил не уступать.

— Дальше! — сказал Шеринг.

Нет, Родион, конечно, ошибся. Женщина оторвала от него свой взгляд так, как отрывают его от пустоты: веки дрогнули, зрачки метнулись в сторону, и тотчас — наполнившись сознанием — глаза опустились, заслоненные синеватой тенью ресниц.

Тогда стало видно, что взор женщины, пока он был открыт, озарял все ее лицо, и сквозь деловую сосредоточенность Родион различил беспокойную, вызывающую красоту. И он смотрел в это лицо не отрываясь, как будто единоборство взглядов все еще продолжалось.

— Это все,— чуть повышая голос, закончил Шеринг.— А как работа, которую я сдал утром? — спросил он тут же.

Стоя в самых дверях рубки, женщина повернула голову к Шерингу, но глаза ее снова остановились на Родионе.

— Мне осталось только проверить,— ответила она,— я принесу ее вам через полчаса.

Нет, она опять смотрела в пустоту, она не замечала Родиона! Вместе со взором лицо ее озарила сверкнувшая на один миг полоса зубов, и — нагнувшись под притолоку — женщина вышла.

Родион глядел ей вслед, когда она переступала порожек. Она была сильна, округлые плечи и спина ее были гибки, платье хорошо облекало ее тело.

— Правильно я сочинил? — спросил Шеринг, протягивая бумагу Родиону.— Тебе надо подписаться.

Родион вспыхнул и насупился. Из-за какой-то юбки он проморгал все, что говорил Шеринг! Хорошее начало!

— Я прочитаю разок еще,— пробурчал он и с недовольством мотнул головой на дверь: — Кто это?

— Как видишь — машинистка. Письмоводитель, счетовод — кто хочешь.

— Она давно у тебя?

— Месяца четыре. Прекрасный работник.

Родион молчал.

— Ты знаешь ее? — спросил Шеринг.

— А ты? — вскинув бугры тяжелых бровей, отозвался Родион.

— Она работала у меня в Москве, я привез ее с собою. Она из купеческой семьи, кажется. Варвара Михайловна Шерстобитова. Не слыхал?

— В штабе командующего флотилией секретарь из купеческой семьи,— прищурился Родион.

Шеринг ответил не сразу. Он внимательно осмотрел товарища, словно только сейчас нашел минуту сравнить его с тем Родионом, которого он знал много лет назад.

— Может быть, тебе следует знать,— ухмыльнулся Шеринг,— здесь на пароходе есть такой Чупрыков, вроде каптенармуса, увидишь. Когда я пригласил Шерстобитову ехать со мной, она очень просила взять его. Сейчас я вспомнил. Этот самый Чупрыков — из добровольцев, служил в полку, который я формировал. Он и привел тогда в штаб Шерстобитову. Выходит — круговая порука,— засмеялся Шеринг.— Не знаю, чем они связаны.

Родион молчал.

— Но если ты думаешь...— проговорил Шеринг, кладя на ко-

ленку Родиона теплую руку,— если думаешь насчет... верно ли я тебя понимаю? То ведь пешком по воде не уйти, жизнь здесь на ладони. Я имел это в виду и совершенно спокоен. А Варвара Михайловна — работник нужный.

Шеринг поднялся с койки и подошел к столу.

— Да ты сам в этом убедишься,— резко добавил он.— Тебе придется все время работать с ней... Давай дальше. Прочти вот...

Да, Родиону пришлось убедиться, что Варвара Михайловна — прекрасный работник...

Судовой устав на реке — не то, что на море. По Волге, Оке и Каме плавают, в сущности, жилые избы — очень большие, просторные или тесные, смотря по тому, каков пароход. Команда живет на судах семьями, особенно команда старшая — капитан, помощники, механики, лоцманы, иной раз и матросы,— с женами, младенцами, овеянные пахучей домашностью, в пеленках, узлах, самоварах. Домашность эта пришла на пароход с плотов и белян, с просторных барок и украшенных расшив, и ее не могли разрушить ни комфортабельные экспрессы, ни расчетливые акционеры пароходных обществ. Матрос привык на пароходе жить, а не только плавать, и бабья юбка на борту стала для него чем-то вроде сигнала о полном благополучии.

В войну шумливые буксиры стали броненосцами, и жены, младенцы с пеленками и самоварами высадились на берег. Но команда еще не позабыла привычного, веками благословенного обихода, и на борту флагманского судна Варвара Михайловна как будто случайно осталась от прошлого, не успев сойти на пристань.

Матросы военных судов, истые моряки, которые на речных флотилиях были боевой силой, за революцию легко приучились к сухопутью и еще легче к тому, что все идет не так, как шло раньше, что происходит какой-то всеобщий шиворот-навыворот и удивляться ничему не следует. Речной пароход для моряка — посуда комическая, и правда достоин смеха, когда — к примеру — пробирается через перекаты и сонный матрос, обмакивая гнущуюся наметку в воду, стоя на носу, заунывно кричит:

— Шесть с половина-ай... Восемь с половина-ай!.. Под-табак!.. Та-бак!..

На такой посуде только бабам и плавать! И что же чрезвычайного в том, что на флагманском судне, в кухонном помещении, скребли и полоскали котлы судомойки, а по палубе изредка прогуливалась штабная машинистка — Варвара Михайловна? С судомойками по вечерам можно было точить лясы, а с Варварой Ми-

хайловной — обменяться шуточкой и поглядеть, как сверкнут у ней зубы, когда она рассмеется.

Матросы относились к Варваре Михайловне хорошо (это сразу увидел Родион), она держала себя просто, пришлась к дому.

Но все это было сущими пустяками, потому что команда готовилась к главному — к предстоящему бою, ждала его каждый час, судно сделалось машиной, средоточием воли, которая вела всю флотилию на восток. Главное было — в подготовке к удару, к операции, главное было — в точности и безошибочности работы крошечных частиц машины.

И тут Варвара Михайловна обнаруживала решительно незаменимые достоинства. Родион понял это и признал отзыв Шеринга. Она работала без устали, днем и ночью — когда находилось дело,— с такой легкостью, как будто труд для нее был игрушкой. Во время занятий она бывала серьезна, даже строга, но здоровье ее, легко осиливавшее любое напряжение, делало самую серьезность и строгость какими-то удобными и шутливыми. За судовыми приказами и хозяйственными ведомостями, дробно потрескивая клавиатурой машинки, она забавлялась, а не работала, и краски ее лица были радостно-свежи, точно она сидела в качалке на носу парохода и ветер обдувал ей щеки.

В конце концов эта неустанная легкость начала раздражать Родиона. Стало совершенно ясно, что Варвара Михайловна притворяется. Что ей тоже страшно трудно и утомительно вставать посреди ночи, садиться за стол и писать под диктовку Шеринга или Родиона. Что она измучилась от непрерывного ожидания опасности, от ожидания боя, от мысли, что, может быть, флот идет в ловушку, что ловушка поставлена в самом неожиданном месте, что вот, когда Шеринг тихо и устало скажет: «Точка, абзац»,— в этот миг все полетит к черту! Конечно, Варвара Михайловна угнетена до крайности, но она с умыслом подавляет в себе изнурение и страх, чтобы показать ему, Родиону, что она сильнее его, сильнее всех. Это очевидно! Она непременно хочет как-нибудь уязвить Родиона, заставить почувствовать, что она превосходит его в настойчивости, выдержке и в образовании. Конечно, конечно! — в образовании! Это в ней самое неприятное, отталкивающее, раздражающее. Зачем, например, она молча, бесстрастно сидит, глядя черными своими остановившимися глазами в пространство, когда Родион, спотыкнувшись в диктовке, подыскивает нужное слово или — просто не знает, как начать бумагу? Варвара Михайловна держит наготове пальцы, ровно, незаметно дышит, взгляд ее пуст — да, черт побери! пуст! Но в губах, в губах! Словно вот сейчас сорвется нужное Родиону слово, и нет, нет! Не срывается! И как же это слово, как его?..

— Пишите! — говорит грубо Родион.— Дальше! Гм-м...

Она готова писать, совершенно готова, она даже приподняла локти,— но как же это слово?!

И хоть бы один слог сорвался с густо-красных ее, чуть вздрагивающих губ! И хоть бы один раз она пожаловалась на усталость!

Откуда у нее такое самообладание, такое чувство превосходства? Что руководит ею, чем объяснить присутствие ее здесь, на боевом судне, что понадобилось ей на фронте, на этой стороне фронта, а не на той? Зачем она пришла сюда?

Комиссар флагманского судна Родион Чорбов находит наконец минуту поговорить с машинисткой о посторонних предметах.

— М...м...м...— начинает он,— откуда у вас... этого... откуда вы запаслись... как его?.. геройством?

Варвара Михайловна подергивает бровью. Она слышала, что ее хотят оторвать от дела, и готова оторваться, только — вот сию минуту — дочитает две-три какие-то строчки.

— Не думаете вы,— продолжает Родион,— что наш пароходик напорется... это самое... на мину и мы с вами... понимаете ли...

— Да,— громко отвечает Варвара Михайловна, беззаботно встряхивая головой и вдруг уставив прямой свой взгляд в глаза Родиона.— Да, товарищ Чорбов. Вполне возможно, что наш пароходик напорется на мину и мы с вами... это самое...

Она делает неопределенный жест, показывая раскрытыми пальцами в потолок рубки, и Родиону кажется, что на ее лицо, прямо против глаз, наведена стосвечовая лампа.

— М-м, да...— хочет он сказать,— как его...

Но Варвара Михайловна еще не кончила:

— Ведь если даже вы, товарищ Чорбов, думаете о мине, на которую напорется наш пароходик, то мне тем более...

— То есть как? — грубовато перебивает он.— Почему — «даже я»? Что же я... какой-нибудь... как его?

Она не перестает глядеть на него, и лампа, озаряющая ее лицо, стремительно усиливает свет до ста пятидесяти свечей, до двухсот, до трехсот...

— Да! — спохватывается Родион.— Надо составить инструкцию об этом... о порядке отчетности... Возьмите пол-листа. Нет — лист! Полный лист, в разворот!..

У него голос командира, когда он выкрикивает — в разворот!

Иногда Варвара Михайловна бывает особенной. (Кстати, у

«Братья»

Родиона такое чувство, что он плавает на флагманском судне давным-давно, что он не расставался с Шерингом и великолепно успел изучить Варвару Михайловну, со всеми ее хитростями.) Она как будто приоткрывает свое существо, показывает, что ей нечего таить от Родиона или бояться его, что она действительно забавляется работой.

Родион водит круглой головой из стороны в сторону, бугры на его лбу исчезают и появляются, он диктует сводку событий за истекший день.

— Отчаливая от села... как его... Воскресенского...

— «Как его» тоже писать? — невозмутимо спрашивает Варвара Михайловна.

Он смотрит на нее. Она не поднимает глаз с машинки.

— Не-ет! — нарочно помедленней, с угрожающей расстановочкой отвечает Родион.— Не-ет, дорогой товарищ, слов «как его» писать не следует.

И он круто меняет тон, продолжая важную диктовку:

— Отчаливая от села Воскресенского, на флагманское судно произошло нападение кучки неприятеля с берега...

Варвара Михайловна перестает трещать на «ундервуде» и улыбается.

— Вы что?

— Так нельзя сказать, товарищ Чорбов.

— Как?

— Нельзя сказать: отчаливая, на судно произошло нападение.

— Пишите, как вам говорят! — кричит он изо всей силы.— Я знаю, что вы образованней меня! Сейчас мне не время брать уроки!

Она пишет дальше, не произнося ни звука, пишет день, другой, как заводской раскрашенный автомат, не замечая Родиона, совершенно не замечая его, так что это становится даже... оскорбительно.

И потом — черт побери! — через два дня Родион обнаруживает, что все бумаги, продиктованные им, имеют едва уловимые исправления, хотя точно выражают его мысль. Нет, это уже невыносимо, это перешло всякие границы, это...

— Послушайте, вы,— сжав зубы, цедит Родион,— как его... вы это бросьте!

— Что?

— Делать все по-своему.

У Варвары Михайловны страшно перепуганный вид. Просто никогда нельзя было поверить, что она так испугается!

— Я что-нибудь напутала?

— Нет. У вас получается не теми словами, в другом порядке... не так, как говорил я...

— Лучше или хуже?

Варвара Михайловна испугана, это бросается в глаза, и неприятно: ведь человек не совершил ничего предосудительного, за что же с него взыскивать? Но Родиона не обманешь, он прекрасно подметил за испугом ту самую· улыбочку превосходства, которая возмущает и отталкивает его.

— Может, и лучше,— язвительно говорит он,— но зачем вы себя затрудняете?

Ага, он попал в цель! Варвара Михайловна видит, что ее коварство позорно разоблачено, и она переходит на откровенность. Она чуть-чуть приближает свое лицо к Родиону, давая понять, что при желании они могут быть друзьями, и открыто, без утайки и хитрости, смеется.

— Милый товарищ Чорбов, ведь для меня не составляют никакого труда эти маленькие исправления. Я делаю их обычно во время диктовки...

Ну да, он так и знал, что она не упустит случая порисоваться перед ним своими талантами, чтобы больнее унизить его, чтобы еще раз подчеркнуть свое превосходство.

— Я вам уже говорил, чтобы вы придержали образованность при себе. А если она не дает вам покоя, то...

Родион вне себя. Он взбешен. Нужно наконец поставить эту барышню на место, заявив ей, что от комиссара ничего не скроется, что ему все известно! И он, задыхаясь, продолжает:

— ...то вы можете... как его... давать уроки по грамматике... помощнику каптенармуса Чупрыкову... по вечерам... на корме...

Тогда Варвара Михайловна оглушает Родиона взрывом хохота, так что он на секунду стоит в растерянности: что с ней? В уме ли она? Может быть, она предполагает, что комиссару флагманского судна неприятны ее глупые встречи с Чупрыковым? Подумаешь! Очень ему нужен Чупрыков! Впрочем, приглядеть за ним не мешает: что-то он чересчур расторопен и угодлив.

Но где слыхал Родион этот грудной, глубокий смех? Когда видел точь-в-точь такие же сверкающие полосы зубов? Черт знает что за дрянь лезет в голову, в то время как с минуты на минуту должны наступить события решающие, громадные и удивительные!

Родион, без сомнения, с легкостью выкинул бы все это из головы, если бы не случай около нефтянки, всполошивший его и сделавший назойливое воспоминание близким и плотски живым.

Нефтянку встретили неожиданно. Странно, что она уцелела на пути отступления белых армий, что ее не сожгли рыскавшие повсюду шайки зеленых. Она стояла одиноко в дикой местности, но причалы и якоря были в порядке, как будто люди бросили баржу на часок и вот-вот должны были вернуться. К нефтянке подошли осторожно, сначала — на лодках, осмотрели, нашли немало нефти и решили пополнить пароходные запасы. Флагманское судно брало горючее последним.

Приборы и трубы для перекачки были повреждены, команда долго возилась с насосом, перемазалась, оборвалась, но свое взяла. На радостях, пока труба пофыркивала и поплевывала черной струей нефти, матросы на носу подняли возню. Один из них потешал команду борьбой с самим собою. Он заправски, по-цирковому хватал себя за шею, ставил на четвереньки, гнул и подминал плечи под голову, перевертывал себя на спину, снова вскакивал и опять кидал сам себя на пол. Кончил он тем, что повалился на смотанный кольцами канат и запихал себя головой в середину, высупув из каната ноги торчком вверх, словно из кадушки. Команда гоготала дружно.

Родион, бывший вместе с матросами на носу, заметил, как они вскидывали глаза на палубу и, точно подбодренные, принимались хохотать еще громче. Он посмотрел наверх.

На палубе, рядом с Шерингом, стояла Варвара Михайловна, облокотившись о балясину перилец и глядя вниз, на Родиона. Он увидел, что Шеринг смеялся, и подумал — как хорошо, что командующий флотилией развлекается заодно с матросами,— но не этот смех привлек его и собрал в одну горсть все его силы.

В жарком свете дня глаза и брови Варвары Михайловны казались еще темней, полосы точеных зубов — еще ярче. Смех ее — глубокий и мягкий — был отчетливо слышен в грохотавшем гоготе мужских глоток, и весь ее облик в эту минуту, на этом пароходе, высоко над головою Родиона, где-то на синем небе (выше нее Родиону видно было только небо), весь облик Варвары Михайловны представился ему таким невероятным и далеким, что он тотчас вспомнил ее, да, ее — молоденькую девушку в белом, как капитанский китель, платье, перегнувшуюся через перила палубы, над головой Родиона, точь-в-точь как теперь. Это была она,— да, да! — это она хохотала над тем, как Родион отмахивался от надоедливой мошкары, как он — разиня! — не докинул до пристани легости,— она, она!

Так вот откуда не дающая покоя неприязнь к самоуверенной манере ее держаться, к ее осанке, к деланной, презрительно-холод-

ной ее речи! Вот откуда ненависть,— о! Родион злобно ненавидел Варвару Михайловну,— откуда ненависть к ее сильным пальцам, к взгляду, к невыносимо сверкающему рту, к ее спине,— нет! нельзя было без ярости подумать об ее спине,— когда она, с немного сжатыми лопатками, скрывается за дверью — а-а-а! Вот откуда неуемная, беспокойная боль, поразившая Родиона еще тогда, много лет назад. Он вспомнил теперь всю встречу до последнего момента, когда взбалмошная девчонка кивнула ему с извозчика и он пустил ей вслед напутственное словцо. Жалко, что он не закричал тогда посильнее, чтобы она хорошенько расслышала, чтобы словцо прилепилось к ней площадным клеймом. Потому что как смела она тогда насмехаться над ним, как смеет теперь, как смеет?! Ведь Родион давным-давно позабыл жестокую обиду, оставленную встречей, бередящую, волнующую боль, и вот опять, опять, а-а-а! Поскорее бы наступил час, которого ждал Родион так долго, чтобы снова ни о чем не думать, чтобы ничего не хотеть, кроме главного, единственного и все навсегда разрешающего!

Этот час настал очень скоро: он пришел в ту же ночь.

Головное судно флотилии наскочило на мину и пошло ко дну. Взрыв был слышен на флагманском судне.

Ожидая приказа, флотилия стала.

На рассвете моторный катер и высадившиеся отряды пошли на разведку.

Противник сдавал позиции. Он начал избегать столкновений, и единственным звеном, соединявшим его с красными, были пожары. Он сжигал на своем пути все.

Течение приносило сверху обгорелые, черные остовы судов. Они взгромождались на отмели, и ветер высвистывал на их железных скелетах бесконечные песни. Местами суда скоплялись десятками, образовав на воде мрачное подобие испепеленного города — трехпалубные пароходы, дебаркадеры, буксиры и нефтянки. По ночам приплывали горящие факелами баржи. Они врезывались в исковерканный и закопченный город, освещая железные ребра пароходных корпусов, раскидывая вокруг себя горящие головни и вихри кровавых искр, потом разламывались, с шипеньем и треском угасая в воде.

А сверху надвигались новые плавучие факелы, или дымящие, потухшие костры, или обуглившиеся костяки — целые караваны обгорелых мертвецов, безмолвные и неслышные в ровном шуме береговых лесов.

Иногда корпус сожженного судна срывало с отмели течением, но, двинувшись, он тут же натыкался на мину, и его остатки быстро проглатывала вода. На крутых поворотах реки фарватер пере-

резали цепные и бревенчатые заграждения, вылавливая и накопляя множество судовых обломков, и баррикады вырастали от берега к берегу, перегораживая путь.

Все это приходило в движение как будто без участия людей — пожары догорали и гасли, обломки летели на воздух, караваны обугленных судов плыли и перемещались, баррикады образовывались и пропадали — река сама вела свое хозяйство.

И — наконец — смертоносная лента огня выплыла из притока и разлилась по реке во всю ширину. Вода несла на себе пылающий огненный покров нефти, дымчато-синий при солнце, багровый ночами.

По флотилии был дан приказ отступать.

Флагманское судно пропустило мимо себя флот и пошло последним. Суда были готовы к бою, но они плавали только по воде, а не по огню, жертвы были бы теперь бесцельны, победа все равно была достигнута, пылавшая река позади флотилии давала сигнал об этой победе.

Тогда внезапно обнаружилась ловушка, которую все время ожидали: отступление было отрезано противником. Может быть, предстоявшее флотилии дело было простой случайностью; какие-нибудь горстки белых частей, разбитые и загнанные в тупик, в отчаянии решили поискать удачи и выпустить уцелевшие снаряды по судам противника. Но на судах никто не знал ни нападавших сил, ни вражеских планов, все ждали боя, были уверены, что он придет, и приняли его по первому выстрелу.

Выстрел раздался за холмом, на повороте реки, когда суда проходили открытыми берегами. Противник виден не был. За холмом взлетали голубые клубочки дыма размеренно, не очень часто, появляясь на одном и том же месте и лениво исчезая. Пристреливались из одного орудия, стараясь образовать поперек реки завесу, снаряды падали сначала на правый берег, потом — на левый, затем стали разрываться в воде. Все суда, кроме флагманского, без повреждений прошли через огонь и — выстроившись за поворотом — стали отвечать.

Шеринг наблюдал за боем с левого по ходу судна мостика. На правом стоял командир парохода. Все было обыденно, как в будничном рейсе,— бородатый лоцман щурился на воду из-за стекла своей будки, матрос на носу булькал шестом в воде (шли тихим ходом, с наметкой), из рубки вышла на палубу Варвара Михайловна, похожая на пассажирку первого класса, и комиссар судна — Родион Чорбов, обойдя плутонги и проверив прислугу на орудиях, стал неподалеку от мостика.

И вот пароход грузно дрогнул, точно на полном ходу вползая на каменистую косу. Левый мостик странно вздернулся одним бо-

ком вверх, и оглушающий, какой-то визгливый треск кинул на палубу гребень лучистых пенистых брызг.

Мостик был наполовину оторван, начищенная телефонная труба одиноко торчала на нем, перильца изогнулись. Шеринга на мостике не было.

Одно мгновение длилась на палубе неподвижная тишина. Потом Родион сорвался с места, подбежал к телефону и рванул звонок.

— Стоп! — закричал он в телефон, сильно прижав рот к рупору, почти ткнувшись в его горящую медь и в то же время сдирая с себя куртку.— Сработай назад! Самый тихий!

Он оторвался от телефона и бросил на пол куртку. Из рупора вылетел глухой ответ:

— Есть...

Так было в раннем детстве, на Волге, когда мальчишки и девчонки прыгали с плотов в воду, вниз головой. Они выкрикивали неизменную пустую скороговорку — шырну-мырну, где вымырну?! — наскоро, кое-как крестились (кстились — говорили они) и летели вниз, разрезая воду сложенными челночком руками.

Так случилось и здесь...

Родион перешагнул через согнутые перила мостика, встал на его край, приняв ногами водосточный желобок, перекрестился и полетел в воду, держа перед собой вытянутые и сложенные вместе руки.

Если бы у него не перехватило в этот момент дыхания, он крикнул бы, наверное, памятное, детское — шырну-мырну, где вымырну?! — так быстро и бездумно кинулся он в воду, такая машинальная нечаянность была в том, что он перекрестился.

Варвара Михайловна бросилась на край мостика. Она вцепилась в перила, сжав брови, напряженно разглядывая гладкую поверхность воды. Варвара Михайловна была бледна. Она покусывала губы. Она рвала и теребила исковерканную сетку перил. Она со злобой взглянула на палубу — верхняя команда ничего не делала! Варвара Михайловна бледнела все больше и больше, куда девались слепящие свежие краски ее лица. Она насилу удержала себя от крика.

Голова Родиона появилась над водой, видно было, как он дважды глубоко вздохнул и опять скрылся.

— Лодку! Спускайте лодку! — пронзительно закричала Варвара Михайловна, отыскивая глазами командира.

Но командир уже стоял на мостике, и на корме матросы громыхали блоками, и лодка тяжело плюхнулась в воду, и круглая,

блестящая голова Родиона снова медленно вынырнула на поверхность, неподалеку от кормы.

Родион лег на спину, закрыв глаза и выставив из воды широко открытый рот, и вдруг на его груди появилось белое лицо Шеринга. Родион держал Шеринга, зажав в кулак его черные волосы, и почти без движения лежал под ним, в воде.

Когда Шеринга, подняв на пароход, привели в чувство и стало известно, что он невредим, Варвара Михайловна подошла к Родиону. Он стоял точно похудевший, с него лились ручьи, неуклюжесть его стала заметней и смешнее.

Лицо его нехорошо передернулось, как будто от неожиданной боли, ему неприятна была эта боль, и он не понимал ее. Варвара Михайловна глядела на него удивленно и боязливо. Заметив ее глаза, такие же новые и пугающие, как гримаса, которая искажала его лицо, Родион отвернулся к матросам.

— Главное — обидно,— сказал он,— если бы сто́ящий бой. А то небось замолчали, выдохлись!

Он тряхнул головой туда, откуда велся обстрел судов: там было тихо...

В этот день Варвара Михайловна, выйдя на палубу, услышала непонятный шум в каютах команды. Она спустилась вниз.

Около провиантской толпились матросы. Кто-то жалобно причитал, кто-то неразборчиво выкрикивал ругательства, матросы гудели и лезли что-то смотреть к дверям провиантской. Варвару Михайловну пропустили вперед недружелюбно и холодно.

Она увидела Чупрыкова. Он стоял на коленках перед Родионом у порога провиантской, рядом с небольшим мешком, из которого высыпался на пол сахар.

— Перед истинным богом! — захлебываясь, причитал Витька.— Некуда было положить, провиантская, сами видите, битком, пачки полукрупки некуда сунуть, не то что! Да разве я, товарищ Чорбов, могу посметь на народное имущество? Да отсохни моя рука, да я скорей...

Родион глядел на Чупрыкова в упор, поводя, словно в раздумье, головой. В руке у него был зажат револьвер.

— Товарищ Чорбов! — вдруг громко позвала Варвара Михайловна.— Вас зовет товарищ Шеринг.

Она опустила глаза и пошла прочь. Перед ней расступились. Она слышала позади тяжелый шаг Родиона. На палубе, когда Родион подошел к рубке Шеринга, Варвара Михайловна сказала:

— Нет, нет! Ко мне.

Родион вошел в ее каюту и осмотрелся.

— Вы обманули? — глухо сказал он.

— Да.

Он молча глядел на нее. Она опять казалась ему неузнаваемой, как поутру, на корме, в ней не было ни капли возмущавшего его превосходства, она должна была о чем-то просить, умолять, и он усмехнулся:

— Ну?

— Я хочу просить вас... не трогать этого... Чупрыкова... То есть не карать его... чересчур строго.

— Он кто вам?

— Никто,— сказала она, улыбнувшись.— Но я обязана ему...

— Чем? — поторопил Родион.

— Хотя бы тем, что вот... стою теперь рядом с вами.

Ага! Она опять начинает свою игру, она все еще уверена в своем обаянии, она...

— Чупрыков — вор,— резко говорит Родион.

— Он жалок и глуп.

— Он не так глуп.

— Послушайте, если Чупрыкова подержать под арестом...— начинает Варвара Михайловна глубоким, совсем тихим голосом и приближается к Родиону. Но он обрывает ее:

— Не вмешивайтесь в мои дела!

— Я прошу...

— Что значит... как его... прошу? Вы отвечаете за него?

Родион отчеканивает последние слова и вызывающе прищуривается на Варвару Михайловну.

— Да, отвечаю,— просто говорит она.

— А кто мне ответит за вас? — с торжествующей усмешкой и еще внушительнее расставляя слова, спрашивает Родион.

Конечно, ей нечего сказать! Она понимает свое бессилие. Ей остается одно: взяться за обычное, единственное свое оружие — показать Родиону, как горят темные ее глаза, какой здоровой, свежей краской залиты щеки, как сверкает приоткрытый рот и как дыхание колеблет сильные круглые плечи. Конечно! Вот она наклоняется к Родиону, чтобы придвинуть к нему свои волосы, чтобы волнующее тепло ее лица ближе коснулось его, чтобы перед его губами выговорить бессмысленные, неожиданные, мягкие слова:

— А за меня ответите вы!

А-а! Как Родион ненавидит ее в это мгновенье! С каким наслаждением он смял бы, исковеркал, уничтожил ее улыбку, чтобы никогда в жизни не видеть этого рта, этих глаз, а-а-а!

— Черт побери,— бормочет он.

Руки его нерешительно подергиваются, гримаса, впервые появившаяся утром, снова больно и нехорошо перекашивает его лицо, он забывает, о чем хотел сказать.

— Бедный,— опять слышит он мягкий голос и с натугой, злобно силится овладеть речью.

— Как его... я говорю... раз навсегда...

— Милый круглолобый человек! — шепчет ему кто-то на ухо.— Мы все время говорим не о том, о чем хочется и что нужно...

— Это — ты, ты говоришь не о том! — почти кричит Родион, и вот он что-то перешагнул, вот схватил сильное чье-то тело и — наконец-то, наконец! — дал волю своей ненасытной злобе, своей ненависти, смертному своему безумью.

КОНЦЕРТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Было хорошо жить в этом городе. Огромный и суровый, многообразный в своих частях и необъяснимо одинаковый повсюду, он холодно примирял разноречия населявших его человеческих пород. Герои и трибуны, домовладельцы и пенсионеры, рабочие, актеры, василеостровские профессора были равно терпимы его бесстрастным великолепием.

Во времена испытаний наполовину заброшенный и обветшалый город простер особую благостыню на людей чудаковатых, плохо пригодных в общежитии, людей смешных и непрактичных. Они не только не вырождались, но как будто множились, упрямо довольствуясь стойким холодом своих квартир и теми пустяками, во имя которых не хотели умирать. Почти никто из них не помнил, когда в последний раз досыта поел.

Так упорствовало в существовании племя одержимых музыкой. Раскиданное, распыленное по окраинам племя собиралось иногда в промерзлом, высоком зале, чтобы смирно разместиться на потертых стульях и слушать Скрябина. Косматые, заросшие бородами люди прилежно водили пальцами по тетрадкам клавираусцугов, отыскивая в нагромождении точек и штрихов на бумаге нагромождение звуков, носившихся по залу. Бледнолицые девушки, подняв головы и разглядывая незажженные люстры, вникали в козлиное блеяние фаготов, и глаза их медленно расширялись и суживались. Во время перерывов женщины и мужчины в курительной комнате делились, как солдаты, махоркой и утопали в сизом озере дыма, чтобы после звонка поодиночке выныривать

из озера и опять смирно размещаться на стульях. И снова трубы и тромбоны сотрясали воздух, и ударные рвали его, и струнные — распиливали, и люди слушали оркестр с такой отрешенностью от всего мира, точно каждую минуту готовы были умереть.

Среди этих людей, которым музыка заменяла все, что они утратили, и, казалось,— все, что могли приобрести, привычной стала фигура Никиты Карева.

Кое-кто помнил его по консерватории, многие узнали о нем только теперь — в тесных комнатах музыкантов, на камерных концертах, в холодном зале Собрания. Он, впрочем, был нелюдимым, о работе его слышали немногие, о нем говорили, что он из тех музыкантов, которых недовольство собой обрекает на бесплодие.

Никита сам иногда чувствовал себя обреченным. Вся его работа была случайной, второстепенной для него, словно он расчищал дорогу от мелочей, мешавших его делу, и не мог расчистить. Он хмуро, болезненно ожидал каких-то маленьких, ничтожных неожиданностей, обладавших способностью превращаться в события неизмеримо громадной внутренней силы. Без помощи таких событий он не умел работать. Они бывали потешны, он посмеивался над своей верой в них, но дорожил ими, как дорожат безделками, доставшимися от любимых людей.

Однажды, ранней зимой, он был встревожен нечаянным чувством радости, но оно оказалось мимолетным, почти мгновенным.

На Екатерининском канале Никита увидел Банковский мостик. Он видел его десятки, сотни раз прежде, и не в том дело! Он увидел его новым, как будто подмененным взглядом. В ночь перед тем выпал снег, дорога блистала глянцем белизны. Небо очистилось, синяя его завеса легко спускалась на город. И в этом сверкающем сочетании синего с белым горело золото четырех крылатых львов по концам подвесного моста. Добродушные чудовища золотом своих лап упирались в снег и золото крыльев поднимали к небу. Солнце по-зимнему весело светило на золотой снег и на синеву неба.

Никите захотелось крикнуть, сорваться с места и побежать. Так собачонка, выпущенная из горницы на волю, постояв секунду неподвижно и подергав носом, с лаем кидается мордой в сугроб и потом долго не в силах остановиться,— вертится, роет пушистый снег, до хрипоты тявкает и визжит.

И в момент такой человеческой, такой животной радости Никита с томительной болью почувствовал одиночество: во всем мире не было человека, которому можно было бы сказать о Банковском мостике, о необъяснимой прелести золотых крылатых чудовищ в этот солнечный зимний день.

Он вспомнил Анну. Год назад он узнал об ее смерти, год приучал себя к мысли, что когда-то испытанной близости не суждено повториться. Множество встреч предстояло Никите,— он верил в это,— но никогда в жизни ни одна встреча не могла бы дать ему крошечной доли той полноты, которую легко, незаметно давала Анна. Потому что одной ей мог бы сказать Никита о Банковском мостике, и одна она поняла бы Никиту и разделила бы с ним смешной, беспричинный, ребяческий восторг. И тогда — оплодотворенный ее чувством — восторг превратился бы в событие, и Никита черпал бы из него силы, как воду из ключа.

Теперь Никита был один, и никогда еще он не понимал неумолимости одиночества так ясно, так жестоко, как в минуту мимолетной радости при виде залитого солнцем веселого сочетания золота, снега и воздушной синевы. И если бы он обратился теперь к музыке,— попытка выразить эту радость оказалась бы бесплодной.

Последний раз он писал свою симфонию бурной весной, когда была прорвана осада Уральска. До Никиты доносился грохот баталии, развернувшейся на мирном стоячем Чагане, где когда-то на берегах сиживали рыболовы с удочками, а теперь решался последний спор отцов с сынами и по заводям, в чаще куги, плавали черные разводы казачьей крови.

В раскатах боя слышался голос возмездия, и опять, как в детстве, Никита испытывал покой усталости: всю неправду, казалось ему, искупила победа на Чагане, и Ростислав был отомщен ею, и какая-то неуловимая, призрачная вина Никиты перед Ростиславом была этой победой снята.

Никита мог вернуться в свой мир, в свою пылинку. Смерть Анны разрушила его покой, и Никита заблуждал среди людей, как в степи, до тех пор, пока новая весна внезапно и бурно не ворвалась в его одиночество.

...Зал был наполнен необычайной для концертов толпой, какую легче всего встретить в цирке или в окраинном театре, и пестрая разномастность людей среди холодно-строгой колоннады внушала Никите тревогу. Он пробрался в дальний угол зала, откуда хорошо был виден дирижерский пульт. Здесь, между колоннами, как и повсюду — в проходах, на хорах,— теснились слушатели. Никита ближе присмотрелся к ним. В дневные часы он привык видеть в этом зале одних музыкантов. По вечерам, на концертах, здесь собиралось племя одержимых музыкой,— чудаковатый, благоговейный народ, приходивший сюда, как в церковь на молитву.

Теперь Никиту окружало безучастие новых, непонятных лиц, и сами стены, казалось, были непонятно новы в дневном свете,

жидко падавшем из верхних окон. Никита знал, что концерт устроен для рабочих союзов, что соберется много случайных людей, но его удивило безразличие толпы к обстановке. Стоял сильный шум совсем особого оттенка, и оживление было враждебным, уличным, точно люди пришли сюда протестовать, возмущаться, искать какой-то справедливости.

Рядом с Никитой прислонились к колонне два матроса, обнявшись и приятельски болтая о каком-то вздоре. Они шелушили подсолнечные семена, аккуратно собирая в горсть кожуру. Волосы матросов были всклокочены, воротники расстегнулись и топорщились, словно по залу гулял ветер.

Никита вспомнил о Вагнере (концерт открывался увертюрой «Риенци») и пожал плечами.

Когда музыканты стали размещаться за пюпитрами, шум в зале усилился. Дирижер, подойдя к пульту, долго и терпеливо ждал тишины, и вместе с ним ждал ее Никита, чувствуя раздражение и неприязнь к неугомонной толпе.

Потом музыка отвлекла его, он стал привычно разлагать звуковые сочетания, отыскивая связь их с основным мотивом, вслушиваться в многообразно комбинированные тембры. Музыка строилась на духовых инструментах, из них преобладали медные — валторны, трубы и тромбоны, медь постепенно овладевала всеми оттенками звуков, она звенела и сотрясалась, разящая и победная, как война. Незаметно она вовлекла Никиту в свой торжествующий круговорот, вырвала его из холодного созерцания композиционных задачек и бросила в простор: он слушал музыку.

Мощь ее возрастала, но все еще была недостаточной, трубы не могли дать нужной силы, и Никита с тоской ждал, когда вздымающаяся волна звуков, достигнув вершины, разрешит напряжение.

Дирижер, обернувшись к раструбам инструментов, требовал увеличить crescendo, просил, приказывал скрюченными, как в судороге, пальцами, словно вытягивая из труб звуки.

Никита беспокойно огляделся и вдруг заметил матросов. Они выпятили всклокоченные головы вперед. Их отважные, грубые лица были возбуждены. Матрос, стоявший ближе к Никите, держал своего товарища за локоть, и Никита видел, как медно-красная рука сдавила этот локоть тисками. Оба приятеля не отрываясь глядели на дирижера и, когда музыка достигла предельной силы и начала стихать, переглянулись, глубоко, облегченно вздохнув и улыбнувшись, точно забрались на какую-то гору.

И вместе с ними Никита почувствовал счастливую легкость и после конца увертюры хлопал с увлечением в ладоши, заодно

с матросами, во всю глотку кричавшими «браво!», заодно со всей толпой, подступившей к эстраде.

Он дослушал концерт с этим чувством легкости, почти в умилении; ему давно уже не было так хорошо.

Протискиваясь к выходу, сдавленный со всех сторон толпой, Никита столкнулся с Ириной. В темноте он взял ее за руку, притянул и прижал к себе.

— Хорошо? — спросил он.

— Чудно! — ответила Ирина.

Их вытолкнули из узенькой двери на улицу, они вылетели вон и рассмеялись. Не выпуская Ирину, Никита быстро повел ее через дорогу, в сад. Люди кругом них разбрелись по сторонам шумливыми кучками, как воробьи.

— Нельзя было ждать сегодня такого концерта. И эти люди,— сказал Никита,— они так слушали. Я думал сначала, что за разговорами не будет слышно оркестра. Я не знал, что...

Он отстранил немного Ирину, посмотрел на нее мельком, хотел сказать, что она очень возмужала, выросла, и докончил удивленно:

— ...не знал, что вы ходите на концерты.

— Ну, вы вообще ничего не знаете! Папа говорит, что если он умрет, так вы узнаете из объявления в газете.

— Я все время хочу прийти к вам,— сказал Никита, улыбаясь.

— Ну, обещайте, обещайте! — воскликнула Ирина.

— Обещаю.

— Скоро?

— Очень скоро. На днях.

— Ну вот чудно! А то папа говорит, что вы превратились в мумию в своем дворце. Вы ведь живете во дворце?

— У меня такая конура, если бы вы видели...

— Но конура во дворце?

— Да.

— Там прежде держали ветошь? Да? Вот и вы...— Ирина запнулась и спрятала нос в воротник пальто.

— Я? Что я? — спросил Никита, заглядывая ей в глаза.

— Нет, я не то хотела сказать. Правда. Но ведь нельзя всегда сидеть в комнате. У вас, наверно...

Ей хотелось засмеяться, она сдержала себя.

— Вы форточку открываете?

— Г-м-м,— промычал он.

— Ну, не сердитесь! Мы с папой очень часто вспоминаем вас. Он говорит, что артисту надо жить по-другому. Что вам не надо так... прятаться.

— Я не прячусь. Я стараюсь работать.

— Ах, я знаю! Ну, как ваша симфония? — словно перебила самое себя Ирина.

— В ней все дело.

— Так почему же вы не кончаете? Папа говорит, что за два года,— с тех пор как вы переехали из Уральска,— можно было бы... И вообще — пора, как вы не понимаете? Все ждут.

Он усадил Ирину на скамейку, сел рядом и помолчал.

— Не думаю, чтобы ждали.

— Да откуда вы знаете? Вы сами выдумываете? — сердито сказала Ирина.

— Это не знание, а чувство. Вот сегодня я чувствую, что музыка нужна не только музыкантам.

— Конечно!

— Что музыку понимают все, почти все. Как было тихо в зале. И потом такой рев! Я сам кричал.

— И я,— с восхищением сказала Ирина.

— Тогда я подумал, что непременно должен писать, скорее кончить и — пусть слушают; что я не имею права молчать, если у меня есть что сказать, и я обязан всем этим людям отдать все, что имею. И мне сейчас так хочется скорее кончить!

— Ну, конечно, конечно! Вы не имеете права молчать и сидеть у себя в комнате! Ах, я на вашем месте все бы сочиняла, сочиняла...

Теперь, на скамье, Никита лучше и ближе мог разглядеть Ирину. Она говорила с серьезным убеждением, горячо и торопливо. Он видел ее рот — еще по-детски не сложившийся, мягкоокруглый, добрый и в то же время упрямый. Он вспомнил Анну,— в ней также взрослый боролся с ребенком, когда она убеждала в чем-нибудь Никиту, и он начал быстро находить в Ирине схожие черты с Анной, одну за другой, и все больше изумлялся, как велико было сходство.

— Это нельзя так, к сожалению,— все сочинять и сочинять.

— Почему нельзя? Я не понимаю. Ведь вы — композитор? Что же вам еще делать?

— Видите ли... Вот как сегодня: какой-то внешний толчок, этот концерт. Там я видел двух таких человечков, они меня поразили. Сначала грызли семечки, а потом их даже в пот ударило от музыки. Это изумительно, что музыка может такое сделать и что такие люди так глубоко все это понимают, волнуются по правде. Я увидел это и сразу понял, то есть опять понял, что стоит писать музыку. А иногда...

— Как! Неужели вы думаете, что не стоит писать музыку? — испуганно вскрикнула Ирина.

— Иногда,— улыбнулся Никита,— мне кажется: кому это нужно сейчас?

— Но ведь вы живете сейчас, а не когда-нибудь еще! И я и все живут сейчас!

— Да. Но временами такое чувство. А потом еще другое,— надо верить в себя.

— А вы?

Никита промолчал.

— Я, конечно, верю. Если бы не верил или у меня отняли бы веру, мне бы нечем стало жить.

— Так чего же вам не хватает? — чуть слышно, почти шепотом, выдохнула Ирина.

Она была в недоумении, во все глаза глядела на Никиту и даже подпрыгнула на скамье.

— Чего не хватает? Есть такие ключи, которые замерзают на зиму, перестают бить. Где-то в глубине вода накопляется, а на виду иссякла. Приходит тепло — ключ опять бьет. Веру надо побуждать к действию, иначе она — как такой родник.

— Без... тепла?

— Без тепла или — не знаю без чего. Да я скажу, как со мной. У меня был один человек, близкий друг. Полный, настоящий. Он меня слышал, как ночью слышишь всякий шорох. А вот когда я говорил, что у меня все плохо и никуда я не гожусь, потому что — какой я музыкант? — и что я дрянь вообще, тогда этот человек все до последней пясточки чувствовал. А что же больше нужно? И не так, что переубеждал меня, тут переубедить нельзя. Но перестраивал меня всего незаметно. Я сам не понимаю, как это выходило. Просто — выслушает, или даже не выслушает, а чем-то прислушается. И у меня сразу ко всему вкус, как после тифа — к еде. Теперь я думаю, что бывало даже проще: самое существование этого человека давало мне все — и веру и силы... У меня была уверенность, что мне нечего бояться, потому что ошибки, или провалы, катастрофы — что хотите — я всегда пересилю с этим человеком. Это и было нужно.

— А где... этот человек?

— Он умер. То есть это глупо вышло... нет, не так... одним словом, я когда расставался с ним, надеялся опять встретиться. Было такое время. Я прожил больше года, и очень хорошо все было... Ну, я не считаю плохого по-другому: смерть брата, война. Это все мне много дало, особенно как-то. Я даже больше работал. Но все рассчитывал на проверку моих дел этим человеком, на отчет. То есть не по музыке, а по всему. Музыка ведь — плод

всего, и все-таки — часть. Все ждал, что вот встречусь, погляжу только, обменяюсь взглядом и — все хорошо. Ты верил? — вот смотри, как я жил. И какое счастье! А вышло не так... Словом, я узнаю года полтора назад, что этот человек умер, и я даже не знаю хорошо, как и от чего. Может быть, и не умер?

Никита растерянно улыбнулся. Ирина отодвинулась от него.

— Это... была женщина? — спросила она.

Он ответил не сразу:

— Да, женщина.

Она молчала. Он пристально рассматривал ее с ног до головы и вдруг с горячностью добавил:

— И вы на нее страшно похожи, Ирина!

Она быстро отвернулась.

— Ну?

— Этого вы могли бы не говорить! — расслышал он сдавленный голос.

— Ирина! Что такое? Вы... Ну, ради бога, Ирина!

— Пожалуйста, не вздумайте, что я обиделась на ваше сравнение. Не воображайте.

Вдруг, круто обернувшись, она уставилась на него в упор. В глазах у ней блестели слезы, голос ее обрывался, она делала страшные усилия, чтобы сдержать себя:

— Я вовсе не обижаюсь. И не за что обижаться. Мне просто стало жалко эту вашу... вашего друга... И даже совсем не ее... не его!.. А мне жалко вас, что вы... заставляете себя жалеть... когда вы должны быть сильный, сильный, сильный!

Она выкрикнула последние слова, пристукивая кулаком по скамейке, и снова резко отвернулась от Никиты.

Подняв брови, Никита долго смотрел на нее, удивленный и точно обрадованный. Потом он притронулся к ее руке.

— Я не жаловался, Ирина. Я хотел объяснить. И вовсе не нужно жалеть. Я уже научился ценить жизнь со всеми утратами. Ведь это тоже жизнь — утраты. И я знал, что без них я не был бы тем, чем должен быть. Я принимаю их. Понимаете? Но ведь...

Он наклонился, чтобы увидеть лицо Ирины, попробовал повернуть ее к себе, крепче взяв за руку.

— Но ведь это мало — одни утраты. И нужно иметь еще что-нибудь. Все равно, как назвать это,— радость, участие, любовь. Я об этом и говорил. Такое чувство, чтобы постоянно был уверен, что ты необходим и твое дело, твой труд так же необходимы, как твоя жизнь. Вот...

— Вы точно просите о таком чувстве,— быстро перебила Ирина.— Чтобы у вас такое чувство было.

Она опять повернулась к Никите.

— А вы должны требовать! Понимаете? Требовать! — воскликнула она.— Потому что вы такой человек, такой... который... вы сами не знаете, какой вы. И вы не смеете просить! Вы сами избегаете всех, а потом говорите. А вас все любят. Не возражайте, пожалуйста,— я знаю! Вы ничего не видите и не понимаете. Папа вас ужасно любит, и... И вообще...

Она выпалила всю эту кучу слов одним духом, жарко, торопливо жестикулируя. Дыхание ее было коротко, часто. Никита снова вспомнил об Анне — Анна, совершенная Анна! — и засмеялся.

— Ничего смешного нет,— оборвала его Ирина.— Если бы вы действительно искали... ну, как это? Поддержки или... вообще то, о чем вы говорили, то давным-давно нашли бы.

— И мне не пришлось бы далеко ходить? — спросил он ласково.

Она промолчала.

— Ну, давайте подружимся,— сказал он.

— Я не хочу, чтобы вы так... И вы не должны смеяться, не должны! Я говорю совершенно серьезно, и вы не смеете издеваться. Пойдемте.

— Ирина...

Она встала и пошла прочь, по аллее. Он поглядел ей вслед: Анна перед ним шла, Анна. Он не мог удержаться, чтобы еще и еще раз не повторить это имя, и бросился за Ириной. Он взял ее под руку и прошел несколько шагов молча, огибая сад по круглой аллее вдоль решетки.

Порывом ветра распахнуло пальто Ирины, и подол ударил Никиту по коленке. Он с физической остротой припомнил далекое, счастливое чувство, с каким он шел рядом с Анной по набережной Эльбы, против ветра, в молчании, ощущая в своей руке сквозь материю тонкую округлую руку Анны. Он сильнее сжал локоть Ирины.

Она взглянула на него, и губы ее дрогнули.

— Значит — мир? — спросил тихо Никита.

— Я не думала сердиться или обижаться. На вас вообще нельзя обидеться, потому что вы... все делаете так, как надо, и просто не понимаете меня. И себя.

— Поверьте — понимаю, и вижу, что...

Она не дала ему договорить.

— Погодите. Я хотела сказать, что я знаю, как вам трудно. И это должно. И я тоже это знаю. Но, по-моему, в жизни самое приятное — достигать. Когда задумаешь и сделаешь. И вы должны скорее сделать.

— Вы мне могли бы помочь?

— А что вы думаете? Я — сильная! — убежденно воскликнула Ирина.

Он остановился от изумления. Ирина говорила как взрослый, но почему она казалась ему ребенком? И почему ребенок в ней волновал его больше, чем взрослый?

— Ну, что? — спросила она, не понимая, зачем он остановился.

— Я вижу, что вы — сильная,— проговорил он медленно.— Поэтому я и сказал...

Но она опять задорно прервала его:

— И ничего особенного нет. И вообще... вы напрасно мне говорили об этом... обо всем... Я и без сравнений поняла бы, чего вам не хватает... Не провожайте меня, я хочу пойти одна. Нет, нет, не провожайте, пойду одна!

Она лукаво помолчала и договорила нараспев:

— Я хочу подумать о вас, а вы мешаете. До свидания. Ступайте, я не хочу, чтобы вы смотрели на меня.

Он сжал ей руку и повернулся, но Ирина остановила его внезапным громким смехом:

— Как вы похожи на папу! Ха-ха-ха! Ну, точь-в-точь! И такой же сутулый, и такой же смешной!

Она побежала через дорогу, все еще смеясь, потом обернулась и крикнула:

— Не сердитесь! Вы — милый! Приходите скорей, я жду!..

На одну секунду Никите сделалось обидно и горько. Он выпрямился. Неужели и правда он похож на брата? Возможно ли, что он так постарел? И не потому ли Ирина казалась ему ребенком?

Но в следующий момент его наполнил приток обновленного, жизнерадостного здоровья, и торжествующий звон меди, который незадолго он слышал в зале, зазвенел в его памяти.

Он вернулся в сад и сел на скамью, расстегнув пальто. Но нет, он не мог сидеть. Он встал. По пустынной аллее, между оживавших деревьев в запахе оттаявшей земли, овеянный этим свежим, жирным запахом, Никита быстро сделал два круга. Но нет, он не мог, ему не хотелось бродить бесцельно. Он вышел из сада, миновал Михайловскую и вскочил в трамвай. Он думал обогнать Ирину и еще раз взглянуть на нее. Как школьник после первого свиданья, он хотел увериться, еще один раз увериться, что свидание действительно было.

На углу Литейного он долго ждал Ирину, но напрасно.

В праздничной толпе ему попалась на глаза большая круглая голова матроса, показавшаяся знакомой. Он пристально вгляделся. Тогда матрос, по случайности, встретил его взор и тоже со

вниманием начал рассматривать Никиту, стараясь что-то припомнить. Шумная ватага вскоре оттеснила их друг от друга, и Никита решил, что это был один из матросов, так поразивших его на концерте. Но лицо матроса на минуту обеспокоило его и несколько раз промелькнуло в памяти, как слово, смысл которого тщетно вспоминается. Потом мимолетная встреча забылась.

Никита выбрался из толпы на Фонтанку и пошел домой, довольный, подчиненный чувству легкости, в каком протекал день.

Войдя к себе в комнату, он сбросил пальто, постоял в раздумье и вдруг улыбнулся. Он отыскал столовый нож и, забравшись на подоконник, усердно принялся отскабливать замазку от зимней оконной рамы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нет, право же, иной раз неизвестно почему приходит грусть. Казалось бы, все хорошо. Обычно и без волнений прошел день. Усталость не очень велика. Нет никаких особо спешных дел, а те, что есть, не требуют ни напряжения, ни сил. Уж несколько недель — а может быть, и месяцев — не случилось ни одного несчастья, которое напомнило бы о том, что скоро твой черед — болеть, прощаться с близкими, уходить. Все хорошо. И вот...

Вот доктор Карев, Матвей Васильич. Вот в сумерки он возвратился из больницы, вошел в переднюю, спросил:

— Не ждут?

Нет, на этот раз в приемной ни души, никто не ждет. Прислуга помогает Матвею Васильичу раздеться, стащить калоши (задник снялся, но вытащить носок без помощи нельзя,— калоша гнется).

— Протекает, мокрая,— говорит прислуга, подымая калошу подошвой кверху, повыше, чтобы видел доктор.

— Разве? — удивляется он.— Надо новые.

Он вытирает платком усы, достает папиросницу, закуривает, идет к Ирине.

Комната дочери пуста. Сумерки неслышным потоком вливаются с улицы. Матвей Васильич различает постель, раскрытую книгу на столе, мохнатого белого сибирского кота, свернувшегося калачом около печки. Кот спрятал морду под хвост.

«К холоду»,— думает Матвей Васильич, и ему правда становится прохладно. Несколько минут он глядит в окно, поглубже заложив в карманы руки, пожевывая мундштук папироски. Видно, как на противоположной стороне улицы дворник, забравшись на каменную тумбу, тянется к электрическому выключателю. Дворнику неудобно, тумба очень низка, надо бы принести лесенку,

но торопиться некуда, можно долго, не спеша топтаться на тумбе, подбираясь рукою по стене к выключателю. Желтые цифры вспыхивают на фонаре, желтый снопик света падает на дворника. Он спрыгивает с тумбы, без цели стоит неподвижно, потом вразвалку удаляется под ворота.

И Матвей Васильич так же, как дворник, неторопливо удаляется от окна. Он выкурил папиросу, совсем изжевал мундштук и, проходя по приемной, бросает мокрый окурок у камина на пол.

В столовой Матвей Васильич приостанавливается около двери жены. Из ее комнаты слышны голоса. Доктор хочет угадать по ним, кто пришел к жене, но не может и бредет дальше, коридорами, в кухню.

Там пахнет тушеной капустой, чадно кружатся над плитой спирали пара и дымков, вдохновенно трясет кухарка чугунную жаровню.

— Не знаете, куда ушла Ирина? — спрашивает Матвей Васильевич.

— Заходили Никита Васильич, барышня с ними и ушли. А далеко ли — не сказали.

— Обед готов?

На секунду как будто застывают над плитою спирали пара, кухарка перестает трясти жаровню, смотрит с изумлением на доктора, но он уже отвернулся и — сгорбленный — уходит в коридор и новую закуривает папиросу.

«Сам звал его ходить почаще»,— думает он о себе и Никите и возле комнаты Софьи Андреевны опять останавливается, опять прислушивается к голосам и снова никого не узнает.

«Все новые и новые люди»,— приходит ему на ум, и еще медленней, неторопливей он идет к себе.

На кожаном просторном диване, привалившись к подушке, он сидит, одинокий, большой и неясный, с закрытыми глазами, раскинув руки, позабыв о потухающей папироске.

Что-то обидное кроется в одиноком пребывании доктора, профессора Матвея Карева, у себя в кабинете. Почему он один, совсем один в своем большом семейном доме, один в этот сумеречный час? Конечно, он мог бы зайти к жене, Софье Андреевне. Она поднялась бы со стула и пошла бы навстречу Матвею Васильичу, с улыбкой говоря:

— Ты уже пришел? У нас к обеду гости. Вот познакомься, пожалуйста...

И она представила бы мужу какого-нибудь актера или певца.

Но Матвей Карев в улыбке жены заметил бы знакомую растерянность, и голос Софьи Андреевны показался бы ему чуть-чуть фальшивым. Она хотела бы сказать о другом, о том, как вот этот

актер или певец хвалил ее театральное дарование, как, вместе с нею, он жалел о ее таланте, который несправедливо замолчали. Ведь еще Савина (ах, как это забыть?!) когда-то, при свидетелях, сказала: «Софья Андреевна, позвольте мне назвать вас Соней, вы — душка, Соня, и у вас такие способности!..» Но это сто раз слышал Карев, и Софья Андреевна, улыбаясь, быстро отыскала бы новую тему и с виду ласковым, непринужденным голосом спросила бы:

— Ну, как твоя больница?

Нет, лучше не ходить к жене. Лучше подождать. Подождать безболезненной, удобной минуты, когда наконец можно будет подойти к Софье Андреевне наедине, просто взять ее поблекшую руку и сказать:

— Ты напрасно думаешь, Соня, что у тебя погибло театральное дарование, что мое имя, мое докторское имя как-то затмило его, помешало ему развиться. У тебя не было дарования, милая Соня. И Савина была чересчур добра к тебе, потому что я ее лечил. Ведь к тебе добры все мои пациенты. Мы люди немолодые, пора перестать обманывать себя. Нам будет легче, если ты перестанешь подозревать во мне губителя или завистника твоих успехов. Вот так, Соня...

Такая удобная, безболезненная минута еще не настала, и Матвей Васильич неподвижно сидит у себя на диване в глухом одиночестве, и ему обидно и грустно от одиночества, от сумерек, от того, что нет дома Ирины и не с кем перемолвиться словом.

Он видит себя оставленным, забытым, умирающим. В последнюю минуту он хочет, чтобы к его лицу притронулась Ирина. Но ее нет, он один, темнота застилает ему взор. После Матвея Васильича остается имя профессора Карева. Спустя недолгое время имя это гаснет, позабывается, и его можно прочесть только в старых книгах и на могиле.

Матвей Васильич вдруг вспоминает надгробную плиту, которую он видел на Смоленском тракте. С трудом разобрал он на ней позеленевшую надпись:

ПРОХОЖИЙ, СТОЙ!
ГЕРОЯ ПОПИРАЕШЬ!

Матвей Васильич прерывисто вздыхает, слеза блестящей ниточкой обводит его прикрытые веки, он думает, что теперь уже не пишут на надгробиях эпитафий, и ему становится еще обидней.

Ирины нет. Он, доктор Карев, отлично понимает, что происходит с дочерью. Он хорошо знает этот возраст, Ирина должна, неизбежно должна куда-то уйти. Наступают сроки. Но как примириться с неизбежными сроками отцу? Не доктору Кареву, а ему —

Матвею Васильичу, как примириться с тем, что от него уходит дочь? Не просто какая-нибудь семнадцатилетняя девушка, а его дочь, родная дочь, Ирина? И зачем ее уход ускоряет Никита? Брат должен был бы подумать об ответе, который он берет на себя не только перед Ириной, но и перед ее отцом. Зачем он уводит ее из дому? Зачем торопится пробудить в ней новые чувства? Сумеет ли он отозваться на них, если они возникнут? Неужели ему не пришло на ум, что он — Никита — не так молод, что он годен Ирине в отцы, что, наконец, Ирина — его племянница...

Матвей Васильич вздрагивает, когда в передней раздается звонок, решительно сбрасывает с себя дремоту и разжигает папиросу.

«Если это Никита,— думает он, направляясь к передней,— я скажу ему все. Я — старший брат, я — отец. Он обязан выслушать меня. Я самым энергичным образом...»

Он открывает дверь, и к нему бросается Ирина.

— Какая прелесть на улице, папа! — кричит она, обнимая отца, и тут же сразу расстегивает пальто, срывает с головы шляпу, кое-как приглаживает растрепавшиеся волосы.— Какая прелесть!

Матвей Васильич дает себя поцеловать, пятится в гостиную и, нахмурившись, бурчит:

— Какая уж прелесть! Вон я притащил полные калоши грязи...

Он возвращается в кабинет. Ему кажется, что Никита нарочно не зашел с Ириной в дом. Что брат сторонится его. Что Ирина уже научилась скрывать какие-то тайны. В нем вспыхивает нелюбовь к Никите, и он с размаху кидает горящую папиросу на пол и топчет подошвой рассыпавшийся огонь.

Всего один раз и на одну минуту Матвей Васильич испытал трогательную нежность к Никите, освободился от давящего чувства нелюбви, готов был простить своему брату все, даже — Ирину.

Это случилось на первом большом концерте Никиты, почти год спустя после того, как брат начал встречаться с Ириной. О симфонии Никиты Карева музыканты говорили много и спорно; до Матвея Васильича доходили отголоски похвал, брани, и он скептически ожидал концерта. Ирина была на генеральной репетиции, вернулась домой взволнованная, усталая, ничего толком не могла рассказать, все что-то начинала, не договаривала, бросалась от одного к другому.

«Провалится»,— решил про Никиту Матвей Васильич, и ему стало почему-то приятно.

Но концерт оказался неожиданностью не только для Матвея Васильича.

Начать с того, что зал был полон. Горели четыре люстры из шести, и это само по себе свидетельствовало о чем-то исключительном, как первый магазин после гражданской войны; до концерта Карева зажигалось не больше двух люстр над оркестром.

У Софьи Андреевны, очень торжественной и возбужденной, в первых рядах кресел нашлись знакомые певцы, музыканты, актеры, и она сияла. Неподалеку от Каревых сидел, не шевелясь, старый композитор, громадный, бесстрастно-тяжелый, подобный Будде.

Матвей Васильич с досадой видел, как в руках Ирины дрожал листочек с программой концерта, и старался сесть поглубже в кресло, чтобы стать незаметней: все-таки имя Карева подвергалось в этот вечер большому испытанию. Но Софья Андреевна неустанно подводила к мужу знакомых, и Матвей Васильич должен был вставать, пожимать руки и говорить, ухмыляясь:

— Спасибо. Рано еще поздравлять: вдруг провалится.

Никита выступал как композитор и дирижер. Он быстро вышел на эстраду. Он был бледен и показался Матвею Васильичу стройнее, выше ростом, моложе своих лет — в новом, неожиданно странном своем костюме.

— Смотри, как сидит на нем фрак! — шепнула Софья Андреевна, но Матвей Васильич не отозвался.

Встретили дирижера холодно. Хоры молчали, хотя из кресел видно было, что наверху народу немало, особенно над эстрадой. Скорее обычного зал притих, и в этой преждевременной тишине Матвею Васильичу послышалось затаенное злорадство. Он еще раз мельком взглянул на дочь, увидел, как она вытянулась к эстраде и впилась остановившимися глазами в спину Никиты, и опять решил: провалится!

Оркестр вступил хорошо и сначала легко, без затяжек держал сложный темп. Но вскоре проскользнуло разногласие между игрой музыкантов и требованиями дирижера, и до конца первой части Никите не удалось совладать с оркестром. Во время паузы на хорах кто-то буйно захлопал в ладоши и сейчас же оборвался, так что еще больше увеличил неловкость, которая чувствовалась в зале.

— Не вышел бы скандал,— пробурчал Матвей Васильич, но Ирина посмотрела на него в таком испуге, что он решил молчать, что бы ни произошло.

Когда исполнялась вторая часть симфонии, Матвей Васильич незаметно для себя впал в тихую примиренность. Никита держался лучше, спокойнее, уверенней. Музыка представлялась Матвею Васильичу родной, очень теплой и понятной (он никогда не понимал музыки). Закрыв глаза, стараясь вслушиваться в одни

скрипки, он думал, как хорошо было бы, если бы концерт удался, если бы имя брата нисколько не умалило прославленного имени профессора, доктора Карева. А то начнут все кругом спрашивать: «Ах, это ваш брат, который... ну, музыкант?» И надо будет всякий раз улыбаться, признавая, что, мол, в семье не без урода. Вряд ли, однако, провал может быть очень конфузным. Ведь выпускали Никиту музыканты, грамотные люди, слушали, поди, понимали, что делают. Да и Никита тоже не дурак,— не полезет же он срамиться перед публикой. Вон как тоненько выводят скрипки, и складно все так — одно к одному, и как будто — ново, свежо. Черт их, конечно, разберет, музыкантов. Найдут этакую закавыку, придерутся, раздуют — слыхали, мол, у того и у другого. Да и публика тоже! Не всякий, поди, разберется, как разбирается Матвей Васильич, что вот хорошо, славно поют скрипки. Ах, как славно, спокойно! Так бы и слушал Матвей Васильич, так бы и слушал...

И вдруг его встряхивает какой-то треск. Он открывает глаза, смотрит на оркестр. Дирижер опустил руки, скрипки лежат на коленях скрипачей, музыканты перелистывают на пюпитрах ноты. Неужели Матвей Васильич вздремнул? Ах, эта вечная усталость!

Но как, однако, гремят на хорах! Да и не только на хорах: в креслах, где сидят завсегдатаи концертов, музыканты. Никита должен обернуться лицом к публике, сделать поклон. Матвей Васильич едва узнает брата. «Прямо — орел!» — думает он и сам принимается хлопать в ладоши.

Софья Андреевна, раскрасневшись, оглядывается по сторонам. Знакомые певцы и актеры оживленно переговариваются, а старый композитор пошевеливает губами, словно в раздумье жует сигару. Эти таинственные знаки Софья Андреевна понимает как одобрение и беспокойно ищет слов, чтобы выразить свои чувства. На ум ей приходит когда-то поразившее восклицание театрального рецензента, и она упоенно произносит:

— Лед сломан!

Матвей Васильич кивает в ответ жене:

— Да, да. Да, да.

Ирина сидит неподвижно, крепко держась за поручни кресла. Матвей Васильич хочет сказать ей что-нибудь, дотрагивается до ее пальцев. Они холодны, как снег, и от прикосновения теплой руки отца Ирина вздрагивает.

«Здорова ли она?» — думает Матвей Васильич и косится на дочь.

Но зал притих, скрипки снова навевают успокаивающую теплоту, и все хорошо, хорошо, хорошо! Какое благородное искусство — музыка! И почему Матвей Васильич так редко посещает

концерты? Конечно, не на каждом концерте услышишь такую музыку, как эта симфония Никиты. Возвышающая, благородная, а главное — русская, настоящая русская музыка. Да и как могло быть иначе? Каревская кровь сказалась! Как он — Матвей Карев — настоящий русский доктор, так и его брат, Никита,— настоящий русский музыкант. В этом, да, в этом сказалась кровь, в этом Никита поистине — кровный брат Матвея!

Матвею Васильичу хочется кашлянуть, в горле что-то щекочет, першит. Он вытягивает из кармана сюртука за уголочек платок и вытирает глаза. Через минуту в платке опять наступает нужда, и Матвей Васильич уже не прячет его в сюртук, а держит зажатым в кулаке и изредка подносит к лицу.

Настоящая, главное — настоящая русская музыка!

В четвертой части симфонии Матвей Васильич различает какой-то могучий бурный призыв и видит себя окруженным толпою людей, размахивающих руками. Он должен куда-то вести этих людей, и выступает бодро, молодо, уверенно. Он растроган своей силой, это — счастливейший момент его жизни, он ликует, светло и буйно на его душе, и никогда не хотелось так плакать, как сейчас.

И Матвей Васильич, правда, дает волю своему чувству, и слезы ползут по его морщинистым щекам и скромно прячутся в усах.

У эстрады, среди поднявшихся с кресел людей, Матвей Васильич не только не теряет умиленных и ликующих чувств, но ему кажется, что толпа, которую он ведет за собой, несметно выросла, и бодрость, молодая бодрость во всем его теле, и он кричит сначала вместе с залом:

— Браво! Браво! Карев, браво!

Потом, совсем вплотную к подмосткам, у ног дирижера, просто:

— Никита! Молодец! Никита, браво!

Софья Андреевна, рядом с ним, нервно и бойко всплескивала ладонями. Ирина, точно опомнившись от страшного испуга, прижимала руки к горящим щекам,— он ничего не видел, он только тянулся к брату, кричал: «Никита, Никита!» — и длинные фалды его сюртука смешно взлезали на эстраду.

Оркестр поднялся, скрипачи постукивали смычками по пюпитрам и нижним декам скрипок, Никита тряс руку первому концертмейстеру, и концертмейстер снисходительно-вежливо улыбался, и служитель подносил дирижеру не слишком пышный букет цветов. Зал был тронут подношением и великодушно усилил шум.

— Нет, это уже больше чем успех! — воскликнула Софья Андреевна, увлекая за собой мужа.

Они протиснулись за колонну.

Коридором людей Никита в последний раз вышел на эстраду поклониться и возвратился в артистическую комнату. Здесь, за тяжелой занавеской, его ожидал старый композитор.

Он чуть приподнял над своим животом вялую руку и безмолвно дал ее Никите пожать. Вероятно, это означало решительную похвалу, потому что следом за композитором к Никите протянулся добрый десяток рук, и дирижер стал переходить от одних объятий в другие, пока не попал в самые горячие, сильные и неудобные руки брата.

— Ну, Никита,— вздохнул Матвей Васильич, расцеловав брата,— спасибо! Спасибо!

Не выпуская Никиту из объятий, он несколько секунд вглядывался в его глаза, потом еще раз облобызался с ним и потряс головой.

— Перевернул ты меня! — тихо сказал он.

Так они постояли немного, раскрасневшиеся и мокрые, один — от слез, другой — от пота, обильно падавшего со лба.

— Вы прямо потрясли нас! — дрогнувшим голосом пролепетала Софья Андреевна.

Никита успел сказать:

— Я как будто совсем оглох. Ничего не слышал под конец. У меня в глазах колонны мелькали снизу вверх, как смычки.

К нему подходила Ирина. Он сжал ее пальцы, они были холодны и влажны.

— Ну, что я говорила? — сказала она с торжествующей улыбкой.

— Я сам не ждал,— ответил Никита.— Это от вас?

Он показал на цветы. Букет основательно пострадал от восторженных бестолковых объятий и поздравлений.

— Нет. Но я страшно зла на себя, что не догадалась. Давайте сюда, я подержу, а то они превратятся в веник.

Она взяла у Никиты цветы. В этот момент ее почти оттеснила высокая женщина с покатыми, сильными плечами, и она услышала глубоко-певучий и полный голос:

— Вот вы где, Карев! Здравствуйте, дорогой. Не думали? Я всегда — как снег на голову! Поздравляю, прекрасно! Я сегодня простила вам и фугу, и контрапункт, и даже то, что вы меня жестоко обманули! Все, все!

Ирина видела, как смущение и растерянность промелькнули на лице Никиты, потом он овладел собой, но ей показалось, что его поразило какое-то особое, сокровенное чувство, когда он — обрадованно и неловко — здоровался с женщиной.

— Обманул? — спросил он с удивлением.

— Забыли? Неужели забыли? — воскликнула женщина.— Ах, Карев, как мало вы думали обо мне! На моем месте всякий другой возненавидел бы вас.

Она громко засмеялась и весело продолжала:

— А я, как дура, все вам прощаю. Ну, припомните, припомните! Что вы мне обещали в последнюю встречу в Уральске, а? Ведь вы хотели остаться, а сами... Ну, ладно. Ради вашей музыки я готова бог знает на какое унижение, ха-ха! Право, очень хорошо, Карев!

Она говорила без передышки, голос ее сильно раздавался в высокой комнате, и все кругом притихли, стали незаметней, бледнее. Ирина мгновенно разглядела все черты этой женщины,— густой и тяжелый узел темных волос, какую-то сверкающую белизну шеи, всю яркость и здоровье лица, прямоту взгляда и надменный росчерк бровей.

— Нам пора идти,— коротко проговорила Ирина, подходя к отцу.

Но Матвей Васильич был чересчур растроган, чтобы сразу двинуться с места и покинуть окруженного восхищением Никиту. И сама Ирина, сказав, что пора уходить, ждала чего-то, глядя по очереди на Никиту и незнакомую женщину и нетерпеливо сжимая в пальцах помятый букет.

— Я не буду задерживать вас, Карев,— говорила женщина,— мы увидимся скоро, не правда ли? Я только хочу...

Она обернулась и, не замечая никого, через плечо Матвея Васильича позвала:

— Родион!

Родион оторвался от занавески. Грузно расставляя ноги, он подошел к Никите.

— Это мой муж. Вспоминаете?

Никита улыбнулся.

— Я, кажется, видел вас на улице. Давно уже. Я узнаю по голове. Родион, тот самый Родион?

— Тот самый,— баском ответил Родион и прищурился на Никиту.— И я вас узнал бы. Вы, как это...— Он не нашел слова и неопределенно повертел перед собой рукой.

— Варвара Михайловна, давно ли? — спросил Никита.

— Это другой разговор. И до другого раза. Вас ждут.

Она бегло взглянула на Ирину.

— Я очень, очень рада, Карев! До свидания!

Тронув за руку Родиона, она исчезла так же стремительно, как появилась, и Родион пошел за ней поспешно, едва тряхнув головой Никите.

Матвей Васильич с удовольствием вспомнил о лососине, ко-

торую прислал знакомый пациент, о накопившихся в буфете бутылках и — все еще растроганный, мягкий,— простовато потрепав Никиту по спине, заявил радушно:

— По такому поводу хорошо посидеть в компании. Ты бы, Соня, позвала кого-нибудь из знакомых, поедем.

— Извини меня, Матвей,— сказал Никита,— я обещал встретиться кое с кем из музыкантов, и лучше...

— Да ты тащи своих музыкантов ко мне! — перебил Матвей Васильич.— Чай, не весь оркестр,— места хватит.

— Как ты не понимаешь, папа,— вдруг вспыхнула Ирина,— что он занят? И гораздо лучше когда-нибудь еще. Занят — и занят!

Матвей Васильич посмотрел на дочь. Она стояла, отвернувшись от Никиты, брови ее были сжаты, глаза сузились, и больше, чем всегда, в ней проявилось сходство с мулаткой — ее собственная, не унаследованная черта.

Матвей Васильич раскашлялся, полез в карман за портсигаром.

— Пожалуй, верно, мы не будем тебе мешать сегодня, Никита,— хрипло сказал он, с усилием преодолевая кашель.— Это надо обставить как следует. В другой раз. Пошли? — спросил он у Ирины.

Он опять обнял брата, но как-то наспех, даже небрежно, слегка прикоснувшись лацканами сюртука к Никитиному фраку, и, ссутулившийся, усталый, пошел к выходу.

Ирина дала матери проститься с Никитой, потом быстро придвинулась к нему, сунула ему в руки букет и одним духом прошептала:

— Держите ваши противные цветы!

Один момент она смотрела в его глаза, точно готовясь проговорить что-то сокрушающее и злое, у нее дрогнул и затрясся подбородок, и вдруг, сорвавшись с места, она кинулась за Софьей Андреевной, широко, с разбегу распахнув тяжелую занавеску над выходом в зал.

Никита в недоумении протянул вслед Ирине руки, но его окружили уже музыканты, и спустя минуту он пробирался вместе с ними по сумрачным, узким коридорам.

Два человека преградили ему дорогу на лестнице. В умиравшем свете лампочки он насилу разглядел их. Один был низкорослый старикашка в долгополом пальто, похожий на евреев, каких Никита встречал в детстве около синагоги, на Староострожной. На другом поблескивали большие очки, за стеклами которых то разрастались, то скатывались в крошечные блестящие шарики черные глаза. Серебряные кольца кудрей сыпались из-под широкой шляпы на воротник.

— Гольдман,— произнес кудрявый.

— Гольдман, Яков Гольдман,— поторопился объяснить старик.— Яков Гольдман с отцом.

Он показал себе на грудь согнутым большим пальцем.

Никита шагнул назад.

— Боже мой, какой день! — пробормотал он.— Яков Моисеевич, неужели это вы?

Яков Моисеевич снял очки и поднял лицо к свету.

— Ну? — спросил он, расплываясь в улыбку.

Никита притянул его к себе. Пока Яков Моисеевич обнимался с ним, старик суетливо дергал его за плечи и рукава. В этот момент чуть уловимый, неясный запах клейстера напомнил Никите осеннюю ночь, порывистые слова переплетчика и его холодную, жесткую бороду. И первая бушующая радость, которую когда-то дала ему музыка, с неудержным ликованием заново разлилась по его телу. Только теперь он опомнился после концерта.

— Я с нетерпением ждал, когда вы выступите, и нарочно не показывался вам,— сказал Яков Моисеевич.

— О, Яша так волновался! — воскликнул его отец.

— Яков Моисеевич, милый, а где вы теперь?

— Я? Я в кино. Маэстро в обыкновенном кино...

— О, Яша в великолепном кинематографе! — опять заспешил старик.— Это прямо палас!

— Да что я! — встрепенулся Яков Моисеевич.— Я вполне счастлив: я сделал свое дело.

Он ударил Никиту ладонью по плечу и выкрикнул прочувствованно:

— Вот мое дело!

— Вот дело Якова Гольдмана — Никита Карев! — повторил жест сына переплетчик.— Это он всегда говорил, мой Яша!

Он любовно, по-стариковски горделиво поглядел на своего Яшу и на Никиту Карева и, понизив голос, добавил торжественно:

— И мы с Яшей решили: я переплету партитуру симфонии Никиты Карева в настоящий сафьян, как до войны, тисну золотом на уголках лиру и поднесу вам эту замечательную работу. О, я еще не совсем инвалид и прекрасно могу делать мое старое дело! Мы так решили!

И опять, как почти двадцать лет назад, переплетчик ткнулся жесткой бородой Никите в щеку. И опять — расставаясь с ним — Никита почувствовал, как он любит этого маленького, живого человека, как любит его сына — учителя, скрипача Якова Гольдмана, как любит всех людей и весь обольстительный, необъяснимо прекрасный мир.

Надо было идти: целая толпа музыкантов ждала Никиту. Мо-

жет быть, он не пошел бы с ними, если бы знал, как проведет этот вечер Ирина.

...Она сидела с отцом, положив голову ему на колени. Он прислушивался к ее дыханию, изредка сурово прикрывая утомленные глаза.

— Без причины, так вот — ни с того ни с сего — ничего не случается,— проговорил Матвей Васильич.— И ты напрасно перестала говорить мне, что тебя занимает, делиться со мной — чем ты живешь. Напрасно.

Он досадно вздохнул.

— Рано тебе иметь тайны. Ни к чему хорошему они не приведут.

Ирина подняла голову, поправила волосы, сказала:

— Какой ты, папа... Никаких тайн у меня нет. Я просто... На меня всегда действует... музыка... Это пройдет. Надо выспаться, правда, правда!

Она попробовала засмеяться и нагнулась к Матвею Васильичу, чтобы поцеловать его, но он не поддался ласке.

— Тебя обидел кто-нибудь? — тихо и настойчиво спросил он.— Может, Никита?

— Ты ничего не понимаешь! — воскликнула Ирина, вырывая у отца свои руки.— Никита — прекрасный, прекрасный! И мне нет до него дела! Я одна виновата, что я такая... и здесь никто ни при чем! Покойной ночи!

Она вдруг закрыла лицо и вышла из кабинета, оставив открытой дверь.

— Так,— сказал Матвей Васильич,— так.

Он посидел с полчаса неподвижно, потом поднялся и начал ходить. Внезапно остановившись, он ударил себя по коленкам и с удивлением вопросил у пустоты:

— А?!

В самом деле, как это случилось, что какой-то глупый приступ нежности толкнул Матвея Васильича лобызаться на концерте с Никитой? Излишняя любезность! Пора наконец объясниться с братом и указать ему место.

— Довольно! — произнес вслух Матвей Васильич и отправился на цыпочках к комнате Ирины — послушать, спит ли дочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда Ленке надоедало бегать по комнатам на своих непокорных кривоватых ступнях, она застревала где-нибудь в уголке, у кровати, задумывалась, воткнув пальчик в рот и притихнув. Ей шел третий год, было о чем подумать.

Мама была большая, папа тоже. Мама любила смеяться и папа тоже, но папа смеялся больше наедине с Ленкой, а при маме сопел и стучал сапогами по половичке. С папой было хорошо играть.

Ленка вздыхала и тихонечко мечтательно произносила:

— Наверно, и я скоро буду большая!

Если случалось, что эти слова долетали до мамы, громкий, сильный смех пугал Ленку, и мгновенно она оказывалась в больших горячих руках мамы. Руки теребили и мяли Ленку, вся она окуналась в пенистый, рассыпчатый мамин смех, точно в корыто с теплой мыльной водой, и тогда Ленка знала, что маму можно о чем-нибудь попросить.

— Расскажи мне что-нибудь.

Мама начинала сказку. Ленка морщила свой большой, круглый, как у Родиона, лоб, сидела притаившись, и ей чудилось, что стоит шевельнуться, как из черных маминых глаз выскочит волк.

Если при этом бывал дома папа, он входил в комнату, и тут начинался непонятный и такой длинный быстрый разговор. Ленка шла играть в починиста — починять тряпочки и бумажки в своем уголке, где жизнь была тихой, без разговоров, где лежал большой «бульом» с картинками и были спрятаны баночки из-под всяких «мазелинов».

А Родион, стуча каблуками, расхаживал из угла в угол, морщил и распрямлял брови, говорил глухо:

— Пора кончать со всякой чертовщиной — с ведьмами да водяными! Ребенок должен расти в здоровой, понимаешь, в настоящей, здоровой... в настоящих условиях... А ты...

Варвара Михайловна с улыбочкой провожала мужа глазами из угла в угол, ждала, когда оборвется глухое гудение его голоса, потом невозмутимо спрашивала:

— А тебе в деревне что рассказывали? Сказки? Или, может, насчет индустриального труда? Это когда у тебя через губу-то сопли висели. Ха-ха!

— То в деревне,— зло обрывал Родион.— Было да быльем поросло. Не для того революцию делали, чтобы сказки рассказывать. Я не хочу, чтобы моей дочери...

— Нашей дочери, Родион, нашей.

— Все равно! Нашей! Нечего с пеленок набивать в башку всякой дряни. Надо понимать... приучать... вот с малых лет, теперь...

— Ну, а что же ты посоветуешь рассказывать? — покорным голосом вопрошала Варвара Михайловна.— Я не сомневаюсь в твоих педагогических способностях, научи.

Родион останавливался против жены и с открытым ртом глядел на нее.

«Братья»

— Это... это...— бормотал он.

— Ну? — улыбалась она.

— Ах, дьявол! — кричал он, взмахивая кулаками.— Не в этом дело, пойми!

— А в чем же?

— Да ты пойми! Придумай сама, чему же тебя учили, зачем? Ведь ты ученей меня, ну и придумай. На кой дьявол ребенка с этих лет морочить?

— Я не могу придумать,— говорила Варвара Михайловна, чуть подергивая губами,— у меня не хватает фантазии. А потом — мне нравятся сказки. И тебе нравятся, а ты притворяешься, напускаешь на себя. Ведь напускаешь, Родион, сознайся!

— Ты, ты напускаешь! Ты врешь, что не можешь! Ты не хочешь, а говоришь — не можешь!

Варвара Михайловна улыбалась в последний раз, лицо ее делалось строгим, она еще ниже опускала голос:

— Ты здоровый мужик, Родион, и к тебе не идет, когда ты кричишь, словно неврастеник. Уж если кричать, ты рявкни разок, как в деревне на бабу, и ладно. Но ты себя испортил всякими брошюрками. Ведь по твоим убеждениям кричать на женщину постыдно, да? Правда?

Она глядела на него, вскинув голову, веки ее вздрагивали, было похоже, что она вот-вот захохочет. Но, выждав минуту, она продолжала чуть слышно, с тоской и затаенной какой-то злобой:

— А на меня нужно кричать. Меня нужно держать вот так. Я, может, этого и хотела, когда с тобой сошлась. А ты...

Она молчала немного, потом потягивалась, подняв над головой руки и хрустнув пальцами.

— Как мне с тобой скучно!

— Давно ли? — буркнул Родион.

— Чем дальше — тем скучнее. Надоело мне слышать, как ты чужие слова повторяешь. Все вы чего-то придумываете, все норовите почудней. А вот я смотрю — за это время только и поняли, что рубль дороже копейки. Эка! Открытие! Да я это, как себя помнить стала,— знаю. А вы носитесь, точно курица с яйцом. И ты клохчешь вместе со всеми: детей надо обучать на трудовых процессах, сказки — пережитки суеверий, религия — опиум для народа, Волга впадает в Каспийское море. Господи, какая скука, а главное — не идет это к тебе, и трудно тебе ужасно. Ведь ты — здоровый мужик.

— Ты что, в это самое слово «мужик»... как это... ты хочешь что в это слово?.. ты думаешь...

— Ах, Родион, я сказала, что́ думаю. Ску-чно. Понял? И обо всем мы давно переговорили.

Родион поворачивался к двери и гудел угрожающе:

— Правильно! Переговорили! Довольно!

Он запирался в своей комнате и начинал думать наедине. Кожа на его лбу набухала шишками, от одной брови к другой перекатывался орех, гримаса — старая, оставшаяся с тех пор, как он вытащил из воды Шеринга, болезненная, что-то пересиливавшая гримаса — искривляла его лицо.

Надо было отыскать порядок, какую-то причинность. Всем в мире руководила эта причинность, закон ее был несомненен, Родион не только догадывался о нем, но, казалось, мог разглядеть его устройство, как разглядывал поверхность реки, сощурив глаза, распознавая по цвету и рельефу волн кривую фарватера.

Начать с вещей. Их делают, они изнашиваются, их починяют или выбрасывают вон. Ступени равны, отчетливы, прозрачны. Как на судовой службе — малый ремонт, средний, большой. Малый выполняют на ходу, в пути, у пристани, на средний ремонт судно ведут в загон, к мастерским, на большой — в доки.

Как неколебимо прочна последовательная смена этих ступеней, какая разумная, завершающая стройность в наивысшей из них — в доках! Здесь ясно назначение каждой стрелы, подпирающей судовой корпус, и ни один удар молотка не может вызвать недоумения.

Недаром снятся Родиону доки, недаром видит он протянувшиеся в небо леса и даже во сне его оглушает гулкий грохот железа. И когда этот грохот раздается где-нибудь наяву, Родион ощущает такую крепость в плечах, что, кажется, взмахни он руками — и как во сне, руки поднимут его на воздух. О, человек — истинный владыка вещей, они повинуются ему, и он умеет заставить их служить себе.

Но человек... да, да, вот здесь начинался весь этот туман, здесь заволакивалось сознание болотной мутью, и омерзительным исчадием трясины выползали в памяти городские дуры — Катерина и Лизавета Ивановны.

Их обступала поречная голь и рвань, галашье неприкаянное царство, они шествовали, с дикой зачарованной улыбкой на опухших мордах, в пламени разноцветного отрепья, и орава гоготала вокруг них, заглушая рабочую воркотню пароходов.

Тогда Родион чувствовал саднящую боль во рту, и ему хотелось плеваться, как он плевался на берегу Волги, после мрачной и жалкой своей схватки с оборванцем. Это и было первым знакомством Родиона с человеком, и воспоминание о нем стало так же противно, как противен был горько-соленый вкус крови, которая сочилась тогда из разбитых десен и губ. Но это знакомство впер-

вые толкнуло Родиона на поиски — он сам не знал — чего? — и он искал сосредоточенно и пристально, пока не понял, что ему нужно.

Чудесная земля, с таким разумным строем вещей, подчиненных человеку, с шумными доками, вечно грохочущими большими ремонтами, эта чудесная земля безропотно носила на себе Катерину Ивановну с сестрицей. Правда, Катерина и Лизавета Ивановны — сумасшедшие дуры, правда, галашье царство, погибающее на речных взвозах,— отбросы, человеческий шлак, и, конечно, у Родиона не дрогнет рука, чтобы очистить от этих отбросов путь к докам.

Но почему Родиону мерещится во всех людях сходство с городскими дурами? Почему почти все люди очарованы каким-то бредом, почему они дорожат какими-то призраками, готовы верить своим идолам и умиляться ими, как Катерина Ивановна — цветным лоскутом? Почему они не откажутся от своих заблуждений?

Разве не ясны доводы, которые приводит Родион? Может быть, он заблуждается, он не умеет спокойно думать о людях, но тогда почему они не послушают, ну, хотя бы Шеринга, товарища Шеринга? Родион отыскал человека, нашел его, среди тысячи людей нашел человека, ум которого беспорочен. Этот человек — Шеринг. Почему не послушаться Шеринга, если заблуждается Родион?

Почему жена Родиона, Варвара Михайловна... Ах да! Вот именно тут Родион начинает тереть себе лоб и круче сдавливает брови. В самом деле, почему же он сам, со своей верой в Шеринга, не задумался над его словами, прежде чем... да, да... дело было так.

Три года назад, на Каме, на флагманском судне, Родион зашел в рубку Шеринга и, помявшись, сказал:

— Знаешь... я это... женюсь...

Шеринг побарабанил пальцами по столу, покусал губу и ответил:

— Ну что ж... Значит, ты — счастливее меня.

— Извини,— зачем-то буркнул Родион, и Шеринг засмеялся, живо протянув ему руку.

Родион сказал:

— Я к тому, что время сейчас... как сказать...

— М-да, время,— промычал Шеринг и отвернулся.

— Что же не спросишь — на ком?

— Ясно — не на пароходной трубе,— непривычным баском быстро отозвался Шеринг.

— Ты вроде... недоволен, что ли? — спросил Родион, стараясь заглянуть в лицо Шеринга.

Но тот уже стоял прямо против него, с обычным своим прямым взглядом, и обычно, не спеша и тихо, говорил:

— На Варваре Михайловне? Подойдет ли она тебе? Женщина с дурью. А дело не простое. Пойдут дети. Это, брат... у меня растет сын, я знаю. Да... Ну, смотри. Ты сам с головой...

Но Родион был без головы. Он стал похож на бочку, в которой забродило молодое вино. Словно в чаду, он прожил два года, путая новые свои непокойные чувства с вереницей неотложных дел, с очередными делами. (Это Варвара Михайловна подшучивала над ним: «Очередные дела? Ха-ха! Экая длинная, бесконечная очередь дел!»)

Он захлебывался чувствами к жене, потом — к Ленке, мчался куда-то, летел, пока наконец Шеринг не привез его на работу в Питер. Тут Родион отрезвился.

Тут были не только доки, но громадные эллинги с десятками невиданных кранов, и весь город, как корабль, стоял на воде, умещенной в прямолинейную сеть каналов и рек. Здесь можно было не только неустанно строить и спускать на воду суда, но — казалось — все было приготовлено для того, чтобы произвести самый что ни на есть большой ремонт всему человечеству. Поистине в таком ремонте и состояло главное *очередное* дело.

И вдруг... ну да! Ведь это всегда случается вдруг. Вдруг Родион обнаружил, что у него есть жена, семья... нет, не так. Что жена отстаивает право на особую жизнь, на свое понимание жизни, что ей почему-то скучно, что она никогда ни в чем не могла согласиться с мужем и его очередные дела расцениваются ею не дороже прошлогоднего снега. И так же вдруг Родиону стало неловко перед женой за свою нежность к Ленке, и он старался приласкать ребенка втихомолку, с глазу на глаз.

Тогда все чаще приходили такие минуты, как теперь, и Родион сидел в неподвижности, поводя бровями и отыскивая в уме порядок и причинность. Но вместо причинности в голову лезли Катерина и Лизавета Ивановны, и в усмешке жены чудилось отражение самодовольной, зачарованной улыбки городских дур.

В последний раз, когда Родион после спора с женой ушел в свою комнату, он неожиданно потерял самообладание.

— Кой черт связал меня веревочкой с проклятым музыкантом? — заорал он, стукнув кулаками по столу.

Он помнил, как Варвара Михайловна вся засветилась на концерте, подходя к Никите, как потом, по дороге домой, старалась опередить Родиона, не проронив ни слова. Вечно ненавистный Никита опять откуда-то вынырнул на пути Родиона.

— Кой черт? Скучно, скучно,— бормотал Родион.— А до сих пор не было скучно? Не может найти себе места после концерта. Бабья блажь.

Родион внезапно распахнул дверь в комнату жены. Ему хотелось закричать, но он сдержал себя, круто остановившись у порога.

Варвара Михайловна глядела на него удивленно, и улыбка, которая всегда бесила Родиона, едва заметно начинала проглядывать сквозь удивленье.

— Значит, ты неверно рассказывала мне о нем? — медленно выговорил Родион.

— О ком?

— О скрипаче... об этом...

Она неслышно засмеялась.

— Ревнуешь?

— Брось болтать чепуху,— крикнул он, наливаясь кровью.— Я не хочу, чтобы ты обманывала! Больше ничего.

Она подобрала ноги на диван, уселась поудобней, неторопливо поправив на плечах пестрый платок, потом спросила тихонько:

— Ревность недостойна человека?

— Я не шучу.

— Религия — опиум для народа?

— Перестань! — почти задохнувшись, прохрипел Родион.

Он заметался по комнате, сильно потирая ладони, точно решил с чем-то разделаться навсегда.

— Чешутся руки? — подзадорила Варвара Михайловна.

— Послушай, ты,— опять закричал он, останавливаясь подле дивана,— ты говорила, что этот музыкант — твой старый друг... как его?.. а сама...

— Ну?

— Я все понимаю, я не слепой, я...

— Ну?

Она резко встала с дивана и выпрямилась рядом с Родионом.

— Я говорила, что Карев — мой друг. Я говорила об этом потому, что ты — тоже его друг.

— Неверно! Мало ли я встречал мальчишек?

— Постой. Тебе мало этого? Да? Ну, слушай.

Она плотно запахнулась платком, еще ближе подступила к Родиону и пробормотала настойчивым шепотом:

— Карева я люблю. Понял?.. Понял?.. Понял?..

Она вдалбливала в Родиона это слово. Шепот ее стал чуть слышен.

— Жила я с тобой одним. Понял? А его одного люблю. Понял? О каком же ты говоришь обмане?

Словно только теперь разглядев Родиона, она ухмыльнулась и покачала головой:

— Чудак!

Родион был бледен, всегда подвижное лицо его безжизненно застыло. Он неуклюже повернулся и ушел к себе. Но слух его оставался за дверью, у жены, как будто у нее в комнате непременно должен был произойти какой-то поворот его судьбы.

По шагам Варвары Михайловны он догадался, что она собирается уходить. В нем тотчас вспыхнуло непреоборимое, злорадное желание выследить жену, поймать ее, уличить. Он прислушивался к малейшим шорохам за стеной, притаив дыхание, не шевелясь, и, едва хлопнула в передней дверь, бросился одеваться.

На улице темнело, накрапывал реденький теплый дождь, но тротуары были оживленны, люди толклись на перекрестках, под железными зонтами подъездов, у ворот. Красться в надежной туманности сумерек, ловко и незаметно обгоняя людей, по-воровски прячась за их спинами, Родиону не составляло труда. Он был весь устремлен вперед, препятствия только заостряли его зрение, он видел одно: перед ним, шагах в двадцати, шла Варвара Михайловна.

Она не торопилась, поступь ее была непринужденна, раза два ее внимание привлекли освещенные окна. Но Родион не сомневался в том, что Варвара Михайловна приближается к цели, которая ей заранее известна.

На каком-то углу Варвара Михайловна остановилась. Это вышло внезапно, и Родион очутился совсем близко от жены.

Он юркнул за киоск, торчавший у дороги. Почти в ту же секунду он увидел Никиту Карева, и до него донесся обрадованный и удивленный возглас жены.

«Подстроено»,— промелькнуло в голове Родиона.

Он ухватился за угол киоска, чтобы не броситься раньше времени на жену или на Никиту. Он не знал, кто из них был ему больше ненавистен.

Варвара Михайловна взяла Никиту под руку. Родион двинулся вперед. Он шел за ними по пятам, не хоронясь, нарочно громко шаркая подошвами по асфальту. Он сунул руки глубоко в карманы, фуражка была заломлена у него на затылок, он выступал, как пьяный.

Варвара Михайловна смеялась.

— Слава, слава! — говорила она сквозь смех, покашиваясь на Никиту.— Вы как оперный тенор, Карев! Ха-ха-ха! За вами бегают женщины, в вас влюбляются школьницы. Серьезно! Что это за девочка смотрела на меня таким зверьком на концерте?

— Девочка?

— Ну да. Такой хищный зверек. Я думала, что она выцарапает мне глаза, пока я говорила с вами.

— Наверно, Ирина? — сказал Никита.

— А вы даже знаете ее имя?

— Это дочь моего брата.

— Во-он что! Племянница? Однако!

Варвара Михайловна крепче прижалась к плечу Никиты.

— Она, наверно, всегда зябнет. Да? Эта Ирина. И у нее постоянно холодные руки, правда? Что вы хмуритесь? Вы влюблены? Ха-ха! Господи, какая я дура! Но, право же, Карев, это смешно. Она такая девчурка, как моя Ленка. Вы знаете, что у меня дочь? Прелестная! Вот бы нам с вами! Ну что? Ну, что вы все хмуритесь, Карев? Вы пугаете меня. Вы серьезно увлечены?

— Вы хотели рассказать о себе. Сколько лет вашей дочери? — спросил Никита.

— Стало быть, правда,— снизив голос, проговорила Варвара Михайловна.— Ну что ж! Моя судьба. Я все надеюсь, что придет время, когда вы поймете, что я одна, только я одна нужна Никите Кареву. Я не отчаиваюсь. Я жду, Карев. Ха-ха! Я упряма!

— Но вы должны быть счастливы! — воскликнул Никита.— У вас ребенок. У вас муж. Он очень понравился мне, и я знаю его давно. Как раз такой человек и нужен вам, как Родион.

— Это какой же человек?

— Сильный, здоровый, такой, как вы.

— Вы хотите уверить меня, что мне пора угомониться? От добра добра не ищут, да? Пора оставить вас в покое? Я вам очень надоела? Я угадала, да? Скажите, угадала? А знаете что?

Варвара Михайловна выдержала паузу, словно собираясь поразить Никиту одним словом.

— Знаете, что Родион вас ненавидит?

— Меня?

— Вас, пожалуй, больше, чем меня.

— Но за что?

— Вероятно, за то, что знает, как я...

Она потянулась к Никите, приподнявшись и наклонив к его плечу голову, может быть, для того, чтобы тише и внятней выговорить какие-то слова, но неожиданная сила оторвала ее от Карева.

Между ними стоял Родион.

Помутневшими, осоловелыми глазами он оглядел их по очереди. Никита отшатнулся от него. Варвара Михайловна вскинула руки к лицу, не то затем, чтобы оградиться, не то — отвести Родиона в сторону.

Остановившись посредине тротуара, они задержали движение. Кое-кто из прохожих обошел их, кое-кто зазевался и стал.

— Ты с ума сошел? — воскликнула Варвара Михайловна.

В ее голосе не было ни тени испуга. Она смотрела на мужа с необыкновенным любопытством, лицо ее сильней, чем всегда, переливалось яркими красками.

Она бросила взгляд на Карева. Предвкушение какого-то восторга озарило ее на секунду, но тут же с отчаянием и тоской она проговорила:

— Карев, Никита! Что же вы?

Он стоял неподвижно — отчужденный, немой,— безразлично и лениво разглядывая Родиона. Казалось, он не мог преодолеть томительного приступа скуки.

Родион перевел дыхание, шагнул к Никите. Рот его перекосился, точно ему было страшно трудно разжать челюсти.

— Бар-чук! — выговорил он тихо.

И вдруг быстро повернулся, опять засунул руки в карманы и плечами растолкал толпу.

Он шел, наклонив голову, бороздя тупым взором дорогу, задевая прохожих. Он не заметил, как миновал свой дом, и спохватился в незнакомой улице.

Спустя полчаса он был дома. У него накопилось много дел — потертый мягкий портфель разбух и стал похож на ведро, в трех книгах торчали закладки, уже давно надо было прибрать на столе: записочки, вымазанные ротатором бумаги сугробами громоздились повсюду.

Родион уселся за работу. Кажется, никогда в жизни она не шла у него так гладко и споро. Ни одного лишнего поворота руки, ни колебаний, ни раздумья: бумага прочитана, карандаш делает на ней пометку, она послушно ложится в сторону, на ее место появляется другая. Портфель опустошен до самых сокровенных глубин, из ведра он делается тряпкой, потом, начиненный отобранными бумагами, принимает вид вполне приличного, средней упитанности, делового портфеля. Ненужные бумажонки — циркуляры, приказы, протоколы, выписки из резолюций — летят в угол позади стола, сугробы тают, среди отдельных белоснежных пятен возникают проталинки зеленого сукна, проталинки постепенно сливаются в сплошное зеленое поле. Стол чист.

Родион берется за книгу. Страница, еще страница. Какая отчетливая, ясная мысль, с какой остротой различает Родион ее движение, как просты и точны слова!

Родион слышит, как возвращается Варвара Михайловна, как она проходит к себе.

Страница за страницей, страница за страницей!

Варвара Михайловна пьет чай, ложечка позвякивает в чашке, крышка сахарницы захлопнулась резко и кратко, как затвор винтовки, нож, сорвавшись с хлеба, визгливо скрипнул по тарелке.

Страница за страницей! Уж близки выводы, книга ведет к ним бесстрашно, словно лоцман вводит судно в бухту.

Варвара Михайловна ложится спать. Она подвинула к кровати стул. Она расшнуровала башмаки: жестяные наконечники шнурков отщелкали по полу похожие на тиканье маятника удары. Варвара Михайловна легла.

В тишине внимание выпрямляется, как по отвесу. Мысль — точно стекло: она существует, но сквозь ее прозрачность видна хорошо различимая даль. Еще одна глава, еще одна. Страница за страницей, страница за страницей!

Глухая, беззвучная ночь. Пора ложиться и Родиону. Он может быть доволен этим днем. Может быть доволен собой.

Каждое движение его уверенно. Он под одеялом, он закрыл глаза, он должен заснуть.

Минута за минутой.

Он крепкий и здоровый человек. Он легко управляет собой. Для него все ясно. Его отношения к Варваре Михайловне... Но зачем об этом думать? Не лучше ли вернуться к тому, о чем Родион прочитал? Его мысль повторяет только что пройденный путь.

Минута за минутой, минута, еще минута.

Вдруг Родион вздрагивает. О чем он читал в этой толстой книге? Слова рассыпаются в памяти, как гнилушка в труху, и летят прочь, подобно пыли. Какую книгу он читал? На углу стола лежат столбиком три переплетенных тома, и в каждый из них воткнута бумажная закладка. Но Родион не в силах припомнить, что за страницы перелистывал он с таким усердием полчаса назад.

Он торопливо встает, зажигает свет и бросается к столу. Раскрыв верхнюю книгу, он прочитывает несколько строк наугад. Нет, он читал что-то другое. Он берет вторую книгу, третью. Отовсюду глядят на него совершенно одинаковые строчки, он как будто узнает в них прочитанное, но слова по-прежнему расплываются в труху.

— Ясно,— говорит он.

Ясно, что он устал и ему нужен сон.

Он снова лежит, крепко закрыв веки, снова идут беззвучные минуты, и внезапно, с неуклюжей поспешностью, он опять вскакивает с кровати.

Накинув на спину одеяло, он беспокойно роется в углу, позади стола, в куче выброшенных бумаг. Как мог Родион позабыть о поручении товарища Шеринга? Еще сегодня в обед Шеринг дал Родиону бумагу, сказав:

— Посмотри, это по твоей части. Мне кажется, надо покончить.

Родион был в тот же момент совершенно убежден, что «надо покончить», но не имел никакого представления о деле и бумагу... Куда он мог девать эту бумагу?

Он угрюмо роется в протоколах, циркулярах, составляет разорванные в клочки письма, зеленое поле стола заново покрывается сугробами, портфель тощает, но бумаги Шеринга нет.

Через час Родион лежа старательно перебирает в уме каждую бумажонку, побывавшую в его руках за день, и все они чудятся ему точь-в-точь такими, какую в обед ему вручил Шеринг.

— Надо покончить,— твердит он, как в бреду, тяжело засыпая.— Покончить...

Поутру его разбудил какой-то стук.

Одеваясь, он прислушивался к тому, что делалось в соседней комнате. Ленка уже топала и бормотала сама с собой. Варвара Михайловна надела башмаки, а не туфли, как всегда по утрам. Шаги ее были чуть-чуть торопливей обычного.

Родион пошел умываться. В передней он встретился с женой: Варвара Михайловна выносила из своей комнаты небольшой чемодан.

— Хорошо, что ты встал, я хотела повидать тебя.

Она поправила шляпу, застегнула большую, в пятак, пуговицу на воротнике пальто.

— Я ухожу от тебя, Родион,— сказала она так, как раньше говорила «с добрым утром».— Ленка пока останется здесь. Комната, где я поселюсь, совсем не годна для нее. Мне обещали хорошую няню, я пришлю сегодня...

Она протянула Родиону руку.

— Прощай... Ну?..

Она улыбнулась.

— Ты — умный человек, Родион. Зачем эта комедия? Простимся.

— К музыканту? — невнятно спросил он.

— Нет. Я ему пока не нужна. Просто решила отдохнуть.

Она нахмурилась.

— Ты хочешь заставить меня оправдываться? Я нахожу это недостойным себя... Сегодня за Ленкой может присмотреть хозяйка. Я договорилась. Ну? Прощай.

Родион молчал.

Она опять улыбнулась. Невозмутимо-хорошо было ее лицо, и спокоен, глубок низкий голос.

— Как хочешь.

Она легко подняла чемодан, левой рукой открыла замок, толкнула коленкой дверь и вышла, не обернувшись.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Васильевский остров после гражданской войны стал очень тих, особенно в глубине, за Тринадцатой линией и дальше. С домами, наполовину обветшалыми, с мостовыми в ползучей ярко-зеленой травке, которую зовут муравой, все еще величественные, но опростившиеся проспекты сделались наивны.

Если бы вздумалось снять крыши с построек, многое в домах предстало бы неприкосновенным: так могло быть, так было и полвека назад — кабинеты, шкафы, темные просторные переходы и коридоры с ветошью и давно ненужным скарбом. Люди, населявшие остров,— неизменные и все же как будто изменившиеся,— стали так же трогательны, величественны и наивны, как проспекты.

И может быть, самым внушительным выражением странной перемены, происшедшей с островом в революцию, был ученый-биолог и публицист — Арсений Арсеньевич Бах.

Его журнальные статьи стали не по времени, он знал это и прекратил писать их. Воззрения его оставались прежними, он не поколебался ни в чем, но с покровительственной улыбкой и достоинством признал, что они могли устареть. К тому же у Арсения Арсеньевича была в запасе биология, он мог читать лекции школьникам, милиционерам, металлистам, кому хотел,— и он готов был допустить, что еще не все в мире пропало, если поощряется знакомство с дарвинизмом.

Он был одинок и занимал во втором этаже три комнаты. Из года в год, каждый день он приходил домой с двумя-тремя книгами, которые откапывались в подвалах Литейного проспекта. Книг набралось так много, что давным-давно в квартире не хватало шкафов и полок, и книги, как сталагмиты, поднимались к потолку, выглядывали горбатыми штабелями из-за дверей — запыленные, серые, обросшие паутиной.

За революцию Арсений Арсеньевич накопил в сарае лесу для полок и — после долголетних сборов — приступил к делу. Сосед-старикашка, слывший, за уменье держать пилу, плотником, нарезал доски, шаркнул по ним рубанком и помог Арсению Арсеньевичу втащить их наверх. Это были короткие продольные доски, предназначенные для книг, а поперечные — высокие стояки — оказались чересчур длинны, чтобы протащить их по узкой, крутой лестнице на второй этаж. Решено было поднять стояки через окно, с улицы.

И вот с десяток прохожих однажды утром были остановлены неожиданным зрелищем. На тоненькой веревочке, спущенной из открытого окна, раскачивалась, привязанная за верхний конец,

увесистая доска, высотой чуть ли не в целый этаж. Сморщенный, всклокоченный человек, высунувшись из окна, одной рукой упирался изо всей силы в подоконник, а другой тянул вверх веревочку. Изредка он пугливо осматривался по сторонам и предупреждал василеостровцев:

— Перейдите на мостовую! Остерегитесь!

Доска поднималась очень туго. По-видимому, тот, кто составлял главную силу в этой работе и кого не было видно из окна, мало чем превосходил худосочного сморщенного человека, который помогал тянуть доску.

— Остерегитесь! Остерегитесь! — кричал человек.

Веревочка растягивалась в струнку, доска медленно вертелась на ней, подползая к окну коротенькими скачками, и вдруг уперлась углом в выступ карниза и стала.

Сморщенный человек озабоченно подергал веревочку. Доска не шелохнулась. Он засуетился еще больше и что-то крикнул себе за спину, в комнату. Веревочка подалась, доска сползла пониже, потом снова скакнула вверх, и опять карниз не пустил ее дальше.

Тогда коренастый матрос, стоявший в кучке ротозеев на другой стороне улицы, перебежал дорогу и подхватил доску с нижнего конца. Он повернул ее, уложил плашмя на фасад и поднял над головой. Верхний конец доски вошел в окно, подхваченный невидимыми до сих пор руками, а нижний — грузно отделился от фасада, начав описывать широкую дугу. Но сил было явно мало, рычаг — велик, и через секунду доска неподвижно застряла в воздухе.

Из окна выглянул сморщенный человек и, потрясывая пальцем, закричал матросу:

— Будьте любезны! В ворота налево, квартира шесть, черный ход!

Матрос, не раздумывая, побежал. Дверь в шестую квартиру была уже открыта. Он вошел в комнату.

На доске, торчавшей коротким концом из окна, висел старикашка, с засученными по локоть рукавами. Он кряхтел, тяжесть пересиливала его, того и гляди, он должен был взлететь на воздух.

Матрос схватил доску, приподнял ее выше к потолку и всем телом навалился на конец. Спустя минуту доска была втянута в комнату.

Матрос огляделся. Раскрасневшийся от усилий и хмурый, он был похож на человека, который выведен из терпенья и готов обругать первого подвернувшегося под руку.

Но под руку подвернулся сморщенный человек — существо, по-видимому, изумившее матроса своей необычайностью. Человек был одет в фуфайку и жилет, старомодная гладкая крахмальная

манишка блестящим щитом прикрывала узенькую грудь, просторные брюки немного сползли с талии и пышными складками прикрывали башмаки. Но осанка этого маленького, слегка смешного человека была уверенно-величественной, пожалуй — гордой, и лицо, вдоль и поперек исчирканное обильными морщинами, было исполнено покойного достоинства. Он показал матросу свой выразительный профиль и произнес, вытягивая сухую руку:

— Арсений Арсеньевич Бах.

Матрос помолчал в растерянности, потом застенчиво улыбнулся.

— Родион Чорбов,— сказал он, осторожно прикасаясь к руке Арсения Арсеньевича.

— Как? — переспросил тот.

Это уже напоминало допрос, однако протестовать показалось Родиону невозможным. Он повторил:

— Родион Чорбов. Меня чаще зовут просто — Родион, товарищ Родион.

— Родион? Это хорошо, Родион.

Арсений Арсеньевич прислушался к имени нового знакомого и, одобрительно тряхнув головой, проговорил:

— Может быть, вы будете любезны помочь нам поднять еще одну доску?

Вопрос был задан совершенно обходительно, даже с изысканностью, но жест и поза Арсения Арсеньевича давали понять, что он своей просьбой делает немалую честь Родиону.

— Да зачем вам понадобились доски? — простодушно воскликнул Родион.

— Я сооружаю полки для этих книг,— объявил Арсений Арсеньевич, торжественно показывая на открытую дверь смежной комнаты.

Родион заглянул туда и притих.

— Да-а,— прогудел он, точно в раздумье.— Ну, ладно. Где ваша доска? Нужно бы потолще конец... эту самую... веревку. Есть?

Так состоялось знакомство Родиона с Арсением Арсеньевичем Бахом, и отсюда пошла взаимная приязнь этих вовсе не похожих друг на друга людей.

Когда вторая доска была поднята в комнату, Арсений Арсеньевич снова протянул Родиону руку.

— Не знаю, каким наилучшим образом я могу отблагодарить вас за помощь.

— Пустяки,— сказал Родион.— Вот вы, может, знаете, где комната сдается? А то мне указали здесь — не подходит, бегаю без толку, ничего не найти.

— Да,— согласился Арсений Арсеньевич,— жилищный вопрос...

Это у него вышло так значительно, словно он сказал в каком-нибудь ученом заседании: да, знаете ли, селекционная теория...

Вдруг ромбики и трапеции его морщин пришли в озаренное движение, и он заявил:

— Но позвольте! Когда я уберу эти книги на полки, одна из моих комнат окажется свободной. Вы одинокий?

— У меня дочь двух лет.

— И жена?

— Нет.

— Но какая-нибудь женщина должна ходить за ребенком?

— Я найду.

— Тогда как вы отнесетесь к моему предложению поселиться в комнате, которую я освобожу от книг?

Он положительно вел государственной важности переговоры! Родион расплылся в улыбку...

Кончилось тем, что неделю спустя за стеной у Арсения Арсеньевича Баха копошилась со своими тряпочками Ленка, и Родион иногда заглядывал к хозяину квартиры — в кабинет, утопавший в холодноватом, таинственном аромате отсырелых книг.

При свете мерклой лампы здесь велись странные, немного путаные беседы, и возникавшие споры непонятно увеличивали тяготение Родиона к Арсению Арсеньевичу Баху.

По утрам и целым дням Родион пропадал на делах (очередные дела, очередные вопросы), но к вечеру, иной раз много позже, чем засыпала Ленка, придя домой, он вдруг чувствовал, как у него пустели руки. Надо было что-то делать, а дел не было, или их было очень много, но ни одно из них не могло вытеснить из груди тупую тягость, заполнить холодную пустоту рук. Родион подходил к спящей Ленке, поправлял на ней одеяло, дотрагивался до ее ручонки — все это было тяжело и пусто. Если бы Ленка не спала, с ней можно было бы повозиться, пощекотать ее, послушать ее хохот — захлебывающийся, визгливый.

— А ну-ка, где тут у Леночки пупочек? — грозно басил Родион, чуть-чуть пощупывая Ленкины бока твердыми пальцами и подбираясь потихоньку к животу.

— А-ай! — взвизгивала Ленка и потом зажмуривалась, ежилась, кряхтела и, повалившись на пол, хохотала до икоты.

Но молча глядеть на Ленку, когда она спит, и через силу, против желания гнать из своей головы назойливо неотступную мысль все о том же, об одном и том же — нет, Родион не хотел этого терпеть. Он улавливал какой-нибудь шелест за дверью, вы-

ходил в переднюю и, если наталкивался на Арсения Арсеньевича, ждал, чтобы он пригласил его к себе, и с радостью к нему шел.

В разгадывании этого человека, в его чудаковатых речах, сплетении веры с безверием, восторженности с насмешкой Родион находил усладу, которая на один час заглушала в нем все, и он заново чувствовал в своих руках какую-то сопротивляющуюся массу, и ему хотелось ее преодолеть.

Он нарочно торопился вставить в разговор взбудораживающее словцо, чтобы разбередить Арсения Арсеньевича и нащупать в нем новое противоречие или услышать новый афоризм.

— Идеализм, все это — идеализм,— бурчал недовольно Родион, и Арсений Арсеньевич, взметнув профиль и высоко закинув брови, поднимал руку с растопыренными пальцами, как Пилат на картине Ге «Что есть истина?».

— Прекрасно, когда Рембрандта бранит зрячий. Но как быть, если за это дело берется слепец от рождения? Потрудились ли вы, мой молодой друг, познакомиться с идеалистическими воззрениями на мир, на историю?

— Не я, так другой. Наши взгляды проверены. И подтверждены. И согласованы,— рубил Родион,— согласованы с научными данными. И ваша наука сама нам дала выводы. Мы на них опираемся и... это... строим.

— Наука! — восклицал Арсений Арсеньевич.— Наука! Многовековый опыт человечества, поднесенный дикарю на подносе! Кто сделает выбор? Как? Перед вами колоссальное книгохранилище. Оживите на мгновение мысли, высказанные мудрецами, и проповеди, которыми когда-то философы осчастливили мир. Представьте себе, что великие тени снова воплотились, и в полуночной тишине библиотеки попробуйте столкнуть их друг с другом. Боже! Какое бесподобное кровопролитие! Битва, от которой мутится рассудок и содрогается сердце. Все эти Юмы и Лавуазье, Дарвины и Шопенгауэры — вот они пожирают друг друга, и Прудон обращается в бегство от Маркса, и Спенсер уже грызет горло Фейербаху, и Бакунин неистово размахивает головой Гегеля. А позади вырастают Аввакумы и Гусы, Бисмарки, Кампанеллы, Толстые. И все это уже уничтожено, взаимно истреблено, и перед вами — один прах ничтожных страстей, и шкафы блестящей библиотеки пусты. Наука! Нескончаемая цепь противоречий, эфемерное самопожирание мысли.

— Ну, а вывод, вывод? — уже в раздражении кричал Родион.

Арсений Арсеньевич вдруг словно осекался, подходил ближе к Родиону, заглядывал в его глаза, говорил тише и проще:

— Вы всегда торопитесь, Родион. Я не устану говорить вам: наибольшая опасность для мысли — это привычка основывать

суждения на готовых выводах. Нужно стремиться познавать мышление в его процессе, в его...

— Ладно, ладно,— перебил Родион.— Стало быть, вы сидите на пустом месте?

Вопрос поражал Арсения Арсеньевича неожиданной конкретной прозаичностью. Секунду он не понимал его.

— Ну, в вашей библиотеке, там... пожрало, значит, все само себя и... что же, на чем вы остались?

Родион с испытующей усмешкой ждал ответа. Но Арсений Арсеньевич недолго колебался. От неловкого резкого поворота у него выскакивала из-под жилета манишка, он пробовал наскоро засунуть ее назад, но она топорщилась еще больше, и так он стоял, вскинув голову, с одной рукой, поднятой вверх, и с другой, заложенной за спину, в белой крахмальной манишке, которая круглой лопатой торчала под кадыком.

Арсений Арсеньевич рассуждал:

— После побоища, представленного сейчас мной, несомненно, кое-что уцелеет. Это кое-что прежде всего будет пошлость. В то время как возвышенные умы взаимно уничтожаются в противоречиях, подобно тому как уничтожаются разноименные электричества, какие-нибудь мизерности попрячутся по углам библиотечной полки. Но я надеюсь, что уцелеет также крупица здорового рассудка и даже, может быть,— мудрости. Таким путем алгебраического сложения мы, при удаче, можем получить известный экстракт мысли, который с вероятностью может быть принят нами как непреложность. Это мы, Родион, мы, стремящиеся изучить историю жизни. Но мир? О, мир не складывает и не вычитает, не систематизирует знаний, а смотрит, что удобней и выгодней для него в данный момент. А вы преподносите ему весь опыт человечества: наука, говорите вы, наука! Но она разодрана непримиримой враждой взглядов!

— Мы делаем отбор! — восклицал Родион.

— Вам кажется, что вы делаете его. В действительности вы творите новую религию, вы создаете фетишизм. Вы добиваетесь того, чтобы при слове «наука» люди обнажали головы.

— Это совсем неверно, это черт знает...— горячился Родион.

— Позвольте, позвольте,— наступал Арсений Арсеньевич.— Я прошу вас выслушать сейчас историю, которая раскрыла мне значение всего, что свершается вокруг нас. Недавно в Академии меня приглашают к телефону. «Это вы, Арсений Арсеньевич? Говорят из кружка, в котором вы на днях читали лекцию. Вот хорошо, что я вас захватил».

Арсений Арсеньевич ухмыльнулся снисходительно и заметил:

— Он именно так выразился, этот искатель истины из рабо-

чего кружка: «захватил»,— я стараюсь передать все дословно. «Хорошо, что я вас захватил. Мне ребята-кружковцы велели узнать, в кружке у нас разговор вышел. Насчет бога мы по вашей лекции все усвоили и согласны, как он произошел и что его нет. А вот у нас в кружке находятся такие, которые говорят, будто есть душа. Так я обещал узнать у вас, как вы на этот счет по науке. Алло, алло! Вы слышите? — кричит.— Есть душа или нет?» Нет, говорю ему в телефон, успокойтесь, ничего нет. «Значит, так ребятам и передать?» Так, говорю, и передайте. «Ну, спасибо,— отзывается он,— теперь много понятней и легче. Простите, что оторвал вас от научной вашей работы. Пока». И повесил трубку.

— Очень хорошо,— серьезно сказал Родион.

— Очень плохо, что вы так думаете. Наука для массы людей начинает заменять религию. А вы сознательно хотите способствовать такой замене?

— Правильно!

— Вы хотите, чтобы массы так же беспрекословно верили приват-доценту или притворялись, что верят, как они верили протопопу? Родион, Родион!

Голос Арсения Арсеньевича содрогался укоризной и состраданием. Морщинки его лица приходили в смятенье.

— Ваша задача благодарней и грандиозней. Вы должны пробудить в человечестве любознание (Арсений Арсеньевич шевелил пальцами, точно нащупывая что-то в пространстве), заставить людей искать (он делал руками такое движение, как будто кидался вплавь через реку), толкнуть их спящий ум в поиски истины (и он толкал сухим желтым кулачком невидимого бездеятельного, сонного человека).

— Беспокойство, внедрить в человека беспокойство, это чувство, которому мы обязаны всем, что нам известно: огнем, книгопечатанием, телеграфом. Человек ищет, потому что сомневается. Сомнение не дает покоя.

— Веру в себя должны мы... как его... внедрять, уверенность, а не сомненья,— перебивает Родион.

— Постойте. Вера? Я верю в восход солнца. Это все равно что знание. Я знаю, что завтра взойдет солнце. Но... земной рай, учрежденный по единодушному решению приват-доцентов... позвольте!

Арсений Арсеньевич беззвучно приближался к Родиону, выпячивая глаза, сжав кулачки, и шептал:

— Поверьте, друг мой, все, что вы думаете, мне известно. Поверьте, я знаю бесконечно больше вас, и мои знания устойчивы, как храм, фундамент которого уходит глубоко в почву. То, чем убеждают сейчас искателей правды из рабочих кружков, все

эти амебы и туфельки, палеозойские периоды и обезьяны — все это приведено в моем представлении в сложнейшую и тончайшую гармонию, которая столь проста, что, положа на сердце руку, я могу ответить по телефону моим ученикам: успокойтесь, ничего нет. Но (Арсений Арсеньевич снижал свой шепот до вкрадчивого, еле слышного придыханья)... поверьте, Родион! Некоей сокровенной минутой, когда ясность моих мыслей достигает предельной чистоты, я отвертываюсь в уголочек моей библиотеки (Арсений Арсеньевич быстро подбегал к шкафу и прикладывался ухом к стеклу, как будто там, за стеклом, должно было прозвучать нечто таинственное), осеняю себя давно осмеянным христианским крестом и твержу: «Ничего не понимаю, ничего не понимаю!»

Арсений Арсеньевич часто помахивал у своего лица кистью правой руки, жесткие ногти прищелкивали по крахмальной манишке, профиль заострялся, какая-то мученическая — восхищенная и убогая — улыбочка блуждала в путаной сети его морщин, он крестился все испуганней и быстрей.

Тогда Родион начинал хохотать. Углы его губ глубоко западали в рот, голова становилась круглей, как будто тверже и красным массивным шаром покачивалась на больших плечах.

Хохот его сначала поражал Арсения Арсеньевича. Ученый-биолог стоял в совершенной растерянности, и даже ромбики, квадратики его пергаментного лица разглаживались, как у покойника. Неуверенно, в раздумье он возвращался к жизни и неловко поправлял на себе манишку.

Сквозь хохот Родион сотрясал комнату обрывками слов:

— Юрод... юродство! Юрод-ство! Городские... дуры... юродивые... Все то же, ха-ха-ха! Одно и то же... дуры! Катерина Ивановна... в Академии наук... ха-ха-ха!

— Какие дуры? — вопрошал Арсений Арсеньевич, понемногу обретая свое достоинство и глядя на Родиона, как на безумца.

— Это я так, про себя,— все еще хохотал Родион.

Он шумно поднимался со стула, подходил к Арсению Арсеньевичу и неожиданно строго, сосредоточив всю силу взгляда на его выпяченных глазах, говорил:

— Унизительно, Арсений Арсеньевич, для человека. Понимаете?

— Что?

— Малодушие ваше унизительно. Юродивость унизительна.

Арсений Арсеньевич брался за воротник Родионовой куртки, собираясь одним проникновенным словом передать собеседнику всю возвышенность своей мысли. Но Родион осторожно снимал худую руку Арсения Арсеньевича со своей груди и говорил:

— Как вы, с вашими званиями, с этаким богатством... ну,

как вы до такого смешного договариваться можете? Ведь я бы на вашем месте владыкой себя во всем чувствовал. Владыкой!

Он расправлял перед Арсением Арсеньевичем руки и медленно, крепко, так, что похрустывали суставы пальцев, сжимал кулаки.

— Вот вы смеетесь,— величаво и покровительственно произносил Арсений Арсеньевич,— и ваш смех мне понятен. Но понимаете ли вы смысл моего признания, так развеселившего вас? Вы взялись перестроить человечество и проглядели величайшую силу, которая неустанно работает против вас: человеческую слабость. Своим признанием я только хотел обратить ваш взор на явление, вами не замеченное и грозное, как всякая скрытая сила. Да, я слаб, говорю я. Но весь мир болен этой великой немощью.

— Проглядели? — словно с угрозой гудел Родион.— Нет, не проглядели. И ежели угодно вам, так мы эту самую слабость на мушку взяли! Да! И, может, вся наша задача — против слабости борьбу вести. Чувствуете? Да? Ну так вот! Баста!

Он решительно уходил, круто подергивая большими своими плечами, в которых плотно и глубоко сидела голова, и уже из дверей досказывал:

— Вы, Арсений Арсеньевич, нас разжалобить думаете? Не выйдет. Старо! Жалостью ничего не добьешься, только так, юродство, а мы жизнь строим, да.

— Весь вопрос, Родион, в этом,— порывался Арсений Арсеньевич.— Как строить жизнь, как?

— Ну, уж как умеем,— охолаживающе замечал Родион.— Не прогневайтесь.

Он притворял за собой дверь осторожно, чтобы не стукнуть, как осторожно и уважительно прикасался к Арсению Арсеньевичу, чтобы не повредить его щуплому телу, и приходил к себе, полный желанья за что-то взяться и снова осиливать и устранять преграды.

В такие минуты он в своей комнате и Арсений Арсеньевич у себя за столом думали друг о друге с досадливым сожалением («Где же понять меня такому человеку?» — казалось Баху. «Почему такой человек не хочет понять меня?» — доискивался Родион), но обоюдная привязанность их возрастала.

Однажды Арсений Арсеньевич сам заглянул к жильцу.

Раза два-три в год ученому-биологу случалось посидеть в гостях у старых своих знакомых, с которыми прошла вся его жизнь. Чаще всего это бывали Каревы. Он посмеивался над восторженной наивностью Софьи Андреевны, но ему льстило почитание, окружающее его за каревским столом. Там он выпивал рюмку водки, иногда произносил отвлеченную речь и возвращался домой с

повышенным пульсом, добродушный от трогательных мечтаний, обуреваемый их юношеским жаром. Он сам себе казался счастливым, и ему хотелось осчастливить других.

— Как часто любуюсь я такими людьми, Родион, как вы! Такая устойчивость, такая прямота!

Арсений Арсеньевич одобрительно потрогал Родиона по плечу и руке.

— Такая сила!

Он вспомнил свою речь у Каревых, ему стало приятно, что она получилась пышной и поразила всех, и он собрался продолжить свой триумф.

— О, я глубочайше убежден, что такие люди призваны создать нечто невиданное и громадное (Арсений Арсеньевич снова пощупал Родиона). И я со жгучей жаждой желал бы иногда перевоплотиться, чтобы ощутить в себе вашу физическую веру. Да, разве ваша вера не разлита у вас по всему телу?

Родион с любопытством слушал Арсения Арсеньевича, и ему казалось, что все соки мышц этого щупленького человека высосаны его головой, неизменно повернутой в профиль.

— Но сейчас, вечером,— продолжал Арсений Арсеньевич, смягчив голос ноткой вкрадчивости,— проходя через Неву, я опять почувствовал, что мир, обреченно уходящий из жизни, этот мир не менее достоин преклонения, чем новый человек. Мы не знаем красоты, которую создадите вы. Не знаем, как будете чувствовать вы вашу новую красоту. Но никогда уже не повторятся наши чувства, потому что никогда не повторится человек нашей эпохи. А мы умели чувствовать, Родион, мы умели создавать прекрасное и обольщаться им! И мне грустно, Родион, что новое человечество безжалостно выбрасывает нас из жизни. Грустно, потому что бесследное исчезновение нашего типа людей нанесет урон будущему, подобный тому, какой наука испытывает в исчезнувших зоологических видах. Мы носим в себе такие чувства, против которых вы ополчились не потому, что они вредны, а потому, что вы не обладаете ими, не хотите видеть их значения. Мы бережно храним чувство прошлого, а вы вытравляете в себе самый зародыш этого чувства. Я останавливаюсь возле дома, построенного Ринальди, и мое сердце бьется. Вы же мечтаете только о квадратных площадях и шарообразных зданиях неизвестного назначения. Нас всегда вдохновляло желание кинуть мост в будущее, и для этого мы старались крепче стоять в прошлом. О Родион! (Арсений Арсеньевич окончательно нащупал патетическую форму для своей речи, выбросил одну ногу вперед и вскинул над головой руку.) О, для нас не существует времени! Мы современны всем эпохам, мы поистине бессмертны! В Рим и Калькутту, на восток и запад, отсю-

да, с грязных улиц Васильевского острова, на тысячелетия вперед и назад мы протягиваем руки, и нас встречают всегда понимающие пожатия то мертвенно холодных костяшек, то жарких и влажных ладоней.

Арсений Арсеньевич приостановился, соображая, найдется ли для конца эффект более внушительный, чем понимающие пожатия костяшек и ладоней, но Родион воспользовался перерывом и негромко спросил:

— Вы сказали, Арсений Арсеньевич, что бессмертны? Тогда чего жаловаться, что вас новые люди выбрасывают?

Арсений Арсеньевич сменил поэтическую речь на разговорную, чтобы доступней объяснить свою мысль.

— Я говорю о том, каким способом передать будущему поколению подлинную окраску наших переживаний. Как сделать, чтобы они сохранились? Неужели навсегда новое человечество потеряет представление о нашем... ну, поймите меня, Родион,— вот тут (Арсений Арсеньевич ударил себя в грудь), неужели тут не заложено ничего прекрасного? Возможно ли, что это пройдет мимо вас на вечные времена, и ваши потомки... Нет! Мы вправе сохранить и передать вам великие движения нашей души. К счастью, попытки сделать это увеличиваются. Не только научная мысль, но также искусство приходит к нам на помощь. Например — музыка. Слышали ли вы симфонию Никиты Карева? Непременно послушайте, Родион. Скоро его концерт будет исполнен второй раз. Возвышенный героизм наших дней Карев сочетает с проникновенным...

Арсений Арсеньевич внезапно оборвал себя и спросил в испуге:

— Что с вами?.. Что с вами, Родион?

Родион медленно поднимался со стула и, вдруг схватив его за спинку, словно готовясь размахнуться, с неистовой силой стукнул им об пол.

— Проклятый концерт!

Арсений Арсеньевич попятился к двери. Но Родион, помолчав секунду, сдержанно проговорил:

— Я должен, к сожалению, прервать вас, Арсений Арсеньевич. У меня много очередной работы.

Щеки его передернулись, он криво усмехнулся.

— А что до этого Карева... то есть до музыки... Так это — не наша музыка. Плохая музыка. Плохая музыка,— повторил он, упирая на каждый слог.

Арсений Арсеньевич пожал плечами.

По его мнению, концерт Никиты Карева был просто великолепен.

...В самом деле, концерт был великолепен.

Никогда Никита не ощущал вокруг себя такой безоблачной чистоты, как в эти дни, после концерта.

Он попал к Ирине только на третьи сутки, нагруженный веселой и легкой кладью толков, пересудов, восхищения, приветствий. Помолодевший и живой, он перебирал в памяти все свои встречи с музыкантами, чтобы подробней, живей рассказать о них Ирине. Даже нелепое столкновение на улице с Родионом смутило Никиту всего на один миг. Мало ли бывает глупых, беспочвенных и — в сущности — курьезных столкновений?

Никита вбежал по лестнице, нетерпеливо дернул звонок. Уже раздеваясь, он впопыхах спросил прислугу:

— Ирина Матвеевна дома?

Если бы ему ответили — нет, он, кажется, все равно побежал бы к ней в комнату.

Но он увидел Ирину раньше, чем ожидал: она шла через приемную.

Никита бросился навстречу с протянутыми руками.

— Ирина, здравствуйте! — крикнул он.

Почти не замедляя шага, она подала ему руку и тотчас вырвала ее.

— Проходите ко мне, я сейчас вернусь,— сказала она.

Никита остановился посредине пустой комнаты. Не в первый ли раз он попал сюда? Золотые рамы картин строго поблескивали на стенах, рояль отражал черным кузовом кривые спинки стульев, чинно расставленных у подоконников. Было очень тихо, и тишину подчеркивало солнце, неохотно, в полтона светившее в окна.

Никита медленно прошел в комнату Ирины. Через минуту она вернулась.

— Я так рад, что наконец с вами,— сказал Никита.

Ирина ответила не сразу. Войдя, она не взглянула на Никиту и остановилась вполоборота к окну. Солнце падало ей в лицо, Никите видны были ничтожные движения ее прямых, низко опущенных над глазами ресниц, ее тонких прозрачно-розовых ноздрей.

— По всему видно, что рады,— произнесла она, скупо приоткрывая губы.

— Я был счастлив, когда к вам шел, и только теперь... Что случилось, Ирина? Почему вы...

— Ничего не случилось, все очень хорошо. Вы так спешили ко мне, что я имею счастье видеть вас ровно через неделю после концерта.

— Ирина, всего три дня...

— Все равно, три дня. Папа тоже говорит, что это очень мило с вашей стороны.

— Послушайте, Ирина. За это время было столько встреч. Меня просто закружили. Я хотел накопить и передать вам решительно...

— Каких встреч? — резко оборвала Ирина.— О каких встречах собираетесь вы говорить?

Она обернулась к Никите и жестко, вызывающе глядела ему в глаза.

— Что произошло с вами? — спросил он, стараясь отыскать в ее лице какую-нибудь тень шутливости или насмешки.

— Извольте сказать, о каких встречах намерены вы говорить? Ну, отвечайте же, говорите!

— Я хотел рассказать обо всем, что... Но вы не даете мне раскрыть рта.

— Пожалуйста. Вы хотите рассказать об этой женщине, которая преподнесла вам цветы? Но мне нет до нее дела. Не трудитесь. Я не собираюсь выслушивать все эти истории.

— Ирина!

— Вы, конечно, всю неделю были окружены... разными этими...

— Что же это наконец, Ирина? — горячо перебил Никита.

Она шагнула к нему, теребя свои пальцы, смуглость ее лица как будто исчезла, нетерпеливое ожидание выражал весь ее хрупкий, узенький стан, чуть наклоненный вперед.

— Скажите мне правду,— торопясь, проговорила она,— вы виделись с ней после того?

— Я столкнулся случайно, на улице.

— Так я и знала! — воскликнула она.— И, разумеется,— случайно.

Она стремительно отошла в дальний угол комнаты, став к Никите спиной.

Он не мог бы решить, что волновало его в эту минуту больше — изумление или радость. Он хотел кинуться к Ирине, чтобы схватить ее, повернуть к себе лицом, но вдруг до него долетел всхлипывающий, задушенный и слабый голос:

— Зачем вы мне солгали?

— Солгал? — громко вырвалось у него, и он поднял голову, повернув ее вбок, точно прислушиваясь к незнакомому и пугающему звуку.

— Зачем вы сказали мне... тогда, год назад... в саду, что она умерла?

Плечи Ирины подпрыгивали, как у плачущего ребенка — угловато и неровно, локти как будто еще больше заострились.

— Я сказал вам чистую правду! — воскликнул Никита.— Анна действительно умерла!

— Значит, это — другая?! — быстро спросила Ирина.

Обернувшись, она опять взглянула на Никиту в упор. Испуг и обида неузнаваемо изменили ее лицо, и слезы, как очки — от солнца, стеклянно поблескивали на глазах.

— Другая? — повторила она шепотом.

— Разумеется, другая! — нарочно грубо выговорил Никита.— Но выслушайте наконец, Ирина. Ведь все это страшно просто. И глупо. Вы сами будете смеяться, когда узнаете.

Он подошел к ней ближе, протянув руки, но словно боясь испугать ее своим прикосновением.

— Это — моя давняя, совсем давняя знакомая. Я встречался с ней раз в три-четыре года. Матвей должен знать ее, по крайней мере — должен был слышать ее фамилию. Это не важно. Словом, в детстве, почти в детстве, я действительно... Она мне тогда понравилась, понимаете? А потом... Она мне совсем чужой человек. И даже... Хотя нас, конечно, связывает, что тогда, в юности, мы так встретились. Она меня тогда очень поразила. Да и сейчас поражает... Но не в том смысле, нет! Даже как-то отталкивает. Ее преследования...

— Она преследует вас?

— Я, может быть, не так говорю. У нее странная, очень настойчивая мысль, что она как-то создана для меня, предназначена мне, понимаете? Поэтому, при каждой встрече с ней, мне кажется, что она преследует меня.

— Бедный,— вставила Ирина.

— Здесь нет ничего достойного сожаления. Я сам себе часто хочу объяснить, как случилось, что она всегда в наши встречи говорит об одном и том же. Я не понимаю ее. Удивляюсь ей. Она чужой мне человек, а вот может же случиться такое впечатление, как у вас, будто... Это просто... не знаю...

— Неужели так просто? — подхватила Ирина.— И вы никогда не давали повода?

— К чему?

— Ну... она не имеет оснований так себя держать с вами?

— Ирина!

Он взял наконец ее руки.

— Зачем вы тогда говорили о своем одиночестве? — спросила она, уткнув подбородок себе в плечо.— Я думала, что моя поддержка была нужна вам, а вы...

— Постойте, Ирина, постойте! Разве этот год не показал вам... Да нет, что говорить! Я вам обязан всей моей удачей, всем моим трудом, радостью моих...

Она вырвала у него свои руки.

— Мне становится тяжело с вами. Все одно и то же: труд,

труд, труд! Скажите мне, а я, что же я? Неужели вы не видите, что быть только средством... что я... ну, я не знаю, как сказать!.. Я начинаю чувствовать, что нужна была для ваших симфоний, а когда вы их написали, пришли другие, и я...

— Ирина, милый друг! — с мольбою выкрикнул Никита.

Он бросился к ней, но она, вздрогнув и смутившись, посмотрела на дверь. Никита оглянулся.

На пороге стоял Матвей Васильич.

Он был в пальто, которое горбило его, отягощало и как будто старило больше, чем другая одежда.

— Помешал? — спросил он, сипло и медленно вздохнув.

— Нет,— поспешно отозвалась Ирина.— Мы говорили о концерте.

— Вижу, какой концерт,— тяжело сказал Матвей Васильич.

— Заходи,— пригласила Ирина, но тут же поправилась: — или мы придем к тебе, потом. Хочешь?

— Нет,— сказал Матвей Васильич,— зачем же? Я проходил мимо, вздумал заглянуть. Да.

Он опять вздохнул, мутным, усталым взором поглядел на брата и, не прибавив ни слова, грузно повернувшись, ушел, сутулый и большой.

УТРАТЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Итак, умер Шеринг.

Почему не десяток других людей, которых можно было бы легко заменить?

Пустой вопрос. Человек беспомощен перед смертью. Он отвоевывает у нее шаг за шагом (вот именно, именно так Родион выражает свою мысль — отвоевывает шаг за шагом), но смерть все еще полновластна над человеком. Придет время — он умерит ее аппетит и будет даже регулировать ее.

— Ясно,— говорит Родион вслух,— урегулирует.

Но пока такие случаи неизбежны? Конечно.

Тогда почему смерть Шеринга причиняет страдания, почему с ней нельзя примириться?

Потому что она неожиданна, потому что она бессмысленна, потому что, черт знает...

Стоп, стоп, Родион! О каком смысле может быть речь? Смерть Шеринга неожиданна? Да. Значит, это — несчастный случай?

— Ясно.

Так ли? Ведь в каждом несчастии всегда отыскивают и почти всегда находят виноватых. Ну, скажем, рабочему оторвало руку. Может быть, виноват он сам, неосторожно обращаясь с машиной, может быть, администрация, которая...

— Да, да, администрация,— бормочет Родион, теребя взлохмаченную копну волос на затылке,— какая, к дьяволу, администрация? Что за чушь!

Но был же в самом деле человек, от которого больше всего зависела жизнь Шеринга?

— А-а!

Десятки раз передумал все это Родион и — попусту, безрезультатно!

— Жертва,— решил он,— Шеринг — жертва, неизбежная в большом деле. Умирали же люди на войне.

Нельзя, конечно, относиться к человеку так, как на войне. Долг требует от нас особой бережливости, а мы как будто ленимся доискаться, кто виноват в такой огромной потере, как Шеринг.

Но кто же, кто?

Не проверить ли еще раз обстоятельства смерти? Бесплодно! Они все памятны, и так обыкновенны, и так... необъяснимы.

Почему, например, мужественный, непоколебимый Шеринг обнаружил в последнюю минуту такой испуг? Чего он испугался? Разве прежде ему не приходилось глядеть в глаза смерти? Что он хотел сказать своему сыну? Зачем он звал его? Может быть, здесь искать разгадку?

Родион хорошо помнил, как однажды, поспорив со своим сыном, Шеринг отвернулся и сказал, словно самому себе:

— Отец был революционером, а сын будет остолоп.

Шеринг посмотрел на Родиона и засмеялся, но Родиону стало неловко, потому что смех Шеринга был фальшивым и как будто виноватым.

Зачем же понадобился ему перед самой смертью этот остолоп?

Родион, прикрыв глаза, вызвал в памяти нахохленную головенку восемнадцатилетнего мальчугана и заново видел, как он оттопыривает губы и, стараясь говорить баском, горячится.

— Товарищ, вы устарели! — наступает он на отца.— Ни одного житейского факта вы не можете разрешить без сусальничанья: революционная этика в традициях старой гвардии и прочая! Мы — люди нового, практического века, а вы становитесь музейным экспонатом. Мы приняли от вас ваше завещание и приступаем к работе. Позвольте нам знать, как лучше строить описанную в ваших книжках жизнь. Мы прежде всего хотим уметь работать, то есть быть специалистами! Из вас же никакого толку не выйдет, вы ни одного дела не знаете. Что, я не прав, не прав?

Он хохлился еще больше, грыз ногти, краснел и несся дальше:

— Пошлют вас в банк — вы в банке. Пошлют в тюрьму — вы в тюрьме. Потом — в сорабисе, потом — не знаю где. Вы думаете, при помощи политики можно все сделать? Детская болезнь левизны!

Тогда, поймав этого мальчугана в уголке, Родион сказал назидательно:

— Много ты умных слов говоришь. Мы таким словам сколько лет учились, да и то редко их говорим, а ты сыплешь почем зря. Этак тебе веры не будет.

— Вы, кажется, пользуетесь знакомством с моим отцом, чтобы говорить мне грубости? — напыжившись, ответил мальчуган.

Родион махнул рукою.

Он машет рукою и сейчас, в безнадежности, почти в отчаянии, не умея справиться с разбегающимися во все стороны воспоминаниями, сбитый с толку путаницей чувств, которые взбаламутили его в эту проклятую ночь.

— Я тоже хорош! — бормочет он и с нетерпением барабанит пальцами по оконной раме, трет ладонью холодное, вспотевшее стекло и прижимает мокрую ладонь к широкому своему лбу.

Ведь если в гибели Шеринга виноват его сын, то виноваты все, кто был Шерингу близок, виноват Родион. Он обязан был подумать о том, как устроена личная жизнь Шеринга (о своей жизни Родион находит время подумать, он думает о ней слишком много!), обязан был заметить, как подкрадывается к Шерингу смерть. А он только брал от Шеринга все, что мог, и ничего, ничего ему не дал.

— А что я мог сделать, когда даже Карев...

И в сотый раз перед Родионом появляется профессор Карев,— медлительный, с тяжеловесными, уверенными движениями, в долгополом мешковатом сюртуке,— профессор Карев, который должен был спасти Шеринга и не спас его...

— Как она могла очутиться у Карева? Он ждал ее там, Никита ждал ее,— шепчет Родион, расхаживая по комнате.— Если бы не ждал, не растерялся бы, когда увидел меня. Все было подстроено. И Варвара лгала, всегда лгала...

Родион круто обрывает размашистые свои шаги, точно спохватившись.

О чем он? Кажется — о Кареве, на котором лежит ответственность за гибель Шеринга. Да, о Кареве. О Никите Кареве, о музыканте. На нем лежит ответственность? Да, вся ответственность на нем!

— Что за черт!

Родион подходит к кровати, стягивает с вешалки полотенце и, словно после умывания, вытирает лицо.

Потом он слышит осторожный, как будто неуверенный стук в наружную дверь. Родиону не хочется выходить из комнаты, он садится и смотрит на дочь.

Ленка тихонько примеряет один к другому раскрашенные деревянные каравайчики. Она уже много раз добивалась у отца:

— Что ты говоришь такое?

Но отец не отвечал, Ленка решила, что, значит, так нужно — шагать по комнате, бормоча с самим собой,— и давно занялась каравайчиками.

Стук в дверь раздался громче, настойчивее. Родион с неохотой встал и пошел отпирать.

В передней он зажег лампу, и, когда открыл дверь, на темную площадку лестницы выпал густой желтый угол света. В нем Родион увидел девушку.

Он не успел спросить, что ей надо, как она, быстро вглядевшись в него, отступила к самому краю площадки.

— Как... Разве вы... здесь? — в каком-то страхе пролепетала она.

Родион не понял ее. Ему показалось, что девушка хотела броситься назад по лестнице, но, схватившись за перила, насильно удержала себя.

— Разве... здесь не живет Арсений Арсеньевич Бах? — спросила она все с тем же непонятным страхом.

— Вы к Арсению Арсеньичу?

— Да... Нет... То есть — да! Я хотела к нему... но я вижу, вы живете вместе с ним.

Она оттолкнулась от перил таким отчаянным движением, как будто для этого была нужна особенная решимость.

— Я отыскивала Арсения Арсеньича, чтобы узнать о вас. Мне нужно вас.

— Меня?

— Я вас не знаю, и вы — меня,— торопилась она,— и это, конечно, странно, что я пришла. Хотя я знаю, как вас зовут. Родион... простите, я дальше не знаю.

— Что же вам нужно?

— Мне необходимо с вами говорить. Очень важно. Я вас видела четыре дня назад. Вы были у нас ночью, помните?

— Четыре дня назад? — насупившись, спросил Родион.

— Да, помните? Я дочь профессора Карева.

Родион приподнял голову.

— Ага! — промычал он, свысока разглядывая Ирину.

Он чуть-чуть не сказал: чует кошка, чье мясо съела! — и ухмыльнулся.

— У вас сейчас... вы можете сейчас поговорить со мной, недолго? Мне правда очень необходимо.

Она опять говорила неуверенно.

— Пойдемте.

Первую минуту в комнате они оба молчали. Родион испытующе ждал, что скажет Ирина, она глядела на Ленку остановившимися, немигающими глазами.

— Это ваша дочь? — спросила она тихо.

— Да.

— От вашей жены?

Родион засмеялся. Ирина перебросила взгляд с Ленки на Родиона, вдруг поняла глупость своего вопроса и заспешила:

— Я хотела... я говорю... мать этой девочки — та женщина... которая приходила ночью... встретилась с вами у нас?..

Она совсем сбилась, вспыхнула и замолчала.

— Я думал, вы будете говорить о своем отце,— хмуро сказал Родион.

— Об отце? Почему?

— Ну, может, о Шеринге.

— Почему... о Шеринге? — еще больше удивилась Ирина.

— Что же, вы собирались говорить про мою жену, что ли? — насмешливо спросил Родион.

Ирина громко перевела дыхание, лицо ее вытянулось и дрогнуло, точно от обиды, она ответила резко:

— Да.

— Что-о?..— протянул Родион.

— О вашей жене.

Он сорвался с места и зашагал из угла в угол. Ирина пододвинула к себе стул, села. Родион остановился перед нею, пожал плечами: нельзя было понять, чего добивается эта худенькая упрямая девочка.

— Я, знаете, считаю, что это мое личное дело — жена,— грубо сказал он.

— Ведь я понимаю, что это нехорошо... что я говорю. Но и вы поймите, что ведь я хочу тоже о своем личном деле!

Родиону послышалась в этих словах жалоба, он насторожился на мгновенье, но тут же подозрительно и вкрадчиво спросил:

— Стало быть, этот музыкант Никита Карев вам — родным дядей?

— Почему вы спрашиваете... о нем?

— Чего же он от меня желает?

— Он... от вас?

— Ну да. Ведь это он прислал вас ко мне с поручением?

Он глядел на Ирину, угрюмо опустив брови, лоб его казался от этого еще круглее, выпуклее, и замкнут, черств был пристальный взгляд.

— Мне никто ничего не поручал. Я говорю, что вы нужны мне по личному делу.

— Тогда, может, вы начнете?

Ирина привстала, вновь села, потеребила на столе угол клеенки, отвернулась.

— Я, наверное, не так начну... то есть я не хочу, чтобы вам было обидно, или... ну, я не могу!.. Словом, я должна прежде всего знать: ваша жена... она от вас ушла?

— Как это моя жена стала ни с того ни с сего вашим личным делом?

— Она бросила вас? — настойчиво продолжала Ирина.— Да? Иначе за что же вы... назвали ее так... тогда, у нас? У меня нет права спрашивать, я знаю, но я прошу...

Она почти задыхалась. Опять привскочив на стуле и крепко ухватившись за край стола, она твердила:

— Я прошу вас, пожалуйста, ответьте! Значит — правда, вы назвали ее так, потому что она...

Родион оборвал ее:

— Зачем вам нужно это?

Но, тотчас догадавшись, он смутился, и так неожиданно для него было это смущенье, что в голосе его появилась чужая ему боязливая предупредительность:

— Тогда, уж если расспрашиваете меня, так позвольте тоже...

Он неловко помялся.

— Вы что, этого музыканта, дядюшку вашего... он что, видно, тоже как-нибудь... обманул вас?

— Значит, правда? — быстро шагнув к Родиону, спросила Ирина.

— Что?

— Почему вы сказали — тоже?

— Ну, нет,— усмехнулся Родион.— Нет, конечно. Он-то меня не обманывал, я не имел с ним дела, да и не буду.

— А про жену вы знаете?

— Что про нее знать,— вдруг доверчиво и просто сказал Родион.— Знаю, что вот, как видите, ее нет.

Он обвел глазами комнату и, словно извиняясь, улыбнулся.

— Это ее дело. Не захотела жить — ушла. Только зачем вот...

Он грубо и с отвращением, торопясь выговаривать слова, досказал:

— Зачем надо было изолгаться, как не знаю кто? Что, я тиранить бы стал ее за правду?

— Она лгала вам,— убежденно тряхнула головой Ирина.

— Говорит — нет.

— А вы?

— Что я, слепой, что ли? Я, как увидел вашего музыканта, сразу понял.

— Ну, конечно! — горячо и точно обрадовавшись, подхватила Ирина.— Я тоже сразу увидала! Я это прекрасно все обдумала и

все теперь понимаю. Когда вы вошли, он страшно испугался, я его никогда таким не видала. И потом, когда ворвалась она, ваша жена, он просто не знал, что ему делать, потому что вы и потом — я, ведь я была тут же, рядом!

— Ха! А как же она могла очутиться у вас? Искала меня, говорит, а попала к музыканту!

— Нет, сговориться они не могли. Это невозможно. Он просто не посмел бы!

— Ого! Еще как возможно! Да вы вот сами откуда знаете, что они...

— Я ничего не знаю! — перебила Ирина.— Я только теперь окончательно убедилась. Я для этого и пришла. Он мне тоже сказал, еще давно, после концерта, что неправда. Говорил, что они — друзья. Я тогда поверила, я думала... А вот этой ночью...

Ирина безудержно мчалась вперед. Она убеждала себя в том, что не ошиблась, что все ее предположения о Никите подтвердились, что они были верны и она чувствовала это давным-давно. Негодование ее пылало каким-то костром, и Родион подбрасывал в него сухого хвороста.

Два человека, полчаса назад не знавшие о существовании друг друга, внезапно оказались союзниками и в исступлении изобличали вероломство своего врага.

Они были правы, они совершенно убедились в своей правоте, и пришел момент, когда нужно было поглядеть на себя новыми, правыми глазами.

Тогда Родион увидел очень юную, хрупкую девушку, рассерженную и уже не сомневавшуюся в сочувствии, уверенно требовавшую его от Родиона. Это показалось ему дерзостью, но не оттолкнуло, а только заново наполнило его смущением. Ему стало почти стыдно бесцельной откровенности разговора, и вдруг он, уже совсем бесцельно и откровенно спросил:

— А видно, здорово вы любите своего музыканта?

— Ничуть,— ответила она решительно и спокойно, как будто больше всего ждала этого вопроса и больше всего приготовилась к нему.

— Ни ка-пель-ки,— добавила она по слогам.— Мы были просто друзья, и он нуждался в дружбе больше, чем я.

Надо было заглушить возраставшее смущенье. Родион быстро отыскал в Ирине смешное (она все теребила и дергала на столе клеенку) и с улыбочкой сказал:

— Тогда, может, и с моей женой они были просто друзья?

— Вы же сами говорите, что нет! — испуганно воскликнула Ирина.— И я вовсе не хочу, чтобы у него были друзья! То есть женщины! То есть я не хочу, чтобы он мне не говорил, если у него

есть... Он не смеет меня обманывать! Вы же сами сказали... И вообще вы меня совсем не так поняли. Я теперь вижу!

Она отвернулась и, облокотившись на стол, закрыла рукою лицо.

Родион ходил из угла в угол. Потом остановился у окна, опять, как недавно, потер пальцами по стеклу и сказал:

— Самое противное, что здесь всё на обмане, изолгались зачем-то...

Ирина могла быть удовлетворена: этот человек серьезно и окончательно признал ее правоту. Она облегченно вздохнула и посмотрела на Родиона.

Он стоял к ней спиной. Большая голова его, глубоко сидевшая в плечах, недовольно подергивалась. Он был простовато, грубо сложен, но в осанке его Ирина нашла что-то добродушно-застенчивое, привлекательное и потешное, как в игрушечном медведе. На концерте, где Ирина в первый раз увидела Родиона, и — особенно — ночью, когда он своим появлением взорвал каревскую именинную пирушку, он показался ей страшным.

Они молчали, оставаясь неподвижными, выжидая друг от друга какого-то решения. И это молчание связывало больше, чем откровенная речь, словно из него вырастало право Ирины находиться в этом доме и говорить с чужим человеком о том, о чем она ни с кем не говорила.

Тогда Ленка, заскучавшая в своем уголке, подошла к отцу и потрогала его за рукав.

— Папуленька,— сказала она,— давай со мной немножко поиграем.

Родион положил руку на ее всклокоченную голову.

— Как же поиграть? — улыбнулся он.— Погоди.

— Ну давай со мной поиграем в поезды,— нараспев протянула Ленка.— Ты будешь пассажир, а я — пассажирница.

Ирина рассмеялась и, вдруг подбежав к Ленке, начала тормошить ее за плечи, как умеют тормошить детей одни женщины.

— Как ты сказала? Как? Пассажирница? Ну, хочешь, я буду с тобой играть? Хочешь? Ну, покажи мне свои игрушки. Пойдем.

Она повела Ленку к игрушкам, присела около нее на корточки, но тотчас обернулась к Родиону.

— Вам, может быть, неприятно... что я с ней? — спросила она.

Он посмотрел на нее исподлобья.

— Нет, что же, если хочется,— пробурчал он.

Ирина поднялась.

— Я пойду.

— Что же вы? Если вам забавно, так пожалуйста,— кивнул он на дочь.

— Нет, я пойду,— повторила Ирина.

Наступила минута, когда нужно было платить за все, о чем было умолчано, и за все, что было сказано в этот вечер.

Ирина подала Родиону руку. Он взял ее осторожно. Решительно нельзя было найти ни одного подходящего слова, и все посещение Ирины с каждой новой секундой все больше теряло свой настоящий смысл.

— Простите, что я помешала вам.

— Да вы не помешали. Давайте кончим об этом.

— Да, правда. И потом все это очень глупо,— вспыхнула Ирина.— С моей стороны...

— Ну, как сказать... я понимаю.

Родион потер свои руки. Визит был окончен.

В передней, открыв дверь, Родион спросил:

— Что же, кланяться Арсению Арсеньичу?

— Нет, зачем? А впрочем, пожалуй.

— Нашим знакомством мы ведь обязаны ему,— улыбнулся Родион.

— Вы с ним дружны?

— Он старик хороший.

— Очень.

Неожиданно была найдена приемлемая тема, и с облегчением, поспешно, Родион сказал:

— Погодите, я зажгу спичку, здесь темень. Или, постойте, я провожу вас.

— А как же дочь? Одна?

— Ничего, это — в два счета.

Родион вернулся в комнату, потом выбежал, натягивая на плечи куртку. Он чиркнул спичкой и пошел вперед.

И вот разговор, тянувшийся несколько минут и разделенный длинными паузами:

— Осторожно, ступенька.

— Я вижу.

. . . . . .

— До свиданья.

— Я доведу вас до трамвая, а то вам, поди, жутко.

— Я не боюсь.

. . . . . .

— Куда же вы полетели? Мне за вами не угнаться, вы вон как шагаете!

— Привычка, понимаете ли.

. . . . . .

— А теперь уж очень тихо.
— Не приноровишься.
— Зачем же вызываться провожать?

. . . . . .

— Вы часто видитесь с Арсением Арсеньевичем?
— Случается.
— О чем же вы говорите?
— Спорим.
— Вы с ним?
— Ну да.

. . . . . .

— Кто же из вас побеждает?
— Я, конечно.
— Скажите, какая самоуверенность!

. . . . . .

— Вы большевик?
— Да.

. . . . . .

— Вон мой трамвай. Спасибо.
— До свиданья... А — здорово, знаете ли, я на вашего отца сержусь.
— Это почему?
— Да вот история с Шерингом.
— При чем тут мой отец? Ведь вы не медик. Как же вы можете судить? А мой отец замечательный, и вам должно быть это известно. До свиданья.
— Осторожно...

Трамвай мчало по бессветным прямым линиям, ветер ломил ему наперерез, было холодно и бодро. То, что Родион пошел провожать Ирину, и то, что они говорили не о главном, наполнило ее спокойствием. Все было ясно, и решение, которое она приняла, было принято по совести, раз навсегда.

Исполнить это решение Ирине привелось раньше, чем она ждала.

Почти у самого дома она увидела Никиту.

За ним только что захлопнулась дверь, он огляделся по сторонам и пошел навстречу Ирине. Она невольно остановилась, но тут же заставила себя идти дальше очень уверенной и очень строгой ровной поступью.

Когда Никита узнал Ирину, он немного свернул со своего пути, направляясь прямо на нее и загораживая ей дорогу.

— Вот хорошо,— сказал он.— А я сидел у вас добрых полчаса.

Он остановился лицом к лицу с Ириной и вынул из карманов руки.

Она обошла его так, как обходят случайное препятствие — столб, тележку, неудобно поставленную развозчиком, или ребятишек, затеявших игру,— не подняв глаз, не изменяя шага, как будто не заметив, что́ именно пришлось обойти: столб, тележку или ребятишек.

С тем же равнодушием и тою же походкой Ирина прошла несколько шагов до двери. Но, когда открыла ее и очутилась в фонаре — между дверей, она с страшной силой втянула в себя воздух и схватилась руками за грудь: надо было не только пройти эти несколько шагов от Никиты до дома уверенной и строгой походкой, надо было еще дышать, как всегда, а на это не хватило воли. И тотчас Ирину потянуло взглянуть на улицу, посмотреть, как там стоит в неподвижности (о да! непременно так: в неподвижности) Никита, и на мгновение защемило в горле, как щемит, когда сделаешь что-нибудь злое и не хочешь признаться в этом.

И она не взглянула на улицу, а побежала по лестнице, шепча на ходу:

— И наконец имею же я право поступать плохо... не должна же я поступать хорошо... если я не хочу, не хочу, не хочу!

И она дернула звонок.

Ей захотелось поделиться с кем-нибудь своим радостным волнением от этого неиспытанного, щемящего чувства. И когда она подумала, кому могла бы сказать о том, как наказан Никита (теперь он наказан за все, за все!), ей пришло в голову единственное имя:

Родион.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Витька Чупрыков вертел в короткопалых руках свой помятый картузик, ерзал глазками по стенкам, ежился и говорил:

— Погодка, черт-е что! То даже снежку поднасыпало, то будто лето, а сейчас стужа, смерть!

Он запихал картузик под мышку, сложил ладони трубкой и подул в них.

— У-ух! Продрог... Что же плохо принимаешь? Не соскучилась? — спросил он.

Варвара Михайловна показала на стул.

— Садись. Страшно соскучилась.

— Смеешься? Надо мной смеяться легко, я беззащитный.

Он вздохнул и опять бойко оглядел комнату.

— Бедненько ты живешь. Это после такого-то сытья! Эх, ну и сытье было, ну и сытье! Помнишь, чай? Палатки-то ломились от добра.

— Ты что опустился? Пьешь, что ли?

— Когда подносят — не отказываюсь, а подработаю — и сам найду. Ты ведь тоже против прошедшего времени сдала.

Он всмотрелся в Варвару Михайловну и покрутил головою.

— Хотя нет, сбрехнул: ты все еще краля. Эх, Варюша!

Витька мечтательно прикрыл глаза и посидел молча.

— Что же твой комиссар бедно тебя содержит, а? Или, может, поиграли, да будет? Да? Так я и знал. Сволочи все они... А жалко. Я, говоря по правде, рассчитывал, вот, мол, у тебя — рука, глядишь — и поддержка какая произойдет. Все-таки вместе кровь проливали, за общее, как говорится, за святое дело.

Он подмигнул Варваре Михайловне.

— Это ты в провиантской, что ли, кровь проливал? — усмехнулась она.— Когда сахар развешивал?

— Других героев пощупать — мало ли чего откроешь. Я таких знаю: ходят — не подступись. А у меня как-никак контузия. Инвалид славной гражданской войны.

— Значит, ты на Родиона надеялся?

Витька сказал внушительно:

— Надеялся я больше на тебя, Варюша. Ты Витьку Чупрыкова никогда не оставляла, в уважение к прошлому времю. А через тебя, конечно и обязательно, имел вид на твоего комиссара. Но, как теперь я понимаю...— он снова оглядел комнату, и на этот раз — с пренебрежением,— ...что ты сама в крайности... чего с тебя взять? Рукомойничек у тебя заржавленный, кроватка средняя, а от старого — один чемоданчик...

Он посвистел и врастяжечку спросил:

— Хотя, может, скрываешь? Может, еще чего от старого сохранила? Не таись, Варюша. Я тебе большую пользу могу оказать. Витька — человек верный.

Глазки его спрятались в мешочках распухших сиреневых век. Он постарался загадочно улыбнуться.

— Ты все еще в прежних чувствах?

— Не суй носа, куда не нужно,— жестко сказала Варвара Михайловна.

— Я — что же,— безразлично заметил Витька.

Он посидел молча, с таким видом, как будто отыскивал какой-нибудь новый предмет для беседы, вынул из кармана спички, отломил от коробочки щепочку и принялся старательно чистить ногти.

— Знакомого одного нашего видел,— сказал он невинно.

Варвара Михайловна не отозвалась.

— Известным стал человеком, прямо знаменитость. Анонсы клеют по заборам, буквы в аршин.

Варвара Михайловна молчала.

— Везет которым людям, черт-е что,— простодушно вздохнул Витька.

Щепочка сломалась у него под ногтем и упала, Витька нагнулся поднять ее и, между делом, справился:

— Представления его не смотрела? Синфонией называется. Нет? Интересно знать, музыка это одна или также действие с чем-нибудь? Не слыхала?

Варвара Михайловна скрестила руки и прислонилась к стене.

— Не могу я, Витька, взять в толк: к чему ты клонишь?

— А что? Я ничего. Я так, для разговора.

— Нет, лучше скажи прямо, брось свои фигли-мигли.

Витька развел руками.

— И я тебя, Варюша, не могу понять. Прямо-таки удивлен. Не узнаю, не верю, что возможно!

— Ну, говори! — прикрикнула она.

Витька ударил себя по ляжкам, подпрыгнул на стуле и захихикал, с присвистом, сквозь зубы, всасывая воздух.

— Попал, попал в точку! При старом интересе! Угадал! Все, как было, на месте. В прежних чувствах. В прежних чувствах, Варюшенька!

— В отношении кого?

— Ах, как это ты тонко говоришь,— восхитился Витька.— В отношении! У нас с тобой, Варюша, никакого отношения не было. Отношение было у тебя с другим человеком. И, как я ожидал, отношение ваше, конечно и обязательно, вполне сохранилось.

— К чему ты все это? — резко оборвала Варвара Михайловна.

Чупрыков сразу осекся. Сощуренными, прыгающими глазками он изучал Варвару Михайловну пристально и упорно, прикусывая губы и вертя в пальцах изломанную в крошки щепочку от коробка.

— Ну? — поторопила его Варвара Михайловна.

Он спросил тихонькой хрипотцою:

— А он к тебе тоже по-старому, да? Знай наших? Не подступись? Чай, поди — на козе не подъедешь, знаменитость, а?

Варвара Михайловна не ответила.

— А-ах! — крякнул Витька, ударив себя кулаком по коленке.— Стало быть, тоже угадал! Эх, Витька, смекалист, да смекалка зазря пропадает! У-у-у! — со злобой прогудел он.— Смерть как я его не терплю!

Он опять суетливо задергал сиреневыми мешками век, с усилием вглядываясь в лицо Варвары Михайловны.

Но оно было сосредоточенно-неподвижно.

Тогда Витька вскочил со стула и подбежал к Варваре Михайловне.

— Хочешь,— хрипло сказал он, выпятив подбородок и стараясь поглубже заглянуть в глаза Варвары Михайловны,— хочешь, я за тебя посчитаюсь с Никитой Васильичем? Хочешь? Молчишь? Хочешь?

Беглый, неуловимый оттенок улыбки мелькнул на губах Варвары Михайловны. Она смотрела Витьке в глаза не мигая. Он вертелся перед нею то справа, то слева, рассматривая каждую черточку ее лица.

— Ну, скажи мне: Витька, сделай с ним вот что! Я готов! Придумай что хочешь,— все сделаю. Мне терять нечего, я для тебя на все пойду. Ты только скажи! Скажи слово!

Варвара Михайловна не шелохнулась.

Витька умоляюще сложил руки.

— Согласись! Никогда не найдешь такого человека, как Витька. Думаешь — хвастаюсь? Хочешь, я тебе скажу адрес Никиты Васильича? Знаешь? Иль нет? Хочешь? Ну, ладно!

Он быстро назвал адрес Карева и, отстранившись, посмотрел, какое впечатление произвел на Варвару Михайловну. Она как будто ухмыльнулась, но все еще стояла неподвижно, скрестив руки и прислонившись к стене.

— Ну, хочешь,— захлебываясь, в каком-то отчаянии забормотал Витька,— хочешь, он нынче же, вот сейчас, прибежит сюда, хочешь? Я могу сделать, что он у твоих ног будет валяться! Я его заставлю все обиды отмолить у тебя, Варюшенька! Все до единой! Он у меня вот где! Я только захочу — с него весь гонор, как пыль со шляпы. Мне стоит про него словечко сказать в одном месте, и вон он — со своими анонсами! Сам прибежит, и звать не надо. Ну, согласись, Варюша, захоти, накажи Витьке, и Никита Васильич при тебе будет, и Чупрыков по гроб-с...

Он вдруг сильно откачнулся от Варвары Михайловны и попятился к двери, зажав обеими руками рот.

Варвара Михайловна не спеша отряхнула руки.

— Верно я тебя поняла? — спокойно проговорила она.

Витька косился на нее разозленно, но с опаской, и осторожно, одним пальцем пощупывал верхнюю губу.

— Привычка у тебя прежняя осталась,— прогундел он,— чуть чего — сейчас это... по-купечески. Крепкий ты человек!

— Крепкий,— сказала Варвара Михайловна.— Я тебя выручила, но — смотри! Надо будет — не пощажу!

Витька примолк, желтые глазки его сновали, он решал — свести ли все к шутке и как-нибудь иначе попытать счастья или отступиться?

Вдруг он весь искривился и, оттопыривая распухшую губу, зашипел:

— Не хочешь с Чупрыковым по-хорошему? Не хочешь? Ну, тогда пеняй на себя! Не видать тебе...

Он высоко поднял руку, как для клятвы, но в тот же миг неожиданно юрко шмыгнул вон из комнаты, просунул в приоткрытую дверь голову и, оградив себя от опасности, докончил:

— Не видать тебе твоего Никитки!

Он захлопнул дверь.

Варвара Михайловна послушала, как громыхали в коридоре Витькины сапоги, и расхохоталась.

Смех ее был громок, весел и так заполнил собою комнату, что Варваре Михайловне показалось, будто подались, раздвинулись стены. Впервые с тех пор, как она приехала сюда, звучал здесь такой смех, и впервые в этих стенах она ощутила приток радостной, волнующей силы.

Варвара Михайловна опять захохотала, теплая, беспокойная и в то же время ласковая бодрость все больше и глубже переполняла ее и вдруг заставила закрыть глаза.

В убогой, невзрачной комнатушке, обезобразившей жизнь Варвары Михайловны, ей захотелось сейчас же и со всеми подробностями совершить самое нежное и трогательное священнодействие, которое было ей доступно. Зачем это было нужно? Ни за чем. К чему собиралась приготовить себя Варвара Михайловна? Ни к чему. О чем она могла думать в этот торжественный и беспамятный час? Ни о чем.

Она была настолько счастлива, что ей даже не приходил на ум естественный в такие минуты и веселый вопрос: счастлива ли она? Каждое движение ее удесятеряло счастье, каждый поворот тела насыщал ее избыточной плодоносной силой.

И все, что Варвара Михайловна делала, было тем слаще и полноценней, что кругом сияла черная бедность — оббитая эмаль таза под умывальником, простое железное ведро и щербатый кувшин, выгнутые облезлые спинки кровати и тесный низенький стол туалета. И чем бесцельней были процедуры странного, восхитительного и пустого священнодействия, чем меньше вязались они с жалкой неприглядностью обстановки, тем радостней было их совершать.

Самая негодность вещей для дела, к которому их нужно было применить, доставляла Варваре Михайловне наслажденье, и неудобства приносили удовлетворение, и вода наливалась из неуклю-

жего ведра в неуклюжий кувшин с таким же трепетным предвкушением приятного, с каким открывается кран теплого, многоводного душа.

Большое счастье дробилось в руках Варвары Михайловны на маленькие дольки и казалось бесконечным.

Воды было много — целое ведро, и таз вмещал ее всю, без остатка. Каучуковая губка сохранила всю свою упругую, пористую крепость. Мохнатое полотенце было широко и мягко, большие флаконы с туалетной водой опорожнились еще не до дна.

И велика ли беда, что кровать узка и горбата? Не нужно много места, чтобы раскидать вынутые из чемодана вещи — гладкие, как хорошо сложенные листы папиросной бумаги,— выбрать и неторопливо надеть то, что покажется лучше.

Потом скрутить в тугой жгут волосы, намотать его на пальцы левой руки и придавить узел к затылку. И вот — долго, одну за другой,— подцеплять с фарфоровой тарелочки около зеркала скользкие, холодные шпильки; затупленные в шарики концы шпилек крепко втыкать в волосяной узел, ощущая их холодящее царапанье по затылку, внимательно рассматривать каждую частичку лица в отдельности и убеждаться, что еще много, много долек счастья впереди.

Варвара Михайловна начала мурлыкать, песенка сама приноровилась к ее движениям и то готова была совсем оборваться, то вдруг галопом неслась в веселье.

Жесткая щетка плотно придавила волосы к темени, они выпрямились и блеснули сплошной ровной полосою глянца. Кусочек ваты, намоченный из пузырька, быстро задвигался по щекам, по лбу и подбородку, мгновенно насыщая кожу сверкающей яркостью.

Эту яркость надо было смягчить, и мохнатым белым пушком Варвара Михайловна накладывает на лицо пудру, и она разлетается вокруг голубой пыльцою и оседает на зеленоватой поверхности зеркала.

Варвара Михайловна промывает веки розовой водой, смотрит в углубившуюся темноту глаз, потом берет щеточку и расчесывает ею ресницы.

Почти все сделано, но счастье еще велико, и с ним не хочется скоро расстаться.

Тогда проверяются все звенья обвораживающей цепи, и пройденный милый, глупый путь вновь восстановлен последним, мимолетным прикосновением к каждому клочку ваты, к пузырькам, расческам, ко всем обласканным частицам лица и ровному глянцу волос. Остается надеть платье, расправить и одернуть на нем складки, еще раз наклониться к зеркалу и щеточкой скользнуть по бровям.

Потом наступает заключительный акт священнодействия. Он так кропотлив и тих, что песенка Варвары Михайловны постепенно угасает, и она молча, подолгу разглядывает свои ногти в отдельности, попарно и все вместе. И когда густо-розовые овалы ногтей — ножницами, напильниками и замшей — приведены к однородности формы и блеска, тогда... .

Вот тогда в комнате проступает все неприглядное убожество, тогда некуда спрятать взгляд от переполненного мутной водою таза под умывальником, от потертого пола, от кривоногого стула и горбатой кровати.

Но неужели ради этого жалкого скарба Варвара Михайловна по глоточку пила томительную, беспокойную и веселую радость? Неужели здоровье и сила переполнили Варвару Михайловну для того, чтобы исчезнуть, задохнувшись в серой, беззвучной духоте убогих стен? Нет, Варвара Михайловна только на одно мгновенье задумалась: не забыто ли что-нибудь из самых глупых и самых необходимых пустяков? Еще один взгляд на разложенные перед зеркалом мелочи — и все.

Можно надеть пальто, навесить на дверь маленький медный замочек, пройти темным коридором и вырваться на волю.

И тут каждый шаг — новая долька продолжающегося счастья, тут стужа согревает тело, и ветер, вылетающий из-за угла, ждет, чтобы пошли ему навстречу, тут подмороженный асфальт зво́нок, как стекло, и каменный город не может скрыть за своею суровостью, как он — старик — доволен, что по нему ходят такие красивые, такие бодрые люди.

Мимо огней, в перемежающемся их свете — молочно-голубом, оранжевом и красном,— нескончаемыми галереями проспектов идти, не умеряя шага, идти без цели, и только слышать, как нагнетается, растет и крепнет сила. Не все ли равно, куда приведут проспекты? Нужно ли знать, как называется вот эта улица, вот этот мост, и набережная, бегущая покато книзу, и дом, глубоко отступивший за чугунную крутую вязь решетки?

Не все ли равно, куда идти? В тяжелые ворота, наполовину приотворенные, во двор, который обнят приземистыми оштукатуренными флигелями дворца, направо или налево, под какие-то грузные своды, в какой-то темный сад, и дальше — по дорожке, засыпанной звенящими мерзлыми листьями, и потом наискось, в подъезд, на старомодную пологую лестницу, ведущую не все ль равно — куда?

— Ха-ха!

Тут Варвара Михайловна вспоминает одутловатую рожу, двигающиеся сиреневые мешки под глазами, торопливое лопотанье не то скомороха, не то обезьяны.

— Дурак! — говорит Варвара Михайловна и дает волю снова приступившему смеху.

Она с любопытством и удивлением разглядывает громадную дверь, отыскивает звонок и, нажимая кнопку, все еще смеется, все еще удивляется, как это она — Варвара Михайловна — очутилась перед этой дверью, и может ли быть, что именно за этой дверью (такая толстая, такая колоссальная,— как в казначействе!) живет Никита Карев...

Было уже поздно — часов одиннадцать. Уличный шум доносился сюда только летом — при открытых окнах. Вечерами здесь наступала особенная тишина, и массивы стен настороженно, ревниво берегли ее.

Жилище для себя Никита долго отыскивал. Он дорожил им, оно было как будто приготовлено для него — замкнутое, скрытое от чужого взора. Можно было в любое время уйти из города и по-прежнему оставаться в двух шагах от самых людных, живых его перекрестков.

Но в этот вечер настороженная замкнутость дома становилась Никите в тягость. Тишина сгущалась и готова была вот-вот переступить какой-то предел и обратиться в тоскливое беззвучие, гнет которого давно испытал Никита.

Он привалился на диване, неумело, часто попыхивал папиросой и поминутно сдувал с нее пепел. Раза два Никита подходил к нотам, разложенным на рояле, потом — к столу, помешивал в стакане остывший чай, но забывал выпить его и опять шел к дивану.

В течение целой недели ноты передвигались с одного конца рояля на другой. За последние два дня Никита перестал даже притрагиваться к ним, а только изредка лениво всматривался в исчирканные линейки бумаги.

То, что он не мог ни за что взяться, что его дело казалось ему ненужным и скучным, а он сам себе — бездарным и тупым, все это почти не беспокоило Никиту. Опыт успел научить его, что подлинная вера, как самка плодовитого животного, так же легко пожирает сомнения и безверие, как легко их плодит. И если бы в припадке отчаяния Никита не нашел в себе даже остатков веры, то и тогда он не мог бы бросить своего рукомесла иль своего искусства — не безразлично ли, как будет названа болезнь, которой он страдал?

Он мог часами смотреть на рояль, без страха, без опасений за свою судьбу, за *эту* свою судьбу, и в то же время другая судьба наполняла его тоскою.

Эту другую судьбу надо было так же делать, как первую. И здесь, как в музыке, надо было одолеть препятствия, пройти

скорбный послух, и здесь каждая крупица удовлетворения окупалась все тем же отрешенным метанием по аду.

Ничтожное и как будто понятное право иметь вот тут, рядом с собою, вот на этом диване, человека,— это право надо было завоевывать, брать в упрямой и — пожалуй — унизительной схватке.

И опять снова и снова перед Никитой раскрывался путаный простор земли, когда-то поразивший своею многоликостью. И среди бесчисленных обличий, среди враждебных тягостных людей нужно было найти одно лицо, на котором всегда, во всю жизнь и в каждую минуту хотелось бы остановить взгляд.

Но если устройство простых человеческих дел несло с собою новый искус, то откуда было взять новые силы? Ведь все они безраздельно уходили на главное, единственное дело, наделявшее смыслом существование Никиты.

В унылом круге взаимно уничтожающих чувств напрасно было искать примирения. Но Никита против воли возвращался к воспоминаниям, недавняя ночь засасывала его в воронку мокрого, тающего на лету снега, и Анна сливалась в суматохе белых пятен с Ириной, и чьи-то темные горячие глаза с жадностью и насмешкой пронизывали пелену метели.

Тогда Никите приходило на ум, что вся его тоска по Анне живет в нем только потому, что близость ушедшего друга была легко достигнута, и никаких усилий не нужно было делать, чтобы поддерживать в памяти эту близость. Не потому ли Никита с такой надеждою сращивал в своем воображении два образа в один — Анну с Ириной? Ему хотелось, чтобы Ирина продолжала счастливую, удобную судьбу его с далекой Анной. Он думал — от Ирины получит все, что сохранилось в его представлении об Анне, и он надеялся, что это так же просто, как получить наследство. И правда, он нашел в Ирине то же частое, торопливое дыхание, ту же привлекающую, немного детскую остроту движений (он не мог позабыть, как стояла Ирина на стуле, как туго платье обтягивало ее тело, когда она, вместе с каревскими гостями, хлопала в ладоши). Конечно, это была Анна, все та же юная, навсегда близкая Анна. И что же могло помешать простому продолжению привычной и вечно желанной общности Никиты с Анной, которая только случайно стала носить другое имя?

Тогда Никита заново видел, как Ирина проходит мимо него, чуть-чуть свернув с тротуара, не изменяя шага, ни выражения лица, ни напряженного поворота головы.

Его изумило вовсе не то, что Ирина прошла мимо него, как мимо столба. В нем не нашлось воли пойти следом за ней, убедить ее в том, что она заблуждалась, наконец, сказать, что она не имеет права обходиться с ним так жестоко. Вместо того Никита поймал

себя на мысли, которая до боли поразила его: сколько было лет Ирине, когда он встретил Анну?

И, сгорбившись, странно похожий на Матвея, Никита пошел своей дорогой.

Конечно, Ирину нетрудно было убедить, что Никита ни в чем и никогда не провинился перед ней (о, он был прав и чист, он мог действительно показать на ладони всю свою жизнь), но можно ли было и дальше молчать о том, что уже подкрадывались новые чувства, изведано стало новое беспокойство, что усталые вздохи Матвея были не меньше близки, чем близок был ребячий смех Ирины?

Она была девочкой! — каким несчастьем теперь казалось это Никите!

Он понимал, что можно распутать узлы, затянутые пустым сплетением случайностей. Но желание сделать это все больше блекло и ломалось, как сухая куга. И, чтобы не признаться в слабости, он уверял себя, что во всем прав, и, стало быть, для него унизительно что-то объяснять, доказывать, о чем-то просить. Надо было бы начинать с брата, который чуждался Никиты, безмолвно винил его в чем-то, не хотел или не мог понять, как сам Никита не понимал когда-то Ростислава. И разве Ростислав мог бы добиться от Никиты понимания? Зачем же искать заведомо бесславных объяснений с Матвеем?

Да и с одним ли Матвеем пришлось бы говорить Никите?

Ирина! Она опять кружится в воронке снежных хлопьев, Никита хочет поймать ее взгляд, она проходит мимо, он кричит ей вслед, она не оборачивается, она кажется ему еще моложе, милее и притягательней Анны, он зовет ее, но голос падает в туман, и туман поглощает Ирину.

Тогда, сквозь туман, он слышит почти телесное прикосновение жадных, насмешливых глаз, и уже не в силах освободиться от них, и видит, как постепенно жадность их сменяется мольбою и насмешка — нежностью. Он дополняет влекущую, горячую темноту этих глаз улыбкой, черты лица — яркого и открыто-прямого — чудятся ему смягченными изжитой и безропотной болью, и Никите жалко, что он причинил эту боль, и — может быть — чувство жалости делает образ, занявший воображение, осязаемо-близким.

Никита хорошо различает, как на знакомом лице разглаживается тонкая морщина между бровей, как вздрагивают губы, медленно касаясь одна другой и приоткрывая две ровных полосы зубов. Он улавливает глубокий голос, он может определить его высоту и слышит, как рояльная струна отзывается на его тон. Из тысячи других голосов мог бы Никита распознать этот единственный голос, и — странно — что, как живой, звук его колышет-

ся плавной своей певучестью по комнате, все больше и больше насыщая ее, и вдруг — вдруг звонко рассекает тишину:

— Можно к вам?

Никита вскочил с дивана и оперся на рояль.

— Можно! — ответил он нарочито громко, чтобы убедиться, что не спит.

По-видимому, он не спал: Ва́рвара Михайловна стояла в дверях его комнаты.

Нет, нет! В дверях его комнаты стояла не Варвара Михайловна!

Такой, какой она явилась перед Никитой, она бывала разве только в самые счастливые, самые праздничные свои часы. Словно скинув с себя десяток лет, а заодно и память о них, она обернулась Варей, Варенькой, Варварушкой и глядела на Никиту из какого-то нарядного, слепящего мира. В ней не было ни тени жадности или насмешки, которыми минуту назад наделил ее вымысел Никиты. Но все яркое, нежное и женственное приобрело в ней вызывающую силу.

— Не испугались? Я все боюсь вас испугать! — сказала она, сверкая своей улыбкой.

Опомниться от полусна Никите было легче, чем от ослепления, внесенного с собою Варварой Михайловной.

Наконец он подошел к ней, взял и поднял ее руку к своим губам.

Варвара Михайловна, чуть отклонив голову, внимательно рассматривала лицо Никиты.

— Вы второй раз целуете мне руку,— тихо сказала она.— В первый раз после этого вы предали меня.

— Предал! — вскрикнул Никита.

— Ну, ну, ну! Не горячитесь. И не надо вовсе о таких серьезных предметах.

— Я ведь рассказывал вам о своем тогдашнем состоянии.

— Я признала вас правым, милый,— проговорила она ласково.— Мне просто чуточку стало страшно, что и теперь... Ну, не буду, не буду!

— ...Значит, не испугались? — спросила она, немного помолчав и оглядываясь по сторонам.

— Я вас ждал...

— Ждали?..

— Вы ведь сказали, что придете. Тогда, в клубе.

— Только поэтому? А так не ждали бы?

Варвара Михайловна посмотрела на Никиту испытующе, но тотчас начала медленно ходить по комнате, притрагиваться к вещам и говорить нараспев, с шутливым изумлением:

— Вот это, значит, стол, за которым Никита Карев пьет холодный чай. Ух, какой холодный! С утра, да?.. А это — ноты. Боже, какая сумятица закавычек и хвостов! Что это — партитура? Нет? А что же? Как вы не запутаетесь, Карев, в этой китайщине? А это книги... Так-так... А это диван, на котором Никита Карев скучает. Правда?

Варвара Михайловна быстро опустилась на диван, погладила вокруг себя ковровое сиденье и сказала:

— Идите сю-да, Карев. Правда, здесь вы скучаете?

— Вот скучал перед вашим приходом,— ответил он, садясь рядом с ней.

— О ком?

— Вы же знаете.

— Почему вы к ней не пошли?

Никита улыбнулся и хотел что-то сказать, но Варвара Михайловна, как заговорщица, поспешно и вкрадчиво добавила:

— Вы не могли к ней пойти, да? Вы поссорились после той ночи, правда?

Он взглянул на нее и слегка отшатнулся.

Не то торжествующая, не то хищная усмешка мелькнула по ее лицу и, словно подавленная, мгновенно пропала.

— Что вы так смотрите на меня? — просто засмеялась Варвара Михайловна.— Вы даже вздрогнули, Карев. Я, вероятно, не сумела скрыть своего злорадства? Простите мне мою слабость.

Нет, конечно, Никите привиделось что-то несуразное. Улыбка Варвары Михайловны была по-прежнему нежна, прямодушна, лицо переливалось сияющими красками.

— А вам все-таки хочется пойти к ней? — слукавила Варвара Михайловна.

— Стоит ли? — сказал Никита, заражаясь ее притворством.

— Тогда зачем же вы себя понапрасну терзаете, Карев? — смеялась она.— Смотрите, на кого вы похожи. Ведь все из-за нее!

— Откуда вы взяли? — почти обиженно проговорил Никита.

Варвара Михайловна откинулась к спинке дивана и рассмеялась громче.

— Карев! Ведь не из-за меня же вы заморозили в стакане чай и взлохматили себе волосы! Вы только посмотрите, какой вы!

— А как знать, может, и из-за вас! Я и о вас тоже думал,— произнес он с улыбкой, приглаживая волосы.

— Тоже? Браво, Карев! Удружил!.. Перестаньте, и так хорошо,— сказала Варвара Михайловна и оторвала его руки от головы.

В этом прикосновении было что-то покоряющее и трогательное. Никита удержал руку Варвары Михайловны в своих.

— Я все эти дни вас вспоминал,— заговорил он.— Обыкновенно, когда вас нет, вы как-то...

— С глаз долой — из сердца вон,— серьезно подсказала она.

— Я не понимаю, почему это происходило,— сказал он, немного смешавшись. Но вдруг, быстро сжав ее руку, с волнением договорил:

— Со мной всегда бывало, как сейчас: стоит мне увидеть вас, как вы... как все вокруг кажется иным. Я после встреч с вами совсем по-другому все понимаю. Удивляюсь, как я никогда не сознавал этого. Теперь мне совершенно ясно, совершенно!

Варвара Михайловна слушала его, подавшись вперед. Ни один палец ее не дрогнул, точно она боялась, что малейшее движение оборвет слова Никиты и он бросит ее руку.

— Я теперь думаю, что вы правы, когда за меня говорите о настоящем моем чувстве.

Он попытался улыбнуться, но замешательство надломило улыбку, и тут же, очертя голову, отчаявшись поправить непоправимое, Никита выпалил:

— Я говорю о своих чувствах к вам.

Оба они замолчали, словно не узнавая друг друга, подавленные ростом какого-то неуловимого, настойчивого ощущения.

Потом Варвара Михайловна наклонилась, приложила щеку к Никитиным рукам и чуть слышно сказала:

— Если бы когда-нибудь вы претворили свои чувства в жизнь!

Никита отозвался не сразу.

— Не знаю, музыка, что ли, сделала меня таким? — усмехнулся он.— Ведь это — искусство женственное.

— Карев! — воскликнула Варвара Михайловна, оторвавшись от его рук.— Как вам не стыдно, Карев? Ну, назовите мне хоть одну женщину-композитора? Ну?

Он и правда начал перебирать в памяти музыкантов. Но Варвара Михайловна опять расхохоталась и подзадорила весело:

— Вот и не знаете!

И Никита увидел Варвару Михайловну тою девочкою, какою он встретил ее в первый раз, когда она, чуть кланяясь, точно приглашая осмотреть себя получше, озорно проговорила:

— А рыба-то — вот она!

И, как тогда, его подхватили песни, вдруг загремевшие в каждой жилке, в каждой клеточке тела, вырвавшегося из повиновения. Он еще мог пробормотать:

— Музыка выходит из строя, из согласия, в сущности значит — из подчинения, безволия.

Но это была его последняя дань рассудку, и последнее, что добралось до его сознания, были слова Варвары Михайловны:

— Да бросите ли вы в конце концов вашу музыку? Вы какой-то одержимый!

Никиту наводнила ликующая боль, он что-то сказал и не понял ответа и опять услышал свой голос, и бессмысленная речь, которая услаждала, мучила и все еще услаждает и мучит миллионы людей, ветхо и обновленно заторкалась в комнате.

Никита крепко взял руку Варвары Михайловны.

Тогда вся нежность и все восхищенье, час назад вложенные Варварой Михайловной в радостное торжественное колдование над своим телом, начали изливаться на Никиту. И все ничтожные кусочки ваты, флаконы, губки и щеточки, заброшенные на узком туалетном столе, вдруг разоблачили сокровенную свою силу в сверкающей свежести лица, в темном глянце волос, в мягкой теплоте кожи.

— Карев! — сказала Варвара Михайловна, кладя на его плечи тяжелые пышные руки.— Вы не были таким никогда, никогда!

Но он отвел ее руки, привстал на одно колено, обхватил ее лицо ладонями и, нагибаясь над ним,— сразу всем телом ощутил теплую влажность ее зубов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СИМФОНИЯ НИКИТЫ КАРЕВА

(Статья композитора Ю. А. Шапорина)

Первые авторские выступления Н. Карева были встречены критикой сдержанно. Москвичи не видели в молодом композиторе достаточно ярко проявленной творческой индивидуальности и упрекали в скудости новаторских устремлений, в Петербурге же считали его сухим за обилие контрапунктической ткани, зачастую шедшей в ущерб так ценившейся в те годы фактуре гармонии.

Начальные опыты творчества совпали с консерваторскими годами в Москве, куда Н. Карев приехал для занятий по фортепьяно.

С. И. Танеев, ознакомившись с первыми сочинениями Карева, посоветовал ему серьезно заняться композицией. У Танеева Карев прошел контрапункт и фугу.

Окончив Московскую консерваторию по классу фортепьяно, Карев переехал в Петербург, где продолжал занятия по композиции, проходя класс форм у А. К. Лядова и инструментовку у М. О. Штейнберга. К этому времени относятся оставшиеся незавершенными занятия по дирижерству под руководством Н. И. Черепнина.

Технически окрепший, Карев тем не менее не удовлетворился односторонними настроениями и запросами петербургского музыкального мира и в 1912 году уехал в Германию, вызвав многочисленные пересуды среди своих друзей — музыкантов, которые уже тогда считали Карева определившимся художником.

Между тем Карев чувствовал необходимость проверить себя и свою работу в свете иной музыкальной культуры. Он обосновался в Дрездене, где увлекся изучением органа и его литературы, следствием чего явился ряд органных сочинений. Попутно Карев занимался дирижерством у знаменитого Шуха. Во время войны он оставался в Дрездене, занимаясь сочинением симфонии, и жил там до революции, в начале которой вернулся на родину.

Здесь он упорно продолжал работу над своей симфонией и другими сочинениями. Тягостность общих условий того времени усугублялась полной оторванностью не только от западноевропейского музыкального мира, но и от музыкальной жизни вообще. Многие друзья Карева в течение долгого времени (что-то около двух лет) не знали даже о его возвращении.

Первым соприкосновением Карева с широкими музыкальными кругами явилась его симфония, которая была исполнена на концерте, организованном Филармонией.

Все было необычайно в этом концерте. Впервые за революционные годы современный русский композитор с исчерпывающей полнотой демонстрировал свое искусство, впервые петербургские музыкальные круги знакомились с новым и неизвестным для них творческим лицом Карева, и, наконец, впервые Карев выступил на крупной симфонической эстраде в качестве дирижера. Естественно, что концерту предшествовали обильные толки самого разноречивого характера, создавшие к моменту появления композитора на эстраде атмосферу крайнего напряжения, и зал встретил дирижера недоверчивым молчанием.

Необходимо сказать, что самая программа концерта была составлена необычно: она состояла из одной, теперь уже широко известной симфонии e-moll, op. 17.

С первых же ее тактов ощутилась тесная связь музыки с тяжелыми годами ломки общественного и личного. Драматическая коллизия, насквозь пронизывающая первую часть симфонии, в разработке достигла высот подлинного трагизма.

Широкая весенняя мелодия, передаваемая из голоса в голос, создавала своеобразный полифонический стиль, быть может идущий от увлечения Карева орга́ном и связанной с этим увлечением работы над контрапунктической музыкой. Лишенная каких-нибудь местных черт, мелодика Карева в основе своей глубоко национальна. Европейская школа способствовала лишь раскрытию заложен-

ной в природе композитора славянской песенности, сообщив письму Карева четкость и экономность в пользовании материалом. В инструментовке, несмотря на пройденную школу Римского-Корсакова, чувствуется близость к свободным от выверенных рецептур краскам Чайковского. Это особенно заметно в пользовании струнной группой, и здесь, несомненно, сказались скрипичные познания Карева, приобретенные им на первых шагах изучения музыки.

Вторая часть симфонии сразу переключала настроение зала, замыкая его в более узкий круг личных переживаний автора. На фоне идиллического рисунка флейт вырастала певучая тема виолончелей, временами приобретавшая начальное направление, и, через небольшой эпизод (реминисценцию из первой части), выливалась в стремительное движение scherzo (III часть).

Написанное в приемах токкатообразного письма, scherzo предъявляет громадные требования к исполнителям каждой партии в отдельности. Особенно ответственны партии флейт и труб, наполненные репетиционным рисунком (двойной язык). Несмотря на исключительную трудность этой части, оркестр справился с ней прекрасно, чему в значительной степени был обязан выразительному и организованному управлению автора.

Грандиозный финал симфонии занимает полностью ее последняя часть. Открывающая его двойная пятиголосная политональная фуга в медленном темпе приводит наконец к тональной устойчивости, с момента водворения которой последовательно повторяются в форме rondo отголоски предыдущих частей симфонии. Непосредственно перед кодой ложный каданс уводит музыку в область политональных наслоений, основанных на темах фуги, причем ускорение медленных темпов начала части придает музыке нестерпимо-неразрешенный характер, и только врывающееся фанфарами заключительное шествие устанавливает ритмическое, тональное (e-dur) и архитектоничское равновесие симфонии.

Основным и, пожалуй, единственным недостатком симфонии является несоответствие между замыслом композитора и реальными возможностями концертного исполнения. Симфония, за вычетом коротких пауз между частями, длится час сорок минут. Давать ее без антракта затруднительно, а в особенности — если принять во внимание чрезвычайную эмоциональную насыщенность музыки. Делать же, как это было на повторном концерте, перерыв между первыми тремя частями и финалом, значит в очень большой степени нарушать единство концепции.

Если пренебречь этим крупным недостатком, то можно и нужно говорить только о достоинствах этого громадного и во многом замечательного произведения. Начатое в Германии в предреволюционную эпоху, оно создавалось параллельно стихийным событи-

ям, свидетелем которых был Карев в России. Нельзя не отметить стойкость композитора, пронесшего и укрепившего свое творчество в условиях физических лишений. В обстановке, почти исключавшей возможность занятий на рояле, Карев создал эту «симфонию-роман», запечатлевшую на себе все то великое, что принесла нам революция. Нужно иметь самообладание настоящего художника, чтобы, отрешившись от обывательского приятия жизни, в таких условиях увидеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить.

Есть произведения, которые, несмотря на сложность их языка, сразу впечатляют слушателя своей сущностью, быть может, потому, что в основе их лежит ясность и убеждающая искренность.

К таким произведениям следует отнести и симфонию Н. Карева. Ей свойственна та высшая простота, простота не от бедности, а от щедрости мысли, до которой, по словам Гоголя, нужно дорасти.

В ряду современных композиторов Карев занимает особое место.

Вопреки утверждениям критики, полагавшей за последние годы, что пути русской национальной музыки до конца исчерпаны творчеством представителей «кучки», а в продолжении своем обречены на неизбежное эпигонство, Карев доказал обратное. Возродив в своем творчестве русскую песенную стихию на основе глубокого и всестороннего изучения стиля западных полифонистов, он как бы осуществил прогноз С. И. Танеева, всегда утверждавшего, что только таким путем может пойти развитие русской музыки. Именно этим Карев глубоко отличен от крупных своих современников, одних — решавших преимущественно формальные задачи, других — оторвавшихся в своем творчестве от родной почвы и начавших говорить чуждым нам языком.

Говоря о влияниях на творчество Карева, можно было бы отметить родство последнего с Хиндемитом, с чисто, конечно, формальной стороны (контрапунктический склад мышления). Из наших русских современников ближе остальных Карев стоит к В. Щербачеву, мастеру полифонической песенности. На инструментовке Карева не могли не сказаться те громадные открытия и приобретения, которые сделаны в этой области нашей новой музыкой.

Симфония Н. Карева при всей характерности своей фактуры не может тем не менее вполне исчерпать его творческий облик. Для уяснения этого облика нужно было бы подробно остановиться и на других крупных работах композитора, по времени сочинения отчасти предшествующих симфонии, отчасти совпадающих с ней. Здесь мы упомянем только фортепьянный концерт, сочиненный Каревым в 1920 году, носящий отпечаток большой зрелости и ма-

стерства. Концерт написан в чрезвычайно лаконических и экономных формах. Главное достоинство его в отхождении от тех обычных канонов большого фортепьянного стиля, которые стали обязательными еще со времен Листа.

Живой и широкий интерес, вызванный несколько неожиданным появлением в современной музыке большого симфонического произведения Н. Карева, несомненно, послужит толчком к пристальному изучению всего творчества этого замечательного композитора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В человеческом, семейном своем хозяйстве Василь Леонтьич недосчитывался многого. Недосчитывался прежде всего жены, так что не с кем стало подытожить убытки и надо было в одном себе носить всю горечь потерь. Недосчитывался дочерей, внуков и сокровенную свою, ни разу не высказанную надежду на возвращение Ростислава должен был оставить навсегда.

Где-то за Кубанью, в просторах, напоминавших родные края, страшным годом Василь Леонтьич встретил своего петербургского владыку и господина, еще раз сел на дрожки и еще раз засеял несметные десятины золотом пшеничного зерна. Но хлеб собрал за Василь Леонтьича кто-то другой.

Пришла пора искать пристанище, и только один Матвей — молодчина, казак! — мог дать его отцу.

В караванах, по вагонам поездов, на путях и перепутьях Василь Леонтьич растерял свою многопудовую тучность. Прежде он видел носки башмаков только сильно нагнувшись. Теперь сбереженные пиджаки пришлось ушить, худоба сделала Василь Леонтьича крохотным, утлым старикашкой, его голова словно выросла, долголетняя бронза-загар сменилась бесцветностью дряблой кожи. Но он еще верил, все еще пестовал в себе по-давнему широкие планы, и у него осталось старая привычка говорить задыхаясь.

Евграф, придя к Василь Леонтьичу и увидав его впервые после ссоры из-за Никиты, долго и раздумчиво мотал головою.

— Усох ты шибко, Василь Леонтьич,— сказал он как будто одобрительно.— Легко будет тебя в гробу нести.

— Откуда нелегкая принесла, старый раб? — сердито отозвался Карев.

— У меня к тебе обиды быть не может, Василь Леонтьич. Ты человек — прошлый. Годов, поди, семьдесят стукнуло ай поболе?

— А тебе сколько стукнуло, старый болтун? Что, я тебя к своим годам счетчиком приставил?

— Да и мне тоже порядком, хотя помене будет, чем тебе,— усмехнулся Евграф и присел на табуретку.

С этих пор начались постоянные свидания двух стариков и постоянные их перебранки, ворчня, извод и обиды. Но чем дальше, тем крепче они привязывались друг к другу, и когда Василь Леонтьича настиг последний недуг, он уже не мог обходиться без Евграфа.

— Лежишь? Молчишь? Все думаешь? — спрашивал Евграф, стаскивая с себя ватное пальто и аккуратно укладывая его в уголочек.— Думаешь? — подсаживался он на краешек кровати.— Все одно всего не передумаешь. Думки — что вареные раки: больше ешь — больше на тарелке остается.

Он доставал из-за пазухи сверточек и протягивал его больному.

— На-ка тебе помадки к чаю, с чаем хорошо. Куда положил? Зачем на виду класть? Спрячь под голову. Подальше положишь — поближе возьмешь.

— Скуп ты, Евграф,— тихонько говорил Василь Леонтьич,— с виду добрый, а в душе скуп. Гостинцы носишь, а самому жалко.

— А тебе не жалко? Ну, давай назад помадку! Ну? Что же не даешь? Ишь сквалыга! Небось в матрас-то золото упрятано, а? Дай-ка пощупаю.

И Евграф совал руку под одеяло.

— Не тронь, не тронь, стервец! — взвизгивал Василь Леонтьич, слабо дергая ногами и приподымаясь.

— То-то! Вот оно и выходит, кто из нас жадный. Ишь задохнулся! Ладно, не трону. Отдышись маленько, полежи.

Некоторое время они молчали, слышно было только прихлипывавшее дыхание Василь Леонтьича да ворчливый гул матрасных пружин.

Потом Евграф опять начинал:

— Чего надумал? Умирать надо, а ты думаешь.

Василь Леонтьич, отделяя слово от слова короткими неглубокими вздохами, говорил:

— Всех нынче суета поедом съела. И ты, бес, вприпрыжку, тоже поспеть хочешь. Куда скачешь, вертихвост? Я на Кубани старика одного узнал. Справный. Захотел, говорил он, мужик напрямки ехать, надоела ему дорога — вертит, крутит туда, сюда, из ямы в яму. Он и свернул на целину, так, мол, скорей. Смотрит — у лошади на шее жилы проступили, нога за ногу, топчется, того гляди — станет. Мужик назад, а дорога-то вон она — не прыгнешь!

— Так,— поддакивал Евграф.

— Вот тебе и так. Стало, дорога плоха-плоха, а вернее.

— Нынче народ больше напрямки,— невинно замечал Евграф.

— И ты туда же?

— Я от народа не отстатчик.

— Вижу! Тебе чего сделается? И дом и лом с собой в шапке носишь. Семьи и той у тебя нет. Что с тебя спросишь? Раньше семья за кого держалась? Пока отец жив — за отца. Умер — за старшего брата. Старший всему начало. А нынче? Слыхал, чего Аришка-то у Матвея выкинула? Семья!

— Заладила сорока — семья, семья,— щерился Евграф.— Три головешки горят — костер, а одна — на-кося, выкуси!

И он показывал Василь Леонтьичу кукиш.

Тогда и Василь Леонтьич молча отвечал ему тем же и отворачивал лицо к стене.

— Вот те твоя и семья! — подумав, добавлял Евграф, и снова наступало безмолвие в комнате Василь Леонтьича.

Он полусидел, не шевелясь, на высоких подушках, как будто в забытьи, отстранив ноги от Евграфа, чтобы не касаться его. Но стоило Евграфу подвинуться, как Василь Леонтьич приоткрывал глаза, либо покашливая, либо шепча что-нибудь себе в усы. Иногда тоска и боль бросали его в беспокойство, он начинал перекатывать на подушке из стороны в сторону свою изжелта-седую голову.

— Больно тихо,— стонал он,— будто весь свет вымер, а? Евграф, ты слышишь чего иль и тебе тихо?

— Где тихо, а где, может, и буря. Выдумывай больше!

И опять приходила тишина. Василь Леонтьич вслушивался, отыскивая за ее пределами шум и дыхание жизни, но тишина ширилась, захватывала безмерные пространства самарских полей и Приуралья, заречную, бухарскую сторону, каревские сады и дома, все, все кругом, во всем мире, было охвачено мертвящим сном тишины.

Тогда Василь Леонтьич старался вспомнить что-нибудь грозное, наполненное гулом и грохотом. Но в памяти возникали почему-то внучка Ариша и Матвей — сгорбленный, тихий, непохожий на родного сына, почти такой же старый, как Василь Леонтьич. Матвей жаловался, что от него ушла Ирина, утирал большой ладонью лицо — ото лба книзу, а Ирина мелькала где-то за окном, прозрачная и словно невесомая.

Если бы Василь Леонтьич увидел Ирину этим часом такой, какою она была в действительности, он, наверное, благодарно простил бы ее, потому что она принесла бы с собою тот шум, который искало его воображение, удрученное тишиной.

Ирину в этот час окружал бушующий зимний шторм, и штормом чудились ей последние месяцы жизни, с тех пор как она в первый раз пришла к Родиону. Она как будто забыла об отце

и доме, о Никите, обо всем, что еще недавно ее наполняло пугающим ожиданием. Теперь нечего было ждать, теперь каждая минута была лучше той, которая прошла, и той, которая наступала. И никогда, конечно, никогда не думала Ирина, что счастье — самое высокое и самое простое человеческое счастье — это вот так: стоять рядом с этим сильным и немного неуклюжим человеком, крепко обхватив его спину, ощущая тяжелую его руку на своих плечах, стоять так в ветреном, водном, пенистом реве, когда шторм готов поглотить корабль, когда шторм безопасен, как на музейной картине, когда вокруг нет ни одной крупицы, которая не звенела бы, не содрогалась от смертного вопля разрушения, и когда так легко, как безветренным росным утром в саду. Потому что вот он рядом — спокойный, большой, вот его грудь, вот руки, вот он повернул голову, улыбнулся, и улыбка его говорит, что опасности нет и что бури бывают сильнее.

Пароход держал курс в порт Поти, куда Родиона назначили на работу. Берегов не было видно. Пена неслась кривыми горбами валов, соединяясь вдалеке с лохмотьями туч, кидая на палубу свою разорванную, белую, быстро тающую сеть. Качка была переменной, путаной, пароход поочередно то кренил на борты, то взмывал носом кверху, глубоко зарываясь кормой. На минуту судно находило равновесие, чтобы тотчас медленно и высоко взбросить корму. Тогда из воды со свистом вырывался винт, павлиньим хвостом раскидывая позади парохода пушистый веер брызг, и буря отвеивала брызги на палубу мельчайшим ледяным дождем. В этот миг слышно было, как учащался под ногами стук машины и как потом ее бег постепенно задерживался винтом, снова окунувшимся в воду и опять одолевавшим сопротивление.

При входе в порт, около длинного мола из камней, похожих на выкинутые товарные ящики, встретился огромный пароход. Он уходил в море, мрачный и тяжкий, как военный корабль. Рядом с ним торопился крохотный таможенный катер, ныряя под его тупую черную корму с золотою надписью.

Родион долго старался разобрать надпись.

— Прочитай,— попросил он Ирину.

Она прочла:

— «Fredericus Rex».

Родион мотнул головой и сказал:

— Немец.

Он пристально вглядывался в корпус и оснастку удалявшегося парохода. Потом еще раз кивнул ему вслед и с удовлетворением прибавил:

— Торгуем малость.

Лицо его было облеплено блестящею рябизною свежих капель, взгляд показался Ирине дерзким и хитрым. Она крепче обняла Родиона, посмотрела на него с ликованием, и ей захотелось, чтобы он сжал ее до боли.

Конечно, Родион не понял этого Rex'a! Конечно, он и по-русски говорил не всегда хорошо, и у него срывалось какое-нибудь «встренул» вместо «встретил». Конечно, он вообще был немножко необточен, сиволап.

Но почему же так влекла Ирину его неказистость, так непреклонно подчиняли неточные его слова, и почему он весь стал ей смертельно люб, и с ним одним бесстрашно и весело идти сквозь холод шторма, в свисте и реве поднятой бурей воды? Хорошо, просто, легко, и такой шум вокруг, такой безостановочный, дыбом поднявший весь мир, рокочущий и громыхающий шум!..

О, если бы его ничтожный отголосок хотя бы на один прощальный миг прорвался в тишину, которая томила Василь Леонтьича!

Но безмолвие разрасталось вокруг Василь Леонтьича с настойчивой быстротой.

Когда он — упрямый, не желавший ничем поступиться — внезапно слег, его пришел осмотреть Матвей.

— Ну, щупай, лекарь. На версту не подпускал к себе вашего брата. Знахарей и тех не любил,— сказал Василь Леонтьич.

— Сколько тебе лет-то? — спросил сын.

— А что? — вдруг подозрительно покосился отец.— Иль думаешь — пора?

— Знаешь,— сказал Матвей Васильич, пораздумав,— лучше я привезу к тебе другого доктора. Мне самому не с руки.

— Понимаю. Значит — каюк?

— Нет, зачем же? Я говорю...

— Ты не юли! Каюк — так и говори, что, мол, каюк. Чай, казак, не спугаюсь!

— Да ведь я тебя еще не смотрел!

— Смотри! А то — не с руки! Это родного-то отца не с руки? Я, кроме тебя, никому не дамся...

Матвей Васильич подчинился и начал лечить отца, но тут же неожиданно почувствовал, как теряет над собою власть и — вместе с нею — привычную власть над больным. Матвей Васильич видел, куда и с какою поспешностью клонилась болезнь. Он знал, что на его месте другой врач оттянул бы конец на два-три дня и что сам он сделал бы то же, если бы лечил другого больного. Матвею Васильичу было не по себе. Он даже попрекнул себя в

жестокости, потому что все его существо было заполнено чувством к единственному человеку, и этого человека не было рядом с ним.

Но когда последний раз, почти в полночь, Матвей Васильич пришел к отцу и бросил на него беглый взгляд, на одно короткое мгновение он стал прежним Матвеем Каревым — профессором, доктором, настоящим казаком, старшим сыном Василь Леонтьича.

— Ты что же молчишь? — прикрикнул он на Евграфа, бесстрастно сидевшего рядом с больным.

— А что мне не молчать? Мы с Василь Леонтьичем люди немолодые, наговорились.

Евграф потрогал кудерьки своей бороды и вздохнул.

— Почему ты не позвал меня? — говорил Матвей Васильич, перебирая на столе лекарства и ощупывая свои карманы.— Давно это с ним?

— А что тебя звать? Доктор смерти не помощник.

Евграф внимательно присмотрелся к тому, что делал Матвей Васильич, и, напыжившись, солидно спросил:

— Впущать, что ль, чего под кожу будешь?

— Давно, я говорю, это с ним?

— С полчаса, видно, будет.

Матвей Васильич на минуту замешкался.

В это время в комнату вошел Никита.

Он начал снимать с себя шубу, но тотчас услышал сильную и какую-то певучую икоту Василь Леонтьича. Она странно распиливала тишину равномерными всхлипами и гулко отдавалась где-то в пружинах матраса.

Никита остановился. Шуба медленно сползла с него и упала. Евграф поднял ее, аккуратно встряхнул и повесил на гвоздик.

— Сердце сердцу весть дает. Попрощаться пришел? — сказал он.

— Матвей! Разве нельзя помочь? — испуганно спросил Никита.

Он бросился к кровати отца, нагнулся над ним.

Василь Леонтьич глубоким почерневшим ртом набирал воздух, вздрагивал, быстро захватывал губою усы, облизывал их и снова открывал рот.

— Матвей! — вполголоса позвал Никита.— Что же ты? Помоги, Матвей.

— Помоги, коли умеешь,— сквозь зубы ответил Матвей.

Никита взглянул на него.

Матвей смотрел на брата неподвижными, налитыми кровью глазами. Он бросил на стол какую-то склянку, криво усмехнулся и по-прежнему, не разжимая зубов, проговорил:

— Это не так просто, как, скажем... вскрутить голову какой-нибудь девчонке, вроде Ирины.

— Что с тобою? — прошептал Никита.— Я слышал об Ирине, но...

Матвей с угрозой перебил брата:

— Надо бы не слыхать! Конечно, слышал!

— Я понимаю, Матвей, понимаю, какое у тебя несчастье, и у меня тоже, у нас, но нельзя же говорить сейчас, здесь. Ты посмотри!

— Что же, мне нарочно разыскивать тебя прикажешь, чтобы сказать, чего ты заслужил?

— Я? Почему я? Что я заслужил?

Матвей Васильич тяжело шагнул к Никите и хрипло, обрывисто закричал:

— Ты еще прикидываешься? Хочешь придумать себе оправдание? Где Ирина? Отвечай! Не виноват? Нет? Ты не виноват? Тогда кто? Отвечай, кто?

— Матвей! — воскликнул Никита.

Но Матвей Васильич наступал на него, подняв кулаки, дрожа и все громче выкрикивая:

— Не виноват? Говори, кто виноват?

Он остановился в двух шагах от брата и вдруг, высоко замахнувшись обеими руками — тяжелый и какой-то нескладный,— вдавливая все свое исступление в одно слово, прохрипел:

— Подлец!

Никита отступил, но тотчас услышал, как его пальцы сдавило что-то судорожное и горячее. Он оглянулся на отца.

Василь Леонтьич лежал покойно, глаза его были плотно закрыты, довольная улыбка шевелила спутанное серебро усов. Он произнес очень ясно, тихо и ласково:

— Ростислав... Славушка... Приехал?..

Евграф прижмурился, потряс своими кудерьками, с сокрушением сказал:

— Забыл...

Он подошел к Василь Леонтьичу, серьезно, по-докторски, пощупал его правую руку около запястья и глянул на Матвея.

Василь Леонтьич опять раскрыл рот, левая рука его не выпускала пальцев Никиты, но улыбка и спокойствие исчезли с лица. Потом он стал набирать в грудь воздуху, продолжительно и так громко, что в матрасе начали звенеть пружины, словно рояльные струны — сначала тихо, затем, когда вздох оборвался,— сильнее. Василь Леонтьич наполовину поднял веки.

В комнате стало необыкновенно тихо, как будто все беззвучие, томившее Василь Леонтьича и раскинутое по свету, собралось в четырех стенах.

— Кончился,— буркнул Евграф.

Никита разжал пальцы отца. Они легко подались.

Матвей стоял поодаль, спрятав руки за спину. Лицо его посерело, обрюзгло, щеки были мокры от слез, но взгляд мутился злобой.

— Матвей,— с усилием проговорил Никита,— я готов... я хочу простить... Я понимаю, что ты заблуждаешься, брат, и давай здесь сейчас...

Никита показал на отца.

— Ты мне не брат,— чуть внятно, косноязычно пробормотал Матвей.

Все еще держа руки за спиною, он раскачивался, точно его толкало что-то вперед, а он принуждал себя оставаться на месте.

Евграф суетливо, услужливо закашлял и, зачем-то пролезая между Матвеем Васильичем и Никитой, примиряюще заметил:

— Помрем — все братьями станем, все как есть!

Матвей сказал погромче:

— Уходи, Никита, отсюда.

Передохнув на секунду, он с каким-то натужным стоном договорил:

— Или... я уйду!

Слезы еще обильней заструились по его щекам, и еще больше глаза потемнели от крови.

Евграф подтолкнул Никиту к кровати отца и, наклоняя его над головою Василь Леонтьича, зашептал:

— Простись, простись. Да и ступай. Ступай от греха.

Никита поцеловал отца в лоб. Василь Леонтьич был теплый. Никита обнял его лицо ладонями.

Он обнимал труп, но не испытывал ни страха, ни отвращения. Он вспомнил Верта, ему показался необъяснимым давно забытый, притупившийся ужас. В прикосновении к голове отца было даже что-то облегчающее, нежное, как в ласке. Никита погладил Василь Леонтьича по щекам.

Евграф стоял с шубой наготове. Он помог одеться Никите и проводил его за дверь. Никита вышел, не взглянув на брата.

Евграф вернулся к покойнику. Без раздумья, по-деловому, он захлопнул его отвисшую нижнюю челюсть и указательным пальцем придавил веки. Так он стоял, немного навалившись на голову Василь Леонтьича, у ног которого неподвижно высился профес-

сор, доктор Матвей Карев — сутулый, седой, с мокрым лицом и опущенными большими жилистыми руками...

На улицах было глухо, снег молодо покрывал дороги, сучья деревьев топорщились пятернями, затянутыми в белые перчатки.

Никита осмотрелся по сторонам. Куда было ему идти? Впрочем, один путь оставался для него верным, и Никита пошел этим путем, как человек, идущий домой. Варвара Михайловна открыла дверь, укутавшись в пальто и платок, и убежала к себе, крикнув Никите:

— Запри!

Он застал ее на кровати, она пожималась от холода, завертывая в одеяло ноги и наполовину спрятав лицо в воротник пальто.

— Что так поздно? — спросила она.— Я уже спала.

Никита начал расстегивать шубу.

— Не раздевайся,— сказала Варвара Михайловна,— замерзнешь. Что-нибудь случилось?

— Я сейчас от отца,— медленно проговорил Никита.

— Ну?

— Он умер при мне.

— Да? — произнесла Варвара Михайловна кратко и невозмутимо, точно услышала не слишком любопытную газетную новость.

Никита вздрогнул и сделал неуверенный, зыбкий шаг к кровати.

— Ты что? — слегка удивилась Варвара Михайловна.— Ведь его смерти надо было ожидать. Ты сам говорил.

— Все-таки...— проворчал он, всматриваясь в лицо Варвары Михайловны.

Оно показалось ему померкшим, хотя — чуть-чуть, и он спросил:

— Ты нездорова?

— Нет, ничего,— отозвалась она с тою безразличною живостью, как будто, по обыкновению, собиралась добавить: спасибо.

Никита сел и долго, опустив голову, молчал.

— Ужасно было с братом сегодня,— сказал он наконец.— Мы, правда, никогда не были особенно связаны. Но тут — отец в агонии, а он... ужасно!

— А что?

— Все кончено с Матвеем,— проговорил он глухо.

Но тут же до него долетел нервный сдавленный смех, и он резко откинулся на стуле.

Плотно закутавшись в пальто, так что видны были одни глаза, Варвара Михайловна с озорным любопытством разглядывала Никиту.

— Он тебе мстит за свою дочку? — сквозь смех пробормотала она в воротник.

— Ты с ума сошла!..

— Нет, почему? Разве не правда?

— Но что же в этом смешного? — вскрикнул Никита.

— Помилуй! Ведь ты отдуваешься за Родиона!

Она совсем весело рассмеялась, высвободила голову из-под пальто и села удобней. Мерклость исчезла с ее лица, кровь прилила к нему, оно стало даже ярче, светлее обычного.

— Ты... не понимаешь, что смех не к месту сейчас, или ты... нарочно? — озадаченно проговорил Никита.— Что с тобой происходит?

— Ну что поделаешь, если мне смешно?..

Все ее черты — и правда — подергивались и дрожали с каким-то неудержимым беспокойством. Она все чаще натягивала на плечи пальто, но пальто скатывалось с плеч на постель, непослушно обнажая шею и руки Варвары Михайловны.

— Ты извини,— угрюмо сказал Никита,— что я побеспокоил тебя. Я думаю, лучше мне уйти.

Он взялся за шапку.

— Постой,— остановила его Варвара Михайловна.

Голос ее внезапно упал, от веселости не осталось следа, не то горечь, не то злоба сжала рот, и неприязнен сделался взгляд.

— Не знаю, что лучше: отпустить тебя с этой обидой на мой смех или... Какое из двух зол меньше? Я что-то начинаю с тобой хитрить,— сказала Варвара Михайловна словно в раздумье и отвела глаза от Никиты.

Быстро присев на кровати, он в испуге спросил:

— Что с тобой?

— Ах! — с болью вырвалось у нее.— Это уже не в первый раз!

Все еще отвернувшись от Никиты, сдерживая дыхание, как будто хотелось кричать, а нужно было говорить тихо, Варвара Михайловна сказала:

— Помнишь свои слова насчет прошлого? Недавно ведь было, всего три месяца. Помнишь? Насчет того, что каждый наш шаг оставляет след прошлого, а не только того, что случается вот теперь.

— Ну?

— Не забыл? Так вот, когда ты вошел и потом сказал, что

умер отец... ну, все равно! — оборвала самое себя Варвара Михайловна.

Она вскинула глаза на Никиту, но всем корпусом отстранилась от него, отгораживая себя своим пальто.

— Мне сразу тогда захотелось сказать тебе... о чём я никогда никому не говорила. И главное...

Варвара Михайловна дала волю своему дыханию.

— Неужели ты не понимаешь? Ведь ты пришел ко мне с уверенностью, с убеждением, что я обязана тебе сочувствовать. Ты даже, наверно, и не думал об этом. У тебя это уже в кровь перешло, за такой короткий срок. Ты пришел за сочувствием? Да? Само собой понятно, что ты должен его получить, должен, конечно!

Она порывисто приблизилась к Никите и почти шепотом с нетерпением выдохнула:

— Я хочу напомнить тебе прошлое не в шутку, а как следует. Ты знаешь, как умерла моя мать? Знаешь, кто виноват в ее смерти?

Она опять откинулась от Никиты и глядела на него с каким-то зловещим ожиданием. Потом тихо и жестко произнесла:

— Ты!

Никита вскочил с кровати.

— Ты бредишь?

Она молчала, по-прежнему злорадно разглядывая его, стараясь не упустить ни одного движения на его лице.

— Не пугайся, я в своем уме,— раздельно и настойчиво сказала Варвара Михайловна.— Я говорю чистую правду. Мать умерла потому, что я осталась в Уральске. А осталась я... ты знаешь из-за кого. Откуда я тогда могла ждать сочувствия себе? И кто должен был бы мне его дать?

Никита опустился на стул и закрыл глаза рукою. Он сидел в оцепенении, плечи его обвисли, одна рука бессильно лежала на коленке.

— Ты что же, мстишь? — спросил он невнятно.

Тогда неожиданно лицо Варвары Михайловны исказилось болью, она всем телом потянулась к Никите и с мучительным напряжением, торопясь, перебивая себя, заговорила:

— Нет, Никита, нет! Я не могу винить тебя в этом. Я не раскаиваюсь, потому что сама не виновата. Ты же понимаешь. Насчет моей матери мне, правда, пришло в голову, когда ты сказал, что у тебя умер отец. Не в этом дело. *Как* ты пришел, *как* ты сказал... думая об одном себе, только о себе... вот в этом все! Что вот тебе само собою понятно, что твоя жизнь и твои дела должны быть для меня самым главным, что ты у меня — начало

и конец. Что тебе тяжело, я должна это знать. Тебе плохо,— я обязана сочувствовать. Никита, милый, ты не способен узнать это! Вот за короткое время, как мы сошлись, в тебе выросло это несносное сознание, что самый близкий тебе человек — только твое подспорье, твое житейское удобство, не больше, что он, естественно, обязан тебе служить, правда? Но неужели ты...

Варвара Михайловна остановилась, помолчала и решительным движением поправила на себе скатившееся пальто. Снова закуталась получше, и снова улыбка тронула ее губы насмешкой и обидой.

— Должен же ты хоть раз подумать, что для меня оскорбительна эта моя... второстепенность в твоей жизни.

Никита поднял голову. Взгляд его был усталым, отягощенным неповоротливой мыслью, которая как будто через силу волочилась за словами Варвары Михайловны.

— Я не понимаю тебя,— произнес он надорванным голосом.

— Да? — улыбнулась Варвара Михайловна.— Так трудно? Ведь ты сам не отрицаешь, что всегда жил одной музыкой, живешь и сейчас и вперед думаешь жить. Чего же здесь не понять? Это у тебя стало манией, и все твои чувства до последней крошки ушли на нее... а на жизнь, ну, хотя бы на жизнь со мною, у тебя ничего не осталось.

— Ты предъявляешь иск к музыке? — изумился Никита.— Но... почему именно сегодня? Чтобы сделать это чувствительней, да? Неужели из жестокости?

— Тебе больно? — почти весело и с удовольствием спросила Варвара Михайловна, но тотчас в глазах у ней мелькнула черствая усмешка, и она быстро досказала:

— А думал ли ты хоть один раз, как больно мне?

Прищурившись, она подождала ответа и с видимым спокойствием продолжала:

— Ты поражен моим иском к музыке, да? Такая ревность была бы не столько удивительна, сколько смешна. Нет, не об одной музыке разговор. В сущности, тебе безразлично, какой человек живет с тобой рядом. Важно только, чтобы жил, чтобы эта вторая жизнь облегчала твою — первую, главную... как это сказать? — чтобы тебя здесь заряжали, а там ты стрелял бы. А у меня нет ни первой, ни второй жизни, у меня — единственная, вот эта, в которой я живу и чувствую, что начинаю исполнять для тебя какую-то служебную роль.

— Варя!

— Ну, что? — подхватила она.— Разве не так? Разве я не понимаю, что ты пришел ко мне только потому, что тебе некуда

больше идти? Нет, нет, постой! Я говорю не о том, что ты пришел сейчас...

— О чем же, о чем? — в изнеможении воскликнул Никита.— Зачем ты все это?

Варвара Михайловна соскользнула с постели и, кое-как прикрыв одеялом ноги, пересела ближе к Никите. Наклоняясь к нему, заглядывая в его глаза, она горячо прошептала:

— Я никогда не забуду, что ты стал моим только потому, что тебя оттолкнула Ирина! Ты для меня — как подачка из рук этой девчонки!

Она чуть-чуть ухмыльнулась и добавила:

— Я не настолько бедна...

— Что с тобой сегодня, Варвара? Что это за суд?

Варвара Михайловна уселась в кровати по-старому и заботливо укутывала ноги, поправляя на плечах непокорное пальто. Когда сидеть стало удобно и тепло, она опять наполовину спрятала в воротник лицо и улыбнулась.

— Ну, пожалуй, я сказала все, что хотела. Впрочем... Знаешь, Никита, кажется, со мной случилось, как бывает с очень упрямыми людьми, они бьются, бьются, а когда достигнут цели — оказывается, что она уже вовсе не так нужна. Когда я добилась своего...

— Добилась? — прервал ее Никита.

— Когда добилась тебя, добилась того, что буду иметь от тебя ребенка,— перечисляла Варвара Михайловна, словно разговаривая сама с собой,— мне стало так, будто прежде, когда ты был недосягаемым Никитой Каревым, все было обольстительно-хорошо, все...

— Что ты сказала о ребенке? — снова перебил Никита.

— Что у меня будет ребенок,— просто, почти мельком ответила Варвара Михайловна.

— Ты знаешь это?

— Конечно, знаю.

— Почему ты мне не сказала? — чуть слышно выговорил Никита.

— Разве ты хочешь иметь ребенка? — удивилась Варвара Михайловна, немного приподняв брови и высовывая из воротника подбородок.

Тогда Никита с силой ухватил железную спинку кровати и крикнул:

— А разве ты спрашивала меня когда-нибудь, хочу я или не хочу...

— Чш-ш! Тише, не разбуди соседей,— улыбнулась Варвара Михайловна.— Ты сердишься. Я не ждала от тебя.

— Перестань шутить!

— Я не шучу. Я на самом деле не ожидала, что ты можешь рассердиться.

— Варя! — вдруг надломившись, простонал Никита.

И, точно перехватив его тоску, Варвара Михайловна осекшимся голосом разочарованно проговорила:

— Вот, ты уже и остыл. Милый мой, если бы ты разгневался, возмутился! А ты и умен для этого, и добродетелен...

Никита отошел в сторону и стоял молча, спиной к Варваре Михайловне. Она сбросила с себя пальто, легла и закрылась одеялом. Спустя минуту она позвала:

— Никита!

Он не откликнулся.

— Никита,— сказала она примиряющим, мягким тоном,— неужели ты мог бы связать себя со мною надолго?

— Я вижу, тебе нет дела до моих желаний,— отозвался Никита.

— Разве у тебя есть какие-нибудь желания?

Он промолчал, потом обернулся и спросил:

— Что ты думаешь о ребенке?

— Что о нем думать? Пока я буду его ждать. А там...

Она живо приподнялась на локоть и засмеялась так, как будто до сих пор весь разговор был очень игривой и легкой болтовней.

— Знаешь, Никита, я недавно проходила мимо Смольного и встретила замечательную женщину: справа у нее под мышкой — портфель, а слева — младенец, ей-богу! Через плечо вот такой лямкой — платок, и в нем младенец. Я бы тоже так могла, честное слово, ха-ха! Мне кажется, что за эти годы я страшно пристрастилась к необыкновенному. И мне до такой степени скучна всякая добродетель, что просто ужас!

— Это можно считать приговором? — глухо спросил Никита.

— Ну зачем такие слова, Карев! — воскликнула Варвара Михайловна, все еще сверкая своей улыбкой.— Мне просто кажется сейчас, что наша близость вряд ли долговечна... Подожди, куда ты? Куда ты? Куда ты, Никита?.. Никита!..

Но он уже не слышал ее зова.

Он не слышал ничего. Беззвучие окружало его непроницаемой массой, он двигался сквозь массу, не ощущая сопротивления, ни тяжести своих шагов, ни своего дыхания. Оно овевало его легко исчезающими серыми клубочками пара, которые цеплялись за воротник и скоро посеребрили черную поверхность меха снежной белизною. Безжизненный ночной час проходил над городом.

Темнота и туман уравнивали улицы, и строения безлично отступали куда-то вглубь.

Не город, а пустыня развертывалась по земле, и пустыней, повсюду одинаково принимающей человека, шел Никита.

Все его лицо запорошилось инеем, снежная крошка повисла на мельчайших шерстинках шубы, белым пуховым платком покрылись плечи.

Он шел, не зная места, времени и цели, в той равнодушной власти одиночества, в какой возвращался из степи, потеряв отца, возвращался домой, чтобы продолжать жизнь, от которой бежал.

К нему вернулись чувства только на рассвете. Он осмотрелся. Какой-то мост был перекинут к островку, накрытому белым плетением деревьев. Набережные раскосо бежали по сторонам. Снеговая равнина реки покоилась мирно. Ни живой души не было видно кругом.

Никита перешел мост. По островку тянулись решетки и заборы дворов. Тротуары были расчищены, сугробы лежали ровной высокой грядой, и мертвая неслышность простиралась над холодным покоем земли.

Но вдруг в этой неслышности Никита уловил мерные вздохи. Они плавно приближались, возрастая, усиливая свою тяжелую полноту.

Никита остановился. Какая-то птица с утренней, сонливой медлительностью пролетела невысоко над его головой.

Он улыбнулся. Мерные вздохи полета напомнили ему первый его детский испуг, когда в смирной и такой же беззвучной, как этот остров, степи маленький Никита прикоснулся к громадному, непонятно-суровому миру.

Никита вспомнил последнее свое счастливое лето, зеленым облачком проплывшее над ним, и стужа закрепила на его лице горькую, усталую улыбку.

Так, с этой улыбкой он перебрал в памяти все утраты, понесенные за ночь. И так же, как на этом унылом островке, Никита не увидел вокруг себя ни живой души.

Он повернулся, чтобы идти куда-нибудь дальше, но взгляд его упал на громадные черные буквы:

НИКИТЫ КАРЕВА

Он снова стал. На одинокой, покосившейся витрине была наклеена свежая афиша.

В третий раз
симфония ор. 17

НИКИТЫ КАРЕВА
под управлением автора

— Опусы, еще раз опусы,— пробормотал Никита, отрываясь от витрины.

Да, может быть, только опусы становятся его уделом на всю жизнь.

Мир отвергал Никиту Карева, чтобы принять. Обогащал одну его судьбу опытом несчастья и утрат в другой.

Ничто не повторится.

Но к Никите снова возвращается слух, и все становится как будто по-прежнему: деревья в инее, хрустит снег, и кровь еще наполняет сердце.

Пусть так.

Октябрь 1926 — март 1928 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГОРОДА И ГОДЫ

Замысел романа «Города и годы» (первоначальный вариант названия — «Еще ничего не кончилось») в основном сложился к началу 1922 года.

«Я задумал современный большой роман. Он охватит наши изумительные годы и людей, каких я видел в Германии, в Польше, на Волге, в Москве и Петербурге» [1],— писал Федин 13 февраля 1922 года А. Воронскому.

«Городам и годам» предшествовала публикация непосредственно перекликавшихся с романом рассказов «Счастье» (журнал «Отклики», 1919, №№ 1—3), «Дядя Кисель» (газета «Сызранский коммунар», 1919, 22—23 ноября), «Товарищ» (газета «Боевая правда», 1920, 22 февраля) и ряда других.

Работа над романом продолжалась более двух лет. Отдельной книгой «Города и годы» вышли в 1924 году в Государственном издательстве в Ленинграде.

Роман сразу же привлек внимание критики.

Отмечая «мастерское владение сложной фабулой, детальную и продуманную обработку бытовых сцен и психологии героев, с выдержанными почти у всех (кроме Курта Вана) до конца характерами» [2], «богатый психологический и бытовой материал» [3], мастерское владение языком, рецензенты вместе с тем предъявляли автору романа немало претензий.

«Почему Андрей Старцов поступает именно так, а не иначе?.. Почему и каким образом Курт Ван становится большевиком?.. Какая связь между Мари-девочкой и Мари-взрослой?» [4].

«Характерное мироощущение интеллигента, копающегося в себе, не видящего смысла в жизни,— это мироощущение Андрея близко и самому

---

[1] Сб. «Творчество Константина Федина». М., «Наука», 1966, с. 382.
[2] «Звезда», 1926, № 1, с. 233.
[3] «Новый мир», 1925, № 4, с. 152.
[4] «Красная новь», 1925, № 5, с. 270.

автору. Поэтому в революции,— говорилось в другой рецензии,— видит Федин преимущественно теневые стороны» [1].

Немало вопросов породила «кольцевая», по определению самого Федина, композиция «Городов и годов», необычность которой была воспринята по-разному. Если, по мнению Д. Фурманова, «манера переставленных глав— заостряет внимание читателя» [2], а по мнению И. Оксенова, «весь роман образует единый круг, крепко спаянное кольцо, звенья которого неразрывны» [3], то А. Лежнев утверждал, что автор тяготел «к авантюрному, приключенческому, сюжетному, занимательному роману», к «роману тайн...» [4]

Сегодня хорошо видно, что многие из упреков тех лет — следствие отчасти упрощенного восприятия и объяснения ряда жизненных конфликтов, отчасти же неверного представления о замысле писателя. В появившихся в последующие годы работах Б. Брайниной, М. Кузнецова и других «Города и годы» были, по существу, прочитаны заново.

Роман переведен на многие иностранные языки и языки народов СССР. Дважды, в 1930 и 1973 годах, «Города и годы» были экранизированы (первый фильм— режиссера Е. Червякова, второй — режиссера А. Зархи).

В настоящем издании роман печатается по тексту: К о н с т. Ф е д и н. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1. М., «Художественная литература», 1969.

Стр. 24. *...под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию.*— Речь идет о первой радиотелефонной станции имени Коминтерна, строительство которой было начато в октябре 1921 года в Москве, в районе Горохового поля, за Курским вокзалом. Открытие станции состоялось 7 ноября 1922 года, и хотя волны ее не достигали Америки (Старцов ошибался), в свое время это действительно была самая крупная радиостанция в мире, мощность которой (двенадцать киловатт) превышала мощность вместе взятых радиостанций подобного типа в Нью-Йорке, Париже и Берлине.

Стр. 25. *Румкорфовы катушки* — прибор для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения, сконструированный в 1852 году немецким механиком Г. Румкорфом (1803—1877).

Стр. 29. *Взял книжку Мопассана — «Избранник госпожи Гюссон»...*— Большинство новелл, входящих в этот сборник, написано в 1883—1884 годы; цитируемые далее строки — из новеллы, открывающей сборник и давшей ему название.

Стр. 30. *Действительный статский советник.*— Чиновники государственной службы были разделены в царской России на четырнадцать классов; в действительные статские советники могли быть произведены лишь лица, прослужившие в чине статского советника не менее пяти лет и за-

---

[1] «На посту», 1925, № 1, с. 212.

[2] Д м. Ф у р м а н о в. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1961, с. 471.

[3] «Ленинград», 1924, № 23, с. 13.

[4] «Печать и революция», 1925, № 2, с. 271.

нимавшие должность не ниже пятого класса. По законам Российской империи чин действительного статского советника приравнивался к чину генерал-майора (или контр-адмирала) и к придворному чину герольдмейстера; автоматически давал право на потомственное дворянство.

Стр. 39. *Aux armes, citoyens!* — строки из «Марсельезы», национального гимна революционной Франции, написанного в апреле 1792 года военным инженером Руже де Лилем.

Антиминс — кусок материи с изображением сцены погребения Христа; обязательная принадлежность обряда евхаристии (причащения).

Стр. 52. *Петербург готовился к встрече высокого гостя.*— Имеется в виду второе (в сентябре — ноябре 1919 года) наступление северо-западной армии Юденича на Петроград: к 21 октября белогвардейцами были захвачены Красное Село, Гатчина, Детское Село, Павловск, они вплотную подошли к предместью Лигово и Пулковским высотам.

Стр. 78. *Ландштурм* — контингент военнообязанных, составлявших в Германии накануне первой мировой войны запас третьей очереди. В ландштурм входило все мужское население страны от семнадцати до сорока пяти лет, не состоявшее в армии и ландвере (военнообязанные запаса второй очереди).

Стр. 84. *Dichtung und Wahrheit.*— Повторив в названии этого раздела «Главы о девятьсот четырнадцатом» заглавие автобиографического произведения И.-В. Гете («Поэзия и правда»), Федин подчеркивает, что реальность причудливо сплетается здесь с вымыслом, с народными сказаниями и легендами о Гамельнском крысолове, Парцифале и т. д.; легенды эти нашли к тому времени отражение в творчестве ряда писателей (Вольфрам фон Эшенбах, И.-В. Гете и др.) и композиторов (в первую очередь у Р. Вагнера).

Стр. 88. *Маркграф* — титул, ведущий свое происхождение со времен Карла Великого, когда государство франков было разделено на несколько мархий (пограничных областей).

Стр. 91. *...чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова: Эрцгерцог!* — 28 июня 1914 года членом сербского военно-патриотического общества «Черная рука» гимназистом Гаврилой Принципом был убит в Сараево австрийский престолонаследник эрцгерцог Франц-Фердинанд. Событие это послужило, как известно, поводом для начала военных действий со стороны Австро-Венгрии против Сербии, очень скоро переросших в первую мировую войну.

Стр. 95. *Фабер* Иоганн Лотар — владелец крупнейших в Германии фабрик по производству карандашей, с филиалами фирмы в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Петербурге, Берлине и Вене.

Стр. 105. *...стоят руины капуцинского монастыря* — монастыря, принадлежавшего некогда католическому монашескому ордену капуцинов, основанному в первой половине XVI века в Италии. В XVI и XVII веках орден получил распространение в ряде стран Западной Европы, в том числе в Германии. К концу XVIII века пришел в состояние упадка.

Стр. 106. *Тридцатилетняя война* — первая общеевропейская война 1618—1648 годов, в которой приняли участие почти все страны Европы, разделившиеся на два лагеря: габсбургский блок (испанские и австрийские Габсбурги и католические князья Германии, поддерживаемые папством и Польшей) и антигабсбургская коалиция (германские протестантские князья, Дания, Швеция, Франция, поддерживаемые Англией, Голландией, а также Россией).

Стр. 125. *Система Мюллера* — система физических упражнений известного датского гигиениста Иоргена Петера Мюллера, автора книг «Моя система. Пять минут в день», «Моя система для детей», «Моя система для дам», «Моя система для мужчин» и других, чрезвычайно популярных в начале прошлого века.

Стр. 141. *...вы читали «Происхождение видов»?* — Широко известная работа Ч.-Р. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1858).

Стр. 151. *Этим летом две морские державы встретились впервые в открытом море.*— 31 мая — 1 июня 1916 года близ пролива Скагеррак, в девяноста милях к западу от Ютландского полуострова, произошло крупнейшее морское сражение между английским и немецким флотом, в результате которого английский флот потерял три линейных крейсера, три броненосца и восемь эсминцев, а немецкий флот — два линейных корабля, четыре легких крейсера и пять эсминцев.

Стр. 158. *...читал в переводе Уайльда и называл его, как все: Вильде.*— Фамилия известного английского писателя О. Уайльда (1856—1900), автора романа «Портрет Дориана Грея» и других популярных в конце XIX — начале XX века произведений, по-немецки читалась как «Вильде».

Стр. 159. *Фридрихштрассе в Берлине* — одна из центральных улиц города; в районе Фридрихштрассе и параллельной ей Вильгельмштрассе в годы первой мировой войны был расположен ряд важных правительственных учреждений (в том числе военных).

Стр. 163. *...орден «pour le mérite»* — военный орден «За заслуги», один из высших немецких орденов, учрежден в 1842 году Фридрихом Вильгельмом IV.

Железный крест — один из высших военных орденов, учрежден в 1813 году Фридрихом Вильгельмом III.

Стр. 181. *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский художник; *Беклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник; *Клингер* Макс (1857—1920) и *Ленбах* Франц (1836—1904) — немецкие художники.

Стр. 201. *Фатанафтель* — кусок материи, фитиль, употреблявшийся в светильниках, заправленных нефтью (нефтяными маслами). Со второй половины XIX века, когда керосиновое производство получило широкое распространение в России, слово «фатанафтель» могло быть употреблено и в значении «керосиновый фитиль».

Стр. 222. *Торон* (торн, терн) — колючий кустарник семейства розовых, с темно-синими плодами терпкого кисло-сладкого вкуса.

Стр. 248. *...на листке стояло слово: Революция.* — 9 ноября 1918 года Германия была объявлена демократической республикой.

Стр. 257. *Суфражистка* — сторонница женского равноправия (в первую очередь — в избирательных правах), участница движения, получившего широкое распространение в Европе в конце XIX — начале XX века.

Стр. 266. *«Крестный календарь» Гатцука* — популярное среди читателей второй половины прошлого столетия ежегодное издание, выходившее под редакцией А. А. Гатцука и содержавшее самые разнообразные сведения о церковных праздниках, о памятных событиях года, о членах царской фамилии, видных российских и зарубежных государственных деятелях, о почтовых правилах и таксах, расписание движения железнодорожных поездов, популярные сведения медицинского характера и т. д. и т. п.

БРАТЬЯ

Замысел романа «Братья», как свидетельствуют письма Федина к В. Полонскому [1] и М. Горькому [2], сложился в основном к осени 1926 года. Но лишь 8 марта 1928 года Федин смог сообщить Горькому: «Сегодня я кончил своих «Братьев», и вот пишу Вам первому об этой радости. Право, давно я не чувствовал такого счастья и ни разу за истекшие полтора года не мог бы написать Вам с таким легким сердцем...» [3]

Отдельной книгой роман вышел в 1928 году в ленинградском издательстве «Прибой» и в берлинском издательстве «Петрополис».

Роман «Братья» вызвал живой интерес критики.

Отмечая, что «в области стиля роман «Братья» приходится признать огромным достижением Федина» [4] и что, «несмотря на отдельные длинноты, роман читается с большим интересом, захватывает» [5], критика вместе с тем усматривала в новом романе художника «отсутствие крепкого структурного стержня» и упрекала романиста в том, что не все его герои — такие, как Витька Чупрыков, Верт, Анна — обязательны [6], и в том, что Ростислав Карев и Шеринг изображены чрезмерно бегло, а Родион Чорбов — «узок, прямолинеен до ограниченности и явно отступает на задний план перед Никитой» [7].

Но больше всего недоумения породила фигура главного героя «Братьев».

---

[1] Сб. «Творчество Константина Федина». М., «Наука», 1966, с. 395.
[2] «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, с. 511—512.
[3] Конст. Федин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., «Художественная литература», 1973, с. 382.
[4] «Печать и революция», 1928, № 7, с. 97.
[5] «Правда», 1928, 8 июля.
[6] См.: Д. Тальников. Гул времени (Литература и современность). М., «Федерация», 1929, с. 102.
[7] «Печать и революция», 1928, № 7, с. 96.

«...Не мог, это просто невероятно, чтобы Никита Карев, чуждавшийся гражданской войны и революции, действительно создал симфонию, в которой «смысл величайшей революции» и т. п.» [1].

Сегодня очевидно, что такая постановка вопроса вступала в противоречие с замыслом романиста: ведь путь Никиты к пониманию происходящего вовсе не был чем-то исключительным.

В апреле 1919 года В. И. Ленин писал:

«Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм...

Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом...» [2]

А в феврале 1921 года Владимир Ильич вновь подчеркивал, «что инженер придет к признанию коммунизма *не так*, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, *а через данные своей науки*, что *по-своему* придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д.» [3].

В романе Федина речь как раз и идет о таком своем, очень специфическом признании, немыслимом без убежденности, что искусство, служению которому отдана вся жизнь, нужно, необходимо этому новому миру.

«Братья» переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.

В настоящем издании роман печатается по тексту: К о н с т. Ф е д и н. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3. М., «Художественная литература», 1970.

Стр. 377. *Он остановился на толстых корешках немецкого словаря... с четким именем Майера...*— Словарь Майера — энциклопедический словарь, неоднократно переиздававшийся в Германии в конце XIX — начале XX века.

Стр. 381. *Герострат* — грек, уроженец Эфеса, сжегший, по преданию, в 356 году до н. э. храм Артемиды Эфесской, чтобы запечатлеть свое имя в памяти потомков.

Стр. 407. *Берио* Шарль-Огюст (1802—1870) — бельгийский скрипач и композитор, автор девяти концертов для скрипки с оркестром, а также многочисленных вариаций, этюдов, профессор Брюссельской консерватории, являлся одновременно автором известного пособия «Школа для скрипки» (1858), в конце XIX столетия переведенного на русский язык.

Стр. 433. *Фемида* — богиня правосудия в древнегреческой мифологии.

Протопресвитер — главный священник большого собора.

Стр. 436. *...Мендельсон-Бартольди, такой, каким его привезли в Веймар, к действительному тайному советнику Гете.*— Речь идет о знакомстве в ноябре 1821 года двенадцатилетнего Феликса Мендельсона-Бартольди

---

[1] И. М а ш б и ц - В е р о в. Писатели и современность. Статьи. М., «Федерация», 1931, с. 131.

[2] В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 38, с. 53—54.

[3] Т а м ж е, т. 42, с. 346.

(1809—1847) с семидесятитрехлетним Гете, когда учитель Мендельсона, руководитель Берлинской певческой капеллы и близкий друг Гете Карл Фридрих Цельтер впервые ввел мальчика в дом великого писателя, горячо полюбившего маленького музыканта и следившего в дальнейшем за его успехами.

Стр. 446. *...Французскую «Марсельезу»... Это тебе не то что наша...*— Текст русской революционной песни «Рабочая Марсельеза», исполнявшейся на мелодию «Марсельезы» (см. прим. к с. 39), был написан в 1875 году П. Л. Лавровым.

Стр. 462. *Каймачок* (каймак) — сливки, снятые с кипяченого или топленого охлажденного молока.

Стр. 490. *Сведенборг* Эммануил (1688—1772) — шведский теософ, занимавшийся исследованиями в области математики, астрономии, минералогии и других наук. С 1745 года впал в мистику, объявив себя «духовидцем». Аллегорическому толкованию Библии посвящена работа Сведенборга «Небесные тайны» (1749—1756).

Стр. 499. *Ятовь* — яма в реке, где зимуют некоторые породы рыб, в частности, осетр и белуга.

Стр. 535. *Долгуши* — экипаж с кузовом, помещавшимся на длинных (долгих) дрогах.

Стр. 569. *Глухарь* — рабочий-котельщик. От шума, возникавшего при клепке котлов, котельщики нередко теряли слух.

Стр. 588. *Куга* — водяное растение семейства осоковых с длинным стеблем.

Стр. 623. *...как Пилат на картине Ге «Что есть истина?»*.— Картина Н. Ге «Что есть истина?», где Пилату противостоит Христос, хранится в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Стр. 628. *Ринальди Антонио* (ок. 1710—1794) — итальянский архитектор, долгое время работавший в России. Основные сооружения, созданные Ринальди,— дворцовые и парковые постройки в Ораниенбауме, Гатчине, Царском Селе, а также в Петербурге.

Стр. 657. *Симфония Никиты Карева (статья композитора Ю. А. Шапорина)*.— Статья действительно была написана по просьбе автора романа композитором Шапориным и включена в роман в качестве самостоятельной главы. «Как человеку, внутренне мне очень близкому, и своему большому другу, я давал ему (Шапорину.— *А. С.*) прочитывать каждую из написанных мною глав романа, в котором речь шла о музыканте, композиторе. Я хотел дать этот образ в сложном психологическом разрезе,— объяснял позже включение статьи Шапорина в текст романа Федин.— ...Мне, разумеется, было очень интересно узнать мнение настоящего композитора: убеждает ли его анализ психологического склада такого человека, как мой герой?» (цит. по кн.: С. Левит. Юрий Александрович Шапорин. Очерк жизни и творчества. М., «Наука», 1964, с. 124).

А. Старков

СОДЕРЖАНИЕ

М. Кузнецов. Революция и судьбы гуманизма 5

ГОРОДА И ГОДЫ
РОМАН

ГЛАВА О ГОДЕ,
КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕН РОМАН

Речь 21
Письмо 23
Формула перехода 25

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОМ

Петербург 27
Окопный профессор 33
Конрад Штейн 41
Враг у ворот! 44
Клубок 56

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТОМ

Центрифуга Амура 70
Когда, собственно, началась мировая война 76
Dichtung und Wahrheit 83
Цветы 97

ГЛАВА ОТСТУПЛЕНИЙ

Легенды — сплетни — быль 105
Каменная маркграфиня 110
Шаги становятся тверже 119
Пансион мисс Рони 124

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТНАДЦАТОМ

Ландштурм 131
Парк Семи Прудов 141
Все еще цветы 151
Побег 168

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ СЕМНАДЦАТОМ

О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург? 185
Зачем человеку эти бедные дни и часы 193
Федор Лепендин 201
Неделикатный фельетон 211

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТОМ

Дорога 216
Без черного и белого 232
Ягоды 242
Народность финского племени 260

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОМ, КОТОРАЯ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПЕРВОЙ

Суббота в Семидоле 266
Конец Лепендина 283
Впервые в жизни 296
Встреча 312
Сон 317

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТОМ

Чехлы сняты 329
Новая земля 331
Мы квиты, товарищ Старцов 335
К роману «Города и годы» 340

БРАТЬЯ

РОМАН

Одна ночь 355
Inferno 396
На взвозах 439
Караваны 503
Концерт 586
Утраты 634

Примечания *А. Старкова* 679

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 190

Константин Александрович Федин

ГОРОДА И ГОДЫ
БРАТЬЯ

*

Редактор И. Чеховская

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Иващенко

Корректоры
Г. Асланянц и Л. Фильцер

*

Сдано в набор 23/VIII 1973 г. Подписано в печать 29/XII 1973 г. Бум. типограф. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 43 печ.л. 40,12усл.печ.л. 43,988+1вкл.+7нак.= 44,818 уч. изд. л. Тираж 303 000 экз.

Заказ 620. Цена 2 р. 25 к.

Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28